

ПРЕНИЯ  
СТОРОН



Александр  
РОЗЕН



Александр  
РОЗЕН

ВРЕМЕНА  
И  
ЛЮДИ

Александр  
РОЗЕН

ПРЕНИЯ  
СТОРОН

---

ВРЕМЕНА  
И ЛЮДИ

\*



# Александр РОЗЕН

ПРЕНИЯ  
СТОРОН

*романы*

ВРЕМЕНА  
И ЛЮДИ



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ  
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1979

В новую книгу А. Г. Розена входят два романа, уже известные читателю, — «Прения сторсен» и «Времена и люди». Оба произведения посвящены нашему современнику, затрагивают тему верности его своему долгу, призванию и любви.



ПРЕНИЯ  
СТОРОН

*роман*



**В** пять утра Ильина разбудили — идем на посадку, — и он сразу стал высматривать купола мечетей и легендарные минареты, но ничего не было видно, а в голове, со сна, что ли, крутилось: «Солдаты, сорок веков смотрят на вас!» Но то было сказано в Египте, а здесь Средняя Азия, и веков поменьше, хотя, впрочем, тоже хватает. . .

Из Москвы Ильин вылетел ночью. Сегодня арбитраж, и сегодня же ночным самолетом домой. Он любил уплотненное время. В прошлом году в Риге с помощью милейшего Энгельке за день успел уйму: ратуша, Домский собор, оформил заказ на книжные стеллажи — красивая подделка под мореный дуб, Саласпилс, днем разбирательство с заводом-поставщиком, вечером слушали Вагнера и ужинали в ресторанчике, где места заказывают заранее: желающих много, а мест мало, и в этом вся прелесть.

Аэродром, как и все другие, никаких восточных чудес. Издали увидел Азимова, которого знал по совещаниям в Москве.

— Зря вы беспокоились в такую рань! . .

— Ничего, пожалуйста, у нас уже семь. . .

— Что-то холодновато, — сказал Ильин, пожевываясь.

— Поздняя весна. . . Но днем тепло. . .

— В котором часу заседание?



— Дорогой Евгений Николаевич, маленькая неувязка, перенесли на понедельник. . .

— На понедельник?! Но сегодня только четверг!

— Дорогой Евгений Николаевич, вы впервые в нашем древнем городе, постараемся, чтобы не скучали. . .

Ильин сел в машину. Понедельник! Легко сказать. . . На понедельник было назначено заседание у первого зама, да и выходные пропадали, в воскресенье он обещал детям айс-ревью. . .

А если сегодня смотаться домой и вернуться в понедельник? Ну нет, в конце концов он ведь не Киссинджер, и уж раз так сложилось. . . «Да оно, может, и к лучшему», — думал Ильин, вспоминая вчерашний день, который провел в каком-то особенном настроении. Он довольно часто ездил в командировки, много видел нового и интересного, но тут было предчувствие чего-то совсем нового, такого, чего с ним никогда не случилось. . . Ильин выглянул из машины в надежде что-нибудь разглядеть, но машина шла быстро, мелькали дома, люди, небо. . .

Здание гостиницы стояло в лесах. Пахло краской, ходили по досочкам, лифт не работал, но в огромных холлах трещали телевизоры. И номер был огромный, с полированными шкапами, пуфиками и козетками, в алькове две кровати, бра, и на журнальном столике ярко-красный телефон.

— Чай надо с дороги, — сказал Азимов.

Ильин быстро разобрал портфель — хорошо, что Иринка в последний момент сунула свежую рубашку и пижаму. . .

Спустились в ресторан. Ильин не привык много есть утром, но Азимов был трогательно настойчив.

— За здоровье вашей супруги! Как себя чувствует?

— Отлично! У Иринки всегда все хорошо!

Азимов серьезно выслушал, спросил:

— Дети?

— Дочка умница-разумница, отличница, плюс музыкальная школа, ну а парень сам не знает, чего хочет.

Помолчали, выпили, потом Азимов спросил, глядя поверх рюмки:

— Касьян Касьянович?

— Здравствует и процветает! Просил передать привет!

— Большое спасибо!

Касьян Касьянович был человеком известным. Кто-то из московских умников назвал его Первоприсутствующим. Существовала когда-то такая должность в Сенате, что за должность — никто толком не знал, но словечко было какое-то уж очень подходящее. За двадцать лет в конторе — так Ильин называл свое московское учреждение — не раз менялись управляющие. Был один очень хороший работник, но его погубил рак; назначили другого, года не прошло — послали куда-то на повышение; третий просто не мог ужиться с людьми. Но ничего, решительно ничего не случалось с Касьяном Касьяновичем. Здоровье у него было, тьфу-тьфу, железное, тащить на себе он мог много, на повышение его не посылали, против управляющих он не копал и легко уживался с любым вышестоящим характером. Все помнили управляющего из бывших военных, знающего дело, но очень самолюбивого. Касьян Касьянович никогда не опускался до угодничества, он только советовал аппарату: шадите, товарищи, самолюбие, самолюбие надо шадить. И пока самолюбивый начальник управлял, все, в том числе и сам Касьян Касьянович, делали вид, что именно благодаря ему контора процветает. Один раз за все время существования конторы во главе ее стоял самодур. Это был в общем-то хороший человек, не делавший никому зла, но целиком находившийся во власти своего вздорного характера. Если бы не Касьян Касьянович, он бы перессорил контору и с поставщиками, и с начальством. Все возмущались, кроме Касьяна Касьяновича, который, кажется, даже не замечал брыканий управляющего, и даже наоборот — чем больше брыкался управляющий, тем спокойней вел себя Касьян Касьянович.

Подали чай, Азимов сказал озабоченно:

— Разрешите о программе. Мы тут продумывали. Сейчас отдых с дороги, не торопитесь, Восток есть Восток... Я заеду в четыре тридцать: обед в кругу семьи, затем театр. «Мария Стюарт» — в Драматическом. Завтра знакомство с достопримечательностями, в субботу поездка за город, а в воскресенье у нас гости.

Ильин взглянул на серьезное лицо Азимова и засмеялся.

— Я в ваших руках...

Все-таки ему не терпелось. Поднялся в номер и быстро открыл тяжелые шторы: как выглядит этот Восток?

Он увидел каток, синее пламя сварочного аппарата, посредине двора стояла чинара с деревянной скамейкой вокруг мощного ствола, громко кричала голубка, на которую наступал старый лиловый голубь, пахло развороченной землей, дымом, краской, олифой, ремонтом, и поверх всего слышался еще какой-то тонкий и теплый запах. Это был запах весеннего утра, солнечного и еще не успевшего запылиться. «Достоин кисти Айвазовского», — говорил в таких случаях Касьян Касьянович.

Ильин заказал Москву и, пока соединяли, побрился, как обычно, без зеркала. Он не любил смотреться в зеркало и даже галстук завязывал, как говорят шахматисты, à l'aveugle — вслепую. И сам не мог объяснить эту странность. Может быть, боялся встретиться с возрастом? Но он отлично знал, что выглядит куда моложе своих сорока трех — свежая кожа, ни сединки, мускулы, как у спортсмена, хотя спортом никогда не занимался. «Природа, — шутил Ильин, — предоставила мне статус наибольшего благоприятствования».

И все-таки зеркало всегда вызывало в нем какое-то неприятное чувство, и каждый раз возникало одно и то же: «Я это или не я?»

Телефон. Веселый Иринкин голос:

— Ты здоров? Все хорошо? Ничего, ничего, я сама пойду с ними на это айс-ревью. Так, значит, в понедельник?

— Да, дневным, дома буду поздно вечером.

Ильин был женат пятнадцать лет, срок не маленький, но его чувство к жене не притупилось. Иринка, Иринка! Когда они где-нибудь бывают, все на Иринку глазют. И в конторе, и на курсах усовершенствования, где он читает лекции, и на заводе, где у него старое совместительство, знают: у Ильина жена красавица. Красавица! Кто бы мог подумать... «Бедные мои косточки», — шутил Ильин, когда они поженились. И не то чтобы он без памяти влюбился в эти самые косточки, а просто, увидев однажды Иринку, сказал себе: с ней я буду счастлив. И не ошибся, и, как говорится, выиграл по трамвайному билету двести тысяч. «Понимаешь, — втолковывал ему старый друг Саша Семенов, — из меня Люся сделала мужа, а ты из Иринки — жену».

— Отдохни хорошенько, воспользуйся случаем, — сказала Иринка бодро. — Понял?

— Постараюсь.

Ильин умел отдыхать. И в санаториях, и в домах отдыха его всегда за это хвалили. Весь день расписан. Никогда не пропустит утренней зарядки. И море, и пляж, и мяч на пляже. А осенью в Подмосковье чего стоит выходной! И сын и дочка с раннего детства приучены находить грибные места. Домой вернутся с тяжелыми корзинами, плотно укрытыми молчаливым папоротником.

Но сейчас Ильин был совершенно свободен от всякого расписания. Странная это штука — свобода: ее всегда не хватает, а когда ее много, не знаешь, что с ней делать.

Можно, конечно, и покомарить. «Лучшие мысли приходят в горизонтальном положении», — всегда говорит Касьян Касьянович. Да и Азимов советовал не торопиться с Востоком. Но Ильину не терпелось: хотя бы кусочек!

Он вышел на улицу. Начало пригревать солнце, но как-то мирно, не жарко; хорошо, что эта командировка не пришлась на какой-нибудь чертов июль. Но Востока так и не видать. Современные здания, много машин, столики кафе, реклама кино: Смоктуновский в котелке и — радость кинопроката — римские гладиаторы. Москва сначала на них повалила: все-таки Голливуд, — но тут же отпрянула: все-таки ерунда собачья.

Наконец впереди показался голубой купол, и Ильин поднажал. Снова вспомнилось: «Солдаты, сорок веков...» Великий полководец и здесь от него не отставал.

Мечеть была стиснута двумя крупнопанельными домами, справа мельхиоровым светом сияла витрина Ювелирторга, слева выгружали ящики с холодильниками. Внутри было пусто и пыльно. И осматривать вроде нечего. Он вышел во внутренний, чисто выметенный дворик и увидел старого служителя.

— Касса уже выбивает? — спросил старик. — Какой номер пошел? Почему так смотришь? Тебе нужен холодильник, а мне не нужен?

— Вас понял, — сказал Ильин. — Еще носят. А не скажете ли мне, в каком веке построена эта мечеть?

— Революция когда была, знаешь? За три дня до революции один купец для себя двери открыл. Для одного человека мечеть, хорошо это? Теперь другое дело, как думаешь?

— Да, конечно, совсем другое дело, — сказал Ильин, смеясь.

Но смеялся он не над стариком, а над собой, над своими сорока веками и над тем, как резво бежал на встречу с голубым куполом. Этот анекдот он отлично сумеет рассказать в Москве, а заодно позвонит в Госкомиздат: ни в Москве, ни здесь не найти ни путеводителей, ни буклетов. И только перед самым отъездом из Москвы он успел взглянуть на фотографию знаменитого медресе: когда-то сын собирал открытки, накопил полтора десятка альбомов, но потом, как всегда, и это забросил.

Ильин купил в киоске вчерашний «Гудок», сел на скамеечку, развернул газету, но она сама выпала из рук. Вот где воздух! Так пахнет лимон, разогретый солнцем.

И едва задремал, как сразу проснулся: стайка туристов бежала вслед за молоденькой девушкой в белой блузке. У всех был такой озабоченный вид, как будто сейчас должно начаться землетрясение.

«Все счастливые туристы похожи друг на друга, все несчастные...» — и вскочил, потому что было в этой стайке что-то заразительное.

Ильин догнал экскурсию, но старался держаться позади, чтобы не привлекать к себе внимания. Чем-то он всегда выделялся, может быть, виноваты большие феэргешные очки! Касьян Касьянович как-то сказал, что на приеме Ильин выглядел министром больше, чем сам министр.

Еще один переулочек и еще один. Ильин уже ругал себя: бежит как на марафоне, а в эпицентре окажется сувенирный киоск. Этим, как правило, заканчивается свобода выбора.

Еще раз вправо, еще раз влево, и вдруг открылась площадь и в глубине ее — словно фотографию из альбома сына вставили в проектор — знаменитое медресе.

Экскурсанты сгрудились вокруг белой блузки:

— То самое?

— А верно, что здесь рубили головы преступникам?

— И неверным женам?

— Сейчас бы вот так! — сказал чей-то внушительный бас, и все засмеялись.

— Не торопитесь, взгляните отсюда на медресе: глубина площади усиливает архитектурный эффект.

Но все уже бросились на штурм медресе, и Ильин вместе со всеми.

Да, великолепно, великолепно! Стены смотрятся, как гигантские ковры, мраморные панели, мозаики из цветных кирпичей, майоликовые панно — звезды на терракотовом фоне. И эти удивительные бирюзовые изразцы!

— Медресе построено в пятнадцатом веке, оно служило не только местом преподавания богословских дисциплин, но и светских наук: астрономии, математики и даже философии. («Текст, по-видимому, совершенно для нее привычный, отполированный временем, как ступени старой лестницы».) Властелин Двуречья был не только жестоким самодержцем, но и просвещенным человеком своего времени. Вот эти сводчатые айваны служили и для молитв, и для занятий. А вот эти кельи — худжары, обращенные во двор аркадой лоджий. . .

— Подходяще! — сказал все тот же веселый бас. — Согласен на обмен. А как с удобствами?

Снова все засмеялись.

— Обратите внимание на облицовку из фигурных плиток голубой и синей поливы. Тончайший надглазурный золотой орнамент. . . — Она с опаской взглянула на экскурсантов.

«Бедняга», — подумал Ильин.

— Чистота красок. . . Особенно хорош синий цвет, он и похож на весеннее небо, и в чем-то контрастен.

«Нет, это уже не заученное. . .»

Но в это время снова вмешался знакомый бас:

— Пятьсот лет без капремонта?

«А что, если я ему врежу в рыло?»

— Я прихожу сюда в разное время года. Летом цвет плиток голубее, в нем растворяются и белый и блеклосиний. . .

Голос негромкий, но сильный и чуть-чуть с хрипотцой.

— Кто любит бирюзу, должен приезжать к нам осенью.

Она была старше, чем показалось Ильину вначале: лет двадцать семь, двадцать восемь.

— Весь этот орнамент — старинные надписи. Почерк куфи сложен, но только он один способен создать такой узор... Это не настоящие минареты — это башни. Так было задумано архитектором...

Пауза. И после паузы негромко:

— Мне очень нравятся эти строгие вертикали.

Экскурсия кончилась, Ильин сказал:

— Когда вы не шпарите по книге — это просто замечательно. — И протянул руку: — Ильин.

— Лара. Значит, вам все-таки понравилось?

И снова Ильина кольнула жалость.

2

— В школе я завалил сочинение по истории, — весело рассказывал Ильин. — Подвел меня Медичи. Это вроде вашего властелина Двуречья. С одной стороны, Медичи был просвещенным человеком, при нем процветало искусство, с другой стороны, его жестокость была ужасной. С одной стороны, Флоренция при Медичи достигла своего расцвета, с другой стороны...

— Камешек в мой огород? — спросила Лара.

— Ничуть. Знаете, что меня погубило?

Они сидели в столовой самообслуживания. Народу полна коробочка, но Ильину ничто не мешало, давно он не чувствовал себя так молодо.

— Погубила меня отчетливость, этакая, знаете, обнаженность. «С одной стороны» и «с другой стороны», и каждый раз с красной строчки. Но против моей воли — смею вас заверить, ничего я не хотел, кроме хорошей отметки, — получилась карикатура. — Ильин выпил воды — гуляш был дьявольски наперчен. — А карикатура, милая Лара, — вещь опасная. Наш преподаватель истории, человек в высшей степени интеллигентный, но и в высшей степени напуганный, подозревал меня бог знает в чем. Ему бы пройти мимо, поставить трояк, и все, но надвигался Петр, тут уж сплошь «с одной стороны» и «с другой стороны», и он закатил нуднейшую нотацию и привлек весь класс к обсуждению. С тех пор стоило ему только показаться, как начиналось всеобщее гуденье: «с одной стороны, с другой стороны». Вам взять компот?

— Нет, спасибо.

— Вот видите, как все ясно, что касается компота. Но если говорить серьезно, я думаю, вы любите искусство больше истории.

— Не знаю... может быть... Все так тесно связано: художник и время...

— Художник и время? — (Настоящий студенческий спор!) — В истории не раз бывали мелкие дрянные времена, но почему именно тогда жили и творили великие художники?

— Можно ли называть мелкими и дрянными времена, если тогда жили и творили великие художники?

— А вам идет спорить, — сказал Ильин. — Есть женщины, которые все теряют, едва только начинают говорить о чем-нибудь серьезном...

— Разве эпоха, в которую жил Рубенс, была знаменита только Рубенсом? — нетерпеливо спрашивала Лара.

Ильин засмеялся:

— Бурное развитие ремесел... мануфактуры... Больше я ничего не помню. Милая Лара, я учился в те счастливые времена, когда Иван Грозный был признанным гуманистом, вроде Эразма Роттердамского. Малюта Скуратов тоже, кажется, играл какую-то прогрессивную роль. Я просто закачался, когда прочел у Ключевского, что сотни лет татарского нашествия едва ли принесли столько вреда русскому народу, сколько одно это грозное царствование.

— Я мечтала подписаться на Ключевского, два года отмечалась, но так ничего и не вышло.

— Ну, Ключевского я вам достану, — сказал Ильин. — Приеду в Москву и вышлю, не сомневайтесь.

— Я так и думала, что вы москвич.

— А что, есть особые приметы?

— Вы извините, но мой перерыв окончен. До свиданья!

— До свиданья, — машинально сказал Ильин. — Пойдите, куда же вы?

— У меня еще две экскурсии...

— Но, может быть, встретимся вечером? Надо же доспорить...

— Так ведь и я за Ключевского. Ну хорошо, давайте встретимся вечером.

— На этом самом месте?



— Нет, лучше дома. Детская, восемь. Если не сможете, вот телефон, это у соседей, они мне передадут.

Ильину понравилось, что она пригласила домой без жеманства. И спорила смело. Вспомнился университет. Но разве в те времена спорили, разве тогда не все сразу становилось ясным? Спорили, да еще как! И самым языкастым был в те времена Ильин. На пятом курсе чуть без диплома не остался. Но тут повезло: оказалось, что «идейки» Ильина совпали, Эразм стал котироваться, а Малюту списали как миленького. «Пришла ильинская пора», — шутил профессор, еще недавно выдававший Ильину такое, что стипендией и не пахло, приходилось ходить по домам «лудить, паять, кастрюли починять».

Ильин еще долго стоял у медресе, вспоминая: «Кто любит бирюзу, должен приезжать к нам осенью...», негромкий, но сильный голос, чуть-чуть с хрипотцой, вспоминал он и свои дерзкие ответы в университете, дело было еще на Моховой...

Азимов ждал его в холле, и Ильин сразу сказал, что уже успел посмотреть кое-что и что «ножки гудят», может быть, театр в другой раз?

Приговор «Марии Стюарт» Азимов выслушал спокойно, но напомнил, что по программе их сейчас ждет домашний обед.

— Да, да, конечно! — (Хочешь не хочешь, а политес надо соблюдать.)

Жили Азимовы в новом районе, в благоустроенном коттедже, но тесно. Старший сын и младший, у обоих жены и дети, и еще незамужняя дочка, чуть постарше внуков, и еще какой-то красивый парень с совершенно русским, рязанским лицом, к тому же и стриженный под Иванушку. Ильин с трудом понимал, кто есть кто, и только об Иванушке узнал, что тот был усыновлен Азимовым еще в войну «вот таким малюсеньким».

Ильин старался «держаться площадку» и очень смешно, в лицах, рассказал, как принял купеческую мечеть за ту самую, тысячелетнюю. Этаким столичный вертопрах, слышавшийся баек о Востоке.

— А кто вам показывал медресе? — спросил Азимов. — А, Лара! Очень, очень милая женщина. Жаль, неудачная жизнь в личном плане. С мужем разошлись, маленькая дочь, тяжело, конечно, . .

От Азимовых Ильин вышел в сильнейшем цейтноте. Но он знал, что первая же машина остановится, как под гипнозом, стоит только ему поднять руку. Феэргешные очки сработали безотказно. Разбойного вида паренек не только взял его в машину, но и помог найти торт и бутылку болгарского, а потом погнал на Детскую, 8.

Улочка была узкой, небольшие домики стояли сплошной стеной, дымной от близкой луны. Длинный прямоугольный двор, полно детей, вислоухий щенок, безумно счастливый от кухонных ароматов, от близости детей и от лунного света, в глубине двора почтенный старик пьет чай: кухонный столик, клеенка, белеют чайник, пиала. Дом двухэтажный, второй этаж с галереей, оттуда слышится соната Грига и беспрерывные телефонные звонки. И еще слышится какой-то тупой звук, кажется, рубят капусту. Мудрено во всем этом найти человека. Но тут он увидел Лару.

Ильин заметил и новое платье, и прическу, и тоненькую цепочку с медальоном. Платье — оранжевые и черные тона — показалось ему слишком броским, белая блузка и черная юбка шли ей куда больше. Было что-то старомодное и в этом броском платье, и в прическе, и даже в модном медальоне.

— Я думала, вы уже не придете. . .

— Разве я опоздал?

— Не знаю, я не смотрела на часы.

«Скажем прямо, вниманием она не избалована», — подумал Ильин, но улыбка у нее была такая милая, так хорошо сияло ее лицо, что все остальное было неважно.

По витой каменной лестнице поднялись на второй этаж, и сразу к ним бросилась девочка лет шести, тоже прибранная и с большим бантом.

— Ну, представлять не надо, — сказал Ильин. — Мама! Просто невероятно, до какой степени она вас повторила. . .

— Да, да, — сказала Лара, сияя. — Заходите, пожалуйста. О, торт какой огромный! Моя Галка обожает. . .

— А я слышан о восточных сладостях, но где они?

— В сказках Шехеразады и в Москве на Пушкинской площади. Но для вас я испеку наши сахарные трубочки. Галка, ты за хозяйку, а я сейчас. . .

У Лары две крохотные комнатки, книги до самого потолка и в нишах, и весь стол завален.

— Сколько книг у твоей мамы!

— Мама говорит, что лучше недоест, но купить книжку. А вы как думаете?

— Я? — Ильин был несколько смущен такой альтернативой. — В общем, да, конечно. До чего же ты на маму похожа, — повторил он.

— Все говорят... А это правда, что вы из Москвы?

— Да, правда.

— Мама была в Москве, и мне без нее было очень скучно. Эту книжку трогать нельзя!

В этот момент вошла Лара:

— Ради бога, смотрите, что вам нравится! Ох, Галка, Галка!..

— Но она совершенно права. Один мой приятель всегда говорит: «Только распивочно и ничего навывнос».

— А вы собираете книги?

— Тысяча и одна подписка...

— Завидую!

— Вам ли говорить...

— Это еще дедовская библиотека. Он служил в Казенной палате, ночами изучал фарси, потом бросил палату и пошел работать на раскопки. Словом, чудил как только мог. Отец тоже не получил специального образования, но и для него Восток был всем. А вот это купила я, смотрите — «Санкт-Петербург, 1874», на русском языке, но замечательное понимание не только здешних обычаев, но и самой души народа.

— Лара! Ваши трубочки горят!

— Горят, горят, — весело подхватила Галка, и обе умчались.

Ильин рассматривал книги, рисованные рукописи на арабском языке, самодельно переплетенные. Для того чтобы работать в местном экскурсионном бюро, и сотой части всего этого было бы достаточно.

Вбежала Галка и радостно сообщила:

— Все сгорело! Будем кушать торт!

За чаем Ильин шутливо подтрунивал над Ларой и весело жаловался, что вот в кои веки нацелился на восточные сладости, и тут не повезло. Ох уж эта экзотика! Снова он рассказал, как принял купеческую мечеть за старину, и на этот раз еще смешнее, чем у Азимовых, отполировав все детали. Особенно ярко получилась оче-

редь за холодильниками. Лара смеялась до слез, а за ней и Галка, не понимая, в чем суть дела, прямо-таки валилась от смеха.

Ильин чувствовал, что «прошел» здесь. У него, кажется, был врожденный талант нравиться, его любили во всех кружках, которые складывались в школе, а потом в университете, да и в конторе. Ни к кому он никогда не подлаживался, случалось спорить — спорил, знали даже, что он «ершистый» и что «завести» его ничего не стоит. Но как-то так получалось, что он спорил, но не ссорился, «лез в бутылку», но сам оттуда легко выскакивал и принципы свои отстаивал не угрюмо, не драматизируя. Может быть, потому, что умел быстро настраиваться на чужую волну. А ведь это ценится повсюду.

— Галка, спать! Спокойной ночи.

Девочка без всяких пререканий вытащила раскладушку и быстро улеглась.

— В нашей семье женщины все умеют делать, — рассказывала Лара. — Мужчины ненадежны. Бабка рано овдовела, да и мама... Ну, а меня, как вы, наверное, уже узнали, бросил муж. Азимовы, я думаю, поведали вам эту историю во всех подробностях...

— Да нет, что вы!

— Странно! Друзья наших друзей... В положении брошенной женщины есть всегда какая-то двусмысленность... («Да, в небольшом городе злословие, наверное, действительно ужасно», — подумал Ильин.) — Ну, ладно, давайте откроем вино. Нравятся вам эти рюмки? Послушайте, как звенят... Они из России. Исламская культура вообще не знала рюмок, пророк завещал трезвость. А вот до ислама... Или вы тоже считаете, что до ислама ничего здесь не было?

— По правде сказать, я не очень силен в этих вопросах. А хотелось бы. Ваше здоровье! С того момента, как человек стал человеком, он стал интересоваться тем, что было раньше. Да и как представить светлое будущее, если не сравнивать с темным прошлым?

— Не такое уж оно и темное!.. Знаете что, хотите, вместе поедем на раскопки? Завтра я выходная, а послезавтра еду туда с экскурсией. Археологи раскопали огромный город, может быть, бывшую столицу. Только чур не обращать внимания на всякие идиотские замеча-

ния и вопросы моих экскурсантов: а хиппи у селевкидов были? А гарем посещали по квадратно-гнездовому способу? А верно, что песенка «Пусть всегда будет солнце» заимствована у Заратустры?

— Милая Лара, я буду задавать вам точно такие же вопросы. Я — это они, или, если хотите, они — это я.

— Ладно, ладно, ешьте торт; где вы только такой вкусный достали? Сладкое — наше горе. Галка в меня...

— Ну, знаете, если пирожных боятся московские толстушки — оно понятно, но вам-то ничего не грозит!

— Это потому, что я много хожу. Мои экскурсанты еле дышат, а я еще и еще гоняю их по солнышку. Да еще и сержусь на них. Я злой человек.

— А хорошо бы и мне утром встать по холодку, осмотреться и рассердиться, — сказал Ильин. — Вот только не на кого...

— Моему мужу всегда казалось, что жизнь его обошла, и он сердился на всех подряд...

— Мне, Лара, нельзя. Я человек обласканный. Ну, смотрите, после университета всех кого куда, а меня под белы руки прямо в контору. Юристы в те времена были не дефицит, и я никаких особых иллюзий насчет своего будущего не строил. Но нашелся человек... взглянул на анкету, а там все, что требуется: из потомственной рабочей семьи, высшее, не привлекался, и не только я, но ни в одном поколении. Можем мы такими кадрами разбрасываться? Сразу на выдвижение — юрисконсульт, арбитр, главный арбитр, и уже давно помощник самого Касьяна Касьяновича, а ведь эту должность может занимать и неюрист. Да я, по сути дела, давно уже не юрист. Разве что изредка на гастролях. Помощник самого Касьяна Касьяновича! Мне, милая Лара, в настоящее время полагается быть всем довольным.

— А все-таки хочется рассердиться?

Ильин не сразу ответил. Разговор и так зашел слишком далеко, и в этом он был виноват сам: «Я — это они, они — это я...» — а дальше его понесло, и, хотя он чувствовал, что давно пора остановиться, его все несло и несло.

— Что, парадоксально? — спросил Ильин.

— Да, есть какое-то несоответствие, — сказала Лара, взглянув на него. — Есть. Знаете что, поедемте на раскол завтра, в мой выходной, без экскурсантов. Мне

с вами интересно. Когда я училась, у нас была своя компания. Собирались, разговаривали, бегали на московских поэтов, потом вышла замуж — и все.

— А друзья?

— Остались, конечно. Семья Усмановых, потом моя школьная подружка и еще один приятель, вы с ним познакомитесь, он археолог.

— Не так уж мало!

— Нет, старая компания разбрелась. Усмановы, и он и она, заняты какими-то мудреными вычислениями, со мной им хочется не разговаривать, а отдыхать. Подружка моя... Ну, раньше она еще как-то тянулась... Но, самое главное, жизнь уходит на то, чтобы работать, и на быт. Галка. Она же маленький человек. Ну вот, оказывается, что я вам уже жалуясь.

— Мне это все очень интересно!

— Моя жизнь?

— Конечно!

— Ну, знаете, если я буду рассказывать о себе, мы так ни о чем и не поговорим.

— Я согласен на любую тему, но заранее вас предупреждаю, что я совсем не тот собеседник, на которого вы рассчитываете. Я, милая Лара, чуточку другое поколение, и хотя я москвич, но ни на какие вечера московских поэтов никогда не бегал. Да и поэзия в мое время была совсем не тем, чем она стала потом. А когда раздалась звуки гитары, я уже от зари до зари долбил в конторе. Недавно я смотрел, с опозданием на десять лет, «Антимиры». Можно только представить себе, как это когда-то воспринималось. Знаю, что давно уже ругают «Кавалера Золотой Звезды», но, откровенно говоря, не помню, в чем там дело. Знаю, что Чехова играют на сценах всего мира, но видел только «Три сестры». Скучновато, простите, ради бога. Мне нравится полонез Огинского, мне уютно с шишкинскими медведями, мурло мещанина так и лезет из меня. Ну, что вы смеетесь? Грустно все это, а не смешно.

— Бесподобно, бесподобно! — смеялась Лара. — А скольких я еще знаю, которые втихаря обожают «Сказание о земле сибирской», но канючат билетик на Феллини.

— Нет, Феллини я вам не отдам, — сказал Ильин. — Как говорится, и «крестьянки чувствовать умеют».

— Вы обиделись? Я ведь так, к слову. — Она порывисто дотронулась до его плеча.

И снова Ильина кольнула жалость. Ему было жаль ее за ее неумелую порывистость и за то, что он ей понравился. Пробыло одиннадцать, но уходить не хотелось, чужая волна, к которой Ильин так легко приспособился, теперь его не отпускала.

— В детстве я всегда мечтала начать новую жизнь, и обязательно с понедельника, — рассказывала Лара. — Папа не выносил шума, он работал на железной дороге и очень уставал. С понедельника не буду шуметь, не буду грубить Кольке Маевскому: этот мальчишка, посмешище всей школы, обезьянка, был влюблен в меня. Потом я обещала, что с понедельника начну готовить мужу вкусные обеды, даже пошла на какие-то курсы. С понедельника начну жить весело, никому не буду докучать своим настроением и не буду злиться, когда меня в очередной раз спросят о гаремах. А сейчас, каждую субботу, я обещаю себе, что с понедельника начну готовиться к кандидатской. А что бы хотели вы начать с понедельника?

Простились они в первом часу ночи. Во дворе все давно утихло — и соната Грига, и дети, и шенок, никто больше не рубил капусту, весь дом спал. И только в глубине двора по-прежнему сидел старик, и перед ним белели чайник и пиала.

### 3

Ну, что ж, вот он и добился уплотненного дня, кое-что посмотрел, знаменитое медресе — весьма квалифицированно, азиатский дворик тоже произвел впечатление, а знакомство с милой Ларой, конечно же, стоит «Марии Стюарт». И предстоит поездка на раскопки, о которых Ильин читал в газетах, а может быть, о них Андрей рассказывал, этим он больше интересуется, чем школой.

Да, время спрессовано «по-ильински», и все же есть в сегодняшнем дне что-то непрочное, шаткое. «Что бы вы хотели начать с понедельника?» — спросила Лара, и, хотя она, кажется, сама посмеивалась над своими понедельниками, именно в ту минуту день дал трещину.

Ильин в тон ответил какой-то неприятзательной шуткой, вроде того, что для начала неплохо бы в понедельник выиграть дело в арбитраже, но на самом деле он отнюдь не был тем закоснелым в делах человеком, каким себя сегодня нарисовал. Он любил искусство, из года в год брал абонементы в оперу, а когда поставили «Порги и Бесс», даже схватился с Касьяном Касьяновичем, который прочно затвердил: «Сумбур вместо музыки». Это была его любимая присказка, с этими словами он отодвигал от себя плохо подготовленные бумаги, и вся контора знала, что если «сумбур вместо музыки», то надо переделывать.

И хотя сам Ильин предпочитал классиков, ему не нравились плоские шуточки сослуживцев по поводу всяких «измов». Именно эта широта и привлекла в свое время Касьяна Касьяновича.

Ночь была холодной, казалось, что пахнет снегом, на самом деле это был запах цветущего миндаля. Но Ильин ничего не слышал. «Начать с понедельника!» От этих слов веяло другими широтами и другими веснами.

Ильин пришел в гостиницу во втором часу, казалось, что он тут же рухнет, но все эти козетки и пуфики его раздражали, и особенно пожарный телефон, да и залезать в альков не хотелось. «Просто я очень устал — ночь в самолете, а потом весь день на ногах, и этот сладковато-горький запах нерусской весны. Черт его знает, как уснуть на таких перинах». И вместо того чтобы лечь и уснуть, Ильин все ходил и ходил по своему номеру. Он уже понимал, что дело не в усталости, а в той случайной встрече, которая тем и хороша, что совершенно случайна: И даже не в самой встрече, а в том вольном воздухе, которым он дышал весь прожитый день. И было больно, как бывает, когда вспомнишь молодость. Наконец он лег, но разбуженная боль не затихала.

«Боль лечит, — вспоминал Ильин. — Страдать или не страдать?..» Именно об этом двадцать лет назад шел спор в их студенческом клубе. По тем временам скользкая темочка, да и скользить можно было в одну сторону. Но двадцать лет назад само собой было ясно, что поскольку никакой социальной базы под этой самой душевной болью нет, то и само понятие — всего только архаика, Даль, который, как известно, устарел. И выхо-



дило так, что и дискутировать не о чем и нечего, зря только время провели. А он взял и выступил в пользу этой самой «душевной боли». Что-то такое о том, что боль совершенно необходима человеку. Без этого не рождаются ни великие мысли, ни большие дела. И в настоящем и даже в обозримом будущем эта душевная боль — необходимый фермент. «Вроде как для обмена веществ?» — крикнули Ильину из зала, и он ответил серьезно: «Да, пожалуй, так...»

На том и закрылся дискуссионный клуб, а вопрос о взглядах студента Ильина Е. Н. стал предметом широкого обсуждения. Дело было серьезным, и не повернись эпоха так, как она повернулась, не быть бы Ильину тем, кем он стал. Но повезло: как раз перед оргвыводами было спущено решение: клуб открыть, фанеры и бархата не жалеть. Неудивительно. С того дня, как Ильин погорел, прошел не просто один семестр и одно лето. И снова шуруют ребята: «Женька, наша взяла, открываем! Тебе, как пострадавшему, первое слово!»

Но не пришел. Ни на открытие, ни на первое заседание, ни на второе: «Диплом, да и государственные на носу».

И в самом деле, дни были решающими, когда же и готовиться к государственным, как не сейчас... И все-таки, и все-таки один вечерок, конечно бы, нашелся. Так, по старой памяти, заглянуть, пусть не вылезать самому, а только послушать... Но дальше он не решался терять прошлое. Все давно зажило, да и сама жизнь пошла совсем по другому руслу, и теперь если он что и вспоминал, то шутливо, с легкой иронией, вот так вот, как сегодня в столовой самообслуживания, что-нибудь о Малюте и Грозном.

Ильин уснул поздно, спал плохо, всю ночь ему снился понедельник, который во сне был живым существом, наваливался, давил, требовал ответа, стучал в дверь, и все сильней и сильней...

Проснулся и услышал стук в дверь и Ларин голос:  
— Опаздываем!

Он вскочил. Бог ты мой, свет, весна, тепло, воздух. Но надо было позвонить Азимову. Он набрал номер и решил не петлять:

— Есть возможность съездить на раскопки. До завтра, добро?

И бриться не стал. И вместо завтрака — стакан холодной воды, спустился в холл и так обрадовался, увидев белую блузку, словно всю жизнь ждал ее.

На рейсовый автобус они все-таки опоздали. Выручил попутный грузовик, но кабина была занята, пришлось забираться в кузов. Машина взяла с ходу, они весело обнялись, и Ильин почувствовал, как Лара доверчиво прижалась к нему.

Поселочек как поселочек: кино, сельпо, агростанция, школа, книжный киоск; батюшки мои, письма Ван-Гога — в Москве днем с огнем не найдешь...

Ильин выскочил из машины, хотел открыть борт, но нет, не надо, и Лара легкой ношей повисла у него на руках.

База экспедиции, или, лучше сказать, штаб. Два больших финских домика с широкими верандами. На одной — столы, табуретки — «столовая», на другой — раскладушки, матрасы, одеяла — «спальня», для любителей спать на воздухе. Возделанный сад — орех, груша, каштан... Как-то он иначе все это себе представлял.

— Есть кто живой? — весело крикнула Лара.

Молодой человек в темных очках, небольшая русая борода, наверное, только начал отращивать, поверх рубашки грубый шерстяной свитер.

— Знакомьтесь. Михаил Константинович Барсуков, более известный в экспедиции как Микобар. А это известный московский юрист, приехавший к нам в городишко инкогнито и пожелавший ознакомиться с бытом и нравами государства Согд.

— Профессор тяжелой и легкой атлетики, скрывающийся под золотой маской, — подхватил Ильин.

— Лара шутит, значит, она в хорошем настроении, — мягко сказал Барсуков.

«Он ее любит...» — неожиданно подумал Ильин.

— Ты почему в свитере? Жарко!

— Простыл. Встали — шести не было. Мы теперь работаем по три часа, потом отдых, и снова в поле. Приказ Джаббарова. Так что вас интересует в древнем Согде? — спросил он Ильина. — Искусство, быт, военное дело?

— Да все подряд. Все, о чем можно рассказать по приезду. У нас всем интересуются. Ах, Кизи, ах, русский Север, ах, без единого гвоздика. Потом пошла мо-

да на гуцулов. Ах, шляпы, ах, дерево... Согд — это керамика или бронза?

— Ну, вы это зря... — сказал Барсуков. — В Москве отлично известно...

Лара не дала ему закончить:

— Ради бога, ничего такого-этакого о Москве. Для Микобара это город городов!

Ильин засмеялся:

— Да я и сам люблю Москву. Я и родился в стольном граде, и проживаю в нем безвыездно. А остальное — в порядке самокритики...

— Да, конечно, конечно, — сказал Барсуков. — Лично я всем обязан Москве. И в первую очередь...

— Назначением на должность младшего научного сотрудника в экспедицию, которую возглавляет знаменитый Джаббаров.

«За что она его так? — подумал Ильин. — За то, что он ее любит? Черт его знает, как все устроено несправедливо».

Ильин скоро понял, что Лара здесь свой человек. И вся атмосфера вокруг нее была дружески-шутливая. Пустили в ход легенду о знатном иностранце, которого привезла Лара, громко и со значением говорили, что «этот человек разнюхивает нефть...», сообщали под страшным секретом, что запасов горючего здесь хватит на двести лет. К Ильину обращались только по-английски, расспрашивали, где помещается его офис. Сити? Уолл-стрит? Вход со двора, два звонка коротких, один длинный?

Внезапно спектакль оборвался.

— Начальник экспедиции, — шепнула Лара.

Первое впечатление Ильина — старость. Шаркающая походка, стоптанные шлепанцы, какой-то сонный взгляд, вялое пожатие; да, пожалуйста, если товарища интересует наша работа... да, пожалуйста, вместе со сменой.

От штаба экспедиции до раскопок было меньше двух километров, но ехали на машине. Снова мелькнул магазин, пирамиды шпрот и сгущенки, баскетбольные корзинки на школьной площадке, Смоктуновский в котелке, небольшой подъем, заправочная станция. Потом пешком поднялись на вершину рыхлого песчаного холма. Внизу, в большой котловине, лежал раскопанный город. Отсюда он выглядел так, как выглядит фронт, снятый в кино.

густая сеть траншей и земляные бугры до самого горизонта.

Сходство еще больше усилилось, когда смена спустилась в котловину и каждый уверенно занял свое место. Для них эти траншеи и блиндажи были улицами и домами большого города, но Ильин чувствовал себя здесь чужим.

Он быстро устал. И не от пройденных километров, ходок он был отличный, а от тех душевных усилий, которые затрачивал, чтобы восхищаться тем, чего не понимал. Барсуков терпеливо рассказывал, что когда-то город был четко разграничен на цитадель, пригородное поселение и шахристан. Вот улица, где работали ремесленники, вот дом знатного вельможи, некрополь, а это храм, где находилось главное святилище. Но Ильин привык к музеям, где все уже отобрано и истолковано, и там, где Барсуков и Лара видели живой город, людные улицы и площади, он видел только мертвую глину.

— Вам скучно? — спросила Лара.

— Что вы, что вы, все так интересно!

Но она недоверчиво покачала головой.

Прошли еще сто метров, и Барсуков рассказал, что вот на этом месте когда-то нашли первую монету. Теперь их раскопали четыре тысячи. Четыре тысячи! Можете вы это себе представить? Целых два мешка! А здесь Джаббаров обнаружил стену, покрытую живописью. Первая фреска! Но керамики меньше, чем ожидали, зато много дерева, великолепнейшая резьба!

— Мне жаль, что все уходит отсюда, — сказала Лара, и Ильину показалось, что она обращается только к нему.

Но Барсуков услышал и запротестовал:

— Мы должны быть благодарны нашим замечательным хранилищам, и в первую очередь Эрмитажу! Только реставрационная работа на таком высоком уровне позволила создать музейную экспозицию, которой теперь все могут восхищаться.

— Микобар всегда прав, — сказала Лара. — Всегда и во всем. Но будь я царь, я бы снова все собрала из всех хранилищ и каждую вещь привезла обратно на свое место. И трон правителя, и фрески...

— Но это, по-видимому, невозможно сделать, — осторожно вмешался Ильин. — Условия открытого места...

Я читал о страшных ливнях и песчаных бурях, а зимой, кажется, бывают и снегопады...

— Так сделать купол из какого-нибудь сверхпрозрачного материала! Кстати, местное согдийское стекло еще и в те далекие времена славилось в Древнем Риме. Хотите посмотреть живую фреску? Наверное, и ее в этом сезоне снимут...

— Позволь, Лара, — возразил Барсуков, — мы еще не дошли до цитадели, а именно она...

— Успеется! В крайнем случае проживет без цитадели.

Барсуков развел руками и улыбнулся Ильину:

— Уж если Лара что задумала...

На золотом фоне синяя лошадь, на ней синий всадник сражается с каким-то чудовищем. Кажется, он уже проткнул его копьем.

— Я уверена, что это лев, — говорила Лара. — Следите за рисунком... Краски испорчены временем, но посмотрите, видите хвост? Теперь так подстригают пуделей, но это львиный хвост. Какие это были изумительные рисовальщики! И подумать только, что после нашествия арабов на сотни лет было покончено с изображением всего живого. Ислам запретил.

Все-таки Барсуков настоял на своем, и они осмотрели цитадель. Крепость стояла на обрывистом берегу, а на другом, пологом, был виден современный город и чуть подальше — холмистые горы. И трудно было поверить, что это отроги могучих хребтов, что там, вдали, снеговые вершины, каменный хаос, поднебесье.

— Вы что-нибудь слышали о Митре? — спросила Лара.

— Кажется, какая-то богиня?

— Вот именно. Богиня первых солнечных лучей, культ, распространенный в древнем Согде. Сюда приходили встречать восход солнца. Придем сюда завтра на рассвете?

— Но я условился с Азимовым...

— Обещаю вам, что в девять вы уже будете завтракать с ним.

— А как же Галка? — спросил Барсуков.

— О господи, всем известно, что я плохая мать. Я — кукушка, и моим друзьям приходится нянчиться с бедным подкидышем.

Вечер был коротким. Быстро выпили чай, потом пришел художник, показывал зарисовки новой фрески, спорили — может быть, все-таки не лев, а демон или даже несколько демонов. Но лев — тоже сюжетец вроде бы характерный. Ненадолго зашел начальник экспедиции — все тот же потрепанный пиджачок и шлепанцы, — но, ничего не сказав, снова ушел к себе. И все время — и пока пили чай, и пока рассматривали рисунки, и пока молчали вместе с начальником экспедиции — Ильин чувствовал близость Лары.

Постелили ему на веранде. Было темно и звездно. Только в одной комнате горело электричество, и Ильину в окно был виден небольшой канцелярский столлик, этажерка с альбомами и профиль Джаббарова, листавшего журнал с яркими фотографиями.

— Вам мешает свет? — спросил Джаббаров.

— Ну что вы. Просто слишком тихо. Я привык засыпать, когда за окном все грохочет.

— В молодости я засыпал сразу и в любой обстановке.

— Но моя молодость тоже уже прошла, — сказал Ильин.

— Сколько вам?

— Сорок три...

— Да, уже немало. Но все-таки это прекрасный возраст. В этом возрасте у меня родился внук. И как раз в это время я начал здесь. Двадцать семь лет прошло. У моего внука уже своя семья... Ну, спокойной ночи.

Свет в окне погас, на минуту стало так темно, как будто все провалилось, но потом и сад, и террасу осветила луна. Стало еще тише. Ильин чувствовал, что старик не спит, хотелось поговорить с ним. О чем — он и сам не знал. Да, конечно, в сорок три уже можно кое-что подытожить. Что же это получается? Значит, когда старик начинал здесь, он, Ильин, поступал в университет. А что будет со мной еще через двадцать семь лет? В древние времена верили гороскопам и, кажется, ни одного дела не начинали, не спросив звезду. Ну, вот, надо мной небо, полное звезд. Спросить их?! Но о чем? Выиграю ли я в понедельник дело в арбитраже? Но на это можно ответить и без звезд. А загадывать на двадцать семь лет вперед, — такого даже самые могущественные владыки не требовали от своих звездочетов.

Когда Ильин проснулся, небо было не звездно-черным, а серым, и казалось, что он пропустил момент, когда закрыли занавес. На соседней веранде позвякивали посудой. Лара готовила чай.

— Славное утро, — сказал Ильин, сев за стол и с удовольствием грея руки о пиалу. — Прекрасно выспался и не опоздал.

Лара засмеялась:

— Да, к моему удивлению...

К столу вышел и Джаббаров. Он был одет не повчерашнему, это Ильин сразу заметил. Красивый серый костюм, рубашка с большими модными запонками, широкий галстук в клетку и туфли на белом каучуке. «Странная перемена, — подумал Ильин. — И держится совсём иначе, какой-то легкий и стройный». И пока они пили чай, Джаббаров посмеивался над Ларой и называл ее «нашей милой Митрой» и уговаривал бросить медресе и мечети и работать в экспедиции. «Будете каждое утро встречать восход солнца».

— Пойдемте с нами, Фейсал Алимович, ну я очень, очень прошу вас!

— Нет, — сказал Джаббаров, — нет. — Он отставил пиалу, словно подчеркнув этим движением окончательность своего решения. — Больше я никогда туда не пойду. Все. — Он встал и любезно спросил Ильина: — Дать вам свитер? Там по утрам сильный ветер...

На раскоп Лара и Ильин шли пешком.

— Что с ним? — спросил Ильин.

— Не знаю... Возраст, наверное...

— Двадцать семь лет на одном месте!

— Да. А вы знаете, что Джаббаров не археолог? Он историк, нумизмат... Еще до того, как начал здесь, он уже был известным ученым. А сюда попал случайно. Здесь местные колхозники искали клад и нашли какие-то монеты. С этого все и началось. Джаббаров увлекся и доказал во всех инстанциях, что надо копать здесь. И создал эту экспедицию. Был он в то время и начфин, и завхоз, и первый стахановец, видите, я еще помню, как это называлось. А теперь ему семьдесят, и он каждый год решает: все, конец. Материала у него собрано на сто книг, но снова и снова тянет сюда... Не знаю, может быть, на этот раз и в самом деле решил..

На раскоп они пришли вовремя, солнце еще не показывалось, но Лара торопила: сейчас покажется...

Город еще больше, чем днем, напоминал фронт, траншеи перед рассветом казались черными, тишина молча указывала на рухнувшую эпоху.

Снова вышли на обрыв, к реке, взглянули на горы, но теперь, в утренних сумерках, нетрудно было поверить, что за этими холмами стоят Гималаи. И почти сразу стало подниматься солнце, вокруг него дрожали слабые бледные лучи. Но вскоре на небе появились розовые прожилки, лучи окрепли, а цвет солнца загустел и стал пурпурно-красным. Ильину казалось, что все свершилось невероятно быстро: только что солнце было всего лишь кусочком земли, и вот оно уже плывет небесным светиллом.

— Нравится? — спросила Лара. — Не жалеете, что пришли сюда? Ну, отвечайте же!

4

Они условились встретиться вечером, возле гостиницы. На бульваре уже толпилась молодежь, и было ясно, что именно здесь место вечерних свиданий. «Театр у микрофона», — сказал бы Касьян Касьянович.

Утро Ильин провел с Азимовым в машине. Осматривали гробницу знаменитого полководца, потом ансамбль мечетей — в прошлом место паломничества всех мусульман Средней Азии. Азимов оказался человеком образованным и любящим свой город. Но пока Азимов объяснял, что тайна старинных красок давно утрачена, но что за последние годы современные мастера достигли больших успехов, Ильин думал о Ларе и вспоминал предрасветные траншеи и солнце над Гималаями.

— Вы меня ждете?

— Как условились. Мне бы хотелось увидеть вечерний город вашими глазами.

— Вечерний город? Но я очень устала...

— Может быть, посидим в кафе?

— Нет, — сказала она неожиданно резко.

— Тогда пойдемте ко мне...

Поднялись на третий этаж. Мимо торжественной дежурной, через огромный холл с пятью диванами, тремя



торшеррами и телевизором — звук не то забыли включить, не то нарочно выключили, и на экране какая-то полная дама молча раскрывала и закрывала рот.

Вошли в номер. Ильин не успел снять плащ, как Лара прижалась к нему. Ильин поцеловал ее, но как-то неумело, по-школьному.

— Вы очень любите свою жену?

— Да, Лара, люблю. . .

Она не дала ему договорить:

— Муж изменял мне. Я была беременна, мне сказали, я узнала адрес, поехала. . . Лучше не вспоминать. Простите меня!

— Ну, что вы, Лара!

— Не делайте, пожалуйста, похоронного лица! Вам идет быть веселым!

— А в нашей конторе на этот счет строгий приказ: «Мы оптимисты». Это на всю жизнь, как говорится, «до упора».

— «На всю жизнь» — как скучно! Мне всегда хочется перемен. Позвонить своему начальнику и так, знаете, небрежненько: «Извините, но завтра я уезжаю на Мадагаскар». Вы бывали на Мадагаскаре? Нет? А где вы бывали?

— Восемь дней в Италии, в ГДР на конференции, а в прошлом году круиз по Дунаю.

— Мерси, мне такое не годится. Как минимум три реки: Нил, Енисей и Миссисипи.

— На своей яхте?

— Хоть на колесном пароходе! Как это можно — умереть и не увидеть Париж, Токио, Бомбей. . . И еще я хотела бы в Москву — пожить там долго и ходить с вами в театры.

— Вот это правильно!

— Звоню вам по телефону: у меня есть миллион, бросайте все! Но вы, дай вам хоть сто миллионов, все равно только пожмете плечами: завтра, ровно в десять, у меня совещание. Вы серьезный человек, я полюбила серьезного человека и страдаю.

— А я вот не умею страдать, — сказал Ильин. — Наверное, этому надо учиться. . .

— Поедемте вместе на Мадагаскар!

Ильин снова, очень осторожно, поцеловал ее. Но, це-

луя Лару, он думал: Иринка, Иринка! И его тянуло домой.

— Да, вы правы, нам не надо больше встречаться, — сказала Лара.

— Но я этого не говорил.

— Подумали. — Она подошла к зеркалу, поправила волосы, вынула пудреницу. Ильин увидел в зеркале ее измученное лицо, а рядом стоял какой-то упитанный мужчина в больших роговых очках. Учиться страдать! Не поздно ли? Наверное, поздно, да и зачем? Ему незачем, думал он, недоброжелательно глядя на свою внушительную фигуру. Почему-то особенно раздражали Ильина его феэргешные очки, и ужасно было жаль Лару. «Иринка не из тех женщин, которых жалеют, — думал он. — А Лара...» И от жалости у него болело сердце.

Вышли из номера, снова через холл, где за это время включили звук, и пожилой мужчина, поразительно похожий на даму, которая только что беззвучно открывала и закрывала рот, громко кричал: «Корма, корма, главное — корма!»

Мимо торжественной дежурной, мимо администратора, тоже глазевшего на них во все глаза, но не забывшего вежливо поклониться; из ресторана доносилась кабацкая музыка, и, хотя в дверях стояла очередь, Ильин через все головы видел оркестрантов на эстраде, ряженных, как черти, в красные смокинги.

— Так что вам показать напоследок? Покажу вам падающий минарет. Это чуть за городом, хотите? Мечеть почти вся развалилась, а минарет цел.

Электрические фонари горели только в центре, и вскоре начались глухие улочки, освещенные луной и слабым светом из окон. Дома здесь были одноэтажные, глинобитные, с плоскими крышами и стояли вплотную один к другому. Лара шла впереди, и Ильину казалось, что она подчеркнуто сохраняет расстояние между ними.

Чем дальше, тем пустынной становился город; перешли мостик через узкий желтый поток, теперь стены домов круто подымались в гору. Небольшая площадь с рядами и навесами, упряжка мулов с мордами, вызолоченными луной, белый конь, который сейчас, ночью, казался совершенно синим, как на вчерашней фреске, а в глубине стоял пятидесятиметровый ствол минарета: все, что пощадило время.

Здание мечети — и мощные устои пештака, и сам купол — давно рухнуло, но даже эти рухнувшие камни хранили величие былого. Луна высвечивала какие-то надписи, горевшие бирюзой и золотом, а там, где они стерлись, стал виден охристый грунт.

Но минарет был цел. Сверху донизу виден рубец, обнаживший кирпич, но он не коснулся самого тела башни, строительная кладка была жива, и Ильин с уважением смотрел на не тронутый временем жженный кирпич.

— Почему вы сказали «падающий минарет»?

— Сами почувствуете. В путеводителе: «Развалины культового здания» — и все. Подымите голову! Выше, еще выше! Ну как, кружится?

— Я вообще не страдаю головокружениями, — сказал Ильин. — Уж такой у меня вестибулярный аппарат...

— А у меня кружится... Но я часто прихожу сюда. Мой культ здесь.

— Культ? — переспросил Ильин.

— А вы думали!.. Культ времени! Прекрасная Елена была не только дочкой Зевса, но и внучкой Хроноса. Нет, серьезно, мы все знаем о нашей планете — и как она вертится, и когда перестанет вертеться, скоро все узнаем и обо всей Вселенной. Уже вычислен ее возраст. А что мы знаем о времени? Многим ли отличаемся от древних греков, которые бранили коварного Хроноса, пожирателя детей своих? Сколько богов перемолола современная наука, а дойдут до времени — и стоп. Ну, а там, где наука бессильна... Вы когда-нибудь думали о времени? Сейчас ученые всерьез поговаривают, что может быть, именно время — новый и неиссякаемый источник энергии.

— Да, я где-то читал об этом, но, по правде сказать, не задумывался...

— И зря. Обязательно думайте о времени, ищите разгадку. Но есть у вас такое место, где можно спокойно поразмышлять?

— В самом тихом месте Москвы сто транзисторов на сто квадратных метров. А главное, вы меня извините за плохой каламбур, нет времени...

— То ли дело я, — сказала Лара. — Встаю ночью, беру помело, и вот я здесь. И, как видите, никаких транзисторов. . .

— Я правильно вас понял, — спросил Ильин напряженно, — ваш культ — это поиски? . .

— Да, искать, обязательно.

— Цель — ничто, движенье — все?

— Вы еще ни во что не верите, а уже нашли ересь! Ну, хорошо, обойдем вокруг «культового здания», а то вас в Москве будут расспрашивать об этих развалинах, а что вы ответите? Что у вас под рукой не оказалось помела? И тогда что, выговор в приказе? Или, кажется, сейчас такие шутки поощряются?

Они прошли темной узкой тропинкой, почти касаясь камней. Сразу за минаретом начинался обрыв. Отсюда были видны городские огни, а в глубине полнеба было охвачено пламенем, там работал сталелитейный завод, тот самый, который был должен деньги конторе.

Ильин смотрел на городские огни, на пламя и думал о людях, которые разрабатывают удивительные теории. Время — источник энергии! Наверное, эти люди должны быть не только замечательно образованными, но и совершенно свободными и счастливыми.

— Идемте, пора, — сказала Лара.

— Да, да. . . — Ильин повернулся и чуть не вскрикнул: ему показалось, что минарет падает и сейчас вся башня обрушится на него.

Обратный путь шли молча, по-прежнему Лара впереди, а Ильин чуть сзади. Он еще не мог отделаться от ощущения опасности, которое только что испытал. Тяжесть этой падающей башни до сих пор давила на него, и мысленно он все время видел страшный рубец и обнажившиеся кирпичи, и от всего этого кружилась голова. Вестибулярный аппарат, по-видимому, совершенно разладился.

— До свиданья, всего хорошего, — услышал Ильин голос Лары, как будто издалека. Они стояли перед ярко освещенным зданием гостиницы. — Не поминайте лихом! В России ведь так говорят? Папа всегда говорил так. — Ильин угрюмо промолчал, и Лара повторила: — Не поминайте лихом!

Проснулся Ильин с одной мыслью: домой! Хватит с него и Согдийского царства, и тимуридов. «Культ времени! Зевс и Хронос!»

Что ж, осталось недолго: сегодня Азимов, завтра арбитраж, и через несколько часов — Москва. Все-таки хорошо, что еще не двадцать первый век, когда нажал кнопку — и дома. Пять часов полета — минимум для человека, кое-что здесь пережившего. Но когда это он успел напереживаться? За три дня? Три дня, всего три дня. . .

Но сколько б он мысленно ни повторял: три дня, всего три дня, и какое бы насмешливое звучание ни придавал этим всего трем дням — факт оставался фактом: именно за эти дни было кое-что пережито. Он старался думать только о Москве и о своем близком возвращении, а вспоминал медресе, падающий минарет и лунную дорожку, по которой они шли вчера. И хотелось вернуть эти три дня, и было жаль, что все уже позади — и встреча с Ларой, и праздные мысли об энергии времени.

Он перелистывал бумаги, подготовленные Азимовым. Дело было бесспорным. Да это ему было ясно еще в Москве. Азимов и сам мог бы защищать интересы местного отделения на завтрашнем арбитраже, но Касьян Касьянович именно в таких бесспорных случаях посылал Ильина. Раньше было иначе, Ильин любил запутанные ситуации, но Касьян Касьянович только посмеивался над «юридической казуистикой». Хватит, этим пусть занимается Мстиславцев, а ты потребен на большее. Большим он считал уменье своего помощника ориентироваться в «глобальных ситуациях» и быстро на них реагировать.

Такой «глобальной ситуацией» было предстоящее слияние двух родственных контор. Вопрос еще не был решен и только готовился, и многое зависело от поведения самой конторы. Касьян Касьянович определил свой стратегический план как «пассивное сопротивление», но потом заменил его другим, более отвечающим моменту: «активная оборона».

Азимов устроил праздничный обед. Ильин, конечно, знал, что Средняя Азия славится своим гостеприимством, но и в Москве гостевание давно уже свелось к обе-

ду или к ужину, и самого Ильина в этом смысле перешибить было трудно. Он не был чревоугодником, отнюдь, но Иринка неизменно придумывала для гостей разные вкусные штучки. Жены сослуживцев бледнели от зависти, но, как известно, зависть — чувство низменное и не способствующее пищеварению, и Иринка простодушно выдавала свои кулинарные секреты, а жены, овладев ими, не только прощали ей всякие там сверхсалаты, но еще и благодарили за передачу своего опыта. И перед очередными гостями Иринка только коротко спрашивала: большой разворот или малый?

Справа от Ильина сидел Азимов, еще правее — необычайно костистый старик, директор не то мебельного, не то коврового комбината, слева — красавец мужчина из горисполкома, пьющий только минеральную воду и с тонкой улыбкой слушающий застольные речи; напротив — знакомый Ильина по многим встречам в Москве умнейший Каюмов, и еще какой-то гололобый дядечка, обжора и балагур, о котором было сразу заявлено, что Аким Кузьмич не признает ни должностей, ни званий (может быть, именно поэтому он так хорошо помнил все имена и отчества руководящих работников конторы и поднимал рюмки за их здравие и благополучие). Жена Азимова и невестки только хлопотали по хозяйству, да и сыновей тоже не было видно. Но Ильин не стал задавать лишних вопросов: Восток!..

Обед разворачивался не спеша, закуски прошли под анекдоты, показавшиеся Ильину необыкновенно пошлыми, хотя он их сам в Москве с удовольствием рассказывал. Просто он был раздражен, а раздраженного человека не радуют ни бокальчики, ни знаменитая форель.

Его расспрашивали о Москве и делились своими впечатлениями. Все не раз бывали в столице, и у всех было что вспомнить. И номер-люкс, пусть вынужденный — не было ординарных, — но все же люкс, и неожиданная удача — билет на Таганку, а то и в Большой на Плисецкую. Имена назывались без зубоскальства, никто не рассказывал глупых баек об артистах, да и тосты были умеренными, но Ильина сердили и тосты, и имена.

— А как вам понравилась новая повесть в «Нашем современнике?» — спросил гололобый и засмеялся, хотя ничего смешного в его вопросе не было. А смеялся он

над собой, над тем, что вот он, обжора и балагур, задал вдруг литературный вопрос.

— Хорошая и дельная повесть, — сказал Ильин и стал защищать повесть, на которую никто не нападал. — Многие подмечено верно, вольно же некоторым принимать на свой счет.

Ильин говорил, как всегда, легко и зажигательно. Все-таки, пока он держал речи, можно было не думать ни о встрече с Ларой, ни о падающем минарете, ни о своем университетском прошлом, когда он и представить себе не мог, что пройдет двадцать лет и он вместо криминалистики будет под руководством Касьяна Касьяновича заниматься этими самыми «глобальными проблемами».

Когда Ильин кончил, гололобый снова захлопотал. Поднимать бокальчики было его делом, все выпили, и костистый директор осторожно заметил:

— Нашел очень интересного художника. Народный умелец. Но наш национальный орнамент абстрактен... — В последней фразе было не столько утверждение, сколько вопрос, и Ильин сразу же на него откликнулся:

— Почему же нет? Простите, но я просто не понимаю людей, которые восстают против абстрактного орнамента, не давая себе труда подумать...

И пока он говорил, у него растаяло куриное заливное. Впрочем, заливное пропало у всех: Ильина слушали внимательно.

С прикладного искусства перешли на более локальные темы. Всех интересовала женитьба Эдуарда Юрьевича Мстиславцева. Надо же, убежденный холостяк! А как поживает завкадрами, уважаемая Елена Ивановна? А новый первый зам? Всех — и красавца из горисполкома, и костистого директора — интересовали конторские дела, да оно и понятно — только с помощью конторы можно было достать в Москве этот самый люкс, и билет на Таганку, и модный мебельный гарнитур, и хотя положение Азимова, который всего только заведовал местным отделением, было весьма скромным, нетрудно было заметить, что именно конторские дела связывали всех, кто был зван сюда.

— Так все-таки сливают две конторы в одну или нет?

Внесли плов. Ильин чувствовал себя непомерно сытым, но отказываться было нельзя, вопреки всем прави-

лам ему дали ложку, плов оказался адски горячим, и в это время Каюмов негромко, но очень отчетливо спросил:

— Надеемся, Касьян Касьянович остается?

— Разумеется, — ответил Ильин и сразу услышал тишину.

Все теперь были заняты пловом и только пловом, никто больше не интересовался ни Таганкой, ни «Нашим современником». И литература, и театр исчезли в тумане рисовой Фудзиямы.

«Значит, главным блюдом сегодняшнего «гала» был мой ответ Каюмову, — подумал Ильин. — А все остальное, в том числе и абстрактная живопись, подавалось как гарнир».

Он был противен самому себе; противно было и его столичное умничанье, и разбор повести, которую он так и не дочитал. «Как же я мог, — думал Ильин. — Как же я мог...»

Уже и гололобый взывал к ложке Ильина, и красавец из горисполкома сказал, что нельзя обижать хозяина; Ильин ткнул ложку в плов, но она в нем так и застряла.

«Я — это они, а они — это я...» — вспомнил Ильин, встал и вышел из-за стола.

Сначала никто не понял, что он уходит, потом все повскакивали, решив, что человеку дурно. Азимов взглядом усадил гостей, взяв Ильина под руку, провел в соседнюю комнату.

— Эсфирь, — крикнул он куда-то в темноту, — воды! Ничего страшного, — говорил он, делая какие-то знаки жене. — Наверное, гастрическое, все пройдет, надо только прилечь...

— Не надо, — сказал Ильин, прислушиваясь к беспокойным возгласам. Он знал, что все еще можно спасти, прилечь на четверть часика, а потом снова выйти к столу и все обратить в шутку: «Мы, москвичи, народ хлипкий и не привыкли к таким пирам...» Все, все можно было еще уладить, но он упрямо повторял: — Не надо, Азимов, голубчик, миленький, не сердитесь, все уже хорошо, и печень у меня здоровая, но отпустите меня. Акклиматизация? Да, да, вот именно...

Все-таки гололобый выскочил провожать, а потом снова поскакал к столу, и Ильин слышал, как он радостно сообщил:



— Акклиматизация! Акклиматизация, и ничего больше. . .

Все это уже было Ильину безразлично. «Кончено, — думал он, — кончено, кончено, кончено. . .»

Он быстро дошел до центра. Почтамт, купеческая мечеть, залитая ювелирторговским светом, гостиница. Он шел уверенно, шагал крупно, чувствуя душевный подъем.

Продолговатый азиатский дворик. Витая каменная лестница.

— Это телепатия, — сказала Лара. — Я как раз думала о вас. . .

— Лара! — Он рывком обнял ее. Он был так счастлив, словно только что преодолел целый материк или поднялся на вершину Эвереста.

— Откуда вы? — спросила Лара. — Что с вами? От вас пахнет вином. Вы пьяны?

— Нет, я не пьян, — сказал Ильин. — Я. . . я счастлив, что снова вижу вас. — У него на глазах выступили слезы, он был умилен и растроган собой. — Обедал у Азимова и сбежал. . .

— Сбежали?

— Хотя бы изредка человек должен поступать так, как это ему хочется.

— Но там были гости! Послушайте, вы ж их кровно обидели. . .

— Не все ли равно! Слушал их разговоры и думал: я такой же, как они. . .

— Нет, так нельзя, так нельзя. . . — повторяла Лара. — Кто ж там был?

— Какой-то красавец из горисполкома. Молчаливый и томный.

— Это Махмудов. Отличнейший человек! Когда я развелась, он мне помог с жильем. Да его у нас все уважают. Кто ж еще?

— Какой-то. . . что-то по поводу абстрактной живописи, мебель или ковры.

— Знаю, знаю, мы с ним вместе учились в институте. Он всем нам годился в отцы, но ведь это сделала война. А Каюмов? Вы же сами говорили, что он умный и образованный человек.

— Да, да, конечно, все умные и образованные люди, — сказал Ильин, иронически пожимая плечами. — И этот гололобый тоже умница и тоже уважаемый. . .

— Гололобий? Какой еще гололобий? О, господи, это же Шалов-Ребус. Фамилия такая. Аким Кузьмич. Он был артистом, понимаете — *был*. Раньше, давно. А потом Азимов взял его к себе. . . Вы когда уезжаете?

— Завтра.

— Я как-то привыкла к мысли, что мы больше не увидимся.

Ильин, не отвечая, поцеловал Лару, понимая, что если он сейчас этого не сделает, то навсегда ее потеряет.

— Увидимся, обязательно увидимся! Не знаю, как это будет, но будет, — сказал Ильин. — А сейчас я должен думать о том, *как* я буду жить в Москве. Хочется, Лара, жить иначе. . .

— Что? — переспросила она, занятая своими мыслями.

— Я говорю, что не могу и не хочу жить так, как жил раньше. Мой дед был молотобойцем на Пресне, его уважали, после революции предлагали ответственные должности, но он от всего отказывался. Там я родился, говорил он о своем заводе, там и умру. Мой отец стал кадровым военным. Он страстно любил свой полк, еще до войны командовал полком, дело знал, и я думаю, что командовал бы и дивизией, а то и армией. Но все сложилось иначе. Он вывел полк из окружения, отличился под Москвой и погиб осенью сорок первого. Мне недавно прислали экземпляр истории этого гвардейского полка, там об отце есть прекрасные строчки. А я? Вы скажете, что кто-то должен работать в нашей конторе и что я занимаюсь не пустяками, а важным делом. Да, важным для конторы. А для меня? Так вот и пройдет жизнь?

— Как-то я вас не представляю себе ни молотобойцем, ни военным. И потом. . . вы же сами выбрали юридический.

— Да, юридический. В молодости я мечтал стать адвокатом. Мне снился Плевако, на меньшее в то время я был не согласен.

— А что, это было бы вам к лицу! Ясно вижу, как вы говорите речь на каком-нибудь громком процессе. Жена застрелила мужа из ревности, а вы ее защищаете. Я приезжаю в Москву, прихожу в суд в самый разгар вашей речи. . .

— Нет, главное — это не речь. Главное — это люди. Быть среди них, узнавать их горести, научиться понимать людей — да ведь это прямая обязанность интеллигентного человека, а ведь я считаю интеллигентом. Готовить речь, читать книги. . . Вот вы говорите — «Елена Прекрасная», а передо мной мелькает оперетта. Подумать только, что я никогда не читал «Илиаду»! Я хватался перед вами, что мне скучен Чехов. Но ведь это от стыда за то, что не читаю, а *просматриваю* книги. Представляете себе Плевако, который *просматривает* «Смерть Ивана Ильича»? . .

— Вы мне будете писать? — спросила Лара.

— Да, конечно, обязательно! И вы мне пишете, я очень буду ждать!

— Поцелуйте меня. . .

Ильин обнял ее и вдруг почувствовал, что она слабеет. У него сразу стала ясная голова: «Нет, только не это». Ильин хорошо знал свой голос, натренированный и уверенный: «Нет, только не это». На такой голос вполне можно было положиться.

На следующий день он уехал в Москву. С утра был арбитраж, такой короткий, что даже сам Ильин удивился. Всего несколько слов пришлось ему сказать, — впрочем, дело конторы было правое, и все понимали, что заводу пора погасить свою задолженность. С Азимовым Ильин держался особенно предупредительно и любезно и, смеясь, вспоминал о своей вчерашней неудаче. Азимов вежливо сказал, что вчера вечером тщетно пытался дозвониться к нему в гостиницу.

— Акклиматизация, акклиматизация. . . — повторил Ильин и предложил пообедать вместе в аэропорту.

Ресторан находился на втором этаже. Взяли столик у окна, но отсюда были видны только самолеты и взлетная полоса. Ильин заказал шашлыки, дорогие закуски и какое-то особенное вино. После обеда Азимов передал Ильину сеточку с фруктами для ханум Ирины Сергеевны. В другое время Ильин обязательно бы ее отклонил, но сейчас всего важнее было снова не обидеть Азимова, и он взял сеточку, решив, что сразу же по приезде в Москву сделает посылку Эсфири. В последнюю минуту пришел Каюмов, но только успели перекинуться словом, как объявили посадку.

Прощались весело, но, когда самолет взлетел и опрокинул здание аэропорта, и ресторан, и дорогие закуски, а под крылом оказалась зелено-бурая степь, Ильин почувствовал, как горло перехватила сухая судорога.

6

Он вернулся в Москву с таким чувством, словно не был здесь целый век. Даже не верилось, что еще совсем немного — и он дома, увидит детей, Иринку. . . Самолет бесконечно вырубивал по бетонной дорожке, потом долго ждали трапа, моторы заглохли, вокруг слышалось гудение большого аэродрома, блестели огни, тихо переговаривались стюардессы.

Наконец подали трап. Ильин побежал на такси, но у выхода увидел знакомого водителя, известного в конторе как Большой Игнат.

— Карета подана! — Большой Игнат любил докладывать в старинном стиле: «Лошади готовы», «Извозчик свободен».

Вечер был чудесный, дорога шла через лес, неярко блестел последний снег, слышался запах легкого апрельского морозца. Большой Игнат рассказывал новости: когда решался вопрос о слиянии, Касьян Касьянович на каком-то сверхважном заседании сказал: «Нож в спину!», и эта реплика вызвала одобрителный смех и повернула дело на сто восемьдесят градусов, то есть в пользу полной самостоятельности.

Еще несколько дней назад Ильин слушал бы все это с большим интересом, но сейчас его мысли были далеко.

Проехали Царицыно, показалась Москва, до дому оставалось всего ничего. . . Наспех он попрощался с Большим Игнатом, наспех кивнул лифтерше, вязавшей теплые рукавички. И хотя у Ильина был ключ, он все-таки позвонил. Хотелось услышать знакомые шаги за дверью. Господи, какое счастье, что он там ничего *такого* не натворил. Как бы он сейчас угрызался!

Шаги. Иринка, знакомый халатик; он так к ней прижался, что Иринка быстро зашептала:

— Нельзя, что ты. . . Ты сумасшедший, дети не спят. . .

И верно — Милка и Андрей уже бежали к отцу, потом вчетвером, с трудом отрываясь друг от друга, пошли

в кухню, где был накрыт праздничный ужин. Да, прямо скажем, после столовой самообслуживания... Впрочем, был пир у Азимова, ты же, наверное, Азимова помнишь? . .

Поужинали. Ильин приласкал детей, взглянул на часы и покачал головой: спать, спать! Но Андрей требовал рассказов о Средней Азии, а Милка что-то журчала о своем экзамене в музыкальной школе, она была девочкой способной и прилежной, на все у нее хватало времени, а насчет музыки у Иринки была честолюбивая мечта: консерватория. А вот Андрей... У того всегда столько двоек... . .

Но всему свой час. Андрей уснул тут же за столом, уткнувшись в отцовскую руку, Милка уже несла полную чашь... . .

Ночью он проснулся от ощущения полета. Все было, как всегда: Иринка рядом, шторы на окнах, сквозь щелку — полоска света, скрипят тормозами такси, все так, словно бы он и не уезжал отсюда, словно и не было древнего медресе и еще более древнего всадника, копьем поражающего льва.

Но все это было — Лара, быстрые ее вопросы и неловкие поцелуи, не принесшие радости.

И что же? — спрашивал себя Ильин. Значит, надо было буркнуть Иринке «Доброй ночи!» и поставить раскладушку на кухне? И хотя раскладушка выглядела нарочито глупо, он продолжал спорить сам с собой, как будто боялся, что эта первая ночь в Москве способна вытрясти из него все, что он пережил и передумал там, — и Гомера, и недовольство упитанным человеком в феэргешных очках, и боль, о которой нечего дискутировать, а надо хоть один раз почувствовать... . .

— Ты почему не спишь? — спросила Иринка.

— Я сплю, сплю, — ответил Ильин, дотронулся до жены и уснул.

Будильник, утро, душ, гренки, Милкины косички, глупейший, какой-то допотопный Андрюшкин ремень... Мелькает халатик, жужжит бритва.

— Иринка, мне надо поговорить с тобой.

— Обязательно, ты только скажи, в каком направлении мне думать.

— В направлении меня, — сказал Ильин смеясь. Набрал по телефону 100 и услышал: 8 часов 28 минут,

До конторы было недалеко, и Ильин, как всегда, шел пешком. Сегодня вся служивая Москва была на улице, даже большие начальники отказались от машин: после мартовской кутерьмы, холодного дождя вперемежку со снегом, вдруг стало тепло и сухо.

Все было прекрасно в это утро: и сама Москва, и сизый асфальт, уже успевший высохнуть, но еще не успевший размякнуть, веселый уличный шум, тот особенный московский шум, когда невозможно различить, кто с тобой поздоровался, а кто тебя обругал, справа переключка на электрогрелки, слева — на «Доброго человека из Сезуана», наспех брали марки с юбилейными портретами, газеты, пирожки, эскимо, мимозы, хлопали двери телефонных кабинок, сговаривались, пересмеивались, поздравляли с наступающим, хотя до праздника было еще далеко, выпрашивали двушки, и все это двигалось и перемещалось — мимозы, пирожки, двушки, а по реке шел свежевыкрашенный пароход, разгоняя случайные льдинки.

Ильин сердился на себя за то, что никак не может сосредоточиться, а подумать есть о чем, и именно сейчас, на свежую голову, но серьезные мысли все не шли, и он только глазел по сторонам, чувствуя себя частью этого бурного весеннего потока.

А ведь он умел сосредоточиваться на важном. В конторе говорили, что он мастер развязывать узелки, но сейчас ни один узелок не развязывался. Он попробовал прокрутить пережитое: Лара, «боль лечит», студенческий дискуссионный клуб, старый Джаббаров, который начал новую жизнь в сорок три года, и умнейший Каюмов, глядевший на Ильина поверх рисового вулкана. Прокрутить эту ленту ничего не стоит, но разобраться невозможно, нет никакой монтажной связи.

Он зашел в автомат и позвонил Саше, на заводе начинали в восемь. «Приезжай ко мне после работы: — «Почему из автомата?» — «Ну, почему, почему: поговорим. . .»

Теперь стало проще — один узелок можно было не трогать до встречи с приятелем. И покатился обычный день. После командировки дел накопилось уйма. Мстиславцев пустил веселый слух, что Ильин изменился до неузнаваемости, из всех отделов потянулись взгля-

нуть на него, и все спрашивали, почему он не в камин-лавке и привез ли соленые орешки, ах, не сезон, ну-ну. . .

Касьян Касьянович вызвал его почти сразу и сказал не здороваясь:

— Выиграл хорошо и чисто. Первый о тебе спрашивал, хочет разговаривать. Ну, позиция ясная: зачем сливать, ежели через год все равно разольют.

Но под конец рабочего дня он снова вызвал Ильина:

— Так что у тебя?

— Терпит до завтра, — сказал Ильин. — Личное.

Касьян Касьянович засмеялся:

— Значит, я все-таки угадал. Черные очки надевай, когда вызываю.

Саша приехал в шестом часу, слонялся по коридору, перечитал полдюжины стеновых газет и наконец засел в буфете.

Ильин считал Сашу неудачником. Да так оно, наверное, и было. Предсказывали человеку немислимые высоты, а все кончилось каким-то зачуханным заводиком, где Сашу не бог весть как и ценили. Ему бы высчитывать траектории для спутников, а он планировал болты и гайки. И в личной жизни Саше не везло. Первая жена оказалась просто шлюшкой, а Люся — умница и очаровательная женщина, с которой Ильин когда-то вместе учился на юридическом, — была очень больна и часто лежала в больнице. За последний год — трижды. Туберкулез, кровохарканье. Похоже, человек обречен. И вечно Саша обедал в дрянных буфетах, пальто носил одно и летом, и зимой, но не унывал, и тягостно с ним никогда не было.

Ильин пришел в буфет, когда Саша приканчивал картофельный салат.

— У тебя вид, как у городничего, — сказал он Ильину. — «Я пригласил вас, господа, чтобы сообщить неприятное известие. . .»

— На это еще как посмотреть, Саша. . .

— Давать выкладывай, я сегодня тороплюсь.

— Здесь? А впрочем, почему бы и нет? Пока Мария Григорьевна перемывает всю посуду. . . — Ильин покрутил головой, посмеиваясь над жалкой декорацией: чахлая пальма, розовенькие клееночки, стойка с дежурными пончиками и хеком. Он никогда здесь не обедал, у Марии Григорьевны была неплохая скатерть-самобранка, на ко-

торой кормились сотрудники по списку, утвержденному, как говорил Касьян Касьянович, «до рождества Христова».

— Саша, я хочу уйти из конторы, — решительно начал Ильин. — Постой, постой, — продолжал он, хотя Саша молчал. — Я понимаю твой вопрос. Ведь мне, как говорится, здесь не дуется. Да, да, вы все, и ты в том числе, так думаете. Но, может быть, как раз и нужен сквозняк?

— Сквозняк? — переспросил Саша. — Это что-то новое у тебя или... очень старое. Но уж если покидать Ясную Поляну, то хоть по крайней мере иметь под рукой железнодорожное расписание.

— Не остри, — сказал Ильин, очень недовольный Сашиним ответом. Он понимал, что его решение уйти из конторы не будет встречено сочувственно. И в самолете, и ночью он думал, что впереди объяснение с Иринкой, совершенно к этому не подготовленной, и с Касьяном Касьяновичем. Тот уж тем более ни на какой «сквозняк» не откликнется, но Саша... — Извини, — сказал Ильин, — но я как-то не думал, что ты начнешь дурачиться: Ясная Поляна и все прочее. Для меня это слишком серьезно.

— Не знаю, чего ты ждешь: возражения или поддержки, — сказал Саша. — Если возражений, то вот что я скажу: ты талантливый аппаратчик. И не ищи в этом слове ничего для себя обидного. Аппарат — это не ругательство. Современное общество не может существовать без хорошо налаженного учрежденческого аппарата. Да и положение твое здесь... Это не то что моя Люся, которая столько лет корпит в своем НИИ: вам полагается двадцать четыре дня отпуска, а вам не полагается... Ты же здесь... фигура!

— А ты подумал, как я себя чувствую, работая здесь этой самой... фигурой?

— Так, значит, нужна моя поддержка? Пожалуйста. Ты человек честный и, однажды спросив себя: а могу ли я продолжать дело, которое мне не по душе? — ответил: может быть, и могу, но не должен. Аплодисменты. Горячее одобрение всего зала.

— Неужели же я ни для чего больше не гожусь? — спросил Ильин тихо, потому что вошла буфетчица с чистой посудой и стала убирать стойку. — Что, если попро-



бовать себя в адвокатуре? Разве ты не помнишь, как мы мечтали... Я — об адвокатуре, а ты...

— Ну, меня ты оставь, — сказал Саша. — Я всем доволен. А вот буфет сейчас закроют.

Вышли на лестницу, Ильин вызвал лифт и сказал:

— Конечно, ты прав. Ничего обидного в слове «аппаратчик» нет. Вот я съездил в Среднюю Азию, выиграл дело для конторы. Но другой бы тоже выиграл. Заводу тут податься было некуда, эти деньги давно наши... — И пока они спускались в лифте, и потом, внизу, в пустом вестибюле, Ильин развивал свою мысль, что и Мстиславцев бы выиграл: дело бесспорное. — А если я буду защищать человека, понимаешь, человека, а не учреждение, то это перевернет и мою собственную жизнь.

В это время пришла дежурная машина, и Ильин сказал: «Поехали!»

— Но я не домой, я к Люсе.

— Садись, садись, — сказал Ильин, — заталкивая Сашу в машину. — Как она?

— Было совсем плохо, а эти дни, кажется, лучше, но кровохарканье, ничего не могут поделаться. Она ведь знаешь как — все близко к сердцу. Там у них в НИИ чепе — растрата, или как это теперь называется... Ну, не в самом НИИ, в экспериментальном цехе, какой-то жулик. Может, знаешь, у вас ведь верхи знакомы.

— Нет, не знаю, — сказал Ильин. — Начальника цеха Сторицына вроде помню, но смутно...

— Вот, вот, говорят, что и он замешан.

— Ты позвони мне вечером, есть у меня один замечательный профессор, легочник...

— Профессора и там смотрят...

— Все равно позвони, все-таки свежий глаз.

«Бедняга», — думал Ильин, простившись с Сашей. Он думал о Саше, о Люсе, о своем неудавшемся разговоре. А еще предстояло поговорить с Иринкой. Если бы Саша как-то более определенно поддержал, было бы легче. Иринка Сашу любит и всегда прислушивается к его словам.

«С другой стороны, ведь он ничего против не сказал и, что самое важное, не тронул прошлого», — думал Ильин, слушая Иринкины шаги за дверью и привычно погружаясь в домашнее тепло.

— Помоги Андрею, — сказала Иринка, целуя мужа. — Тяжело ему по русскому. . .

Ильин и сам это знал, они уже говорили: явно надо взять парню репетитора. Корову через «ять» пишет.

— «Мария Антоновна колола дрова в лесу, а ее муж кормил домашнюю птицу — кур и гусей», — диктовал Ильин, слушая, как за стеной льются Милкины гаммы.

— Папа, возьми меня в Ташкент, — неожиданно сказал Андрей.

— Ты что, в какой Ташкент?

— Ну, где ты был сейчас. . .

— Разве ты не знаешь, что я не был в Ташкенте?

— Ну, все равно, в Средней Азии. Возьмешь?

— Я туда больше не собираюсь.

— У Сереги Балашова отец в Мурманске живет, так Серега к нему уже три раза ездил.

— Ты что, хочешь, чтобы и я жил не в Москве?

— Я к примеру сказал. . .

— К примеру! Учиться надо — вот что я тебе, Андрей, скажу. Смотри, ты пишешь «кармила», а надо от слова «корм». Если так дело будет продолжаться, ни в какой институт не поступишь.

— Папа, а я в армию хочу. . .

Ильин не нашелся, что ответить, но в это время вошла Иринка:

— Это же иждивенчество, сам пусть остальное доделает.

Сразу же после обеда Ильин стал рассказывать Иринке о своих «мыслях в дороге». Рассказывал обстоятельно и даже сказал о вещах «грубо материальных»: очень возможно, что при таком варианте придется расстаться с кое-какими благами.

— Ну что ты, Женя, разве в этом деле? По-разному бывало, вспомни, с чего начинали.

Это была их любимая тема. Они поженились и два года жили в коммунальной квартире. И Милка там родилась. В те времена каждая новая вещь в доме была событием. «Помнишь тот сервиз, розовый с лилиями, я оставила одно блюдечко, чтобы всегда напоминало».

— Да, да, по-всякому бывало. И я очень благодарен тебе. . . Но сейчас. . .

— А что сейчас? Сейчас время самое подходящее. Ты знаешь, я в тебе это давно замечала, но не знала,

говорить или нет. Боялась испугнуть. Зерно должно прорасти, верно?

— Да, да, — сказал Ильин, — это очень верно. Значит, ты все-таки замечала? Действительно, у тебя какой-то особый дар.

— Но конкретно адвокатом — нет, об этом я не думала. А что сказал Саша?

— Да так, ничего, отшутился. Ему сейчас не до этого. . .

— Бедная Люся! Завтра же ее навещу. . . Так, значит, адвокатом? — повторила Иринка.

— Пойми, — снова развивал свою мысль Ильин. — Вот я работаю в своей конторе. . .

— Но я давно уже поняла тебя, — сказала Иринка с той шаловливой улыбкой, которая напоминала Ильину многие приятные минуты.

— Значит, ты не против? — спросил Ильин, теперь уже только для того, чтобы удержать Иринкину улыбку.

На следующий день был Касьян Касьянович. Он слушал Ильина, поигрывая на своем черно-белом коммутаторе, как пианист на немой клавиатуре. Было видно, что он старается проникнуть в самую суть вопроса: что же заставляет Ильина бежать из конторы? Может быть, какая-то случайная обида? . .

— Может, новый зам? Но ты его и разглядеть-то не успел, он и меня-то вызывал к себе всего два раза, и оба раза по пустякам. . . Кто?

— Касьян Касьянович, я даю вам свое честное слово. . .

— Честное слово. . . Честными словами вымощена дорога знаешь куда? Да нет, — спохватился он, решив, что Ильин может действительно обидеться. — Я твоему честному слову абсолютно верю.

— Я знаю, что вы много сделали для меня, — сказал Ильин, — и ценю. Но после нелегкой внутренней борьбы. . .

— «После нелегкой внутренней борьбы. . .» — это откуда?

— Что значит — откуда?

— Классика или наши? Щипачев?

— Никого я не цитирую, просто по-человечески хотел сказать. . .

— «После нелегкой внутренней борьбы» двадцать лет назад ты ко мне пришел, и, кажется, не было повода пожалеть.

— Да, скоро двадцать лет, можно сказать, юбилей...

— И справим, как положено! Непонятно мне, что тебе там такое светит? Прення сторон! Неужели же ты сам не понимаешь, что сейчас другие времена. Наговорились, хватит...

— Ну, если за красноречием ничего нет, кроме желания самого себя показать, то оно, действительно, никому не нужно, но если факты объединены мыслью...

— Читал я и об этом. «В порядке обсуждения». Было. Понимаешь, не хочется держать тебя силком, но ты прежде подумай: здесь ты все-таки человек. С большой буквы! А там? Я, Женька, хочу тебе добра. Извини, что так по старой памяти зову, но вроде ты зашел ко мне один на один посоветоваться... Неужели же и впрямь мы тебе, Евгений Николаевич, крылышки подрезаем? Кажется, все усложня... Воспарить хочешь? А если с этих небес падать придется? Кто поддержит? Касьян? Слушай, а что, если я тебе вне очереди сделаю Пицунду? Там сейчас чудо, отдохнешь, птичек послушаешь, а? — Но Ильин молчал, и Касьян Касьянович нахмурился. — Может, решил — мол, первого зама поменяли, как бы и до нас, грешных...

— Ну уж нет, — сказал Ильин. — В кого, в кого, а в вас я верю: вы звезда незакатная...

— Конечно, — рассуждал Касьян Касьянович, — и там есть люди. Аржанов, например. Много полезного сделал человек.

— Аржанов! Я начинаю с нуля...

— Ничего себе «с нуля»! Да тебя вся Москва знает. И уж если я тебя отпущу, то не нулем, а единицей. А все-таки давай Пицунду и юбилей...

— Я уже решил, Касьян Касьянович.

— Черт его знает, как это у тебя там устроено. Вроде бы и крепкая башка... Значит, «после нелегкой внутренней борьбы»?

Ильин все-таки вспыхнул:

— Я докладывал вам, что это не цитата и что я...

— Те-те-те... Ты первого видел мельком, а я с ним все-таки беседовал. Кое-что понял. «После нелегкой внутренней борьбы...» — это ему годится,

Касьян Касьянович сделал немое глиссандо на своем телефонном коммутаторе, и Ильин подумал, что все его страхи были напрасными: Иринка, Касьян Касьянович... Шлюзы для весеннего паводка открыты.

7

В конторе к Ильину относились по-разному. Он был самым молодым из старой гвардии, и одно это делало его судьбу заметной. Все знали, что Касьян Касьянович привязан к Ильину, дорожит его мнением и чаще всего поступает так, как он советует. Но одни смотрели на это одобрительно: у Ильина голова хорошая, надежный человек, а другие недовольно пожимали плечами: везунчик...

Когда узнали, что он уходит, все вместе заахали. Строились самые невероятные предположения, вплоть до падения самого Касьяна Касьяновича. Но когда поняли, в чем дело, удивились еще больше. Двадцать лет человек проработал. Им были довольны, да и ему не на что было жаловаться: и положение, и все условия... Перечислялись многие ильинские привилегии. Кто-то даже вспомнил, что у него жена красавица, хотя уж в этом-то, конечно, не было никакой заслуги конторы.

Адвокатура... А это зачем? После того как Ильин привык мыслить миллионами, защищать какого-нибудь карманника?

Кажется, Елена Ивановна Кокорева первая сказала, что давно замечала за Ильиным склонность порассуждать ни о чем. Типичное адвокатское... Но тут мнения разделились. Говорили, что Ильин парень не промах и не из тех, кто меняет шило на мыло. Но другие утверждали, что Ильин всегда был прожектором.

Сам Ильин был слишком занят, для того чтобы обращать внимание на эти пересуды, но Иринка, как всегда, правильно отреагировала (Касьян Касьянович давно презвал ее «аккумулятором») и сказала, что надо дать отвальную. Ильин попробовал возразить, но уже был и список составлен, и, кажется, даже люди приглашены.

Наступил день прощания с конторой. Ильин обошел все отделы и был искренне тронут: старушки из бухгал-

терии преподнесли ему букетик, а в машбюро Татьяна Васильевна пыталась сказать несколько прощальных слов, но заплакала и выбежала из комнаты. Ильины включили Татьяну Васильевну в список приглашенных, но потом решили, что это может поставить ее в неудобное положение: вокруг одни только ее начальники.

Отвальная удалась. Но все заметили, что Касьян Касьянович больше молчал, чем веселился. Он пришел с женой, высокой крупной дамой в шиньоне, отчего она казалась еще выше и крупнее. Была у нее привычка часто встряхивать головой, и в конторе ее давно уже прозвали Конь. Конь развлекалась, как умела, и даже спела старинный цыганский романс под аккомпанемент Мстиславцева. Ирринка, почувствовав, что Касьян Касьянович не в духе, подседа, пыталась разговорить, но даже и ей это не удалось. Касьян Касьянович пил боржом и только под конец попросил рюмку водки и пирожок. А на следующий день наблюдательный Мстиславцев сказал, что под стать Касьяну Касьяновичу был и хозяин дома. Подпевал и подливал больше для приличия. Но понять можно. Сказано в романсе, который пела Конь: «Впереди неизвестность пути...»

Мстиславцев не ошибся. Ильин и подпевал, и подливал, как-никак он был хозяином, но отвальная напомнила ему обед у Азимова, только без знаменитого плова. Тогда он сбежал, а теперь бежать было некуда, тогда он клялся Ларе, что начнет новую жизнь с понедельника, а теперь понедельник начинался завтра. И как военачальник, которому предстоит битва, он ждал подкрепления — письма от Лары. Но письма не было.

Он уже привык к окошечку «До востребования», и к тихой очереди, и к молоденькой почтарше, причесанной под «колдунью» и работавшей возмутительно медленно. «Колдунья» начальственно требовала документы, брезгливо кривила аленький ротик, и все покорно ждали, что она шлепнет на прилавок — письмо или пустой паспорт. И казалось, что там, в этих ящиках от «А» до «К» и от «К» до «С», находится что-то запретное. Ильин внутренне клокотал, но не решался шуметь, того только не хватает — привлечь к себе внимание.

- Ильин, имя-отчество?
- Евгений Николаевич...
- Вам пишут!

«Если завтра не будет письма, дам телеграмму», — решил Ильин. Прямо с почтамта он поехал в коллегию адвокатов и был без проволочек принят членом президиума.

— Поздравляю вас, Ильин, вы хорошо прошли, почти все «за», и даже были восклицательные знаки. Жаль, что наш председатель в отпуске. Особенно запомнилось выступление Василия Игнатьевича Штумова.

Ильин промолчал.

— «Мой студент» — это для такого человека, как Штумов, много значит. И хорошо сказал Аржанов, как всегда красочно...

— Да, удивительно. Мы совсем не знакомы.

— Ну, за вами стояли сильные люди!

Ильин нахмурился:

— Как это понять?

— Очень просто. Со мной, например, беседовал Касьян Касьянович, и я, конечно же, обещал поддержать. Чем вы недовольны? Не каждого ценят так, как вас там ценили! Ну, к делу: консультация в Старокривинском переулке. Устраивает?

— Как прикажете, — сказал Ильин, чувствуя себя задетым. Начинать с протекции — вот уж чего он не ожидал.

— Не забудьте, — сказал член президиума мягко, — что вы теперь и мой протеже.

— В студенческие времена я в этой консультации проходил практику, и мне приятно...

— Значит, замetano. С Федореевым я еще вчера говорил. Он там заведует.

Подумать только — та самая консультация! До сих пор не забылось студенческое лето... Чем он там занимался? Кажется, ничего существенного, бумаги подшивал, а осталось какое-то удивительное ощущение причастности к *делу*. И еще фотография Штумова, подаренная Ильину: «От твердо уповающего...» На что он мог уповать тогда? На фотографии Штумов выглядел библейским пророком — величественная борода, огненный взгляд, — а был он человеком простым, общительным, любящим молодежь, любящим пошутить, посмеяться и, кажется, одного только не прощающим — неискренности. На это у него был абсолютный слух.

Та самая консультация! Но узнать ее мудрено. Тогда это был крошечный флигелек, осевший от времени, напротив полуразрушенная церквушка, во дворе какой-то склад, машины, подводы, пахнет стружкой и водочкой, неловко перед людьми. . .

Но и следа не осталось от старого флигелька. Построен новый дом. Напротив золотые купола — церквушка-то оказалась настоящим сокровищем. От троллейбусной остановки сюда можно пройти и переулком, и новым парком, — беседки, розарий. . .

И все-таки Москва есть Москва: несколько старых домов повалили совсем недавно, и теперь консультация оказалась в центре строительной площадки, так что с одной стороны благодный экскурсионный репродуктор, а с другой — диспетчер дает указания механизаторам на вполне современном и весьма вольном русском языке.

Федореев встретил своего нового адвоката ослепительной улыбкой. (Благодаря золотым коронкам заведующего консультацией прозвали «Все золото мира».) Ильин никак не мог вспомнить, где они познакомились — то ли на банкете, то ли на похоронах. Всего реже Федореев звучал в судах и всего чаще — на юбилеях и панихидах. К этому уже настолько притерпелись, что никто больше и не говорил: «Как адвокат Федореев — ничто», а просто знали, что он заведует то одной, то другой консультацией, благо в Москве их великое множество.

«Все золото мира» еще раз сверкнул улыбкой и постучал в стенку:

— Готова кабинка для адвоката Ильина?

— В очередь с Пахомовой. . .

— Вы, кажется, больше цивилист, так я о вас наслышан? — спросил Федореев. — И, полагаю, хотели бы начать с тех дел, которые. . .

— Я хочу начать с главного, — сказал Ильин и, приоткрыв дверь, показал на адвокатские кабинки. — Мой учитель, Василий Игнатьевич Штумов, говорил, что главное там. . .

— И совершенно справедливо, — подхватил Федореев. — Но! Но те времена, когда мы слушали курс Василия Игнатьевича, давно прошли, так сказать, канули в Лету. Тогда, действительно, адвокаты искали интересные дела там, — и он сверкнул своей золотой улыбкой в сторону кабинок, — Нынче же интересные дела ждут



вас здесь, — и Федореев улыбнулся своей чернильнице. Но, кажется, он сам был несколько смущен остротой и поднял руки, словно сдаваясь.

— Начнем? — нетерпеливо спросил Ильин.

«Все золото мира» снова засверкало, и вслед за ним и Ильин вышел в приемную. «Колтунов Георгий Николаевич», — читал он на дверях кабинок фамилии адвокатов. «Слиозберг Михаил Владимирович», «Васильев Иван Петрович», «Пахомова Варвара Павловна»...

— Ваша напарница, — сказал Федореев. — Вы сами, надеюсь, договоритесь, кто в какую смену... — Он приоткрыл дверь в кабинку. — Прошу!

Крохотная комнатка. За столом пожилая женщина с резкими калмыцкими скулами, напротив нее ерзает сильно накрашенная девица.

— Немедленно закройте дверь! — сказала Пахомова.

— Но я хотел представить вам...

— Потом, потом, — сказал Ильин. — Послушайте, это же неудобно.

Федореев закрыл дверь:

— Честно говоря, характер у нашей Варвары Павловны...

— Я поверчусь здесь и сам потом познакомлюсь.

Вертеться ему пришлось недолго. Раскрашенная девица выскочила, и Пахомова кивнула Ильину.

— Вы там привыкли к своему столу. Ну, а у нас один на двоих. Правая сторона моя, левая — ваша. Есть еще ко мне вопросы?

— Есть. Почему вы со мной так разговариваете? В чем я провинился?

— Но Федореев вам, наверное, уже сказал, что у меня «нестерпимый» характер. О вас он сразу поведал: «А знаете, кто будет теперь работать в нашей консультации?»

— Очень остроумно. А не выпить ли нам где-нибудь по этому поводу кофейку?

— Если вы согласны лазать со мной по задним дворам, то через пять минут мы будем сидеть в «Солнышке».

В кафе Пахомова энергично пробилась к столику, за которым уже обедали трое.

— Еще два стула, — скомандовала она официантке. — Знакомьтесь, ансамбль «Три мушкетера» — Колтунов, Слиозберг и Васильев. А это тот самый Ильин.

Представьте себе, настолько демократичен, что сам предложил выпить кофе.

Мушкетеры торопливо закивали. Они сидели в большом процессе и сюда заскочили в перерыв.

— Ну как? — спросила Пахомова, весело оглядывая «ансамбль». — Люди не именитые, зато работающие...

— Ладно, Варя, — весело сказал Колтунов, и в самом деле напоминая своим атлетическим сложенным Портоса. — Мишу Слиозберга в газете пропечатали, а ты говоришь — неизвестные солдаты...

— Вот как! Поздравляю...

— Да уж прямо есть с чем, — сказал Слиозберг, вероятно благодаря своим тонким усикам прозванный Арамисом. — Представляете, — обратился он к Ильину, — городишко, которого и на карте нет. А уж доехать по распутице — разве что вплавь. Ну, я поехал только потому, что старый клиент. Еду, ночую в Доме колхозника, утром судебное заседание, сто пятьдесят четвертая, судья, надо вам сказать, умнейшая женщина, ну и заседатели отнюдь не канделябры — вопросы и все прочее, все мои ходатайства удовлетворяют, ну и, словом, три года, и, представьте себе, без конфискации. Уезжаю в наилучшем настроении, а вдогонку — извольте, — он вынул помятую газету. — Сейчас я вам зачитаю...

— Седьмой раз, Миша, помилосердствуй, — сказал Васильев, который в этой компании, очевидно, был Атосом.

— Вот, прошу: «Возмутители спокойствия». Это заголовок. «В течение ряда лет...», ну это все беллетристика. Вот, пожалуйста: «Все выступление адвоката Слиозберга свелось к выгораживанию преступника...» Каково?

— Да плюнь, береги здоровье, — сказал Колтунов-Портос. — Они бы, конечно, предпочли: «Адвокат Слиозберг в своей блестящей речи поддержал прокурора по всем пунктам и потребовал для подсудимого максимального наказания...»

— А что бы посоветовали вы? — спросил Слиозберг Ильина.

— Наверное, письмо в газету, объяснить функции сторон, ну и потребовать опровержения.

— В газету? — переспросил Васильев-Атос. — Ну, это вы меня рассмешили! Да и кто будет печатать опровер-

жение?.. К тому же у них сейчас сев, и так они еле-еле выделили для суда пятьдесят строчек.

— А я уже послал, — сказал Слиозберг. — Какое мне дело до их сева?.. Не ответят — я в «Соцзаконность» отправлю.

— В этом я вполне вам помогу, — сказал Ильин и вдруг почувствовал, как вокруг замолчали.

— А у вас там что, крепенько? — поинтересовался Васильев.

— Ну, товарищи, если Евгений Николаевич берет-ся... — вмешалась Пахомова.

— И хорошо, и мерси, — сказал Слиозберг, — а сейчас побежали. До завтра!

— Мушкетеры! — весело сказал Ильин, глядя им вслед.

— А вы думали, земля на одном Аржанове держится? Обслужи-ка нас поскорей, — попросила он официантку и прикрикнула на шумевшую рядом компанию.

— Варвара Павловна, ваше здоровье! — За соседним столиком поднялся какой-то парень, похожий на взъерошенного петушка.

— А ну по местам, это еще что!

В «Солнышке» сразу стало тише. Петушку, кажется, еще хотелось высказать что-то задушевное, но он больше не решился.

— Клиентура бывшая и будущая, — засмеялась Пахомова. — Ну, заказывайте. Только учтите — де воляй здесь нет.

Подали гуляш с макаронами, и Ильин сказал:

— Второй раз за сегодняшний день слышу — Аржанов, но так толком о нем ничего и не знаю.

— Еще успеете познакомиться! Хотя, надо сказать, он нас особым вниманием не балует, редко заглядывает в консультацию... Дела берет только избранные. Но для вас, я думаю, тот же порядок заведут!

— Пожалуй, кое-что в этом вопросе будет зависеть и от меня, — сказал Ильин.

— Вы что это надулись? Новичка следует в первый день подразнить!

«Новичок... Первый день», — вспомнил Ильин, спускаясь в метро. Как-то он иначе представлял себе свой первый день. Но в конце концов, надо же было оформиться, вряд ли в самом оформлении есть что-то увле-

кательное. И все-таки он иначе представлял себе свой первый день.

«Может быть, я так прирос к своей конторе, что шага без нее не могу сделать? Как сказал бы Касьян Касьянович: «Мы — это государство, а они — свободные художники».

Но мушкетеры Ильину понравились. И Пахомова — тоже. «А вот для них я барин с тросточкой. Слиозберг тянется по распутице к своему старому клиенту, а в это время Ильин тянет коктейль в рижском ресторане. И в то время как Ильин осматривает восточные храмы, Пахомова таскает свой тяжелый портфель, а у нее флебит, этот венозный венчик так и выпирает из чулка».

Но чем же он виноват, что он человек здоровый, а Слиозберг слабак, это видно сразу, — Арамис слабак... Анкета анкетой, а Ильин немало вез на себе. Бывало, что контору крепко покачивало, и тогда приходилось работать ночами. Стелил себе в кабинете и сваливался только под утро.

И вдруг пронзительно остро он увидел свой пустой сейф, и вокзальная суета вчерашнего прощанья коснулась его. А завтра большой день, с Урала прилетел представитель... Все-таки странно, что все это уже его прошлое. И его рабочий стол, и сейф, и уральский поставщик...

«Человечество расстается со своим прошлым смеясь...» — вспомнил Ильин. Неглупо сказано, ох как неглупо. Но сейчас он не чувствовал себя способным ни смеяться, ни радоваться. Какая-то чугунная усталость вдруг навалилась на него. Это несвойственно человечеству в целом, но с отдельными людьми случается часто.

8

— Ильин, имя-отчество?

— Евгений Николаевич... — (Неужели же снова: «Вам пишут»?)

Но в это время «колдунья» бросила на прилавок паспорт с письмом. Ильин быстро сунул его в карман, поискал глазами надежный угол, и только нашел, как «колдунья» снова его остановила:

— Ильин, вы что, глухой, вам еще есть! — и выбросила на прилавок еще два письма. Ильин схватил письма и побежал в намеченный угол, но его уже обскакал какой-то рябой парень. Так и не найдя угла, Ильин стал кружить вокруг высоких бюро, нарезанных, как торт, на равные доли. Минут через пять кусок торта освободился, и Ильин кавалерийским наметом захватил его и стал читать письма. Письма были без даты и больше походили на записки.

«...Едва вы уехали, как я сразу стала думать о нашей будущей встрече, и хотя, наверное, она никогда не состоится, я все-таки о ней думаю и жду».

«...Столько работы, что к вечеру просто угораю. Добираюсь до детского садика, забираю спящую Галку, дома она просыпается, я готовлю нам ужин, бегу в булочную, мы делимся новостями, то есть новости всегда только у нее».

«...Сегодня была экскурсия ленинградских кинематографистов. Я старалась, как могла, после подходят, благодарят, даже гвоздики преподнесли. И знаете, за что? Оказывается, я не упоминала династий и не перечисляла царей. Хорошенькое дело: ведь это моя прямая обязанность».

«...Надеюсь, что ваши среднеазиатские грезы растаяли уже в самолете и вы вернулись таким же монументальным, каким я вас увидела первый раз у медресе. Не сомневайтесь — я заметила вас сразу, так сказать, персонально. И до сих пор спрашиваю себя: неужели же Вы, *Вы* разобрались в моих провинциальных понедельниках, да еще примерили их на себя? Зачем? ...»

«Монументальность» и «среднеазиатские грезы». Значит, все-таки она ему не поверила. Просто посмотрелся гробниц и всякого такого, что потом с удовольствием смотрят друзья на слайдах.

И тут же на почте он написал письмо.

«Дорогая Лара!» Обращение ему не понравилось. «Дорогая», «дорогой» совершенно обесценены поздравительными открытками. «Дорогой друг!» — лучше, но как-то уж очень литературно. «Милый друг!» — того не легче. «Добрый день, Лара» — школа, девятый класс.

«Милая Лара! Мой понедельник начался во вторник на прошлой неделе. Пока еще ни разу не выступал и

только сегодня принял первую защиту. Хочу привыкнуть к людям. Днем прием, а вечерами зубрю кодекс...»

Письмо ему не понравилось, и он начал заново:

«Милая Лара, я очень ждал Ваших писем, сегодня вознагражден — сразу три. И как раз в самые переломные (и в самые трудные) дни». «Вознагражден...» А это выскочило откуда? Да еще и скобки, бр-р-р!.. И почему «самые трудные» — ведь только-только начало.

Лариных писем он не только ждал, но и боялся: вдруг какая-нибудь лирическая чепуха... Что тогда? Но эти коротенькие записки ему понравились, а вот отвечать на них было трудно.

Милая Лара! Работаю в консультации. Работы много. Учусь. Пришла ко мне вчера одна старушка. Нет пенсии, а пенсии нет потому, что всю жизнь растила детей, потом внуков. Я был счастлив, что могу начать так: закон говорит... А закон говорит неукоснительно в ее пользу, и я, согласно закону, написал заявление в суд на алименты. Ей осталось только подписать. Что бы вы думали — ни в какую! «Это что же выходит, это значит, я на Ляльку и на Любку — в суд!» — «Позвольте, говорю, с их стороны это бессовестно!» — «Нет уж, нет, чтобы я, да на своих детей...»

На следующий день другая старушка. Я уже был поосторожней. У нее домик под Москвой. Собственно, теперь-то он в черте города, но мы привыкли эти места считать дачными. Муж парализован, один свет в окне — сын. Безумно им гордится: постоянно на доске Почета, не пьет, не курит и отдает всю зарплату. Она мне показывала фотографию, в самом деле симпатичный паренек. Но вот беда — женился. И не в том беда, что женился, а в том, что уже разошлись — как говорится, не сошлись характерами. И вот бывшая жена из домика уезжать не собирается. Работала она штукатуром, была в Москве прописана временно, а теперь постоянно. А парни уже повалили, боже упаси, никаких пьянок, ничего такого, строго до одиннадцати, но сами понимаете... Так отселить! Но куда? Разменять? Да кто в их халупу поедет! Остается одно: ждать, пока халупу снесут и всем дадут хорошее жилье. Это по плану через три года. Для молодых — не срок, сын уже решил податься куда-то на стройку, ну а для стариков? Я просто

физически чувствую, как они утомлены всем этим и как боятся, что вот сын уедет, а они останутся со своей бывшей невесткой... строго до одиннадцати...

Но надо было поторапливаться, вечером Ильины позвали гостей — мушкетеров с женами и Пахомову. Эту встречу с новыми коллегами затеяла, конечно, Иринка. «Ведь это же так естественно, — убеждала она Ильина. — Да, наконец, я хочу взглянуть на людей, с которыми ты теперь работаешь». И, как всегда, Иринка взяла верх, и теперь надо было поторапливаться. Но сейчас Ильин думал не о гостях, а об этой халупе в черте города. Неужели же так ничего и нельзя сделать для стариков?

Недалеко от почты работал старый его приятель Ильюша Желваков. Этот умеет находить тропинки... Чем черт не шутит, надо позвонить, нет, лучше всего, как говорил Касьян Касьянович, «братъ живьем». Ильин еще раз взглянул на часы: половина шестого, пожалуй что и успею.

Ильюша встретил его отлично, расцеловал, выслушал и, пока слушал, делал пометки в блокноте.

— Так я правильно понимаю, Женя, что *очень надо*?

— До зарезу!

— Постараюсь.

— Спасибо!

— Я перед Касьяном Касьяновичем вот так в долгу!

— Нет, Касьян Касьянович здесь ни при чем, — сказал Ильин. — Это моя личная просьба.

— Родня? Нет? Ладно, нечего со мной темнить. Я с десяти вопросов что хочешь угадываю. Такая игра: ты загадываешь кого-нибудь, ну, допустим, Наполеона. Начинаю. Двадцатый век? Нет. Деятнадцатый? Да. Европа? Да. Искусство? Нет. Наука? Нет. Военное дело? Полководец и не Россия — значит, Наполеон. Все! С семи вопросов. А теперь скажи: дом хороший, эта резиденция загородная? Нет, нет, это не вопрос, это я вслух сам с собой разговариваю. Развалюха? Ну, какой бы ни был, если в черте города, то я не царь, не бог и не герой. Послушай, в порядке дружбы, вы ж с Иринкой образцово-показательные, неужели же?..

— Ты предлагал с десяти вопросов, — сказал Ильин, смеясь и немножко любуясь веселой Ильюшиной энергией.

— Сдаюсь, ну, сдаюсь, все! — закричал Желваков. — Только скажи правду. Скажешь правду, я тебе десять старух переселю. Пусть меня потом где угодно секут.

— А ведь обманешь, сошлешься на вышестоящие, пиши расписку!

— Какая может быть расписка... Ты, Жень, возрождаешь самое мрачное средневековье. Кто это мне на днях говорил о тебе, и как раз в том смысле... Ну, в том смысле, что вот Ильин вроде и умный человек... Слушай, это не ты подался в адвокатуру?

— Ты бы мог выиграть с первого вопроса.

— Ну и ну, ну ты меня потряс! И ты смеешь приходить ко мне с этими самыми адвокатскими штучками. Стража! — крикнул Ильюша сдавленным шепотом. — Вяжите его!

Но Ильин больше не откликнулся на шутки.

— Слушай, сделай мне это. Ну пойми, старики просто погибнут. Парень может податься на любую большую стройку, а старики...

Он вышел от Желвакова в седьмом часу. В конце Моховой садилось солнце. Пока нырял по тоннелям, вся плавка была выдана, и небо начало остывать. Пахло весной, сумерками. Ильин свернул на улицу Герцена, и, когда дошел до Консерватории, зажглись фонари. Стало быстро темнеть, но в глубине, за Никитскими, небо было бледным и чистым. И, глядя на этот кусочек бледного и чистого неба, Ильин думал, что сегодня в его жизни началось то новое и важное, о чем он говорил Ларе после своего бегства от плова: быть полезным людям, но не отвлеченно, не вообще народу, а конкретному человеку, и если Желваков ничего для стариков не делает, то Ильин будет и дальше стараться, уж что-нибудь да надумает, все-таки Москву он знает, да и Ильина знают в Москве, это Касьян Касьянович верно сказал.

Он пришел домой, когда гости уже собрались. Но, кажется, они не очень без него скучали. Иринка, все Иринка! Она умела создать атмосферу близости и простоты. Мушкетеры к тому же были давно и прочно знакомы домами. «Чем-то они друг на друга похожи», — весело подумал Ильин.

Жена Колтунова, туго затянутая в талии, с бисеринками пота на черных усиках, стеснялась и ежеминутно краснела. Ее дружески поддразнивал Слиозберг, назы-



вая почему-то «камрад Колтунова». (Позднее выяснилось, что она преподает испанский язык.) Фаня Слизберг, стоматолог, хорошенькая, подвижная, одета была в немисливо яркое заграничное платье. Надежда Ивановна Васильева, хохотушка, остренькая на язычок, была старше всех — две дочки и внуки. Слизберг называл ее дважды бабушкой, подливал ей вина, и она довольно быстро затуманилась. Пахомова пришла одна. Ильин знал, что муж много старше нее и вечерами редко выходит из дому.

Мушкетеры веселились и никаких других сверхзадач не ставили. Они любили выпить, потанцевать и обожали рассказывать анекдоты. Васильев за какие-нибудь полчаса напел чуть ли не весь репертуар Высоцкого. И пел хорошо, броско, не фальшивя, как и надо петь такое.

А в танцах первым был Колтунов. Никогда у Ильиных не танцевали — места мало, да и не для того приходили. За ужином больше обсуждали дела, Иринка жаловалась, что «заседание продолжается».

Мушкетеры все же нашли пяточок для танцев, Иринка тоже танцевала. Она когда-то кончила балетную студию при каком-то Доме культуры. Глядя на нее, Ильин думал, что она от всех отличается — пластична, женственна, и ему хотелось поскорее остаться с ней вдвоем.

— А вы вашу семью не пустите по миру? — негромко спросила Пахомова.

— По миру? — весело переспросил Ильин. — Ну, до этого еще не дошло.

— Дойдет, и очень скоро, — пообещала Пахомова. — Если не начнете работать по-настоящему. Вы ж еще ни в один процесс не сели! А что вы там своими бумажками наковыряете?

Ильин промолчал.

— На каждого клиента по часу тратить, нет, так нельзя!

«А вот это мое, сюда я никого не пушу!» — подумал Ильин.

— Знаете, Варвара Павловна, я ведь привык мыслить в миллионах рублей, так мне теперь до ста трудно считать.

— Господи, да что это вы такой неспособный! Ну, возьмите какое-нибудь легонькое совместительство.

— Есть у меня! Лекции я читаю... Впрочем, спасибо, подумаю...

В одиннадцать Иринка подала кофе, но только стала разливать, как позвонил телефон. «Сашка, — подумал Ильин. — Наверное, что-нибудь с Люсей...»

Но это звонил Касьян Касьянович.

— Шел мимо, вижу свет в окнах — значит, не спят. Ну, ежели не спите, я зайду?

— Да, конечно, конечно... — сказал Ильин несколько растерянно.

Касьян Касьянович был нередким гостем, случалось, обедал, случалось, ужинал, но в такой поздний час... И как это «шел мимо»? Только дело могло привести его сейчас к Ильину. Надо, надо было сказать о гостях, очень может быть, что Касьян Касьянович совсем не настроен слушать буги-вуги...

Но был уже звонок в дверь, и Ильин пошел открывать.

— Э-э! — сказал Касьян Касьянович те самые слова, которые Ильин и ожидал. — Э-э, так у тебя гости... — Он уже снял с себя свой старенький макинтош, который кто-то из конторских остроумцев окрестил «плащом Гарпагона».

— На юридическом языке, — сказал Ильин, — это называется создать себе железное алиби. («Уму не постижимо, что я болтаю», — подумал он.)

И, как всегда, выручила Иринка. Она была искренне приветлива с Касьяном Касьяновичем и, кажется, не могла понять, почему его поздний приход может вызвать замешательство. Снова появилась закуска, водка и портвейн «три семерки».

— Беленькой и пирожочек, — говорил Касьян Касьянович, усаживаясь. — Я человек старый, мне на ночь много нельзя.

Мушкетеры сразу притихли, а Пахомова откровенно нахмурилась. Выходило так, что Касьян Касьянович испортил вечер. «Черт знает что такое, какая-то «несовместимость»...» — думал Ильин.

— Танцы продолжают, — шутовско возвестил он и поставил самую громкозвучную пластинку — знаменитую «Принцессу».

Но и вертеться на пяточке, Ильин все время прислушивался к Касьяну Касьяновичу, бранил себя за это, но прислушивался.

— Не знал, что гости, не знал... За ваше здоровье, Ирина Сергеевна, за здоровье присутствующих.

«Какое у него белое лицо, — думал Ильин, пока Фаня учила его делать замысловатые па. — Белое, нездоровое, наверное оттого, что мало бывает на воздухе, все машина да кабинет...»

Мушкетеры быстро допили кофе.

— Фаня, — сказал Слиозберг, — пора!

— Господи, раз в кои веки в приличный дом попали, и на тебе — «пора»! — дурачилась Пахомова. — Дайте хоть такси вызвать!

— Мы тебя, Варя, проводим! — хором прокричали мушкетеры. — Не беспокойся, Варя!

«Ну и пусть уходят, — думал Ильин. — Чем он им помешал? В конце концов, это человек, с которым я проработал двадцать лет, и никому не дано право...» Но сердился он на Касьяна Касьяновича.

— В следующий раз у меня, — говорил Колтунов, прощаясь.

И Иринка бодро ему ответила:

— О-бя-за-тель-но!

Когда Ильины вернулись в комнату, Касьян Касьянович закусывал вторым пирожком. Прожевал, вытер губы.

— Коллеги?

— А что, не понравились? — спросил Ильин с вызовом.

— Да вроде ничего народец, немножко мелковат для тебя, вроде ты к другому привык...

— То есть как это «мелковат»? Что-то я вас не понимаю...

— Женья! — сказала Иринка.

— Ах, оставь, пожалуйста. Слово сказано, и я хочу знать...

— Ты хочешь поссориться со мной, — сказал Касьян Касьянович, подойдя к окну, из которого открывался вид на Москву. — Зачем? Я и сейчас могу быть тебе полезен, ты это знаешь... Но скажи, ты для чего от меня ушел, чтобы плавать — как? Мельче или глубже?

— Мельче, глубже, как вы это странно понимаете...

— Ну, извини, я понимаю правильно: надо начинать работать. Ваши соображения, Ирина Сергеевна? — спросил он, как, бывало, спрашивал на планерке.

— Работать? — переспросил Ильин. — Как это «работать»? Разве я мало работаю, вы что, оба смеетесь надо мной? — продолжал Ильин, объединяя Касьяна Касьяновича с молчавшей Иринкой.

— Ну, что с ним делать! — весело сказал Касьян Касьянович и отошел от окна, видимо сожалея, что вместо спокойного созерцания Москвы ему придется сейчас объяснять азбучные истины. — Да, работать. Гости твои — милые люди, но тебе незачем к ним приспосабливаться. Вот, например, портвейн. Чего-чего, а крепленого в вашем доме я никогда не видел, извините, Ирина Сергеевна...

— Нет, пожалуйста. Я думала, что жены...

— Это все хорошие, честные люди, — сказал Ильин. — Настоящие работяги. И я хочу быть таким, как они...

— Невозможно, Женя. Все мы из одного материала сшиты, но у каждого закройщика свой покрой. Вот так, с утра до вечера, и будешь сидеть со своими богаделками, кого куда из развалюхи расселять? («Идеально поставлена разведка», — подумал Ильин.) Надо брать по крупнее! Какая у тебя программа, если не секрет?..

— Да нет, почему же. Как раз сегодня принял первое судебное дело. Молодой парень с овощной базы, грабеж... ну, грабеж еще надо доказать.

— Все ясно, — перебил его Касьян Касьянович. — Значит, полпуда гороха?

— Касьян Касьянович, — сказала Иринка, — у Жени доброе сердце.

— С этим добрым сердцем я бы не только двадцать лет, двух бы дней вместе не проработал! — Он снова подошел к окну, взглянул на Москву и, как будто увидев что-то новое, спросил уже совсем другим тоном: — Вы где нынче отдыхаете?

— В этом году у Жени, видимо, пропадает отпуск...

— Тиран Падуанский! И детей морите?

— Андрей в пионерлагере, а Милка уже у бабушки, в Крыму...

— Тиран, тиран, — повторил Касьян Касьянович смеясь. — Да, вот что, Женя, я хотел с тобой по старой памяти посоветоваться, — сказал он без всякого перехода. — Нет, нет, Ирина Сергеевна, вы нам не мешаете... Заезжал ко мне сегодня старинный приятель. Есть в его

деревне НИИ, и завелся в том НИИ жулик. Жулика посадили, а он там на честных людей брешет. Все. Понял?

— Почему же нет. История с начальником экспериментального цеха Сторицыным очень неприятна. Этот Сторицын подписывал липовые документы. Фамилия жулика — Калачик. . .

— А вы говорите — сердце, Ирина Сергеевна. Нет, Женя, бросай своих богаделок. Но в чем формула?

— Вас интересует только Сторицын?

— Жулье пусть горит синим пламенем!

— Если ненадлежащее выполнение служебных обязанностей, причинившее существенный вред государству, то можно рассчитывать на исправительные по месту работы, с удержанием, конечно. А если корысть, то пятерик усиленного режима, и это при самом благополучном исходе. . . С вас рубль, Касьян Касьянович.

— Рубль?

— В любой консультации так бы взяли.

— Касьян Касьянович, — сказала Иринка, — чай давно готов.

— Умница, спасибо! Золотая у тебя жена, Ильин. . . А рубль ты на меня запиши.

9

Ильин брился на кухне, положив перед собой папку с делом, которое знал наизусть. Папченко, Михаил Евсеевич, разнорабочий овощной базы, пятьдесят первого года рождения, не судим, образование семь классов, не женат, привлекается по статьям таким-то. . .

Вошла Иринка, еще сонная, в новом летнем халатике. Халатики — вообще ее стиль, как-то она их особенно умела носить.

Ильин быстро выпил чай, досадуя, что время уходит, на улице еще раз взглянул на часы: да, пора. Если бы время не поджимало; он бы, может быть, и вернулся. Так уже бывало. Кто там? Водопроводчик, мадам, не сопротивляйтесь!

Метро, троллейбус и еще несколько остановок на автобусе. «Да нашей тюрьмы не так просто добраться», — острил Миша Слиозберг.

У входа Ильин сразу увидел Аржанова, распекавшего какого-то усатого железнодорожника.

— Право, сидели бы лучше дома, если выходной. Вдвоем там делать нечего. Да вас и не пропустят, и не думайте. — Увидел Ильина и приветливо помахал ему рукой. — Впервые в нашу обитель? У вас что?

— Да, так... сто сорок пятая.

— Ну, значит, быстро. И я тоже постараюсь не задержаться. Давайте на эфтом самом месте, договорились?

На втором этаже Ильина ждал следователь, на вид еще совсем мальчик, спортивный, живой и такой весь отутюженный, что не хватало только теннисного корта и сетки с мячами. И почти сразу привели Папченко.

— Миша, присаживайся, — сказал следователь доброжелательно. — Познакомься со своим адвокатом. Вроде мы с тобой все закончили... Я полагаю, товарищ адвокат, что мне лучше не мешать вашей беседе... — И легко, по-спортивному вышел из комнаты.

Ильин сел рядом с Папченко и открыл дело.

— Нам сейчас предстоит с вами...

Но Папченко его перебил:

— Сигаретки не найдется?

— Да, пожалуйста, пожалуйста, берите... Оставьте себе всю пачку...

Папченко закурил, пуская дым колечками, нарочито не глядя на открытое дело.

«Какая неприятная манера кривить рот! — подумал Ильин. — И какой-то он весь вялый». Эта вялость особенно бросалась в глаза по контрасту со спортивным следователем.

— Ваш отец, Евсей Григорьевич, просил меня взять вашу защиту...

— Надо же, богач нашелся, — сказал Папченко, потушил недокуренную сигарету, размял окурочек и вытащил новую из пачки.

— Вы можете отказаться от меня хоть сейчас...

— Чего же отказываться... А вообще — замели, все, обратного хода нет.

— Ну, так вопрос не стоит, — сказал Ильин. — Вы, конечно, понесете наказание, но суд исследует все обстоятельства дела. Так что давайте работать... Ну-с, эпизод первый: избивение гражданина Харитоновна.

— Не бил я этого говнюка, — сказал Папченко.

— Одного вашего заявления мало. Потерпевший был освидетельствован, да и в пикете вы сразу признались,

вот, пожалуйста: «Съездил пару раз по будке...» Так? Ваша подпись...

— Пьян был, вот и показывал, трезвый бы не под-писал.

— «В пьяном виде» — против вас. Это вам надо сразу понять. Если тут что-то неверно записано, вы мне скажите.

Папченко повторил все то, что Ильин уже знал. Выпили компанией, еще выпили, в двенадцатом часу ночи отправились к железнодорожному тупичку. Там, в тупичке, стоял вагон с «чернилами» — дешевым плодоягодным вином (проводники продавали прямо с тамбура). Тут же, около вагона, встретили гражданина Харитонова, отняли у него четыре рубля и кепку и велели молчать, а то, мол, не кепку, а голову потеряешь. Снова выпили.

— Не бил я его, — тупо повторял Папченко, — он сам драться полез.

— А что, Харитонов разве тоже был в нетрезвом виде? Нигде это не отражено...

— Да он после банки еле на ногах держался. А деньги — да, взяли, сказали, что отдадим.

— Взаимы, что ли?

— Ну!

— А вы раньше были с ним знакомы?

— Его у нас все знают. Поганый мужик.

— Тут сказано: «с компанией». Это что, с ваших слов?

— Ну!

— Эпизод второй: капуста.

По документам следствия Ильин узнал не больше, чем от отца Папченко. Водитель Кравец сказал, что, мол, есть такая беспризорная капуста, подогнал машину, взяли, погрузили и нарвались на первого же гаишника. Кравец стал хныкать — маме везем, а Папченко признался — хотели продать. Оцениваются кочны на ничтожную сумму, и десятки не набегают...

— Я говорил с овощной базой, — сказал Ильин. — Учтите, на поруки они не хотят.

— А, пошли они... — сказал Папченко, потушил сигарету, размял окурок, взял новую и зашептал: — Ребята берут на себя...

— Какие ребята?

— Да ну, здешние. Вовка и Альберт Ширковы. Они там одну девчонку поприжали, им все равно.

— Ясно. Только я вам не советую. С этими вовками и альбертами вы еще в худшую историю попадете. Вы в одной камере сидите?

— Ну!

— Так вы и в камере старайтесь подальше. Вы отвечаете за вами содеянное, они — за свое. С точки зрения защиты, я ваше дело представляю примерно так...

Через полчаса они попрощались, и Ильин спросил:

— Отцу что передать? Я его завтра увижу.

— Папаше? Да вроде бы ничего... Пусть там носом не хлюпает. И чтобы на суд не шел. Делать там ему нечего. Увижу — признаюсь, что человека зарезал.

В коридоре Ильина ждал Аржанов.

— Да что же это такое, — с комическим возмущением восклицал он, пока спускались вниз. — Жду, жду... Ну что? Какой-нибудь мордобой, дела всего на три шестьдесят две, угадал?

Ильин засмеялся:

— Не ошиблись! Но статьи предъявлены серьезные, дело мне кажется интересным.

— Увольте, не понимаю. Ну, будь вы неофитом, но Ильин, *Ильин* берется защищать какого-то дебила, и ему это очень интересно... Минуточку, кажется, здесь Штумов... Василий Игнатьевич! — окликнул он осанистого старика с великолепной седой головой. — Счастливая встреча! Знакомьтесь, наш новый коллега Евгений Николаевич Ильин.

— Да мы знакомы, — сказал Штумов. — А вот и еще один нашенский, — сказал он, останавливая поднимавшегося по лестнице Колтунова.

— Как себя чувствуете, Василий Игнатьевич? — спросил Колтунов.

— Отлично, отлично, разве не видно? — бесцеремонно оборвал его Аржанов и, обращаясь только к Ильину и Штумову, сказал озабоченно: — Время обеденное, не соорудим ли совместно?

— Я уже давно ем только дома, — сказал Штумов. — Отстал от ресторанов. Где нынче обедают?

— Можно и в «Украине», можно и в «Национале», а еще в ЦДЛ, там такие купаты... А в общем, доверь-



тесь мне, здесь есть неподалеку, симпатично и кислород: столики под тентом, а сегодня тепло...

И в самом деле, ресторанчик оказался по-летнему веселым и не очень переполненным. Аржанова здесь знали, он пошептался с официантом, и почти мгновенно появилась закуска.

— Для меня нет лучшего отдыха, — говорил Аржанов, — и ведь понимают, подлецы, что Аржанова нельзя кормить кое-как. Ну как осетринка, ничего?

— Угу, — подтвердил Ильин. — Я, правда, в ресторанных тонкостях мало разбираюсь.

— Ресторанные тонкости! Уколот все-таки...

— Да ни боже мой, просто в нашей конторе...

— «Наша!» Вы наш теперь! Наш или не наш? Это всерьез и надолго или так, минутная прихоть? Василий Игнатьевич, хочу вам пожаловаться: он сегодня со своим подзащитным дебилом просидел больше часа, дело-то дело, а третьего дня к нашему уважаемому коллеге Ильину обращаются с предложением сесть в большой хозяйственный процесс, и что же — от ворот поворот?

— Не мог же я одновременно принять два дела, — сказал Ильин.

— Сачкуете. Мы все видим. Но учтите, вы мною рекомендованы. И дело буквально на носу... Минуточку, как там наш супец? — спросил он официанта. — Только бы не пересолили. Так вот он какой злодей, — сказал Аржанов и приставил вилку к груди Ильина. — Будете работать?

— Это что, дело Сторицына? — спросил Штумов. — Нет уж, нет, суп — увольте, доктор не велит...

— Да ведь это редкость — крабы, где вы их сейчас достанете?

— Ну, разве что чуть...

— Останетесь довольны! Я бы сказал, не столько дело Сторицына, — продолжал он, — сколько дело Калачика. Конечно, у Сторицына — халатность и все прочее, но он подмахивал, ни о чем не ведая. А вот Калачик, тот жулик огромный. По всем параметрам мой подзащитный, но я буквально днем раньше взял Сторицына. Так что, дорогой Ильин, ежели супруга мсье Калачика обратится к вам, то знайте, что дамочка не от стола... Я хочу сказать, по моей рекомендации.

— Это разговор не обеденный, — возразил Ильин.

Аржанов что-то хотел сказать, но Штумов поддержал Ильина:

— Обедать так обедать!

Аржанов обиженно замолчал и даже перестал наставлять официанта. После обеда предложил всех развезти на «драндулете» — так он называл свой новенький «Москвич». На Кропоткинской Штумов попросил оставить машину:

— Надо хоть двести шагов в пешем строю.

— Я вас провожу, можно? — спросил Ильин.

— Разумеется...

«Москвич» быстро взял с ходу, словно и он чувствовал себя обиженным.

— Зайдем ко мне, — предложил Штумов.

Крутая лестница без лифта. Четвертый этаж. Дом старый, запущенный. Расшатанные перила, кое-где побита штукатурка. Окна выходят во двор, почти вплоты к слепой стене соседнего шестиэтажного дома. Сумрачно.

Массивные старинные шкафы, книги, папки и просто бумаги, перехваченные шпагатом.

Откуда-то из глубины появляется черная сгорбленная старуха.

— Кушать будете?

— Нет, Саввишна, мы сегодня обедали в ресторане. А вот чайку обязательно. Верите ли, — сказал он Ильину, когда старушка ушла, — это моя нянька. Она уже и счет своим годам потеряла, но сама и в магазин, и на рынок. Если бы не она... Я ведь пятый год вдовою. Внук ко мне переехал, но в прошлом году женился, и укатили мои молодожены на три года в Арктику.

Большой стол, тоже весь заваленный бумагами.

— Садитесь, садитесь... Сейчас я освобожу плацдарм.

Появилась Саввишна с чаем и коробкой мармелада и молча ждала, пока Штумов перекладывал бумаги.

«Черт его знает, что за штука старость, — думал Ильин. — Ведь это тот самый Штумов, любимец Москвы, «соловей и лев в одном лице», как кто-то написал о нем в первый юбилей. И вот Саввишна, одиночество, сумрачная эта квартира...»

Штумов пил чай, шумно прихлебывая, смакуя каждый глоток и с удовольствием закусывая мармеладом.

Его отнюдь не смущала ни малая площадь «плацдарма», ни разбросанные бумаги. Чай отлично заварен, кресло удобное, куда удобнее ресторанных плетенек, чего еще надо? Ильин рассказал о среднеазиатском чае, о традиции перед чаепитием дважды переливать чай из заварного чайника в чашку, Штумов кивал головой, поддакивал: как же, я сам иначе не признаю, весь этот обряд Саввишна уже совершила, можете не сомневаться.

— Ну-с, — сказал он, отодвинув чашку и откинувшись в кресле, — теперь рассказывайте, чем вам Аржанов не понравился.

Ильин промолчал. Еще раньше, когда они шли по Кропоткинской, он думал, что какой-то важный разговор между ними должен состояться. Ну, а потом эта старая московская квартира, массивные шкафы, Саввишна — все показалось старческим, сонным, наверное Штумов любит после обеда отдохнуть, а вот приходится разговаривать, принимать гостя. «Стакан чаю — и домой», — уже решил Ильин, и в это время Штумов неожиданно спросил его об Аржанове. Совсем не сонный вопрос. Звучит скорее как приглашение к бою.

— Вас что, собственно, раздражает, — продолжал Штумов — «драндулет», дача, рестораны? Но ведь вы до сих пор во всем этом просто не нуждались — и машина в любое время, только казенная. И дачка у вас давно, правда, тоже казенная, но в этом есть и свое преимущество. Ну, а рестораны, всякие там купаты... Как хотите, а сегодняшний обед нельзя ставить Аржанову в минус. Что еще? Как говорят французы, «фасон де парле»?

— Не хотел бы я иметь вас противником на процессе, — сказал Ильин.

— А что, может, еще и придется! Но вы ловко ушли от ответа. Думаете, ворона каркнула во все воронье горло... и была плутовка такова?

— Нет, почему же? Мне действительно не очень нравится этот самый «фасон де парле», я слишком навиделся самодовольных людей... Но странно, почему-то Аржанов протезирует мне, а не Колтунову, не Слиозбергу, не Пахомовой...

— А ведь это я посоветовал посадить вас в большой процесс о хищениях! *Mea culpa, mea maxima culpa!*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Моя вина, моя большая вина! (лат.)

У вас нет имени? Быть помощником Касьяна Касьяновича — это дело нешуточное! Саввишна, еще бы нам кипяточку! — и махнул рукой. — Ничего не слышит, придется самому...

Он вернулся с кипящим чайником, налил, отхлебнул, закусил мармеладом.

— Вот вы говорите: Колтунов, Слиозберг... Им мешает ярлычок: середняки. Наши хищники любят, чтоб их защищали Андриевские и Карабчевские... Варвара Павловна Пахомова... Варя... Я когда-то был влюблен в нее.

— В Пахомову? — переспросил Ильин. Как-то сразу возник тяжелый портфель и заметный даже сквозь чулок венозный венчик.

— Тогда ее фамилия была Лопатина. Варя Лопатина. Золотая головка, медальон. Прелестная девушка. Но я был женат, взрослый сын, они тогда вместе кончали университет. Да, прелестная, прелестная девушка, — повторял Штумов. — Теперь все это в прошлом. Ну, а как она вам сейчас понравилась?

— Варвара Павловна — незаурядный человек, замечательный товарищ, это я сразу почувствовал.

— Да, все в прошлом, все в прошлом, — повторял Штумов, разглядывая доньшко чашки, словно искал там знакомые черты. — У нее была нелегкая жизнь... И это странное ее замужество... Сама выбрала такую жизнь, — прибавил он неожиданно жестко. — Мармелад, мармелад не забывайте, яблочный, найти не так-то просто. Вы нажимайте!

— Василий Игнатьевич, — сказал Ильин, — я хочу с вами... откровенно. Всего ничего, как я ушел из конторы, а все уже мной недовольны. И Федореев, и Аржанов, и мой бывший шеф, и теперь вы... Вероятно, со стороны все это выглядит довольно глупо: ковыряться с какими-то старушечьими делами или с этим овощным грабежом — пятнадцать кочанов хотели налево сбросить... Но именно ради этого я ушел из конторы.

— Я думал, вы ушли для того, чтобы стать адвокатом...

— Да, вот именно стать, Василий Игнатьевич, приходите, когда будут судить этого, как говорит Аржанов... дебила.

— Спасибо. Приду. Мне интересно. Когда-то вы мне нравились, Ильин. Нравилась ваша горячность, гражд-

данский темперамент. Что такое юрист без гражданского темперамента? Сказано у поэта: так, ничего, морковный кофе.

— Я не забыл, как вы на последнем курсе заступились за меня. По тем временам — подвиг. Или, может быть, преступление?

— Сначала прорабатывали за преступление — куда глядел, старый. Потом благодарили: какого орла выпустил!

— А орел-то оказался зябликом...

— А вот это зря! И что за манера у русского человека этак походя зачеркивать свое прошлое! Конечно, мне было жаль, что вы оказались не в адвокатуре. Но не будем ворошить старое. С другой стороны... у вас все эти годы была довольно высокая вышка, с которой, при желании, многое можно было разглядеть. Кому же, как не вам, браться за большие хозяйственные дела? Старушки, конечно, старушками, я и сам люблю поговорить, посоветовать, но главное наше дело там, в суде. Вы пришли не только для того, чтобы защищать невинных; когда такое случается — это, конечно, праздник для адвоката. Но ведь я помоложе, обязательно сел бы в дело Сторицына — Калачика. Ну, а теперь, извините, должен прилечь. Привычка многолетняя. Прощайте, прощайте, а уж зяблик или орел — это вы сами решайте.

10

Милая Лара! Две недели назад ко мне пришел рабочий одного очень известного в Москве завода. Евсей Григорьевич Папченко. Сын в тюрьме: хулиганство, грабеж, кража...

Но прежде чем я скажу об этом своем подзащитном, я должен рассказать об Евсее Григорьевиче. Жизнь была к нему немилосердна. Страшное голодное детство, рос без матери, отец вечно пьяный — что-то такое беспросветное, о чем даже слушать страшно. Отец и погиб от белой горячки. Евсеею было тогда десять лет, а его братьям и сестрам еще меньше. Детдом, потом ФЗУ, руки у Евсея оказались золотыми. Завод дал ему все. Когда я говорю «завод дал ему все», я имею в виду не материальные блага и даже не специальность и высокую квалификацию, я имею в виду те нравственные устои, то

высочайшее чувство локтя, товарищества, общности, без которого человеку беда. Началась война. Евсей Григорьевич был ранен под Москвой, но обошлось медсанбатом, а в сорок втором снова ранение, плен, бегство из плена и снова фронт. И уже в самом конце войны, уже в Германии, — третье ранение. Пришел с войны на протезе — и, конечно, на родной завод.

И ни разу, ни разу Евсей Григорьевич не застонал. Мелькнуло недолгое счастье — после войны он женился, но жена скоро умерла, оставив Евсею Григорьевичу годовалого Мишу, который теперь привлекается за грабеж.

А ведь, кажется, все отдал сыну, ради него не женился вторично, а вполне бы мог, за Евсея Григорьевича охотно бы пошли. На заводе все сходятся на том, что он замечательно деликатный и душевный человек.

Не странно ли, что Миша Папченко стал хулиганить? Ведь видел же, какая это мука для отца. Видел, но продолжал мучить. Даже в тюрьме он относится к отцу с презрением тунеядца: лошак!

И знаете, что всего больше поразило меня в моем подзащитном? Нет, не его нахватаанные словечки и ужимки, а пренебрежение к своей судьбе. И ведь здоровый хлопец, ну ничего, кроме повышенной близорукости. Его и в армию не взяли только поэтому. Разговаривал я и в военкомате, и не один раз побывал в школе, где он учился.

Классная воспитательница Миши Папченко, Мария Вениаминовна, отлично помнит своего бывшего ученика. И не только Мишу, но и Евсея Григорьевича, и его протез. «А что, паренек рос хулиганистым?» — «Что вы, нет, с другими мальчишками всякое бывало, но не с Папченко. Все вечера сидел, долбил, очень ему его тройки трудно доставались. Отец переживал, не раз приходил ко мне: «Хоть бы четверку по литературе, а? Я его вчера сам по повести «Мать» Горького спрашивал!» Ну, а ребята ведь народ жестокий, и поехало: «Опять тройка», что-то вроде прозвища. Сколько я с этим боролась. Евсей Григорьевич узнал и тоже мне пожаловался, его особенно возмущало, что дразнят Мишу ответные двоичники».

Встречали вы людей с каким-то особенным, обостренным чувством ответственности? Встречали, конечно, и знаете, как бывает неприятно эксплуатировать эту

сверхчувствительную совесть. Я не один раз встречался с Марией Вениаминовной. Постараюсь передать то, о чем она говорила: «Мы, педагоги, чаще всего обращаем внимание либо на ребят, отлично успевающих, тут мы и радуемся и стараемся помочь им найти себя, и другая наша забота — ребята неблагополучные, двоечники... В поле зрения — либо плюс, либо минус... Ну, а как быть с тройкой? Сейчас об этих тройках только ленивый не пишет. Но ведь балл-то существует! Сколько угодно можно иронизировать: «Три пишем — два в уме», но чаще всего: три пишем — три в уме. Норма! Между тем никто не знает, что такое «норма» в развитии личностных качеств человека».

Я спрашивал Евсея Григорьевича, почему Миша так и не вступил в комсомол. Туда, говорит, только отличников принимают! Я ему не поверил, все мы прошли через комсомол, наверное, Евсей Григорьевич что-то путает! Битый час я проговорил на эту тему с одним славным пареньком, который ведает комсомольскими делами. Он совершенно твердо уверен, что ни двоечникам, ни троечникам в комсомоле делать нечего. Какая ложная позиция! Комсомол — не довесок к учебной части, это Союз коммунистической молодежи, построенный на абсолютном равенстве своих членов. Умилительные школьные рассказы о том, как такой-то знаменитый деятель учился только на пятерки, решительно не помогают воспитанию. Ведь хорошо известны и другие случаи, когда будущие знаменитости в школе не успевали. Школа — мечтали мы с Марией Вениаминовной — должна прежде всего воспитывать личностные качества. Нет, нам не все равно, какое общество будут создавать нынешние школьники — отличники, двоечники и троечники, какие идеалы воспримут они с детства — коллектив или номенклатурный корсет!

В восемнадцать лет Михаил Папченко пошел работать на тот же завод, на котором всю жизнь проработал его отец. Спустя год он бросил завод и поступил разнорабочим на овощную базу. Почему? Ведь это действительно знаменитый завод, молодому рабочему рассказывают и о славных революционных традициях, и о тех людях, которые вышли отсюда, стали здесь профессиональными революционерами, участвовали в Октябре, в гражданской войне, и в первых пятилетках, и в Оте-

чественной. Повсюду мраморные доски, на которых золотом высечены имена героев. Одним словом — кузница. Неудивительно, что министр частенько бывает здесь, его встречают запросто, он свой, и это всегда вызывает умиление киношников: подумать только, не в студии снимали, а в самой гуще жизни. Частые гости на этом заводе столичные писатели, сюда приезжает симфонический оркестр, выступить здесь с успехом — это все равно, что получить Знак качества. На заводе есть свой вуз, свой Дворец культуры, свой спортклуб, свои базы отдыха, зимние и летние, несколько десятков столовых и молодежных кафе с джазами и без них, кафетерий, профилакторий, лекторий. Я покрутился день на заводе и все спрашивал себя: как же так, почему Папченко-младший отсюда ушел, он что, враг себе? Я и Евсея Григорьевича спрашивал об этом, но он только хмурился, они с сыном жили раньше вместе, но, уйдя с завода, Михаил Папченко бросил прекрасную светлую комнату со всеми удобствами и переехал к какой-то бабке, сдавшей ему угол за красненькую в месяц.

На заводе, вернее в цеху, где работал Папченко, его тоже почти сразу вспомнили: а, сын Евсея Григорьевича! А в чем дело? Я коротко сказал, в чем дело. И в это время какая-то девчущка подлетела: «Миша Папченко? Ну, как же, я ему абонемент в Филармонию устроила, но он там ни разу не показывался. Что с ним?»

«Нет, ничего такого мы за ним не замечали, — говорил мне начальник цеха. — Работа у него была «поднять да бросить», ну не буквально, конечно, электрические тележки теперь перевозят грузы... Нет, видно, не по зубам пришелся ему наш завод».

Я думаю, что дело обстояло действительно так. Не по зубам пришелся Михаилу Папченко этот знаменитый завод, с абонементом в Филармонию, с известной всей Москве самодетельностью и с европейскими рекордами по слалому и канюэ. К этому его школа не подготавливала. Последний культпоход был в седьмом классе, кажется в Третьяковку. Как правило, все «внеклассные мероприятия» падают на младшие классы, а когда малыши взрослеют, надо учиться, и тут уж не до музыки, надо вытягивать. А вытягивать-то надо с музыкой, простите мне такой безответственный выпад. И к Филармонии, и к спортгородку, и ко всему тому, чем гордится наш со-



временный завод, надо приучать и двоечников, и троечников, и пятерочников. А уж потом разберемся, кто кем станет. Конечно, современный завод — это прежде всего замечательные машины и уникальные станки, которыми надо уметь управлять, и ясно, что этому средняя школа не может научить. Но дух поиска и открытий, увлеченность новыми делами и идеями надо вложить в молодого человека сизмальства. По шпаргалке можно поступить в вуз, но жить по шпаргалке невозможно.

Когда Папченко начал работать на заводе, то с первого же дня ему стали говорить: учись, на нашем заводе можно научиться чему угодно. Учиться? Как бы не так! С этим он «завязал». Его, конечно, стыдили: берись за дело; Евсей Григорьевич сердился — не для того я тебя на завод брал... не на тележку же. Пожалел бы мою седую голову!

Но у Миши Папченко не было здесь ни прочных друзей, ни даже привязанностей, вокруг были только одни отличники, и он завидовал им, завидовал даже пэтэушникам, которые ходили по заводу так, словно бы он уже принадлежал им и только им. И Миша Папченко буквально выбросил на ветер двадцать рублей, когда купил у девчушки абонемент в Филармонию. Вышел с завода и где-то в переулке, воровато оглядываясь, разорвал в ключья, ветер подхватил... «Ряд 18, кресло 26».

И вот наконец — овощная база и койка у бабуси. Физически он теперь уставал куда больше, чем на заводе, после работы прямо валился на койку. Зато его здесь ничем не корнили и никого не ставили в пример. И в школе, и на заводе знали, что он сын Евсея Григорьевича, ветерана войны и труда. На базе его фамилия ни с кем и ни с чем не ассоциировалась. Он здесь был разнорабочий Папченко Михаил, и все. После своего неудачного жизненного старта он никуда больше не тянулся, или, вернее сказать, никто его больше не вытягивал. Ни лектория, ни профилактория. А вы видели когда-нибудь музыкальный фестиваль на овощной базе, кому там придет в голову организовать творческий самоотчет известного режиссера? Никто больше не искал в Папченко почтителя оперного искусства, и никто не был заинтересован в его познаниях в области тригонометрических функций или новейшей истории. Здесь требовались разнорабочие, требуются и сейчас, и это я говорю не только в упрек

овощной базе, до полной механизации которой уже, правда, не так далеко, но, скажем прямо, еще и не так близко.

«Гиблое место, наихудшее в нашем районе, — говорили мне в милиции. — Профилактика хромает, администрация уповает на нас, а мы не всеильны. Да и то сказать — кого сюда зазовешь из порядочной молодежи, все стали образованными, школьник после десятого или солдат после срочной разве пойдет сюда?..»

Местная компания почти сразу заметила Мишу Папченко. Что за человек такой? Не из тех ли, кто стаж для института зарабатывает? Не похоже... Может, какой психический, и это бывает... Да нет, вроде здоровый долдон...

Его позвали, и он откликнулся. Еще бы! Впервые Мишу Папченко признали личностью.

Компания, к которой прибился Папченко, не была преступной. У них не было ни умысла, ни сговора напасть и ограбить Харитонову. Но ведь именно Папченко напал на Харитонову и отнял у него трешку и кепку? Я и не собираюсь этого отрицать. Но я познакомился с гражданином Харитоновым, более известным на овощной базе под кличкой Пупсик. Этот «пострадавший» из той же компании, что и Папченко. Как видно из материалов следствия, Харитонов заявил, что пошел вечером «прогуляться». Позволю себе усомниться в этом. Я сам отправился в этот пьяный тупичок, и тоже около двенадцати ночи. Шел, спотыкаясь о всякий хлам, и наконец вот он, вагончик с известными «чернилами». Хорошо же гулянье! Только случайность сделала Харитонову жертвой, а Папченко — преступником. Думаю, что суд еще скажет свое слово и по поводу проводников, торгующих любительскими «чернилами»!

Еще не протрезвев со вчерашнего, Папченко совершает новое преступление: вместе с водителем Юликом Кравецом вывозит с базы пятнадцать кочнов капусты. Вы спросите: зачем Юлику сообщник, пятнадцать кочнов он и сам мог погрузить и сбросить? Нелепейшая история, которая лишний раз доказывает, что мы имеем дело не с преступниками и тем более не с расхитителями социалистической собственности. Юлик втягивает моего подзащитного во всю эту историю, потому что это одна компания, потому что вдвоем веселей, здесь нет никакого преступного расчета, это мальчишеская аван-

тюра. Да и Миша Папченко стремился только к одному — не разбивать компанию.

И вот целый букет преступлений, можно подумать, что Папченко прямо-таки старался максимально осложнить свою судьбу. Но суд к его судьбе не может остаться равнодушным. И я думаю, что наказание будет выбрано минимальное, потому что все мы заинтересованы, чтобы в жизни Михаила Папченко открылась новая страница.

11

Воскресенье Ильин решил провести за городом. В пионерлагере, где находится Андрей, — родительский день. Так что приятное с полезным. Места дивные, лагерь в лесу, рядом речка. Иринка уже моталась туда с рыночными помидорами и клубникой. Старый лаз, у которого нетерпеливые родители назначали встречи, больше не годился! парень так вырос, что отовсюду видать. Но Иринка все-таки нашла новый лаз и встретила с Андреем.

— Помидоры взял, а клубнику — ни за что: взрослый!

— Ты сумасшедшая мать, — сказал Ильин, ласково взяв Иринку за подбородок и целуя в губы, пахнущие летом. Она была в его любимом стареньком сарафанчике, уже загорелая.

— Женя, ну что ты, ей-богу...

Как всегда, он потом посмеивался над ее благоразумием, как всегда, было приятно называть Иринку пугливой и смотреть на капельки пота, выступившие на ее загорелом лице. Все было так, как обычно, и все-таки Ильин хмурился. Он старался быть веселым, но из этого ничего не получалось. И он упрекал себя за эту свою вспышку, как будто в ней было что-то безнравственное.

Он по-прежнему любил Иринку, но теперь в их отношения вмешалась тайна. О Ларе он, конечно, давно рассказал, но как рассказал: умница, великолепно знает Восток! «Возможно, приедет в Москву...» — прибавил он осторожно.

— Она вполне может остановиться у нас, — немедленно откликнулась Иринка. — Тем более теперь, летом, когда нет детей...

Но что запретного было у него с Ларой? Ничего, если не считать нескольких поспешных поцелуев. И все-таки было что-то, чего Иринка не должна была знать. Его походы на почту к «колдунье». И письма Лары. И свои письма он писал не дома, а на работе или на почте, а один раз зашел в гостиницу, расположенную неподалеку. Там в холле было прохладно и, благодаря вечнозеленому плакату «Мест нет», совсем тихо. Только два-три человека дремали в огромных кожаных креслах в ожидании чуда. Там он написал Ларе письмо. А что в нем было запретного? «Милая Лара!» и «Ваш Ильин».

С утра парило, ждали — вот-вот ударит гроза, становилось все более душно. Электричка битком набита людьми. Иринка сгибается под родительскими доспехами — сумкой и допотопным бидончиком. А у Ильина в руках большой термос и еще какой-то чемоданчик.

Потом крестным ходом шли от электрички до лагеря, и каждую минуту Ильин останавливался и просил глоток из Андрюшкиного бидона.

Увитая цветами арка — «Добро пожаловать!», улыбки вожатых, железный голос начальницы лагеря, концерт самодеятельности, ребята в греческих хитонах, какой-то симпатичный карапуз исполняет на виолончели «Элегию» Массне, овация, маленькая девочка читает: «А он, мятежный, ищет ури, как удто в уре есть окой», — овация, и в заключение — танец матрешек. Но Андрея нет ни в одном номере.

К Ильиным подходит девушка, похожая на египтянку: соответствующий разрез глаз плюс бронзовый загар.

— Ника, старшая пионервожатая. Вы родители Андрея Ильина, не правда ли? — Она доверительно берет под руки Ильиных. — Хотелось поговорить. Мы серьезно озабочены вашим сыном. Нет-нет, вполне здоровый и умственно полноценный мальчик, но если член нашего коллектива не желает принимать участия ни в одном лагерном мероприятии, то мы имеем право спросить: откуда эта внутренняя разболтанность? С Андреем разговаривала не только я, но и методист-психолог! — Египтяночка взволнована, бронза теряет торжественность, проступает вульгарный медно-красный загар.

— Спасибо, большое спасибо, — говорит Иринка и при этом наступая на ногу Ильину, чтобы не вздумал спорить. — Разумеется, мы поговорим с Андреем.

— Разумеется. — Старшая пионервожатая снова бронзовеет. — Неучастие вашего сына в сегодняшнем смотре самодеятельности — это исключительно его вина. Наша задача — с самого начала подсмотреть и не упустить талант. Ваш Андрей легко поднимает тяжелую штангу, вир-ту-оз-но! Но выступать отказался. Ничем не мотивированный, я бы даже сказала, грубый отказ.

— Спасибо, спасибо... — повторяла Иринка.

Ильину египтяночка не понравилась: подсматривание талантов, методисты-психологи... Та же пятибалльная система в летних условиях... Слава богу, наконец-то замаячил Андрей!

— Как дела, штангист?

— Уже успела наябедничать!

— В каждом доме свои порядки... — вмешалась Иринка.

— Ябеда, ненавижу! — сказал Андрей как-то не по-детски тяжело.

— Ты что, надо все-таки выбирать слова!

— Накепать бы тебе за все это хорошенько! — сказал Ильин. — Пользуешься тем, что у тебя родители прогрессивные...

Иринка умело перевела разговор на другую тему, прочла письмо от бабушки и Милки, но под конец все-таки сказала, что надо учиться культуре общения, это обязательно для интеллигентного человека.

— Но если она мне еще раз начнет про штангу!..

— Ну что тогда? — Иринка засмеялась и ушла прощаться с египтяночкой.

— А я ей не клоун в цирке, — сказал Андрей.

— Ладно, ладно... — Ильин поцеловал сына. — Давай о себе знать. И я тоже напишу.

— Да, да, пиши обязательно, — оживился Андрей. — Только знаешь, папа, пиши не сюда, а до востребования...

— А это зачем? Да у тебя и паспорта еще нет...

— Можно и без паспорта, — сказал Андрей. — По свидетельству дают. Танька Мстиславцева каждый день на почту бегают...

— Ладно, ладно... — повторил Ильин. («Культура общения! Да я с собственным сыном не знаю, как найти контакт!..»)

На обратном пути стало еще более душно. Иринка что-то щебетала о своем разговоре с начальницей — уж не такая она железная, это микрофон искажает голос, — а Ильин все думал об Андрее и мысленно видел его, хорохорящегося и отстаивающего свою независимость. Он и понимал сына, и сердился на него. И рядом мелькало нездоровое, одутловатое лицо Миши Папченко, хотя, казалось бы, он-то здесь при чем? Но, черт его знает, может быть, Евсей Григорьевич тоже вывозил сына в образцовый лагерь?

— Психологи! Методисты! Да они просто ничего не умеют!

Иринка молчала, но Ильин отлично знал, о чем она думает: «Парень хорошо пристроен, тем более — в Москве дикая жара, остальное — переходный возраст, а все газеты пишут, что в этом возрасте лучше быть в коллективе».

На середине пути их настигла гроза с ливнем, спрятаться было некуда, оба промокли, а у Иринки был такой вид, словно она вышла из моря в купальном костюме. Ильин взглянул на нее и засмеялся. И в это время почти впритык заскрипела машина.

— А ну-ка, девушки, а ну-ка, парни!

— О господи, — сказала Иринка радостно, — как вы нас перепугали!

Только сейчас Ильин понял, что это Маяк Глаголин, а рядом его жена, Тамара Львовна. Ильины познакомились с ними в прошлом году на Юге. Глаголины очень известны в научном мире, кажется, разрабатывают теорию гравитации, какие-то знаменитые опыты, все их зовут «супругами Кюри». Маяку лет пятьдесят, а сколько Тамаре Львовне — никто не знает, она старше мужа, но когда играет в теннис, ей и сорока не дашь.

— Забирайтесь в машину, — приказал Маяк.

— Вы тоже в Москву?

— Как раз наоборот, из Москвы на дачу.

— Тогда нам не по пути, — сказал Ильин. — Здесь рядом остановка автобуса. И здесь стою я, как сказал Мартин Лютер.

— Ну нет, господин Лютер, вы же еще ни разу у нас не были, и теперь вы наша добыча. Тамара, в авоське мой восьмизарядный кольт, если только его не заклинило свежепросоленными огурчиками. Не обожаете?

— Еще как! — сказал Ильин.

— Я рад, что вы предпочли жизнь со всеми ее радостями.

Все это были милые, хорошо знакомые шутки. Громче всех смеялась Иринка, сарафанчик совсем прилип к телу, она чихала, смеялась и снова чихала. Наконец приехали в симпатичный поселок: дома, крытые черепицей, но попадаются и грубоватые срубы «под ферму». Неухоженные садики и великолепный теннисный корт. Дождь прошел, снова стало жечь солнце, Маяк завел машину в гараж, великолепно оборудованный, с пристройкой для жилья: комната, крашенная клеевой краской, самодельные полки, портрет Хемингуэя и за столом похожий на него молодой парень. Борода и джинсы.

— Знакомьтесь, — сказала Тамара Львовна. — Мой сын от первого брака. Маяк держит его в качестве раб-вычислителя.

Борода и джинсы оторвались от стола.

— Привет, — сказал он каким-то странным, сиплым голосом.

— От круглосуточной работы и недостатка витаминов у Жоржа, он же Георгий, он же кандидат математических наук Юрий Соколов, пропал голос, — комментировал Маяк.

— Но не аппетит, — просипел кандидат математических наук.

А в доме уже были гости. Бывший морской офицер, отставник (вскоре выяснилось, что он ведает кадрами в известной танцевальной труппе), и жгучая брюнетка в ультрамодных очках, которую все здесь называли Дунечкой, хотя полное ее имя было Ираида.

— Чем занята передовая советская интеллигенция в свободное от занятий время? — спросил Маяк, смеясь и разливая водку. — В свободное от занятий время советская интеллигенция занята тем, чтоб как можно лучше накормить и напоить себе подобных.

— Не все, — сказала жгучая брюнетка, — среди нас не одни только «думающие, нажраться лучше как». Жора, не скальте зубы — это из Маяковского.

— Он не гуманитарий и не обязан знать «хороших и разных», — сказал отставной моряк.

— Так я и думала, что мне не дадут высказаться, — сказала Дунечка.

— Знаем, знаем: «Не единым хлебом жив человек. . .»

— Это Дудинцев? — спросил Жорж.

— Если, конечно, не считать Святого писания, — ответил Маяк. — Пейте, граждане, хлебное!

— Я очень рада, что наконец познакомилась с вами, — сказала жгучая Дунечка и подсела к Ильину.

— Со мной?

— Я уже писала об одном интеллигенте, который все порвал и ушел в сферу производства, теперь он ставит один рекорд за другим.

— О господи, — сказал Маяк, — а мы-то, люди темные, ничего не слыхали. Вы что же, товарищ бывший интеллигент, решили варить сталь?

— Почему же я — «бывший»? Я действительно ушел из конторы, но работаю по специальности.

— А социология, — сказал Маяк, опрокидывая рюмку, — как была, так и осталась лженаукой.

— Нет, я не могла ошибиться, — настаивала Дунечка. — Меня это прямо касается, потому что я занимаюсь этими проблемами.

— Какими проблемами? — спросил Ильин.

— Социологическими. Наша эра вполне может быть названа эрой социологии.

— У нас эра атомная, — важно заметил балетный начальник.

— Эра собеса, — сказал Жорж, во все глаза разглядывая Иринку.

«Порядочная скотина», — подумал Ильин.

— Ильин, Евгений Николаевич, — тараторила Дунечка, — образование высшее, юридическое. . . Так что же конкретно произошло? Что заставило изменить образ жизни? Каковы реалии? Не поладили с начальством? Материальная заинтересованность? Отношения с коллективом? А может быть, кид? Я вас правильно угадываю?

Всего лучше было бы ответить — «не ваше дело», но ссориться в гостях, да еще, по-видимому, с приятельницей хозяйки дома. . . И еще, как всегда, действовал ярлычок — эта самая социология, какой-то там у них институт или сектор, для чего-то все-таки ей это надо. . .

— Я адвокат, — коротко сказал Ильин. — Работаю в консультации в Старокривинском переулке.



Это была бомба. Маяк застрял на второй рюмке, и даже Жорж несколько отодвинулся от Иринкиных престелей.

— Ясенько, — сказал Маяк, — значит, Тамара, стукнув меня подсвечником, побежит к вам, в Старокривинский, и вы будете ее защищать?

— А как же, — оживился бывший моряк. — У меня есть знакомый адвокат, он сидит дома, а к нему стекает все Закавказье.

«Странно, — думал Ильин. — Ведь это люди мыслящие, читающие книги, не пропускающие театральные премьер и спорящие на любые темы. . . Как странно, что они ничего не знают о жизни суда!»

— Я покупаю помидоры по десять рублей кило, — с комической важностью рассуждал Жорж. — Значит, я пособник спекулянта. Толстой осудил Нехлюдова за Катюшу, а меня. . .

— Прекратить немедленно балаган! — резко вмешалась Тамара Львовна. Жорж удивленно поднял плечи, но встретил такой яростный взгляд, что весь как-то сжался. — Хватит!

Маяк тоже поставил рюмку и довольно робко взглянул на жену. Неизвестно, чем бы все кончилось, но в это время с улицы послышались голоса:

— Супруги Кюри, вы дома?

Маяк вскочил, подбежал к окну и радостно закричал:

— Бросайте фургон, ребятки, и подгребайте!

«Ребятки» оказались солидными пожилыми людьми, Маяк с воодушевлением усаживал их за стол, но они в один голос повторяли:

— Нет, нет, мы только что пообедали. Нет, нет, в другой раз. . .

— Мы идем за сигаретами, — все так же резко сказала Тамара Львовна. — Евгений Николаевич!

Некоторое время шли молча.

— Я очень, очень их обоих люблю, — несколько неожиданно начала Тамара Львовна, — и рада, что они так сошлись. Я не могла бы жить без Жоржа, и я спокойна, когда он там, в гараже, занимается своими вычислениями. Но часто, слишком часто они мне оба совершенно чужие. Я, кажется, их неловко объединяю. . .

— Нет, почему, — сказал Ильин. — Я это понимаю.

— Простите их, хорошо? Мне было за них очень стыдно.

— Давайте больше не будем об этом!..

— Когда они все это начали, мне просто захотелось бить посуду. Только Дунечка и помешала. А то завтра бы вся Москва знала: супруги Кюри подрались...

— Да? — переспросил Ильин. — Мне она не показалась такой злоязычной.

— Нет, просто это каким-то образом кормит ее. Почему я эту Дунечку не гоню из дому? Да потому только, что мне пришлось бы выгнать еще половину моих знакомых. Нет уж, спросите меня что-нибудь полегче.

Ильин улыбнулся.

— Но ведь я ни о чем вас не спрашивал.

— И это верно. А до чего иногда хочется послать всех к чертям собачьим. Как это вам удалось?

— Но я никого к чертям не посылал!..

— Всех и все к чертям собачьим! — повторила Тамара Львовна.

— Что вы, ей-богу! А ваша работа? Ваши знаменитые опыты? Я не знаю, что такое теория гравитации, но представляю себе, как это важно и необходимо.

— Так ли уж это все важно и необходимо? Купите мне, пожалуйста, «Беломора» две пачки, ну и каких-нибудь сигарет для Жоржа...

На обратном пути Тамара Львовна ласково взяла Ильина под руку.

— Маяк бы не раз мог мне сказать: что это вы, барынька, с жиру беситесь, — но он так не говорит и так не думает. Хотя, впрочем, кто знает, о чем думает другой человек. А теория гравитации... Кстати, почему вы решили, что мы этим занимаемся? И близко не лежит. Ну ладно, пусть гравитация, чего-чего, а теорий всегда хватает. А вот как идет жизнь... Ну, в самом деле: муж зарезал жену... Почему это интересует юриста, партийного работника, писателя, а я и в газету-то не всегда заглядываю, в кино не хожу. Какая-то лень души. Говорят, фильмы плохие, но есть, наверное, и хорошие. Дайте слово, когда будет что-нибудь интересное в суде, позвольте мне.

Ильин пожал плечами:

— Сейчас я защищаю разнорабочего с овощной базы, который дал в морду и отнял трешку и кепку. Мне

интересно, а вам? Жулик, хапнувший на лжесовместителях... вас интересуется?

— Вот так всегда, — сказала Тамара Львовна. — Мой муж и сын вели себя неприлично, устроили дурацкий спектакль, к тому же ваша Иринка весьма моему Жоржу показала. И вы все это охотно им простили. Я же в знак протеста ушла из дому за «Беломором», а вы надо мной посмеиваетесь. Да, я злой и неприятный человек. Дунечка в одном журнале написала, что мой лоб изрезан морщинами, хорошее дело, а?

Ильин засмеялся.

— Я и сам хочу интересного кино...

Наконец улыбнулась и Тамара Львовна. Так, с веселыми улыбками они и пришли домой. И увидели, что на них вопросительно смотрят: выяснилось, что в доме есть запас папирос и сигарет на полгода. Маяк, увидев веселую Тамару Львовну, вскочил:

— Петь, плясать, лезгинку танцевать!

— А-са! — крикнул отставной моряк.

Домой Ильины вернулись поздно.

12

Дело Папченко было назначено на десять часов утра. Ильин сразу заметил в зале Мстиславцева и двух арбитров, которых старое поколение звало Пат и Паташон, а молодое — Тарапунька и Штепсель. «Касьян Касьянович отпустил», — с какой-то неосознанной горечью подумал Ильин.

Привели Папченко, и Ильин быстро подошел к барьерчику.

— Как себя, Миша, чувствуешь? Запомни, когда будут допрашивать пострадавшего Харитонов — никаких реплик. И вообще держи себя поскромнее. Все, что нужно, я сам скажу.

— Отец зачем пришел? — угрюмо спросил Папченко. Только сейчас Ильин заметил в дальнем углу зала Евсея Григорьевича.

— Да он так по тебе настрадался. Помни, Миша: без выходов! Только себе сделаешь плохо.

В совещательной пили боржом. Увидев сосредоточенного Ильина, председательствующий поманил его и сказал:

— Боржом — это чудо природы. Дар божий. Пейте, товарищ Ильин, и вы, Лидочка, пожалуйста, — обратился он к секретарше.

— Конечно, чудо! — сказал прокурор. — И это чудо, я полагаю, завезли к нам на сегодняшний процесс. . .

— Почему же именно на сегодняшний? — спросил председательствующий в надежде услышать какую-нибудь остроуту: прокурор был большой шутник, это все знали, но на этот раз никаких шуток не последовало, а прокурор только выразительно скосил глаза на Ильина.

Ильин понимал, что сегодня его дебют и что это само по себе смешно: дебют через двадцать лет после окончания факультета. Он бы и сам был рад пошутить по этому поводу, но чувствовал странную скованность. Защитительная речь, над которой он столько работал, казалась какой-то рваной: старый Евсей Григорьевич, ничемный абонемент в Филармонию, пьяный тупичок. . . Напрасно он отправил письмо Ларе, все-таки это было больше, чем листочек с тезисами!

— Мы с вами вроде впервые встречаемся? — обратился к нему председательствующий. — Вы не из области перевелись?

— Нет, я раньше работал арбитром, ну и. . . и юриконсультотом тоже, но потом. . . словом, чисто административная должность. . .

— Так это вы!

— То есть что значит — «я»? — переспросил Ильин.

— Ну, нам время начинать, — сказал председательствующий и велел дать звонок.

Ильин сразу же увидел в зале Сашу Семенова, а перед прениями сторон появился Аржанов. («Только его не хватало!»)

Прокурор говорил очень коротко. Человек опытный, он отлично понимал, что первая речь Ильина будет длинной, и добивался контраста. Он вспомнил себя таким, каким был много лет назад, когда слушалось его первое дело. Это первое дело тоже не было каким-то особенным — те же «незначительные телесные повреждения». И даже подсудимые были похожи друг на друга: зелень. . . А как он к этому делу готовился: «Граждане судьи, своим приговором вы вынесете приговор не только подсудимому, — кажется, его звали Игнатовым,

да, точно, Костя Игнатов, — вынесете приговор не только подсудимому Константину Игнатову, но и позорнейшему явлению наших дней». Это словечко «явление» прямо-таки преследовало его на том первом процессе — и кража — «явление», и суд — «явление», и само государственное обвинение — тоже «явление». Заскочило, что тут сделаешь? Вот и Ильин волнуется, хотя все как будто так просто. . . Наверно, суд прибегнет к спасительной сорок третьей, с учетом личности, а какая у этого Папченко «личность»? Прокурор не читал Дунечкиных статей, но социологические исследования его интересовали, и он решил, что надо этим серьезно заняться.

Ильин с трудом выслушал речь прокурора и с трудом встал, когда председательствующий предоставил ему слово. Но едва только он начал говорить, как ему стало легко, мысли сцепились, все, что до этой минуты казалось скрытно-душевым, исповедальным, вдруг стало речью, и теперь ему было безразлично, кто там в зале — Аржанов или Тарапунька и Штепсель.

Когда суд удалился на совещание, к Ильину подошел прокурор.

— Приятно было познакомиться, — сказал он просто. — Вообще, знаете, эти двойки и тройки. . . Может, и в самом деле лучше без них? («О чем это он? — подумал Ильин. — Ах да, Папченко и Мария Вениаминовна, сверхчувствительная совесть. . . Но разве я успел об этом сказать?») Мне батя рассказывал, — продолжал прокурор, с симпатией глядя на усталое лицо Ильина, — вроде у них с этим делом было полегче. . . Ну, конечно, это полвека назад, после гражданской — кубизм всякий, отметки не ставили. . .

— Да, да, очень свежо, поздравляю! — сказал Аржанов, подходя к ним. — Я в соседнем зале сижу, забежал в перерыв и сейчас же убегаю.

— Все бы наши адвокаты так готовились, — продолжал прокурор, — а то, знаете, перед людьми неловко, прибежит откуда-то высунув, извините, язык и забыл, бедняга, в чем его клиента обвиняют, а до речи дошел — одни слова.

В это время позвонили, вышли судьи, и председательствующий огласил приговор: один год исправительно-трудовой колонии общего режима.

— Ну что, Миша? — спросил Ильин. Евсей Григорьевич, плача, махал им из зала. — Скажи же несколько слов отцу...

— Не положено здесь, товарищ адвокат, — сказал конвойный.

— Да, да, конечно... Так вот, Миша, скоро будешь дома. Теперь все от тебя зависит. А завтра я приду к тебе...

— Так ожидать вас? — спросил Папченко, как всегда, угрюмо. Он устал, хотелось спать, и сейчас он думал только о том, что в камере сидят такие ребята, которые ни за что не дадут отдохнуть.

Иринка встретила Ильина счастливая и угорелая от волнения и запаха паленого: на ужин она готовила цыплят-табака.

— Да откуда же ты знаешь, чем кончилось дело? Кто тебе позвонил?

— Дунечка прибежала. Она интересуется твоей судьбой, ты же знаешь. Ладно, ладно... у меня сегодня праздник, понял? Вместо Восьмого марта, годится?

На Иринкином «Восьмом марта» Конь снова пела романсы, а Мстиславцев ей аккомпанировал, и снова Касьян Касьянович требовал свою рюмку и пирожок.

— Я за тебя, Евгений Николаевич, весь день болел. С одной стороны, хищение есть хищение, и, будь я на месте суда, я бы этому Папченко хищение и впалял бы. Но, с другой стороны, мы все теперь твои болельщики. Так что со святым причастием! Лиха беда начало! Что-бы не последняя!

Все это были любимые поговорки Касьяна Касьяновича, выпущенные в честь именинника одной кассетой. У Ильина было такое чувство, словно бы он и не уходил из конторы. Те же люди и та же гитара. Ему не хотелось есть и пить водку, а от гитары его мутило, и он постарался поскорей уединиться с Сашей.

— Ну, что? — сказал Саша. — У тебя хорошая манера говорить — просто, без жестов, которые только раздражают и суд, и публику. Довольно зримо этот Евсей Григорьевич, и что у него один свет в окне сын — это ясно. Но этот Миша Папченко слабее получился. Хорошо, когда на какое-то время ты сам прокурорствуешь, твоя ярость — вполне порядочного человека. Защищаешь ведь не в вакууме. И твоего прохвоста судят тоже

вполне порядочные люди. Но было и малость демагогии...

— Демагогии? И что значит «малость»? Уж если демагогия, так ее всегда много...

— Насчет троек. Ну, ясно, табель с одними тройками всегда подозрителен, невольно напрашивается вопрос, нет ли среди этих троек и двоек. Но демагогия у тебя в выводах. «Общество страдает от троечников...» А я вот, например, мечтаю, чтобы люди работали на эту самую троечку. Ежели бы я твердо знал, что в парикмахерской, где я стригусь уже четверть века, все мастера работают на твердую тройку, я бы не сидел битый час в ожидании «своего мастера» и не совал бы в ателье синенькую дельному закройщику...

Ильин засмеялся:

— А вот это типичная демагогия!

На следующий день он пришел в консультацию с таким чувством, словно работал здесь всю жизнь. Впервые возникло ощущение дома. Кабинка, которую он делил пополам с Пахомовой, показалась давно обжитой, фиалки в вазочке, можно начинать работать.

— Пожалуйста, кто на очереди? («Кажется, становлюсь «кадровым», — подумал он.)

Женщина лет пятидесяти, преждевременно располневшая, страдающая от жары. В руках тяжелая продовольственная сумка.

— Любовь Яковлевна, жена Аркадия Ивановича Калачика. Вам, наверное, товарищ Аржанов рассказывал.

— Да, садитесь, пожалуйста... Вот так, и давайте прямо к делу. Вы в курсе, что пока следствие не закончено...

— В курсе. Мне Аркадий Иванович разъяснял. Он хоть и без образования, но все законы знает. Бывало, придет с работы, пообедаст, поспит часок, и обязательно такой разговор: когда меня, то есть его, значит, посадят, сделай то-то и то-то... Я плачу, а он: ты не плачь, а слушай. И снова за свое. Когда пришли, он мне говорит: теперь, Люба, делай, как я сказал. Как Аркадий Иванович сказал, я так и сделала. Товарищ Аржанов вас рекомендовал...

— Все-таки странно, — сказал Ильин. — Если ваш муж так ясно представлял себе все последствия...

— Так ведь и я ему о том же, а он свое: нельзя, говорит, уже нельзя, раньше надо было кончать, а сейчас невозможно. Не надо было ему в это НИИ идти! Знаете, как спокойно жили, благодарности имел. — Она быстро вытащила из сумки старые ломкие бумажки, завернутые в платок: справки и грамоты давних лет, замахрившиеся на сгибах и удостоверявшие, что Калачик Аркадий Иванович работал хорошо и в деле снабжения проявил себя инициативным, грамотным и морально устойчивым. . .

— Еще бы всего два года — и на пенсию. . . А знаете, какой хороший человек Аркадий Иванович, — сказала она, как-то вдруг вся оживившись. — Ни в чем товарищу отказать не может.

— Ну, не будем преувеличивать. За одну только отзвучивость. . . Аржанов говорил мне, что описано имущество. . .

— Это уж как положено. . . — Она снова сунулась в сумку. — Вот. . .

— О! — сказал Ильин. — Довольно-таки солидные суммы. Драгоценности, в частности — дамские драгоценности. . .

— Дарил мне, верно, но все больше чешские бустики. . .

— Кольцо с большим бриллиантом. Да вы не сомневайтесь, там умеют отличать подделку от настоящей вещи.

— Я думала, чешские. . .

— Как-то странно у нас идет разговор, — сказал Ильин. — Я ведь не следователь, а адвокат, вы зря передо мной оправдываетесь. . .

— Извините. . . — Любовь Яковлевна снова спрятала бумаги.

— Признать вашего мужа виновным или оправдать его — дело суда, — продолжал Ильин. — Но, полагаю, Аркадий Иванович не станет доказывать, что кольцо с бриллиантом — чешская бижутерия. Такая версия никуда не годится. . . Что с вами, Любовь Яковлевна? Вам нехорошо?

— Нет, ничего. . . жарко очень. . .

Ильин быстро открыл окно. Ворвался дворовый шум, трещало радио, стоны лебедки, под большим плака-



том, призывающим население сдавать стеклотару, слышался кандалный звон.

— Выпейте воды.

— Не надо, спасибо, ничего не надо. Это что, бутылки сдают?

— Да, кажется...

— Воруют...

— Что, что?

— Аркадий Иванович всегда так говорил. Посмотрит, посмотрит, как народ посуду сдает, и скажет: воруют. В магазин придет колбасы взять, на весы посмотрит: воруют... Это у него вроде присказки... Да он-то что мог воровать? Он ведь посуду не принимал, колбасу не резал. Чего у них там есть в НИИ? Какие-то членистоногие!

После приема Ильин позвонил Аржанову:

— Ну, вы мне и штучку подарили!

— А что такое?

— Не что, а кто! «Воруют!..»

— А, Любовь Яковлевна!

— Так вы в курсе?

— Еще бы нет! Вчера Аркадий Иванович из бани пришел — шаек не хватает: воруют! Ей-богу, если бы не Сторицын, я бы этого Аркадия Ивановича с превеликой радостью взял, мой кадр: настоящий ворюга.

— Ну, ворюга не ворюга, мы еще посмотрим...

Аржанов засмеялся:

— Беда с вашим братом адвокатом.

13

На следующий день Саша Семенов позвонил Ильину в консультацию:

— Зайди к Люсе!

— Я давно тебя об этом просил...

— Нельзя было, — сказал Саша. — Теперь ей лучше.

— Так, может, завтра?

— Да, пожалуй...

Ильину действительно уже давно хотелось повидать Люсю, но подсознательно он боялся этой встречи. Ни сам Ильин, ни Иринка, ни дети никогда не болели. Разве что у Милки была ветрянка, а у Андрея и ветрянки не было, просто несколько дней болело горло, Иринка

боялась дифтерита — страшное, какое-то старорежимное слово. Но все обошлось, и за эти несколько дней Андрей еще больше вымахал. В семье все были людьми сильными и здоровыми, и, как вести себя с больными, Ильин не знал.

Вот у Иринки был особый дар ухаживать за больными: никто так не умел перестелить постель и поправить подушку, а главное, никто не умел так ловко с ними разговаривать. Этот идеально журчащий ручеек слов и улыбок мог успокоить любую боль и внушить надежду даже тому, у кого она давно потеряна.

А он? Еще не побывав у Люси, Ильин уже страдал от ощущения своего большого здорового тела и ясно видел, как он появится в больнице в своих представительных очках. Само слово «кро-во-харканье» внушало ему страх.

Он накупил сверх меры апельсинов, яблок и конфет и явился в Люсину палату в самом глупом рождественском виде, только серпантина не хватало.

Слава богу, Люся, увидев его, улыбнулась, и эта улыбка как-то сразу все смягчила: и желтое измученное лицо, и тревожную белизну свежевывстиранных простынь, и слабые веточки сирени, стреноженные безобразным целлофаном.

— Разгружайся, — сказала Люся. — Но куда столько? Холодильник забит. Иди к нашей нянечке, у нее семеро внуков. . .

Ильин хорошо знал Люсину манеру командовать. В этом смысле она была полной противоположностью Иринке. У Иринки в голосе всегда слышится вопрос, а у Люси — императив. Возможно, сказалась биография. Люся хотя и совсем молоденькая, но захватила войну, служила зенитчицей и осенью сорок первого стояла на крыше того самого дома, где когда-то находился знаменитый Моссельпром. В университете она вечно кем-то была: то факультетским комсоргом, то в профкоме. Осенью сорок пятого Ильину стукнуло шестнадцать, а Люсе пошел двадцать третий. И до сих пор эта разница в возрасте не совсем стерлась. Стерлась, конечно, но не совсем.

— Сколько же мы не виделись? С конца марта! . . .

— Сашка тебя оберегает, говорит, что ты нуждаешься только в положительных эмоциях!

— И потому ты посылаешь вместо себя Иринку? Ладно, ладно, это я так... У тебя, Ильин, хорошая жена.

— Иринку всегда хвалят, когда хотят поругать меня. Ты как себя чувствуешь?

— Я? Хорошо. Было здесь всякое, но прошло. Выздоровливаю, скоро домой. Ужасно все надоело. И яблоки, и апельсины... Но твоя Иринка все так аккуратно уложит, всякие там салфеточки. Женщина должна быть такой, как Иринка, женственной и... здоровой, да вы, мужчины, и не признаете ничего другого.

— Ну что ты, Люся, ей-богу...

В это время Люсины соседка, совсем еще молоденькая девушка, сильно закашлялась, и Ильин не закончил фразу. Все звуки сразу исчезли — он больше не слышал ни своего, ни Люсиного голоса, ни шороха белья, ни позывных «Маяка» из соседней палаты. И даже шум машин за окном куда-то провалился. Слышен был только кашель, который и был этой больницей.

— Выйди, — сказала Люся.

Ильин встал и вышел в коридор. Но и сквозь закрытую дверь палаты он слышал кашель и думал, что именно так по ночам кашляет Люся.

Наконец нянечка, у которой было семеро внуков, сказала, что «вас Людмила Петровна просит», Ильин кивнул и, приоткрыв дверь палаты, снова увидел четыре кровати, желтые лица, сирень... все было так, как четверть часа назад, но было такое чувство, словно порванную ленту наспех склеили.

— Да, — сказала Люся, — штука это паршивая.

— Тебе, наверное, нельзя так много разговаривать!

— Это почему? Практически я здорова и скоро снова пойду в свою контору, это ты теперь свободный художник: хочю — иду, хочю — не иду...

Ильин промолчал. Не вступать же с Люсей в спор, тем более что и сам он еще совсем недавно точно так же посмеивался над адвокатской братией.

— Как же ты решился? — спросила Люся.

Откинувшись на подушки, она смотрела вверх Ильина в окно, на волю. Больница стояла на пригорке, внизу текла река и как раз в этом месте делала петлю. Из окна были видны белые корпуса нового жилого квартала.

ла. Раньше здесь был лес, жиденский, но все-таки лес, на который и приятно, и тоскливо смотреть. Но вскоре все вокруг вырубил, и теперь из окна видны только белые корпуса домов и широкая двусторонняя магистраль, соединяющая новый район с центром.

— Как же это ты решился?

— Вот взял и решился, — сказал Ильин.

— Но я спрашиваю серьезно. Ведь это — шаг!

— Ты что же, считаешь, что я и на один шаг не способен?

— Ничего я не считаю... Но как это: уехал в командировку одним человеком, вернулся другим?

— Вот Иринка, например, говорит, что во мне решение давно прорастало, так сказать, зрело...

— В самом деле? Ну и что же?

— Да ничего, учусь...

— А ты изменился, — сказала Люся.

— Да?

— Да. Не знаю в чем... ну, стал более интеллигентным, что ли... А как Касьян без тебя? А как ты без него?

— Что касается меня, я, естественно, сохранил благодарность...

— Не люблю, Женька, когда это из тебя прет... круглое: «сохранил благодарность»! Это надо же... Ты из себя это выдавливай... круглое...

— Капля по капле, как Чехов советовал?

— Для начала давай, как Чехов. Ну ладно, расскажи, что у вас дома? Иринка каждый раз столько хлопот, что у вас дома? Иринка каждый раз столько хлопот, что у вас дома? Иринка каждый раз столько хлопот, что у вас дома? Иринка каждый раз столько хлопот, что у вас дома?

— Андрей?

— Он мне сюда такое письмо прислал! Я думаю, вы его слишком жучите. Ну, не может он с Милкой играть Чайковского в четыре руки... не создан он для этого.

— Да и я так думаю. И для кружка мягкой игрушки он тоже не создан. Но с каким удовольствием я прочел бы сейчас его письмо!

— Фига-с! Чтобы ты там считал орфографические ошибки? Ну что, ну пишет «шастливый». Пушкин тоже так писал...

— Иринка бы ему за этого Пушкина такое выдала!

— Глупые у парня родители. Так и передай.

— Передам. Обязательно.

— Каким стал покорным. И только потому, что я лежу, а ты с ногами...

— Ну, Люська, ты и в здоровом виде любишь поучать!

— Я? Много себе позволяешь!

— А ничего не остается! Сына я своего воспитать не могу, шаг мне вроде тоже противопоказан...

— Насчет сына правильно понял, а насчет шага я тебе пророчу большую карьеру. Не пожалеешь, что оставил Касьяна вдовушкой...

— А что, все может быть, — весело сказал Ильин. — На днях защищал одного... ну и отстоял. Сегодня явился ко мне его кореш: украл, понимаешь, белье с чердака. Может, это и есть начало моей новой карьеры?

— Не очень-то возносись: чердачная кража, приобщился, называется. Ты теперь влюблен в студента четвертого курса Женю Ильина, хризантемы ему носишь, а ведь другие тоже эти двадцать лет работали, с дискуссиями и без дискуссий, и ты тоже.

— Если называть все своими именами... — начал Ильин, но, заметив нянечку, которая подавала ему знаки, встал. — Скоро ты будешь дома, и мы сумеем обо всем переговорить.

— Сядь!..

— Люся!..

— Сядь, сядь... я хочу спросить... Как там мой Калачик?

Ильин не ожидал такого перехода:

— Почему же он твой?

— Но ведь это наш НИИ!

— Экспериментальный цех...

— Да, конечно, с этим Калачиком я почти и не знакома. И все-таки это наш НИИ...

— Я отлично понимаю, что все это тебе больно и неприятно. Но нельзя же так переживать. У нас в прошлом году, ну не в самой конторе, а на периферии, тоже вскрыли одну историю...

— Как всегда, все разложил по полочкам: «Больно и неприятно...» Круглб, Женя, круглб. Здесь больно, — сказала она, ткнув себя в грудь тощеньким кулачком.

Помолчали. Ильин боялся продолжать этот разговор. Он видел, что Люся раздражена, и думал, что, наверное,

это он ее раздражает, его здоровый и самодовольный вид, гладко выбритое лицо и запах одеколона, которым час назад его опрыскал парикмахер. «Но в чем же я виноват! — думал Ильин. — Неужели же только в том, что у меня гладкая розовая кожа? Да, я ее раздражаю, но уходить сейчас нельзя, потому что это будет для нее еще хуже».

— Все-таки попробуй понять, — сказала Люся уже своим обычным тоном, который Саша в шутку называл «руководящим». — Допустим, Калачик жулик, похоже, что ведомости были липовыми. Но Сторицын!

Уже был звонок, посетители зашевелились, в сумки и портфели шли пустые банки из-под компота, бутылочки и всякая мелочь. Девушка, которая только что так страшно кашляла, улыбалась и просила принести в следующий раз новые стихи Окуджавы, такая маленькая тетрадоочка в столе, второй ящик слева.

— Я тебя умоляю — не думай о делах служебных, — сказал Ильин. — Смотри, соседка твоя уже улыбается...

— Да мы все здесь такие, — сказала Люся. — Сегодня улыбаемся, а завтра... И все-таки я еще кое-что тебе скажу. Но Сашке — ни слова. А передашь, тоже невелика беда. Вчера у меня был Сторицын.

— Ах, Люся, Люся! — только и сказал Ильин.

— Почему же «ах»? Мы все-таки знакомы. Он плакал, говорит, что не брал, что его оклеветали.

— Все может быть... — сказал Ильин.

— Я по глазам вижу, что ты не веришь... А мне как-то от этого легче стало. Но больница действительно не место... через неделю я буду дома! Ну, иди... Ты хотел, чтобы я улыбнулась, пожалуйста, по твоему заказу... — И она улыбнулась Ильину. Но какая это была улыбка! Ильин со страхом смотрел на ее лицо, высушенное болезнью. — До свиданья! На будущей неделе приходи и принеси шампанское. Обожаю шампанское, а мне носят апельсины...

14

Ильин был у Люси в среду, а в четверг, через неделю, Люся умерла. Ночью ей стало плохо, и почти сразу все было кончено. Ильин поехал в больницу, хотя в этом уже не было никакой надобности.

Лечивший Люсю врач принял Ильина и сказал, что летальный исход следовало ожидать.

— Она хорошо себя чувствовала, — сказал Ильин, — надеялась на этой неделе быть дома. . .

— Это состояние эйфории, наблюдается весьма часто.

Сидя в ординаторской и слушая непонятные ему слова: «эйфория, коллапс, летальный исход», Ильин испытывал только одну суеверную потребность — увидеть неживую Люсю и посидеть рядом с ней. И чем больше он говорил себе, что прощание с неживым человеком — нелепость, нонсенс, тем больше ему хотелось быть сопричастным к тому, что произошло. Когда в войну погиб его отец, это была как бы и не смерть, а мгновенное исчезновение, прах, горстка пепла, развеянная ветром. А в пятьдесят втором, когда умерла мать, Ильин стажировался на Дальнем Востоке; погода была нелетная, он просидел двое суток на аэродроме, и его приезда не дождались. И снова горстка пепла, на этот раз в погребальной урне. Его успокаивали, ему говорили, что мы должны трезво смотреть на вещи, но Ильину и тогда не хватало того же, чего не хватало сейчас: посидеть рядом с неживой.

И, выйдя из ординаторской, Ильин пошел в Люсину палату. Дверь была открыта, он постоял минуту в дверях, потом решительно шагнул.

Четыре кровати, на одной из них — девушка, которая просила стихи Окуджавы. Увидев постороннего человека, она вопросительно взглянула на Ильина. На второй кровати, у окна, и на третьей, в простенке, лежали две пожилые женщины и разговаривали. Четвертая кровать была аккуратно застелена и так пронзительно пуста, как будто из нарисованной картины кто-то с маху вырезал Люсю и поставил на ее место пустую, по всем правилам застеленную кровать.

Наконец та, которая лежала ближе к окну, спросила:

— Вы к Люсе?

И как ни странен был этот вопрос, Ильин утвердительно кивнул.

— Ее увезли. Ей ночью стало плохо, я вызвала сестру, и та сразу поставила ширму.

— Что поставила? — переспросил Ильин, ужасаясь этой самой ширме.

Но ему не успели ответить, вошла нянечка, у которой было семеро внуков.

— А вы к нам за этим не ходите, — сказала она Ильину. — Вам не для того пропуск выписывали. Идите, идите. — И она широко расставила руки, словно загораживая своих больных.

После больницы Ильин поехал к Саше, но Саши, конечно, не застал. Теперь уже пора было на прием в консультацию.

Он ждал ответа на свой запрос по поводу чердачной кражи; оказалось, что ответ уже давно пришел и, по-видимому, затерялся. Ильин в недопустимо резкой форме сделал замечание секретарше Галине Семеновне, пришлось у нее же просить прощения.

Только к вечеру Ильин попал домой. Иринка и Саша пили чай на кухне. Они пили чай, а Ильин остановился в дверях, не зная, что сказать: если бы он увидел Сашу плачущим или хоть чем-то выражавшим свое горе, но это мирное чаепитие...

Иринка вскочила и сразу стала хлопотать: «Садись с нами, ты тоже, наверное, устал...» «Тожe» и «с нами» должны были объяснить, что Иринка провела день с Сашей, что Саша не был предоставлен самому себе и что теперь они принимают Ильина в свою компанию.

Все-таки Ильин подошел к Саше, хотел сказать хоть несколько слов, но Иринка хлопотала как-то уж очень близко:

— Тебе разбить яичницу? Ты очень голоден? Мы уже поели...

— Не надо, — сказал Ильин, который с утра ничего не ел, но не мог представить себя улетающим яичницу рядом с Сашей.

Иринка налила чай, сделала бутерброды, а Ильин все смотрел на Сашу: «О чем он сейчас думает? Ужас какой-то, темная бездна, и ничего больше...»

И в это время Саша сказал:

— Да ешь, ешь, Ира, дай ему поесть как следует.

И снова Ильин был потрясен будничностью этих слов.

Кончили пить чай, и Иринка сказала, что приготовила Саше в детской.



— Отдыхать, отдыхать, — сказала она, — мне в аптеке дали изумительное снотворное. А если не заснешь, надо вторую...

Саша кивнул, взял таблетку и пошел в детскую. Ильину снова захотелось сказать Саше несколько слов.

— Нет, нет, он слишком устал, сейчас для него главное — уснуть. Столько формальностей, ты себе не представляешь, и все в разных концах города...

Иринка говорила так уверенно, словно бы она всю жизнь занималась похоронами; наверное, эта уверенность хорошо действует на человека, придавленного горем. И уже лежа в постели, она энергично продолжала свой рассказ о сегодняшних кладбищенских мытарствах, и Ильин подумал: «Да, она делает дело, она все умеет, а я много рассуждаю и ничем не помог...»

И все-таки ему хотелось поговорить с Сашей. До сих пор еще не проклюнулись слова, и он уговаривал себя, что это эгоизм и что разговор нужен не Саше, а только ему, но все равно хотелось поговорить.

— Ты не спишь? — спросила Иринка.

И уснула, не дождавшись ответа.

Ведь она тоже была очень утомлена, вместе с Сашей они ездили выбирать место. «Выбирать место». Для каждого дела, даже для такого, как устройство мертвого, есть своя канцелярия.

Ильин встал и подошел к детской. Но Саша спал, снотворное подействовало, было слышно, как он тяжело храпит. Пусть спит, завтра снова ехать на кладбище, и еще нужны какие-то документы.

«Наверное, для Саши Люсина смерть более реальна, чем для меня, — вдруг мелькнула странная мысль. — Да нет, это не странно, Саша каждый день бывал в больнице и видел то, чего не видел я... Он был больше подготовлен...»

И снова Ильин подумал, что у них в семье никто никогда не болел. «Тьфу, тьфу...» Но мысль о том, что он еще не встречался со смертью как с делом совершенно реальным, была главнее той, что, мол, все здоровы и не следует притягивать к себе дурной глаз. «Нет, следует... — неожиданно подумал Ильин. — То есть как это «следует»? Следует притягивать к себе дурной глаз?»

Но дурной глаз — чепуха собачья, а просто следует думать, следует думать...»

«А о чем следует думать? — спросил себя Ильин. — Следует думать о смерти», — ответил он себе, забрался в постель и покосился на спящую Иринку, как будто и спящая она могла услышать эти еретические мысли.

Он стал вспоминать, что говорили о смерти у них, у Ильиных, когда Ильин был еще мальчиком. Да и говорили ли когда-нибудь? И вспомнил, что когда в конце тридцать девятого дядя Коля, мамин двоюродный брат, погиб на Карельском, отец сказал: «Конец передышке». И мама, вздохнув, сказала: «Немало людей мы еще потеряем».

«Они знали, что жизнь конечна, — думал Ильин. — Да, то поколение знало, а наше? Но при чем тут поколение, удивительно: едва до чего-нибудь сам докопаешься, сразу — поколение. Поколение ни при чем, это мое личное дело. Мое, и только мое, и нечего сравнивать с собой ни дядю Колю, ни отца. И если я, Ильин, и пойму что-нибудь из того, что хочу понять, то это пойму я, а не все мое поколение».

Тишина, тишина, немосковская тишина... Он и не знал, что в Москве может быть так не по-московски тихо...

Через день хоронили Люсю. Вынос был из больничного морга. Стояла большая толпа, почти все лица казались Ильину незнакомыми. Иринка сунула ему в руки букет цветов, и он, как слепой, пошел за ней.

Двери морга были открыты, там тускло горело электричество, люди входили и выходили, входили быстро, словно решили, что пора окунуться, а выходили оттуда медленно, со слезами на глазах, и не только не стыдись своей слабости, но, кажется, даже гордясь ею.

Ильин пошел, подталкиваемый Иринкой, увидел гроб и мертвое тело, но Иринка шепнула: «Это не Люся, Люся третья», и Ильин понял, что толпа, стоящая возле больничного морга, состоит из нескольких толп.

— Положи цветы на грудь, — шепнула Иринка.

Вместе они постояли у гроба, а рядом стоял Мстиславцев, поддерживая рыдающую Леночку, и Ильин вспомнил, что на какой-то вечеринке Леночка смеялась и, охорашиваясь, говорила, что боится кладбищ и верит в существование привидений.

— Помоги вынести гроб, — снова шепнула Иринка.

И он, и еще кто-то вынесли гроб. Ильин шел позади Саши, тупо глядя в Сашин давно не бритый затылок с завитками седых волос и на торчащую над воротничком матерчатую полоску, на которой не по-русски было написано: «Алекс».

Автобус с гробом взял с ходу, за ним поехало несколько машин. В черной «Волге» сидел начальник Люсиного НИИ Василий Васильевич, высокий жилистый мужчина, поразительно напомилавший де Голля.

— Это хорошо, что он приехал, — сказал Мстиславцев. — О'кей, — прибавил он, словно боясь, что Ильин его не понимает. За машиной, в которой ехал Василий Васильевич, ехали другие машины, и Мстиславцев, глядя в заднее стекло автобуса, называл людей, как на дипломатическом приеме: — Аржанов, Федореев...

На кладбище все было готово. Похожий на де Голля Василий Васильевич, как-то сонно оглядев толпу, подошел к могиле.

— Всю свою сознательную жизнь... — загудел он. — Отмечая высокую принципиальность и неуклонную... В последний путь, в последний путь...

Ильину показалось, что заскочила пластинка, и он с ужасом подумал, что же теперь будет, но в это время его самого стали выталкивать из толпы.

— Скажи несколько слов от имени друзей, положено... — зашептал Мстиславцев, но Ильин неожиданно уперся.

— Не надо, — сказал он твердо.

— То есть как это — не надо? Вы вместе учились, дружили, кому же, как не тебе?

Произошла неприятная заминка. Все неодобрительно смотрели на Ильина, и даже Иринка издали кивала ему: надо!

— Разрешите мне, — сказал Аржанов и подошел к могиле. — Я не был близким другом Людмилы Петровны, и, признаюсь, мы давно не виделись. Так что же, что привело меня сюда? — спросил Аржанов с таким неожиданным волнением, что Ильина всего словно трянуло, и он стал внимательно слушать. — Меня привела сюда моя молодость, — сказал Аржанов. — Да, молодость, — прибавил он, словно проверяя свое чувство на прочность. — Давно это было, я вернулся с войны и пришел

в университет, еще не решив, буду ли я продолжать учиться там, откуда ушел в сорок первом. И вот там, на Моховой, и, кажется, в первый же день, я познакомился с Людмилой Петровной, которая так же, как и я, вернулась с войны. Я помню разговор в коридоре, разговор случайный, на ходу, который определил мою жизнь на много лет вперед. О чем он был, этот разговор? О доблести, о подвигах, о славе? Нет, она всегда боялась громких слов, разговор шел обо мне, о моей судьбе, я говорил о моих сомнениях. Нет, не так: я исповедовался, и меня слушали. И вот сегодня я пришел сказать спасибо той, которой я обязан многим, но которой уже нет среди нас, — он чуть помедлил, — живых. . .

После похорон Ильин подошел к Аржанову:

— Большое вам спасибо, вы прекрасно сказали. И так меня выручили, верите ли, я в тот момент и двух слов не мог выговорить, а вы прекрасно, прекрасно сказали. . .

— Но я вовсе не собирался говорить красиво, — сказал Аржанов, улыбаясь.

Ильину хотелось спросить, был ли в действительности тот разговор с Люсей, но спрашивать об этом было, наверно, бестактно, тем более что ответ мог быть однозначен.

— А главное, — сказала Иринка, — когда вы говорили, я все время видела перед глазами Люсю.

«Выдумал, — внезапно решил Ильин. — Ну да ладно, не все ли теперь равно».

Все стали рассаживаться по машинам, и Ильин увидел, что Иринка снова захлопотала, подбежала к Мстиславцеву, и тот сказал:

— Иринушка, милая, какой обед, час дня, время рабочее, вот поработаем свое, а уж потом и обедать, замечано?

Иринка, Саша и две старушки, кажется Люсины тетки, сели в одну машину, а Ильина взял в свою Аржанов. Они всю дорогу вспоминали Люсю, и Аржанов, между прочим, заметил, что вся эта история с Калачиком повлияла, конечно, на ход болезни.

— Да, — сказал Ильин. — Сторицын был у нее и, кажется, плакал. . .

— Сторицын? — заинтересованно спросил Аржанов, по-видимому, он ничего не знал. — Конечно, ведь они

вместе работали. Да, печально, очень печально: Скажите, вы в курсе, что ваша жена пригласила меня на поминки?

— На поминки? Да, да, конечно, — солгал он. В том настроении, в котором он был сейчас, это приглашение не имело никакого значения. Да к тому же Аржанов так хорошо сказал о Люсе. Но этот варварский обычай... Не может быть, чтобы этого хотел Саша. И тут он вспомнил Мстиславцева: «Иринушка, милая, час дня!» И ему стало неприятно, что вечером он снова увидит тех же людей, которых только что видел в морге.

— Я спросил, в курсе ли вы, — спокойно объяснил Аржанов, — потому что заметил вашу неприязнь ко мне. — Ильин хотел возразить, но Аржанов все так же спокойно продолжал: — Такая неприязнь иногда рождается интуитивно, но чаще всего это следствие предвзятости... Если меня не переносит какой-нибудь Васильев или Колтунов, то это понятно: им я чужой. Им, но не вам. Мы с вами на одной стороне, какие бы судебные дела нас в будущем ни разделяли. Вас они тоже будут ненавидеть, потому что скоро и у вас будут большие дела, скоро, очень скоро. Это вам говорит человек, который знает, как трудно поворачивать это самое... ну, скажем так — колесо фортуны. Вам оно дается легко. Например, сегодняшняя заметка о вашей речи. Обо мне писали что-то вроде этого, но только лет через десять после начала.

— Что за заметка? — спросил Ильин.

— А вы не читали? — Аржанов нахмурился, кажется решив, что Ильин все-таки знает.

— Я сегодня вообще газет не читал.

— А, ну да, ну да... понятно. Тогда держите.

Он дал Ильину газету и показал небольшую заметку в конце страницы. Там был уже отчеркнут синим карандашом большой абзац: «Адвокат Ильин в своей защитительной речи дал весьма убедительный и психологически очень тонкий очерк своего подзащитного, хорошего работающего парня, попавшего в дурную компанию. Адвокат не пожалел времени и всесторонне исследовал жизнь своего подзащитного, весьма полезным оказался экскурс в школьное прошлое, где антипедагогическая практика и черствость...»

— Да я никогда этого не говорил, наоборот, меня поразила редкая совестливость...

— Вот ведь какой человек, его хвалят, а он недоволен! Позвольте вас спросить, много ли у нас вообще пишут об адвокатуре, а уж если и пишут, то, как правило, адвокат — «ловкач» и «выгораживает», а тут, смотрите, — и он, взяв из рук Ильина газету, бережно расправил ее.

— Я не заметил подписи, — сказал Ильин. — Кажется, просто инициалы.

— Ну, дорогой, вы хотите, чтобы о вас сразу написал Федин. Довольно с вас и инициалов «Е. П.».

«Дунечка!» — чуть было не вырвалось у Ильина.

— Теперь убедились, что мы с вами по одну сторону? — сказал Аржанов, не то смеясь, не то серьезно. — Ну, куда вас отвезти? Лично я — домой. Надо отдохнуть перед ужином. Говорят, ваша жена превосходная хозяйка.

— Спасибо, я выйду здесь, — сказал Ильин. Ему хотелось хоть недолго побыть одному.

— Газетку сохранить? — спросил Аржанов, высунувшись из машины.

— Да, хорошо, спасибо. Спасибо, — повторил он.

На улице было еще жарче, чем в машине. Давно уже не было такого июня. И то ли от жары, то ли от сегодняшнего настроения Ильину казалось, что еще никогда в Москве не было столько народа. Толпа в морге, толпа на кладбище, толпа на улице. Он встал в очередь за водой, но стоять было тяжело, и он пошел по улице без цели, усталый и недовольный собой и своим разговором с Аржановым. Он сравнивал то, что говорил о нем сейчас Аржанов, с тем, что сказала Люся, когда он был у нее в больнице. «Сделаешь карьеру». Аржанов только чуть-чуть видоизменил эти слова. «Карьера? — думал Ильин. — Нет, я не хочу никакой карьеры, я хочу... А чего я хочу?» — спросил он себя, и ему казалось, что, если бы не жара, он бы сразу ответил себе, а вот жара мешает ответить на самый важный вопрос. Да еще вечером надо пить водку.

Он сел в троллейбус, доехал до почты, выстоял очередь к «колдунье» и получил письмо от Лары.

«...Сезон, экскурсоводов не хватает. И еще: мои соседи в отпуске, и Галку не с кем оставить. Тысяча мелких

причин мешает мне приехать в Москву. Как трудно преодолеть быт!

...Когда я еще училась в школе, мы всем классом ездили в Москву, купили билеты в МХАТ, но спектакль был дневной, а мне так хотелось на вечерний. Но все-таки, все-таки! И этот занавес!

...Вы сказали, что в Москве нет такого места, где можно спокойно подумать. Неужели же Вам в самом деле мешают машины и транзисторы?

...Я ездила по Москве-реке на пароходике до Кунцева и обратно, и это было прекрасно.

...Сиреневый бульвар! Удивительное название. Я хочу погулять с Вами по Сиреневому бульвару или еще где-нибудь. Наверное, и мне надо что-то переустроить, сломать, начать заново. Это трудно?»

15

После заметки в газете на прием к Ильину стали записываться. Федореев советовал — не берите мелочей, садитесь в большой процесс; но Ильин брал все подряд. Казалось, что сам организм требует полной загрузки, а когда выпадал свободный час, Ильин чувствовал себя развинченным, раздражался по пустякам и жаловался на жару.

Все было раскалено — сукно на судейском столе, деревянный барьерчик, отделяющий скамью подсудимых от публики, и кожаные кобуры конвойных. В зале не продохнуть. Но Ильин никогда не выступал без пиджака, и всегда в рубашке с галстуком.

— Это что же, в упрек нам? — спросил председательствующий Александр Платонович Молев, тучный мужчина, больше всех страдавший от жары.

Ильин пожал плечами:

— Так удобнее...

И в самом деле, эта внешняя подтянутость, запонки, подтяжки и другие мелочи настраивали его на работу.

Дело, в котором Молев председательствовал, а Ильин защищал, было из ряда вон выходящим. Молодой инженер-экономист — ему только недавно исполнилось двадцать четыре года, а выглядел он еще моложе — обвинялся в убийстве тещи с целью завладеть ее имуществом.

Не только родственные связи и не только хладнокровная жестокость делали этот процесс необычным. Геннадий Самохин производил впечатление человека интеллигентного и воспитанного, на вопросы суда отвечал тихо и даже несколько рассеянно, как будто речь шла не о зверском убийстве, а о чем-то совершенно обычном, о чем и говорить лень.

Много передумал Ильин, особенно в те дни, когда он вместе с Самохиным знакомился с обвинительным заключением, и потом, в переполненном зале суда. Скученность была необычайной, и Молев уже не раз обращался к публике с просьбой не устраивать давку.

Но самое трудное испытание было впереди, а у Ильина до сих пор не сложилась защитительная речь. Сколько угодно фактического материала, но нет главного — достоверных психологических мотивировок, без которых любая речь становится мелкой и ничтожной.

Сегодняшнее заседание началось с просьбы Ильина о повторной судебно-медицинской экспертизе. Суд согласился, и сразу же недовольно загудел зал: «По такой жаре тащились! Чего уж там докторам делать!» Молев был вынужден сказать, что, если еще раз возникнет шум, он прикажет удалить нарушителей из зала.

— Еще бы лучше при закрытых дверях, но с открытыми окнами! — смеясь сказал Аржанов и взял Ильина под руку. — Держитесь, осталось недолго!

В коридоре Ильин почти столкнулся с Тамарой Львовной. Уже не первый раз он встречал ее в суде, а на процессе Самохина — каждый день.

— Ну что, ну как? — спросила Тамара Львовна. — Есть надежда?

Ильину вопрос не понравился, не понравился и нездоровый вид Тамары Львовны, и лихорадочный румянец. «Зачем эта ученая дама, явно в ущерб своей научной работе, просиживает здесь часы?»

— Надежда? Надежда на что?

— Но ведь он ненормален, это сразу видно...

— Суд не может не считаться с заключением авторитетной экспертизы, — сухо сказал Ильин.

— Мне бы так хотелось встретиться, почему вы никогда к нам не заглядываете?



— Но где взять время? Судебное разбирательство заканчивается, скоро объявят прения сторон. Вы ведь теперь, кажется, в этом понимаете?

— Да, понимаю. Извините. . .

«Как она изменилась», — подумал Ильин. Он вспомнил их разговор на даче: «Чего-чего, а теорий всегда хватает. А вот как идет жизнь. . .»

Но думать о Тамаре Львовне было некогда.

Прежде всего на почтамт. Лара теперь писала часто, гораздо чаще, чем весной. Она писала, что мечтает о встрече, и жаловалась, что не спит ночами, думает о нем. Если бы эти строчки встретились в чьих-то других письмах или в книгах, Ильин нашел бы их банальными. Но он знал, что Лара пишет правду. «И хотя я иногда теряю надежду увидеть Вас, я все-таки счастлива», — писала Лара. И он знал, что и это правда.

Не раз Ильин думал, что, быть может, лучше всего прекратить переписку. Все равно у них с Ларой нет будущего. Но он так привык к этим странным, быстрым и ласковым строчкам, что уже не мог жить без них. Так втягивается пьяница в свое горькое питье, и Ильин боялся дня, когда все будет кончено.

Сезон «до востребования» был в разгаре. Ильин в адской духоте выстоял большую очередь и, получив письмо, вышел на улицу, тоже переполненную приезжими. Он решил идти по направлению к Большому. Древний пароль «В садике у фонтана» был сейчас как нельзя кстати. Но и в садике была толкучка, все скамейки забиты, туристы, толкая друг друга, пытались попасть под брызги, отовсюду слышался пулеметный треск «зени-тов» и «кодаков».

Может быть, снова попытать счастья в холле гостиницы, на этот раз в «Москве»? Но в гостиницу Ильин не попал. Издали он заметил милиционеров в белых перчатках, сдерживающих большую толпу, а у входа в гостиницу горели киноопитеры. Толпа вынесла Ильина на мостовую.

— Что здесь происходит?

— Вы что, ненормальный, вам что, каждый день живую Лоллобриджиду показывают?

«А, фестиваль! До чего же я отстал. . .»

С трудом он пробился на другую сторону улицы, купил газету. На Филиппинах обнаружено первобытное

племя. Вступил в строй новый металлургический гигант, конкурс на лучшее здание библиотеки, открыта новая комета, Фишер запрашивает... И хотя Ильин понимал, что новый металлургический гигант — это хорошо, а требовать миллионы за игру в шахматы — плохо, но все эти события шли как бы поверх главного, а главное было в том, что скажет медицинская экспертиза о Геннадии Самохине. Все от этого зависит. «Нет, ничего от этого не зависит, — внезапно подумал Ильин. — Самохин здоров, и на болезнь мне не придется ссылаться. Так-то, дорогая Тамара Львовна... Но если он здоров, то на чем же будет стоять моя речь?» — в тысячный раз спрашивал себя Ильин, и казалось, что все киноюпитеры обращены сейчас только на него, говорящего свою защитительную речь. Александр Платонович, изнывающий от жары, заседатели — пожилой рабочий с автомобильного завода и известная пловчиха, — а на первой скамейке сидит жена Самохина, молоденькая и хорошенькая и всех раздражающая своим кукольным личиком и туфлями на сверхвысокой «платформе».

Ильин был в двух шагах от бывшей своей конторы. Зайти? Говорят, родные стены помогают. И потом, Касьян Касьянович! Что бы там ни говорили, а человек с огромным житейским опытом...

Здание конторы стояло во дворе большого двенадцатизэтажного дома. Этот дом — стекло и бетон — выстроили сравнительно недавно, а здание конторы осталось таким же купеческим, каким было сто лет назад. Но одно новшество все-таки и здесь появилось: роскошный, выложенный мраморными плитами вестибюль со стеклянной дверью-вертушкой и гардеробом в подвале, тоже отделанном мрамором; оттуда летом приятно веяло холодом.

Первым заметил Ильина Мстиславцев и сразу же ухватил его за рукав:

— А, попалась, которая кусалась! Это как: проездом в нашем городе?

— Да вот, был рядом, решил зайти...

Мстиславцев потащил Ильина вверх по лестнице, весело показывая его сослуживцам:

— Иду, вижу: кто-то лежит, вроде бы знакомый человек...

— Да ну тебя! — отбивался Ильин.

Но даже главный бухгалтер Фирсов, человек уважаемый и независимый и повсюду подчеркивающий свою независимость, даже он вышел из своего «блиндажа» — так с незапамятных времен называли маленькую комнату, в которой он работал, вышел только для того, чтобы взглянуть «на нашего милого Женю». Даже угрюмая старушка Шутикова, даже Елена Ивановна Кокорева — все они теперь толпились вокруг Ильина, а вскоре набежали и машинистки и еще бог знает кто. Мстиславцев сиял так, словно бы это была его антреприза.

И сразу девчонки стали кричать:

— Евгений Николаевич, расскажите, кого вы сейчас защищаете?

Ильину отвечать не хотелось, и он сделал вид, что полностью занят серьезным разговором с Фирсовым. Но и Фирсов не выдержал:

— И в самом деле, милый Женя, расскажите нам об этом процессе, — и щелкнул челюстями, как это делал всегда, когда подписывал ведомость.

— А верно, что этот бандит полмиллиона взял, а потом его больше года искали? — спросила старушка Шутикова.

— На Каляевской? ..

— Бежал и отстреливался?

— Евгений Николаевич, а как же вам такого защищать?

— Товарищи, товарищи, не наседайте, — шутливо умолял Мстиславцев, — вопросы только в письменном виде.

Но уже бежала по коридору секретарша Касьяна Касьяновича, хроменькая Виктория Петровна, всех озаченно спрашивая:

— Ильина не видели? Касьян Касьянович просит.

Все неохотно разошлись. Ильин слышал, как Фирсов сказал:

— Тещу? Такой и отца зарежет, рука не дрогнет! (Девчонки сразу на него напали: «Вот вы всегда так! Адвокат должен быть психологом!»)

Касьян Касьянович был не один. Рядом, но за другим столом, поставленным перпендикулярно, сидел тот самый, похожий на де Голля, Василий Васильевич, который на Люсиных похоронах говорил речь. У Ильина

сразу в голове загудело: в последний путь, в последний путь, в последний путь, — вот ведь как бывает: говорил один человек, а запомнился целый хор.

— Черт, зануда, висельник, судейский крючок, — говорил Касьян Касьянович, обнимая Ильина. — Почему не заходишь, почему прячешься? А вы что, не знакомы? Как это — нет? Ну, это моя недоработка, моя, моя, Василий Васильевич старый наш друг. И как раз мы о тебе говорили, верно? — «Де Голль» утвердительно кивнул, и Касьян Касьянович спросил: — А почему о тебе?

Как ни плохо было на душе Ильина, а он улыбнулся, услышав знакомые обороты:

— В самом деле, почему обо мне?

— Вот так и спроси. Знаменитостью стал, а? Василий! О Самохине вся Москва шумит! Признаюсь, был и у меня грех: и я однажды на свою тещеньку помыслил, ну, думаю, если ты сама вовремя не отлетишь... Ладно, ладно, я рад за тебя. Идем дальше. Дело Калачика. Ведь эта изба Василия Васильевича... Помнишь? Рубль за консультацию...

— Помню, но, откровенно говоря, не хотел бы об этом сегодня... Да и следствие еще не закончено...

— Вот именно что не закончено. Этот жулик много врет!

— Не понял вас...

— Василий? — снова обратился Касьян Касьянович к «де Голлю», но тот пожал плечами так, словно бы и имел что сказать, но не считал нужным разговаривать по этому поводу.

— Много врет Калачик, — продолжал Касьян Касьянович. — Затягивает людей неповинных. Это что за тактика такая? Болтает и затягивает. Сторицына уже десять раз таскали и на очные, и так.

— Зря вы волнуетесь, — начал Ильин. — Следствие идет своим чередом и...

— Скажи пожалуйста, «зря волнуетесь», — перебил его Касьян Касьянович. — Тебя бы посадили, я бы не волновался, да я бы весь свет обегал... Или как, из-за одного жулика всех пересажать? Ты что, уходишь? — спросил он «де Голля», который молча встал и молча протянул руку, сначала Касьяну Касьяновичу, потом Ильину.

— Закурим? — спросил Касьян Касьянович, когда они остались вдвоем.

— Нет, спасибо, — сказал Ильин. Ему уже не хотелось говорить о том, ради чего он шел сюда.

16

Когда Ильин добрался до дому, был уже четвертый час. Время обеденное, наверное, Иринка соорудила окрошку со льдом, в такую жару окрошка — спасенье, ну, а на второе ничего, кроме зелени, не надо. А главное, отдохнуть и постараться уснуть. Но навряд ли, навряд ли: слишком много впечатлений, мозг взбудоражен, и если бы Ильин не боялся лекарств, то всего лучше были бы синенькие таблетки, оставшиеся от того времени, когда Саша жил у них. Но он боялся лекарств, тем более по такой жаре. Нет, лучшее лекарство — душ, а к вечеру спадет жара и можно будет наконец сесть за работу.

Ильин любил свой дом. Не только свою квартиру, но и сам дом, выстроенный еще в тридцатых годах. Старый новый дом. Посмеивались, что он похож на спичечный коробок, поставленный «на попа». В пятидесятых, когда увлекались колоннами, спичечный коробок решено было снести, и снесли бы, но кто-то вовремя вмешался: все-таки шесть этажей. Ну, а затем начали борьбу с этим самым коринфом, строились новые дома, и старый новый дом отлично почувствовал себя среди модерна.

Пока спорили о стилях, подросли дубочки, ясени и клены, посаженные на воскресниках и субботах, и теперь казалось, что дом стоит на бульваре, а во дворе цветущий сад. Квартира Ильина была на самом верху, и он любил, задрав голову, с улицы высматривать Иринку.

Он и сейчас взглянул на балкончик, но там было пусто. После дикого летнего грохота в квартире совсем тихо, сквозняки, пахнет душистым горошком и лавандой, из года в год покупавшейся претив моли. Тихо, но как-то подозрительно тихо. . .

На вешалке он заметил куртку Андрея. Это как надо понимать?

— Иринка!

Молчание. Из кухни выходит Андрей, вид у него за-  
спанный, в руках потрепанная книжка.

— Андрей, что случилось? Почему не в лагере? Где  
мама?

— Там... — сказал Андрей неопределенно.

Ильин толкнул дверь в спальню. Иринка лежала на  
тахте, рядом кувшин с водой, на нем вчетверо сложен-  
ное полотенце. Чувствовалась валерьянка и угарный  
дым — окно в этой комнате выходило на юго-восток, а  
в той стороне под Москвой уже третий день горели тор-  
фяные болота.

— Иринка, я вызываю «скорую». Угар — это опас-  
но...

— Нет, нет, прошу тебя... это не от угара. Это он, он  
довел меня...

— Андрей? Почему он дома, а не в лагере?

— Спроси у него. Я ждала тебя, вышла на балкон,  
смотрю — Андрей... В первую минуту решила — болел,  
что же еще?

— Но он здоров?

— Совершенно здоров. Просто ушел из лагеря, захо-  
телось уйти, или, как он говорит, *ему надоело*, и он  
ушел. Нам уже звонили, там, конечно, страшный пере-  
полох, требовали тебя. Ты не представляешь себе, как  
мне было стыдно... Оказывается, сбежал ночью.

Иринка заплакала. Ужасно ей это не шло, казалось,  
она не плачет, а гримасничает.

— Но почему, почему? — снова спросил Ильин.

— Я ж тебе говорю — *ему надоело*. Ночью, денег на  
электричку не было, и он шел пешком, ночью — про-  
хладней. Это его слова: *надоело* и *прохладней*. Почему  
ты молчишь?

— Я думаю, — сказал Ильин.

— Думай сколько тебе угодно, но позвони в лагерь  
и хотя бы извинись.

— Мы ж еще с Андреем не поговорили.

— А, ну пожалуйста, разговаривай, если хочешь.  
Лично я этим сыта по горло. — И она провела рукой по  
старенькому ожерелью из розовых кораллов. Это оже-  
релье было самым первым подарком Ильина.

— Андрей! — крикнул Ильин. Иринка взяла кувшин  
и полотенце и демонстративно вышла из комнаты. — Ну,

рассказывай! — Андрей стоял молча, и Ильину пришлось повторить: — Рассказывай!

Но и на этот раз Андрей промолчал. Он стоял перед отцом довольно смело и независимо, но было заметно, что весь он как-то внутренне сжался.

«Все-таки он, наверное, здорово устал, — думал Ильин. — Все-таки сорок километров, ну, все сорок он пешком не одолел, где прошел, а где и подвезли. Но как же это у него не хватило денег на электричку? Наверное, все погубило мороженое. Наверное, как и в прошлом году, там устраивали пиры на полкило ассорти разом...»

— И долго ты намерен молчать? — спросил Ильин. — Просто не понимаю, чем тебе было там плохо. Образцовый лагерь! Почему ты хотя бы не позвонил нам? — Там телефон только в канцелярии, — сказал Андрей.

— Так что, разве не разрешается из канцелярии?

— Почему не разрешается, разрешается...

— Ну, допустим, ты не хотел оттуда звонить. Но ты ведь мог написать!

— И ты мне не написал... — сказал Андрей.

Ильин пожал плечами. Он отлично помнил тот разговор и то, что Андрей просил написать ему до востребования. Почему же он так и не написал сыну? Да только потому, что все это выглядело как-то несерьезно, что ли: тринадцатилетний мальчуган получает от отца письма до востребования! «Не солидно»... А почему, собственно, «не солидно»?

— Ну, а что теперь будет, после этого твоего бегства? Теперь придется мне звонить начальнику лагеря и просить взять тебя обратно. Как ты думаешь, приятно мне это или нет — извиняться за сына? А ты подумал, что мне надо работать, а из-за тебя пропадает время. Я должен сесть за стол и работать, у меня нет такого рубильника: включил — работаю, выключил — занимаюсь домашними делами.

— Ну и не звони ей, — сказал Андрей. Что-то дрогнуло в голосе Андрея и тотчас же отозвалось в Ильине.

— Ты, наверное, и не ел ничего...

— Ел, что ты. Я утром на станции пирожков десять съел.

— На станции?

— Да...

- Но почему на станции и почему... утром?
- Ночью поезда не ходят. Я подождал до утра.
- Так ты, значит, не пешком шел?!
- Ну что ты, папа, это же сорок пять километров.
- И деньги у тебя были?
- Ну, конечно. Ты же мне дал прошлый раз...
- Однако ты сказал матери, что шел пешком!

Андрей ничего не успел ответить, влетела Иринка и влепила сыну пощечину. У нее была сильная рука, но Андрей не дрогнул, а как стоял, так и продолжал стоять — смело и независимо.

Зато Ильин был потрясен. И тем, как неожиданно влетела Иринка — похоже, что она слышала весь их разговор, — и самой пощечиной. И было такое чувство, что эту пощечину получил он сам и что у него самого загорелась щека, а в ушах стоял противный звон.

— Ну ладно, — сказал Ильин, чтобы как-то разрядить все это. — Вот видишь, Андрей, до чего ты довел мать, даже у нее не выдержали нервы. И для чего надо было врать, что ты шел пешком всю ночь...

— Я этого не говорил, — сказал Андрей упрямо.

Обедать сели не скоро. Ильину было тяжело и от всего того, что сейчас произошло дома, и от того, что речь по делу Самохина так и не написана, а сейчас сосредоточиться будет еще труднее.

После обеда Андрей попросил разрешения погулять во дворе, и Ильин разрешил: уж если объясняться с Иринкой, так только вдвоем, а ему хотелось объяснить или, вернее, объяснить жене, что физическое наказание — это вообще не наказание и что оба унижены: и тот, кого бьют, и тот, кто бьет. Но едва он начал, как Иринка крикнула:

— Я не позволю ему издеваться над собой!

— Но ведь мы же решили, что я поговорю с ним...

— Это не значит, что тебе надо строить из себя христосика. Сегодня он сбежал из лагеря, а завтра что-нибудь украдет, а послезавтра...

— Остановись, пожалуйста! — сказал Ильин.

— Он меня оскорбил.

— Иринка, Иринка, что ты говоришь, мальчишке всего тринадцать лет...

— Оставь твой адвокатский тон! Это хорошо там, а ты все-таки дома... Мне стыдно, и я удивлена, что ты



так беспечно на все смотришь... В этом же лагере племянница Мстиславцева, чудная девочка, все теперь будут знать... Тебе на всех наплевать, а мне нет!

— Но с чего ты взяла, что мне «на всех наплевать»?

— На всех! В этом лагере сын вашего первого зама...

— Ну, слава богу, он теперь не мой первый зам. А Андрея надо забрать из этого лагеря!

До ужина все были врозь, а после ужина позвонила крымская бабушка, а потом Милка взяла трубку и прокричала, что здесь отлично, такой песок, такое море, приезжайте к нам, приезжайте к нам. И этот телефонный звонок восстановил мир. Андрею трубку, конечно, не дали, но после телефонного звонка все трое стали понемножку разговаривать. И все-таки это был еще не настоящий мир, а только перемирие.

17

Милая Лара! Защищаю человека, совершившего самое тяжкое преступление — убийство. Сегодня просил суд о повторном медицинском освидетельствовании моего подзащитного, но и сам не верю, что его признают человеком, неспособным отвечать за содеянное. Будь так, не я один, но и весь состав суда, и даже прокурор вздохнули бы свободней.

Убийство это жестокое, тщательно подготовленное и обдуманное во всех деталях. И вот еще что: через сорок минут после убийства Геннадий Самохин мирно обедал со своей женой — родной дочерью убитой. После обеда они пошли гулять и купили в ГУМе сбивалку для сливок, которую давно искали, да так и не могли найти.

Ему двадцать четыре года. Невысокого роста; худощавый, рыжеватенький. Лицо, в общем, довольно заурядное, тихий голос, держится очень ровно и склонен к иронии; это в его-то положении!

Женат, о его жене я Вам расскажу чуть позже. Есть два сводных брата; один служит на Дальнем Востоке, кажется, по мелиорации, другой плавает на китобойном. С обоими он никаких отношений не поддерживает. И вот почему: отец Самохина, в прошлом бухгалтер в районном отделении Госбанка, был женат на интересной и очень властной женщине. Она профессор, заве-

довала кафедрой иностранных языков в Экономическом институте, в своей семье была полновластной хозяйкой. И вот отец Самохина, будучи, как говорится, весьма в годах, разводится с женой и женится на студентке этого Экономического института. Тряска с разводом была необычайно долгой и мучительной (жена решительно возражала), но в конце концов их развели. Вскоре родился Геннадий, а через три года умерла его мать. После ее смерти отец протянул недолго, кажется, профессорша хотела с ним съехаться, но из этого ничего не получилось. Да, я еще ничего не сказал о бабушке Геннадия, она всех пережила, хотя, представляете, сколько ей сейчас должно быть...

Самохин окончил институт (держал в университет на математический, но провалился) и вот уже два года работает экономистом в техническом бюро. Одна характеристика лучше другой. И общественное мнение в этом бюро долгое время было совершенно единым: Гена не убивал, этого он сделать не мог, ошибка следствия, и на суде все выяснится. И после окончания следствия, когда Самохин во всем признался и когда стали выбирать общественного обвинителя, немало было голосов, что надо бы повременить, бывают и ошибки следствия.

И даже сейчас у Самохина множество доброжелателей. В перерывах ко мне подходят: «Мы на вас надеемся!», «Рано или поздно правда прорвется!» И все в том же духе, и после каждой реплики прокурора в зале недовольный шумок. А прокурор на этом процессе юрист самой высокой квалификации, и я не чувствую в нем никакой предвзятости.

Но против жены Самохина зал настроен весьма агрессивно. Все в ней раздражает: ее сверхвысокая «платформа» и то, как она сидит нога на ногу в первом ряду. Один из свидетелей по делу неожиданно брякнул: «Может, и впрямь Гена убил, но она его научила», и в зале зааплодировали. Председательствующий строго прервал свидетеля, а в перерыве я слышал, как он говорил прокурору: «Что за публика, кажется, по сто второй судим, могли бы понимать».

Другой свидетель, сосед по квартире, вспомнил о сбибалке — хороша, нечего сказать, мать убили, а она — в ГУМ! Но ведь она-то ничего не знала об убийстве... Дело дошло до того, что выделили конвойного сопровождать

Тусю в зал и из зала. Здесь все ее зовут Тусей. И как-то странно звучит, когда ее вызывают для показаний: Таисия Федоровна!

Самохин женился год назад. Свидетели рассказывают, что жили молодожены тихо, вечерами ходили в кино, иногда — в театр, иногда — в гости. И у них гости бывали, не часто, но бывали. На их зарплату особенно не разгуляешься. Туся работала копировщицей в КБ, там действительно зарплата небольшая.

Теща? Туся часто у нее бывала: Екатерина Георгиевна делала дочке богатые подарки — и белье дорогое, и модные туфли, да и шубу справила. Шуба хорошая, ему бы, с его сотнягой, и один рукав не поднять.

Все горело изнутри, и до времени ни одного язычка пламени не было видно, а 17 марта Самохин пришел к Екатерине Георгиевне в пять часов дня (отпросился на час раньше с работы) и нанес ей шесть ножевых ран, от которых она и скончалась. Затем сломал замки в шкафах и в ящиках стола, разбросал вещи по комнате, имитируя поиски ценностей...

Вошла Иринка:

— Женя, надо поговорить. У Андрея скоро школа, он должен побыть на воздухе...

— Конечно, — сказал Ильин.

— Может быть, на три недели поехать мне с ним в Крым, к маме?

— Делай так, как ты считаешь нужным.

— Андрей, Андрей, вечная наша беда... — сказала Иринка и ушла.

Двадцать пять лет назад Екатерина Георгиевна вышла замуж за некоего Виталия Колесникова. Ей тогда было восемнадцать, все звали ее Катюшей, работала она приемщицей в прачечной на Госпитальном валу. Но, конечно, только до замужества, дальше ей там работать было ни к чему. У Колесникова дом налажен: красное дерево, серебро, по тем временам нечто сказочное. Он заведовал керосиновой лавкой и очень удачно воровал и в войну, и долгое время после войны. Керосин, знаете, был тогда недурным источником. Ну, а дальше, в соответствии с техническим прогрессом, пошли керогазы. Колесников заведовал цехом, переквалифицировался на

газовые баллоны. Оказалось, что газ воровать и проще, и доходней. На двух процессах Колесников проходил свидетелем; на третьем получил свои двенадцать лет с конфискацией.

Екатерине Георгиевне пришлось тогда немало потрудиться, чтобы доказать, где мужнино, ворованное, а где ее собственное, непорочное. Ну, как же, ведь она утверждала, что было приданое, и на это приданое тоже нашлись свидетели. Дача, как водится, была записана на нее, и даже машину Колесников водил по доверенности жены. Все по закону, так сказать, до единой буковки. И после конфискации Екатерина Георгиевна и Туся остались двумя сиротками в хорошо обставленной квартире с коврами, и чешским хрусталем, и какими-то уникальными «елизаветинскими» люстрами, реставрированными самим, ныне уже покойным, Андреичем, с двумя объемистыми сберкнижками и с ценностями, которые хранились (на случай воров!) в банке с мукой и оценены теперь в пятьдесят тысяч рублей. Именно по поводу этих ценностей Туся сразу же заявила следователю, что «это не папино, это мамочкино». «Мамочкино» — означало теперь «мое» и, следовательно, нажито не с Колесниковым, а с Виктором Александровичем, за которого мамочка вышла замуж через полгода после «керосинового» дела и конфискации. Положение у Екатерины Георгиевны было тогда такое, что надо было либо начинать работать, либо выходить замуж. Но работать она совсем не умела, а куда-нибудь приемщицей в прачечную очень не хотелось. Таким образом, решение было подсказано как бы самой жизнью.

Жила Екатерина Георгиевна с новым мужем дружно и тихо. Он работал в небольшом ресторанном оркестре, играл вторую скрипку и ежегодно ездил в Ессентуки — страдал не то желудком, не то печенью и без Ессентуков совершенно пропадавал.

Так прошло еще семь лет. Туся что-то кончила и начала работать в КБ, вышла замуж, а полгода назад Екатерина Георгиевна овдовела. Проводили вторую скрипку негромко, без речей и поминок, словно все заранее было обговорено.

После похорон первой заботой Екатерины Георгиевны было устройство на работу. Я эту трудкнижку видел. Детский сад — уборщица, школа — гардеробщица,

даже монтажница в каком-то иксмонтаже. Конечно, никто никогда не видел Екатерину Георгиевну ни в гардеробе, ни в детском саду, ни на строительстве, которое ведет этот самый иксмонтаж. И здесь бы место фельетону, но произошло убийство.

Она была убита в четверг, а узнали об убийстве только во вторник на следующей неделе. Дочь и зять обратились в милицию. Они были встревожены: не могут дозвониться до мамы. Звонили в прошлый четверг, но никто не ответил, в пятницу уехали на дачу, вернулись в понедельник утром, опять никто не отвечает, звонили весь день, и вот наступил вторник. Пошли к маме, а у нее дверь не открывают... Через полчаса там уже полным ходом работала бригада уголовного розыска.

Каждое убийство, даже если все улики налицо, долгое время и во многом остается тайной. А тут до улики было далеко. После обыска возникло предположение, что убийца инсценировал грабеж и поиски ценностей, но все это требовало подтверждений. Очень опытная рука припрятала бриллианты и золото в банку с мукой, но следователю банка показалась подозрительно тяжелой, а грабители, если они все-таки существовали, могли и не найти... Следователь не торопился с выводами и терпеливо разрабатывал свою версию. Но вот в квартире убитой найден хлястик от дешевенького мужского плаща, а в квартире Самохина — квитанция из химчистки. Только тогда ему предъявили обвинение в убийстве и арестовали.

Вошла Иринка:

— Женя, для Андрея Крым вроде премии, это непедагогично.

— Да, конечно, — сказал Ильин.

— Все-таки, я думаю, наверное, лагерь лучше.

— Да, наверное, — сказал Ильин.

Для того чтобы ознакомиться с делом Самохина, надо прочесть два объемистых тома, шестьсот страниц. Вначале он все отрицает. В ответ на каждый вопрос следователя — горячая и многословная речь. Остается только позавидовать терпению этого немолодого человека, который внимательно выслушивает все самохинские монологи. Нет — всем объективным доказательствам,

которыми в то время уже располагает следствие и которые недаром называют неопровержимыми. Квитанция на чистку плаща? Что ж, плащ надо было отдать в чистку — вне зависимости от того, жива теща или нет. На плаще есть следы крови. Порезал палец! Экспертиза устанавливает группу крови, совпадающую с группой крови убитой, и, наконец, следствие предъявляет тот самый хлястик, найденный в квартире Екатерины Георгиевны. Но Самохин продолжает все отрицать, и чем дальше, тем более нелепо. И, наконец, сам следователь возбуждает ходатайство о его медицинском освидетельствовании. Врачи признают Самохина здоровым человеком.

После заключения медицинской экспертизы последовала очная ставка Самохина с Тусей, но и она обернулась против него.

«Ну, как же ты, Геночка, мы ж от тебя ничего не скрывали. Ты же знал, что это мамочкино, ты же знал, где мамочка хранит свои ценности».

Вот после этой очной ставки Самохин заявил, что хочет дать новые показания. Эти новые показания — подробнейший рассказ о том, как было подготовлено и совершено убийство. Больше он не ждет никаких вопросов. За ним не поспевают записывать. Да, мечтал о больших деньгах, хотелось пожить «во всю ивановскую». Ну, конечно же, знал о ценностях. Банку с мукой ничего не стоило выпотрошить, но зачем? Жена — единственная наследница. Да, все продумал заранее... Море слов, океан!

Когда я познакомился с Самохиным, он был уже другим — все признающим, ровным, вежливым, иронически улыбающимся. Мы вместе читали материалы предварительного следствия, и я сразу обратил внимание Самохина на противоречивость его показаний.

— Да, — сказал он мне, — приходилось петлять. Не каждому хочется быть расстрелянным.

Но это всего только фраза. Самохин не трус, и его противоречивые показания вызваны отнюдь не страхом за свою судьбу.

Вошла Иринка:

— Женя, я думала и решила: все-таки тебе надо позвонить в лагерь.

— Хорошо, я позвоню, — сказал Ильин.

— Завтра утром, хорошо?

— Да.

— И утром я с ним поеду... Знаешь, он уже спит и во сне так страшно скрипит зубами.

— Это жара, — сказал Ильин.

— Я не хотела его ударить.

— Понимаю.

— Но он меня раздражает. Этакое «неглиже с отвагой». Это Щедрин?

— Да, кажется...

Я думаю, что главным в жизни Самохина была его любовь к жене. Каждая любовь имеет, если так можно сказать, свое устройство. Устройство самохинской любви был страх перед потерей. Самохин не был ни ревнив, ни подозрителен. И Туся не из тех женщин, которые обманывают мужей. И в этом, как и во многом другом, Самохин отдавал себе полный отчет. Он был измучен не воображаемой изменой, а той реальной ситуацией, когда он мог в любой день и навсегда потерять Тусю. И этот страх перед потерей нарастал с каждым днем. Он страдал от свиданий Туси с матерью. И чем дальше, тем сильнее страдал. Каждая новая шляпка и каждый новый шнурочек, подаренные Екатериной Георгиевной Тусе, больно отзывались в нем.

Вы, пожалуйста, не думайте, что Екатерина Георгиевна была какой-то женщиной «вамп». Даже Самохин рисует ее довольно бесцветным существом. Просто она считала, что Самохин не пара ее дочери. «Не пара». Как-то это слово припахивает керосинчиком, не правда ли? На одном из судебных заседаний прокурор спросил свидетельницу, старую приятельницу Екатерины Георгиевны: как это она понимает — «не пара»?

— Ну, всю жизнь прожила в богатстве... Сберкнижки, бриллианты... А зять... да что сейчас говорить об этом, человека уже нет.

Поведение Самохина на следствии и на суде — зеркальное отражение его любви к жене. В тот самый день, когда следователь предъявил Самохину хлястик от его плаща, он получил от Туси записку. Ее обнаружили недавно, и она есть в деле. Всего несколько слов: «Люблю, не верю, что это ты, ..» Почему Самохин сразу не

уничтожил эту записку? А почему он ее должен был уничтожить?

Я думаю, что этих нескольких Тусиных слов было достаточно, чтобы все отрицать. Никакие квитанции и экспертизы ничего для него не значили. Признаться после такой записки? Нет, это был бы другой Самохин. Такой, какой он есть, он был готов стоять до конца. Делайте, что хотите, судите, расстреливайте — не я!

Очная ставка. Ее результаты были для Самохина катастрофой. И не потому, что он лишний раз был уличен следствием, а потому, что ответ Туси на вопрос следователя прозвучал для Самохина как самое черное предательство:

— Как же так, Геночка, мы ж от тебя ничего не скрывали, ты же знал, что это мамочкино, ты же знал, где она хранит свои ценности.

«Мамочкины ценности». Слишком хорошо Самохин знал свою Тусю, все оттенки ее негромкого голоса, каждое ее движение и каждый ее взгляд. Случилось то, чего он боялся все эти годы: он ее потерял. Тысячу раз перед тем, как убить, он спрашивал себя, как сложатся его отношения потом, когда Екатерины Георгиевны не будет, и каждый раз он отвечал себе, что вот тогда-то их жизнь и наладится. Не надо будет бегать за подарками туда, подарки будут ждать ее здесь. Не после ареста и не после хлястика и экспертизы, а только после очной ставки с женой все для него рухнуло.

Милая Лара! Мне очень трудно. Я знаю, какую защитительную речь ждут от меня, но она мне не нравится. Мне не нравится переносить в свою речь настроение зала. Действительно, Туся выглядит в этом деле очень плохо, есть даже показания каких-то двух старушек, соседок, которые якобы видели ее во дворе дома в тот самый вечер, когда была убита Екатерина Георгиевна. Слышали бы Вы, с каким сочувствием встретила публика этих двух туманных старушек! Мы ведь эти токи очень аккумулируем.

Но неужели же мне взять на вооружение этих старушек? Для чего? Чтобы оспаривать неоспоримое: следствие давно доказало, что Самохин действовал один. Может быть, имело место подстрекательство? Но никто не знает, о чем шептался по ночам Геннадий Самохин со своей женой, а сочинять текст — слуга покорный... Что



же остается? Браниться по поводу туфелек на «платформе»?

Прокурор на этом процессе много и справедливо говорил о пагубной бактерии корыстолюбия и бичевал за нее Самохина. Надо ли мне в ответ напоминать суду, кто же все-таки был там бациллоносителем? И, анализируя жизнь и гибель Екатерины Георгиевны, просить суд смягчить приговор Самохину? Но, знаете, в такой схеме есть что-то безнравственное, какая-то, пусть невольная, попытка оправдать знакомую формулу: «Грабь награбленное!», намек на то, что при известных обстоятельствах... Ох уж эти «известные обстоятельства». Сколько раз ими пользовались для того, чтобы оправдать преступление.

Я думаю, что единственной нравственной основой моей защиты может стать любовь Самохина к жене, любовь, извращенная чувством, прямо противоположным любви, — страхом. Единственное, что я обязан сделать для своего подзащитного, это рассказать суду о его любви. Я не могу говорить об убийстве иначе чем об убийстве, но я буду просить суд оставить Самохину жизнь, убежденный в том, что человек, способный на такое сильное чувство, окажется способным, приняв наказание, начать новую жизнь. Пусть в отдаленном будущем, но начать новую жизнь.

18

Приговор был — расстрел. Конвойный офицер, молодой, красивый кавказец, повторял одну и ту же фразу: «Прошу, пожалуйста, прошу, пожалуйста...» — но люди расходились неохотно. Таинство смерти было здесь как будто выставлено напоказ, и хотя все знали, что приговор не окончательный и что теперь дело пойдет в высшие судебные инстанции, но все с жадностью рассматривали Самохина.

— Не могу этого понять, — говорил Молев. — Что это — театр? Нет, извините, это какой-то атавизм, отсутствие человечности... Вы с ним говорили, как он? — спросил Молев Ильина.

— Совершенно спокоен. Мне все-таки кажется, что он...

— Те-те-те, это закончено, на сегодня во всяком случае, — сказал Молев, вынимая пачку «Казбека», но, не найдя спичек, сунул коробку в карман. Он видел, что секретарша Лидочка курит, но прикуривать от Лидочкиной сигареты не хотел: это выглядело бы так, что он поощряет ее курение.

— Так я пошла обедать, — сказала Лидочка.

— Да, да, пожалуйста...

Постепенно все разошлись. Только старуха уборщица, знаменитая тетя Паша, которую Ильин помнил еще со студенческих лет, убирала мусор и вытирала пыль с судейских кресел и со скамьи подсудимых.

Этот пустой и пыльный зал был неприятен Ильину. Он понимал, что ему плохо не от этого пустого зала, не от пыли и духоты, а от приговора. По-видимому, все эти дни он все-таки надеялся...

К расстрелу... Ильин со стыдом вспоминал свою защитительную речь, особенно то место о любви, когда он сказал, что любовь способна творить чудеса. Тысячи адвокатов до него произносили все те же слова; любовь и смерть — об этом писано и переписано. И все-таки ему было приятно, когда после речи его поздравляли и говорили, что речь содержательна и превосходна по форме. И он, как именинник, принимал эти поздравления. «Ну, брат, ты даешь!» — сказал Мстиславцев, обнимая Ильина. Он видел, как Дунечка машет ему из зала, а в коридоре к Ильину подошла Конь и сказала, что Касьяна Касьяновича, как нарочно, вызвали наверх, но что она все передаст, особенно то место, когда Ильин говорил о любви. «Да, он любил ее!» — сказала Конь, сильно тряхнув головой. Откуда-то появился Большой Игнат и сказал почтительно: «Поздравляю вас, Евгений Николаевич». И хотя Ильин понимал, что Касьян Касьянович отпустил водителя только для того, чтобы отвезти жену домой, все-таки было приятно, что Большой Игнат хвалит. И самое приятное было, когда Аржанов сказал, что слушал речь, да, хорошо, отлично, и что, если Ильин не против, он заедет к нему домой, чтобы обсудить подробно, завтра — нет, не могу, а вот послезавтра с утра, договорились?

Все это теперь, после приговора, не имело для Ильина никакого значения. Сколько он ни убеждал себя, что Самохин — убийца и опасен для общества, подумать

только! мать жены, а потом как ни в чем не бывало покупал сбивалку, — над всем этим стояла главная мысль: «А как же я? Я-то как буду жить теперь?»

Он бродил по суду, вверх, вниз, в надежде встретить кого-нибудь из знакомых, отвлечься, но на втором этаже тоже было пусто, а в первом стояли женщины, ждавшие, когда поведут подсудимых, и среди них стояла Тамара Львовна. Ильин быстро поднялся на третий этаж и там нашел зал, где слушалось дело.

Защищал Слиозберг. Его подзащитный обвинялся в мошенничестве — трехрублевою бижутерию выдавал за подлинные бриллианты, и, как ни странно, находились люди, платившие за эти «бриллианты» большие деньги.

— Свидетельница Горчичкина, — сказал председательствующий, близоруко глядя в список свидетелей. — Пригласите, пожалуйста, свидетельницу Горчичкину, — повторил он, не понимая, почему в зале засмеялись. Председательствующий был еще совсем молодым судьей, еще не знавшим, что в зале смеются по самым неожиданным поводам. Сейчас всех рассмешила фамилия свидетельницы, и здоровущий дядя в бобочке, сидевший рядом с Ильиным, сказал:

— Ну-с, посмотрим, как она тебя нагорчит!

Мошенник держался как-то уж очень просто и по-свойски, это всех к нему располагало, а когда Горчичкина, полная женщина в открытом шелковом платье, с ходу начала кричать: «Вот он, мошенник, вот он самый!» — в зале снова засмеялись. Слиозберг тоже улыбнулся: свидетельница своим поведением и даже своей фамилией как бы подтверждала его линию: спрос рождает предложение, такие вот «вумные» дамочки при деньгах очень уж мечтают о драгоценных камешках.

Ильину был противен и смех в зале, и свидетельница, шуршавшая дешевым шелком, и даже Слиозберг, явно подыгрывающий залу. Он встал, и в этот момент Ильину показалось, что Слиозберг ему подмигнул. Отвратительно, все отвратительно! и мошенник, и его жертва, и подмигивающий Слиозберг, и молодой судья, близоруко разглядывающий список свидетелей.

Объявили перерыв до завтра, Слиозберг быстро собрал бумаги и, не сказав двух слов своему подзащитному, подошел к Ильину.

— Что у вас? Приговор уже огласили?

Ильин молча кивнул.

— И, конечно, этот идиот Меньшиков признал полную дееспособность?

— Почему же идиот? Я считаю Меньшикова одним из лучших психиатров, и человек он безусловно беспристрастный...

— В его возрасте надо сидеть дома и баловаться с внуками. Всем ясно, что ваш Самохин шизоидный тип.

— Нет, он здоров, — сказал Ильин, — он может, и, мне кажется, он хочет отвечать за содеянное...

— Ну, раскаяния я что-то там не вижу...

— Есть и раскаяние. Но у него это по-своему... Наверное, я не сумел сказать достаточно убедительно...

— Кого убеждать? Молева? Он человек убежденный. Давайте-ка лучше поскорей отдыхать.

Только в восьмом часу Ильин приехал домой. В квартире было невероятно чадно — то ли от уличного дыма, то ли от кухни.

— Мы давно уже пообедали, — крикнула Иринка. — Иди поскорей мыть руки!

Ильин покорно пошел в ванную, Андрей — за ним.

— Ты что? — спросил Ильин, заметив вопросительный взгляд сына.

— Нет, ничего, все нормально...

«Нормально — дурацкое словечко», — думал Ильин, прислушиваясь к тому, как шипит масло на сковородке.

Иринка подала бифштекс, и он услышал крепкий запах жареного мяса: вот, значит, откуда этот чад!

— Ешь скорей, остынет, я уже третий раз подогреваю!

«Если я это съем, мне станет дурно», — подумал Ильин.

— Тебе нехорошо?

— Ничего, ничего, все нормально...

— Папа, его расстреляют? — неожиданно спросил Андрей.

Ильин растерянно взглянул на сына, а Иринка недовольно прикрикнула:

— Это еще что такое!

— Алевтиночка говорит, — сказал Андрей (Алевтиночкой они называли соседку Алевтину Сергеевну, иногда помогавшую Ильиным по хозяйству), — Алевтиночка говорит: твой отец защищает убийцу, а его надо, как

бешеную собаку, вздернуть на суку на Пушкинской площади! Папа, он действительно виноват?

— Да, сынок, он виноват, но тебе не надо прислушиваться к таким разговорам. Ты еще мал для всего этого.

— Нет, я это понимаю, — упрямо твердил Андрей. — Я знаю, что ты его защищаешь, и я тоже хочу быть защитником...

— Сначала веди себя как следует, — сказала Иринка, — чтобы нам с папой не было стыдно!..

— Я уже дал клятву — буду учиться, а потом буду защищать людей: всех — и кто не виноват, и кто виноват тоже.

Ильин снова не нашелся, что ответить сыну, и вышел на балкон. Он слышал, как Иринка сказала:

— Вот видишь, папа из-за тебя ничего не ел!..

Потом Иринка тоже вышла на балкон, и они вместе смотрели, как начинается вечер. Было тихо и безоблачно. Большая звезда медленно катилась через все небо и как-то незаметно погасла.

— Что-нибудь загадал?

— Тридцать три желанья!

— Нет, так нельзя, надо одно...

— А ты?

— Конечно! Женя, будет еще Верховный Суд, нельзя так расстраиваться...

— Нельзя. Но и позволять нельзя какой-то рыночной бабе внушать Андрею...

— Да не такая уж она рыночная! Андрей еще мальчик, что-нибудь не так понял...

— След от этого остается!

— Ну, какой там след, завтра увезу его в лагерь, все через час будет забыто. И в лагере я где-нибудь заночую. Все надо наладить, верно? Холодильник забит продуктами, вполне можешь обедать дома, я договорилась с Алевтиночкой...

— Нет уж, пожалуйста... — начал Ильин, но в это время зазвонил телефон.

Это был Штумов.

— Вы не очень заняты, может быть, встретимся?

— С превеликим удовольствием!

— Вы далеко от метро?

— Рядом.

— Так выходите на Арбате, я буду вас ждать.

— Спасибо, Василий Игнатьевич. Это Штумов... — сказал он Иринке.

— Я поняла. Съешь хоть бутерброд.

— Нет, прости, ничего не могу...

Дорога показалась Ильину возмутительно долгой, лифт перехватывали на других этажах, метро ушло прямо из-под носа.

— Вижу вас как у загнанного зайца, — сказал Штумов.

— А я и есть загнанный заяц!

— Загнанный заяц и старый беззубый волк. Ну что ж, пройдемся?

— Как вы, Василий Игнатьевич...

Пошли вверх по бульвару, нашли скамеечку, и Штумов без всякого предисловия сказал:

— Рассказать вам, как меня первый раз расстреляли? Это было в начале нэпа, времена для вас исторические. Групповое изнасилование, и, как выяснилось на суде, это уже был не первый случай... всю страну тогда всколыхнуло! Митинги. Единодушно требуют высшей меры. Так вот: высшая мера. Понимал, что так будет, но когда объявили, решил: нет, не могу, уйду из адвокатуры, мало ли где юристы требуются. Ведь я у него бывал в исправдоме, привык.

— Кассационную жалобу отклонили? — спросил Ильин.

— И кассацию, и просьбу о помиловании. А я вот, как видите, остался в адвокатуре. Мне тогда покойный Сергей Петрович Иванов одно свое дело передал: «Проведешь это дело, ну а потом хоть сторожем катись...» Не очень в выражениях стеснялся. А под судом была молодая, совсем еще молодая женщина, и обвиняли ее в убийстве своего ребенка. Не буду вам рассказывать подробности, хотя и через полвека помню каждое слово. Главное, доказал, что клевета. И что самое удивительное: ребенка отыскали. Жив, праздник какой! Я со своей подзащитной прощаюсь, она плачет, ну и я тоже. Я всю ночь по Москве ходил. Весь город обошел. Москву можно было за одну ночь обойти... Так вот что вам посоветую: переживания переживаниями, а кассацию пишите поскорей. Я думаю, существенных поводов у вас нет, ну да что-нибудь найдется. Надо, чтобы и он толковую бумагу написал, а еще лучше — сами, и пусть подписывает. А впрочем, вам виднее.

— Василий Игнатьевич, — сказал Ильин. — Я посплю так, как вы мне советуете.

— Варя Пахомова рассказывала... В общем, я рад, что вы не стали касаться этих... цацев, сережек, или что там... награбленное...

— Сегодня же напишу и за себя, и за него, — повторил Ильин, — и завтра же поеду.

— Ну вот и хорошо. И уж если мы с вами начали о Москве, — сказал Штумов, словно бы весь их разговор был только о том, можно или нельзя было обойти за одну ночь старую Москву, — раз мы уж об этом начали, я хочу вам признаться, что, когда стали все переустраивать — эти Черемушки и прочее, мне крепко не понравилось. Я даже какую-то статейку тиснул относительно исторического центра и что мы рискуем раствориться в этих самых Черемушках. А теперь, представьте, привык. И мне там гуляется не хуже, чем в Александровском саду. А ведь я к Александровскому саду привык. Вся моя молодость здесь, университет и вообще очень, очень многое...

— Да, да, — сказал Ильин рассеянно. — Я... я тоже люблю Сокольники...

— Ах, вот как: Сокольники! — Штумов засмеялся. — Ну, кажется, я вам больше не нужен. Возвращайтесь домой, и помогай вам бог!

19

На следующее утро Ильин поехал в тюрьму.

— Ну, как Самохин? — спросил он знакомого надзирателя Григория Фомича Макарова, которого вся тюрьма звала Макарычем.

— Все спокойно, товарищ адвокат, я дежурство утром принял, а ночью дежурил Илья Григорьевич, может, знаете — одногодок мой, тоже на пенсию пора... Все тихо, этот смиренный... Но я, как положено, побуду с вами.

— Да я не к тому, — сказал Ильин, досадую, что надзиратель неправильно истолковал его вопрос.

— Как положено, как положено, — повторил надзиратель, и они пошли по длинному коридору.

Ильин знал, что приговоренный к высшей мере содержится отдельно от других осужденных и что с мо-

мента приговора он одет в полосатую рубаху и такие же штаны. Но еще вчера Ильин все это мысленно пережил.

— Здравствуйте, Самохин, — сказал он, думая только о том, чтобы выглядеть не очень суетливым. И все-таки быстрее, чем хотел, вытащил из портфеля написанную ночью кассацию. — Вот бумага, — сказал Ильин, снова чувствуя, что суетится и зря заменяет всем известное слово «кассация» на безличное «бумага». — Надеюсь, что суд высшей инстанции... — Он не закончил, чувствуя, что и так говорит слишком долго. — Вот здесь, пожалуйста, подпишите...

— А незачем, — спокойно сказал Самохин. — Никаких бумаг я подписывать не буду. Зря старались. Извините.

— Но позвольте, — сказал Ильин, — как же так... Да вы же еще и не прочли, — говорил он, как будто от того, как написана бумага, зависит решение Самохина.

— Сожалею, что вы потрудились, — повторил Самохин. — Моя вина, мне об этом надо было вам сказать еще вчера. Впрочем, я только сегодня ночью принял окончательное решение.

— Нет, это невозможно, это невозможно, — повторял Ильин, стараясь не смять кассацию. — Я понимаю ваше состояние, но...

— А, снова врача? Не возражаю, здешний врач хороший человек, но капли ничего не смогут изменить.

— Хорошо, — сказал Ильин, — я подам кассацию от своего имени, я ваш адвокат и имею на это право...

— Зачем? Чтобы через пятнадцать лет я мог явиться к бывшей своей супруге и попить чайку с ее муженьком и детками? Предпочитаю открывшуюся возможность доказать старое арифметическое правило: ноль на ноль дает ноль. Я ведь держал на математический и, хотя провалился, кое-что помню. Теперь приходите вы и предлагаете — давай-ка, Гена, попробуем иначе. Отмахаешь, даст бог, свое. А если я этого не хочу? Если со мной, как говорит Райкин, — «всо»?

Стало тихо. Только иногда где-то совсем близко шелкала металлическая дверь, еще слышался какой-то звук, как будто рядом стучала морзянка, но это стучал дятел; птица работала на столбе, почти у окна, а за этим столбом шли другие, и над последним, в чистом синем небе, горело солнце.



Да, все они со Штумовым правильно рассчитали, одного только не предусмотрели: ноль на ноль...

— Кто же это от жизни отказывается? — неожиданно спросил Макарыч. — Да ты что задумал, парень? Ты вот еще посиди, подожди решения, еще какое решение выйдет, а не выйдет — на помилование уповай. Извините, товарищ адвокат, если помешал, — сказал он Ильину. — Я в коридоре постою. Ежели вам что будет нужно...

— Преступление, наказание, прощение... — сказал Самохин. — Об этом все здесь только и твердят. Я сидел вместе с одним. Ну, его из колонии привезли на пересуд, он рассказывал: есть там такой, довольно оригинальный кружок «самовоспитания». Я, такой-то, такой-то, желаю искупить свою вину и выйти на свободу с чистой совестью. С чистой совестью! И для этого всякие там пункты: выполнять и перевыполнять нормы выработки, не допускать нарушений, активно участвовать и все прочее... Ну-с, кончился твой последний день, получай документы и двигай с чистой совестью. За папскую индульгенцию платили золотыми дублонами, за всенародное прощение — ударной работой. Макарыч, я знаю, раньше в лагере работал воспитателем, и можно сказать, что всю свою жизнь угробил на то, чтобы как можно благополучнее к последнему церемониалу: пожали руку, иди с богом, после еще можно письмо прислать, как меня приняли на производстве, дескать, правомерно ли, что не всякий эту самую руку пожать хочет...

— Что же вы предлагаете? Бессрочно заключать в тюрьму или каждого, кто совершил преступление...

— Ничего я не предлагаю, — перебил Самохин. — Мой сокамерник прямо-таки дрожал, а вдруг пересуд в его пользу, и тогда — привет, южный берег и «Храните деньги на сберкнижке». Но я этому идолу уже поклонялся: чтобы с Тусей на Ривьеру, температура воды плюс двадцать два. Ну, а теперь я атеист. И к тому же свой атеизм держу при себе, а не на сберкнижке: нравится тебе мечтать о рукопожатии, давай двигай, оно все полезнее, чем карты или какую-нибудь дрянь нюхать. Но идола куда легче защищать, чем этот самый атеизм. Сиди с ним в уголке и цацкайся. Вот эти уголки и умеет находить наш достопочтенный Макарыч. Ему вроде и не положено со мной воспитательную работу проводить, я ведь, можно сказать, вольный сын эфи-

ра, и все же невзначай какое-нибудь такое словечко обронит... А ведь он никаких академий не кончал! Вы думаете, что он со мной про ударный труд, который из обезьяны человека? Нет, со мной Макарыч разговаривает только о моей бессмертной душе. Как он догадался, что меня нельзя отсюда с этим самым нулем! Даже если и туда... ну, если не помилуют... Понимаете?

— Понимаю, — сказал Ильин.

— Ой ли? Так вот в самом деле и *понимаете*? А что, если всего больше я боюсь, что *не* помилуют, это вы тоже *понимаете*? С любым другим я — скала, гранит, никаких доступных уголков, а со своим адвокатом можно и откровенно... Что вы, мы народ сентиментальный: мой адвокат! Может быть, я своему адвокату какую-нибудь тайну хочу доверить. Бывает, и в самом деле — тайна, а бывает, как у меня, — чистая фантазия, плешь, и ничего больше, но плести эту фантазию в здешних условиях, да еще в этой униформе, наигромаднейшее удовольствие. А теперь признавайтесь — ведь не этого вы от меня ожидали?

— Человек спорит не только с окружающими, но и сам с собой, — сказал Ильин.

— Прекрасно, прекрасно! — воскликнул Самохин. — Вот что значит образованный человек. Значит, это я не с вами, а с самим собой, так? — Ильин ничего не ответил, и Самохин сказал просто, как будто и не было разговора: — Давайте, я подпишу...

— Но вы сначала прочтите...

— Чего уж там читать, все равно, как говорится, — измена флагу.

С тяжелым чувством шел Ильин по тюремному коридору. Все было совсем иначе, чем он об этом думал вчера. И он вспомнил, как вернулся домой от Штумова. В кабинете ему была приготовлена постель, но у Иринки горел ночник, слабый розовый свет означал, что он мог выбирать. Довольный собой и своей встречей со Штумовым, который так поддержал его в трудную минуту, Ильин чуть слышно открыл дверь к Иринке.

И хотя Штумов, Самохин и Иринка не имели друг к другу никакого отношения, сейчас все было в одном узле — и его прогулка со Штумовым, и рассуждения о новой и старой Москве, и слабый розовый свет ночника, и безобразное ерничанье Самохина, и то, как они вместе слушали дятла.

И в том же узле был Андрей, образцовый пионерский лагерь, куда Иринка увозила сегодня сына. Андрей был вправе ждать от отца поддержки, но как-то само собой получилось, что лучше на воздухе, чем в раскаленной Москве, лучше кружок мягкой игрушки и штанга, чем трехнедельное «штанье». «Мальчик», «забудется» — весь этот готовый набор штампов действует, как усыпляющий наркоз. Но теперь, когда прошло время и наркоз перестал действовать, ночное согласие на отъезд выглядело как самое черное предательство.

На вокзале было как-то особенно жарко, сторона, на которой стоит поезд, солнечная, до отправления еще пятнадцать минут, податься некуда, а если войти в вагон, то там еще жарче.

— Я не буду звонить тебе из лагеря, потому что завтра, в крайнем случае послезавтра, вернусь, — сказала Иринка. — Впрочем, это зависит от Андрея.

— Да, да, — сказал Ильин. Оставалось достаточно времени, чтобы сказать: «Никуда вы не поедете, бросайте билет, и конец египтяночке!» — но в это время Андрей обнял его и поцеловал:

— Держись, пап, все будет нормально!

Через час Ильин был дома, принял душ и лег спать.

20

Он проснулся от звонка в квартиру. Вокруг еще дымились обломки снов, в окне раскаленная Москва, на часах полдень.

Пошлепал босой к двери с твердым намерением не открывать, кто бы там ни был — почтальон, телевизионный мастер, которого вызывали неделю назад, или добрый старик из «страхования жизни». Но это был Аржанов.

— Минуточку, я только оденусь!

— Какого черта, — через дверь заревел Аржанов, — я же не девушка! Ну, вы и сибарит, — сказал он, входя и осматриваясь. — Я уже в десяти местах побывал... Хотя после конторской лямки вы, я думаю, почувствовали себя... Ладно, идите в душ, а я заварю чай. Вам-то, я думаю, что чай, что вода, вы человек идейный, а я чаек уважаю. С легким паром, ваше превосходительство, — дурачась встретил он Ильина. — Ну как, веничком все заботы прошли?

— Не говорите, издергался я за это время...

— Стыдились бы! Вы посмотрите на себя: красавец мужчина, мускулатура, чемпион по классической борьбе, тур де бра, партер! «Издергался». И учтите, что я к вам на сегодняшнее рандеву навязался не для сочувствия, а потому, что ваша защита меня действительно тронула. С Аржановым такое не часто случается... Ну как чай, хорош?

— Отличный! Может, разбить яичницу? Я сегодня на холостом положении.

— Не гоните картину, дайте высказаться. Самохинское дело для защиты самое невыгодное. Испокон веков, еще, может, и суда не было, люди пытались разобраться в мотивах преступления. А у вас что за мотивы? Кругом корысть, корысть и одна только корысть! А вы заставили нас поверить, что человек, совершивший убийство из самых низменных побуждений, способен на самое прекрасное и высокое чувство... Это, знаете, кое-что!

— Спасибо за добрые слова, но на суд моя защита никакого впечатления не произвела.

— Я уверен — заменят пятнадцатью годами!..

— Штумов советовал, чтобы я написал и от имени Самохина. Но тот не захотел подписывать...

— Этот ваш барбос? Пренеприятнейший, надо сказать, тип. Убил, и еще охорашивается... Заменят, заменят, вот увидите. Я на вас ставлю! Слушайте, что это у вас на полке — Омар Хайям?

— Да, кажется, — сказал Ильин, думая о своем.

— Кажется! — Аржанов подошел к книжным стеллажам. — А Булгаков — это вам тоже... кажется? У вас там в конторе сказочный киоск, но сидит в нем совершенно железобетонная дамочка! А вы, я вижу, любимчик... Откровенно: когда я узнал о вашем переходе в адвокатуру, то удивился: а этому зачем? Случается у нас в первопрестольной, что человека в адвокатуру списывают, но тут совсем не то... Какие причины? Есть обычательское мнение, что адвокат гребет золото лопатой. Но вы-то слишком опытный человек, чтобы верить этому вздору! Тем более что в материальном смысле вы скорей потеряли, чем приобрели. Ваша контора — это, знаете, как ни верти... Но, может быть, призвание? А возраст? Когда тебе двадцать лет, ты это свое призвание пухом чувствуешь. Но двадцать-то когда было? А ну как

с призванием не повезет? Бывает, знаете, да еще как! Вроде и старается, бедолага, бегаёт... И так всю жизнь и пробегает, вроде наших мушкетеров. Нет, тут надо поверить в свою звезду. Да так, чтобы и вокруг все поверили. Вы на бегах бывали?

— Всего, кажется, два раза.

— Считайте, что не были. А я вот поигрывал и даже, случалось, выигрывал. Выигрывал почему? Никогда не ставил на темных лошадок, только на фаворита. И мне нравится, как вы пошли. Вас еще на телевидение не приглашали?

— Уже, — сказал Ильин угрюмо.

— Ну вот, видите? И почему же — нет? Да лучше вы, чем какой-нибудь Тютюкин, которого обязательно пригласят, если вы откажетесь. Но неужели же они о Самохине?

— Да нет... у них там такая рубрика — «Мой путь», диалог, что ли...

— Ну и что вас не устраивает? Ваш путь? — улыбаясь, спросил Аржанов.

— Какой там путь! — сказал Ильин все так же хмуро. — Наверное, перед каждым человеком рано или поздно возникает вопрос — своим ли он делом занимается.

— Так готовое же начало! И слушайте, все закономерно. Ведь вы чертовски рискнули и... победили! Стесняться этого? Радоваться надо! Телевизор так телевизор, забирайте выигрыш. Русский человек всегда подозрителен к своему же собственному успеху. А я вот, как говорится, принципиально не люблю неудачников.

— Вот вам и выступать по телевизору! — сказал Ильин.

— Пожалуйста, хоть сейчас! Мой путь? Я, сударь, не кто иной, как композитор Бах. Только не тот знаменитый Иоганн Себастьян Бах, которого сейчас почитает весь мир, а его дядя Христофор, которого сейчас никто не знает, зато при жизни — еще как ценили: он отличался величайшим трудолюбием и написал не меньше своего гениального племянника. Вот и я, едва закончив одно дело, уже занимаюсь лжесвидетелями из НИИ. И вам, дорогой метр, тоже бы пора! Заодно и отдохнете от вашего кр-р-ровавого дела. Кассационную жалобу уже подали?

— Только набело переписать.

— Так садитесь переписывать!

Но в это время зазвонил телефон.

— Кто, кто? — переспросил Ильин. — Папченко? Помню, конечно. Ну, давайте, жду... Отец моего подзащитного, перепутал квартиру и где-то мыкается поблизости, не возражаете?

— Я-то не возражаю, — сказал Аржанов, — но если надо, мигните, и я исчезну, как тень отца Гамлета.

И почти сразу явился Папченко, запыхавшийся, мокрый от жары и от беготни по лестницам. В руках он держал две авоськи и, едва переступив порог и еще не поздоровавшись, радостно сообщил:

— Письмо получил из колонии, сын пишет, и от воспитателя письмо. Вот! Да вы вслух, вслух читайте!

Первое письмо было весьма обстоятельным. Сообщалось, что Папченко Михаил прилежно трудится с прицелом получить профессию токаря. Если в дальнейшем поведение Папченко Михаила будет столь же примерным, то администрация колонии поставит вопрос о досрочном освобождении.

Письмо от сына было короче, но Ильина удивили и вопросы о здоровье отца, и просьба написать о том, как он там один справляется. (Слишком хорошо запомнился Ильину этот белобрысый малый, его равнодушное и какое-то брезгливое лицо!) «Привет товарищу адвокату, запомятовал его фамилию...» — писал Михаил Папченко.

А Папченко-старший уже вынул бутылку шампанского, коробку конфет и поставил на стол тяжелую хрустальную вазу.

— Чехословацкая штучка, в комиссионном брал!

— Кому это, зачем? — спросил Ильин.

— Как это кому? А кому Мишка привет посылает? А кто его в трудную минуту защитил?

— Нет уж, оставьте, пожалуйста, — сказал Ильин сердито. — Ничего мне не надо.

— Как это не надо? Евгений Николаевич! Товарищ Ильин! Обижаете...

— Обижайтесь, если хотите. С удовольствием выпью с вами шампанского, но подарки...

— Те-те-те... — весело вмешался Аржанов. — Что это вы оба, как петухи. Обидите! Обижусь! Ну-с, уважаемый, — обратился он к Папченко, — должен вам сказать,

что мы против всяческих подношений... Это уже не раз обсуждалось и признано неэтичным. Но обсуждения обсуждениями, а вы, Ильин, поставьте себя на место отца!..

— От чистого сердца, — сказал Папченко. — Такие письма! Ну, само просится...

Аржанов взял бутылку, в одно мгновение ободрал фольгу и вытолкнул пробку.

— За адвокатское сословие и за досрочное освобождение, чокайтесь побыстрее, время подпирает, выпили, пошли...

— Мне бы очень хотелось еще с вами повидаться, — сказал Ильин, прощаясь с Папченко. — Приходите вечером, мы потолкуем о Мише... Хорошо?

— Еще бы не хорошо! У меня теперь только одна мечта...

— А вазу вашу заберите...

Но Папченко упрямо покачал головой:

— Извините, обратного хода не имеет...

Когда Папченко ушел, Аржанов упал в кресло и расхохотался:

— Подношения! Подарки! Подпольные гонорары! Миллионы с неба! Ради этого примирительного шампанского я даже себе палец порезал.

Ильин вышел из дома совсем в другом настроении. Шампанское, Папченко, ироничный Аржанов — все это как-то встряхнуло его. В канцелярии Верховного Суда Аржанов умно и тактично взял Ильина под свое покровительство. И Ильин невольно повторял за Аржановым его движения, улыбался тем, кому улыбался Аржанов, и не обращал внимания на тех, на кого Аржанов не смотрел.

— Посидим где-нибудь? — предложил Аржанов, когда они вышли из Верховсуда. — Здесь, правда, только «Россия», но спросим крошку, это они умеют...

— Невозможно, у меня прием с пяти...

— Ничего, ничего, клиент, если ему позарез, подождет. А я думаю, что одному вашему клиенту, или, вернее, одной вашей клиентке, вы сегодня как раз будете позарез. Давайте хоть в павильон зайдем...

Кое-как побились в кафе, заказали какой-то борщок. «Со льдом, со льдом!» — кричал Аржанов. но никто его здесь не слушал.

— Так вот, дорогой Ильин, знакомился я сегодня с обвинительным заключением по этому самому экспериментальному цеху. Никто ни единого слова против Сторицына, один только ваш Калачик...

Ильин улыбнулся:

— Сами же вы мне его и подсунули!

— Ладно, будет время — еще скажете мне спасибо. Самохинское дело хорошо для «избранных речей»... А Калачик... С каким удовольствием я бы сейчас рокировался: мое дело защищать жуликов, а не ученых мужей, попавших впросак.

— Вы настолько уверены в бескорыстии Сторицына?

— Я, Евгений Николаевич, не поп, и я Сторицына не исповедую, а защищаю. Моя позиция: человек порядочный попал в руки мошенника. И мне кажется, такая позиция и в ваших интересах. Калачик глуп и не понимает, что если суд, основываясь на его показаниях, установит стабильную группу...

— Нет, я думаю, Калачик не глуп, — возразил Ильин. — Я его еще не видел, но его показания на предварительном следствии...

— Дорогой коллега! Я ценю ваш огромный опыт, но в адвокатуре вы еще неопыт... Мало ли что брешут на предварительном! На вашем месте я бы ему посоветовал снять оговор. Оговор — вполне классическая ситуация.

— Мне уже кое-кто намекал: брешет твой Калачик...

— Будет время — прямо скажут. А по-моему, вместо того чтобы на потеху публике устраивать бои между адвокатами, я бы лучше оспаривал сумму убытков: уверен, что защите — конечно, не каждому порознь, а всем нам вместе — удастся доказать сумму ниже потолка. Есть в деле эпизоды прямо сомнительные, например вся эта гостиничная эпопея — просто чепуха...

— Любопытно становится, — сказал Ильин и крикнул официанту: — Счет, пожалуйста.

Кончился день, но по-прежнему было душно и угарно. Небо сверкало и гремело, но так ни одной капли и не пролилось. Москва казалась покрытой копотью и странно пустынной. Все старались после работы уезжать за город.



Каждый раз, когда Ильин сталкивался со стихией, он вспоминал войну. Года два назад в Ленинграде он попал в наводнение. На Васильевском острове, где помещалось отделение конторы, вода прибывала с утра, Ильин из окна любовался полноводной Невой, потом то да се, пообедали, и как раз, когда выходили из столовой, Нева хлынула на берег. Набережная быстро опустела, промчались пожарные, и разом все обернулось воспоминаниями о войне: Ильины жили тогда в Химках, совсем близко от фронта, целыми днями слышался пушечный гул, а в школе во время уроков дрожали стекла.

Жара в Москве, копоть и сухие молнии снова напомнили Ильину сорок первый год. Постоянное предгрозые томило, действовало на нервы, хотелось спать, но как уснуть в такой духоте?

Ильин не любил возвращаться в пустую квартиру, хотя сейчас, может, оно и к лучшему. И пока он шел домой, он пытался прокрутить все, что произошло за эти дни между ним и Иринкой. Пощечина, которую она вlepила Андрею, до сих пор горела, но ведь было и ночное примирение. . .

И он стал дальше раскручивать ленту — очередь до востребования, заляпанный чернилами почтовый «торт». . . Еще крутанул. Бежит к такси, слушает болтовню Большого Игната и вот стоит у двери, прислушиваясь к Иринкиным шагам, благословляя судьбу за то, что там, в Средней Азии, *ничего не произошло*.

Ничего не произошло. Формула была удобной: она позволяла бесстрашно возвращаться домой и ждать Лариных писем.

Часто он думал: а что, если Лара все-таки приедет в Москву? Вполне возможно, что ей дадут отпуск и она приедет. Что же будет? И он отвечал себе: да что будет, то и будет. Но иногда он видел самолет, идущий на посадку, и самого себя: вот он тычется взад и вперед с нелепейшим букетом цветов, вот номер в гостинице и графин с застойной водой.

— Как вы живете, милый друг?

— Благодарю вас, хорошо. . .

— Судя по письмам, действительно неплохо.

— Когда я была последний раз в Москве, эту церквушку еще не откопали. . .

О господи, господи, какая еще церквушка, все вместе напоминает разговорные тексты для иностранцев.

И все-таки, думая об их встрече, он ясно видел только себя, а когда он пытался представить Лару, то возникали букеты и гостиничные графины, и еще «Утро стрелецкой казни», суриковский шедевр, который никак нельзя миновать. Возможно, что они пообедают одной семьей, и Иринка скажет потом:

— Какая она милая...

— Кто, Лара?

— Ну разумеется, я говорю о ней...

Но случилось, что он вдруг находил Лару в московской толпе, ее белая блузка мелькала очень близко. И тогда он чувствовал, что у него болит сердце, и думал: что будет, то будет...

Дверь Ильину открыла Алевтиночка. (Странно, она, как правило, исчезала ровно в шесть, Иринка утверждала, что нет такой силы, которая способна удержать ее.)

— Гости...

Ильин почувствовал табачный дым и увидел седую голову Маяка, а рядом на тахте сидел Жорж и с идиотическим любопытством рассматривал Андрюшкин альбом с марками.

— Ну, привет, привет, — весело сказал Маяк, — заходите, хозяин. В первых строках сообщаем, что ждем вас уже целый час, все это время находясь под бдительным оком вашей очаровательной домоправительницы. («Так я пошла, — сказала Алевтиночка. — В холодильнике все, как Ирина Сергеевна велела...») Благодаря стараниям вашей дуэньи фамильное серебро цело. Попрошу взглянуть, хозяин. — И он вывернул карманы пиджака и брюк, откуда посыпалось мелкое табачное крошево. То же проделал и Жорж.

— Хорошо, хорошо, верю, — сказал Ильин, стараясь попасть в шуточный тон. — Считайте, что приказ с выражением благодарности уже отдан. Но почему вы без Тamarы Львовны?

— Жорж, — сказал Маяк. — Он спрашивает нас, почему мы без мамы...

— А что, если я вашему Андрею дам три Италии за эту Колумбию с паровозом? — спросил Жорж.

— Нет, уж это вы с ним двусторонне договаривайтесь.

— Я дам вашему сыну Либерию, Коста-Рику и Парагвай, но верните нам нашу маму, — сказал Жорж, соскочив с тахты и заломив руки, имитируя известную актрису.

— Жорж, тубо! — крикнул Маяк. — Евгений Николаевич, вы спросили, почему мы без нашей мамы, но сегодня задаем вопросы мы. Где она? .

— Что-то я не понимаю... — начал Ильин, и в самом деле не понимая, где начинаются и где кончаются шутки.

— Отчим, — сказал Жорж, — пора вынуть ваш знаменитый кольт и пощекотать этого типа между лопатками! Вы трус, отчим!

— Нет, серьезно, — сказал Маяк. — Я, конечно, знаю, что существуют завсегда и судебных процессов, всякие там пенсионеры и так далее, но чтобы такой крупный ученый, как Тамара Львовна...

— Ах, вот что! Действительно, я встречал Тамару Львовну в суде, но можете мне поверить...

— Да, но все началось с того самого воскресенья, когда вы у нас были. Как-то все странно совпало с переменами в вашей жизни... А, что говорить, несть числа дней, безвозвратно потерянных для работы! И вот уже неделя, как Тамара просто не ночует дома... но теперь мы знаем, где она...

— Где? — спросил Ильин.

— А вы, следовательно, не в курсе? — ввязался Жорж.

— Следовательно, нет.

— У жены этого Самохина, которого приговорили к расстрелу. Мама это дело крепко темнила, но однажды вечером я, играя на скрипке, сказал отчиму: доктор Ватсон, не кажется ли вам...

— Почему, зачем? — спросил Маяк, и Ильин увидел в его глазах боль. — Тамара Львовна вообще-то очень нелегко сходитя с людьми. Говорят, какая-то молоденькая девчонка, чуть ли не восемнадцать лет...

— Ей двадцать три, — сказал Ильин.

— И теперь, — сказал Жорж, — некому мне сварить манную кашу и сбить мой любимый коктейль.

— И потом, и прежде всего, это так не похоже на Тамару, — сказал Маяк, не обращая внимания на своего

пасынка. — Ее совершенно не интересуют всякие там грабежи и убийства. Прошу вас, поговорите с ней... Только не говорите, что это как-то там плохо отражается на ее здоровье или что дело страдает. Это все лично ее, она в это никого не пустит. А вы скажите ей только о том, что это затрагивает вашу работу. К этому она отнесется с уважением. Ну, какой-нибудь вариант с угрозой, что это чему-то там мешает...

— Ну как, — спросил Жорж, — это мысль?

— Вы об этом думали, дайте теперь подумать мне, — сказал Ильин.

— Время, — сказал Жорж, делая вид, что пускает шахматные часы.

«Трепач», — подумал Ильин о Жорже. Но Маяка ему было жаль. «Что-то там крепко разладилось», — думал он, вспоминая растерянное лицо Тамары Львовны в суде и то, как она спросила, есть ли надежда. «Да, что-то разладилось», — думал Ильин, а память услужливо сдвигала вместе и странную улыбку Самохина, и Андрея: «Папа, его расстреляют?» — все это шло вперемежку. Наверное, то, что пугало Андрея, пугает и Тамару Львовну, но на Андрея можно было накричать, а Тамара Львовна... В самом деле, почему, вместо того чтобы заниматься теорией гравитации, или чем там они заняты, Тамара Львовна проводит вечера, а может быть, и ночи у такой пустышки, как Туся? Господи, господи, Туся и Тамара Львовна! «Кому это надо и кому это выгодно?» — так, кажется, называлась статейка в студенческой газете по поводу его выступления в дискуссионном клубе. Это, мол, играет на руку... Впрочем, тогда в выражениях особенно не стеснялись...

— Вы не боитесь цейтнота? — поинтересовался Жорж.

— Жорж, дай нам поговорить!

— Возлагаю на вас двоих все последствия от этого акта насилия, — сказал Жорж, встал и вышел.

— Хотите холодного шампанского? — спросил Ильин, услышав, как хлопнула дверь на лестницу. Маяк кивнул, и Ильин вытащил из холодильника бутылку, оставшуюся после Папченко. — Вы никогда не писали заметок на тему «Кому это надо и кому это выгодно?»

— Нет... Я, кажется, вообще ничего в жизни не писал, кроме формул. А что такое?

— Просто такой психологический тест...

— Это... важно?

— А черт его знает, что важно и что неважно. Вот Тамара Львовна считает, что для нее в данный момент важнее всех формул беседы с Тусей Самохиной. Мало-приятное существо, надобно вам сказать.

— Да? — оживился Маяк. — Всего только? Мое воображение подсказывало мне черт знает что такое...

— Она и есть черт знает что такое.

— Что же с Тамарой? Какой-то гипноз!

— Не думаю. Вероятней всего, душевный сдвиг. Вот и все, что я думаю. И на этом, как сказал бы ваш Жорж, я останавливаю свои часы.

— Вы не поможете мне? — спросил Маяк.

— Съездить мне туда? Нет, не поеду, — сказал Ильин, сам удивляясь своей резкости.

Маяк встал, горбясь вышел на балкон. Но в это время снова хлопнула дверь, появилась Иринка, за ней уныло плелся Жорж.

— Он стоял внизу, — смеялась Иринка. — А когда я спросила, что с ним, он пожаловался, что его просто выбросили из окна.

— Ну входите же, входите, — сказал Ильин, обнимая жену. — Как там Андрей, все благополучно?

— Да, все было хорошо. А стали прощаться, он снова мне нагрубил...

— Все от жары, фрау доктор, — с тем же идиотским видом вмешался Жорж, — все от жары...

22

Весь август газеты предсказывали похолодание, но жара становилась все нестерпимей. Теперь и днем и ночью над городом висел горячий туман, пахло гарью, говорили, что вокруг Москвы горит торф.

В один из таких угарных дней в Верховном Суде слушалось дело Самохина. Ильин пришел задолго до назначенного часа, но едва нашел тихий угол в коридоре, как увидел Тамару Львовну.

«Снова она в суде, — недовольно подумал Ильин. — Но, слава богу, кажется, без Туси...»

Прошел месяц, как Ильину позвонил Маяк и сообщил, что полный порядок, Тамара «нашлась», взяла отпуск, и сейчас она не то у моря, не то в горах.

— Вы хорошо отдохнули? — спросил Ильин.

— Я? Отлично...

«У нее измученное лицо, да она и не загорела», — подумал Ильин.

Зал был небольшим, и Ильин сразу нашел Тамару Львовну и снова подумал, что она совсем не загорела. Но бог с ней, не все ли равно, а мне нельзя отвлекаться.

Разбирательство было коротким. Прокурор, осанистый мужчина с роскошной каштановой бородой, сразу же после речи Ильина сказал, что, по его глубокому убеждению, дело в первой инстанции слушалось безупречно и, по существу, кассационный мотив придуман защитой. Потом снова была реплика Ильина. Все, что было после его реплики, Ильин запомнил клочками. Судьи уходят в совещательную комнату, жужжит вентилятор, прокурор приглашает Ильина в буфет, в коридоре тихо переговариваются адвокаты, приехавшие в Москву откуда-то издалека, Тамара Львовна беспрерывно курит; почему-то меня никогда не тянуло курить, в конторе все дымили, говорят, у курящих время движется быстрее, сейчас бы это здорово пригодилось, звонок, судьи, роскошная борода прокурора... заменить пятнадцатью годами строгого режима.

Он собрал бумаги, вышел в коридор, быстро спустился по лестнице и только в вестибюле вспомнил о Тамаре Львовне. Как же это так получилось, что после приговора он ее не повидал? Ильин снова побежал наверх, все в нем кричало: «Заменить... Заменить... Заменить...» Тамары Львовны он не нашел, а на площадке его перехватил «борода».

— Вы меня упорно не хотите признавать, почему? Кажется, четыре года вместе трубили. Пусть не на одном курсе, но все же...

«А он симпатяга, — подумал Ильин. — Только борода страшная, а глаза добрые». И с удовольствием стал перебирать университетские годы; прокурор, оказывается, отлично помнил ту историю, из-за которой Ильин чуть не вылетел. Они обменялись телефонами и адресами, оказалось, что и живут они по соседству, ну да ведь Москва есть Москва. Ильина как отпустило.

С несвойственной ему болтливостью он рассказал о своей жизни, называя всех своих близких по именам — Иринка, Милка, Андрей, все было отлично, он всем был доволен, во всем преуспел, а что касается адвокатуры, то в его рассказе это выглядело чем-то вроде курсов по повышению квалификации.

По дороге в тюрьму он разговорился с таксистом и терпеливо выслушал трогательную историю о свирепом гаишнике и проколотых правах, повозмушался и даже что-то дельное посоветовал водителю.

Макарыч издали увидел Ильина.

— Замена? Ну, слава богу, слава богу...

— Как он? — спросил Ильин.

— Молчит. Смирный.

«Как о больном... — подумал Ильин и шагнул в камеру. Самохин стоял спиной к двери, лицом к окну, но, услышав шаги, обернулся. — Что же ему сказать, не поздравлять же...»

— Судя по сиянию, которое от вас исходит, можно поздравить? — спросил Самохин.

Ильину была неприятна циническая выходка Самохина — Самохин есть Самохин, — и он очень сухо сказал, что Верховный Суд удовлетворил кассацию. Все было совсем не так, как он это представлял себе час назад. Там, в суде, он не думал, что Самохин есть Самохин, и только радовался, что ему оставлена жизнь, весело болтал с прокурором и на радостях пригласил его в гости. Какой это был легкий час!

— Значит, созреть для южного берега и для сберкнижки? Что скажете, товарищ адвокат? Из глубины сибирских руд — и вдруг Москва... А? Блестит под крылом, как облизанный телок, никогда не скажешь, что в этом городе случаются в некотором роде происшествия. Выходишь из самолета и... фу-фу-фу, что такое? Жить... — сказал Самохин и поморщился, кажется осуждая себя за это слово. — Сами видите, здесь есть противоречие: и жить бо-бо, и не жить...

— Вам дарована жизнь, — сказал Ильин, — не шутите с ней. Бо-бо? Вы боитесь жизни. Но на этот случай нет никакого лекарства. Единственное, что я вам могу посоветовать, — это жить.

— Говорят, там перед выходом на волю индивидуальные беседы, даже разрешается понемножку волосы

ки отращивать. *Привыкать*. Это тоже из макарычевского корана... Но до этого далеко...

— Да, далеко, — сказал Ильин жестко.

Пора было заканчивать свидание, Ильин видел, что Самохин устал от встречи, от необычных слов, от всего того, что создавало иллюзию свободы. Когда они еще встретятся, а в памяти только и останется недовольство друг другом, непримиримость, а может быть, и враждебность.

— Вы мне пишите, — сказал Ильин. — Помните, что я ваш адвокат...

— Ну, ну, — Самохин зябко передернул плечами. — Какой уж теперь адвокат...

Ильин открыл дверь, и в это время Самохин спросил:

— А Туся?

— Что?

— Вы ее увидите?

— Нет. Ей сообщат. Наверное, уже сообщили.

— Да, да, конечно, — сказал Самохин и улыбнулся.

После раскаленной улицы дома был рай — прохлада, сквозняки, Иринка в новом воздушном платье без рукавов и таком коротеньком, что казалась в нем совсем школьницей.

— Звонили Глаголины: Тамара Львовна вернулась из отпуска, и по этому поводу там суаре, я — за, все-таки кислород, а ты?

«Но больше никаких разговоров о деле Самохина, — подумал Ильин и еще раз мысленно повторил: — Точка, я этим больше не занимаюсь».

У Глаголиных, как всегда, было людно, какие-то молодые люди, может быть, будущие светила, а может быть, и нынешние, альпинист с женой, пившие неразбавленный спирт, и академик, известный всему миру, называвший Тамару Львовну «наша козочка», и, конечно, Дунечка со своим отставным моряком. Дунечка вертелась вокруг Тамары Львовны, поминутно накрывала ей плечи старинным платком, наливала вино, разбавляла водой, и все это с таким видом, словно ухаживала за больной.

Иринка сразу оказалась втянутой в водоворот гостей, схватила крошечный бутерброд и убежала в соседнюю комнату, где Жорж наигрывал на гитаре, изображая известного иностранного гитариста: «Я люблю тебя,



Москва, я люблю тебя, Москва». Действительно, было очень похоже.

Ильин усталопил рислинг и машинально выпил два больших бокала.

— Не напивайтесь, пожалуйста, — сказала Тамара Львовна. — Мне хочется с вами поговорить.

— Напиваться? — спросил Ильин. — Исключено.

— Вы вообще не пьете? — встряла Дунечка.

— Вообще пью, — мрачно сказал Ильин. — Алкоголь — мой друг. Напиваюсь до бесчувствия. Такой мой вызов обществу. Годится?

— Мне годятся ваши шутки, — сказала Дунечка серьезно. — Характер шуток вообще влияет на образ мышления. Что, моя дорогая, что, моя хорошая? — вскинулась она, заметив, что Тамара Львовна встала.

— Разрешите, — сказала Тамара Львовна холодно. — Евгений Николаевич, выйдем отсюда.

Вышли в сад, и Ильин спросил:

— Неужели же она все время здесь?

— Кто, Дунечка? Нет, конечно... Но часто, слишком часто... Она хочет выйти замуж за моего сына.

— За Жоржа? — глупо переспросил Ильин. — Но ведь она, кажется, замужем...

— Кажется, она развелась, в последнее время от меня многое скрывают, считают, что я чокнутая. И вы тоже так считаете. Ладно, все это мелочи, по мне — пусть выходит за Жоржа. Но, кажется, она не в его вкусе...

— Мне тоже так кажется, — сказал Ильин.

— Наверное, вы догадываетесь, что я хотела поговорить с вами не о том, каких женщин предпочитает мой сын. Значит, так: считается, что я вернулась из отпуска, была не то в Гаграх, не то еще где-то там, но все это чепуха. Переутомление, неожиданный отпуск — вполне во вкусе таких дур, как Дунечка. Знаете, чем она раньше, до своей социологии, занималась? Делала шляпки. И совсем неплохо. А теперь она всерьез пишет мою биографию, да еще в каком-то «социологическом разрезе». Только у настоящих дур это и получается всерьез. Но перед вами мне нет никакого смысла притворяться ученой дамой, ищущей забвения от Москвы. По-настоящему счастлива я бывала только в Москве. Вы еще никому не говорили, что видели меня сегодня в суде? Ну и отлично,

Вы там так были заняты, что я не смогла вас предупредить. А после я помчалась к Тусе. Понимаете?

— Да, кажется, начинаю соображать, — сказал Ильин, вспоминая туфли на «платформе», кукольное личико, умелый грим.

— Я бы увез вас в Венецию, — послышался голос Жоржа из дома. — Я член профсоюза, и у нас есть путевки.

Тамара Львовна недобольно поморщилась:

— А, да не слушайте вы всю эту чепуховину... Венеция! Все дело в том, что Тусе неоткуда ждать амнистии...

— Но ведь ее и не привлекали, — сказал Ильин. — У нее железное алиби.

— Я бы не могла жить ни в Венеции, ни в Ленинграде, — сказала Иринка, явно кокетничая. — Слишком много воды...

— Конечно же, у нее это самое алиби, — продолжала Тамара Львовна. — Но не в алиби дело. Туся страдает. Чуть было не сказала: «Моя подзащитная...» А что, было бы справедливо! Если у Самохина адвокат, должен он быть и у Туси. Может быть, каждому человеку нужен свой адвокат?

В доме запели «На безымянной высоте». Слышался голос Жоржа, не сильный, но очень чистый, и казалось странным, что этот голос принадлежит человеку, который всегда кривляется. Жоржу подпевал отставной моряк, а в паузах слышалось Иринкино щебетанье.

— На безымянной высоте... — повторила Тамара Львовна.

— И что же Туся? — спросил Ильин, прислушиваясь к тому, что делается в доме. — Вряд ли она будет ждать Самохина...

— Да, я думаю, что навряд ли.

— Она работает? — спросил Ильин. — Как-то не могу представить ее жизнь.

— Живет... Сейчас у нее... бюллетень. Приходят какие-то родственники, так, десятая вода на киселе. Отец даже на процессе не был, у него теперь новая семья, кажется, под Оренбургом.

— Может быть, ничего и не знает?

— Может быть. Еще есть какие-то подружки, но что за подружки, им сенсация интересна! Есть еще Генина бабушка,

— Генина? — переспросил Ильин. — А, ну да, да, конечно, конечно... И что же?

— Ну, бабушка — та всей душой ненавидит Тусю. Подозревает черт знает в чем. Да не она одна... Действительно, эти «платформы» и реснички... Даже в день приговора! Но тут я подошла к ней, и мы вместе поплакали.

Ильин промолчал. «Поплакали...» Как-то это слово совсем не вяжется с Тamarой Львовной. Хотя, впрочем, кто знает!.. Много есть такого, о чем никто не знает. Год назад он бы не смог поверить, что между двумя судебными заседаниями будет мчаться на почту и там, в дикой духоте, ждать коротенькую записку... А сейчас... сейчас его мучают голоса в доме и Иринкино щебетанье.

— Это было трудное дело, — сказал Ильин. — Но оно для меня сегодня закончилось. Приходит момент, когда надо ставить точку.

— Да, наверное, вы правы. Надо начинать работать. Мой бедный старый Маячок. Завтра, кажется, среда? В среду ученый совет. Пора разгонять гостей. Отбой, господа гости! — крикнула она.

Никто не обиделся, все знали, что хозяйка дома эксцентрична, и, кажется, всем это нравилось. Ильин стал вызванивать такси, но куда там: два часа ожидания.

— Я вас доставлю на своих вороных, — сказал Жорж. — Нет, серьезно, машина подана...

— Спасибо, но мы прекрасно доедем в автобусе, — сказал Ильин.

— Но, Жень, — мягко возразила Иринка. — Машиной быстрее...

— Спасибо, но мы не будем никого затруднять, — перебил ее Ильин, и эта неестественная фраза, звучащая как перевод с чужого языка, еще долго вертелась у него в голове.

Милая Лара! Я думал, что после самохинского дела сбегу из Москвы хоть на десяток дней, но это все были мечты. Дел много, защищаю одного замечательного жу-

лика, некоего Калачика Аркадия Ивановича, и сегодня мы с ним закончили знакомство с материалами дела. В чем оба и расписались.

За эти дни мы как-то привыкли друг к другу — шутка ли, такие тома одолели. Перелистать — и то труд, а ведь мы не перелистывали, а кое-что по два раза читали, иногда и вслух всю эту канцелярскую скуку перемазывали. «Аркадий Иванович, как? Будем признавать?» Кивает энергично... «А может, прежде чем признавать, подумаем?» — «Нет, признаю, было».

Следователь собрал очень обширный материал, собрал и систематизировал, ну, как бы сказать... без демагогии, что ли. Калачик ему добросовестно помогал. Признание полное, безоговорочное, и не только чистосердечное, но и всесторонне обдуманное. Показан весь механизм хищения, учтена каждая копейка.

Память у Калачика феноменальная. Только взглянет: «3600 рублей! Это по четырнадцатой ведомости. И та же цифра по пятой...» Он только иногда жалуется на зрение, в особенности когда мелкий шрифт. Но память, память! А ведь ему почти шестьдесят... Между прочим, и он и его жена прямо-таки помешались на этом: было бы ровно шестьдесят, сидели бы дома, купили бы какую-нибудь развалюшку, развели бы огородик...

Жулик Аркадий Иванович поразительный. Все поразительно: и размах, и стаж, и безнаказанность. И знаете, после всего, что было, он в тюрьме отдыхает. Я работаю, а он отдыхает. И вид какой-то благодный: почтенная седина, не то чтобы торчали седые космы, а так, легкий пушок. И замечательно чистые, прямо сахарные, руки. Синяя жилочка у него только на шее вздрагивает и почти вся прикрыта белым воротничком. Да и весь он вычищенный и надраенный, как ручка в адмиральской каюте. Конвойные грохочут в тяжелых сапогах, а у него ноги в парусиновых туфлях. Я едва добираюсь до тюрьмы — мокрый как мышь, в автобусе такая жара, что не знаешь — открыть окно или закрыть... Аркадий Иванович улыбается, даже шутит, никаких признаков раздражения, он вполне в курсе, что нервные клетки не восстанавливаются, знает, как вредны отрицательные эмоции. Какую-то отчаянную бумажку мы с ним смотрели, прямо-таки крик души работника ОБХСС, он надел очки, взглянул. «Должен вас предупредить, Аркадий Ивано-

вич, что признание в этом случае означает...» Он ласково перебил: «Все мое, Евгений Николаевич...»

Это он любил повторять: «все мое», «все наше», и однажды я не выдержал и сказал: «На что только вам адвокат?» — «Как же, как же, это непременно надо, этого закон требует...»

О том, что он «законник», я еще раньше знал от его жены. Любовь Яковлевна зачастила ко мне, и, хотя я все это время был зверски занят, я всегда был рад случаю поговорить с ней. Все-таки почти сорок лет прожили вместе. И как порой ни анекдотичны были ее рассказы, я немало существенного узнал об Аркадии Ивановиче. Познакомился и с дочкой Ниной, она ненадолго забежала в консультацию. Тихая, застенчивая, 34 года, не замужем и со всеми вытекающими отсюда комплексами. А тут еще такое несчастье. «От людей стыдно...»

Сослуживцы. До того, как все это завертелось, Калачик считался незаменимым работником. А сейчас он мало того что вор и мошенник, так еще и клеветник. Сам за решеткой и других тащит...

Познакомился я за это время еще с одним человеком, имеющим или, лучше сказать, имевшим большое значение в жизни Калачика. Его однополчанин и бывший начальник. Ему тоже «вокруг шестидесяти», хромает, но как-то уж очень бодро, брит наголо, хрипит, курит, у него, я думаю, эмфизема, но курит ужасно. И очень живые, черные, «с чертиком», глаза. Появился он в консультации в разгар рабочего дня, во все кабинки очереди, он кричит что-то свое, наконец разобрались, и он прохромал ко мне.

— Подполковник Кужаев.

— Очень приятно. Чем могу?

— Всего ничего: помогите добиться правды. Третий день хожу по судам, ни черта не понять. Какая-то лохматая девчонка на смех подняла, мол, списки внизу вывешивают. Сунулся к спискам — ничего похожего. Я туда, сюда, к прокурору...

— Да в чем ваше дело?

— Вы Ильин?

— Ильин.

— Мне Любовь Яковлевна адрес дала.

Кажется, начало проясняется: значит, по поводу моего Калачика. Но подполковник продолжал кипеть:

— Да что же это такое? Да у нас в полку Калачика каждый по имени-отчеству. Знаете, это какой человек? Ежели бы я ему сказал: «Калачик, море видишь? Там на дне полуторка с продуктами, а у меня бойцы третий день не кормлены...» Что бы мне Калачик ответил? «Слушаюсь, товарищ подполковник» — и как был бы: в сапогах и прочей амуниции — так в море бы и полез. И его теперь под суд? За что?

Я стал объяснять: следствие инкриминирует вашему другу...

— Другу! Он моим подчиненным был. Я ему и звание присваивал. Пришел ко мне красноармейцем, шинелишка еле дышит, одна пола вовсе обгорела, я думал — из окружения... «Откуда, спрашиваю, такой?» — «Кладовщиком, говорит, был на складе». — «Ну, брат, у нас в армии кладовщиков не положено. У нас здесь война».

А знаете, я с этим Кужаевым подружился. Хотелось побольше узнать об Аркадии Ивановиче. Это не пустяки, если через четверть века о тебе тревожится твой однополчанин, и не просто однополчанин, а бывший твой начальник. И я действительно много узнал интересного о Калачике. Тут я слышу скучный голос: дорогие товарищи адвокаты, а не надоело вам это? Человек совершил преступление, ограбил государство, а вы думаете тронуть нас орденами? Орденами — нет, войной — безусловно. И «тронуть» — слово совсем не то, просто я хочу поразмыслить над судьбой моего подзащитного, и не только хочу, но и обязан это сделать.

В мирное время Калачик служил кладовщиком на заводском складе, и как раз перед войной его выдвинули, и он этим складом стал заведовать. Но Кужаев узнал и оценил в своем новом подчиненном талант истинного снабженца. Не знаю, каким был Кужаев в войну, думается, таким же шумливым, как сейчас, а может быть, и еще больше. И еще быстрее был его острый взгляд. С одного взгляда пытался оценить человека: на что всего более пригоден. Но я думаю, что вся эта шумливость и размахистость Кужаева и даже его хриплый голос — все это только внешняя сторона дела. Я думаю, что Кужаев был хорошим хозяином. Он и до войны служил в том же полку и пережил разные времена, вся его жизнь здесь прошла. Научился нюхом чувствовать людей и доверять. Иногда чрезмерно доверял этому своему нюху.

Были ошибки, были и просчеты, но сейчас он вспоминает только удачи. Начпрод Калачик был его удачей. Не только в дивизии — в армии завидовали, переманивали; говорит, что сам видел приказ! перевести старшину Калачика А. И. на какое-то там сверхпродместо. Но отстоял. Горлом взял.

Зато служил Калачик своему полку верой и правдой. Однажды через немцев проскочил. Вся машина как решето, один мотор остался. . . Не сосчитаешь, сколько раз он под огнем продукты доставлял! «Я ему только скажу: надо достать, а он уже — слушаюсь! Любым путем! И уже издали откликается — бу-сделано! Не было такого, чтобы наш полк голодал. В других полках, бывало, что и под метелку, а у нас и картошка на заморском лярде, и в щах ложка как штык стоит. Бывало, кто к нам сверху приедет, то даже посмеивались: «Какой-то у тебя, Кужаев, народ особенный, выгулянный!»

И, вспоминая эти далекие годы, Кужаев тоже посмеивался, а я слушал подполковника в отставке и видел своего подзащитного то в дивизионных тылах, то в еще более высоких продснабах. Достать, любой ценой достать, явиться к Кужаеву и громко и четко, как любил подполковник, доложить: сделано. Одного не любил Кужаев — отчетов о похождениях своего бравого начпрода. А жаль! Может быть, он бы и призадумался, может быть, и сказал бы: «Ну, ты это, брат, того. . . как же это так. . . Не надо нам этого лярда, и муку-крупчатку назад отвези!» А может быть, и не сказал бы, потому что война, потому что позарез он нужен, этот треклятый лярд! . . . Нет, не хватает у меня мужества обвинять Кужаева за его всем известные наставления: «Достать! Любой ценой!» — хотя, признаюсь, не люблю я эти «героические» формулы. Понимаете, Лара, это, конечно, верно, что война есть война, верно, что доставляли продовольствие болотами, и в лютые морозы доставляли. Хорошая машина «студебеккер», но и она падала. Так ведь то «студебеккер»! А сколько мы с нашими полуторками латаными-перелатаными намучились, наши военные снабженцы и впрямь вели себя как герои. Не о том речь. Речь о том, что «любым путем» и «любой ценой» отнюдь не всегда означало: умри, но выполни. Часто, слишком часто эта «любая цена» означала «за счет соседа». И в тех полках, где все было «под метелку», начпроды тоже были не без-

дельники и не трусы, а просто не умели, а некоторые и не хотели «любим путем».

И Калачика ставили в пример не потому, что он не испугался переправы, которую немец держал под огнем, а потому, что знал, как и где достать, и — ох-ох-ох — где надо, кланялся... Как же, ведь все для полка, дело-то святое!

Я предвижу реплику прокурора: для меткого словца не жалеет адвокат и родного отца и, пустившись в военные дебри, уже и сам не замечает, как клеветает на наше героическое прошлое. Но вы взгляните на жизнь Аркадия Ивановича без предубеждения, он еще не осужден, суду еще предстоит вынести приговор, и, как бы ни было велико наше возмущение, попытаемся узнать о Калачике еще кое-что.

Кужаев расстался со своим начпродом в начале срока шестого, сам он служил еще почти пятнадцать лет. Теперь они встречались только по праздникам, в День Победы и очередную годовщину полка. На таких праздниках Кужаев сидел в президиуме, а Калачик — в рядах, но потом сдвигались столы и начиналось главное: «А ты помнишь? А это ты помнишь? А, нет, нет, нет, не так было... А ну-ка, Аркадий Иванович, расскажи, как ты свежую рыбку в полк доставил...»

На таких встречах чаще всего вспоминают не бои и не потери — это всегда с нами, — за праздничным столом предпочитают послушать рассказ о том, как Калачик свежей рыбой полк накормил и как генерал потом требовал, чтобы Аркадия Ивановича за эту рыбку — в трибунал. А кто выручил? Да кто же, как не родной полк!

Аркадий Иванович на эти праздники ходил, как на святое причастие. И только в этом году не пришел, и это Кужаев сразу взял на заметку. И через пару дней нагрянул к Любви Яковлевне. Тут он все и узнал: в тюрьме бывший начпрод...

После войны Аркадий Иванович на свой завод не вернулся. Заводским складом заведовал теперь какой-то инвалид, а Калачик был дипломированным снабженцем. Только после войны стали мы понимать, каковы размеры бедствия, и люди, которые умели достать, достать хоть со дна морского, очень ценились. И Аркадий Иванович стал доставать и доставать. Грамоты и приказы, которые принесла мне Любовь Яковлевна, — только неболь-



шая часть восторженных отзывов о Калачике. Восторженные отзывы, и вдруг... тюрьма? Над этим стоит подумать. Неужели же, получив команду «достать», человек обязательно должен идти на преступление? Где та хрупкая грань, перейдя которую дипломированный снабженец становится обыкновенным мошенником, а войдя во вкус, совершает крупные хищения? Я думаю, что такой хрупкой гранью является корысть. Мы потому так охотно и смеемся над свежей рыбкой, которой Калачик весь полк накормил, что эта рыбка абсолютно бескорыстна, ничего в ней нет, кроме желанья накормить воюющего человека, который, бывало, и с пустым желудком воевал. И если бы тот мифический генерал все-таки упек бы Калачика в трибунал, Аркадий Иванович с чистой совестью предстал бы перед судьями. Ни одной косточки от той рыбы ему не отломилось. Никто бы не посмеялся над этой историей, положи тогда себе Калачик в карман хоть килограмм этой неучтенной рыбы! Но штука в другом. Приказы «Любым путем!», «Со дна морского!», «Достать!» почти всегда ведут к размыванию добрых понятий, вколоченных с детства мамой и папой. Человек, доставая «из-под земли», сталкивается с длинной цепочкой людей, которые должны помочь ему преуспеть. В этой цепочке, конечно, есть люди, действующие бескорыстно, но обязательно найдется один человек, который возьмет и скажет: «А на что это мне? Для развлечения?» Что с этим одним делать? И обойти человека нельзя — в цепочке все друг от друга зависят, — и дело спешное. Прибыть и доложить, что в цепочке есть вот такой бастующий? Дело не двинется, да еще заслужишь кличку чистоплюя. Еще до рождества Христова было известно, что каждое дело надо смочить — будь то шпала, будь то кавьяр...

И вот уже такой человек помогает, да еще и на будущее испрашивается. Так и хочется сказать ему: «Мразь ты этакая!» — но надо попридержать язык: при выполнении приказов «любой ценой» такой человек может еще не раз пригодиться. И вот тут, считайте, конец бескорыстию. С первой косточки и с первого омовения — конец. То, что достали «со дна морского», идет к месту назначения, а вам, после всех подсчетов, ясно, что рублей столько-то казенных денег не хватает. А они, эти казенные рубли, обязательно должны быть оправданы. Теперь, хочешь не хочешь, садись писать липу. На-

писав, несите ее к начальству, не прячьте глаз, смотрите безмятежно: не для себя старались... Вам пойдут на встречу и, как говорится, «изыщут».

Поначалу Аркадий Иванович совершенно искренне старался, чтобы от этой рыбины ничего ему не отламывалось. Хотите верьте, хотите нет, но свои заработанные, свои командировочные, свои суточные он держал отдельно от тех, которыми «смачивались» человечки. Но потом деньги стали прилипать. Это не метафора — словечко точно объясняет всю механику превращения Калачика из честного человека в мошенника и вора. Деньги, добытые для покрытия такого рода расходов, обладают магической силой: сначала они идут «только» на угощение, потом на оренбургский платок для *его* жены и потом уже — для своей.

И поначалу Калачику как-то еще удавалось сосчитать: это из тех денег на оренбургский платок человечку, а это на оренбургский платок Любви Яковлевне из своей зарплаты. Но человечков становилось все больше и больше, денег было много, иногда очень много, и все быстро смешалось: деньги, платки, шпалы и кавьяр. К тому времени, как Калачик начал работать в НИИ, он уже давно не помнил, что его, а что чужое, он уже был дипломированным комбинатором, способным не только достать что угодно, но и повернуть любую аферу.

В НИИ государственные деньги были похищены с помощью лжесовместителей. Вы, милая Лара, вряд ли себе представляете, что это за странный и к тому же крайне доходный бизнес. Действительно, на первый взгляд все выглядит нереально. Чичиковым пахнет. Но это только на первый взгляд. Чичиков действовал как-то уж совсем без учета ОБХСС, а Калачик очень все рассчитал. Души должны быть живыми, не какая-нибудь там Елизавет Воробей или Максим Телятников, в рот не бравший хмельного, а вполне реальные Воробьевы и Телятниковы, к тому же крепко выпивающие, но умеющие и во хмелю держать язык за зубами. Расчет был на то, что рабочих рук у нас всегда не хватает и потому вполне естественно, что экспериментальный цех прибегает к помощи совместителей. На этих реально существующих, но не работающих Воробьевых, Петровых и Сидоровых не составляли специальных ведомостей, все они получали свою зарплату по тем же самым ведомостям, по кото-

рым получали зарплату и работающие совместители. Лжесовместителей избирались по определенному принципу, чтобы обязательно, хоть немножечко, да плут, хоть не очень пьет, а выпивает порядочно, хоть не очень жаден, но легкий рубль не проворонит. . . . Такому человеку говорили, что от него требуется. А требовалось от него немного: дважды в месяц расписываться в ведомости, а деньги носить Калачику, тот уже сам распределял, кому сколько. Попробуйте с ходу установить, что вокруг воруется, когда все ведомости правильно оформлены и повсюду подписи начальника цеха Сторицына: работа принята, Больше того, все расписано, какая у кого была работа, сколько заточено, высверлено, отшлифовано, отчеканено. В экспериментальном цехе НИИ работает много квалифицированных рабочих, которые затачивают, высверливают, шлифуют и чеканят, они получают по пятым числам зарплату, а по двадцатым — аванс, и с ними вместе в кассу идут те, которые ни разу не стояли за станком, спивки нашего общества, трутни и паразиты, пропойцы и всякое жулье, и расписываются, и трещат не своими деньгами, и несут половину, треть или две трети барину. И знаете — это жулье само никогда не проврет, и проверить эти ведомости с живыми душами невероятно трудно, и если такие ведомости, такое хищение вскрывается, то за этим обязательно стоит самоотверженный труд работников ОБХСС.

Лжесовместителей и все хищение придумал Калачик. Но знаете, с чего началось? Начальник цеха, тот самый Сторицын, который будет потом подписывать все ведомости, решил, что пора обставить свой кабинет как полагается. На это ему было отпущено не то двести, не то триста рублей. На эти деньги Калачиком был куплен старинный гарнитур, глубокие кресла, обтянутые кожей, вполне современный шкаф и даже холодильник-бар и чуть ли не гобелены на стену. Вы думаете, Калачик получил строгача? Ничуть, хотя непонятно, зачем весь этот купеческий пошиб, зачем начальнику экспериментального цеха НИИ кающаяся Магдалина на стене? «И все это за двести или триста рублей?» — спрашивали Сторицына. «Ну, знаете, хороший снабженец все может достать, тем более Магдалина не подлинник, а копия».

Сторицыну еще и завидовали: у него, видите ли, снабженец — сила! К примеру сказать, едет человек в коман-

дировку. Кто как размещается, но работники НИИ останавливались только в «Интуристе». Зачем далеко ходить, нужен был одному инженеру телефон, переехал он на новую квартиру, а в том районе не обещают в этой пятилетке. Да попросите Сторицына! А что такое? Да как же, у него там Калачик!

Для того чтобы обставить кабинет своего начальника, Калачик зачислил в цех каких-то двух своих знакомых, которые работать не работали... Ну, технику вы теперь знаете. За три месяца рассчитались и за бар, и за Магдалину. Четвертый месяц принес Калачику чистую прибыль: треть привлекаемым живым душам, треть себе и треть Сторицыну. На следующий месяц работало уже не трое, а семеро лжесовместителей, и с каждым месяцем их становилось все больше и больше, соответственно увеличивался и размер хищения.

Калачик говорил, что давно уже задумал «сокращение штатов», но две другие трети компании этому воспротивились. Не заставляю Вас верить моему подзащитному, но я верю ему. Верю, что ему хотелось остановить это беспроектное колесо: уж слишком долго оно вертелось. Хотелось покоя, пенсии, домика, двух-трех грядок ароматной клубники. Но никак было не остановиться!..

Он приходил домой усталый, в коммунальной квартире у них две комнаты, жили вместе с дочерью, держали канареек, любили попариться в баньке. О делах у него с Любовью Яковлевной никогда никаких разговоров не было. Разве что Аркадий Иванович посмотрит, посмотрит вокруг, да и скажет: «Воруют...» Что воруют-то? Да все, что плохо лежит, а лежит все плохо.

Я отлично понимаю, что когда речь идет о хищении, то рисовать стоптанные шлепанцы и старозаветные венки, пожалуй, смешно. Но Вы поверьте мне, что и шлепанцы и венки — все это правда, так же как и замусоленные сберкнижки; ежели посчитать, так, пожалуй, все ворованное на книжках и лежит. Не потому, конечно, что хотел вернуть сие государству, а просто не знал, на что тратить деньги. Один раз купил дорогое кольцо с бриллиантом, так и то сказал жене, что чешская бижутерия...

Вот, собственно, и все. Но есть в этом деле еще что-то, чего я не знаю, и это незнание тяготит меня. Сто раз

я перечитывал обвинительное заключение — ничего нового я там для себя не вычитал, да и сам Аркадий Иванович, тихий и благостный, не дает мне заглянуть туда, куда меня так и тянет.

А что, если я так ни о чем и не узнаю?

24

— Ильин, вы остаетесь ночевать в консультации или согласны проводить до трамвая одинокую женщину? — спросила Пахомова.

— Сочту за честь! Давайте-ка ваш портфель. Ну и ну... Пуда на полтора!

— Так я ж десятый день сижу в Таракановке!

— А что такое?

— И это называется коллега! Да во всех газетах...

— Извините ради бога, как-то вдруг выскочило! (Пахомова защищала в труднейшем процессе. Выездная сессия. Судят бывшего полиция.)

— Он и со мной поначалу взял сверхдерзко, — рассказывала Пахомова. — «Вы что же, защищать меня собрались?» Мальчонка у него лет десяти. Жена ничего не знала, ходит на все заседания, письма ему пишет. Я говорю: нельзя до приговора, а она — отдайте после. «После»!

В парке полно народу, все ищут прохладу, запахов леса, но и там дымно, деревья не выдерживают зноя, роняют жухлые листья, поникли метровые гладиолусы. С трудом нашли тихую скамеечку.

— Ну как, Евгений Николаевич, не жалеете, что пришли к нам? Все же в конторе было потише. Ни тебе полицаев, и тещ среди бела дня не убивают...

— Рано еще подбивать итоги.

— Это верно. Мне один мой подзащитный таксист внушал: «Шоферня — народ особенный, в наше дело втянуться надо».

— Да вот, втянуться, — повторил Ильин. — Вопрос только — во что втягиваться...

— Жарко, Евгений Николаевич, для загадок.

— Какие уж там загадки! Я и Аржанов защищаем по одному делу. Слыхали, наверное, — НИИ, экспериментальный цех.

— Это что, лжесовместители?

— Вот-вот...

— Модно нынче. Но там у вас вроде жулик какой-то агромадный.

— Мой подзащитный. И он на предварительном следствии показал и в отношении начальника цеха Сторицына.

— Аржановский клиент?

— Вот именно. И Аржанов намекает, что это оговор.

— А вы так уж уверены, что ваш этот самый Калачик говорит правду, только правду и ничего, кроме правды? Ведь он все-таки жулик... Ой, Женя, голубчик, эскимо привезли, бегите!

Пахомова с наслаждением ела мороженое, похваливала: «Нигде в мире такого не найдешь!..»

— Ну что вы, Женя, надулись? Аржанов очень опытный юрист, и уж если он считает, что его клиента оклеветали, значит, чувствует слабость вашей позиции!

— Схема моей защиты...

— Схема защиты? Это уже серьезный разговор. Давайте обсудим. И не в парке. Позовем мушкетеров, ну Федореева, конечно, Аржанова надо послушать...

Но из этого ничего не вышло.

Первым засверкал улыбкой Федореев:

— Меня прошу извинить: вызывают в райком.

Все знали, что Федореева никуда не вызывают, но всякий раз, когда он не хотел вступать в какое-нибудь дело, появлялся либо райком, либо президиум коллегии или еще что-нибудь в этом духе.

— Может, ты и меня, Варя, отпустишь? — сказал Слизберг. — Давно пулечку не гоняли, а сегодня как раз наворачтывается...

— На все четыре стороны!

— Ну уж сразу на все четыре! У тебя, Варя, испортился характер.

— Давайте начнем, — предложил Васильев. — Семейо одного не ждут...

— Неудобно без Аржанова, — сказал Ильин.

— А вы думаете, что он делает так, чтобы вам было удобно? — спросил Колтунов. Он сидел в дальнем углу приемной за шахматной доской и, держа перед собой газету, решал задачу — мат в три хода. — Там уже все обдуманно и решено: Калачику — лет...надцать, а Сторицыну — общественное порицание.

— Все бывает, Костя, — примирительно сказал Слизберг. — Может, и оговорили этого Сторицына. У меня был аналогичный случай. Тоже защищал по девяносто второй, ну не такую шишку, как Сторицын, но тоже человека известного. Дело инженера Яковлева. Может, помните?

— Как же, как же, — сказал Васильев. — Артель полотеров — это звучит гордо!

— И не полотеры, а фармакологи. При чем тут артель? Яковлев человек замечательный, воевал, тяжелое ранение, после войны учился. . . Ну, не Спиноза, — так он себя за Спинозу и не выдавал. Фармакология. И завелся у них там жулик. Яковлев ему абсолютно доверял. Всю финансовую сторону, и печать, и бланки. В результате чего этот жулик. . . Э, черт, фамилия выскочила.

— Неважно. . . — сказал Ильин нетерпеливо. — А в чем дело?

— Оболгал он моего Яковлева как хотел: чуть ли не при всех они там делились. . .

— А цель, цель какая?

— Ну, цель. . . Какая у жулика цель. . . Мол, один из многих. Да я тогда особенно и не задумывался. Вижу только, что мой Яковлев по уши в грязи, ну и тяну его из этого болота. И помощника в этом деле нашел. И знаете кого?

— Прокурора, — спокойно сказал Колтунов. — Ты, Миша, об этом уже третий раз рассказываешь. . .

— Так не рядовой же случай, — отбивался Арамис. — Прокурором тогда сидел Якушев. Как начал перекрестный!

— А не пора ли нам? — спросил Васильев.

И в это время позвонили от Аржанова: простудился, ларингит.

— Вот и хорошо, у меня как раз мат королю обнаружился, — подвел итог Колтунов и смешал фигуры на доске.

На следующее утро Ильин снова поехал в тюрьму. Обычно он начинал с Калачиком шутливо: «Ну-с, Аркадий Иванович, сегодня нам предстоит обсудить эпизод с достопочтенным банно-прачечным комбинатом». Или: «Привет от супруги!»

Сегодня вся эта шутливая благодность была снята. Ильин коротко поздоровался и сразу стал листать бума-

ги. Калачик деликатно молчал. «Пора наконец начать разговор», — думал Ильин. Но что сказать? На любой вопрос о Сторицыне Калачик вправе ответить, что обо всем он уже поведал следствию и что у Сторицына есть свой адвокат. В который раз Ильин бесцельно перебирал знакомые бумаги...

— Вы какой эпизод ищете? — спросил Калачик, ласково глядя на Ильина.

— Я? Этот... когда вы... то есть когда цех...

— А ведь бумаг нам с вами вроде больше и не нужно, — сказал Калачик негромко.

— Не нужно? Почему? Ах, этих-то... — и он снова стал листать материалы предварительного следствия.

— Не нужно, — твердо сказал Калачик. — Нужно поговорить.

— Вы что-нибудь хотите сообщить мне дополнительно?

— Нет, я свое все сказал.

— Полное чистосердечное признание?

— Именно так, Евгений Николаевич. Это я давно решил. А вы сегодня за что на меня сердитесь?

— Я?

— Вы, Евгений Николаевич.

— Как-то криво у нас пошел разговор. Я считаю, что нам пора решить вашу линию поведения на суде. Ведь уже скоро. Собственно, я за этим и приехал.

— А потом взглянули на меня и засуетились?

Ильин пожал плечами:

— Не выдумывайте, пожалуйста...

— А я не выдумываю. Это вы меня выдумали, Евгений Николаевич. Почтенный старец, вина не пьет, и по пятницам только постное...

— Какой все-таки вздор, — сказал Ильин.

— Нет, это не вздор. Хотите святого защищать, которого черт занес в монастырскую суму? Венчик, сторожка-развалюшка. А я жулик, Евгений Николаевич. Самый обыкновенный жулик, расхититель социалистической собственности, вор. Такого и защищайте.

— Ну, положим, насчет сторожки-развалюшки — это ваши слова, — сказал Ильин. — Сами и подыграли!

— Ну, может быть, — охотно согласился Калачик. — Жулик, он всегда немного артист. И не хочешь, а то



здесь, то там, знаете, этак ручкой... Без этого нам нельзя.

— Хорошо, хорошо, — сказал Ильин. — Допустим, все так. Но для меня самое важное, что вы человек, который помог следствию, не пытался ничего запутать, скрыть или дать ложные показания. Ваше раскаяние...

— Раскаяние? — переспросил Калачик. — Слово какое-то уж очень сильное. Может быть, все-таки лучше не раскаяние, а признание? За мной там целый хвост жуликов, и все будут каяться...

— Не все, — сказал Ильин. — Сторицын, например, отнюдь нет. Кстати, у вас, кажется, была с ним очная ставка.

— Почему же «кажется»? Все в деле отражено. Ну, не признал Сторицын, так ведь правильно сделал, что не признал. Как вы думаете?

— Правильно или неправильно защищает себя Сторицын, это сейчас дело его адвоката.

— Вот и опять вы на меня сердитесь! А вы бы лучше спросили меня попросту: слушай, Калачик — я, кстати, привык, чтобы меня на «ты», — слушай, друг любезный, Сторицын, он что, на очной ставке придурка из себя корчил, или, может, ты на него все, как на мертвого, валишь?

— Нет, ваши показания вполне убедительны. Руководителем цеха все-таки был Сторицын, а вы были в его подчинении.

— Научил-то его я... Впрочем, если вам так нужно для линии: он — руководитель, а я — лицо подчиненное... Но для такой линии вам уверенности не хватает. А это такая штука, что без нее ни за одно дело браться нельзя — ни нам, жуликам, ни вам, честным людям. Вы сами не уверены, что Сторицын брал. А ну как я вру? Ну, шляпа Сторицын, ну, дважды растяпа и всякая там халатность. Но не вор! Пришли за доказательствами — да, брал?

— Ладно, Аркадий Иванович, не волнуйтесь, вам это вредно.

— Полезнее всего кефир. И представьте себе — здесь его дают. Не всем, конечно, но у меня есть справка: колит. Я бы, разумеется, мог вам рассказать об одной детальке, чтобы уже никаких сомнений. Мог бы, Евгений Николаевич, но не хочу.

— А я не хочу, чтобы на суде возникла речь, что вы оговорили Сторицына, — сказал Ильин.

— Оговор? Да, штука противная. Это что, они так задумали?

— К этому надо быть готовым. Учтите, нам на суде будет очень нелегко. Ваши показания на предварительном следствии о причастности Сторицына, о дележе никем не подтверждены. Думаю, что «деталька» очень бы пригодилась. . .

— Нет уж, нет, Евгений Николаевич, пусть прокурор копает!

25

Ильин был недоволен встречей с Калачиком и упрекал себя в нерешительности: почему сразу не сказал, что Сторицын настаивает на оговоре? Тут не просто адвокатская неопытность, тут еще и желание самому «пройти до конца». . . Калачик сразу разгадал его сомнения: «Ну, шляпа Сторицын, ну, растяпа! Но не вор!» «Пусть прокурор копает», — вспоминал Ильин и ежился.

Он решил поехать к Саше. Хотелось поговорить, а может, и посоветоваться. Взглянул на часы. Как раз! Примерно в это время Саша приходит с работы.

После смерти Люси они виделись редко. Первое время Саша обедал у Ильиных, и Иринка специально для него готовила «духовое мясо»: считалось, что Саша его очень любит, хотя на самом деле он всегда был равнодушен к еде. Потом он пропал и только иногда звонил по телефону и спрашивал об Иринке и детях.

Жил Саша недалеко от Комсомольской площади, на пятом этаже густонаселенного дома. Каждый раз, когда они встречались, Ильин говорил, что пора отсюда выбираться и что такую большую комнату, да еще с «фонарем», вполне можно обменять на отдельную квартиру, пусть с небольшой приплатой или приняв на себя чей-нибудь пай, и что Люся, может быть, и заболела от этой комнаты, в которой всегда душно и шумно: совсем близко грохочут поезда. Но все оставалось по-прежнему: именно Люся и не хотела уезжать, говорила, что привыкла и к пятому этажу, и к кошкам на лестнице и что лучшие магазины именно в их районе.

— А, вот кто, ну заходи, заходи, — сказал Саша, открывая дверь Ильину. — Я тут закусуваю, не хочешь ли присоединиться?

В комнате беспорядок, кровать наспех прикрыта, на столе банка килек, батон, масло и сырок с изюмом. На электрической плитке, в кастрюльке без ручек, варятся сосиски.

— Может, хочешь по рюмке?

— Жарко... А впрочем...

Саша достал маленькую, разлил, водка была теплая, отвратительная. Ильин чуть пригубил и тронул сырок. Саша подцепил кильку.

— Ну, что: за любимую тему — одну на две и потом эти две на отдельную из одной?

— Нет, я понимаю, что теперь тебя отсюда никуда не сдвинешь.

— А надо бы! Лестница и все прочее — это ладно. Но я стал слышать поезда. Странно, раньше не слышал, а теперь слышу. Спать не дают. Я думаю, наверное, Люся тоже слышала, но не жаловалась. Может быть, тебе она что-нибудь говорила?

— Нет, конечно.

— Почему «конечно»? Все всегда на что-нибудь жалуются. А вот Люся... Ты ведь был у нее незадолго?.. Она любила тебя, говорила, что ты человек близкий. — Саша лег на кровать, закурил и, рассматривая колечки дыма, сказал: — Есть люди, которые созданы для того, чтобы быть близкими. Ты принадлежишь к их породе. Касьян до сих пор вдовееет, не может найти помощника: все после тебя нехороши. Мстиславцев открыто гордится вашей многолетней дружбой. Адвокаты уж на что народ недружный, но ты и их быстро завоевал. Не только мелкая сошка от тебя в восторге, но и сам Аржанов... Ну, да вы ж теперь оба в одной упряжке...

— Почему оба? Аржанов защищает Сторицына, а я Калачика...

— В самом деле? — перебил его Саша. — Ну, ты меня рассмешил. Аржанов всю Москву объездил, а ты хоть в форточку покричи: «Я Сторицына не защищаю!»

— Ты что, ошалел? — взорвался Ильин. — Я достаточно устал, чтобы слушать твою галиматью.

— Не шуми. Это не твой стиль. — Саша встал, налил себе и Ильину, Ильин пить не стал, а Саша выпил, и,

кажется, с удовольствием. — Мне всегда нравилось, что ты делаешь свои дела весело. Верный признак душевного здоровья. Я бы таким людям ставил штамп в паспорт: улыбается вследствие душевного здоровья.

— И все-таки запомни: Сторицына защищает Аржанов, а я — Калачика.

Саша вплотную подошел к Ильину, близко послышался сивушный запах.

— У тебя какое-то странное сочетание ума и глупости. Говорят, что такое встречается у талантливых людей. Все уже знают: «Калачик оговорил Сторицына». Это ж естественно, а? Едва жулика посадили, как он потащил за собой невинного человека, хорошего, энергичного работника, к тому же умеющего улыбаться, как вы все.

— Но я отнюдь не поддерживаю версию оговора, — сказал Ильин. (Получалось как-то так, что он оправдывается перед Сашей.) — Калачик с самого начала заявил на следствии, что делился со Сторицыным, и я думаю, что это признание вполне чистосердечное.

— И тебя Аржанов не переубедил? Странно, очень странно. По Малинину и Буренину выходит, что должен был переубедить. . .

— Но есть и высшая математика! Никто, кроме Калачика, не подтверждает корысти. Ни один из этих самых «совместителей». Да и сам Калачик кое-что все-таки затемнил. На суде невольно могут возникнуть сомнения. . .

— Что, что? — переспросил Саша. С улицы врывался шум колес, свистки и еще какой-то гул. — Мало, понимаешь, поездов, так еще и самолеты!

— Я говорю, могут возникнуть сомнения, тем более — никаких свидетелей. А это в пользу Сторицына. Суд, для того чтобы определить виновность, должен иметь неопровержимые доказательства! Как известно, лучше оправдать десять виновных, чем осудить одного невинного. . .

Саша засмеялся:

— Вот-вот. . . Этой-то фразы я и ждал от тебя. Пари готов был держать, что скажешь. Слушайте, дорогие мои, а не надоело вам повторять одно и то же? Закатят глаза, и с французским прононсом «лючше». Ну а как, если не «лючше»?

— Тебе бы дать волю, ты бы их обоих на месте шлепнул!

— Рука бы не дрогнула! И как же это получается? Вор ворует годами, а потом уходит, пусть с выговором, но с дачкой, машиной и парочкой добрых сберкнижек! И это как, «лучше»?

— Я согласен с тобой, что в стране есть шальные деньги, — сказал Ильин. — Я за дачи, за машины и за сберкнижки, но при том, что это уровень жизни.

— Это ты для своей речи приготовил: «уровень» и все прочее?

Помолчали. Ильин, нахмурившись, катал хлебные катышки. Он привык к порядку, свежему белью и хорошо отутюженному костюму, и его раздражала Сашина неустроенность: банки и бутылки, сваленные в угол, небранная кровать и стол в объездах.

— А что, если действительно заняться обменом? — неожиданно спросил Саша. — Ты вот возвращаешься в сферах...

— Ну конечно, — живо откликнулся Ильин. — Но лучше сказать Иринке. И как только ты здесь живешь!

— Да так вот и живу. Обитаю. Ну что, ну познакомился с одной девчушкой, пришла, посидела и ушла, то ли я не понравился, то ли комната, так сказать, жилплощадь... Что ты на меня уставился? Девчушка как девчушка, ножки бутылочками, ты, я думаю, и не снизошел бы. Ну ладно, все, давай разбежались...

— Это проще всего. А что дальше?

— Дальше я ей снова звонил. Может, на этот раз буду неотразим.

— Паясничаешь, Саша!.. Думаешь, от этого станет легче?

— А есть такой рецепт, чтобы стало легче?

— Мне кажется, ты запустил себя. Нет, постой, я не о комнате, тут мы все одинаковы — ничего не умеем. Будет легче, когда возьмешься за настоящее дело...

— Не все же могут стать адвокатами, — сказал Саша, допил остатки водки и поставил бутылку в угол.

— Можешь поносить мое адвокатство сколько тебе влезет, дело не во мне, а в тебе, — сказал Ильин. — У тебя ж светлая голова, ты бы мог...

— Что, на БАМ?

— Почему бы и нет? Да там на тебя молиться будут!

— Люся в таких случаях как говорила, помнишь? «Кругло, Женя, кругло. . .»

— Я не хуже тебя знаю, что это банальность, наверное, я разучился иначе, но послушай меня: надо сделать усилие!

— Послушать тебя? Нет, Женя, я тебя в свое время послушался. Ах, как ты тогда пел, как ты тогда *изъяснялся!* И как тебе верили вот в это самое: «сломать жизнь» и «боль лечит». . . Тоже, откровенно говоря, порядочная банальность, но всего этого не замечаешь, когда любишь. Любая банальность кажется тогда свежей мыслью, новым словом.

— Если бы не Штумов, я бы тогда сгорел за эти самые, как ты их называешь, «банальности». . .

— Скажи, пожалуйста, Штумов! А что мы ходили гамузом просить за тебя? Штумову-то ничего не было! Старый уважаемый профессор, беспартийный большевик — он и есть беспартийный большевик, — ну, его слегка пожурили за проявленный либерализм, а вот наша компания чуть за тебя билеты не положила: кого по стипендии шарахнули, а кого. . . И через двадцать лет ты снова начинаешь копать, как жить и чем жить? Снова та же страсть найти последователей. Для чего? Ты-то как эти двадцать лет прожил? Нет, если бы я и решил податься, так не на стройку. Не на стройку, дорогой друг, а просто-напросто к Касьяну. Ну, что? Он звал меня. Не веришь? Спроси его сам. Он ко мне всегда хорошо относился, может быть, с твоих слов, и ему жаль меня, понимаешь, просто жаль, совершенно безыдейно, как беспризорную собаку. Ему жаль меня, он хочет меня *обеспечить*, я сделаю у него карьеру, буду заведовать каким-нибудь отделом, разъезжать по стране. Из дворянки — в королевские пудели? Ведь я тогда буду ему *обязан*. Это тоже ценится. Почему бы мне и не повторить твой путь? Лет через двадцать, уже на пенсии, буду получать молодых людей, как им всего лучше «сломать» и «пострадать»; они будут смотреть мне в рот, а я что? У меня пенсия! Иди, иди, вдруг сейчас девчушка явится? А я не хочу, чтобы вы встречались.

Всю ночь Ильин не мог уснуть. Он уже и не рад был, что поехал к Саше: рассчитывал на добрый совет, а наткнулся бог знает на что. Ильин говорил себе, что Саша несправедлив к их прошлому: были, конечно, и издержки, были и перекосы, но все очень быстро устроилось, и все закончили учебу. Многих Ильин встречал за эти годы, люди спокойно живут и работают, а Валя, Валентин Григорьевич, которого тогда заодно «шарахнули», — давно уже замминистра. И все-таки выходило как-то так, что прав Саша, а виноват Ильин, виноват в том, что Сашина жизнь не удалась. Но почему же он молчал все эти годы, почему заговорил сейчас, когда Ильин бросил контору и пробует жить по-своему? Почему он молчал, ведь они дружили; бывало, что Саша подолгу жил у него, да и то хорошее, что было у Саши с Люсей, — заслуга Ильина, именно он развел Сашу с той шлюшкой. Почему сейчас, почему? И Ильин вспоминал Аржанова: «Мы с вами по одну сторону...»

Заснул он под утро, а когда проснулся, снова был жаркий день, надо было спешить в консультацию.

Едва только переступил порог, как сразу увидел Любовь Яковлевну. Ильину хотелось побыть одному, прогнать дурные сны, сосредоточиться, а вместо этого предстояла беседа на обычную тему о том, как выглядит Аркадий Иванович и не начал ли баловаться папиросками.

— Хотела к вам домой бежать — думала, заболели. Ну, как там?

— Не волнуйтесь вы, ради бога, — сказал Ильин, с трудом сдерживая раздражение. — Аркадий Иванович в полном порядке. Пьет кефир.

— Можно, я присяду?

— Разумеется. Да скиньте вы платок, и без него душно... .

— Вы уж меня извините, день, я знаю, неприемный... .

— Ничего, ничего... .

— Сердце не выдержало!

— А сердце поберегите, оно вам еще пригодится.

Ильин ждал новых вопросов, но Любовь Яковлевна молчала. В открытое окно доносился шум стройки. Веселые утренние голоса, близко работал подъемный кран.

— Вы мне скажите, глубокоуважаемый, я все думаю и думаю: судить Аркадия Ивановича будет?

— Вы что это, всерьез?

— Как я могу шутить! Евгений Николаевич, глубокоуважаемый...

— Но я, кажется, не раз говорил вам, что Аркадий Иванович обвиняется по статье девяносто второй, часть третья Уголовного кодекса.

— Знаю, что обвиняется, но неужели же суд?

— Позвольте, я закончу, — сказал Ильин. (Доколе ж эта пытка будет продолжаться!) — Статья эта — хищение социалистической собственности в крупных размерах, то есть тяжкое уголовное преступление. Не полезней ли вам будет ознакомиться хотя бы с моими предварительными наметками?

— Что вы, — сказала Любовь Яковлевна, с испугом глядя на папку, которую Ильин уже взял в руки. — Да у меня и очков с собой нет. Вы человек ученый, объясните мне, ради бога.

— Хорошо, попробую, — сказал Ильин. — Скажите, у вас из кармана никогда ничего не вытаскивали? Вспомните, пожалуйста.

— Не было... — Любовь Яковлевна с испугом смотрела то на Ильина, то на папку. — Я сумочку всегда крепко держу: в магазине этого ворья ужас сколько ошибается, у Аркадия Ивановича дважды бумажник вытаскивали, в первый раз три рубля с мелочью, а во второй — всю получку.

— Будем исходить теперь из того, что сам феномен воровства вам известен, — сказал Ильин с деланной бодростью. — Но у государства тоже есть свой карман. Нетрудно понять, что, если вы взломаете склад, скажем, райпищеторга...

— На склад... Аркадий Иванович?

— Никто в этом не обвиняет Аркадия Ивановича. Я взял наиболее доступный пример!

— И слава богу!

— А вот бога рано благодарить. Взломать склад — это для дураков. А умные люди действуют по-другому. Для того чтобы похитить собственность, принадлежащую государству, не обязательно взламывать склад или кассу. Аркадий Иванович зачислял людей на работу, но не для того, чтобы они работали, а для того, чтобы им шла зарплата, и затем эти государственные деньги незаконно присваивались. Да вы взгляните хотя бы на



общую сумму... Ах да, очки! Ну, хорошо, я прочту вам вслух.

— Зачем? — Любовь Яковлевна положила руку на папку так, словно судьба ее мужа зависела от этой папки. — Значит, начальство приказывает, а Аркадия Ивановича судить?

— И начальство будут судить, — сказал Ильин.

— Товарища Сторицына? Бог с вами, глубокоуважаемый, это совсем невозможно.

— Почему же невозможно?

— Аркадий Иванович говорил: в огне не сгорит и в воде не потонет. Да я товарища Сторицына сегодня утром встретила, когда сюда шла. Веселый... и с этим... ну, тоже адвокатом работает. Я, откровенно говоря, с ним сначала хотела поговорить. Он мне вас и посоветовал...

Ильин пожал плечами:

— Не могу вам сказать, почему в отношении Сторицына мерой пресечения выбрана подписка о невыезде. Да это и не мое дело. Но вам, Любовь Яковлевна, вероятно, надо знать, что Сторицын свою вину отрицает, и он и его адвокат стоят на том, что Аркадий Иванович оговорил начальство.

— Это как?

— Ну как, очень просто: дал на предварительном следствии ложные показания, бывает...

— Но Аркадий Иванович на такое и вовсе не способен!

— Откровенно говоря, и я того же мнения. Но суду нужны не мнения, а доказательства. Сторицын, конечно, не отрицает, что подписывал фальшивые ведомости, но утверждает, что корысти от этого не имел. Мы с Аркадием Ивановичем вчера на эту тему беседовали, и я ему прямо сказал, что если так будут развиваться события, то встанет вопрос и об оговоре. Но Аркадий Иванович все больше мнетя, говорит, что есть здесь какая-то «деталька», а какая — молчит.

— Бойтся, чтобы не пала тень на нашу Ниночку!

— Ниночка, дочка ваша, знаю! Но почему тень?

— А этот за ней ухаживал, в кино водил...

— Подождите, дайте разобраться. Сторицын с вашей Ниночкой... в кино?

— Да не Сторицын, а этот, ну...

— Кто такой? — живо спросил Ильин. Но Любовь Яковлевна вдруг как-то разом потухла. — В конце концов, — сказал Ильин, — я ведь не следователь, а ваш адвокат.

Стало тихо. Снова из окна слышались веселые голоса и шум работающего крана, кто-то пускал в адвокатскую кабинку солнечных зайчиков, похоже, баловался парень на грузовой машине.

— Племянник, — сказала Любовь Яковлевна. — Племянник товарища Сторицына. . . Не нравился он нам. Бывало, придет и прямо с порога: «А ну, решайте, что раньше было — яйцо или курмца? Я, говорит, этот вопрос подверг научно-технической экспертизе». Только ради Нины и терпели. Ниночке уже тридцать пятый пошел. А я мать. Мне Аркадий Иванович тысячу раз повторял: «Ты, Любонька, мать, а я отец!» Как забрали Аркадия Ивановича, так он к нам больше не заходит. Но я его разыщу. Может, еще когда и скажете Аркадию Ивановичу — не такая уж она у вас слабенькая. . . — И Любовь Яковлевна, схватив свой платок и не прощаясь, быстро убежала.

«А «деталька»-то начинает обрастать, — подумал Ильин. — Любовь Яковлевна, божий одуванчик. . . Да кто знает, кто знает, на что способен человек, кто знает, кто знает! . . .»

Позвонила Иринка: «Только что бабушка привезла Милку, через час-полтора вернется Андрей из лагеря, ты не забыл, что завтра первое сентября?» Ильин сказал: «Все помню, все будет о'кей», — попросил Милку к телефону: «Ну как, мордашка, загорела там?» А в голове по-прежнему вертелось: «Кто знает, на что человек способен, кто знает, кто знает. . .» Сто раз он спрашивал себя, а так ли нужна ему эта «деталька», сто раз вспоминал слова Аржанова, что судьба Калачика не зависит от того, брал Сторицын или не брал, хищение от этого не станет меньше, не все ли равно, что за «деталька», пусть прокурор копает. Но каждый раз выходило так, что от этой «детальки» многое зависит.

Дома было громко и весело. И Андрей, и Милка бросились к отцу уже вымытые и растертые Иринкой, которая стояла рядом, сложив руки на груди: Юнона!

Милка изменилась мало, только почернела от солнца, а вот Андрей — тот очень повзрослел. Год назад он

бы с ходу затеял драку с сестрой, а сейчас хмурится, крепко сжимает челюсти так, чтобы все видели его мужественные желваки.

— Ну как, поладил наконец со своей «египтяночкой»? — спросил Ильин.

Андрей пожал плечами совсем по-ильински.

— Да мы от нее легко избавились. Влюбилась в одного десятиклассника, самый главный лопух, ну, кружок мягкой игрушки и полетел, и штанга накрылась.

Ильин внимательно слушал сына, да и Милкины рассказы о том, как они с бабушкой по целым дням из воды не вылезали, тоже были приняты благосклонно. К концу обеда неожиданно прибежал Мстиславцев. На этот раз он был без своей Леночки.

— Прямо с работы, захотелось на твоих дураков посмотреть. Ну, как говорится, с наступающим учебным годом! Получайте... Раз, два, три. — На столе появился большой торт из мороженого.

«Странно, — подумал Ильин. — Это при его-то скудости...»

Ели торт, запивая каким-то волшебным напитком, потом Мстиславцев попросил Милку сыграть что-нибудь на рояле, вот это: «там-тири-тири-там...»

— Турецкий марш, — констатировала Милка.

— Папка, отправь ее в лагерь на следующее лето, а меня в Крым, ась? — зашептал Андрей.

— До следующего лета еще год, — отвечал Ильин, слушая Милку. Бессердечно падали ее крепкие загорелые пальчики, выстукивая знакомую мелодию. Как это изображает Мстиславцев: «там-тири-тири-там...» Иринка слушает, как всегда напряженно, боясь, что Милка споткнется, а Андрею больше всего хочется, чтобы она споткнулась. Мстиславцев, по-видимому, обожает мороженое под музыку. Ильин вдруг увидел их впятером как будто со стороны, как будто это чья-то фотография. Такие фотографии передаются из поколения в поколение, и через сто лет, когда прогресс станет всеобщим и уже будет налажена связь с неземными цивилизациями, на нашем шарике девочка будет играть «Турецкий марш», а дяди и тети вокруг нее будут есть торт-мороженое.

— Да, замечательно, — сказал Мстиславцев. — У тебя, Милка, — талант. И как это ты там, в Крыму, не раз-

училась? У моей племянки за лето все, буквально все из головы вылетело. . .

— Бабуся заставляла меня играть по четыре часа в день в любую погоду. . .

— Скажи, пожалуйста, «в любую погоду». . . Но пора мне, гоните в шею!

Ильин отлично знал, что «пора» ничего не означает и что Мстиславцев еще не раз будет возвещать о своем уходе — пора, засиделся, но так куда и не уйдет, а будет пить чай с халвой, потом попросит стакан воды, — заморозьте его в холодильнике! — и только жара помещает ему выпить «на посошок». А не уйдет он потому, что пришел по делу, иначе бы он и не пришел, о чем-то надо посоветоваться, может быть, у них с Касьяном не идет. Не только Ильин, но и Иринка, и даже дети знают, что Мстиславцев пришел по делу, но еще битый час будет слушать Милкины сонаты и помогать Андрею восстанавливать испорченный затвор в «Зените». Наконец Ильин лениво спросил:

— У тебя что, вопросы?

— Да ровным счетом ничего, — сказал Мстиславцев. — Нет, Андрей, твой «Зенит» надо нести в мастерскую.

Ильину больше не хотелось тянуть:

— Ладно, пошли ко мне. . .

В кабинете Мстиславцев вытащил папиросы, закурил, но, вспомнив, что Ильин не любит табачного дыма, бросил окурочек в пепельницу.

— Ну что, с чем пришел? — спросил Ильин.

— Глупость, малость и пустяковина, — сказал Мстиславцев. — Но прежде скажи мне, сколько лет мы знакомы?

— Ты что, сам сосчитать не можешь? С университета. . .

— Вот и соврал. Вот и выходит, что память у тебя не такая, как все о ней говорят. Послушать людей, так Ильин — компьютер. А ты в школу на Сретенку ходил?

— Ну, ходил. . . Мы-то до войны в Химках жили, но на один год тетка взяла меня к себе. Да, Сретенка. Ну и что?

— Как что? А кто с тебя шапку сбил? Ты весь обревелся, а потом нашел свою шапку в раздевалке. Помнишь?

— Что-то помню... Тетка у меня была суровая. За эту шапку...

— Вот, брат, с какого времени мы знакомы.

— Колоссально! — сказал Ильин.

— Второй вопрос: за это время, что мы знакомы, я тебе хоть какую-нибудь, хоть малюсенькую подлость сделал?

— А шапку кто спрятал?

— Что? Ах да, шапку... Выходит, ты теперь меня этой историей будешь попрекать.

— При случае попрекну.

Мстиславцев захохотал:

— Ловко! Я люблю, когда ты шутишь. Ты вот уже полгода у нас не работаешь, а твои шуточки до сих пор вспоминают. Кто-нибудь пошутит, а другой скажет: «Неловко шутишь, от твоих шуток человеку тяжело, вот Ильин, тот умел». Да, Женя, выходит, тридцать с лишним лет мы знакомы... срок немалый. Это не выплюнешь, и захочешь, а не выплюнешь. Слушай, дай мне холодной воды, умираю пить, но только холодной!

Ильин пошел на кухню; Иринка мыла посуду, Милка вытирала тарелки, Андрей занимался мужским трудом — точил ножи на бруске. Доволен, дуралей, что с мягкой игрушкой покончено.

— Холодненькая, — сказал Мстиславцев, выпив воду, — ничего не может быть лучше. — Поставил стакан на стол и, глядя прямо в глаза Ильину, сказал: — Сторицына я знаю столько, сколько и тебя. Он честный, порядочный человек и с заслугами...

«Если он будет продолжать в том же духе, я его выгоню», — подумал Ильин.

— Ты напрасно молчишь, напыжился и молчишь, — продолжал Мстиславцев.

«Ладно, пусть говорит, — подумал Ильин. — Пусть наконец выговорится».

— Знаешь, Женя, раньше мы в тебе этой гордыни не замечали. Хоть кого в конторе спроси. Ильин? Прелестный человек, влиятельный, но влиятельства своего никогда не покажет и носа не сунет куда не надо. А теперь ты изменился. Да, изменился. Испортило тебя это самое адвокаторство, речи, цветы, браво, бис. Я понимаю, успех — он всегда успех, но гордыню, Женя, надо прятать, не показывать ее всенародно. Ну, чем я тебя сей-

час задел? Сторицын? Да, я продолжаю утверждать, что он человек честный, пострадавший человек, ты и сам прекрасно знаешь, что нет ничего легче, чем попасть жулику в лапы. Ты меня извини, Женя, но не твоя это заслуга, что у нас в конторе, тьфу-тьфу-тьфу, не было жуликов. Да, их не было, но они могли быть. И накололся бы кто из нас на такого жулика, ты или я, допустим, — я говорю, допустим, накололся... И тогда что? .. Обоим в тюрьму?

— А ты что предлагаешь? — спросил Ильин.

— Разобраться надо, и, понимаешь, не по-адвокатски, без публики.

— Вот суд и разберется, — сказал Ильин.

— А вот это ты, Женя, зря... Я с тобой по-дружески, а ты... Нет, испортили тебя, подменили...

— Ну что ж ты можешь предложить... по-дружески? — снова спросил Ильин.

Мстиславцев не сразу ответил. Встал, прошелся по комнате, остановился у книжной полки, критически взглянул на Ильина, вынул томик стихов:

— «Шаганэ ты моя, Шаганэ, потому, что я с Севера, что ли, я готов рассказать тебе, поле, про волнистую рожь при луне. Шаганэ ты моя, Шаганэ». Красиво сказано, а? Я ведь тоже поэзию собираю. Леночка сердится, вытесняют, говорит, меня твои книжки... Да, вот Шаганэ. — Он поставил Есенина на место и, подойдя к Ильину и все так же прямо глядя ему в глаза, сказал: — Тебе следует отказаться от этой защиты. Понимаешь, не ждут тебя в этом деле ни цветы, ни огни большого города. Я был на твоей защите по сто второй. Фурор! В зале плакали, честное слово. Когда ты сказал о любви, о том, что любовь, так сказать, способна и все прочее, я сам, сам, клянусь тебе... А это дело? Каин и Авель. Нехорошо. Этот жулик перебьется и без тебя. Не ты. Понял?

— Еще бы нет, — сказал Ильин весело, — не я, а кто-то...

— Вот-вот. Вспомнишь еще Сережку Мстиславцева, не зря, скажешь, он тогда мою шапку спрятал.

— А совесть? — все так же весело спросил Ильин.

— При чем тут совесть? — закричал Мстиславцев. — Это ж демагогия!

— Но ведь все-таки я взялся его защищать...

— Ну, заменят тебя, и вся недолга... Возьми бюллетень. Соли, артриты, подагры... Я скажу так, Женя: по крайней мере ты всегда будешь спокоен, что в таком деле участия не принимал.

— Артриты, подагра... — сказал Ильин. — А что, если у меня этого нет, а? Шаганэ ты моя, Шаганэ?

— Ну, если ты такой особенный, тогда сердце. Сердце у нашего брата всегда шалит, у каждого юриста аритмия, за это тебе ручаюсь...

— Нет, — сказал Ильин. — Моим сердцем можно гвозди забивать, вот у меня какое сердце.

— Ну, повышенное давление, не все ли равно!

— Опоздал, Мстиславцев. Всего на десять минут опоздал. Десять минут назад врачи, может быть, и нашли бы какое-нибудь давление, а сейчас полный порядок. Сейчас я здоров. О-го-го! Слышишь, какая глотка?

— При чем тут глотка?..

— Как это при чем? Первое дело для адвоката. Послушай: о-го-го-го-го!

— Папа, это ты? — крикнул из кухни Андрей.

— Я, сынок! Показываю дяде Сереже свою луженую глотку.

— Все понял, — сказал Мстиславцев. — Но, Евгений Николаевич, не дразни судьбу. Ты, конечно, счастливчик, но ты над моим советом подумай. Подумай, Женя, не ошибись!

— О-го-го! — продолжал кричать Ильин, когда Мстиславцев был уже на лестнице. И еще раз, когда услышал, как поднимается вызванный Мстиславцевым лифт. И еще раз, когда увидел Мстиславцева с балкона. — О-го-го! О-го-го-го-го!

27

— Женя, подъем! — крикнула Иринка. — Звонила Тамара Львовна, я сказала, что ты пошел за газетой.

Ночь была скверной. Он думал о деле Калачика. «Не ждут тебя ни цветы, ни огни большого города!» — сказал Мстиславцев. «Ни цветы, ни огни...» — очень похоже на новое изречение Касьяна Касьяновича. Думал он и о словах Любви Яковлевны: «Не такая уж я слабенькая!», и об ее неожиданной энергии. И за всем этим стоял тихий и задумчивый Калачик: «Уверенности, ува-

жаемый, вам не хватает!» Конечно, как веревочка ни вьется... Но на этот раз веревочка попала какая-то сверхпрочная!

Уснул он поздно, и сразу явились кошмары: дорога в медресе, жара, пыль, раскаленные камни; он идет то один, то в толпе, спутники меняются, исчезают, а он все идет и идет, и этому нет конца: медресе отлично видно, но приблизиться к нему невозможно. И только под самое утро появилась Лара и спокойно сказала: «Медресе построено в пятнадцатом веке, его пропорции...»

Он слышал будильник, слышал, как разговаривают дети, кажется, ссорятся, хлопнула дверь, дети ушли в школу, а он лежал и думал о деле Калачика и о Ларе и чувствовал раскаленные камни.

Снова позвонила Тамара Львовна и сказала, что хочет встретиться.

— Да, хорошо, отлично, милости просим! (Иринка отчаянно замотала головой: «Что ты, я совершенно не подготовлена!»)

— Нет, мне надо поговорить с вами наедине. Дайте мне адрес консультации.

— Но сегодня суббота!

— Тогда, может быть, вы заедете в институт? Я сегодня работаю.

Это было заманчиво. Ни разу за все знакомство с «супругами Кюри» его туда не приглашали.

— Хорошо, я приеду.

— Зачем ты ей нужен? — спросила Иринка.

— Понятия не имею...

— Она странная дама...

— Странности есть у каждого из нас, — заметил Ильин уклончиво.

Но за завтраком Иринка снова вернулась к этой теме:

— Она странная не так, как другие. Я раньше думала, что это от науки, мне казалось, она все время считает; разговаривает со мной, а в уме считает. Но, по-моему, она просто всех презирает. И своего мужа тоже.

— Откуда у тебя такие сведения?

— Ну вот, есть, значит!

— Не иначе как этот Жорж! Угадал?

— Не имеет значения!



— Но ведь я угадал! Хорош балбес! Как ты это можешь слушать?

Назревала глупейшая ссора, особо опасная потому, что Жорж и Тамара Львовна были только поводом, а взаимное раздражение копилось давно, и ссора чуть не вспыхнула вчера, после ухода Мстиславцева. Иринка спросила, что произошло между ними, и Ильин ответил: «Да так, ничего особенного, он мне предложил сделку, а я воздержался от исполнения».

«Сделка» и «ничего особенного»! На что Иринка ответила: «С некоторых пор у тебя все стали плохие!» «С некоторых пор...» Она почти дословно повторила Мстиславцева.

— Иринка, клянусь, я тебя ничем не хотел обидеть. Но если ты все-таки обиделась, извини меня. Мир?

— Во всем мире, — вздохнула Иринка. — Тем более я не считаю этичным, что Жорж вмешивается...

— Ничего, ничего, Гамлет себе еще не то позволял...

— Жень!

— Да, Иринка!

— Объясни мне, пожалуйста, почему ты вчера на весь дом кричал «О-го-го!»? О-го-го... Что это значит?

— Хорошо, я открою тебе эту тайну. «О-го-го» означает: «Мы еще себя покажем!» Я имею в виду: «Мы себя покажем в самом лучшем виде».

— Ты знаешь, почему теперь дети такие нервные?

— Я не нахожу, что дети теперь нервнее, чем мы тридцать лет назад. Но я не хочу спорить с тобой...

— Тут и спорить нечего, — сказала Иринка. — Помнишь эту летнюю историю с убийством? Ты рассказал Андрею, а он потом всю ночь кричал и плакал.

— Но я ему ни о чем не рассказывал. Просто мне не понравились комментарии Алевтиночки по этому поводу. Алевтиночка не кричала во сне, когда узнала о помиловании?

— Ты хочешь сказать, что я болтаю с Алевтиночкой о твоих делах?

Новая горячая точка: Мстиславцев, Жорж, нервные дети и теперь Алевтиночка.

— Послушай, Иринка, ты цепляешься за каждое мое слово, зачем?

— Я и сама не знаю. Думаешь, я этого хочу? Это как-то помимо меня... Понимаешь?

— Не очень...

— Во вторник начнется этот процесс!

— Вся-то наша жизнь такая — одно начинается, другое кончается...

— Нет, нет, Женя, не шути с этим, у меня какое-то дурное предчувствие.

И это тоже было чем-то новым: Иринка, томимая дурными предчувствиями. Она сама всегда высмеивала все эти дамские штучки. На Иринкин здравый смысл можно было положиться. Да, вот именно на ее здравый смысл, а не на какие-то «предчувствия».

Все-таки он попытался заняться делом Калачика, выстукал на машинке эпизоды, которые решил оспаривать на суде, еще раз мысленно «прокачал» историю со взяткой гостиничному администратору — с самого начала он считал, что к Калачику эта история не имеет никакого отношения, — перечел полсотни справок и похвальных грамот — утешение Любви Яковлевны; при всех случаях он будет просить приобщить их... Выписки, пометки, сноски — все было приведено в порядок, но этот порядок был мнимым, бумажки только создавали иллюзию готовности Ильина к делу, бумажек было много, слишком много, но во всем этом бумажном потоке как-то терялась душа дела. Не слишком ли смело он демонстрировал Мстиславцеву свою адвокатскую глотку?

В таком смутном настроении он поехал к Тамаре Львовне. На метро до конечной станции, а там — две автобусные остановки. Это был совершенно новый район, здание института стояло в лесу, пахло грибами, красный лист прилипал к ботинкам, тишина, поют птицы, желтые потоки мирного сентябрьского солнца, ни одного дымочка. Москва ли это?

Да и внутри института все было иначе, чем это представлял себе Ильин. Ему казалось, что он сразу увидит какие-то аппараты и трубы самых необычных форм, что-то новое, волшебное, связанное с будущим; шелкают компьютеры, мелькают сигнальные лампочки, и среди всего этого машинного великолепия задумчиво бродят могущественные технократы. Кинобанальности прочно владеют нами до тех пор, пока встреча с действительностью не превращает их в пародийную труху. Работники института отнюдь не напоминали Ильину суперменов, задумавших взять власть над планетой, один из них лю-

безно проводил Ильина к лифту, другой показал кабинет Тамары Львовны. И только институтские коридоры являлись Ильину зрелище поистине фантастическое; они были совершенно свободны от празднующихся, никто не сидел на подоконниках, не курил и не рассказывал анекдотов.

Кабинет Тамары Львовны оказался большой, светлой комнатой на двенадцатом этаже, букетик цветов в простой дулевой вазочке, полка книг и две окантованные фотографии — Жоржа и известного английского ученого с дарственной надписью.

— Извините, что оторвала вас от дела, и спасибо, что приехали.

— Я не мог отказать себе в удовольствии взглянуть на ваш институт!

— Ах, институт. . . Да, верно, ведь вы у нас не были. Первое время я здесь ужасно мучилась. . .

— Вот как!

— Да. Мы много лет работали в одном старом московском особнячке, невероятно захламленном, но хлам этот как-то располагал к работе, пока лазаешь по полкам — все уже и решила.

— А мне здесь нравится, — сказал Ильин. — Я чувствую себя, как в городе будущего. У нас в консультации так тесно, что я все время боюсь наступить кому-нибудь на ногу. А звукоизоляция! Да и наши судебные залы давно пора сделать более современными, вы не находите?

— Я как-то об этом не думала. . . Ну что ж, если хотите, я обещаю вам достаточно квалифицированную экскурсию по институту. Но прежде уделите мне полчаса.

— Конечно, конечно! Что-нибудь случилось?

— Случилось? — переспросила Тамара Львовна. — Да, если хотите, именно «случилось». Туся получила наследство. Нет, пожалуйста, дослушайте. То самое, от матери, о котором знал или, кажется, наоборот, не знал Самохин. Ну, в банке с мукой.

— Опять эта Туся!

— Что вас удивляет? То, что я снова была у нее? А если бы Самохин прислал вам письмо и вы бы поняли, что нужны ему? Поехали бы? Ну вот и я поехала. Поехала и видела эти. . . камушки. Какие-то невероятные бирюзовые часы с бриллиантовой монограммой. Крест. . .

мальтийский, что ли, с большим красным камнем, кажется, рубин, я мало в этом понимаю, и еще, и еще... целая... жменя, — сказала Тамара Львовна, выразительно разжав пальцы. («Жменя!» Ильину показалось, что у нее на ладони и в самом деле что-то блеснуло.) — Это наследство ей официально выдали. Понимаете, официально!

— Но ведь она и в самом деле наследница.

— А я считаю, что она никакого права не имеет на эти вещи!

— Кто же еще? Как раз право на ее стороне. Это вам скажет любой юрист. А вот отчуждать вещи, принадлежащие вашей Тусе по наследству, действительно никто не имеет права, кроме суда, разумеется.

— Но ведь это ужасно! Ведь именно ради всего этого и пошел на преступление Самохин. Он хотел, чтобы все это у нее было. И теперь все это у нее есть. И вы считаете такой исход справедливым?

— Я считаю справедливым приговор по делу Самохина. Что касается исхода... Имущественные права Туси неоспоримы. Но никто не мешает ей отказаться от наследства.

— Именно об этом я ей вчера и сказала.

— И что же?

— «Ну нет, дорогая Тамара Львовна, отдать? Черта с два!»

— Еще не то вы можете услышать от своей... подзащитной.

— Она просто обезумела, рассматривает камушки, примеряет на себя. Раньше я ей сочувствовала, а теперь меня мучают подозрения. И это тоже ужасно: можно ли помочь человеку, когда перестаешь ему верить? Евгений Николаевич!

Но Ильин молчал. Он молчал и потому, что уже все сказал по существу дела, и еще потому, что чувствовал себя каким-то странно скованным в этой стерильно чистой, сияющей спокойным осенним солнцем комнате. Мешала скромная вазочка, мешала фотография ученого с мировым именем и первая строчка надписи — «Моей любимой ученице и другу». И хотелось, чтобы кто-нибудь неожиданно вошел, пусть без всякого дела, просто бы сострил по-дурацки, или чтобы рядом прогрохотала электричка. А ведь он не любил глупых побасенок и все-

гда жаловался на то, что городской шум мешает ему сосредоточиться. Кто знает, может быть, в том старом московском особнячке он бы и нашел слова, которых так ждала от него Тамара Львовна, но сейчас ничего не получалось, и молчание неприлично затягивалось.

— Вы что-нибудь слышали о моем отце? — спросила Тамара Львовна. — Нет? Он был странным человеком. («Странная дама», — вспомнил Ильин.) Очень известный врач, профессор, доктор чуть ли не всех европейских университетов. Если что-нибудь случалось с августейшими особами, вызывали только его. Но на чуму он уехал первым. Меня в то время еще на свете не было. Девочкой-школьницей я узнала об этом из энциклопедии. Меня это потрясло. «И долго ты работал?» — «Нет, полгода». Но потом была холера, на холере он пробыл больше года. И еще сыпняк в гражданскую... «А как же наука?» — спрашивала я. А он смеялся: «Если тебя наука хоть немножко любит, то подождет, ну а если нет...» Он всегда смеялся, когда говорил серьезно.

— Я понимаю, — сказал Ильин. — Понимаю вашего отца, и я думаю, что это прекрасно, прекрасно сказано, но, ради бога, при чем тут Туся?

— Туся? Наверное, ни при чем... Просто мне кажется, что все мы слишком стали дорожить собой и своими делами. Оберегаем себя. Я занимаюсь важным, сверхважным делом, это все покрывает, этого достаточно, чтобы не думать о Тусе, о которой должна думать соответствующая организация...

— Сколько я знаю, вы не очень-то себя оберегали, — возразил Ильин. — Вы были на войне, в самом пекле, а могли бы эвакуироваться вместе с вашими коллегами.

— Оберегаем, оберегаем, — повторила Тамара Львовна. — Да, я была на войне, и меня там малость зацепило. Ключица, ничего особенного, но чувствуется до сих пор... когда подаю мяч. Как вы, вероятно, знаете, в каждой воинской части есть свой медсанбат, или, на худой конец, санвзвод, или еще что-то, а меня ташил на себе солдатик, которому я даже мерси не смогла сказать. Была бы организация, я бы им потом письмо написала, а тут безадресный солдатик. Не знаю, как так получается, что с вами мне говорить легко и просто, а дома я молчу, пугаю Маяка своим мрачным видом, не контакчу...

Тамара Львовна рассказывала о Маяке, о Жорже, а

Ильин слушал и смотрел в окно. Близко блестела Москва-река, и он думал, что сюда надо было ехать не на метро, а рекой, и вспоминал Ларино письмо и ее странную мечту: пароходиком по Москве-реке. Сам Ильин только в раннем детстве ездил на таком пароходике, тогда он назывался «речным трамвайчиком», вовсю дымила труба, особенно интересно было смотреть, как она уютно складывается перед каждым мостом. На обратном пути обязательно надо попробовать пароходик.

Ильину уже хотелось поскорее уйти отсюда, и он решил, что откажется от обещанной экскурсии по институту: все равно мало что поймешь, а будешь бродить по кабинетам и коридорам и восхищаться «архитектурой будущего», как принято называть каждое новое здание, не слишком искаженное строителями.

— Маяк был самым преданным учеником моего первого мужа, — рассказывала Тамара Львовна. — Он восхищался не только его научными, но и жизненными теориями. Не только Маяк, все им восхищались. Но Маяк — человек на редкость деликатный. Первая мысль — как бы не обидеть. Он и с Жоржем треплется только потому, чтобы Жоржу было с кем потрепаться. А мой первый муж был человеком волевым и жестким. У него была такая теория, что человек должен выжать максимум из того, что в нем заложено, отдать. С этих позиций он относился и к себе, и ко мне, да и ко всем, кто вместе с ним работал. Я сама слышала, как он сердился, узнав о скоропостижной смерти одного нашего сотрудника: «Он еще многое мог отдать». Дунечке бы такое под перо, а? «Одержимость большого ученого»? Все теперь пишут об этой самой одержимости, хотя что в этом хорошего: раньше одержимыми назывались люди с навязчивыми идеями. . . Я вышла замуж девочкой, а он уже был ученым, и я верила всем этим максималистским штучкам. А сам он умирал долго и тяжело. Это его бог наказал. Вот вы опять спросите, при чем тут Туся и ее камушки? . .

Ильин ушел из института в самом скверном настроении. Лаборатории «супругов Кюри» он так и не посмотрел. Иринка наверняка будет расспрашивать, на какой предмет его так срочно вызвала Тамара Львовна. И что он ответит? Что Туся Самохина получила наследство? Но при чем тут Тамара Львовна? Недоволен был Ильин

и своей скованностью, и тем, что невнимательно слушал Тамару Львовну и отмалчивался, а ведь все это — и работа на чуме, и безадресный солдатик, который тащил Тамару Львовну на себе и дотащил, все, все, даже ее первый муж, по-видимому незаурядный человек, — все это был ее спор с собственной жизнью, который начался еще задолго до того, как были припрятаны те самые камушки, те самые цапки, о которых так много говорил прокурор и о которых Ильин промолчал в своей защитительной речи, чтобы не оскорбить памяти убитой, чтобы не промелькнуло — «грабь награбленное!», чтобы нравственная схема его защитительной речи была безупречной. А играть теперь в эти камушки нравственно? И от всего этого Ильина мутило, и было такое чувство, словно и он, и Тамара Львовна, и даже букетик цветов на ее столе пропахли старой керосиновой лавкой Виталия Колесникова. Нелепо было в таком состоянии возвращаться домой. Потерян день для работы, шутка ли сказать — целый день. Сегодня суббота, а во вторник начинается дело Калачика. Как это сказала Тамара Львовна: можно ли помочь человеку, когда перестаешь ему верить?

Он доехал на автобусе до метро, но, вспомнив о пароходике, пошел к реке. В этих местах только начали строиться, дома перемежались пустырями, выглядевшими особенно пустынными. К новым современным зданиям жались древние избышки. Когда-то это место было знаменито — здесь жили цыгане, и сюда ездили из Москвы пировать. Ильин долго ждал пароходика у сходов, по-деревенски шатких, и как-то не верилось, что в двух шагах отсюда — огромный современный город, в котором он прожил всю жизнь и который, как ему казалось, хорошо знал. И толпа на пристани была необычная: только Ильин выглядел москвичом, а все другие ждали пароходика, как ждут деревенский автобус. И было тихо, как бывает тихо после трудного дня, когда все устали и сейчас бы рюмку и до подушки. И только из чьей-то кошелки слышались позывные «Маяка».

Подошел пароходик, вывалил одну толпу — московскую — и взял на борт другую, местную. Ильин смотрел на людей с мешками и кошелками, на затрепанную тельняшку капитана и думал, что могло в этом путешествии увлечь Лару.

Стал накрапывать дождь, но Ильин остался на палубе. Справа раскинулся бывший княжеский парк, когда-то, наверное, заботливо ухоженный, но сейчас совершенно заброшенный. А на левом берегу совсем ничего не было примечательного — стояли самые обыкновенные дома, какие-то хозяйственные строения, жалкие буксирчики. Прошли парк, и теперь по обоим берегам торчали заводские трубы. «Маяк» в кошелке бормотал что-то совершенно несвязное.

И все-таки Ларе что-то здесь нравилось. На реке всегда славно думается, человек стряхивает с себя суетные заботы и думает о том, о чем так редко приходится думать: о самом себе. Ильин вспоминал «храм времени» и думал о Ларе и о том, что от нее уже давно нет писем.

Начало темнеть, когда показалась знакомая Москва: купола Новодевичьего, Лужники, университетские крепости, мосты стали выше, и все стало укрупняться, как в кино, когда камеру навели близко на объект. Зажглись огни, вода почернела, с берега слышалась музыка, показалась гостиница «Россия», Кремль. . .

Еще один мост, Ново-Даниловская набережная, — все, приехали, конечная остановка.

Ильин сошел с пароходика, освеженный рекой, и бодро побежал к почте. Но окошечко «До востребования» было закрыто.

— Как это «закрыто», как это «выходной день»? — возмутился Ильин. — «До востребования» не может быть закрыто. . .

Интеллигентная старушка на телеграфе мирно успокаивала его:

— Вы совершенно правы. Но поймите, произошла неувязка, от нас ушла сотрудница.

— Понимаю и сочувствую, но поймите и меня.

— Понимаю, понимаю, — говорила старушка, а телеграфная очередь недовольно гудела.

Ильин подождал, пока очередь поутихла, и сказал:

— Мне очень надо получить это письмо именно сегодня.

Он говорил то, что чувствовал. Он не ждал никаких сверхизвестий, обычное письмо, записка, несколько слов о своей жизни, о будущей встрече. Кажется, никогда еще ему так не были нужны эти несколько слов, пусть бы одна только шутливая строчка о волшебном помеле. . .



— Что с вами делать, — сказала старушка, — попробую своим ключом.

Ильин нетерпеливо смотрел, как она возится с замком. Наконец-то! Ивакин, Ивушкин, Иглин, Изгородин, Измайлов, Ильинский, Камов. Нет, это уже на «к».

— Вот видите, вам и письма-то нет, а вы возмущаетесь, — сказала старушка. — Какую очередь собрали.

«А не дать ли телеграмму?» — подумал Ильин, чувствуя себя виноватым перед старушкой. Или, может быть, позвонить по телефону? Но телефон у соседей, и Ильин только поежился, представив себе глупейший разговор: «Как ваше здоровье?» — «Благодарю вас, все хорошо». А рядом будет стоять Галка и спрашивать: «Мама, это кто, мама, это из Москвы?..» — «Это дядя Женья, — спокойно скажет Лара, — помнишь, как у меня сгорели сахарные трубочки?»

28

Домой Ильин вернулся в двенадцатом часу. Шел густой черный дождь. После такого сухого лета ждали ливней и гроз, а осень пришла тихо и буднично.

Ильин чувствовал себя усталым. Потерянный для работы день, знаменитый институт, куда он так стремился и который так и не посмотрел, тихий вечерний пароходик и нелепый поход на почту, на мгновение показалась отставная «колдунья», сделала носик, усмехнулась и исчезла. День выпал из жизни, как выпадает кирпичик на стройке дома. Но там это не беда: разбился — клади новый. А в жизни ничто ничем не заменишь.

Он вышел из лифта и в ту же минуту, еще на лестнице, услышал громкие голоса. Быстро открыл дверь. В маленькой передней стояла Иринка с телефоном в руках. В глубине коридора маячил Андрей в трусах и майке.

— Наконец-то! Я просто не знала, что делать. Ночь, эти люди, я позвонила Саше... .

— Какие люди?

— Жена твоего Калачика. Несчастливая женщина! Мне было ее жаль, но этот тип: «Земля плоская!..» Невыносимо!

— Зачем же ты их пустила? Иринка, Иринка!.. — только и сказал Ильин и толкнул дверь в кабинет.

Любовь Яковлевна и еще какая-то личность в кепочке и болонье.

— Евгений Николаевич! Это он, я его привела!

— Ясно, — сказал Ильин. Ничего ему еще не было ясно, но появилось такое чувство, как будто стал развязываться важный узелок.

— Понимаю, что одно беспокойство. И супруга ваша. . .

— Жена моя не в курсе моих дел, — сказал Ильин. — А вы, Любовь Яковлевна, должны знать, что о делах разговаривают не дома, а на работе. Это правило без исключений. Так что прошу меня извинить. И вас тоже. . . не знаю имени-отчества.

— Какое еще имя-отчество, — перебила Любовь Яковлевна. — Паша, и все.

— Павел Терентьев, но в большом свете меня зовут Поль, — сказала личность, прижав кепочку к груди. («Совсем еще не старый, — подумал Ильин, — но уже совсем сморщенный».)

— И всегда вот так, — сказала Любовь Яковлевна, — не может, чтобы не поломаться. Поначалу все по-хорошему было. Ваша супруга нам тапочки дала, чтобы не наследили, сейчас, говорит, придет, где-то задержался. А этот как вскочит: «Поль к вашим услугам, мадам!» Стыдно! Но раз уж я взялась за это дело. . . А потом ваш сынок появился, а этот сразу к нему: как, спрашивает, Земля круглая или нет? Сынок ваш отвечает, что вроде круглая, не совсем чтобы шар, но все-таки. А этот как закричит: блин! Тут, конечно, ваша супруга прибежали, дочка. Я говорю: давай на лестнице подождем, а он в амбицию: я, говорит, ради ваших дел с лекции ушел.

— Так точно, — весело подтвердила личность. — Устройство Вселенной — бога нет, и всего за полтинник, остальное в письменном виде. Пишу записку: «А ежели земля плоская, тогда как?» Знак вопроса, подпись, число.

— И на этом сегодня закончим, — решительно сказал Ильин. — И как это вы узнали мой адрес? Нет, только в консультацию, в любое время.

— Не хочет он в консультацию, Евгений Николаевич, я ему говорила! Уперся!

— А на что я вам там нужен? — спросил Поль. — Для присяги или для исповеди?

— Ни то ни другое. Вы же в курсе, что я адвокат Аркадия Ивановича Калачика, и меня, естественно, интересует все, что имеет отношение к этому делу. И прямо, и косвенно. В консультацию ко мне приходили однополчане Аркадия Ивановича. . .

— Однополчане! Смешно, право. . . Ну что, ну взял я однажды сотню, так ведь из суммы, в десять раз превосходящей. Постыдились бы пересчитывать. И учтите, взял заимообразно. Закон тяготения, слышали о таком?

Но тут снова вмешалась Любовь Яковлевна:

— Он и с Аркадием Ивановичем так, насчет тяготения! Только ради нашей Нины и прощали.

— Попрошу не касаться! — неожиданно крикнула личность. — Если хотите знать, только ради Нинель я здесь. . .

— Нет уж, нет! — вскинулась Любовь Яковлевна. — Не для того я за тобой по этажам бегала. Рассказывай, как дело было! Уезжал Аркадий Иванович в командировку, а товарищ Сторицын требовал, чтобы деньги вовремя!

— Хватит! — сказал Ильин. — Не заставляйте меня прибегать к крайним мерам!

Поль как-то сонно взглянул на него:

— Крайние меры? Пжалста. . . А пока небольшой этюдик: ранняя весна, солнце, кое-где на улицах лежит снег, а на Пушкинской площади уже появились парочки. В этот погожий весенний день меня пригласил дядюшка и, ласково глядя поверх очков, повел такой разговор: «Сын мой, — то есть, разумеется, не сын, а племянник, — вот тебе красненькая, съезди к моему приятелю Калачику А. И. и привези от него экспортную коробочку конфет. . .»

— И второй раз носил, — крикнула Любовь Яковлевна, — зимой дело было!

«Как быть? — спрашивал себя Ильин. — Может, и в самом деле вызвать милицию? Но как это будет выглядеть! Адвокат с помощью милиции выставляет жену своего подзащитного! . . .»

— Эх вы, — сказал Поль, с презрением глядя на Любовь Яковлевну. — Да разве так рассказывают? — Он быстро провел кепочкой по губам. — Находясь во временно затруднительном положении. . . Что это вы меня за рукав трогаете? — спросил он Ильина, — Я ведь и закры-

чать могу... Словом, подымаюсь к дядюшке, потряхиваю коробочку — лакированная тройка, стиль русс, рука несмело подымает крышку... Стружка, самая обыкновенная стружка, а под стружкой... думаете, бонбоньки? Ну, заимствовал я у дяди сто, прописью сто рублей, а мне Аркадий Иванович по приезде замечание сделал, упрекнул в нечестности. Сам-то он, Аркадий Иванович, жулик, а? Я и тогда уже догадывался.

— Аркадий Иванович... жулик? — ахнула Любовь Яковлевна. — Ты что ж, и на суде будешь так безобразничать?

— Любовь Яковлевна! — сказал Ильин. — Если это сию же минуту не прекратится...

— На суде? — переспросил Поль. — А я при чем? У меня позиция железобетонная: Нинель. — Поль приветливо помахал кепочкой. — «Что вам известно о деле?» — «А ничегошеньки». — «Вы довольно часто бывали в доме Аркадия Ивановича Калачика?» — «Обедал!» — «Выполняли какие-нибудь личные просьбы?» — «А как же: дочку в кино водил...»

— Вон! — сказал Ильин, чувствуя, что больше не выдерживает. — Уходите немедленно! Вон!

— То есть как это «вон»? — Кепочка угрожающе приподнялась. — Я ведь к вам по высочайшему приглашению, так вы меня, мамаша, сориентировали?

— Вон! — сквозь зубы сказал Ильин.

— Караул! — крикнула кепочка. — Адвокаты! Наемники! Жуликов защищаете! Мой дядя самых честных правил!

С трудом Любовь Яковлевна накинула на него болонью, но и с лестницы Ильин слышал:

— Наемники! Захребетники!

Наконец стало тихо. Первый час ночи. Конечно, Иринка не спит и ждет, чтобы он все ей объяснил. Но как же это она одна управлялась весь вечер! Значит, пока он путешествовал по Москве-реке, кепочка кричала здесь петухом... Да, худо, очень худо, думал Ильин. И хуже всего то, что во всем виноват он сам. Ведь это ему надо было удостовериться, что Сторицын... «Коробочка в экспортном исполнении»... Не хватает только майора Пронина! Но, кажется, кепочка сделана из сверхпрочного материала, его так просто не расколешь...

Так он стоял перед дверью к Иринке. В щелочку была видна узкая розовая полоска. Иринка любила засыпать при свете, а он любил эту узкую полоску. Ильин открыл дверь и сразу почувствовал ее руки. Значит, Иринка ждала, и, пока он стоял за дверью, она стояла по другую сторону и ждала.

— Иринка!

— Не сердись на меня, — говорила Иринка. — Все это очень глупо: натертый пол, тапочки, этот тип ужасно обидчивый. Я просто не знала, как себя вести... У тебя усталый вид, хочешь крепкого чаю?

— Да, хорошо бы. Крепкий чай — это прекрасно. — Он был тронут Иринкой: ведь именно ей пришлось сдерживать натиск сверхпрочной кепочки. Он смотрел, как Иринка зажигает газ, ставит чайник, и видел, что у нее дрожат руки. И ему хотелось утешить ее.

— Мне кажется, ты что-то скрываешь от меня, — сказала Иринка. — Кто эти люди?

— Любовь Яковлевна — жена моего подзащитного, можешь поверить, что для меня все это тоже неожиданно. А этого типа я сам первый раз вижу. Похоже, что именно через него мой Калачик дважды передал деньги своему начальству...

— Похоже на то, что твой Калачик запутал тебя! Все говорят, что Лев Григорьевич Сторицын человек честный, а ты его обвиняешь.

— Я не обвиняю Сторицына, я защищаю Калачика!

— Это я понимаю. Уж это-то я понимаю. Для этого не надо кончать юридический... А если врет Калачик?

«Это не ее слова», — думал Ильин, глядя на керамическую тарелочку, висящую на стене: домик, мостик, беседка — ничего особенного, но он привык к этой тарелочке: совсем недавно у них был ремонт, но и после ремонта тарелочка осталась на своем месте.

— Тебя просили, советовали, почему ты никого не слушаешь?

— А кого слушаешь ты? Мстиславцева или, может быть, Аржанова?

— Боюсь я за тебя, Женя, боюсь...

— Ты так говоришь, словно нам что-то угрожает...

— Такое чувство, что все рушится... Ты не хочешь посоветоваться с Касьяном Касьяновичем? Он бы не возражал.

— Он здесь при чем?

— Может быть, и ни при чем, но он столько для нас сделал! Прости меня, Женя, наверное, я должна гордиться тобой, ты сильный человек, не трус, я как-то раньше об этом не задумывалась. Но теперь все стало иначе, и ты стал другим. А я прежняя, не сильная. Я ведь, Женя, твоих рук дело. Все всегда зависело от тебя, и, если бы ты хотел, чтобы я была сильной, я бы и стала сильной. Но я тебе нравилась... слабой. А сейчас я должна уснуть, поздно.

Ильин знал, что все возражения бесполезны. У Иринки так организована нервная система, что едва начинают сдавать тормоза, как появляется неодолимая потребность спать. Ильин любил ее вот такую, сонную, что-то бормочущую про себя.

— Спокойной ночи, Иринка!

— Спокойной ночи! . . . — Сон, кажется, уже подхватил ее. — Нет, ничего, я сама. . . Не надо, я сама. . .

«Она уже спит», — подумал Ильин, но в это время Иринка сказала:

— Я прошу тебя поговорить с Касьяном Касьяновичем. Он ждет.

Третий час утра, скоро должно светать, но за окном темно, дождь, осень, и кажется, что до утра еще очень далеко и многое еще может случиться в эту ночь.

29

У Ильиных уже давно сложился шуточный обычай. Каждое воскресенье кто-нибудь назначался дежурным по столу. Дети просто умирали от смеха, когда Ильин, надев передник и какую-то старорежимную наколку, сам разливал чай, называл Иринку «барыней» и умолял ее простить за разбитую тарелку.

Но сегодня Ильин с утра заперся в кабинете. Милка, твердо соблюдая воскресные правила, по-собачьи царапалась в дверь.

— Нельзя, Милка, — сказал Ильин. — У меня сегодня работа.

И услышал, как Милка крикнула: «У него сегодня работа!» — и как Андрей зашипел: «Не шуми, дура!»

197

Ильин непрерывно звонил Касьяну Касьяновичу. Никто не отвечал. Ни в квартире, ни на даче.

Может быть, забрался в лес по грибы? В прошлом году Ильин с Андреем полдня бродили по грибным местам, насквозь промокли и потом сушились на даче Касьяна Касьяновича, у старинной русской печи, построенной хозяином наперекор входившим в моду каминам. Запомнился и глоток водки, настоянной на каких-то целебных травах. Касьян Касьянович, тоже знающий толк в грибах, порылся в темно-красной гряде подосиновиков, похвалил, но ни одного не взял на жарку: знал, что настоящий грибник должен вернуться домой с полной корзиной.

«Нет, если бы пошел по грибы, то был бы давно уже дома, уже бы и отоспался...»

Он еще раз позвонил на городскую квартиру и, наконец, услышал знакомый голос.

— Просто поразительно, как ты меня застал, я случайно заехал, забыл какую-то дрянь. Даром что я человек суеверный и не люблю возвращаться. Ты не знал, что мы сегодня переезжаем?

— Переезжаете? Куда? («Вроде бы Касьян Касьянович недавно праздновал новоселье!»)

— Поближе к тебе, дорогой, в центр. Откуда вышли, туда и пришли. Я что, тебе срочно нужен? Ах, да, да... Нет, конечно, не срочно... Да, да. А что, если вечером? А то, понимаешь, у меня и сесть-то еще как следует некуда.

— Вечером я занят, — сказал Ильин.

— А, ну-ну... Тогда приезжай сейчас. У тебя не найдется ли гвоздичков полдюймовых? Куда задевал, не знаю, и подскочить некуда — воскресенье. Будь добр, дорогой. Значит, так — это с Нового Арбата чуть вправо, потом влево... Нет, не так сделаем. За тобой заедет Большой Игнат. Он со мной, но тут еще то да се, через час тебя устраивает?

Ровно через час Ильин вышел на улицу. Большой Игнат, приоткрыв дверь кабинки, приветливо помахал ему рукой.

— Вижу, что по сторонам посматриваете. У нас теперь новая машина, сам ездил в Горький... .

— Да, время идет, бежит, — сказал Ильин, садясь в машину. — Один вы только и не старитесь... .

— Не служба старит человека, а заботы, нервная система, — философствовал Большой Игнат. — Я ни разу еще ни одной таблеточки не проглотил, и работаю, и сплю спокойно. А вот вы, Евгений Николаевич, сдали. Сдали, сдали... — повторял он, поглядывая на Ильина. — Служба? Никак нет. Вы у нас в конторе тоже, бывало, по десять часов за столом, а выглядели как? Вратарь республики!

— Заботы, Игнат!..

— А вы их гоните вон!

— Я их в дверь, а они ко мне в окно...

— Не надо было от нас уходить. И Касьян Касьянович так считает. Да вы кого угодно спросите, все как один: зря и зря ушел. Да вы еще к нам вернетесь...

— Это еще как?

— А очень просто. Ирина Сергеевна долго вам не даст пропадать.

— Да с чего вы это взяли, что я пропадаю? Неужели же так говорят?

— И так говорят, и этак, — уклончиво отвечал Большой Игнат. — Приехали. Я вас здесь и подожду.

— А вот этого не надо!

— Как можно. Не чужой же человек!

Новый высотный дом стоял в самой гуще старинных московских переулков. После войны Ильин часто бывал в этих местах: здесь жила девушка, на которой он хотел жениться. Очень было горячо, но потом возникла Иринка. И пока Большой Игнат петлял по переулку, Ильин вспоминал домик в старинном вкусе и думал, что его теперь уж конечно не найти. Но потом он неожиданно увидел тот самый домик, а выйдя из машины, понял, что произошло. Высотный дом рассек переулок, и Ильину казалось, что переулок кровоточит.

А новый дом был хорош: с большими окнами и балконами, вдоль всего дома уже выкопали ямы для посадок, и земля, только что промытая дождем, густо чернела.

— Ну, ты кстати, — сказал Касьян Касьянович. — Давай-ка воткнем мой стол вот в этот простенок, сразу место освободится. А то что же, метража больше, а места меньше. Взяли... — Он набрал воздуха и, выпучив глаза, показал Ильину, какой стол надо брать.

— Давайте, я сам, — сказал Ильин.



— А, да... я и забыл, что ты это самое... гиревик. Вот молодец, а то поставили кое-как и ушли, а нам жить.

В новой квартире было холодно и неудобно. Почти всю мебель уже расставили, но казалось, что повсюду слишком много шкафов.

Из соседней комнаты показалась Конь, в фартуке и без шиньона, с дымящимся «беломором» в зубах, еще больше, чем обычно, похожая на коня.

— Хорошо так? — спросил Касьян Касьянович. — Верить ли, она сорок квартир пересмотрела. Сорск! Никто бы не стал так. Проявила терпение, зато вот и выбрала. Взгляни-ка!

Они вышли на балкон. Сквозь пелену дождя жизнь внизу почти не была видна. Зато поразительно ясно была видна Москва, поднявшаяся над облаками, вершины древних соборов и новые высотные здания. И хотя Ильин часто видел Москву с самолета, но отсюда ощущение огромности города было острее.

— Ну как, хорошо? — спросил Касьян Касьянович, когда они вернулись в комнату.

— Вы, кажется, хотели поговорить со мной? — спросил Ильин.

— Я? — отозвался Касьян Касьянович. — Я как пионер: всегда готов, давай тему, а узоры будем вместе вышивать...

— Тему вы знаете...

— Ах, это, ах, да, да... Вылетело из головы, дорогой, вместе со всеми этими штуками...

— Я мешаю? — спросила Конь.

— Ну-ну, придумала, — сказал Касьян Касьянович. — Она может нам помешать?

— Не знаю, вам видней.

— А, ну-ну... Не знаю, о чем он тут собрался со мной разговаривать...

— Я повторяю... — начал Ильин.

— Дуся, — сказал Касьян Касьянович, — мы переставим этот стол на прежнее место, а в простенке будут книги, у меня глазомер, и полки туда войдут... Нет, вместе, вместе... гири это одно, это по утрам, <sup>з</sup>взяли! Иди, Дусенька, мы справимся без тебя. Наше несчастье, что у нас нет детей, — сказал он, когда Конь, чуть потряхивая головой, вышла из комнаты. — Были бы дети, мы бы не переставляли столы, а гуляли бы с внуками.

Ну, каждому свое. А вот у тебя будут внуки! Об этом ты думаешь? Я тебя всегда учил думать вперед. Ты сколько годов свой план вынашивал бросить меня, старика, к свиньям собачьим?

— Послушайте, — сказал Ильин нетерпеливо, — мы теряем время на подходы, зачем? Оба мы люди деловые, и я вас прямо спрошу: вы разговаривали с Ириной?

— С Ириной Сергеевной? Я? Да ты что... без тебя? Может быть, Дуся? Да, верно, что-то она мне говорила. Где-то они встретились, в ателье, наверное. Думаешь, моя не модница? Хо! Еще как шьется!

— Касьян Касьянович, я вас прошу, перестаньте шутить. Я знаю, что если вы встали на ваши шутки, то вас с этого не так просто сдвинуть. Но на этот раз...

— Коварство и любовь! — сказал Касьян Касьянович, смеясь.

— Да перестаньте же! — крикнул Ильин.

Тотчас же в комнату вошла Конь с горящим окурком в зубах.

— Что случилось?

— Прости, Дуся, мы проверяем звукоизоляцию, — сказал Касьян Касьянович. — Но Ильин кричит громче, чем надо.

Конь потопталась, бросила окурочек в пепельницу, снова закурила и ушла.

— Я бы кого другого просто выгнал бы, — сказал Касьян Касьянович. — Но я вижу, что ты измучен. Мне уже говорили, что ты принимаешь дело этого разбойника *очень близко*: Не вскидывайся, пожалуйста, кто-кто, а я свою разведроту не продаю. И не забывай, что я в отпуске, я думал, ты квартиру хочешь посмотреть...

— Да, близко, — сказал Ильин, — *очень близко*. И чем больше мне мешают, тем ближе.

— Пожалуйста, не мельтеши по балкону. Ты ходишь, рассуждаешь, произносишь речи, а я только думаю, как бы ты не свалился. Ну, вот так. Если ты пришел по поводу своего Калачика, то тебя твоя разведрота здорово подвела. Что знал, то уже сказал тебе раньше. Предупреждал: льет на порядочных, можно сказать, на невинных. Ты мной пренебрег...

— А что, если этот самый «разбойник» говорит правду? Есть факты.

В это время Конь включила пылесос, и Касьян Касьянович молча показал на диванчик, зажатый между двух больших шкафов. Они сели, и Касьян Касьянович сказал:

— Факты, факты. . . Не всегда нужно идти на поводу у факта, — учти, это не я сказал, а Максим Горький.

— Нет, у Горького не так.

— Ну, может быть. Я ж тебе говорю, я в отпуске, и не думай, что я от тебя что-нибудь скрываю. . . Скорей всего, они в ателье разговаривали. Я теперь вспоминаю. Моя там встретилась с этой, ну, я ее зову «лженаука».

— Дунечка!

— Может, это она что наболтала Ирине Сергеевне? Но мало ли что говорят, Женя, мало ли что говорят. . .

Ильин жадно слушал Касьяна Касьяновича. Мысленно цеплялся за каждое слово, за каждый оборот, но, чем дальше, тем меньше понимал. И было такое чувство, что он попал в лабиринт. Где-то далеко он видел кусочек света, но это был не дневной свет, не выход на волю, а слабый розовый свет Иринкиного ночника. Ильин бродил по лабиринту, поворачивая то вправо, то влево, и повсюду издали виделся розовый ночничок, который не в силах был помочь выйти из лабиринта.

— Всегда что-нибудь говорят, — повторил Касьян Касьянович. — Например, Женя, мало ли что говорят обо мне или. . . о тебе? Когда ты от нас уходил, мне тоже шептали — не зря уходит, ох, не зря, какую-то ахиною давали читать. И что же я? И слушать не стал. Я вырвал эту ахиною из нечистых рук, ведь эта дрянь как называется юридически. . . оговор?

— Значит, «ахиная» у вас? — спросил Ильин.

— У меня, Женя, у меня. . . Учти, я там не верю ни единому слову, ну, может, и были какие упущения, все можно раздуть при желании. . . Да ты, может, своими глазами хочешь взглянуть? Свой глаз — алмаз. Это можно.

— Нет, не хочу, — сказал Ильин. В это время Конь выключила пылесос, и фраза прозвучала неестественно громко.

— Ну, не хочешь — как хочешь. . . — сказал Касьян Касьянович. — Хозяин — барин. Но смотри сам, что получается. Я тебе предлагаю взглянуть на документ — ты

отказываешься, я тебя предупреждаю: поберегись — не внемлешь. Еще раз — эй, поберегись, а? Дуся! — весело крикнул он. — Иди, попрощайся, гость уходит.

Большой Игнат ждал у подъезда, но Ильин решительно отказался:

— Мне недалеко.

Он быстро шел по знакомым местам, как раз по отсеченной голове того самого переулка. В другой раз Ильин, может быть, и постоял бы возле домика в старинном стиле, но сейчас у него было такое чувство, как будто рухнули двадцать лет жизни. А двадцать лет, как ни верти, есть двадцать лет. И дело не в том, что существует «ахинья», а в том, что с ее помощью пробуют перевести какой-то важный рычажок, может быть, самый важный. И угрожает этой «ахинеей» не Аржанов, не Сторицын, а Касьян Касьянович. Вдруг все стало ясно, как бывает, когда возишься с новым ключом и уже от злости готов сломать замок, а потом — легкое движение, и все — дверь открыта. . .

Касьян Касьянович был учителем, Ильин — первым учеником. Но и первый ученик был только частицей аппарата, собранного умелой рукой и не вдруг, аппарата, в котором все было так пригнано и подогнано, что оставалось только одно — вовремя запускать, а уж дальше каждый знал свой маневр. Зато каждый был уверен и в Касьяне Касьяновиче: кто-кто, а он не подведет, и его древний опыт выручит там, где потерпят крах самые модные теории. «Наверное, и после того, как я расстался с конторой, он продолжает считать меня частицей великого целого, — думал Ильин. — Кажется, есть такие частицы, которые, отколовшись от ядра атома, вращаются вокруг него».

Думал Ильин и о том, что Касьян Касьянович не простит ему их сегодняшней встречи. И не потому, что Ильин кончился как ученик, а потому, что понял и все то, что сегодня было сказано в новом доме, и то, чего сказано не было.

Когда Ильин взглянул на часы, был уже вечер. Он сел в троллейбус, но проехал только три остановки и вышел возле двухэтажного стеклянного куба. В первом этаже было кафе — столики и банкетки, как повсюду, и то же меню, без капли фантазии. Но во втором этаже, в большом зале, стояли четыре бильярдных стола. Иль-

ин и раньше часто приходил сюда. Бильярд был увлечением наследственным, отец когда-то чемпионствовал в гарнизонном Доме офицеров. Но в то время, до войны, на деньги почти не играли, отец даже и разговоров не любил о «кушах» («Что это — «три листика» — подзаборная игра?») и на знаменитых в прошлом маркеров поглядывал косо: они были вроде бывших нэпманов — слово, которое Ильин помнил с детства, но которое для него ничего не означало. Он стал играть на бильярде сравнительно недавно, когда эти самые знаменитые маркеры уже были наперечет и ценились необыкновенно. И хотя большинство из них были стариками, им, как правило, проигрывали (это даже стало считаться хорошим тоном — проиграть знаменитому Ивану Павловичу или еще более древнему старику Никанорычу). Но и перепало этим старикам чаевых столько, что уже на эти деньги строились дачки, а Никанорыч, обычно дремавший в зале, приезжал в кафе на собственном «Москвиче». Именно за рулем он становился прежним, азартным и даже немного буйным Никанорычем, которого полвека назад знала и любила та самая нэпманская молодежь.

Поднявшись на второй этаж, Ильин сразу увидел дремлющего Никанорыча.

— Давно не были у нас, товарищ Ильин, — сказал старик после долгого разглядывания.

— Да я и кий держать разучился! А размяться хочется.

— Столы заняты, товарищ Ильин, — сказал Никанорыч озабоченно. — Обождать придется.

В это время в зал вошла шумная компания, и среди незнакомых лиц Ильин увидел знакомое и, как всегда, веселое лицо Ильюши Желвакова.

— Ильин! — крикнул Желваков через весь зал так, что все обернулись, а один из бильярдистов, который почти лег на стол, чтобы достать шара, встал, осмотрелся и покачал головой.

Желваков показался Ильину еще более веселым и жизнерадостным, чем всегда. По-видимому, он недавно отдыхал, загар ему очень шел, глаза блестели югом и той сказочной жизнью, которую только Ильюша и умел создавать себе в отпуске.

И сразу появился свободный стол. Даже Никанорыч оживился, принес свежие мелки и сразу стал гудеть про

запчасти, которые, по-видимому, кто-то из желваковской компании обещал ему достать. Ильюша по поводу запчастей соответствующе острил, но Никанорыч не обижался и даже, кажется, еще больше старался.

Ильин хотел сыграть «американку», но Желваков уговорил его на партию: «Американка» — дрянь, «американка» не для нас. . .»

Играл он тоже весело, с веселым треском клал шары, не расхаживал долго вокруг стола, а если мазал, то не расстраивался.

Первую партию Ильин быстро проиграл, поставили вторую, и Желваков сказал:

— Ты, Женя, совсем от масс отбился. С весны не звонишь и не заходишь.

Навряд ли Желваков хотел напомнить ему весеннюю просьбу и то, что помог старикам, о которых тогда просил Ильин. Но именно об этой весенней встрече вспомнил Ильин, едва увидел веселое лицо Желвакова. Вспомнил и поморщился: черт знает что, просить «по благу» как-то не вяжется с достоинством адвоката, но тогда, весной, Ильин думал только об устройстве стариков и ни о чем больше.

— Я очень обязан тебе, — сказал Ильин. — Свинство, что я не позвонил.

— Э-э. . . пустое, — сказал Ильюша. — Я перед Касьяном Касьяновичем до сих пор вот так. . . Ты смотри, какого я тебе шара дал, это ж десятка! От борта в угол, играй от борта!

«Что посеешь, то и пожнешь, — думал Ильин, прицеливаясь. — Он вправе вспоминать о благодеяниях Касьяна Касьяновича, который ему когда-то что-то «устроил» и который. . .» — И Ильин снова подумал о том, о чем думал, когда кружил по старым переулкам.

— Ну, брат, не моя вина, — сказал Желваков, когда ильинская десятка не пошла от борта в угол. — Надо было чуть-чуть, в самый лобик поцеловать. Оторвался от масс, оторвался! Работа? Я, что ли, не работаю? Да я за это время успел и на Севере, и на Юге побывать. Ну, Север лучше не вспоминать, такая, брат, дыра, народ жесткий, шуток не понимает, я, Женя, москвич, я не люблю, чтобы со мной на «о» разговаривали. Вот я сейчас в Средней Азии был, это мне понравилось. . .

— В Средней Азии? — переспросил Ильин. — Где?

— Ну, где... всюду, где есть жизнь, а жизнь там всюду. Таких чудес насмотрелся. Кладу пятерку, не смотри на меня дурным глазом, Жень, я так не играю. Ну, где-где... Столицы объезжал, потом Древний город. Давай, давай, Женька, не задерживай картину!

«Древний город»! Ильюша Желваков в Древнем городе, думал Ильин, с непонятной ему самому неприязнью глядя на партнера. Ну а почему Ильюша Желваков не мог побывать в Древнем городе, куда ежедневно приезжают тысячи людей? — спрашивал себя Ильин. И все-таки не мог побороть в себе ревнивого чувства: Древний город и Ильюша Желваков!

— И что же ты там видел? — спросил Ильин.

— Как это что? Там, брат, такие храмины, гарем Чингисхана, посещался по квадратно-гнездовому способу...

— Что за пошлости! — сказал Ильин.

— Почему «пошлости»? — упорствовал Ильюша. — Так они сами рассказывают!

— Да кто рассказывает?

— Местные...

— Никто такой ерунды тебе рассказывать не мог, — сказал Ильин. — Ты просто бессовестно солгал и теперь не хочешь признаться!

— Дьявол тебя раздери! — крикнул Желваков. — Из-за тебя, тебе же и подставил, на, добивай восьмерку!

— Восьмерку? Можно и восьмерку.

Но и прицеливаясь, Ильин ясно видел, как Лара бежит впереди стайки туристов, таких же вот Желваковых, ему и хотелось расспросить о Древнем городе, об этих самых храминах, может быть, Ильюша видел падающий минарет, но он боялся, что в ответ Желваков снова станет шутить и говорить пошлости.

— Все, — сказал Ильин и положил кий. — Сдаюсь.

— Как это «сдаюсь»? — нахмурился Желваков. — Ты что, в шахматы играешь, увидел пятиходовую комбинацию на конкурс красоты? Не валяй дурака, бери кий и клади шара, или я с тобой больше не дружу!

— И не дружи, — сказал Ильин, расплатился с Никанорычем и ушел, понимая, что поступил необыкновенно глупо и зря обидел человека,

Интеллигентная старушка на почте в большой воскресной толпе разглядела Ильина и крикнула ему, как знакомому человеку:

— Ничего нет, я уж и телеграммы смотрела. Вы не перевод ждете? Ну, может, что с утренней почтой будет...

30

Утром Ильин снова поехал в тюрьму.

— Как настроение? — спросил он, здороваясь с Калачиком. Снова они сидели за тем же столом, даже зеленую бумагу не успели сменить, и та же колонка цифр в левом верхнем углу. И, кажется, Аркадий Иванович усердно ее разглядывает. — Вы рассеянны, а надо бы сосредоточиться. С завтрашнего дня для нас обоих начинается работа.

— Да... работа... — откликнулся Калачик. — Работа... — повторил он.

— На суде я хочу видеть вас бодрым, уверенным, по существу все обвинительное заключение построено на ваших же показаниях. Суд обязательно это учтет. Думаю, что и версия оговора не состоится.

— Это почему? Сами же говорили, что у них там так задумано.

— Ну, задумать — не значит осуществить. Еще надо, чтобы и суд этому поверил! «Деталька»-то оказалась весьма существенной.

— Все-таки докопались! Зачем вы этим занимаетесь?

— Нет, Аркадий Иванович, это не я. Это Любовь Яковлевна...

— Любовь Яковлевна?.. Она здесь при чем? Она ни о чем не знала!

— Но она сама привела ко мне этого Поля...

— Любовь Яковлевна — дитя, а мы с вами — взрослые люди.

— Вы неправильно понимаете вашу жену, — начал Ильин, но Калачик его перебил:

— Может быть. Может быть, и неправильно. Поль и Любовь Яковлевна! Ее, что же, в суд призовут? Вы ей скажите, что я запретил всем этим заниматься. Я ей первый раз в жизни *запрещаю*.



— Но в суде, если встанет вопрос об оговоре, допрос такого свидетеля, как Поль...

— Свидетель! Да вы не знаете, какой он спектакль устроит!

— Пусть даже он от всего отопрется, и даже наверняка отопрется. И все-таки!

— Нет, — сказал Калачик. — Нельзя.

— Почему? Чего вы боитесь?

— Мне бояться нечего: я в тюрьме.

— Что ж, вы мой клиент, и я не могу идти против вашей воли, — сказал Ильин, пряча бумаги в портфель.

— Подождите минуту... Вы не сердитесь на меня, что я от вас эту «детальку» утаил, я иначе не мог... Ну, да теперь все равно.

День покатился как обычно. От Калачика Ильин поехал в консультацию, дела было много, Ильин выслушивал, соглашался, спорил, сверялся с кодексами, а думал только о Калачике. Зря старалась Любовь Яковлевна! «Мы с вами — взрослые люди, а она — дитя!»

И дома он снова листал страницы обвинительного заключения: может, и придут свежие мысли? Но то ли от этих фиолетовых строчек, которые он уже знал наизусть, то ли от Милкиных гамм голова была свинцовой. «Черная дыра», — говорил в таких случаях Касьян Касьянович.

— Ужинайте без меня! — крикнул Ильин в глубину квартиры. — Я немного погуляю, ужасно голова трещит.

И сразу же выскочил Андрей:

— Папа, я с тобой!

— Вот еще! Смотри, какой дождь!

Москва еще не успела прийти в себя от жары, еще повсюду пестрели заморские ситчики, Ильин внимательно разглядывал эту быстро бегущую толпу, словно пытаясь разыскать в ней кого-то, кто ему сейчас позарез необходим. И, наконец, шагнул в телефонную будку.

— Простите великодушно, Василий Игнатьевич, это Ильин. Очень хочу повидать вас. Мне очень надо, — повторил он, боясь, что вдруг все сорвется.

— Приходите...

Но оказалось, что Штумов нездоров, и начать пришлось с извинений.

— Пустяки, простуда... Третьего дня хоронили Невзорова. Когда-то я с ним дружил, потом пути разо-

шлись — то ли я был виноват, то ли он, — а неделю назад встречаю его в суде, ужасно вдруг похудел, какой-то зеленый, сморщенный. И так мне нехорошо стало, и что в самом деле за обиды грошовые... Ну-с, простудился я, как водится, на кладбище.

Вошла Саввишна, поставила знакомый чайник, мед, коржики, варенье.

— Меня к телефону не зовите, — сказал Штумов и, смеясь, махнул рукой. — Все равно ничего не слышит, ну а сами подходить не будем. Так что никто нам не помещает. Рассказывайте...

— С чего начинать — не знаю, — признался Ильин. — У нас в конторе любили афоризм Касьяна Касьяновича: «Чем меньше слов, тем меньше ошибок!»

— Нет, — неожиданно резко сказал Штумов. — Я люблю слова.

Слова? Какие? О чем? Дело Калачика? В одном НИИ было раскрыто хищение? Лжесовместители. Калачик во всем признался, помогал следствию... Нет, не для этого он пришел к Штумову. Может быть, рассказать, как помогал вчера переставлять мебель на новой квартире Касьяна Касьяновича?

Штумов сочувственно взглянул на него:

... — С нашим братом так бывает, переволнуешься, перехлопочешь...

— Да, хлопот было немало, — сказал Ильин. — И хлопоты все какие-то необычные. Так случилось, что дело Калачика стало моим личным делом. Наверное, такое признание звучит несколько странно...

— Но в этом вся суть нашей работы!

— Я говорю не о профессиональной стороне дела. За эти дни я многое понял, и это касается меня, моей жизни. Помните Самохина, зверское убийство? Сколько бы я как адвокат ни пережил тогда — это был процесс Самохина. В той среде, в которой я раньше работал, как-то не принято убивать. И моим бывшим коллегам моя речь понравилась. Они мне тогда аплодировали — ведь это надо же, у нашего Ильина талант прорезался! Bravo, bravo, ну, брат, молодец, сила! — Ильин поднял со стола тяжелое пресс-папье и подержал на вытянутой руке, словно и в самом деле любуясь своей силой.

— Да вы встаньте, — сказал Штумов, — очень трудно говорить сидя...

Ильин встал и прошелся по комнате. «И в самом деле — так легче. Какой старик, все понимает!..»

— Самохина — к расстрелу, здесь ни у кого не было сомнений. Но вот появляется дело Калачика. Может быть, если бы Калачик воровал в одиночку, мне бы и сейчас кричали «браво!». Но беда в том, что вместе с обыкновенным жуликом на скамье подсудимых — начальник цеха. Были когда-то посословные суды, вот бы им что-нибудь в этом роде... Тут логика железная: этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. И тут либо я их, либо они меня. Это мой процесс...

Штумов медленно помешивал ложечкой чай и, казалось, был сосредоточен только на этом. Ильин глядел на него с нежностью: «Какая могучая жизнь прожита, сколько пройдено трудных дорог и какая красивая старость!..» Все ему казалось трогательным — и запыленные папки, и старомодные книжные шкафы, и глухая Саввишна. Но молчание затягивалось, и Ильин подумал: «А вдруг он уснул? Вот так, помешивал, помешивал ложечкой и уснул, спит и во сне помешивает ложечкой».

— Вы кончили? — спросил Штумов.

— На эту тему я бы мог говорить еще очень долго...

— Но вы почти ничего не сказали о своем подзащитном!

— Василий Игнатьевич, я ведь не речь свою репетировал, а, скорей, исповедовался...

— Да, исповедь, понимаю... И спасибо за доверие. Но завтра будут судить все-таки не вас, а вашего Калачика.

— Все так переплелось. Здесь и моя личная история...

— А вы держитесь сейчас истории Калачика.

— Василий Игнатьевич, жена моего подзащитного, уж не знаю, как ей это удалось, привела ко мне племянника Сторицына. Человечишка омерзительный! Через него Калачик дважды передавал деньги Сторицыну. Этот человечишка, конечно, ничего в суде не подтвердит, но я все-таки решил вызвать его свидетелем. Пусть постоит под перекрестным! Боюсь, что Калачика будут обвинять в оговоре...

— А я думаю, что больше всего вы боитесь, что Сто-

рицын выйдет сухим из воды. Ну-с, значит, вызвали племянника?

— В том-то и дело, что этого не хочет Калачик. У него это так расшито, что ради бога не трогайте Любовь Яковлевну. Любовь Яковлевна — его жена.

— «Расшито...» Что это значит? — спросил Штумов. — И почему вы так о своем клиенте? Ведь вы его поверенный. Вслушайтесь, слово-то какое — поверенный. Одно время это называлось «некритическим отношением к подзащитному»... — Штумов встал и с той легкостью, которая всегда так нравилась Ильину, подошел к бюро и взял папиросу из деревянной коробки. — Саввишна набивает... Поразительное дело: почти девяносто лет, давно уже плохо видит, а как папиросы набивать — молодая!

— Дайте и мне! — сказал Ильин.

— Ну зачем же, если не курите... А впрочем... У меня тоже бывало: так голова забита... — Штумов проглотил неудобное слово. — Голубчик мой, у вас прекрасные, очень интересные и благородные мысли. И спасибо, что вы именно меня выбрали... Но как вы можете так: «обыкновенный жулик»? Ведь чистосердечное признание — всегда большое событие. Признание делает человека ну не совсем, что ли, обыкновенным. Мой опыт говорит, что для признания нужно очень большое душевное усилие. Подумайте, какую личную драму переживает сейчас ваш Калачик. Ведь он не только признал свою вину, но и указал на соучастника. Он теперь ищет вашей поддержки. А вам нужно совсем другое. Вам нужны объективные доказательства вины Сторицына, и вольно или невольно вы становитесь следователем. И это нужно лично вам.

— Василий Игнатьевич, поскольку речь может пойти об оговоре, я был обязан выяснить всю эту механику...

— Ну а если бы не ваша Любовь Яковлевна, которая привела к вам этого сторицынского племянника... тогда как?

— А что бы вы сказали Аржанову, приди он к вам сегодня? Ведь он тоже должен доверять своему Сторицыну? Я беру предположительный случай...

— Предположительно... так сказать, теоретически... Решили поставить старика в неловкое положение? Практически я не всегда даю советы, даже если их у меня очень просят...

— Я вам бесконечно благодарен!

— А вот это лишнее... Дорогой мой Ильин, вам осталось всего несколько часов до процесса. Главное впереди, и к этому главному надо быть готовым. Знаете, что говорят опытные военные? Они говорят, что готовность к сражению есть неотъемлемая часть самого сражения. Что до меня, я считаю эти часы самыми важными. Будьте же эти часы мысленно с вашим подзащитным. Отбросьте свое. Думайте только о нем. Не советую выходить завтра обозленным на своего Калачика, не простившим своему подзащитному минутной слабости. Что, Саввишна? — испуганно спросил Штумов — ни он, ни Ильин не заметили, как она вошла в комнату. — Почему не спишь? Заболела? Ильин, подайте-ка тот флакончик, двадцать пять капель... На, Саввишна, выпей!

— Не больная я, не больная... — сонно бормотала старуха. — Слышу, ты речь говоришь, думала — утро. Это который двести тысяч растратил и сбежал?

— Видали? Двести тысяч!.. Телефона не слышит, а меня — за тремя дверьми. Спать надо, Саввишна!

— Иду, иду... Чаю принести или сами?

— Сами, сами... — сказал Штумов, сияя, что ничего не случилось. И когда Саввишна ушла, повторил смеясь: — Двести тысяч — и сбежал! Это знаете когда было? Четверть века назад, сразу после войны. Шумный был процесс, речь моя в сборник попала, да рядом с какими именами! Ну, ни пуха ни пера вам! В котором часу заседание?

— В девять...

— Обязательно приду. Ну, не к девяти, конечно, позднее, но приду. А вы копите, копите вашу злость, не теряйте того, что пережили *лично сами*. Помните, что русские адвокаты занимали трибуну не только для того, чтобы просить снисхождения для своего подзащитного! Они шире понимали свою задачу. Потому и подымались до высоких социальных обобщений!

В суд Ильин пришел рано. Еще работали уборщицы, пахло сыростью, слабым раствором хлорки и почти неуловимо — бумагой; этот запах большого учреждения

остро слышался по утрам, когда шла уборка и все окна и двери были раскрыты настежь. В совещательной стучала на машинке секретарша Лидочка.

— Я загадал, — сказал Ильин. — Если вы уже здесь — исполнение желаний.

— Все адвокаты суеверны, — улыбнулась Лидочка. — Я это наблюдала. Через левое плечо тьфу-тьфу-тьфу, сухо дерево и вообще разные приметы. Один ваш коллега... нет, фамилию нельзя, а вдруг вы проговоритесь...

— Лидочка!

— Так вот, если свидетельница в черном платье, он ее ни за что не спрашивает. Вопросов не имею, и все.

— Вы адски наблюдательны, для юристов это первое дело. Но смотрите — кончите ваш вечерний, будете работать в коллегии и сразу начнете: через левое плечо и все такое.

— Нет, нет, в адвокаты никогда, — сказала Лидочка.

— О чем же вы мечтаете? Судьей, прокурором?

— Нет уж, нет, тогда лучше адвокатом! Не хочу работать в суде, — призналась она, — да и родители против. Все эти драмы... а я все так переживаю. Попробую устроиться куда-нибудь в юрчасть.

Ильин хотел возразить, но в это время вошел Аржанов с большой коробкой конфет.

— Это вам, Лидочка, без лести преданный...

— Зачем? Что вы?.. И такая большая... Ну ладно, я открою в перерыве. Александр Платонович любит сладкое.

— Ильин, вы только послушайте, наш грозный судья — и сладкое, возможно ли? — дурачился Аржанов. — Прячьте, Лидочка, коробку, идет прокуратура.

Окуненков, хрустя дождевиком, который он носил в любую погоду, с ходу преподнес Лидочке кулек с апельсинами, но, увидев аржановскую коробку, с шутливой многозначительностью кашлянул:

— Это вам, товарищи адвокаты, будет дорого стоить!

Появились заседатели и, наконец, сам Молев, как всегда озабоченный.

— Прошу извинить, задержался у председателя суда. В это воскресенье День танкиста, а мы оба танкисты и, заметьте, оба начинали башенными стрелками, так вот кое-какие мероприятия. Лидочка, пусть конвойные вы-

водят, время... Там, кажется, один только Калачик, а у Сторицына и у других — подписка о невыезде.

Ильин вышел из совещательной и в коридоре увидел Любовь Яковлевну.

— Уже привезли, — сказала она плача. — Аркадий Иванович как похудел... И головка побрита, он и раньше брил, а тут вроде иначе...

— Ну, Любовь Яковлевна, — сказал Ильин, — надо бы пободрей! Аркадий Иванович увидит, что вы плачете, хорошо это будет?

— Евгений Николаевич, дорогой мой, дайте хоть поздороваться! — послышался знакомый бас.

— Папченко! Вы как здесь?

— А очень просто: пришел вас послушать.

— Прочно сели, — сказала Пахомова. — Месяца на два, я думаю.

Привели Калачика, и Ильин сразу же подошел к барьерчику.

— Пожалуйста, товарищ адвокат, — конвойный вежливо улыбнулся, краешком глаза разглядывая хорошенькую Лидочку.

— Как спали, как себя чувствуете? — спросил Ильин.

— Отлично. Любовь Яковлевна здесь?

— Здесь. Еще раз, Аркадий Иванович, хочу вас предупредить...

— Да, спасибо, спасибо... Я знаю.

— Так я подойду к вам в перерыве...

Пустили публику, адвокаты и эксперты заняли свои места, появился Окуненков, прозвучал звонок, вышли судьи, процесс начался.

Ильин запомнил, что Молев не любит торопиться. И объявление состава суда и сторон, и установленные вопросы об отводах не были для него простым ритуалом, и самые обычные ответы он выслушивал с неподдельным уважением, и это с самого начала создавало атмосферу значительности события и означало, что то главное, ради чего все здесь собрались, уже началось и что неглавного здесь быть не может.

— Устанавливается личность подсудимого Калачика. Подсудимый Калачик, встаньте. Имя-отчество, пожалуйста. Так. Проживаете... Так, так... Работали? Так. Суд считает установленной личность подсудимого Калачика Аркадия Ивановича,

— Разрешите мне еще два слова? — сказал Калачик. Все в Ильине сразу как-то натянулось, как перед выстрелом. «Это еще зачем? Что он еще может добавить?»

— Суд в надлежащее время заслушает ваши показания, — спокойно продолжал Молев.

— У меня не показания. У меня заявление, — сказал Калачик быстро. — Я прошу слушать мое дело без адвоката. Я сам. Простите меня, Евгений Николаевич, — сказал он вдруг, низко поклонившись Ильину.

— Аркадий Иванович!.. — отчаянно крикнула из зала Любовь Яковлевна.

— Прошу соблюдать тишину, — строго сказал Молев. — Подсудимый Калачик, объясните суду, почему вы отказываетесь от адвоката?

— Что уж тут объяснять, — сказал Калачик. — Хочу сам.

Ильин, не отрываясь, смотрел на него. Он еще не вполне осознал, что произошло, в голове была страшная теснота, но он видел, как у Калачика мелко дрожат руки, и думал: «Жалкий старик, жалкий, несчастный старик...» И пока Молев слушал заключение прокурора и пока он переговаривался с заседателями, Ильин думал: «Жалкий старик, жалкий, несчастный старик...»

— Суд, совещаясь на месте, — сказал Молев, — суд, совещаясь на месте, — повторил он, как будто именно эти слова и составляли сейчас суть дела, — определил: удовлетворить просьбу подсудимого Калачика, Товарищ Ильин, вы свободны.

Ильин быстро — как ему показалось, слишком быстро — сложил свои бумаги и направился к выходу. Он слышал иронический шепот и даже смешки, но у самых дверей остановился и сел. Что бы там ни было, но он чувствовал, что должен остаться здесь.

Он внимательно слушал вопросы Молева и ответы подсудимых, но теперь ему казалось, что все заняты только разглядыванием Ильина: и Окуненок, листая одни и те же бумаги, и Пахомова, сердито уткнувшись в стол, и Аржанов, и даже Любовь Яковлевна, которая сидела впереди и боялась оглянуться, и Папченко, уже несколько раз подававший ему какие-то знаки. Ильин подумал, что Молев не замечает эти знаки только потому, что они адресованы Ильину, то есть отстраненному от дела адвокату. И от этого Ильину было еще больней. «Да, раньше



Молев обязательно сделал бы замечание, — думал Ильин. — Раньше, но не теперь». И уже обозначилась черта, отделявшая *раньше* и *теперь*...

«Я был неудобен Калачику, — думал Ильин. — Нет, не так... Я не ему был неудобен, а *им*. — Снова это местоимение появилось в его сознании. — Добились своего, добились своего...» — мысленно повторял Ильин.

Молев объявил перерыв на полчаса, Ильин вышел в коридор, и сразу же рядом с ним загудел Папченко:

— Гад он, ах, гад какой! Евгений Николаевич, дорогуша, не стоит он вашего доброго слова. Ах, гад, ах, гад!..

— Ну, что вы, ей-богу, — с досадой сказал Ильин. — И почему обязательно «гад»?

— Оставьте-ка вы его в покое! — сказала Пахомова, прорвавшись наконец сквозь толпу любопытных. — Давай сюда, — шепнула она Ильину и толкнула дверь, на которой висела дощечка: «Выход на случай пожара».

— Прямехонько домой, — говорила Пахомова. — Уж Ирина Сергеевна тебя обиходит. А вечером — наве­стим...

— А меня не надо *навестать*, — сказал Ильин. — Я ведь не больной. И в домашнем обеде я сейчас как-то не нуждаюсь...

— Еще спорит — больной, не больной. До чего же вы, мужики, вредный народ!

— Варя, милая, спасибо, но я хочу послушать допрос Калачика...

Пахомова с минуту помолчала.

— Наверное, и я не смогла бы иначе...

«Да, надо слушать это дело, — думал Ильин, — слушать внимательно, стараться понять весь механизм... Не сегодня, так завтра, не завтра, так через месяц должно стать ясным, почему Калачик отказался от своего адвоката».

Но все стало раскручиваться куда быстрее.

— Подсудимый Калачик, встаньте, — сказал Молев. — Расскажите суду все, что вам известно по данному делу.

Молев еще не закончил фразу, а Калачик уже встал:

— У меня заявление: на предварительном следствии я показал, что деньги, часть денег, получаемых в результате преступных сделок, я отдавал начальнику цеха Сто-

рицыну. Это мое показание ложное. Никаких денег Сторицын не получал и ни о какой сделке ничего не знал. Я... это оговор! Я оговорил Сторицына.

32

После допроса Калачика Ильин вышел из суда. Самое плохое, что могло случиться, уже случилось. «Чистосердечное признание» летело к дьяволу на рога. А оно-то и было осью защиты. Теперь Калачик сам вытащил эту ось, и хотя судьи не обязаны доверять его заявлению, и хотя процесс только что начался и все показания предстоит рассмотреть и взвесить, Калачик теперь во всем этом деле выглядит еще хуже, чем раньше, и рассчитывать на снисхождение больше не может. «Жалкий, несчастный старик». Но выше этой мысли стояла мысль о своей собственной вине: нельзя было иметь дело со сторицынским подонком. Верно, что разыскала и привела Поля Любовь Яковлевна, верно, что Ильин ничего и не знал о его существовании, но ведь именно Ильину нужны были доказательства равновеликости вины Сторицына и Калачика. И с этого все началось.

— О чем задумались, товарищ адвокат?

На площадке лестницы, почти рядом с Ильиным, стоял Поль.

— Что это вы не отвечаете? — продолжал резвиться Поль. — Давайте мириться.

— Уберите руки, — сказал Ильин. — Слышите? И дайте пройти.

— Однако почему вы здесь, а не там? — Поль побежал за Ильиным. — Товарищ адвокат, товарищ адвокат! — кричал он, забегая вперед. — Ну хорошо, я признаюсь, что в прошлый раз зря распетушился. Но я самолюбив... Тапочки, натертый пол, красавица жена.

— Если вы сейчас же не отстанете от меня, я действительно вызову милицию, — сказал Ильин.

— Милиция застанет меня на коленях перед вами! «Этот может и на колени», — подумал Ильин.

— Что вам от меня надо?

— А что было вам нужно от меня? Культурный разговор... Почему вы ушли от огней рампы? — спросил он, загоразживая дорогу Ильину.

— Хорошо, объясню, но при одном условии...

— Уже принято: я тотчас же сниму свой коррпост...  
Свернули в парк — все-таки лучше, чем трамвайная остановка. Сели.

— Ну так вот, — сказал Ильин, — Аркадий Иванович Калачик отказался от моих услуг и сам будет защищать себя. Теперь вам ясно, почему я здесь, а не там?

— Колоссально! — сказал Поль.

— Суд у нас открытый, идите и слушайте: Аркадий Иванович уже сделал заявление, что оговорил вашего дядюшку.

— А это как?

— Ну, заявил, что дал ложные показания на предварительном следствии.

— Колоссально! Колоссально... — повторил Поль. — Ай да Аркадий Иванович, ну, прямо гений чистой красоты! Выходит, и меня не было?

— Значит, не было.

Поль захохотал:

— И коробочки не было? Может быть, я и протезиста выдумал? Взгляните, пожалуйста. — Он открыл рот, но не выдержал и снова захохотал. — Эти мои новые зубки вскочили дядюшке в сумму!

Ильин встал, а Поль, откинувшись на спинку скамейки, прямо-таки корчился от смеха. («Пусть корчится, пусть его разорвет!»)

Но не успел Ильин сделать и двух шагов, как Поль догнал его:

— А вы меня не разыгрываете? Что же это такое: беру билет на «Соло для часов с боем», а мне подсовывают какой-то дрянной водевильчик. На вашем лице — презрение к миру сему. А обо мне вы подумали? Какой грандиозный спектакль я подготовил: «Гражданин Терентьев!» — «К вашим услугам, товарищи судьи!» — «Что вам известно по делу?» Побелел дядюшка, дрожит сердечко... А что сейчас? «Кушать подано»? Но это не мое амплуа. Вы, наверное, заметили, что я честолюбив, как император Нерон...

— Я заметил, что вы вор!

— Но отнюдь не такой, как Аркадий Иванович, которого вы взялись защищать, и даже не такой, как мой дядюшка. Я лучше... Пусть я тунеядец и отбывал уже, но я лучше. Что бы вы сказали, если бы вместо Калачика защищали меня? Могло бы ведь такое случиться?

Ведь я мог бы прийти в вашу консультацию: привет, дважды оказался почтальоном между двумя деятелями. Имел бы я право на защиту? Нет, уж вы ответьте, имел бы или не имел?

— Вы отлично знаете, что каждый гражданин имеет на это право.

— Так дайте же мне вашу руку. Не бойтесь, здесь нас никто не увидит! Осень, опустел наш бедный сад, листья пожелтелые... А как со мной было бы вам просто: товарищи судьи, мой подзащитный вообще не знал, что был орудием преступления, ему и в голову не приходило, что у государства похищены деньги, прошу также учесть, что мой подзащитный отлично зарекомендовал себя в кружке самодеятельности! А теперь адье, товарищ адвокат!

Наконец-то Ильин остался один. Обеденный час, но есть не хотелось, и уж во всяком случае не в «Солнышке» — сейчас все туда потянутся, и Пахомова, и мушкетеры... Конечно, от этих встреч надолго не уйдешь, но хотя бы не сегодня... Домой? Да, разумнее всего было бы домой. «Уж Ирина Сергеевна сумеет тебя обиходить...» Да, это верно. И хотя его дела скорей обрадуют Иринку, чем огорчат: все-таки теперь он свободен от Калачика, — но Иринка образец такта и умница, и она поймет, как трудно сейчас Ильину, и ничем не обнаружит свою радость, а будет сопереживать. И именно поэтому ему не хотелось домой.

Так, может быть, в консультацию? Да, пожалуй, сегодня это самое подходящее место. Все разбрелись по судам, тихо, прохладно, он закроется в своей кабинке и попросит Галину Семеновну никого к нему не пускать.

Но только он вошел в консультацию, как навстречу бросилась Галина Семеновна:

— Вас ожидают... Я говорила, что вы в суде, но товарищ такой настойчивый...

«О господи, кому я еще сегодня нужен!» — подумал Ильин и увидел Сашу.

— Галина Семеновна, не тревожьтесь, это мой приятель. — Ильин открыл кабинку. — Ты ж собирался в отпуск?

— Я в отпуске...

— И никуда не поехал?

— Моя станция недалеко. Неужели ты думаешь, что я мог сбежать от этого дела?

— Не видел тебя в суде...

— А я смиренно сидел в сторонке, хотя мне и не сиделось. Первый день, и столько сюрпризов! Возможно, для посвященных и не было никаких неожиданностей, но для меня... Признаюсь, такого кульбита я от тебя не ожидал!

— Кульбита?

— Я тоже не все сразу понял. Когда этот несчастный Калачик отказался от твоего адвокатства, у тебя был здорово побитый вид. Но едва он заявил, что оговорил Сторицына, я понял, что все это просто цирк. Конечно, нашли бы и другого, кто бы внушил Калачику, по каким нотам петь, но все получилось бы плоско, не так, как с Ильиным, без выражения на благородном лице! Но у Ильина должны быть чистые руки, и от него «отказываются». Теперь Ильина надо еще и пожалеть. И будь уверен, тебя пожалеют. Иди домой, расскажи Иринке, что тебя обидели, всем скорей расскажи байку о проходимце Калачике, и все тебя пожалеют!

Ильин внимательно слушал Сашу, и, хотя внутри все кипело, он ни разу его не перебил. Он слушал и думал, что если Саша мог так оценить все, что произошло сегодня, и предположить кульбит ради спасения Сторицына, то и другие... Нет, говорил он себе, такое никому не придет в голову, никому, кроме этого сумасшедшего. Но тут кончалась логика и начиналась другая наука: по меньшей мере еще один человек мог взглянуть на все это, как на кульбит, и не только взглянуть, но и аплодировать Ильину, и с легким сердцем порвать дурацкую «ахинею», а еще лучше — сжечь ее. «Что-то паленым пахнет», — скажет Конь, принохиваясь.

— А ведь я тогда, вначале, почти поверил тебе, — сказал Саша. — Люсю ты даже тронул: ну как же, с университетской скамьи мечтал, самая демократическая в мире профессия!

— Люсю сюда... зачем?

— Но тебе бы не помешало именно сегодня вспомнить о Люсе! Замечательное умение забывать!

— За что ты меня возненавидел? — спросил Ильин.

— Ты лучше когда-нибудь подумай, за что я тебя люблю!

Ильин не успел ответить: в дверь постучали.

Стук продолжался, слышался умоляющий голос Галины Семеновны и другой голос, мужской и очень знакомый.

Ильин открыл кабинку. На пороге стоял Жорж, растерянный, необычайно бледный:

— Вы очень нужны, пожалуйста, мама просила вас приехать немедленно...

— Но что случилось?

— Умоляю вас, поедemте, я на машине... (Кажется, впервые за все время их знакомства Ильин видел, что Жорж не кривляется.)

— Саша; — сказал Ильин, — позвони Иринке, она будет беспокоиться, а я... я, наверное, приду поздно...

— Идемте, идемте, — торопил Жорж, — вот машина, садитесь, пожалуйста... (И это многократное «пожалуйста» тоже было нехарактерно для Жоржа.) — Сейчас... сейчас... Куда же я сунул ключ от машины?

— Он у вас в руках, — сказал Ильин.

Жорж с места взял скорость. Выскочили на Садовое кольцо, Лихов переулоч, Трубная...

— Мама здесь. Прошу вас, увезите ее отсюда. Да, понимаю: вы еще ни о чем не знаете. Здесь жила Туся. Туся Самохина... Эта Туся... она сегодня повесилась...

Ильин выскочил из машины.

— Я уже все сделал, — сказал Жорж. — Врач, милиция, ее увезли...

Дверь в квартиру была не заперта; в дни бедствий такая незапертая дверь словно говорит, что хуже уже ничего не может случиться.

Небольшая прихожая, лампочка без абажура, грязные обои, квартира, кажется, не один раз деленная, коридора нет, на одной из дверей свежее сургучное пятно, пахнет нафталином, валерьянкой и еще чем-то знакомым с детства: в углу плетеная корзина с котятками. «Наверное, недавно родились...» — подумал Ильин и постучал в соседнюю дверь. Послышался голос Тамары Львовны, и Ильин вошел в комнату.

На узкой кровати — какая-то древняя старушка, лысая, беззубая, совершенно высохшая. Над кроватью фотография: маленький Самохин на игрушечной лошади дует в трубу.

— Я убеждаю Вассу Петровну, — сказала Тамара Львовна, словно продолжая прерванный разговор, — я убеждаю Вассу Петровну хотя бы на время переехать ко мне, ведь правильно, Евгений Николаевич?

— Да, да, конечно, — сказал Ильин, еще не вполне понимая, что происходит.

— Это Евгений Николаевич, — продолжала Тамара Львовна, — Евгений Николаевич, адвокат, он защищал вашего внука... Евгений Николаевич, подойдите к нам поближе.

— Спасибо вам, голубчик, спасибо за внучка моего, спасибо, что не побрезговали...

— Я думаю, — сказал Ильин, чувствуя, как у него жжет в горле, — я уверен, Тамара Львовна решила правильно. Здесь вы будете одна, а там за вами присмотрят. Доверьтесь нам: поедem к Тамаре Львовне.

— И вы, голубчик, и вы?

— Конечно же, и я!

— Да, да, — сказала Тамара Львовна. — Евгений Николаевич поедет с нами. Евгений Николаевич, сходите за Жоржем, Жорж сильный малый, он нам поможет. Да вы крикните его, Жорж, наверное, внизу... Дайте-ка я сама...

Старуха, кажется, только и ждала этой минуты, Как только Тамара Львовна вышла, она схватила Ильина за руку и зашептала:

— Не хочу к ней, не надо... Они с Туськой по целым дням шептались... Не хочу.

Ильин не успел ответить, вернулись Тамара Львовна с Жоржем.

— Я думаю, мам, лучше я на руки возьму, а? Не возражаете? — спросил он Ильина, как спрашивают родственника.

— Чемоданчик не забудьте, — шептала старуха, — там все Генино — костюм выходной, баретки...

Жорж быстро подхватил ее на руки.

— Однако! — сказал Ильин.

— Да, да... Он сильный малый, сильный малый. Возьмите чемоданчик, а я закрою дверь... Вот так. Теперь все. Да, постойте: кошка. Что ж с ней теперь будет? Я, вообще, не люблю кошек, но...

— Заберем и кошку, — сказал Ильин.

— Да, конечно, заберем и кошку. Минуту, еще толь-

ко одну минуту. — Они молча постояли возле двери, обезображенной сургучом. — Бедная девочка. Бедное, несчастное, неразумное существо. После этих... камушков мы почти не виделись. А она к тому же панически боялась оставаться с бабушкой. Бабушка считала, что во всем виновата Туся...

— Надо идти, — сказал Ильин. Он взял корзинку с котятами, и, пока они спускались по лестнице, кошка цеплялась за корзинку и отчаянно мяукала.

Приехали на дачу. Тамара Львовна сразу же стала устраивать бабушку, Жорж возился с машиной, забрал кошачью семью в гараж. Ильин разжег камин, сел у огня, согрел руки, прислушиваясь, как по-зимнему трещат дрова. Вошла Тамара Львовна, села рядом.

— Если бы я вчера вечером пришла к ней... Но сверхсрочное заседание...

— Вы же не могли быть там все время!

— Это верно... А бабушка действительно к ней плохо относилась и во всем обвиняла только ее. Все ее обвиняли. И вы тоже считали, что это она толкнула Гену.

— Никогда и нигде я этого не говорил. И в речи моей этого не было.

— Но все так думали. И я тоже.

— Вы?!

— Конечно. Как все, так и я. И она это чувствовала. И все ждала, что вы скажете о ней. А вы действительно так ничего о ней и не сказали. И тогда-то мне ее стало жаль. Наверное, все-таки... все-таки она чувствовала себя виноватой... В ней самой шла борьба... Как это у вас, у юристов, называется... прения сторон?

— Вся жизнь, Тамара Львовна, — это прения сторон...

— Для того чтобы жить, нужен если не талант, то хотя бы способности... У нее их не было, и никто ее этому не учил.

— Все мы ученики у жизни, — сказал Ильин. — И учить нужно каждого из нас. И надо учить, что жизнь трудная штука. Это ошибочный взгляд, что вот поработал, перевыполнил, а дальше все просто: не пей водку, читай умные книги, занимайся гимнастикой и проверяй тетрадки у детей. Надо объяснять человеку, что все не просто, что жить не легко, а трудно. Тогда только и будет развиваться этот самый талант жить.



Ильин старался говорить негромко. Камин, тепло, траур, который надела Тамара Львовна, — все располагало к тишине. Он бы и рад был помолчать, но что-то толкало его говорить, спорить, не соглашаться. Он понимал, что выбрал для этого неподходящее время, но ведь он и не выбирал, так уж получилось.

— Талант жить, — продолжал Ильин, — это способность перенести и хорошее, и плохое. И этому можно и нужно учиться...

Тамара Львовна слушала его невнимательно.

— Когда все это случилось... Если бы не Жорж... Все его считают трепачом, а сколько он сегодня для меня сделал. *Для меня.* Понимаете?

Тамара Львовна рассказывала, что всю прошлую ночь она не спала, ее мучили дурные предчувствия, и утром Маяк один поехал в лабораторию, а она поехала к Тусе.

Ильин слушал, думая о своем. Пора, давно пора домой. Но прежде надо было поспеть на почту, с минуты на минуту окошечко могло закрыться... Это он еще днем загадал: «Если от Лары письмо — все будет хорошо...» Понимал, что так загадывать глупо, детскость какая-то, но все равно это целый день в нем крутилось.

— Мне пора, — сказал Ильин. — Извините, но есть дела неотложные...

— Да, конечно, конечно... Я позвоню вам завтра. Наверное, надо написать Самохину? Надо, чтобы он знал о Тусе.

— Надо, — сказал Ильин. — Но Самохину я напишу сам.

— Жорж, проводи Евгения Николаевича.

Но едва Ильин вышел, к нему рванулась детская фигурка Вассы Петровны:

— Генке передайте... теплые носки внучку моему... сама связала... Я Туське каждый день наказывала: передай, говорю, зима близко... Не хочет...

— Васса Петровна, — сказал Жорж, — вы бы шли отдыхать. Уже и постель готова...

— А ты кто такой? — огрызнулась старуха. — Товарищ адвокат, не оставьте нас, помогите в час трудный...

— Все, что в моих силах, я сделаю, — сказал Ильин. — Прощайте!

В садике к нему подошел Маяк:

— Ну, как Тамара? Верите ли, я уже час дома и не решаюсь зайти. Все так переменялось у нас за последнее время.

Он проводил Ильина до автобуса, и пока они шли и на автобусной остановке Маяк рассказывал, как тяжело стало дома.

— У меня такое чувство, — говорил Маяк, — что я ей мешаю. Жорж не мешает, они такие разные и все-таки понимают друг друга. А я мешаю или боюсь ей помешать, а это еще хуже. Теперь эта бабуся... Ведь это снова Тамарина фантазия, фантазия, каприз, а надо работать, делать дело.

Подождал автобус, Маяк обнял Ильина:

— Приезжайте к нам почаще... И с женой, она такая милая.

Зарево Москвы было совсем близко, и когда Ильин сел в автобус, академический поселок сразу потух. Всего-то здесь до города было семь или восемь остановок, но Ильину казалось, что он возвращается из дальней поездки.

Старушка на почте радостно встретила Ильина:

— А я за вас переживала... Ладно, что успели! Есть, есть, как же, есть!

Он нетерпеливо вскрыл конверт. Это была не обычная записка, а большое письмо. По привычке Ильин попытался все схватить одним взглядом, но это было невозможно, и он выхватил только фразу: «...моя поездка в Москву не удалась...». Это была странная фраза, но Ильин, вместо того чтобы начать письмо с начала, выхватил еще несколько непонятных ему фраз: «...я думала, что приду к Вам, когда ни Вас, ни Вашей жены не будет дома. Наверное, одного взгляда хватило бы, чтобы все понять, а потом бегом, бегом, отдышусь где-нибудь на трамвайной остановке...»

— Дорогой товарищ, — сказала старушка. — Время, почта закрыта.

«...И Ваших детей мне тоже хотелось увидеть. Когда они выбегают из школы. Я даже слышала во сне школьный звонок. Мальчик похож на Вас, верно? И дочку Вашу я бы тоже узнала...»

— Дорогой товарищ!

— Да, да, пожалуйста, — сказал Ильин. — Да, хорошо, хорошо, спасибо...

Он сунул письмо в карман и вышел на улицу.

«..Когда я получила Ваше последнее письмо, я что-то такое наплела своему заведующему. . .»

Улица была освещена лампами дневного света, очень полезными, как утверждают врачи, для глаз, но читать в этом синевато-мертвом свете было почти невозможно.

«..Галку подсунула соседям, а в голове только Вы и этот несчастный жулик. . .»

Он снова сунул письмо в карман. Уж лучше гостиничный холл и кресло под плакатом «Мест нет».

Но в гостинице была страшная толкотня, то ли приехала, то ли уезжала большая группа иностранцев, суетились администраторы, слышалась нерусская речь, все кресла были заняты. Надо было искать другую позицию. Он поднялся на третий этаж и сразу увидел пустой диванчик и лампу с абажуром.

«..Наверное, и мне надо что-то переустроить, сломать, начать заново. . .»

Но где же то место, которое он только что читал: «Галку подсунула соседям. . .» Вот: «Галку подсунула соседям, а в голове только Вы и этот Ваш несчастный жулик. Я, правда, ничего в этом не понимаю — хищение, подставные лица, простите меня, я все это пробежала глазами, но мне показалось, что Вы без меня пропадете, а я приеду и помогу. Что-то я такое наплела своему заведующему, что он дал мне командировку в Суздаль. Суздаль — это же Москва, почти Москва. День в Москве мне полагается, и еще день мне дали «для устройства личных дел». (День! Целый день! Не так-то это было бы мало.)

«..Моя поездка не удалась, и в этом виновата только я. . .» — читал и перечитывал Ильин, уже понимая, что Лара была в Москве и что они не увиделись.

«Все оказалось труднее, чем я думала. Я позвонила Вам из Домодедова, подошла Ваша жена, и я не решилась позвать Вас. Мне было ужасно стыдно, что Вы начнете говорить со мной чужим, неестественным голосом и о каких-нибудь пустяках. Потом я звонила Вам из гостиницы и один раз все-таки спросила — можно ли к телефону Евгения Николаевича Ильина, — нарочно назвала не только имя и отчество, но и фамилию. Вас не было дома. Я узнала Ваш служебный телефон. Мне сказали, что Вы в городском суде. Я поехала туда, но не

нашла Вас. А если бы нашла? Что тогда? И в самом деле, что? Только в Москве я поняла, что мне не надо было приезжать сюда. Дома я совершенно не думала, что произойдет, когда мы увидимся. В Москве я только об этом и спрашивала себя. Я думала, что еду для того, чтобы помочь Вам, а оказалось, что в помощи нуждаюсь я, а не Вы. Дома я читала Ваши письма и чувствовала, что я существую в Вашей жизни, в Москве я как будто из нее исчезла и все время вспоминала нашу встречу полгода назад, и какой была я, и каким были Вы. Когда нет будущего, вспоминаешь прошлое, это так естественно. Но прошлое есть прошлое, это история, камни. Археологи долго трудятся, чтобы дойти до исчезнувшего слоя жизни. Надо ли было нам сейчас встречаться только для того, чтобы создать музей достопамятного апреля? В этом музее можно прослушать магнитофонную ленту с нашими голосами: «Как минимум три реки: Нил, Енисей, Миссисипи!» — «На своей яхте?» Вам идет быть веселым, остроумным и когда Вы немного посмеиваетесь над собой. Постарайтесь остаться таким же. Пишу Вам из Суздаля. Завтра собираюсь домой. В Домодедове пересадка, и я полчаса постою на московской земле. Что еще? Наша переписка закончена».

33

— Гражданин, — сказала дежурная по этажу. — Гражданин, я извиняюсь, вы кого ждете?..

— Нет, никого, я так... я сейчас... — Ильин торопливо смял Ларино письмо, встал с диванчика, и едва встал, как увидел себя в большом зеркале, врезанном в стену.

Мелькнула обычная мысль: «Я это или не я?» — но, вместо того чтобы поскорей уйти из холла, он пристально вгляделся в зеркало. Чье-то чужое, усталое и помятое лицо настороженно смотрело на него. Впалые щеки, круги под глазами и какой-то загнанный взгляд. В самом деле, он это или не он?

«Давно ли я стал таким, — думал Ильин, разглядывая себя в зеркале. — Недаром Большой Игнат... Но неужели же настолько? Худо, брат, худо...» — думал он, поправляя галстук. В эту минуту весь сегодняшний день — крах в суде, Поль, Саша, несчастная Туся и Ларино письмо — все, все отступило перед этим зеркалом.

— Гражданин, — снова запела дежурная.

Но зеркала в этой гостинице были повсюду. И в коридоре, и в холле, и возле лифта, и даже в самом лифте. И во всех этих зеркалах Ильин видел себя: свой мешковатый костюм, несвежий воротничок и нечищенные ботинки. Не спасали и феэргешные очки, которые очень шли *тому* Ильину и весьма комично выглядели на *этом*.

И еще раз, перед выходом на улицу, он увидел себя в зеркале рядом с молоденькой длинноногой шведкой, весело тащившей свой ярко-желтый чемодан через весь холл. «Чему она смеется? — раздраженно подумал Ильин. — Что, собственно, здесь веселого: портье хочет ей помочь, а она отказывается от его услуг; это не смешно, это глупо...»

Возле гостиницы шла обычная суета. Шведские туристические машины с высоко поднятым салоном — говорят, что в таких машинах есть и бар, и душ, и уборная, — с трудом лавировали среди легковушек, водители рейсовых такси кричали, как на базаре: кому к трем вокзалам? кому в Шереметьево? кому в Домодедово?

«А вдруг она еще там и ждет самолета?! — думал Ильин, стараясь мысленно представить себе их встречу:

«Лара, милая Лара!»

«Вы приехали, чтобы проводить меня?»

«Я приехал, чтобы вы остались!»

«Зачем?»

«Дело в том, что я только что видел себя в зеркале...»

«Ах, вот что! Да, помню, полгода назад вы тоже смотрели на себя в зеркало и почему-то ненавидели того упитанного мужчину и мечтали научиться страдать...»

«Разве я говорил вам об этом?»

«Что вы... просто я взяла помело и пролетела над вами, когда вы уже банькали... Кажется, вы подозревали себя в том, что ваша жизнь сложилась слишком счастливо...»

«Да, как-то так получилось...»

«Но, кажется, вы пришли к выводу, что везение — тоже социальная категория?»

«Вы и это знаете?»

«И это, конечно, и еще то, что вы готовы посвятить меня во все ваши мысли, которые вам приходят во сне и наяву. Но я больше этого не хочу. И выбрасываю свое помело».

Помело! Да и Ларины «полчаса на московской земле», наверное, давно уже кончились.

Из гостиницы, разгоряченные ужином, вышли шведы и начали рассаживаться по автобусам. Подъехала машина с зеленым огоньком, очередь на такси дрогнула, еще подкатывали машины самых разных марок и колеров, какая-то развалина, скрипя тормозами и дрожа всем своим давно поржавевшим телом, остановилась возле Ильина.

— В парк, через центр! — прокричал водитель. — Красненькая!

Ильин не откликнулся. Он поднял воротник, нахлобучил кепку и двинулся прочь от гостиницы. Но за поворотом ржавая развалина догнала его:

— Довезем, давай на полбанки!

Ильин не отвечал, а развалина еще долго тащилась за ним, треща и, кажется, еще больше разваливаясь.

— Садись за трояк! — крикнул водитель, и Ильин совсем близко увидел багровое лицо, все в каких-то мелких буграх и рытвинках, и почувствовал запах перегара. Он перебежал улицу по красному свету, свернул в переулок, потом в другой, быстро петляя, словно боясь, что ржавый мотор и здесь настигнет его. И только в третьем переулке остановился и перевел дыхание, как будто избежал какой-то страшной опасности.

Этот третий переулок был тихим и почти пустым, ровно светились огоньки над номерами домов, слышался голос Озерова: «Матч подходит к концу, именитых противников, по-видимому, устраивает ничейный счет».

«Ни черта это никого не устраивает», — подумал Ильин. Он был в том настроении, когда все примериваешь на себя — и матч в Лужниках, и машину с баром, и тихое свечение огоньков над номерами домов.

«Го-о-о-ол! — неожиданно заорал Озеров. — Го-о-о-ол! Как говорится, под самый занавес!»

Ильин почувствовал страшную усталость. О нем всегда говорили: этот двужильный! И в самом деле, он легко работал ночами и после трех-четырех часов утреннего сна приходил в контору со свежей головой и с новой готовностью взять на себя трудное дело.

А иначе — ценили бы его так, как ценили?

И в университете Ильин отличался неутомимостью. Когда только он поспевал готовиться к зачетам! Вечера-

ми подрабатывал уроками — готовил в вузы по какому-то там ускоренному методу, — и первая доска в шахматной команде, и дискуссионный клуб. Тот самый клуб, из-за которого он чуть не погорел на последнем курсе и который так не любил вспоминать. Когда на собрании было решено просить деканат исключить из университета студента пятого курса Ильина Е. Н., было не до иронии и не до шуток. Он бросил свое репетиторство и совершенно запустил шахматные дела, хотя, может быть, именно тогда репетиторство было важнее всего да и какой-нибудь шахматный кружок не помешал бы, пусть за небольшие деньги, пусть в Доме пионера и школьника, все-таки лучше, чем ничего. А может быть, расстаться с Москвой? Сколько отважных людей преуспевали на дальних рубежах — Ильину снились незнакомые юрты, школа в далекой степи, снилось Заполярье; проходят годы, он появляется в Москве, борода бывалого зимовщика, унты, заметка в газете... То ли еще случалось с людьми, тем более что он любил повторять Маяковского: где, какой великий выбирал путь, чтобы протоптанней и легче? Но иногда по ночам его охватывал страх: вся эта Арктика и Антарктика не утопия ли? Не выдает ли он желаемое за возможное? Кто доверит ему школу в степи? Чтобы он и там проповедовал свои штучки-мучки? Голова раскалывалась, и после такой ночи он чувствовал мучительную опустошенность. Да, вот, опустошенность, и больше ничего. И только после стакана крепчайшего чая приходил в себя, и снова появлялись надежды.

«Может, и сейчас начать с крепкого чая?»

Он зашел в первое попавшееся кафе, но чая здесь не было. Ему предложили мороженое семи сортов, шампанское и тончайшим шепотом — беленькую.

— Чай, — сказал Ильин тем хорошо натренированным голосом, которого беспрекословно слушались и гостиничные администраторы, и проводники спальных вагонов.

Первый стакан он выпил чуть ли не залпом, обжигаясь и дыша паром, подали второй, он отхлебнул и задумался. Пришла пора развязывать узелки. На это он всегда был мастер. Он потянул один узелок, другой, но от этого стало еще больнее. Он пил чай и прислушивался к своей боли. Он хотел понять, что это за боль или, вер-

нее сказать, что болит — уязвленное самолюбие или другое чувство, на котором еще нет номенклатурной бирки. . .

Как это он тогда в Средней Азии ревился по поводу того, чтобы «научиться страдать». «Учиться страдать. . .» — была, была такая идея. Корешки среднеазиатских идей были зарыты ох как глубоко. . .

Он потянул этот узелок и вдруг отчетливо увидел давнее утро — был не то конец февраля, не то самое начало марта, — свою неприбранную комнату и холодную печку-«голландку», которую когда-то так любил растапливать отец. В такое вот утро и пришел к нему Саша Семенов.

Ильин не помнил фамилии этого парня. Они были знакомы по студенческому клубу, но костяк дискуссионного составляли гуманитарии, а этот был из «технарей». Запомнился крутой лоб, нахмуренность, даже угрюмость, и еще запомнилось, что в каком-то споре он стоял за Ильина.

«Технарь» чуть ли не с порога сказал, для чего он пришел. Не выражать соболезнование, а действовать. Письмо в самые высокие инстанции. Подписи собирает он, разрешите представиться — Семенов Александр, зови Сашей, иначе не пойму. Пусть придут, обследуют, выяснят, обсудят, решат. Не уступать! Не сгибаться! Ежели деканат пойдет на исключение, он, Семенов, тоже подаст заявление. Докажите, что ересь! Он, Александр Семенов, вел записи. . .

— Записи, — спросил Ильин, словно очнувшись. — Какие записи?

Саша подал ему большую клеенчатую тетрадь в клеточку.

— Конечно, не слово в слово, стенографией не владею. — Он впервые улыбнулся, славная была улыбка, больше он уж так никогда не улыбался.

Ильин молча взял тетрадь, перелистал. Первое, что бросилось ему в глаза: «Боль есть первый признак жизни».

— Боль есть первый признак жизни, — повторил Саша. — А что, верно! Я, знаешь, Ильин, давно к тебе собирался, да вроде, думаю, неудобно: переживает парень. . . Обедал сегодня? А то пойдем, знаю я здесь одну вегетарианскую, за полтинник три блюда.



— А ты к тому же и вегетарианец? — спросил Ильин, тоже улыбнувшись. Но улыбка получилась какая-то жалкая.

Саша еще немного потоптался, все спрашивал, как насчет квартиры, уплачено ли, дровишки есть? Может, что помочь, пылища у тебя, чаще надо комнату проветривать!

Ильин обещал «технарю» прибраться, обо всем подумать и все взвесить и только попросил на время клеенчатую тетрадь, как он сказал, «освежить в памяти».

— Все будет в норме, — говорил Саша, прощаясь. — Еще на радостях в «Савой» пойдем обедать. Бывал в «Савое»? Это тебе не вегетарианская столовая!

Едва Саша ушел, как Ильин стал листать тетрадь. Он был потрясен. Впервые он столкнулся с жестким чудом превращения слова сказанного в слово написанное. «Слишком много людей чувствуют себя душевно нездоровыми, потому что не чувствуют боли ни за себя, ни за других...» — читал Ильин. Эти слова, написанные ровным почерком студента-«технаря», боящегося ошибиться в формуле, заставили его трепетать. Как это понять — «много людей»? Или, вернее, как это могут понять? Или, может быть, как это уже поняли! Он говорил себе — надо читать всю фразу, нельзя вырывать отдельные слова, это запрещенный прием, но кем запрещенный, когда, и был ли этот прием в самом деле когда-нибудь запрещен?

Тетрадь надо было уничтожить. Немедленно. Он открыл вьюшку в «голландке», надрал лучины, зажег ее, но, прежде чем бросить тетрадь в огонь, разорвал ее пополам, а потом клочьями рвал страницы и бросал в печку.

Бумага прогорела, он немного подождал, пока потухли угли, и закрыл вьюшку. Теперь он чувствовал себя разбитым, наступило душевное оцепенение, хотелось спать. «Как после убийства», — вспомнился Ильину курс криминалистики.

Ночью он проснулся и еще раз испытал приступ страха. Показалось, что клеенчатая тетрадь так и осталась лежать на столе, но убедился, что она уничтожена, и снова заснул. А через месяц его пригласили в дека-

нат — старое решение было отменено, а еще через месяц был открыт студенческий клуб. Но Ильин уже принял решение больше в клубе не появляться. Легче, чем думалось, он отвечал товарищам: сессия, диплом, госэкзамены... И только с Сашей все тянул и тянул. А когда уже было невозможно больше тянуть, сказал, что потерял тетрадь. Потерял?! «Ну, дружище, — сказал Ильин как можно развязней, — мыслишки-то там все мои, так, если хочешь, я тебе по памяти перепишу».

Все это давно зажило и даже не вспоминалось, да и времени не хватало на воспоминания. И рецидив в Средней Азии возник как-то сам по себе...

«Научиться страдать? — спрашивал он себя. — Если ты этого хотел, то вполне преуспел. До какого узелочка ни дотронешься, все больно... Научиться страдать? Не в дискуссионном клубе и без цитат из классиков, а, как говорят военные, на местности...»

«На местности» выходило так, что пора домой. Чем сидеть в этой живопырке, не лучше ли вкусно поужинать за домашним столом. Но он все сидел и сидел и даже попросил тарелку борща.

— Извините нас, — сказал официант, — все съели за обедом. Может, соляночку закажете?

И это был единственно обнадеживающий признак: если официант после трех пустых стаканов извиняется, значит, в глазах общества Ильин еще чего-то стоит.

Но что ждет его завтра? Иринка несомненно даст дельный совет: надо отдохнуть, все оттого, что ты не отдыхал, поедem в Крым, а мама останется в Москве с детьми, на нее, ты знаешь, вполне можно положиться. Винограду, мама говорит, так много, что один ее сад может прокормить целый Уралмаш. Но через час, взвесив все «за» и «против», Иринка скажет: поезжай один, тебе необходимо побыть одному, в этом твой отдых. Сейчас ты только бесцельно мучаешь себя. И не переживай, пожалуйста: эти воры и мошенники, если им нужно, запросто отказываются от адвокатов. Отдохни, и жизнь войдет в свою колею.

Он хлебал солянку и думал об этой самой колее. В кафе было немного народу, и он уже успел всех рассмотреть. За соседним столиком шумная компания распатронивала третью порцию мороженого, похоже, сту-

денты-первокурсники. Справа от Ильина молодой парень, брезгливо морщась, пил шампанское. Слева четверо трудяг ели такую же, как Ильин, солянку, время от времени заглядывая под стол — тогда оттуда слышалось приятное бульканье.

«Милая Лара, Крым или не Крым, но моя жизнь не сможет пойти по старой колее», — мысленно начал Ильин письмо, но вспомнил, что писать больше некуда: «Наша переписка закончена».

«Крым или не Крым, а моя жизнь не сможет идти по старой колее, — думал Ильин. — Одно дело — сбежать от Азимовых, повторять про себя: «Кончено, кончено, кончено...», и совсем другое — когда знаешь, что все действительно кончено». Он думал о том, что «ахинея» выползет на свет божий в любом случае: вернется ли он из тещиногo виноградника черный, как негр, или будет с завтрашнего дня снова бегать по судам и давать дельные советы в родной консультации. Уж кто-кто, а он слишком хорошо знал Касьяна Касьяновича и понимал, что это не просто угроза. Одно дело — упиваться своей правотой и совсем другое — знать, что ничего не кончено, что все только начинается.

«Не кончено, а только начинается...» — еще раз повторил Ильин и с такой силой сжал стакан, что стекло подалось и лопнуло. Подбежал испуганный официант.

— Ничего, ничего, — сказал Ильин. — Это мелочь... Я заплачу... Что вы на меня все уставились? — крикнул он раздраженно и вдруг увидел, что кровь заливает ска-терть.

Все вокруг повскакивали, и отовсюду послышались советы:

- Главное, чтобы стекло не попало!
- Перевязать надо!
- Ноль три звоните!
- Уж прямо: по такой ерунде «скорую»!
- Крови-то, крови...

Прибежала какая-то пожилая женщина в белой куртке, заведующая или буфетчица, деловито осмотрела две глубокие ранки на ладони и большом пальце и необыкновенно ловко забинтовала Ильину руку. Густо запахло йодом. Все кафе молча следило, как она управлялась.

— А ты говоришь — «скорая», смотри, как завзято сделано, — сказал один из трудяг, открыто ставя «маленькую» на стол.

— Сразу видно, медицинское образование!..

— Ах ты, дело какое! — сказала женщина в белой куртке. — Меня на фронте аж газовая гангрена боялась. Убери посудину! — крикнула она, заметив «маленькую». — У нас здесь не положено!

— Ну, дает!.. — сказал парень, пивший шампанское.

Ильин быстро расплатился и вышел из кафе. Рука горела то ли от пореза, то ли от йода, но чувствовал он себя бодрее, чем час назад. Мысль о том, что все только начинается и что впереди борьба, все больше и больше нравилась ему. «Ну что ж, давайте двигайте, в ноль три не позволю. Двигайте, с этого и начнем! Не кончено, а начато!..» — думал он, спускаясь в метро.

..Возможно, что мне придется уйти из адвокатуры..  
Найду работу где-нибудь под Москвой.. Рядом лес, чудесный воздух..

..Я живу один, жена в Москве, дети учатся, нельзя их оставлять, но, кажется, Андрей хочет переехать ко мне. С Милкой это труднее, здесь нет музыкальной школы..

..Милая Лара! А может быть, сам господь бог послал эту «ахиною», чтобы вразумить меня?..

В метро, кроме Ильина, было еще четверо: молодая парочка, изо всех сил старавшаяся привлечь к себе внимание тисканьем и поцелуями, пожилой человек, с отворачиванием глядевший на них, и в глубине вагона молодая женщина в зеленом пальто, с японским зонтиком, который она раскрыла и поставила на просушку. Ильину показалось что-то знакомое, но пустой вагон качался, как пьяный, и ничего толком разобрать было нельзя.

— Проспект Мира!

Парочка, целуясь и тискаясь, вышла из вагона, а зеленое пальто повернулось к Ильину. Дунечка! Но Ильин не успел выскочить.

— Двери закрываются!

И, словно это был сигнал к атаке, Дунечка быстро сложила зонтик и перебралась к Ильину.

— Я сегодня не смогла быть в суде!

Ильин сморщил лицо, как будто досадуя, что из-за грохота ничего не слышит.

— Я сегодня не смогла быть в суде! — старалась Дунечка перекричать поезд.

— Краснопресненская!

Ильину совершенно не нужна была Краснопресненская, но он выскочил, боясь Дунечкиных вопросов. Вслед за ним выскочила и Дунечка. Теперь они стояли друг против друга на пустой платформе.

— Я сегодня не смогла быть в суде, — в третий раз начала Дунечка. — Евгений Николаевич, куда же вы... — Она догнала Ильина у эскалатора. — Я звонила вам домой. Хотелось поговорить.

— Но я с утра не был дома, — сказал Ильин, с надеждой глядя на плавное течение перил.

— Вы всегда возвращаетесь так поздно? — спросила Дунечка. Кажется, она хотела еще о чем-то спросить, но только махнула рукой. Ильин уловил в ее голосе что-то необычное, но он был слишком занят собой, чтобы еще над чем-то задумываться. — Я специально вышла, это не моя станция, — сказала Дунечка и вдруг разрыдалась.

— Ради бога, что случилось? — растерянно спрашивал Ильин.

Того только не хватало: поздний вечер, станция метро, которая, оказывается, ни ему, ни ей не нужна, дежурная в красной фуражечке, кажется, совсем забыла о своих обязанностях и с интересом смотрит на растерянного Ильина и рыдающую Дунечку.

Но теперь сквозь слезы прорывались слова, и скоро Ильин стал понимать суть дела. Ее книга о Тамаре Львовне зарезана, она всем безумно нравилась, ей всюду говорили, что «социальная биография» — это как раз то, что сейчас требуется, но потом начались интриги, и ее стали со всех сторон спрашивать, а что это значит: «социальная биография». Дунечка жаловалась куда-то очень высоко, и где-то там была сделана надпись: «Разобраться, взять на контроль», — с этой надписью можно было покорить всю Москву. Но снова начались интриги, и Дунечке посоветовали хотя бы кусочек напечатать в газете, которая часто поднимает социологические темы. Но там печатают только своих, там клоака и дискриминация. Дунечка так и брызгала именами людей, которых

Ильин любил читать, и трудно было поверить, что именно эти люди хотят съесть Дунечку вместе с ее зеленым пальто и японским зонтиком. И, наконец, сегодня она была у Тамары Львовны.

— И что же?

— Она выставила меня за дверь, — сказала Дунечка, и Ильин подумал, что, наверное, так оно и было.

— Помогите мне, — говорила Дунечка. — Вы можете мне помочь, вы человек независимый. . .

Это слово больно укололо Ильина. Наверное, не одна Дунечка считала его человеком независимым, да и он сам, спроси его об этом год назад, считал именно так и свои реплики на совещаниях подавал всегда твердо и решительно. Но ведь это был только суррогат независимости, настоящая независимость никогда не бывает броской и заметной. Но этот суррогат, это умение держать себя независимо вполне устраивали Касьяна Касьяновича, и он даже раздувал перед начальством Ильина: этот спину не гнет. Пока не грянуло дело Калачика. Тут Касьяну Касьяновичу пришлось напомнить Ильину, кто есть кто. Впервые Ильин подумал о Ларе как о человеке совершенно независимом. А ведь у нее была трудная жизнь, неудачное замужество, нелегко ей жилось в ее азиатском дворике. Но и тогда, весной, когда Ильин увидел ее во главе стайки туристов, и сейчас, когда Лара летела домой из Суздаля, по всем правилам пристегнутая взлетными ремнями, она оставалась человеком, ни от кого не зависящим.

А Дунечку Ильину было жаль: наверное, снова куда-то будет жаловаться и требовать, чтобы взяли «на контроль», и бегать, и сплетничать. Тяжело ей вернуться к своим шляпкам, хотя, казалось бы, чем плохо: уж шляпки-то — дело совершенно независимое, разве что какой-нибудь очень разборчивой дамочке не понравится перо, так за это перо ухватится любая другая.

— Не знаю, что я могу сделать для вас, — сказал Ильин. — Тем более что я еще не знаю, как сложится моя собственная судьба. . .

— Вы бросаете адвокатуру? — встрепелась Дунечка. — Вот это новость! — Она вдруг вся напряжинилась, слезы высохли, лицо горело новым вдохновением. — Значит, Касьяну Касьяновичу удалось вас вернуть! Мы, социологи, рассматриваем возвращение к стереотипу. . .

— Нет, я не возвращаюсь к Касьяну Касьяновичу, — сказал Ильин. — Я возвращаюсь к своим шляпкам. — Он успел вскочить в вагон, двери закрылись, поезд вошел в туннель, и Дунечка пропала так, словно бы и совсем не появлялась.

34

С улицы он увидел яркий свет в окнах, это означало, что Иринка не спит: время позднее, она ждет и беспокоится. И даже в его кабинете горело электричество.

Ильин быстро поднялся, открыл дверь и увидел, что квартира полна людей. И первый человек, которого он увидел, был Касьян Касьянович. Рядом с ним, за круглым обеденным столом, сидел Саша, а по другую сторону — Штумов, Пахомова и трое мушкетеров. Стол был накрыт празднично: скатерть из «Сувениров», чешские бокальчики, дорогой коньяк, гостевая закуска из Иринкиного НЗ. Все это после кафе, в котором он хлебал холодную солянку, после гнавшегося за ним мотора, после Тусиной квартиры с кошкой и котятками в плетеной корзине, после всего, что он передумал и пережил, казалось нереальным, все было больше похоже на сон, чем на явь.

Но это была явь. Иринка уже хлопотала вокруг него, помогая снять плащ: «Господи, что у тебя с рукой, то есть как это «порезался»? Чем? Главное, чтобы не загрязнить... А мы ждем тебя не дождемся...»

— Добрый вечер! — сказал Ильин.

Первым откликнулся Касьян Касьянович:

— Привет, привет!

— Ты голоден? — спрашивала Иринка. — Хочешь заливного? Это «Юбилейный» ереванского разлива.

— Прямо с места происшествия, — подтвердил Касьян Касьянович. — Как сказал Максим Горький: «Легче подняться на вершину «Аралата», чем выползти из его подвалов».

Саша захохотал:

— Выдумали, сознавайтесь!

— Ничего не выдумал. Вот поедешь в командировку, я помогу с пропуском на завод, и дадут тебе книжицу весом полтора пуда. И там запись Алексея Максимо-вича.

Ильин поспешно налил большую рюмку коньяку и выпил залпом.

— Ну-с, по какому случаю бал?

— Ай, ай, ай! — Иринка, улыбаясь, погрозила мужу. — Кто ж так спрашивает?

— Это я так спрашиваю, — сказал Ильин. — Вероятно, общество собралось для того, чтобы морально поддерживать меня. Так я хочу сказать, что никаких утешений не требуется. Ясно?

Но никто не обиделся. А Саша похлопал Ильина по плечу:

— Bravo, брависсимо, bravo, брависсимо!

«Он пьян, — подумал Ильин, — или притворяется пьяным».

— Нет, — сказал Касьян Касьянович, — не для того мы собрались, чтобы посочувствовать. А для чего — молчок! Правильно я говорю? — спросил он с той веселой энергией, которая когда-то в молодости так привлекала Ильина.

— Но мне кажется неразумным держать хозяина дома в неведении, — сказал Штумов серьезно.

— Давайте, давайте, Василий Игнатьевич! — хором кричали мушкетеры.

Ильин снова налил коньяку, но пить не стал.

— Что еще случилось? — спросил он Пахому.

— А сейчас узнаете, дорогой товарищ, если вы только всех нас не разыгрываете и действительно ни о чем не ведаете.

— Позвольте мне, Женя, — сказал Штумов, — дать вам, моему старому ученику и коллеге, один дружеский совет: как бы ни разворачивались события на процессе, в котором вы участвуете, — а порой события разворачиваются весьма драматично не только для подсудимого, но и для адвоката, — никогда не уходите до конца заседания. Вот и сегодня прокурор в самом конце заседания огласил заявление одного... одного малого по фамилии Терентьев, — сам он почему-то величает себя Подем, — двоюродного или троюродного племянника Сторицына. Судя по этому заявлению, ваш подзащитный дважды с его помощью передавал деньги Сторицыну, и не маленькие. Этот Подем, не скажу грамотно, но весьма красочно изложил сюжет, а Окуенков сразу заявил ходатайство о допросе этого самого Поля в суде. После до-



проса племянника Сторицын все признал. Аржанов был бессилен. Ну-с, решением суда Сторицын был взят под стражу. Ваш же Калачик... вот на кого было жаль смотреть! Однако на прямой вопрос Окуненкова он тоже вынужден был признать, что на предварительном следствии дал правильные показания об участии Сторицына в хищении, что же касается его устного заявления на суде об оговоре, то он от него, как и следовало ожидать, отказался.

— И тысяча комплиментов адвокату Ильину! — вставил Саша. — Теперь тебе ясно, почему никогда не следует уходить до конца?

— Что ж вы молчите? — спросила Пахомова Ильина. — Вам молчать вроде не полагается...

Ильин и сам понимал, что молчать больше нельзя. Кажется, в самый раз вздохнуть: «Ну, братцы, спасибо! Честно — не ожидал!» Ведь теперь всем стали понятны мотивы, по которым Калачик отказался от своего адвоката, словом, полная реабилитация, как говорится, все по местам! Но Ильин все молчал и молчал; такая чугунная усталость навалилась на него, такая тяжесть легла на сердце...

Все подняли рюмки, чтобы чокнуться с именинником, и первым потянулся Касьян Касьянович.

— А вы за какую команду болеете? — негромко спросил Ильин.

— Я? Я за спорт в целом!

— Да вы что, святой? — спросил Колтунов. — А «Спартак»?

— «Спартак»? Ну, «Спартак» — это «Спартак», — вздохнул Касьян Касьянович. — Ты же знаешь, Женя, лично я не верил в корыстную заинтересованность Сторицына. Готов повиниться: ты видел дальше.

— Прикажешь и мне перед тобой повиниться? — засмеялась Иринка.

— Нет уж, кто Фома неверный — так это я! — сказал Саша.

— Лично я сержусь на себя, — продолжал Касьян Касьянович. — Не сумел разглядеть Сторицына.

— Бросьте, ей-богу... — сказал Колтунов. — Почему вы его должны были разглядывать? И контора эта не ваша...

— Знакомство небольшое, верно. Вместе на банкетах сидели...

— Так и ручаться не надо было! — крикнул Ильин. Касьян Касьянович ласково на него взглянул:

— Кто в наше время за кого может ручаться — разве что я за тебя, а ты за меня!

И тотчас, словно поднятая какой-то волной, между ними встала Иринка:

— Я должна при всех сделать тебе выговор. Мы тебя ждали, приготавливали тосты. Наконец-то: здравствуйте, ваше величество, а у его величества физиономия постная-препостная!

— Да уж, физиономия, прямо скажем, перекореженная, — сказала Пахомова. — Жаль, конечно, пропала хорошая защита, но...

— И какая речь! — подхватил Саша. — Дачи, машины, уровень жизни — в самый раз было бы это сейчас двинуть!

— Ну, уж тут ничего не попишешь, — сказал Васильев. — Надавили на вашего Булкина, или как его там...

— Кто, кто надавил? — крикнул Ильин.

— Как это кто? — изумился Касьян Касьянович. — Сторицын и давил. Он на Василия Васильевича, Василий Васильевич на меня, как на лучшего друга трудящихся, я вроде на тебя пробовал, а ты...

— Да этот Калачик и сам теперь не рад, — сказал Слиозберг. — У меня в практике был такой невероятной силы случай.

— Миша, ты что? — остановил его Колтунов. — Ночь. Нам сейчас по рюмке — и по домам. Тебя твоя Фаня с фонарями ищет.

— Случай, можно сказать, больше комический, чем трагический...

— Миша!

— Дайте же человеку прорваться!

Слиозберг стал рассказывать про какой-то невероятной силы случай из практики, все слушали и смеялись, а Ильин молчал и думал. Он пытался найти в себе то счастливое упоение борьбой, которое он чувствовал час назад в кафе и потом в метро, но внутри было пусто. И только рука еще саднила, и эта небольшая боль напоминала ему мечты о поражении. И как-то так выходило,

что пришлось бы ему стоять в обороне — нашлось бы и упоение, нашлась бы и борьба, а теперь, когда ему ничего не угрожает, то и вязываться ни во что не надо, и терзать себя и других просто незачем.

«А что, если рассказать сейчас о бюллетенчике Мстиславцева и об «ахинее»? — подумал Ильин. — Но что это даст? Никто не слышал моего разговора с Касьяном Касьяновичем: пылесос все заглушил, да и бюллетенчик был с глазу на глаз, ничего сейчас не получится, кроме грубого, нелепого скандала. При Иринке?»

— Конечно, многое зависит и от нашего брата хозяйственника, — резюмировал Касьян Касьянович, выслушав Слюозберга и отсмеявшись. — Ирина Сергеевна, разрешите еще коньячку, как говорится, двадцать капель при болях...

Штумов взял свою рюмку и подсел к молчавшему Ильину:

— Женя, я вас не узнаю... Понимаю, что вы кое-что сегодня пережили...

— Я? — переспросил Ильин. — Да, я, кажется, сегодня действительно кое-что пережил...

— Много, много зависит от хозяйственника, — продолжал Касьян Касьянович, закусывая любимым пирожком. — Случается еще, что именно наш брат хозяйственник для пользы дела ищет лазейку...

— Ваш брат хозяйственник, а ваша сестра бесхозяйственница, — сердито сказала Пахомова. — Посмотрим, как еще все повернется. Окуненков — это ум!

— Я бы на вашем месте так не драматизировал, — негромко говорил Штумов Ильину. — Калачик, разумеется, получит что полагается, но вы как адвокат сегодня не проиграли, а выиграли...

— Триумф из рук этого подонка!

— Tu là voulu, Georges Dandin! <sup>1</sup>

— Нет, я этого не хотел, — сказал Ильин. — Мой Андрей, когда был маленьким, больше всего любил «конструктор». Из одних и тех же кубиков можно выстроить какой хотите дом, даже дворец. Я думал, что и мою новую жизнь можно выстроить из старых кубиков. Но ведь это невозможно... А помните, Василий Игнатьевич, наш дискуссионный клуб?

---

<sup>1</sup> Ты этого хотел, Жорж Данден! (франц.)

— Помню, голубчик, помню... Иные времена, иные песни... Если хотите, соберемся в коллегии и будем дискутировать на любую тему... Но я думаю, что ваша деятельность в суде гораздо важнее всех этих дискуссий.

— Варя! — сказал он Пахомовой мягко. — Посидите с нами. Ильин вспомнил старые годы... Вы тоже были когда-то моей ученицей...

И как-то сами собой образовались два кружка. В одном молча главенствовал Штумов, в другом приятно урчал Касьян Касьянович:

— Придет день, когда должностная преступность и вовсе исчезнет. И я поднимаю этот бокал...

— Тост не поддержан, — сказал Колтунов. — Не будет преступности, уважаемый, куда прикажете податься? На сто рэ, юрисконсультом по трудовым вопросам? Мерси — нет! За процветание этого дома! Ирина Сергеевна, грибочка не пожалейте!

Но за грибочком ему пришлось скользнуть самому. Зазвонил телефон, и Иринка сразу защебетала:

— Очень рады, что вы позвонили, приезжайте к нам! Почему поздно? Ничего не поздно, у нас все свои, Касьян Касьянович, Василий Игнатьевич. Ну, смотрите, вам с горы видней, хорошо, хорошо, спасибо, ну конечно, передам! Это Аржанов...

— О господи, — сказал Ильин. — Аржанов!

— Чем ты опять недоволен? Очень мило с его стороны, говорит, что всегда верил в твою счастливую звезду и еще что-то такое о Христофоре Бахе. Я и не знала, что был еще Бах...

— Там целая семья композиторов, — сказал Штумов.

Касьян Касьянович засмеялся:

— Семейственность! Но я думаю, что у нашего Баха настроение сейчас не ай!

— Да уж, с халатности на хищение!

— Бросьте, весьма банальный случай!

— Внимание, Миша Слиозберг расскажет нам сейчас кое-что.

— Счастливая звезда, — сказал Саша, — что это за штука такая, с чем ее едят? Говорят, «родился под счастливой звездой»... А что это значит? Ведь это бред — никто не верит в вифлеемские сказки... И все-таки это так.

Один, будь у него хоть сто талантов, ничего, кроме вечной памяти, не заслужит — не та звезда, а другой...

— Все зависит от администрации, — перебил его Касьян Касьянович. — Я лично ни в какие самородки не верю. Ну, был, допустим, Шаляпин, допустим, самородок, так ведь он только пел, а надо было кому-то и хор наладить, и не в лаптях же перед публикой, и еще кому-то на счетах прикинуть... Так ведь то Шаляпин, а ты, я думаю, об Ильине. А кто эту звезду на небосклон запустил? Дайте мне любого, отполирую так, что засияет не хуже! Ну, кто согласен сиять?

Колтунов засмеялся:

— Я вижу, Алексей Максимович насчет ереванского коньяка не ошибся. А насчет самородков — это спорно.

— Спорно, спорно, весьма спорно, — поддержал Васильев. — Бесспорно только то, что сейчас метро закроют.

— А я согласен, — сказал Саша. — Не знаю, может быть, это коньяк, но я согласен: запускайте!

— Нет, — резко сказал Ильин. — Нет, Саша, нет!

— А почему нет? Там дело, а у тебя речи. Я ими однажды уже насытился, на двадцать лет хватило! Но, как говорит Касьян Касьянович, «природа не терпит пустоты». Я правильно вас цитирую?

— И все равно — нет! Нет, Саша, — говорил Ильин. — Да ты этого и не сможешь. Для этого надо второй раз родиться!

— А почему бы и не родиться? — спросил Касьян Касьянович. — Не юрист, а инженер? Чем плохо для помощника? Важно, что высшее законченное! Еще какие крестины справим! Что на язык остер? Так это, Евгений Николаевич, по нынешним временам очень даже годится! Что улыбаться не умеет? Научим!

— Нет, — говорил Ильин. — Нет, нет, все равно нет!..

И когда гости ушли, он ходил и ходил по комнате и повторял: «Нет, нет, все равно нет!»

— Ты что-то поглупел, Женя, — сказала Иринка и ушла к себе.

Ильин открыл окно — зверски как было накурено. Ночь холодная, темная, дождь, под фонарем стоит Большой Игнат, и Касьян Касьянович развозит гостей. Это

значит, что мушкетерам придется топтать пешком — не слишком приятное дело по такой мокропогодице. «Что поделаешь, — скажет Портос-Колтунов, — сами ж мы и напросились». — «Ничего, ничего, — скажет Арамис-Слиозберг, — надо пройтись после рюмки». И только третий мушкетер ничего не скажет. Он будет ежиться всю дорогу, вспоминая сегодняшние высокие глаголы: кто их знает, этих Касьяновичей и Васильевичей, со всеми их конторами и командами. Посмотрим еще, как пойдут дела со Сторицыным. Многие еще могут загреметь... «Но могут и не загреметь», — заметит другой мушкетер, и все трое согласятся на том, что неизвестно, какие козыри есть у умного Окуненкова и что в конечном счете скажет суд.

Ильин еще долго сидел у себя в кабинете и думал. Думать было нелегко, и он вспомнил Штумова: закурите, если вам этого хочется, — открыл пачку, которую Иринка держала на всякий случай, закурил, но ничего не почувствовал, кроме горечи. Он тут же смял папиросу. Ну что ж, спать так спать. Но спать не хотелось. Огромный день еще держал его, и все казалось, что еще что-то должно случиться. Да нет, ничего уже не может случиться. Он дома, Иринка спит, спят дети, наверное все спят и в самолете, который летит сейчас в Среднюю Азию. Ильин так близко чувствовал его гудящее тело, как будто сам был пристегнут взлетными ремнями. В последний раз мелькнул силуэт СЭВ, самолет взял круто вверх, началось небо. Качались далекие планеты, на землю сыпались звезды — осенний звездопад был в разгаре, и казалось, что работает гигантская паровозная труба. А над всем этим стояли дикие терриконы Млечного Пути. Ильину хотелось, чтобы сама природа дала ему пример ясности и полезности бытия, а мир вставал перед ним в хаосе.

А как все было ясно весной, как он ладил с этим небом, умело складывая звезды в знакомые многоугольники: Лебедя, Ориона, Веги и Медведицы, и под аэрофлотовские леденцы уверенно чувствовал себя частицей этой хорошо проверенной и грамотно устроенной Вселенной. В конце концов, каждый человек по-своему видит мироздание. Один видит в нем сверкающую огнями комфортабельную гостиницу, другой — дом как дом, в котором надо работать и платить и за радости, и за горе.

Ильин встал, потушил свет, но только вышел из кабинета, как что-то родное и теплое ткнулось ему в плечо.

— Это ты, Андрей? — спросил он шепотом, боясь, что Иринка услышит, но Андрей не отвечал, и Ильин спросил: — Почему ты не спишь?

— Не спится, — сказал Андрей. — Давай сегодня не спать, давай до утра, хочешь?

— Но как же так, тебе завтра в школу, а мне на работу...

— Один только раз, давай, а?

— Ну что ж, давай, — сказал Ильин. Ему тоже не хотелось оставаться одному этой ночью.



ВРЕМЕНА  
И ЛЮДИ

*роман*





---

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

К

то видел Ленинград в дни невских и ладожских ледоходов, тот навсегда запомнит его Chesпокойную весну. В эти дни особенно хороши и река, быстро несущая к заливу свою ломкую ношу, и город, неожиданно сблизившийся с природой.

Весь день по Неве движутся серые льдины. Чернорабочие ледохода, его безвестные труженики, они идут кучно, подталкивая друг друга ребрами, задевая гранитные спуски. Глухой треск стоит под мостами, где день и ночь водовороты кружат и ломают неуспевшие проскочить льдины.

Прошел невский лед, и наступает благодать. Яркое солнце, безоблачное небо, ни ветерка... Долой шубы, шапки, шарфы, долой валенки и боты! Где-то на Выборгской прошумел дождик, в Летнем саду уже видели молодую траву, кончилась снежная суматоха.

В один из таких горячих дней на Неве снова появляется небольшая льдинка. То сверкая на солнце, то прячась в тени, она не спеша плывет к заливу. Эта маленькая льдинка всего лишь осторожный разведчик.

С Охты видно, как идут ладожские штурмовые полки. И когда они входят в город, кажется, что вместе с весенним ледоходом устремились вперед, к морю, все ленинградские шпили, башни и ростры. Давно зашло солнце, а вечерняя заря еще долго горит на белом Chesпокойном льду. И даже ночью ле-

дьяной материк не теряет своего стойкого белого цвета, и тшечно кипит под новой Арктикой жадная черная вода.

Новое утро — и новые атаки с Ладоги. Река заполнена льдом, больше нет волн, вода зеленая и гладкая, как каток, по ней шурша скользит лед. Стеклянным шорохом наполнен воздух, в котором двумя равноправными потоками мчатся зима и лето. Оранжево-пепельный дым стелется над скалами льда, берега случайны, горизонт сломан, небо завернуто в черные тучи, но уже то тут, то там сияет в высоких просветах грозное майское солнце.

В том году весна была поздняя. Берлин был взят, а ладожский лед еще не прошел. Он двинулся только после праздника Победы, но прошел быстро. За три дня все было кончено. Последние льдины плыли медленно, умирая в пути.

На набережной Невы былолюдно. Праздничный день остался позади, но праздничное настроение еще бурлило, и как-то не верилось, что начались трудовые будни. Все радовало людей: и свежевыкрашенный катерок, идущий навстречу последним льдинам, и чайки, бурно празднующие мир, и теплые брызги весеннего дождика...

Среди гуляющего народа резко выделялась одна молодая женщина. На шелковое платье, по-видимому сохранившееся еще с довоенных времен, надета поношенная меховая жилетка. На голове солдатская шапка-ушанка. И только черные хромовые сапожки сшиты по мерке, и, кажется, по самой маленькой мерке.

Она не смотрела на Неву, не прислушивалась к птичьему клекоту и посвисту тяжелых крыльев, не повела плечом, когда упали первые дождевые капли. Ей, видимо, хотелось как можно скорее вырваться из толпы: она шла быстро, но было похоже, что идет она без цели.

Дворцовый мост. Стрелка. Университетская набережная. Молодая женщина остановилась над Невой. В совершенно прозрачной воде, какая только и бывает после ледохода, спокойно и почти неподвижно отражалась арка Адмиралтейства... Не были заметны осколочные ранения на стенах, не видно было жестоких рубцов на колоннах и статуях. Волна смыла камуфляжные полосы на зданиях; Ленинград был невредим в этом волшебном невоском кристалле.

Внезапно какая-то тень сломала арку Адмиралтейства, надвинулась на знакомые с детства здания...

Небольшая льдина одиноко плыла вниз по реке. Было уже тепло, но льдина плыла вниз, безразличная ко всему в своем мерном движении к морю.

Молодая женщина шла по набережной и сосредоточенно следила за последним осколком ледохода. Чем ближе к заливу, тем круче волна. Льдина теперь часто окуналась и надолго исчезала, потом снова всплывала и, покачиваясь, двигалась дальше.

Когда волна подхватила желтую пену — все, что осталось от льдины, — молодая женщина закрыла лицо руками.

Она плакала не стыдясь. Вокруг не было ни души.

Только к вечеру она вернулась в город. На мосту кто-то окликнул ее:

— Катя!

Голос был удивленный и радостный. Она осмотрелась по сторонам, но никого не узнала. И в ту же минуту какая-то девушка повисла у нее на шее:

— Катя!

Ну конечно, девушка была ей знакома. Но с тех пор прошло четыре года... До войны они вместе учились в педагогическом. Звали эту девушку Симочка... Только вот фамилию забыла...

— Катя, вы, кажется, были здесь всю блокаду?

— Да, была...

— А потом пошли в армию?

— Да...

— Это замечательно!.. Но вы, значит, так и не кончили институт? Ясно, ясно, все сразу невозможно успеть. А я вот в прошлом году кончила. Сейчас у меня громадная общественная работа. Помогаю райкому комсомола. Что?

— Я ничего не сказала.

— Большая работа. Правда, еще не в штате, но это только начало. Люди с высшим образованием очень нужны. Ну, вы-то теперь все возьмете от жизни. Вы же такая способная, я помню. Продолжать учебу фронтовикам можно без вступительных экзаменов. Вы еще нигде не работаете?

— Нет.

Катя отвечала коротко. Ей не хотелось разговаривать с Симочкой. Да и вообще ей ни с кем не хотелось разговаривать.

А Симочка все продолжала что-то рассказывать, обещала зайти, советовала как можно скорее начать учиться или работать, советовала переделать платье, материал еще очень хороший.

Когда Катя добралась до дому, начались слабые сумерки. Во дворе на веревках были развешаны ковры, полушубки, накидки, шали. Хозяйки ожесточенно колотили по ним палками. В облаках пыли бегали дети, играя в штурм Берлина. Где-то пела Кармен.

Катя поднялась к себе на шестой этаж. Здесь было тихо: окно ее комнаты выходило на пустырь, заваленный железным ломом, дальше виднелся синий кусочек Невы.

Открыв дверь, Катя вспомнила, что забыла купить хлеб. С тех пор как она сдала военный аттестат и получила гражданские карточки, это уже не в первый раз. Но не хотелось снова выходить из дому. Есть банка консервов, в кастрюльке осталась вчерашняя каша, надо только подогреть.

Катя наскоро поужинала, легла и сразу же почувствовала, что не может уснуть.

В комнате не было занавесок, белые сумерки свободно проникали в окно. Стол, тахта, диванчик, письменный стол, буфет — все стояло, как и раньше, все было, как и до войны. Даже посуда в буфете, даже коврик возле диванчика, а на стене гравюра из альбома «Старый Петербург — новый Ленинград», которая ей так нравилась. Она сама ее окантовала. А фотографий на стенах она не любила.

Да, все так, как и раньше, только почему-то нет занавесок. Так она и не могла понять, куда же они все-таки делись. Никто их взять не мог.

В квартире было три комнаты. На одной из них вот уже четыре года висел замок: хозяйка эвакуировались в июне сорок первого и еще не вернулись. Третья комната принадлежала столяру-краснодеревщику и его жене Елизавете Дмитриевне, массивной старухе, помешанной на чистоте. Катя ее побаивалась. Впрочем, все это было очень давно...

У окна стоит пустая детская коляска. Как только входишь, она сразу же бросается в глаза.

Непременно надо вытащить ее из комнаты. И просто-напросто подарить кому-нибудь. Но может быть, ей скажут: «Благодарю вас, но у меня уже есть своя. Разве вы

не видите, вот мой ребенок в новой коляске. Я три часа в очереди стояла, но все-таки купила». Тогда Катя толкнет пустую коляску, и она неловко покатится по камням.

С необычайной остротой вспомнила Катя давно прошедшие времена. Девчата притащили эту коляску вместе с письмом: «Маленькой маме, комсоргу второго курса, Кате Вязниковой». И все с удивлением и завистью смотрели, как она пеленает своего Егорушку, заворачивает в одеяльце, а он, улыбаясь, смотрит на незнакомый ему мир.

Аркадий говорил, делая вид, что сердится: «Тебе хорошо, у тебя декрет, а у меня экзамены на носу. Вот не додумалась Советская власть давать отпуск отцу...»

Конечно, девчата завидовали ей. Вообще все ей завидовали. На улице, она это замечала, старались заглянуть в коляску. Егорушка был очень красивый мальчик.

Егорушке не было года, когда он умер. Вот в этой самой комнате, в этой коляске.

Она размачивала хлеб водой, давала ему с руки хлебную кашу, но он не мог есть, выплевывал все обратно и смотрел на нее печальным, прощающимся взглядом.

Она была уверена, что он все понимает. Ведь он совсем не плакал. Наверное, у него не было сил заплакать.

Катя осталась жить. Она пошла в Колпино к Аркадию. На Ижорском заводе стоял дивизион, в котором служил Аркадий. На КПП Катю подобрала попутная машина.

Отцы не так переживают, как матери, Аркадий многого не знал, он не знал, что Егорушка все понимал, понимал и прощался.

Аркадий целовал Катю в глаза и все время повторял: «Мы еще молоды, у нас еще все впереди. Дай только войне кончиться». Зимой сорок первого года в Колпине говорили о войне так, словно она уже шла в пригородах Берлина. Но до Берлина Аркадий не дошел. Весной сорок второго она получила короткое извещение. Друзья рассказали подробности его гибели. Они привезли его полевую сумку с зеленым выцветшим верхом. Там было последнее его письмо. Знакомый почерк, знакомые слова: «Подожди, дай только кончиться войне...»

И все-таки на войне было легче. Там она была как будто все время с Аркадием и с Егорушкой. Здесь, в этой комнате, она отъединена от них такой страшной тоской,

какой еще не знал никто: ни один человек, ни одна мать, ни одна вдова. «Никто бы этого не выдержал», — думала она.

Но так думали многие.

Она завидовала тем растрепанным женщинам во дворе, которые выколачивают пыль из ковров и полушубков. Муж дома, отдыхает, сидит за столом без пиджака, в подтяжках, закурил, думает что-то свое, мужское, подошел к окну. Увидел сына и крикнул: «Мишка, домой, это еще что за цирк!»

Она была готова всю жизнь колотить эти дрянные коврики, до скончания века.

Если бы жив был Егорушка, ему было бы сейчас четыре года. . .

Если бы остался в живых Аркадий, они каждый день вспоминали бы вместе своего мальчика, и Катя бы забыла, как он с нею прощался.

Она не думала о том, как могло быть, если бы оба остались живы. Она знала, что войны немилосердны. Но одного из них война должна была сохранить.

Уходили минуты, ушли еще сутки послевоенной жизни. Пришло завтра.

2

Командир батальона Иван Алексеевич Федоров испытывал смешанное чувство радости и тревоги. Еще совсем недавно он, так же как и все, был уверен, что его дивизия и весь корпус останутся в оккупационной армии. Затем «из верного источника» стало известно, что их посылают воевать на Дальний Восток, но оказалось, что и это не так. И только в июне был получен приказ, в котором ясно было сказано, что корпус «имеет назначение следовать в Ленинградский военный округ». Указывались места для летних лагерей и для зимних квартир.

От всех этих слов — «округ», «лагерь», «зимние квартиры» — люди давно уже отвыкли. А многие не знали и даже не представляли себе службу в мирное время. И не только солдаты, но и офицеры.

— В выходной день пойду с женой в театр, — сказал Иван Алексеевич и засмеялся. Все слова звучали, как только что созданные,

Иван Алексеевич женился два месяца назад и радовался теперь не столько за себя, сколько за жену. В конце концов он человек военный и ему всюду будет одинаково хорошо. А для Тамары это большое дело. Она ведь никогда не бывала в таких культурных центрах, как Москва и Ленинград. И вообще, что она видела в жизни? Она родилась в Новинске, небольшом городке, который во время войны был занят немцами и превращен в один из опорных пунктов их очередного «вала». «Вал», «наступление», «отступление», «акция», «зондеркоманда», «ферботен»,<sup>1</sup> «штренгферботен»<sup>2</sup> и «за неисполнение...» — вот что она слышала в дни своей юности.

Год назад корпус, в котором служил Иван Алексеевич, прорвал линию немецкой обороны под Новинском и с тех пор стал именоваться «Новинским». Тамаре в то время было двадцать лет. Во время оккупации она работала официанткой, после освобождения Новинска — санитарницей, а потом в военторге.

Иван Алексеевич увидел ее после взятия Новинска в медсанбате, где он лежал раненный, и влюбился, что называется, «на смерть».

— Пропал наш Поддубный, — говорили в полку об Иване Алексеевиче. Прозвище это давно за ним укрепилось благодаря его коренастому сложению и большой физической силе.

В Ленинграде у Тамары оказались даже какие-то дальние родственники — двоюродная тетка или что-то в этом роде, и было решено, что она уедет из Берлина как можно скорее, а встретятся они в Ленинграде, куда корпус пойдет «своим ходом».

Через три дня после решения Иван Алексеевич провозжал жену. На старой полковой «коломбине» — много раз латанной «эмочке» — они въехали в толпу нарядных «бьюнков» и штабных «мерседесов». Водитель машины выскочил первым и стал озабоченно осматривать скаты.

Вокзал был разбит вдребезги, и до поезда надо было добираться по узкой тропинке, проложенной через нагромождение камней, кирпичей и балок.

Тамара смело шла впереди, а Иван Алексеевич с чемоданами едва поспевал за ней. Он чувствовал, что все взгляды устремлены на Тамару, он это физически ощу-

<sup>1</sup> Запрещено (нем.).

<sup>2</sup> Строго запрещено (нем.).



щал и впервые испытывал острое и такое несвойственное ему смущение.

На Тамаре был костюм из тонкой серой шерсти, отделанный на манжетах и воротнике черным бархатом. Серые замшевые туфли на тонких каблучках поминутно приходилось вытаскивать из каменных расщелин, но Тамара это прodelывала с акробатическим изяществом. Выйдя замуж, Тамара стала одеваться с поспешностью голодного.

Когда Иван Алексеевич впервые увидел Тамару, на ней была белая блузка из вискозы, поношенная и засаленная, и черная, тоже вискозная и тоже поношенная, юбка. Блузка, юбка, чулки — все это как-то тревожно шуршало. Такой она ему запомнилась — шуршащей и тревожной.

Сегодня она была уже совсем другая, серый костюм необыкновенно шел к ее смуглому лицу. Тамару с детства звали цыганкой. Черноволосая, смуглая, и, как это часто бывает у ярких брюнеток, на лице, на шее и на груди — маленькие родинки. Она носила длинные серьги, и это еще больше придавало ей сходство с цыганкой. Между прочим, немцы так и решили. Какой-то начальник уже приказал отправить ее в душегубку, но нашлись люди, которые подтвердили, что она русская, и что ее крестили в двадцать четвертом году, и что ее отец, ветеринарный фельдшер, имел за это неприятности.

— Какие неприятности? — спросил Иван Алексеевич.

— Не знаю, — смеясь, ответила Тамара, — кажется, его вызвал председатель месткома.

«Единство противоположностей» — вот как говорили об Иване Алексеевиче и Тамаре. Действительно, Иван Алексеевич был настолько же бел, насколько Тамара черна. Он одно время отращивал усы, и они казались седыми и старили его. Даже от солнца он не темнел, кожа становилась какой-то рыжеватой.

В коридоре вагона Иван Алексеевич обнял жену и поцеловал ее в щеку. Она засмеялась и, стиснув своей маленькой ручкой в тесной лайковой перчатке его тяжелую, сильную руку, прошептала:

— Знаешь, я так рада, так рада, боже мой, — Ленинград! Я так об этом мечтала. . .

В купе сидели три офицера и внимательно рассматривали Тамару. Ивану Алексеевичу снова стало нелов-

ко, он хотел что-то сказать, но ничего не сказал и поцеловал Тамару в лоб.

— Подумать только, в Ленинграде есть Театр оперы и балета, бывший Мариинский, — сказала Тамара. — Ты ведь там бывал? — громко добавила она, так, чтобы слышали офицеры в купе.

— Угу... — подтвердил Иван Алексеевич.

Но это была неправда. Он всего один раз был в Ленинграде, да и то ночью, во время финской кампании. Где же он мог побывать и что он мог запомнить в ту ночь, когда шел по широким и темным улицам Ленинграда, освещенным только синими маскировочными фонарями?

Вскоре после того как Тамара уехала, Новинский дважды Краснознаменный корпус вышел из Берлина в Ленинград. Корпус был полностью механизирован, и не имело смысла перегружать и без того перегруженные железные дороги. Весь поход заранее спланировали. Было решено, что корпус примет участие в параде войск, а до этого разместится в старых питерских казармах, где люди отдохнут и приведут себя в порядок.

По всему пути из Германии домой их встречали восторженно и торжественно. Народ выходил на улицы, женщины плакали, высматривая мужей и братьев, но высмотреть кого-нибудь было трудно: все были на машинах и двигались очень быстро: И даже когда дорога проходила через леса, то и там их встречал народ. Многие в то время еще жили в лесных землянках.

Иван Алексеевич чувствовал себя утомленным, но не от дорожных трудностей, а от великого наплыва чувств, от женских слез, возгласов, пожеланий и цветов. Как и тогда, в финскую, они снова вошли в Ленинград ночью, но тогда было по-зимнему темно, а сейчас город был отчетливо виден. Едва только на светлом горизонте показались контуры Ленинграда, такие знакомые по книгам, картинам, фотографиям и фильмам, едва только заводские и фабричные дымы начали разрезать черными клубами пустое блеклое небо, небо без солнца, без луны и без звезд, как усталость сменилась беспокойным ожиданием. Новое чувство быстро передавалось от одного человека к другому. И хотя на весь корпус был только один человек, который помнил и Краснова и Юденича (это был командир корпуса), все сейчас думали об одном:

что именно на этих местах впервые на нашей планете власть взяли трудовые руки.

Эти воспоминания были неотъемлемы от первых впечатлений. Земля здесь была повсюду вспахана и перепахана тысячами и даже десятками тысяч снарядов и бомб, слева и справа вдоль шоссе торчали предупреждения саперов: «Осторожно — мины!» Семнадцатый год был здесь плотно перемешан с годом сорок первым.

На Пулковской высоте торчали жалкие обломки — все, что осталось от астрономической столицы мира, от знаменитой обсерватории. И все же каждый человек смотрел именно туда, на вершину холма, на черные сучья, бывшие когда-то цветущими деревьями, на обугленное, развороченное жилье, мысленно сближая старые и новые дела и победы.

В Ленинград корпус вошел с развернутыми знаменами. Был пятый час утра. Город спал, освещенный блеском рассвета, ярким и холодным.

Весь следующий день люди приводили себя в порядок. Полк, в котором служил Иван Алексеевич, разместился в старых казармах. Казармы были очень удобные, светлые и чистые, но сырые. С похода солдаты спали крепко, но на следующий день кое-кто стал жаловаться на простуду.

— Чертовщина какая-то этот ленинградский климат, — смеясь, сказал командир полка Камышин Ивану Алексеевичу, и Иван Алексеевич в ответ тоже улыбнулся, поняв, что Камышину все здесь нравится, даже эта «чертовщина» — сырой ленинградский климат.

Камышина Иван Алексеевич любил за его ровный, спокойный характер (сам он этим похвастаться не мог), за то, что тот не гонялся ни за чинами, ни за положением. Ему нравилось, что Камышин человек образованный, много в своей жизни читал и следил за искусством, а это всегда связано с большой душевной работой. Впрочем, если бы Ивана Алексеевича спросили, за что он любит Камышина, он бы, вероятно, ответил не сразу, а может быть, и вовсе не ответил.

За последнее время он все чаще и чаще замечал во взгляде Камышина усталость. «Наверное, в молодости это был совсем другой человек», — думал Иван Алексеевич.

Мало кто знал в полку, что этот ровный, спокойный, даже медлительный человек двадцать лет назад, будучи студентом последнего курса исторического факультета, внезапно заявил, что призвание его в другом, что он хочет стать военным. Он бросил университет, пошел в военное училище и только через много лет и в очень невысоком звании попал в академию. И все это в самом остром несогласии с женой, молодой, красивой и избалованной женщиной. Свое новое призвание ему пришлось защищать упрямо и не без потерь для самого себя.

Иван Алексеевич попросил у Камышина разрешения отлучиться часика на два: хочется повидать жену, которая давно уже в Ленинграде.

— Ну конечно, конечно, только узнайте получше, как добираться. На машине не советую, пропусков ленинградских у нас еще нет, обязательно нарветесь на милицию. И уж, пожалуйста, после генерала. Он, наверное, скоро прибудет.

Словно в подтверждение этих слов послышался зычный голос дежурного:

— Полк, смирно!

Когда Камышин говорил о генерале, он имел в виду одного Бельского, а приехал и Бельский, и командир корпуса Шавров, человек старый и больной. Все знали, что он очень болен, но никто не знал, чем именно. Во всяком случае, это было что-то сердечное. Говорили, что больное сердце — результат отравления газами в первую мировую войну.

Шавров принял рапорт от Камышина, втроем они пошли по казарме.

Командир корпуса шел молча, как всегда заложив за спину маленькие, тонкие, сжатые в кулаки руки. Бельский, выбритый, как говорил штабной парикмахер, «до зубов», розовый, сияющий, шел уверенно и чуть впереди всех.

На втором этаже, в расположении батальона Федорова, Шавров остановился, перевел дыхание и сказал Камышину:

— Какие молодцы! Не так, чтобы за час до парада чиститься и крахмалиться, а прямо хоть сейчас на парад.

— У них тут, товарищ генерал-лейтенант, старшина боевой, — вмешался Бельский. — Петр Иванович, просим, — сказал он шутливо старшине и представил его

командиру корпуса: — Старый наш солдат, воевал с вами еще под Воронежем.

Память у Бельского была прекрасная, особенно на имена и названия. Этой своей способностью он умел хорошо распоряжаться. Однажды, уже в конце войны, Бельский удивил представителя штаба фронта, без запинки перечислив около тридцати населенных пунктов, взятых нами в Восточной Пруссии. А ведь он не знал ни одного немецкого слова!

По имени-отчеству Бельский помнил почти всех старослужащих солдат. Командиру корпуса нравилось и это, и то, что Бельский умел с ними побалагурить накоротке. Сам Шавров был посуше.

Иван Алексеевич не обратил внимания на знакомый шутивно-добродушный тон Бельского. Главное было в том, что Шавров похвалил его «хозяйство» и именно эту роту, но заслуга здесь была отнюдь не старшины, а капитана Жолудева, очень способного и старательного офицера, недавно выбранного секретарем батальонной партийной организации.

— Разрешите доложить, товарищ генерал-лейтенант, — сказал Иван Алексеевич, чуть выступив вперед. — Ротой командует капитан Жолудев.

Шавров кивнул головой, а Жолудев тоже сделал шаг вперед и встал в положение «смирно».

— Отмечаю, товарищ Жолудев, что вы в новых условиях сумели быстро навести порядок, — сказал Шавров.

Иван Алексеевич был очень доволен. Но на обратном пути из казармы он слышал, как Бельский сказал Камышину:

— Этот, как его, ваш новенький, Жолудев, что ли, какой-то он тощий, грудь как у горбатого.

К счастью, Шавров тоже услышал этот разговор.

— Давид, как известно, победил Голиафа, — сказал он негромко, но очень внятно.

3

Рано утром в дверь постучали. Кому нужна Катя? Наверное, Елизавете Дмитриевне: надо условиться о днях коммунальной уборки...

Но это была Симочка. С ходу она начала извиняться. Она не знала, что у Кати такое несчастье. Конечно, боль-

шое несчастье — потерять мужа и ребенка. Что делать — война. Миллионы советских людей принесли жертвы...

Но тут она взглянула на Катю и запнулась.

— Вы уже завтракали? Нет? Впрочем, я ведь теперь тоже не дома питаюсь. И завтракаю, и обедаю, и ужинаю в райкоме. У нас столовая исполкомовская. А к вам специально забежала. Хотите, я уберу вам комнату? Пыль вытереть? Зажечь вам примус?

— Спасибо, ничего не надо.

— Но ведь вы еще не ели, — настаивала Симочка. Было видно, что такая опека ей по душе. Она улыбнулась, а улыбка у нее была прелестная. Да и вся Симочка была прехорошенькая.

— Ничего не надо, — повторила Катя. — Все это зря...

Симочка нахмурилась, но тут же снова улыбнулась:

— Ну что вы в самом деле!.. Я уверена, что мы поладим. У меня уже есть немалый опыт.

«Как у зубного врача, — думала Катя. — Если бы и в самом деле боль можно было выдернуть, как негодный зуб».

— Да, у меня есть опыт, — сказала Симочка, увлекаясь. — Не так давно я вернула к жизни одного товарища... Представьте себе: шинель — и правый рукав болтается. Вначале он тоже сопротивлялся.

— Не хотел возвращаться к жизни? — спросила Катя. Симочка тактично промолчала. Потом сказала:

— Послушайте меня, Катя. Вы еще молоды. Нельзя же из-за того, что была война, остаться недоучкой. Мы, люди интеллигентные, нужны сейчас как никогда. Если вам тяжело учиться, я вас устрою в школу. Будете, как и раньше, преподавать ботанику. Хоть с завтрашнего дня. Идет?

— Спасибо. Подумаю.

— Можно вас устроить на заочный. Милая, я уверена, что все будет хорошо. Если взгрустнется, приходите ко мне...

Когда Симочка ушла, Катя не спеша оделась. В шкафу на распялках висели платья. Катя дотронулась до них, и ей показалось, что материал от времени истлел и

вот-вот разлетится, как жухлый лист. Все-таки она выбрала одно, белое в синий горошек, без рукавов.

Из окна веяло теплом, весной, солнцем. Конечно, так лучше, чем в том дурацком шелковом балахоне. Катя с удивлением рассматривала свои тонкие белые руки. Там, в Германии, было жарко. Лицо загорело, а руки и шея остались белыми, как у больной. Медленно расчесала волосы, стянула косынкой. У нее были тонкие, очень ломкие волосы. Такие, сколько ни причесывай, всегда выбьются, всегда прическа в беспорядке. За эти годы волосы потемнели, стали совсем каштановыми.

И очень бледные губы. Просто удивительно, как это у такой молодой женщины такие бледные губы. Глаза теплого коричневого цвета, прекрасные, страдальческие, а губы сухие, потрескавшиеся.

Она не похудела за войну. Тоненькой и стройной она была всегда. В детстве ее звали олененком.

Трудно жить, когда каждое движение вызывает в памяти тех, кого уже нет, кого она уже никогда не увидит...

В тот день Катя снова пошла по набережной, но не к центру города, а вверх по Неве.

Это был Ленинград, хорошо знакомый ей с детства. Из поколения в поколение Вязниковы жили здесь, за Невской заставой. Катя, конечно, не помнила старые времена, когда не было ни Охтинского моста, ни мельницы имени Ленина, ни Володарского дома культуры. Но она хорошо помнила двухэтажный Ленинград, деревянные домики с палисадниками и огородами.

Отец Кати, Григорий Михайлович Вязников, любил рассказывать о временах уже далеких и все еще близких. Здесь стояли первые баррикады. Сюда приезжал Ленин, и отсюда шли к Ленину. Отсюда уходили бить белогвардейцев. В те годы жителей двухэтажного Ленинграда можно было встретить и под Киевом, и на Кубани, и в Омске, и на Белом море. Те, кто остался жив, нигде не застряли, все вернулись домой, за Невскую. Добрая слава о них осталась и на Украине, и в Сибири, и на Кавказе. А заневскую сталь, заневские полотна, заневский фарфор знала теперь вся страна.

Григорий Михайлович тридцать лет проработал печатником в Заневской типографии и еще бы столько проработал, если бы не блокада. Месяцем позднее умерла

Катина мать, Евгения Петровна. И не столько от голода, сколько от тоски по мужу. Отказалась от стационара, работала день и ночь. И вот мокрым мартовским вечером прилегла отдохнуть и больше не проснулась.

Катя остановилась возле садика, в глубине которого виднелся небольшой двухэтажный дом. Он почти терялся рядом с огромным шестизэтажным зданием текстильного комбината, корпуса которого занимали три квартала.

Она открыла калитку. Земля была разделана по-дачному, на клумбы, дом обнесен елочками. До революции в нем жил бельгиец-метранпаж, он же и управляющий. Типография принадлежала святейшему синоду, а в шестнадцатом году бельгиец купил ее у святых отцов, но неудачно: через год пришли другие хозяева.

Вот и дощечка, памятная Кате с детства: большими буквами — кегль 28 — напечатано: «Партком». Отец рассказывал, что до революции здесь была «мюзикциммер», стояли рояль и фисгармония. Жена и дочка метранпажа играли в четыре руки, но шум плоских машин мешал им...

Катя толкнула дверь и вошла. Она сразу почувствовала, что происходит нечто необычное. Никогда здесь не было такой суеты. Все шкафы и столы были открыты, а книги, бумаги, папки выносили из комнаты. Наконец взялись за мебель...

Если бы Катя была более внимательна, она бы заметила, что то же происходит и в других комнатах — бумаги и вещи выносили и из местного комитета, и из дирекции.

Всем этим командовала пожилая женщина в очках и с тлеющей папиросой в костяном мундштуке. Анна Николаевна? Ну конечно же, это она, Анна Николаевна Модестова... Кажется, она раньше не носила очки? Нет, именно Анна Николаевна носила очки...

Катя стояла на пороге комнаты, не зная, входить или не входить. Что связывало ее теперь с этой большой комнатой и с этим домиком? Ровно ничего. Теперь ровно ничего.

— Катя! — негромко позвала ее Анна Николаевна и приподняла очки. — А ну-ка подойди ко мне...

Катя подошла, уже сердясь на себя, что вовремя не смогла избежать этой встречи. Это ведь не Симочка, нельзя будет обойтись так просто, как утром.



— Катя Вязникова, дочка Григория Михайловича, — сказала Анна Николаевна какому-то усатому мужчине. Левою рукой она взяла Катю за плечи и привлекла к себе.

И каждому, кто к ней подходил, а к ней все время кто-нибудь подходил, она говорила:

— Это Катя Вязникова, дочка Григория Михайловича...

Катиного отца здесь все знали. А Катю помнили «вот такой — от горшка два вершка», помнили с двумя тоненькими беленькими косичками и потрепанным портфельчиком в руках — школа ее была в двух шагах отсюда.

Может быть, поэтому Кате впервые за все эти дни стало как-то полегче. Здесь она была девочкой, дочкой Григория Михайловича и Евгении Петровны. Ее родителей хвалили, они были людьми честными, справедливыми и хорошо постарались для рабочего класса. А дочка воевала. До Берлина дошла? Вот молодчина!..

— Петра Герасимовича помнишь?

— Нет, не помню... Хотя постоите... Высокий такой, худой, с бородкой? И у него жена — тетя Манечка...

— Ну вот так, правильно, — сказала Анна Николаевна. — Петр Герасимович Бурков теперь директор типографии. Мы ведь все одногодки. Я, Григорий Вязников и Петр. А вот и он, легок на помине, — сказала она, глядя в окно. — Петр Герасимович! — крикнула Модестова. — Звонили из семнадцатого детдома, а мне на две половины не разорваться. Я ведь просила у вас людей...

— А я, Анна Николаевна, дал вам людей, — сказал Бурков. — Тетя Паша — раз, Кушнарера — два...

— Очень мало, — строго сказала Анна Николаевна. — Общезитие подготовить надо, ведь только сейчас помещение освободили. Да к тому же Кушнарера совсем больна.

— Знаю, знаю, — подтвердил Бурков. — Говорят, ты ее грузчиком работать поставила?

— Тут веселье небольшое, — сказала Анна Николаевна. Глаза ее вспыхнули. — В детдоме ждут, а ехать некому. Посылать надо человека толкового, чтобы мог привезти ребят.

— Это понятно, — ответил Бурков. — А кто это рядом с тобой? По-моему, Катя Вязникова... »

— Это я, — сказала Катя.

— Да объясни ты ей, что надо сделать, она сделает, — сказал Бурков так просто, словно он только вчера виделся с Катей. Он вынул из бумажника продовольственные карточки и, ловко вырезав ножницами талон, дал Кате. — И поешь обязательно. А то ведь эта не накормит. Поешь, поешь... У меня на сегодня еще два стахановских талона осталось...

4

Грузовик громыхал по бульжной мостовой. Катя сидела рядом с шофером. Все вышло так неожиданно...

Модестова коротко и очень точно объяснила суть дела. Типография, впрочем как и любое другое ленинградское предприятие, испытывает сейчас острую нужду в рабочих. Ждать, когда начнется демобилизация? Но трудно сказать, когда это будет. Надо брать пополнение рабочему классу из детских домов. Брать ребят на предприятия и учить «с руки». Конечно, кто не захочет, тот может идти в ремесленное.

Самой трудной оказалась проблема жилья. И вот на чем порешили: административный домик отдать под общежитие. Дирекцию и партком на время разместить в «конторках» при цехах.

Когда Анна Николаевна назвала номер детдома, Катя насторожилась. Семнадцатый детдом. Тот самый номер, если только она не перепутала.

— На Пестеля? — спросила Катя.

— Да, на Пестеля.

Как будто все было только вчера, так ясно видела Катя дощечку: «Детский дом номер семнадцать».

Зима сорок второго. В те дни были созданы отряды ленинградских комсомольцев. Они помогали тем, кому еще можно было помочь.

Мальчика, которого спасла Катя, она принесла в детский дом номер семнадцать на улице Пестеля.

— Назовем Сергеем, — сказал грузный пожилой человек с отечным лицом, заведующий детским домом. — А как ваша фамилия?

— Вязникова...

— Ну, значит, пока он Сережа Вязников.

«Как же так? — думала Катя. — Пятый день я в Ленинграде и не зашла туда. Даже не попыталась разыскать Сережу Вязникова».

Грузовик остановился на улице Пестеля. Катя быстро вбежала в парадную, позвонила. Прошло мгновение, дверь открыли, и Катя замерла от неожиданности. На пороге стояла Симочка, улыбающаяся, веселая и свежая. Увидев Катю, она тоже растерялась, улыбка еще осталась, а взгляд выражал полное недоумение.

В это время из глубины послышалось:

— При-вет до-ро-го-му ше-фу, при-вет до-ро-го-му ше-фу...

— Я... я приехала за детьми, — сказала Катя.

— А мне поручили... — Симочка разглядывала Катю, словно видела ее в первый раз, — специально поручили встретить представителя с производства... Конечно, я не знала, что приедете вы. Сегодня утром вы ведь еще нигде не собирались работать.

— Я не работаю. Меня просили, я приехала.

— Ах вот как!..

Они вошли в большую, просторную комнату, где ребята еще раз повторили приветствие. Симочка одобрительно улыбнулась, потом лицо ее стало строгим, она вышла на середину комнаты и торжественно обратилась к Кате:

— Дорогой товарищ! Воспитанники детского дома приветствуют в вашем лице руководство типографии и счастливы, что смогут оказать своим трудом помощь производству.

Катя молча покачала головой. Пышных речей она не выносила.

— Не все счастливы, — сказал черненький мальчик с яркими глазами. — Вот Лиза Кондратьева боится на фабрику. Вон ревет в углу. Саша Турчанов ее утешает.

— Хороша комсомолка, — заметила Симочка. — А сам? Не можешь отличить фабрику от типографии! Тоже хорош...

— А чем он плох? — неожиданно резко спросила Катя. — Где директор детского дома?

— Он наверху, он на втором этаже! — закричали дети.

— Капранов плохо себя чувствует, — сказала Симочка. — Я поднимусь с вами.

— Не надо. Я сама.

Она поднялась наверх по витой деревянной лестнице. Постучала в одну дверь, потом в другую. Никакого ответа. Наконец услышала негромкое:

— Войдите. . .

В комнате был невероятный беспорядок. Повсюду валялись книги. Книги на полу, на столах, на подоконнике. Книги и пыль. Капканчики для мышей. Какие-то бумаги, свернутые в трубки. По углам стояли гипсовые бюсты великих людей, учебный скелет, два глобуса.

За небольшим бюро сидел заведующий детским домом. Тот самый человек, который был здесь в первую военную зиму: большой, грузный, всклокоченная борода, взгляд умный, но в нем сквозит какое-то постоянное беспокойство. Впрочем, так нередко бывает с людьми, пережившими блокаду.

— Прошу садиться, чему обязан? — спросил он, и такой старомодный оборот совсем не показался Кате смешным.

— Вы, конечно, меня не помните, — сказала она, — в сорок втором, в конце января. . . Один мальчик. . . В общем, я принесла его вам, вы его взяли, я тогда не знала его фамилии. Меня зовут Екатерина Григорьевна Вязникова.

— Сережа Вязников? Он у нас. Хотите его видеть? Можно позвать.

Через несколько минут в комнату вбежал кудрявый паренек лет пяти, одетый в комбинезон.

— Познакомься, Сережа, с тетей Катей. Помнишь, я рассказывал, когда тебе было всего два года, тетя Катя принесла тебя к нам. . .

Сережа подошел к Кате. На нее глянули большие синие глаза. Трудно было сдержаться, трудно было остаться спокойной.

— Сережа, — сказала Катя.

Он прижался к ней.

— Какая вы красивая, — сказал Сережа с уважением. — А моя мама была на вас похожа? — спросил он и, не дождавись ответа, закричал: — Такая же, как вы, такая же, как вы!

Капранов положил на плечо мальчика свою большую руку с синими склеротическими жилками:

— Ну а теперь, Сережа, иди.

Мальчик нахмурился, потом еще раз с силой прижался к Кате и убежал.

Несколько минут они сидели молча.

— Вам надо пойти к детям, — сказал наконец Капранов.

Катя покачала головой.

— Ну, как же так, — настаивал Капранов, — поми-  
луйте, обязательно надо пойти и сказать несколько слов.  
Ведь это... Ведь это детство кончается сегодня.

— Не могу, — сказала Катя, — не знаю, что сказать.

— Зачем же вы тогда приехали? Не понимаю...

— Нет, — возразила Катя, — держать речь — увольте.  
Не могу.

Капранов медленно встал. Он одернул пиджак, поправил галстук, попробовал причесать бороду. Кате казалось, что он все это делает так, словно у него руки вывихнуты. Потом он налил немного воды в блюдечко, помочил платок и стал вычищать пятно на лацкане.

— Хороший вырос мальчик, — сказала Катя.

— Да?

Капранов так озабоченно растирал пятно, словно это было главной задачей его жизни.

«Какой он все-таки... — думала Катя. — Ведь он прекрасно все понимает, понимает и молчит».

— Сейчас многие хотят взять ребенка на воспитание, — сказал Капранов, и тон его показался Кате скорее благожелательным, чем суровым. — Так всегда бывает после войны.

«Ну же, ну, — мысленно торопила его Катя. — Раз ты уж начал — скажи». У нее было такое чувство, как будто она ждет приговора.

— Государство это поддерживает. Разумеется, я не возражаю... Если в семью...

— В семью?

— Да. Знаете, я ведь об этом немало думал. Муж и жена, даже когда у них есть дети, — еще не всегда семья. А бывает, что кто-то из семьи погиб и даже почти все погибли, немногие остались, а семья цела. Цел, знаете, какой-то стерженек. Сережа, конечно, мальчик славный, хороший мальчик... Но ведь здесь не игрушечный мага-

зин! — сказал он сердито. Взглянув на Катю, добавил уже мягче: — Ко мне часто приходят... Я отвечаю: если в семью, пожалуйста. Вы об этом хотели со мной говорить? — спросил он прямо. — У вас, конечно, прав больше, вы спасли мальчика.

— Нет, — сказала Катя. — Не знаю. Нет, все-таки нет. Действительно, вы правы: стерженька нет. Утерян.

Они вместе вышли из комнаты, спустились вниз, и Кате как-то сразу стало легче дышать. Повсюду были открыты окна, дул сквозной ветер, как это всегда бывает при сборах.

Спускаясь по лестнице, Капранов споткнулся. Катя поддержала его, взглянула на его лицо и испугалась: кровь отхлынула, лицо было совершенно бледным, неприятного голубоватого оттенка.

— Ничего... Это душно в комнате.

— Вам лучше вернуться. Если хотите, я скажу ребятам несколько слов.

— Нет, нет... — Он выпрямился и, держась за стенку, спустился по лестнице. — Все-таки четыре года вместе. Почти четыре года... Нет уж, я лучше сам.

«Где бы вы ни были, помните, что этот дом остался вашим домом. Помните, что у вас есть дом. Это очень важно, когда у человека есть дом. Возможно, что вам будет хорошо и вы меня не вспомните. Ну что ж, я тогда буду знать, что вам хорошо. Но если кому-нибудь из вас станет плохо, он всегда найдет здесь свой дом...» Грузовик снова громыхал по проспекту, а Катя все еще вспоминала эти слова, вспоминала и лица ребят, внимательно слушавших Капранова.

«А дети любят его, — думала Катя. — Как они с ним прощались, плакали, особенно девочки».

И только маленький Сережа всех рассмешил. Он подбежал к Кате и сунул ей фотографию, вырезанную из какого-то старого журнала.

«Лина Кавальери», — прочла Катя и, ничего не поняв, с удивлением взглянула на мальчика.

— Моя мама, — сказал Сережа серьезно.

Сидя рядом с шофером, Катя рассматривала фотографию знаменитой красавицы Лины Кавальери. Черты ее лица выражали незыблемый покой.

Анна Николаевна ждала Катю с детьми у ворот типографии. Анна Николаевна и какая-то дряхлая старушка, которую Катя не сразу узнала. Это была тетя Паша, одна из старейших ленинградских печатниц, года за два до войны ушедшая на пенсию. Как раз в ту весну Катя заканчивала школу, и ей, выпускнице и отличнице, поручили приветствовать юбиляршу.

Началась война, и тетя Паша вернулась на производство. Об этом тогда много писали. Но сколько же ей теперь лет?

— Добро пожаловать, добро пожаловать... — почти беззвучно шептала тетя Паша, пока шофер открывал борт машины. Слезающимися глазами она смотрела, как ребята выскакивают из грузовика.

— Тетя Паша! — окликнула ее Катя.

— Добро пожаловать, добро пожаловать... — шептала старушка, не узнавая Катю.

— Тетя Паша, я — Катя, Катя Вязникова.

— А, Катя Вязникова... — она приподнялась, ухватила за Катины руки, щурясь, рассматривала ее. — Бедовый Гришка, ох и бедовый же... На красавице женился... Тысячу раз ему говорила: не женись на красавице, не женись.

— Тетя Паша, да я дочка Григория Михайловича. Я — Катя, понимаете...

— Дочка? — Тетя Паша недоверчиво взглянула на Катю. Видимо, в ее представлении дочка Гриши Вязникова должна быть еще жалким розовым комочком. — А ну, давай помогай! — рассердилась вдруг тетя Паша. — Смотри, Анна Николаевна из сил выбивается.

Модестова принимала подростков так, словно была подолгу и коротко знакома с каждым из них.

— Возьми-ка этот чемодан да подними наверх, — говорила она долговязому и, кажется, самому старшему здесь Саше Турчанову. — Теперь машинку возьми.

И Саша, охотно подчиняясь, втаскивал наверх ручную швейную машину. Эта машина была личной собственностью Лизы, той самой девочки, которая так плакала там, в детдоме. Еще до войны Лиза появилась в детдоме вместе с этой швейной машиной. Ей было уже двенадцать лет, но на вид нельзя было дать и десяти.

И каждый, кто видел ее тогда, невольно думал: «И в чем только душа держится?..»

— Саша, Петро и Миша Чижик, поднимайте-ка «титан», — командовала Анна Николаевна. — Он легкий, пустой. Три дня просила администрацию поднять — так вот до сих пор и стоит.

— Сделаем, — отозвался черноволосый паренек. Фамилия его была Петросян, но ее уже давно сократили: просто Петро. И об этом уже знала Анна Николаевна. И о том, что маленького коренастого Мишу Лосева звали Чижик. В каждом детском доме есть свой Чижик, это тот, который меньше всех ростом, но очень задиристый.

Когда построились на ужин, Анна Николаевна, покачив головой, сказала Кате:

— Сплошное мелкоросье. Плохо. Очень плохо. Придется Лукича звать.

— Какого Лукича?

— Ну, который в одной квартире с вами живет, столбара. Пусть он нам помосты для ребят понаделает. А то ведь они до машин не достанут.

Катя улыбнулась. Сколько она помнила себя, столько же помнила печатный цех и в нем отца, важного и задумчивого. Когда она была ребенком, ей все казалось, что отец не работает, а просто играет с огромной машиной, а та выбрасывает ему один лист за другим. Помогает? Да, вероятно, другого выхода нет.

Весь вечер Катя, что называется, не присела. Не все было продумано. Капранов дал «приданое» каждому своему воспитаннику. Но как это все разместить? В общежитии четыре комнаты. Две небольшие для мальчиков и две большие для девочек. И только в одной из этих больших комнат стоит платяной шкаф. У многих есть книги. Надо Лукичу и полки заказать. А что делать с туфельками из ракушек — «на счастье», они здесь в изобилии представлены... Можно ли развешивать по стенам фотографии киноактрис, как этого хочет Аля Масленкина?

Галя Христофорова привезла с собой канарейку в клетке. Ладно, пусть. Но что делать со щенком? Саша заявляет, что это его собственность. Как же с этим мирился Капранов? Оказывается, там во дворе была собачья будка. Ну, тут уж Лукич не годится, это плотницкая работа...



Общее мнение новоселов было такое: детский дом есть детский дом — там все подчиняется определенным правилам, потому что там дети, а какие же здесь могут быть правила? Детство сегодня кончилось. С завтрашнего дня они все рабочие. Что ж такого, что ученики? Все равно они рабочие. Снова дисциплина? На работе — безусловно. Но почему нельзя развесить на стенке портреты киноактеров? Штукатурка отвалится? Надо было лучше штукатурить. Ничего не грубо ответила, я сама раньше хотела учиться на штукатура.

С тетей Пашей не поладили сразу две девочки — Аля Масленкина и Клава Мельникова.

— Вы уборщица, вы обязаны подметать! — кричала Аля. Лицо ее покрылось красными пятнами. — Вы заработную плату за это получаете.

Тетя Паша не сразу поняла, в чем дело, а когда поняла, то ее маленькое сморщенное личико стало похоже на китайское яблочко. Она сняла передник, бросила его и направилась к выходу. Как раз в это время в комнату вошла Анна Николаевна. Тут только Катя поняла, как круто может взять эта женщина.

Был одиннадцатый час, когда Катя решила идти домой. Она очень устала, от беготни просто ног не чувствовала. Но она никак не могла улучшить минуту и попрощаться с Модестовой.

Анна Николаевна выглядела тоже очень усталой, но продолжала работу. Сразу же после того как она уговорила тетю Пашу остаться, было созвано «общее собрание проживающих в общежитии». Старостой мальчиков единогласно выбрали Сашу. Девочки спорили долго. Предлагали Лизу, Галю и даже Алю Масленкину, хотя она и скомпрометировала себя безобразным поведением с тетей Пашей. Но Аля извинилась перед тетей Пашей, и ее кандидатура долго обсуждалась. Все-таки выбрали Галю Христофорову.

«Какая она удивительная! — думала Катя об Анне Николаевне. — Всю себя отдает».

«Нет дел больших и малых»... Кажется, это сказала Анна Николаевна, или это чья-то цитата?

Катя знала, что вот эта самая Анна Николаевна Модестова в шестнадцатом году организовала побег пяти большевиков с каторги. Побег с каторги и устройство

вот этих ребят в общежитии... Но так оно и бывает в жизни: дела не делятся на большие и малые.

— А тебе, Катя, по-моему, совершенно незачем отсюда уходить, — сказала Анна Николаевна. — И зачем это надо на ночь глядя? Да и трамваи уже не ходят... И вообще я бы на твоём месте осталась здесь работать. По-моему, очень интересная работа.

Они стояли в узком коридорчике, возле окошечка с надписью «Касса». Из комнаты, где еще недавно находилась бухгалтерия, доносился негромкий шепот: это Саша разговаривал с Чижиком. За стеной, в бывшей комнате главбуха, укладывалась на покой тетя Паша.

— Давай выйдем лучше на улицу, — сказала Анна Николаевна. — Я давно хочу покурить, да боялась, что ребята увидят...

На уютной скамеечке под елкой Анна Николаевна взяла папиросу, глубоко затянулась.

— Работа, конечно, сложная, но зато интересная. Здесь придется быть одновременно и комендантом и воспитателем. Ведь у тебя, кажется, в прошлом два курса педагогического?

— Меня уже звали в школу преподавать, я отказалась...

— Может быть, и правильно сделала, что отказалась, но, видишь ли, здесь все-таки другое дело.

— Да, другое. Но мне кажется, я сейчас не смогу, Анна Николаевна, я вам правду говорю...

— По-твоему, может быть, и правда, — сердито начала Анна Николаевна, — а по-моему... — Она взяла Катину руку и ласково погладила. — Ты не думай, что я только ради них. Я из-за тебя тоже.

— Вы думаете?

— Твердо в этом уверена.

— А вам не кажется, что если у человека так пусто на душе, то нельзя ему начинать работать? Ведь ему надо себя делу отдать, а он ждет, как бы самому что-то получить, самому себе помочь — наполнить душу...

Анна Николаевна внимательно взглянула на Катю:

— Наполнить душу, это ты хорошо сказала. Это ты верно чувствуешь. Но философия какая-то сомнительная. Ты говоришь, на душе пусто? Да живая душа, разве она одним только счастьем живет? Я тебе по секрету скажу:

боюсь счастливиц, боюсь. Все думаю: они, наверное, что полегче на себя в жизни брали.

— А надорванных вы не боитесь? — негромко спросила Катя.

— Нет, Катя, не боюсь. По-твоему — душа больная, так ты, значит, для людей человек потерянный: пока, мол, не отстрадаешь, за дело не берись?.. А по-моему, вот я тебя жалею, а ты их пожалей. Сироты, дети. Сама видишь, как подошло.

— Ночевать я у вас останусь, а завтра скажу, как будет дальше.

— Людей нет. Самое что ни на есть плохое, когда людей нет. Мы это еще много лет будем чувствовать. Ну ладно, до завтра!

Она ушла, а Катя осталась одна на скамеечке возле дома. Негромко текли белые сумерки. Сорвался над Невой шальной гудок, прошумела на улице машина, скрипнула калитка, пропел петух.

Здесь началась ее жизнь, и вот она снова здесь. Все эти дни Катя так много думала о своем прошлом, что, казалось, его можно осязать.

Но сейчас Катя не вспоминала войну, не вспоминала и тот страшный год, когда она принесла в детский дом мальчика, завернутого в пикейное одеяло. Он был жив, этот мальчик, и она могла вспоминать минувший день. Всем сердцем тянулась Катя туда, к своему найденышу, к маленькому кусочку реального счастья, который был там, на улице Пестеля.

Она закрыла глаза, чтобы лучше представить себе маленького, увидеть его глубокий синий взгляд... Но в эту минуту откуда-то сверху Катя услышала струнный перебор и негромкий, чуть с хрипотцой девичий голос:

В бананово-лимонном Сингапуре... пуре... пуре...

Катя подняла голову. Во втором этаже на подоконнике сидела Лиза в ночной рубашке и, аккомпанируя себе на гитаре, негромко напевала:

Когда ревет и плачет океан...

Катя бросилась наверх в общежитие.

Иван Алексеевич наизусть помнил адрес Тамириной тетки. Он быстро нашел дом, почти прилегающий к Таврическому дворцу.

Здесь все носило следы губительного огня, на многих стенах видны были пробоины от артиллерийских снарядов. И все же, несмотря на страшные разрушения, и дом, и улица, и весь квартал, обожженные войной, показались Ивану Алексеевичу прекрасными.

Он поднялся по широкой мраморной лестнице, украшенной статуями, цветными стеклами и резным деревом. На площадке третьего этажа он остановился. На огромной двустворчатой двери, с которой чья-то злая рука содрала обивку, там и здесь были разбросаны звонки разных систем, дощечки и бумажки с фамилиями жильцов. Иван Алексеевич дернул какую-то ржавую железину. Залаяла собака, за дверью послышались шаги.

— Дворничихи дома нет, — сказал хриплый женский голос, и шаги удалились.

Иван Алексеевич со злостью снова рванул ржавую железину. Собака залаяла еще громче.

— Я же вам сказала: дворничихи нет.

К тому моменту, когда Ивану Алексеевичу открыли дверь, в передней набралось по крайней мере с десяток женщин. Все они подозрительно смотрели на незнакомого мужчину.

— Мне нужна Тамара Борисовна, Тамара Борисовна Федорова, — сказал Иван Алексеевич, задыхаясь от злости.

— Дворничиха племянница, что ли? — равнодушно спросила одна из женщин, и все разошлись.

Иван Алексеевич наугад прошел по длинному узкому коридору, сплошь заставленному всякой рухлядью, и постучал в дверь со стеклянной фрамугой.

— Чего надо? — крикнули из-за двери.

Иван Алексеевич назвал. Послышались возгласы, затем изнутри резко открыли дверь, стекло зазвенело, и Иван Алексеевич почувствовал, как его обняли горячие влажные руки.

Удивительное несоответствие было между тем возвышенным настроением, в котором находился Иван Алексеевич все эти дни на марше и весь сегодняшний день

в Ленинграде, и той новой обстановкой, в которую он сейчас попал.

В двух крохотных комнатках жили семеро взрослых и столько же детей. Среди них был только один мужчина, но с ним Иван Алексеевич так и не познакомился: он спал на кровати под красным ватным одеялом, видны были только ноги, обутые в валенки.

Женщины все были в родстве с Тамарой — двоюродном, троюродном и даже четвероюродном. Тетка, которую Иван Алексеевич знал по рассказам, действительно служила дворником. Ребята побежали за ней сказать, что приехал Тамарин майор.

Звали эту Тамарину тетку Александрой Глебовной. Невысокая, крепко сбитая женщина, лет сорока пяти, с очень энергичным и совершенно рябым лицом. Особенно много оспинок было у нее вокруг глаз. И эти маленькие черные глазки казались искусственно прорезанными. Однако именно в них сосредоточилась вся энергия лица.

Александра Глебовна успела эвакуироваться из Новинска в начале войны и четыре года прожила на Алтае. На вопрос Ивана Алексеевича, как же это она очутилась в Ленинграде, Александра Глебовна ответила, что Новинск разрушен и жить там негде.

— Позвольте, позвольте, — сказал Иван Алексеевич, — я сам читал, что Новинск отстраивается. У нас даже беседу на эту тему проводили. Мы ведь новинские!

— Ну, строительница из меня плохая, — сказала Александра Глебовна и засмеялась. Все вокруг тоже засмеялись.

Когда Александра Глебовна что-нибудь говорила, все старались поддержать ее улыбками, взглядами или возгласами сочувствия. Ни взрослые, ни дети не решались ей противоречить.

«Ну хорошо, — думал Иван Алексеевич, — пусть бы она сама сюда приехала, но зачем она притащила сюда всю эту ораву?»

Александра Глебовна, видимо, угадала его мысль.

— В семье легче, — объяснила она коротко.

«Но где же они все спят? — снова подумал Иван Алексеевич. — И где спит Тамара?»

Иван Алексеевич не умел скрывать своих чувств; все заметили, что он приуныл. Все, за исключением Тамары.

Очень уж у нее было сейчас весело на душе. Она то принималась целовать Ивана Алексеевича, то тормозила тетку, то вытирала носы ребятам. В этой тесноте она умудрялась все время двигаться и что-то напевала.

А Ивану Алексеевичу было ужасно тоскливо в этих двух комнатенках, побеленных по-южному, с бесконечными половичками, которые путались под ногами, и белыми салфеточками. Белыми салфеточками были покрыты решительно все вещи — и стол, и сундук, и даже швейная машина.

— Ну, я пошел, — сказал Иван Алексеевич.

Тамара от этих слов вздрогнула.

— Как, зачем? — у нее на глаза стремительно навернулись слезы. — Так быстро? Тогда незачем было приходить...

— Но ты ведь знаешь... — начал Иван Алексеевич. Александра Глебовна перебила его:

— Что-то не по-хорошему получается. У нас вино припасено, холодец... Обидите.

Но Ивана Алексеевича переупрямить было нелегко. Характер у него был в своем роде примечательный: он редко упрявился, но уж если это случалось, то Тамара знала, что спорить с ним бесполезно.

Она и не стала с ним спорить, вместе с Иваном Алексеевичем вышла на улицу и, когда они остались вдвоем, назвала его жестоким, нелюбящим. Ведь видел же, что она в таком хорошем настроении! Зачем было все портить?..

— Да нет же, нет, ничего я не испортил, — сказал Иван Алексеевич и засмеялся.

Он всегда быстро приходил в себя. А сейчас, едва только вышел на воздух, едва только вздохнул свободно, как почувствовал разрядку. Невдалеке, окруженный яркой, еще не пыльной зеленью, виднелся купол Таврического дворца. Бледное небо было необыкновенно высоким. Улицы, как нигде, широкие и стройные.

Снова он почувствовал в себе силу для любви и нежности. Взял Тамару под руку и крепко прижал к себе.

— Ну чем же, чем я провинилась? — спросила Тамара.

Они медленно прошли по разоренному бульвару до Литейного, потом вернулись обратно.

— Тебе здесь долго жить не придется, — сказал Иван Алексеевич решительно. — Завтра парад, послезавтра в лагерь, а через день-другой ты ко мне приедешь, и мы снимем комнату.

— А завтра, после парада, мы пойдем в Дом Красной Армии? Там вечер для участников... Пойдем?

— Пойдем. Только, знаешь, давай встретимся прямо у входа. У меня после парада есть еще дело: надо повидать сына одного моего однополчанина. Так что лучше всего у входа, в восемь часов. Согласна?

— Ну, конечно, согласна, — сказала Тамара. Она обняла Ивана Алексеевича, и, хотя на улице было прохладно, ее темные, загорелые руки были по-прежнему влажными и горячими.

7

Катя хотела посмотреть военный парад и даже готовилась к этому знаменательному дню. Накануне пошла в парикмахерскую, но там на завивку и на маникюр была такая очередь и так тяжело пахло палеными волосами, жженой пробкой и эмульсией, что Катя не выдержала. Постригли ее в мужском зале, она всегда стриглась коротко. Старик парикмахер сказал ей негромко:

— Ваши-то девочки тоже прибежали... брови красят.

— Ну да?

— Точно. Сами увидите. Ничего не поделаешь, рабочий класс. Что хотят, то и делают. Можете вы им запретить?

— Я, конечно, с ними поговорю.

— Э-э... Разговорчики... — сказал старик раздраженно. — А вот я поставлю на производственном совещании, чтобы мастера за такое дело не брались. Подумаешь, план! Лучше на одеколоне будем натягивать...

Действительно, у многих девочек брови и ресницы были так насурмлены, а на щеках играл такой подозрительный румянец, что Катя решила с ними поговорить.

— Вы к нам всегда придираетесь, — ответила Аля Масленкина. — Даже странно. Все нас хвалят, даже инженер Ирина Викторовна, на что дама строгая и образованная, и та хвалит. Мы не только подростковый, мы взрослый план выполняем.

Катя подумала и сказала:

— Я потому говорю, что мне хочется видеть вас красивыми, а вы на раскрашенных матрешек похожи.

Клавя Мельникова так быстро заплакала, как будто только и ждала этих слов. Аля взглянула на нее и захотала:

— У тебя слезы черные! Черные слезы, черные слезы!.. — говорила она, показывая на Клавю.

Глядя на них, Катя засмеялась:

— А ну, марш мыться, а то все свои подушки перепачкаете.

Деятельно готовились к параду и мальчики. Сашей Турчановым Катя прямо залюбовалась. Он за последнее время весь как-то выпрямился. Физический труд пошел ему впрок. Черты лица определились, стали мужественными. С детдомовской одеждой Саша, впрочем как и все ребята, решил поскорее расстаться. Он купил себе офицерскую гимнастерку и брюки-галифе, от отца у него остались высокие кирзовые сапоги, которые он теперь носил и чистил самозабвенно. Это была почти военная форма, только что без погон! И она очень шла ему.

— Саша, а ведь тебе через два года призываться, — сказала Катя

— Так точно, Екатерина Григорьевна. А если что на Дальнем Востоке начнется — раньше пойду.

— Без тебя справятся...

— Кто его знает. Екатерина Григорьевна. Война есть война — добавил он солидно.

Катя знала, что все мальчики мечтают повоевать, считают, что им «не повезло». Если бы война не кончилась, их бы в семнадцать лет не удержать было. Многие уже по нескольку раз писали Верховному Главнокомандующему.

С вечера обсуждался вопрос, в котором часу отправляться на парад. «Надо, товарищи, всем вместе ехать. Транспорт типография дает».

Поздно вечером в общежитие пришел Бурков и принес Кате билет на трибуну.

— Зачем же вы беспокоились? — сказала Катя. — Почему не позвонили, я бы...

— Ничего, ничего, — сказал Бурков добродушно. — Пусть молодежь видит, что сам директор пришел. Это для твоего авторитета хорошо.



Катя поблагодарила, взяла билет. Вечером, оставшись одна, долго рассматривала. Пятая трибуна... До войны ее называли «рабочей».

Катя вспомнила, как в раннем детстве отец взял ее на первомайский парад. Григорий Михайлович был очень горд билетом. Спал нервно, встал рано. Долго брился и даже порезался. И все сердился на мать: то галстук не тот, то запонки куда-то подевались. А Катю одели в зимнее пальто: там ветер, на площади Урицкого, месяц май — шубу надевай... Катя горько плакала. Ей хотелось пойти в новом пальто, в красивом новом пальто в зеленый квадратик.

«Кокетка какая! — говорила мать сердито. — Это в шесть-то лет! Что же дальше будет?..»

Они ехали с отцом на трамвае, доехали до Сада трудящихся, дальше трамвай не пошел. Небыстро шли вдоль садовой решетки. Вежливые милиционеры в новой белой форме спрашивали у них пропуск.

А по другую сторону проспекта стояли войска. Красноармейцы еще не построились. Стояли вольно, шутили, курили. И все, кто шел в этот час на трибуну, не торопились, заглядывались на молодые, еще безусые лица ласково, любовно, как всегда смотрят у нас на армейскую молодежь.

С тех времен запомнились Кате легкие гривастые кони и обнаженные клинки на раннем солнце, розовые и прохладные. На конях была тогда вся артиллерия, конями гордились, высчитывали «лошадиные силы».

Несколько зеленых машин, похожих на больших лесных лягушек, не произвели на Катю никакого впечатления. Они шли медленно, и едкий запах бензина долго еще чувствовался на площади...

А вот на Григория Михайловича именно эти машины произвели впечатление. Катя с великим удивлением смотрела, как по матовой, чисто выбритой щеке Григория Михайловича покатила крупная слеза.

— Папа, ты плачешь?

Ей было стыдно за отца. А он молчал. И вдруг Катя всем своим существом услышала тишину. Гроыхали танки, гремел оркестр: «Как ныне сбирается вещий Олег...», а на трибунах стояла тишина. Катя, поворачиваясь из стороны в сторону, видела, что все люди молча следят именно за этими зелеными машинами.

Когда они уже были дома, за обедом — а на первом майский обед собралось человек двадцать, — отец стал рассказывать о том, что они видели на параде.

— А внутри машин — люди? — неожиданно спросила Катя.

Никто не понял, о чем она спрашивает, никто, кроме Григория Михайловича.

— Люди, конечно, — ответил он дочери. — В каждом танке человек, красноармеец. В этом-то все и дело... — весело прибавил он, взявшись за рюмку.

Почему она вспомнила об этом только сейчас? Надо было раньше вспомнить, рассказать Аркадию. Ведь Аркадий тоже был танкистом. Он бы, наверное, засмеялся, представив себе эти первые наши танки. А как он смеялся, Катя хорошо помнит: наслаждался смехом, смеялся, сжав руки ладонь в ладонь, чуть покачиваясь...

Она встала, открыла окно. Было безветренно и душно. За Невой вспыхивали и внезапно гасли зарницы, как будто кто-то на правом берегу нажимал и быстро отпускал педаль. С того момента, как она узнала, что в это воскресенье будет парад, она неотступно думала о том, что если бы жизнь ее сложилась иначе, то сегодня, вместе со своим мальчиком, она бы пошла туда, на площадь. В огромном танке в рост стоял бы Аркадий. Люк открыт, виден черный шлем. Подтянулся на руках, теперь видно его веселое лицо.

— Не поеду, ребята, не могу, — решила Катя после бессонной ночи.

Лиза, которая, как зверюшка, привязалась к ней за это время, тотчас же сказала, что тоже не поедет.

— И я тоже, — неожиданно сказал Саша.

— Ну что ты, Саша, обязательно поезжай, — сказала Катя. — Я бы дала тебе билет на трибуну, да он именной.

— Билет? — переспросил Саша. Глаза его заблестели. — А давайте, может, и пройду.

— Ты ж решил остаться? — кротким голосом спросила Лиза.

Саша хотел что-то ответить, но, видимо, даже ему самому ответ показался неубедительным.

— Ну ясно, я остаюсь, какой разговор...

— Да нет, что ты! Ты обязательно должен пойти, — продолжала Лиза все с той же странной кротостью.

Катя взглянула на них и все поняла.

«Что ж тут такого?.. Что ж тут не понять?.. Первая влюбленность, так оно и бывает. Ведь я сама...» Но всякий раз, когда она начинала думать о себе, ей становилось до дурноты скучно и неинтересно жить...

Все-таки Саша ушел на парад, все ушли, кроме нее и Лизы. А часом позднее явилась Анна Николаевна.

— Не пошла я, — сказала она виновато. — Легла поздно, утром проснулась — такая усталость во всем теле. Старею...

Кате сразу стало веселее. Вообще она замечала, что все ее страхи, страхи большие и страхи маленькие, боятся Анны Николаевны. «Наверное, потому, что она очень меня понимает, — думала Катя. — Вот у нее есть привычка смотреть прямо в глаза, а ведь она не в глаза, а прямо в душу смотрит».

И, думая так об Анне Николаевне, Катя с каждым днем все больше и больше тянулась к ней.

Модестова принесла самодельный пирог с вареньем. Катя купила шпроты, у Лизы нашлась, как она сказала, «захованная» бутылка портвейна.

Потом пошли к Неве. Сидели молча на бережку, смотрели на глубокое, неспешное течение. На середине реки стоял небольшой рыбачий парусник, сверху донизу наполненный солнечными лучами. Казалось, солнце тратит все свои силы только на один этот парус.

Анна Николаевна начала рассказывать разные смешные истории. На это она была мастерица. Истории эти все были из старой, дореволюционной жизни, которой не знали ни Катя, ни Лиза. Катя еще кое-что слыхала от отца, а Лизе слова «маевка», «стачка», «Кресты», «обуховцы» были едва знакомы. А на чтение она была очень ленива. Она могла часами переписывать старые песенки какой-нибудь Изы Кремер или Вильбушевича (полуистлевшие листки лежали перед нею, и, переписывая, она часто засиживалась до полуночи), а «Мать» Горького она так и не дочитала, хотя Катя этого требовала.

Что за удивительный талант был у Анны Николаевны представлять в лицах разные сюжеты и неизменно находить в людях что-то комическое! Вот жандармский чин везет на пролетке политического, везет непременно в обнимку, словно жених невесту. Вот эсер получает в тюрь-

ме каравай хлеба, в который запекли большевистскую листовку. Вкусный хлеб, он ест и с полным ртом спорит, жует и спорит, спорит и жует. Вот экспроприация ценностей у буржуазии: к зубному врачу пришел валютчик, надо высверлить дупло, чтобы в него можно было уложить крупный бриллиант. Входит матрос и подозрительно наблюдает за дантистом.

«Неужели и я также доживу до шестидесяти лет и буду рассказывать, как в Отечественную... Ведь и на фронте бывало много смешного...» — думала Катя.

Анна Николаевна рассказывала, как вели министров Керенского под конвоем рабочих в Петропавловку. Ведут через Троицкий мост. Вдруг стрельба: анархисты озоруют. Переполох страшный. И вот министры Керенского прячутся за спины своих конвоиров.

«А ведь мужа Анны Николаевны замучили в Петропавловской крепости. В Петропавловской, — мысленно повторила Катя. — Ужас какой. Ведь рассказывает, как будто над пропастью ходит», — думала она, боясь взглянуть на Модестову.

Лиза со свойственной ей порывистостью бросилась Анне Николаевне на шею:

— Хотите, я вам покажу, как наши девчата в кино собираются? Вот смотрите, как кот Васька (так они в шутку называли начальника цинкографии) полдничает. Похоже?

— Очень похоже, — весело смеялась Анна Николаевна.

«Нет, так человек не смеется, когда ходит над пропастью, — думала Катя. — Просто Анна Николаевна дожила до такого возраста, когда все забыто, то есть не факты забыты, забыта боль. А скорее всего ни то и ни другое. Просто в такой день Анне Николаевне хочется душевно поддержать нас... Как я люблю ее за ее доброту!»

— Ну, с вами не соскучишься, — сказала Анна Николаевна. — Я когда увидела, что все на парад ушли, так мне как-то на душе кисло стало. Устанешь за целый день от шума, хочется тишину послушать одной. А останешься одна — на работу, на люди хочу... Вот человек какой: ничем никогда не доволен...

Иван Алексеевич любил парады. Ему нравились негибаемая стройность рядов, увлекательный ритм строевого шага, торжественная слитность людей.

В детстве, услышав звуки военного оркестра, он стремительно выбегал на улицу и трепетно ждал, когда покажется первый всадник в буденовке. В маленьком городке под Москвой, где провел свое детство Иван Алексеевич, стоял кавалерийский полк — постоянный участник праздничных парадов на Красной площади.

— Военным будет, — говорил отец. — Маленький, да удаленький.

Все, кто видел Ивана Алексеевича в детстве, говорили: «Как он мало изменился!» И это вызывало смех. Станным казалось, что комбат, которого чуть ли не во всем корпусе звали Поддубным, похож на маленького мальчика Ваню Федорова.

В военном училище он охладел к парадом, готовил себя к большим делам и презирал всякую суетность. В то время он много думал о своем будущем и представлял себя не иначе как крупным штабистом. «Парады — это не для меня». И улыбался несколько презрительно и равнодушно — такое выражение лица было наиболее прилично для крупного штабного.

Он всегда был чрезвычайно вынослив физически (а это очень ценится в военных училищах), но, участвуя в соревнованиях по пятиборью и даже получая почетный кубок, всем своим видом, а главное, своей усталой улыбкой как бы говорил: «Это не для меня. . .» Кончить училище, потом Академию Генерального штаба! . .

Сейчас ему казалось, что это были лучшие годы жизни. Училище, комсомол, первые успехи, пятиборье, в котором он был чемпионом, «дневник дел» (так были озаглавлены его тетради), стенная газета, которую он редактировал, замполит, в которого все они были влюблены, и прозрачный лагерный холодильник по утрам, ранний-ранний холодильник, зорька, когда солнце охотно выкатывается тебе навстречу, вот так же, как и вся твоя жизнь: с добрым утром, с добрым утром. . .

Еще курсантом он попал на финскую войну, и в первый же день его слегка ранило. «Подранило», как гово-

рят в таких случаях. Финская «кукушка» прокуковала и задела левый бицепс. Но крови он потерял много. Конечно, ни в какой медсанбат не пошел, а перевязал руку и потом как следует поспал в землянке. Товарищи шуточно утверждали, что во сне он кричал: «Полк, смирно!» Во сне он видел парад на Красной площади, принимающий парад выезжает на легком коне...

Парад, к которому Иван Алексеевич готовился, сейчас был особенным. На живые еще рубцы были надеты новые, шитые золотом мундиры. Люди, взявшие рейхстаг, несмело учились печатать шаг. Древки знамен были липкими от свежей смолы, на них трепетали алые полотнища с черными огневыми подпалинами. Начиналась новая жизнь. Это все понимали.

Полк вышел из казармы в пятом часу утра. На улицах было пусто. Над Ладогой уже встало солнце, а здесь металлические шлемы только слегка порозовели.

Наиболее задиристые шутили: «На войне шагать было легче». Но большинство людей было настроено серьезно.

Иван Алексеевич тоже был настроен серьезно. Он почти совсем не спал и чувствовал небольшой озноб. И от бессонницы, и оттого, что утро выдалось холодное.

Он был даже чуть грустен. Так всегда бывает, когда чувствуешь новый рубеж в своей жизни. И хотя за этим рубежом должно быть много счастья и много радостей — ведь так он задумал, что там будет много счастья и много радостей, — все равно становится грустно, и добром вспоминаешь прошлое: жизнь, в которой было столько бед и потерь, жизнь, в которой все было нарушено — семья, любовь, творчество, — эта жизнь все-таки была настоящей жизнью...

Ударили корабельные орудия, загремел салют над Невой.

— По машинам! — где-то далеко, очень далеко и совсем негромко сказал Шавров. Но армейское эхо в тысячу раз усиливает голос. Эти два слова уже громче повторяют командиры дивизий, еще громче командиры полков, а там уже гремит главный калибр: батальонные и ротные командиры.

Иван Алексеевич вскочил в вездеход. Машины шли медленно. Командиры стояли окруженные знаменосцами и автоматчиками. На трибунах начали аплодировать. Иван Алексеевич подумал о том, что вот именно этой ми-

нуты он ждал четыре года. Потом он вспомнил, как в детстве любил загадывать, что будет через пять дней, через неделю, через месяц. Отец иногда брал его в Москву. Вечером, в поезде, он смотрел в окно и думал: через неделю я поеду снова, но я уже буду другой, не такой, как сейчас. Другой, другой... Он повторял много раз: другой, другой, — и от этого слова становилось и радостно и жутко. И он давал себе слово вспомнить себя через неделю таким, точно таким, как сегодня, когда смотрит в окно и нос его приплюснут стеклом. Но проходила задуманная неделя, и он забывал, каким же он был тогда, когда ехал в поезде в Москву.

Сколько раз во время войны он думал: пойду вдоль трибун и вспомню себя таким, каков я сегодня, сейчас; вспомню себя, грязного, заросшего бородой, с горсткой людей, оставшихся от батальона, усталого, измученного, но не потерявшего волю, забывшего свой дом — дом, но не Родину.

И вот он сейчас пытается вспомнить, каким он был. И вспоминает окоп с высоким бруствером и стереотрубой, землянку, пахнущую хвоей, новый футлярчик для зубной щетки и «Народ бессмертен» Гроссмана, вспоминает НП, на котором бредет Камышин, штаб полка с оглушительной машинкой и «машинистом», который и сейчас работает в штабе дивизии, и штаб дивизии, где так тоскливо и откуда хочется поскорей в батальон. Снова вспоминает землянку, потом какой-то противный хруст и госпитальное окно, в которое видно ярко-синее, словно обмытое карболкой, небо.

Окоп, землянка, НП, штаб батальона, штаб полка, штаб дивизии, снова землянка. И больше он ничего не мог вспомнить.

С трибуны бросили букет ромашек. Иван Алексеевич поймал его и подумал, что через год обязательно вспомнит этот парадный день, и этот веселый букет, и себя самого таким, какой он стоит сейчас на новом рубеже своей жизни.

Трибуны кончились. Иван Алексеевич чуть обернулся: машины шли ровно, ни одна из них не поломала строй. Он глубоко вздохнул, вздохнул еще раз и почувствовал, что здорово устал.

Он спал часа два и проснулся освеженным. Далеко за полдень. Казарма пустая. В воздухе плотно стоит запах одеколона, мыла, пудры и гуталина. Все ушли «справлять выходной день», как довольно уныло выразился дневальный.

— Как же это я так... — сказал Иван Алексеевич, досадуя, что столько времени ушло на сон.

Он быстро пошел в столовую, съел холодный шницель и компот — все, что осталось от праздничного обеда, и через полчаса вышел из казармы.

Дело, по которому спешил Иван Алексеевич, было для него очень важным. Вскоре после войны он получил из Ленинграда ответ на свой давнишний запрос. Сообщалось, что Турчанов Александр, сын сержанта Турчанова, жив и находится в семнадцатом ленинградском детском доме. Иван Алексеевич хотел сразу же писать в Ленинград, но в эти дни определилась судьба корпуса. Писать было незачем, через несколько дней он мог повидаться с мальчиком.

Александр Николаевич Турчанов командовал отделением и погиб под Новинском в тот день, когда Ивана Алексеевича ранило. Они знали друг друга давно, еще с финской войны. Турчанов был человек неторопливый, рассудительный, с твердым, устойчивым характером. В двадцатых годах он, еще совсем молодой человек, пришел в Петроград из деревни, где ему, седьмому в семье, жилось трудно. Но и жизнь в городе, особенно в первое время, его не баловала. Лет пять он проработал чернорабочим в порту, снимая угол. Знаменитая в те времена пивнушка на проспекте Огородникова, где собирались любители «покурить», засасывала здорового, но почти неграмотного парня.

Перелом в его жизни начался после женитьбы. Он совсем случайно, чуть ли не в трамвае, познакомился с девушкой, которая стала его женой. Лида (отчества ее Иван Алексеевич не помнил, а может быть, и не знал, — Турчанов ведь называл ее по имени), именно Лида перевернула всю его жизнь. Она заставила мужа окончить ликбез, решительно восстала против пивнушки, отказывая себе во всем, купила мужу костюм из бостона, повела его в клуб, познакомила с новыми людьми, у которых на груди были значки Общества друзей радио, Об-



щества содействия авиации и Международного общества помощи борцам революции. Вскоре у Турчанова родился сын, которому предстояло жить в новом мире, где исчезнут пивные, где будет звучать радио и где станут доступными самолеты дальнего радиуса. Недаром же этот мир отстаивают международные борцы революции.

Перед войной многое из того, что они с Лидой задумывали, сбылось. Жизнь правилась Турчанову с каждым днем все больше и больше. Сын... Всякий раз, когда Турчанов смотрел на своего Сашу — или когда подписывал его школьный дневник, или когда они вместе ходили смотреть «Ревизора», — всякий раз Турчанов думал: «Это мой сын...» На войне у Турчанова была ясная цель — вернуть жизнь, которая была до войны.

Весной сорок второго года умерла от голода Лида. Турчанов выдержал этот удар. Он замкнулся, ожесточился и как-то даже весь почернел, но жизнь не была для него потеряна. У него остался сын, которого отдали в детдом.

Ивану Алексеевичу всегда казалось наиболее страшным то, чего он сам не испытал. На фронте он сочувственно относился к офицерам, побывавшим в окружении. Слушая их рассказы, болезненно морщился. «Да, да, это ужасно. Да, нам ничего подобного не пришлось пережить», — говорил Иван Алексеевич с несколько даже виноватой улыбкой, хотя в это самое время он был ранен в голову под Ельней и вообще не выходил из пекла. На людей же, перенесших ленинградскую блокаду, Иван Алексеевич смотрел как на чудо.

Сейчас он со страхом ехал в детский дом. Он боялся увидеть детей, изможденных, бледных и больных, и упрекал себя, что не послал сынишке Турчанова хотя бы две-три посылки.

Дети сразу же его окружили. К великому удовольствию Ивана Алексеевича, этот народец оказался крепким. Иван Алексеевич обнял их и приласкал.

— А теперь, — сказал он, — признавайтесь, кто из вас Саша Турчанов.

В ответ раздался такой дружный смех, что Иван Алексеевич почувствовал себя смущенным.

— Да ведь Саша уже большой. Он с нами не играет. Он взрослый!

Да, Иван Алексеевич об этом раньше не подумал. Он играл с малышами и в каждом из них пытался угадать Сашу. Но Саша-то теперь взрослый парень!

Наконец ребята проводили Ивана Алексеевича к Капранову.

В этой комнате, заваленной книгами, картами, глобусами, Иван Алексеевич прикоснулся к какому-то незнакомому, ни на что не похожему быту. «Наверное, вот так и было в блокаду», — подумал он и даже почувствовал неприятный холодок.

Капранов сразу же сказал ему, что Саша Турчанов не является больше воспитанником детского дома, а работает в Заневской типографии. Это довольно далеко отсюда, на трамвае минут сорок. Таким образом, разговор был исчерпан. Но Ивану Алексеевичу не хотелось уходить. Капранов внимательно на него взглянул.

— Я читал ваше письмо, — сказал он. — Да, читал. Делает вам честь. . .

— Ну что вы в самом деле!

— Да, да, делает вам честь. Я дал это письмо Саше. Видите ли, мальчик так тяжело пережил смерть отца. . . И когда пришло ваше письмо. . . Это, как бы вам объяснить, это. . .

Иван Алексеевич вздохнул.

— Я бы мог еще десять таких писем написать ему, — сказал он угрюмо. С каждой минутой он все больше и больше упрекал себя в самой отвратительной черствости. — Я сейчас поеду туда. . .

— Да, да, пожалуйста, — сказал Капранов, как будто от него зависело разрешить эту поездку или нет. — Передайте мой привет. . .

— Передам, конечно.

— Мой привет воспитательнице Екатерине Григорьевне Вязниковой. Вы с ней сначала поговорите, на мой взгляд, так будет правильнее.

Иван Алексеевич встал и крепко пожал руку Капранову:

— Мне все ясно. Спасибо.

Он довольно быстро разыскал домик под елочками — молодежное общежитие Заневской типографии. Паренек в гимнастерке и ярко начищенных солдатских сапогах лихо козырнул майору и вызвался проводить. Ивану

Алексеевичу начищенный паренек понравился, понравилась ему и дорожка, посыпанная мелким гравием, и клумба: серп и молот из резеды и красноармейская звезда из гвоздики.

— Екатерина Григорьевна, к вам...

9

Иван Алексеевич вошел в крохотную комнатку, которую Модестова называла светелкой. Здесь не было ничего лишнего: письменный стол со школьной чернильницей, пресс-папье из пластмассы, такой же ножик для разрезания страниц, узкая кровать, покрытая казенным одеялом, два стула с прямыми спинками, на полке в два ряда книги — разрозненные томики Лермонтова, Чехова, Толстого и Щедрина.

«А ничего сюда больше и не надо», — подумал Иван Алексеевич.

Он поздоровался, представился и рассказал о своем посещении детского дома. Он был сам взволнован рассказом, но заметил, что еще больше взволнована Катя. Иван Алексеевич, пока рассказывал, успел разглядеть ее.

Ивану Алексеевичу понравилась Катина стройность, понравился прямой взгляд и глаза теплого коричневого цвета, понравилась экономность ее движений, точность, что, впрочем, одно и то же. Но Иван Алексеевич считал, что вкус его раз и навсегда определен: черные глаза, смуглость, склонность к полноте, вообще все, что свойственно Тамаре, — это и есть его вкус.

— Так как, вы думаете, лучше сделать: позвать Сашу сюда или нам пойти к нему?

— Пожалуй, все равно, — сказала Катя. — И так хорошо, и так неплохо. Но подумайте, какой скрытный! Ведь он мне ни слова не сказал о том, что вы писали, и о своей переписке с отцом.

— Переписка! Ему всего-то было тринадцать лет, когда началась война.

— Но ему было уже шестнадцать лет, когда Александр Николаевич погиб. А вы... вы думаете усыновить Сашу Турчанова? — неожиданно спросила она.

— Я? — Иван Алексеевич был совершенно озадачен таким вопросом. — Я? — переспросил он еще раз. — Нет;

я не думал об этом. И вообще, вы знаете, я недавно женился, — сказал он совершенно невпопад и густо покраснел.

Но Катя ничего не замечала, она была занята своими мыслями.

— Так выйдем, да? — спросила она рассеянно.

Они нашли Сашу на скамейке. Он играл в шахматы со своим другом Петро, который благодаря блестящим глазам получил новое прозвище — Фонарик.

— Саша, познакомься: Иван Алексеевич Федоров. Друг твоего отца. Он специально приехал к нам, чтобы повидаться с тобой.

— Здравствуй, Саша, — сказал Иван Алексеевич и протянул ему руку.

— Здравствуйте, — сказал Саша и медленно встал. — Вы... вы живы?

— Жив, как видишь, а почему ты спрашиваешь?

— А я думал... Мне казалось... Значит, вы дошли до Берлина?

— Дошел, точно! — улыбаясь, сказал Иван Алексеевич.

— Я ж тебе говорил, что он жив! — воскликнул Фонарик. — Скажите, а рейхстаг какой высоты, сколько, если на этажи перевести?

— Я думаю... я думаю... этажей пятнадцать...

— Вы были там? Расписались?

— Нет, не был. Наш батальон отвели южнее.

— Эх, жаль! Что же вы не попросились?

— Нельзя было.

— Да, так, конечно, — неохотно подтвердил Фонарик.

— Пойдем, Петро, — сказала Катя.

Оставшись наедине, Иван Алексеевич и Саша несколько минут молчали. Иван Алексеевич думал, о чем лучше всего заговорить — рассказать Саше о том, как они жили на войне? Но ведь именно об этом Александр Николаевич и писал сыну. Рассказать о Новинске, то есть о той боевой операции, в которой погиб Александр Николаевич? Но в голове складывались только штабные формулировки той тактической задачи, которую выполнял их полк, или общие сведения об операции...

Сашу, конечно, интересует, как погиб его отец. Но Иван Алексеевич и сам толком ничего не мог рассказать. Ушли в разведку... Обрато приполз один только боец,

и тот тяжело раненный. Накрыли их минометным огнем, вот и все, что известно...

— Саша, я тебе тут консервов привез, — Иван Алексеевич быстро развернул пакет, — из Германии... Мясные и рыбные...

— Подарок? — Саша встрепенулся. — Неужели из самой Германии тащили?

— Из города Берлина, — сказал Иван Алексеевич.

— Здорово! — Саша с интересом разглядывал яркие этикетки. — Спасибо!

Снова они помолчали: тема была исчерпана.

— Товарищ майор, — сказал Саша, — я хочу у вас попросить совета. Я сейчас учусь на печатника, специальность, конечно, хорошая, но вот с общим образованием что делать — не знаю. Я восемь классов закончил, иди мне на вечернее или на заочное?

Иван Алексеевич задумался. Это уже было конкретное дело, да еще такое, которое его самого интересовало.

— По-моему, на вечернее. Тут, знаешь, втягиваешься, в группе легче, ну а заочный лучше для меня.

— А вам много осталось? — спросил Саша.

— Мне-то? По крайней мере пять лет академии. Да я в этом году и не рискну. Что знал, то все надо сначала...

— Ну, чем меньше перерыв, тем лучше, — категорически заявил Саша.

— Вот как! Ты думаешь?

— И я, и все мы... Так сказала Екатерина Григорьевна.

— А вы ее слушаете, Екатерину Григорьевну? — спросил Иван Алексеевич.

— Товарищ майор... Иван Алексеевич... Ну как вы можете спрашивать? Да ведь она... Ну конечно же мы ее слушаем. Вы не знаете, она тоже на войне была, у нее орден Красной Звезды, Отечественной второй степени, медаль «За оборону Ленинграда»...

— Да, замечательный человек, — подтвердил Иван Алексеевич. — Я очень рад, что у вас такая хорошая воспитательница...

— Она не воспитательница, она может в любое время от нас уйти, у нее прекрасная комната в Ленинграде...

— Ну, одно другому не мешает, — улыбнулся Иван Алексеевич.

— Не потому, что мешает. . . Она с нами ради нас самих!

— Хорошо, очень хорошо, прекрасно, — повторил Иван Алексеевич и встал. — Куда же ушла Екатерина Григорьевна, я хотел с нею проститься. . .

— Вы уже уходите?

— Пора, Саша. Мы теперь будем писать друг другу, верно?

— Конечно! Только не забудьте оставить адрес. А Екатерина Григорьевна к себе пошла, чтобы мы вдвоем поговорили.

Иван Алексеевич обнял Сашу и прижал к себе.

— Ого! — сказал Саша. — У вас руки железные. Поддубный!

— Что, что? Ты откуда знаешь?

— Я? Мне папа писал, — ответил Саша неохотно. — Знаете, было написано, что ротой командует капитан, по прозвищу Поддубный, а цензура замарала чернилами, но не слишком, я все-таки разобрал. . .

Катя проводила Ивана Алексеевича до калитки. Он вырвал из блокнота листок и написал свой адрес.

— Если что, я, конечно, напишу, — сказала Катя.

— Да вы не ждите случая, пишите. . .

— Хорошо, — сказала Катя неуверенно. — Ну а как вам Саша понравился?

— Да славный, по-моему, парень.

— Славный? Да. . . Очень настоящий, — сказала Катя убежденно. И в ее тоне Иван Алексеевич услышал отtones ревности.

— Вас дети любят, — сказал он ласково. Катя промолчала, и Иван Алексеевич спросил: — Говорят, вы служили в армии?

— Да. . . было.

— Медсестрой?

— Сначала пулеметчицей, потом связисткой, потом медсестрой. — Она взглянула на листок с номером полевой почты и пожала плечами: — А теперь как-то даже удивительно читать номер полевой почты. Прошло.

— Что, что?

— Я говорю, война кончилась.

— Да, конечно. Вам надо было остаться в армии, — сказал вдруг Иван Алексеевич с воодушевлением.

— Мне? Почему? А может быть, и в самом деле... — Катя улыбнулась. — А вы, наверное, заядлый военный?

— Я? — Иван Алексеевич обрадовался, что Катя улыбнулась, ему хотелось улыбки, шутки, вообще какой-нибудь разрядки. — Я настоящий кадровый волк. А для таких сейчас самая жизнь начинается: с утра строевая...

Но Катя так и не откликнулась на его шутливый тон, она, видимо, всерьез что-то обдумывала.

— Самая жизнь?

Он взглянул на нее и понял, что никакой разрядки не произошло.

— А что, Екатерина Григорьевна, ведь четыре года мы всего лишены были, хочется пожить, как все люди.

— Возможно это?

— Отчего же нет? Сейчас главное — это не сбиться с намеченного курса. Не рывками двигаться, как на войне, а постепенно, зато наверняка. Ну, возьмите меня. Командую я батальоном, хозяйство, не хвастаясь скажу, слаженное, командир полка отличный человек, если что нужно, всегда пойдет навстречу, ну, семья моя только начинается, но я думаю, если есть начало...

«Он счастливый человек, — думала Катя, — знает, чего он хочет, и делает, что хочет. Он счастливый человек, его жизнь хранит. Но он заслужил, заслужил все то, чего хочет...»

Когда Иван Алексеевич ушел, Катя пошла в дом, все еще думая об их разговоре. «Возможно ли?» — снова и все с той же тревогой спрашивала она себя. Но впервые за долгое, очень долгое время на душе у нее было необычному хорошо.

---

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1



етний лагерь дивизии находился довольно далеко от зимних квартир. До железной дороги километров тридцать, добраться можно только на попутной машине. Пересаживались на поезд в Любозерске, где стоял штаб корпуса, и ехали по узкоколейке до станции Верески.

Интенданты у Бельского были настоящие зубры. На двух платформах приволокли строевой лес, а плотников-умельцев Бельский сам лично инструктировал. В Любозерске, в каменном доме штаба корпуса, было мрачно и сыро, там стоял какой-то нездоровый, гнилой воздух, и все люди выглядели хмурыми, озабоченными. А в Вересках, у Бельского, вкусно пахло лесом, смоляной дух веселил душу, и было видно, что работа здесь кипит. У писарей лица были довольные, повсюду шныряли молоденькие девушки с нашивками ефрейторов — телефонистки, машинистки и секретарши — все как на подбор, ладные, розовые, с прическами «перманент».

Иван Алексеевич снял комнату недалеко от штаба, в домике станционного сторожа, старика Потапыча, который отсюда и во время войны никуда не уезжал. Это был высокий, жилистый, очень чистенький старик, у которого испокон веков снимали комнату «товарищи командиры» по весьма умеренной цене.



В Ленинграде жить было дешевле, да и ездить туда из лагеря было удобнее, но Иван Алексеевич этого не хотел. Особенно его сердила мысль, что Тамара будет частой гостьей у тетки, Александры Глебовны, которую Иван Алексеевич с самого начала остро невзлюбил.

Несмотря на дорожные трудности, Иван Алексеевич каждое воскресенье приезжал в Верески. Порою случалось так, что Иван Алексеевич видел Тамару всего лишь несколько часов, но он был и этим счастлив и всю длинную дорогу мысленно рисовал себе разные картины их свидания: он увидит ее на платформе из окна вагона или случайно встретит на улице, а может быть, Тамара дома, сидит у окна и ждет...

В эту субботу Иван Алексеевич приехал позднее обычного. Он понадеялся на машину командира полка, а Камышин только в девятом часу вечера освободился. Весь путь Камышин пилил шофера: не гони, темно, машину тебе не жалко, хочешь голову расшибить? Иван Алексеевич подавленно молчал: спидометр показывал не больше сорока.

Была уже ночь, когда Иван Алексеевич приехал в Верески. Тамару он дома не застал и побежал на станцию. Ночь была сырая, темная, редкие фонари с трудом освещали дорогу, желтые электрические пятна то появлялись, то расплывались в тумане. На станции было чуть посветлее, и он сразу же увидел Тамару. Она ходила взад и вперед по узкой, немного приподнятой над землей, открытой платформе. Иван Алексеевич остановился, но не окликнул жену. Ему было необычайно радостно смотреть на нее.

Какой-то мужчина в темном бобриковом пальто сидел на платформе под невысоким деревянным навесом и, сложив руки, уныло высматривал поезд. «Как он одинок, — вдруг подумал Иван Алексеевич, — как он одинок и несчастлив!..»

В это время лицо Тамары попало под свет фонаря, и Иван Алексеевич увидел выражение грустной озабоченности. Заждалась!..

— Томочка! — позвал он чуть слышно.

И уже потом, когда они пришли домой, за ужином он все вспоминал этого мужчину в бобриковом пальто и думал: «Как он несчастлив!..» И оттого, что он мог

сравнить две судьбы — свою и другую, пусть даже выдуманную, — ощущение счастья было еще более глубоким и сильным.

У Ивана Алексеевича аппетит был прекрасный. Но если бы потом его спросили, что он ел за ужином, Иван Алексеевич вряд ли бы мог толково ответить.

Тамара спрашивала: «Вкусно?», он отвечал: «Вкусно, очень вкусно». Ну а что было — рыба или пирог с капустой — этого он не разобрал.

Не смог бы он и рассказать потом, о чем они говорили. Между тем Тамара много рассказывала в тот вечер, и, вероятно, смешное, потому что оба смеялись.

Глубокой ночью Иван Алексеевич вышел на балкон и оглядел мир. И хотя это был самый обыкновенный дачный балкончик на втором этаже, Ивану Алексеевичу казалось, что внизу под ним вся Земля, со всеми ее морями, океанами и странами. С этого прочного балкончика земля была величиной с детский глобус и не спеша крутилась внизу, там, где туман перепутал кусты малины, крыжовника и смородины. «Пусть вертится, ведь это ее работа... — думал Иван Алексеевич. — А я... я счастлив».

Весь следующий день они провели вместе. Иван Алексеевич не поехал в Ленинград, ему хотелось быть вдвоем с женой, только вдвоем, они забрались в лес, потом купались в холодной речке, потом где-то в деревне пили молоко, которое Иван Алексеевич вообще-то терпеть не мог, и едва не опоздали к вечернему поезду.

Иван Алексеевич издали увидел на станционной платформе комбата-2 Лебедева с женой и поморщился. Он очень хорошо относился к старому своему однополчанину Юрию Викторовичу Лебедеву, к Юре, но сейчас Иван Алексеевич так был растроган свиданием с женой, что всякая другая встреча его раздражала. Лебедев же, напротив, обрадовался.

— Майору с супругой! — издали крикнул он, сложив руки рупором.

«Что это он так кричит? — недовольно подумал Иван Алексеевич. — Выпил, наверное, за обедом, вот и кричит».

Но он ошибся. Лебедев провел совершенно трезвое воскресенье с семьей, которую давно не видел. Его жена вместе с женой хозяина дачи вскопала за лето огород, и

теперь, в сентябре, мужская помощь была необходима. Да и вообще работы хватало. Двое ребятшек — мальчик и девочка — все эти годы росли без отца. Неожиданно быстро подошло время, и вот уже школа. Лебедев, вздыхая, перелистал их тетради У дочери все было благополучно, но парень заслуживал серьезного упрека. «А еще в артиллерию метишь, — сказал Лебедев. — С двойками туда не берут».

Иван Алексеевич не умел притворяться, и по его лицу было видно, что он недоволен. Но Лебедев это недовольство истолковал по-своему. В поезде он завел разговор о женах и о том, что капризам их несть числа и если всему этому потакать, то такая каша получится, сам не рад будешь.

— Какие капризы, кому потакать? — сердито спросил Иван Алексеевич. «Так я и знал, — думал он, — начнется одна сплошная пошлость, и ни на чем нельзя будет сосредоточиться».

Лебедев вместо ответа хитро подмигнул. Но это подмигивание окончательно рассердило Ивана Алексеевича. Он вскочил, подошел к окну и стал смотреть на закат.

— Плюнь на все, береги здоровье: все они одинаковы. «Нет, так не надо, другую найдем», — лихо пропел Лебедев, но в этот момент Иван Алексеевич обернулся, и Лебедев увидел его изменившееся лицо.

— Стыдно... Вздор... Пошлости... — пробормотал Иван Алексеевич, отошел от окна и сел в дальний угол вагона.

— Рехнулся, — сказал Лебедев убежденно. — Определенно рехнулся. Что я тебе такого сказал?

Ивану Алексеевичу сразу стало стыдно за то, что он так вдруг возненавидел хорошего товарища, да еще человека куда старше его по годам. Ведь Лебедев действительно ничего обидного не сказал. Тон... Да, вот тон... Но что это был за тон?

Иван Алексеевич уже понимал, что все его домыслы несправедливы. Вспомнил и то, что в самом начале войны Лебедев рассказывал о своей семье. Он тогда не знал, успели ли они эвакуироваться из пограничного района: «Неизвестно, совершенно неизвестно...» Иван Алексеевич вздохнул, вспомнив, какой страшный смысл был в этом слове.

«Ох, как нехорошо», — думал он, сидя в дальнем углу вагона и мучаясь. Наконец вскочил и подошел к Лебедеву:

— Юра... признаю, что был неправ.

— Да уж действительно, — сказал Лебедев.

— Нет, ты скажи — мир? Дружья или нет?

— Да не кричи ты так... — засмеялся Лебедев. — И что это с тобой сегодня? Неужели Тамарка... Молчу, молчу, язык себе откушу — буду молчать.

На станции их ждал вездеход. Дорога быстро побежала через сосновый лес. Слева от них лес был густой и совершенно черный, а справа редкий, и, пока они ехали, справа меж стволов все время блестело большое озеро. Потом дорога пошла в гору и вместе с нею все выше и выше поднимались сосны, а озеро мелькало где-то внизу и казалось покрытым льдом.

Наконец они увидели темные очертания лагеря, и Лебедев сказал, ощущая близкий покой:

— Приехали. Ты что это, задремал?

Но Иван Алексеевич не спал. Он думал о большом дне, оставшемся позади. Так, значит, это и называется счастьем?

Откуда-то издалека, он не мог даже вспомнить откуда, Иван Алексеевич услышал негромкий голос:

— Возможно ли? (Кажется, это спрашивала та милая воспитательница из общежития.)

— Почему же нет? Конечно, возможно, — уверенно ответил ей Иван Алексеевич.

2

Он встал рано, до общего подъема, просекой миновал лес и вышел на опушку, в район учений.

— Утро доброе, товарищ майор!

Иван Алексеевич обернулся и увидел Жолудева.

— А, Семен Николаевич... Что, тоже решил солнышком полюбоваться?

— Да. Спешу, — ответил Жолудев, — чует мое сердце, что сегодня начальство нагрянет.

Иван Алексеевич промолчал. Он смотрел на упорное заревое пламя, которое, едва родившись, зажгло полнеба. Жолудев не решался прервать молчание: хотя все было

решено, он понимал, что командиру батальона хочется еще раз подумать и представить себе, как все будет.

Решение, которое принял Иван Алексеевич, далось ему не сразу, а лишь после того, как он тщательно разобрался в обстановке и понял замысел Бельского — воспроизвести на учениях операцию по прорыву немецкого фронта под Новинском. Только масштабы были куда меньше, в остальном же все соответствовало прошлому, совпадали позиции наши и «противника», соотношение сил, и даже местность, которую выбрал командир дивизии, с удивительной точностью напоминала фронт под Новинском.

Но именно с того момента, как Иван Алексеевич разгадал этот замысел, для него и началась настоящая работа.

Дело в том, что дивизия, которой командовал Бельский, в первый день наступления успеха не имела. Едва только началась наша артиллерийская подготовка, немцы укрылись в блиндажах и убежищах, а с переносом огня в глубину обороны воспользовались большим отставанием нашей пехоты от огня артиллерии, быстро заняли свой передний край и огнем остановили наступление дивизии Бельского. Дивизия Северова, соседа Бельского, продвинулась уже на три километра, а здесь все еще топтались на месте. Танки слишком поздно вышли с исходных позиций, а артиллерия, приняв сигнал «атака», держала огонь на первом рубеже огневого вала лишь две минуты и, не дождавись сигнала пехоты, перенесла свой огонь на следующий рубеж. Это привело к отставанию пехоты и танков. У Северова потеря было куда меньше. И только лишь на второй день, когда немцы стали откатываться, дивизия Бельского успешно продвинулась вперед. Тут произошло то, что часто происходит на войне. В результате прорыва Северова именно Бельский первый достиг Новинска и именно им было подписано донесение об освобождении города.

Иван Алексеевич в то время уже был ранен и лежал в медсанбате. Но и тогда и сейчас он думал об одном: в чем же была ошибка, которая стоила жизни многим людям, — и пытался мысленно представить себе всю операцию в целом.

Вернувшись в строй, Иван Алексеевич расспрашивал знакомых офицеров из дивизии Северова, той самой

дивизии, которая определила успех боя под Новинском.

— Триста метров? — с завистью интересовался Иван Алексеевич. — Легко преодолели?

— Ну зачем говорить — «легко»... Разве бывает что легкое на войне? Нет, не легко, но успешно...

О том же рассказывал Ивану Алексеевичу и Жолудев, служивший во время войны в соседней дивизии. Жолудев познакомил его с майором Шевченко — умным и образованным офицером, заместителем начальника оперативного отделения в штабе Северова. Иван Алексеевич все больше и больше убеждался, что слишком далеко от немцев были расположены наши исходные позиции, — в этом была ошибка. И теперь, после того как Иван Алексеевич понял, что на учениях предстоит повторение Новинской операции, он с особым вниманием выбирал позицию для своего батальона. Камышин не возражал, и первую траншею отрыли в трехстах пятидесяти метрах от «противника».

Ивана Алексеевича поддерживал в этом деле и замполит полка Балычев. Он особенно настаивал на тщательной отработке взаимодействия с танками и артиллерией. А к мнению подполковника Балычева Иван Алексеевич всегда прислушивался. В госпитале, после Новинска, они лежали в одной палате. Вместе думали о пережитом.

Комбат-2 Лебедев тоже приблизил исходную позицию своего батальона к «противнику», заявив при этом, что ни в какую теорию влезать не собирается, «но война научила, — значит, все».

Иван Алексеевич провел с офицерами батальона несколько занятий, специально посвященных Новинской операции. В этих занятиях приняли участие и артиллеристы, и танкисты, и саперы. Иван Алексеевич просил командира полка достать в штабе дивизии кое-какие документы, и Камышин ездил в Любозерск, но оттуда вернулся с пустыми руками.

— Так-таки ничего не осталось? — недоумевал Иван Алексеевич. — Ведь в каждом полку вели журналы боевых действий. Ведь сдавали им все!

— Восстанавливайте по памяти, — посоветовал Камышин. — Сейчас другого выхода нет, а я еще раз попытаюсь.

Теперь, когда все уже было подготовлено, Иван Алексеевич думал о том, что главное все-таки впереди. Главное в том, как будут действовать люди, в том, как они осуществят бросок, в их уверенности, что план боя наметчен правильно, в их готовности довести дело до конца.

В это утро Иван Алексеевич видел разных людей. Одни были старыми ветеранами, другие совсем «зелеными», только что пришедшими служить срочную. (Слово это теперь так приятно звучало, впервые за четыре года оно снова заняло свое место в армейском словаре.) Здесь можно было встретить людей, отступавших из Минска, из Киева, из Смоленска... А многие не знали горечи поражений. От Ржева, от Москвы, от Воронежа они шли только вперед. Были здесь люди, пережившие плен — самое, быть может, страшное: неволю. Для одной части солдат это учение должно было стать последним: демобилизацию уже объявили; для других оно было первым шагом в их армейской жизни. Но чем больше Иван Алексеевич ходил по «переднему краю» и чем больше видел разных, не похожих друг на друга людей, тем спокойнее чувствовал себя. Душевная тревога уступала место уверенности — драгоценному чувству, которое так важно в любом деле, в особенности же в деле военном, и которое во многом способствует успеху.

Но, быть может, уверенность людей связана с тем, что это война «не настоящая», что, чем бы ни кончилось дело, потерь не будет и что «убитые» и «раненые» тотчас же после «боя» встанут в строй? Об этом не один раз и с тревогой спрашивал себя Иван Алексеевич.

И, словно в ответ на свои мысли, он услышал разговор, который во многом определил его настроение. Это было во время перекура. Иван Алексеевич находился в своем блиндаже и слышал, как старшина роты, небрежно сплевывая после длинной затяжки, рассказывает о чем-то, по-видимому, очень интересном. Это был тот самый старшина, которого похвалил Бельский в Ленинграде, перед парадом. Иван Алексеевич слышал, как, закончив свой рассказ, старшина добавил:

— Вот так-то... Пулям не кланялись и от снарядов не бегали... Чистую рубаху наденешь, папу-маму вспомнишь и — пошел! А вам, героям, что голову, что задницу подставлять — одно дело. Все равно не шлепнет.

Иван Алексеевич услышал одобрительный смех и подумал: «Дуб, дуrolом, мозги набекрень... Вот такие-то нам всю обедню и портят».

Он уже хотел вылезти из блиндажа и вмешаться в разговор, но тут кто-то его опередил:

— Слушай, старшина, я с тобой поспорю... («Кажется, это голос Осокина, командира отделения. Кажется, это он», — подумал Иван Алексеевич.) В бой, как на учение, конечно, не пойдешь — это верно. Но ведь этого от нас и не требуется. Требуется, чтобы мы на учение пошли, как в бой.

«Осокин, — думал Иван Алексеевич. — Умница, молодец, хорошо ответил». Он приоткрыл дверь из блиндажа, солдаты его увидели.

— Диалектика, — смеясь, сказал старшина, обращаясь к командиру батальона и рукой показывая на Осокина. (Прозвище Диалектика давно уже за ним закрепилось.)

Солдаты притихли. Все теперь смотрели на Ивана Алексеевича, и он понимал, как много зависит от его слова. Он вышел из блиндажа, смахнул землю с брюк и гимнастерки, и хотя ему очень хотелось попросту обручать старшину, он себя сдержал.

— Диалектика — это наука, — сказал он, улыбаясь, — а я всегда за науку. Задача наша трудная, — продолжал Иван Алексеевич уже серьезно. — Не легче, чем под Новинском была. Кто желает, тот, конечно, может и папу с мамой вспомнить, но лучше не надо...

Он не закончил фразы. Вдоль опушки леса, мягко приседая на рытвинах, прямо на них шел знакомый «опель» командира дивизии. Машина остановилась, Иван Алексеевич увидел Бельского, адъютанта командира дивизии Рясинцева и заместителя начальника политотдела Кирпичникова, высокого мужчину, необычайно костлявого, о котором в дивизии говорили, что у него суставов больше положенной нормы.

С первой же минуты все поняли, что генерал раздражен. Не дослушав рапорта Ивана Алексеевича, Бельский спросил:

— Где позиции «противника», где ваши позиции? Целый час езжу, ничего не понял: левая, правая где сторона?



— Сейчас обо всем доложу, товарищ генерал, — сказал Иван Алексеевич. — Может быть, пройдем в траншею?

— Вижу отсюда. Рясинцев, карту!

Рясинцев быстро расстегнул планшет, вынул карту, ловко подал ее командиру дивизии и отошел в сторону.

Бельский развернул карту и, бросив ее на крыло «опеля», прижал ладонью:

— Показывайте...

Иван Алексеевич достал из планшета остро отточенный карандаш:

— Разрешите, товарищ генерал?

— Давайте, давайте...

Иван Алексеевич прочертил тонкую линию фронта, на которую Бельский едва взглянул.

— Товарищ Кирпичников, попрошу сюда! Рясинцев!

Иван Алексеевич не видел, как они подошли, и только почувствовал, что вокруг него стало тесно.

— Полюбуйтесь-ка, — сказал Бельский громко. — Вот как мы умеем построить наш передний край. Сто метров от «противника»! Лихо, а?

— Триста пятьдесят метров, товарищ генерал... — подсказал Иван Алексеевич.

— Триста пятьдесят метров! Не двадцать пять, не тридцать, а триста пятьдесят! Очень хорошо! А почему не двадцать, почему не тридцать?

— Разрешите доложить, товарищ генерал. Я считал, что...

— Что вы считали? А вы видели, как у меня под Новинском было? Я вас спрашиваю, видели?

— Видел, товарищ генерал. Однако опыт войны в целом учит, что...

— Вот это здорово, вот это мне нравится! Кирпичников, понял? Служит у меня, кажется, не первый день, все знает, как надо делать, все сделал наоборот и еще болтает об опыте войны! Где командир полка? Рясинцев!

— Слушаюсь, товарищ генерал.

— Камышина!

— Слушаюсь, товарищ генерал.

Но Камышин и Балычев, кем-то предупрежденные, что командир дивизии находится на позициях первого батальона, уже спешили сюда.

Бельский, коротко кивнув Камышину, спросил:

— С первым батальоном мне все ясно, с Лебедевым что?

— Не понял вашего вопроса, товарищ генерал, — сказал Камышин.

Бельский еще больше нахмурился.

— Не понимаете?.. Лебедев тоже в двадцати метрах от «противника» зарылся?

— Никак нет, товарищ генерал. Мы определили расстояние в триста — триста пятьдесят метров.

— «Мы»? Кто такие «мы», позвольте вас спросить?

— Я считал, что действую не вразрез с уставными положениями, — ответил Камышин. — Я дважды по этому поводу беседовал с оперативным отделением штаба дивизии.

— Ну, с ними у меня отдельный будет разговор. Рясинцев, карту!

Рясинцев поднял упавшую на землю карту. Свежий глянец был запачкан землей и мазутом. Бельский, брезгливо морщась, пальцем показал новые позиции.

— Немедленно начинайте переделывать. Соберите людей, расскажите им о Новинске. Эта операция прославилась нашу дивизию. Надо поднять боевой дух солдат.

— Разрешите мне, товарищ генерал, — выступил вперед Балычев. — С нами вместе работали и командиры приданных подразделений танков и артиллерии...

— А это уж, товарищ замполит, не ваша забота. Вы, наверное, забыли, что мы, пехота, царица полей, являемся здесь хозяевами?

— Я это знаю, товарищ генерал. Однако осталось совсем мало времени. И если мы сейчас...

— Вот и покажите, на что вы способны, товарищ замполит! Товарищ Кирпичников, это по вашему ведомству...

Кирпичников вынул маленький блокнот и, шурясь, что-то записал.

— Завтра к трем часам зайдете в политотдел. Захватите все данные.

С минуту Бельский стоял молча.

— Нехорошо, товарищи, — сказал он наконец. — И меня подводите, и себя. В любую минуту может приехать командир корпуса. Как мы будем выглядеть? На-

деюсь на вас, полковник, — Бельский протянул руку Камышину. — И ты, герой, не очень умничай, — повернулся он к Ивану Алексеевичу. — Все вы, молодежь, только и думаете, как бы поперед батьки в пекло.

— Никак нет, товарищ генерал, — сказал Иван Алексеевич. — Разрешите доложить свои соображения!

— «Свои соображения!» Поменьше громких фраз, Федоров! Побольше дела! Ну, что у тебя?

— В первый день Новинской операции, товарищ генерал... Я хочу сказать, товарищ генерал, расстояние было слишком большим до первой немецкой траншеи. Я полагаю, надо было усиками подбираться.

— Ай-ай-ай... А мы-то с Шавровым до этого не додумались!

— Но опыт войны учит, что...

— Вот именно: «опыт войны». Я вам об этом начиная с Девятого мая толкую. Надо помнить, что Новинск — это святыня наша. А если кто забыл, тому и напомнить не грех. В тяжелом бою, в поту кровавом добыли мы нашу победу!..

Он сел в машину, но правой ногой еще касался земли, и казалось, что только эта нога удерживает здесь генеральский «опель». Видимо, Бельский еще что-то хотел сказать, но, взглянув на Ивана Алексеевича, ничего не сказал, и в то же мгновение машина, шурша в потоке жухлой листвы, быстро взяла с места. Иван Алексеевич напряженно следил за ней, словно боясь, что вот-вот оборвется какая-то важная связь. Зажегся красный огонек, потух, снова зажегся, потом осталась маленькая красная точка, потом и она исчезла.

— А вы, майор, не отчаивайтесь, — услышал Иван Алексеевич спокойный голос Камышина. — Как говорится, на войне всякое бывает. Обойдется, уляжется. Да ведь завтра это все совсем не так страшно будет выглядеть. Солдат жалко: труд не малый.

— А я на завтрашний день очень рассчитываю, — возразил Балычев. — Что невозможно было сказать здесь, в этой обстановке, вполне возможно в политотделе.

— Товарищ полковник, разрешите к вам с вопросом обратиться? — спросил Иван Алексеевич.

— Да обращайтесь, боже мой!.. Что вы официально разводите?

— Товарищ полковник, вы считаете ранее принятое решение правильным?

Камышин пожал плечами:

— Да как вам сказать? В общем, конечно, правильным. Идея вполне современная.

— А если так, зачем же сдаваться? — спросил Иван Алексеевич. — Так, за здорово живешь. . .

— Не за здорово живешь, а по приказу командира дивизии, — напомнил Камышин.

— Хорошо, пусть так. Я это понимаю. Но можно ведь подать рапорт на имя командира корпуса. Не возвращается, товарищ полковник. . .

— Ну, это уж вы оставьте, — сказал Камышин сердито. — Вот когда будете командиром полка, тогда так и поступайте. А я человек ученый. Рапорт-то я обязан через командира дивизии подать.

— Прошу извинить, товарищ полковник, — заметил Бальчев, — но это законный порядок. Даже на войне. . .

— Если на каждый случай рапорты писать, бумаги не хватит, — перебил его Камышин. — Нет, все. Приступаем к работе. — Он снял фуражку и большим клетчатым платком вытер лоб. — Что здесь за климат, ей-богу: с утра туман, чуть ли не мороз, а днем солнце по-летнему греет. . .

Через час у командира полка началось совещание, на котором Камышин приказал в соответствии с указанием генерала отодвинуть исходные позиции в тыл на четыреста — пятьсот метров.

А еще через час все уже были заняты новой работой.

3

Иван Алексеевич находился в несвойственном ему тяжелом настроении. Впервые за годы своей службы в армии он был так подавлен.

Дело было совсем не в том, что Бельский накричал — и накричал несправедливо. Меньше всего Иван Алексеевич чувствовал личную обиду. Грубость — штука отвратительная, но грубость можно простить. Быть может, сам того не замечая, Иван Алексеевич все время искал мотивы, оправдывающие Бельского. Он пытался поставить себя в положение человека, на плечах которого лежат

большие заботы. «Нет, все-таки я бы разобрался, в чем тут дело, и не решал бы с налета, — говорил себе Иван Алексеевич. — Вызвал бы командира батальона или приехал бы на позиции еще раз...»

Иван Алексеевич старался избегать всяких встреч и разговоров со своими подчиненными. И каждый раз, когда речь шла о приказе Бельского, он пытался найти наиболее правдоподобное ему объяснение.

Приказав командиру саперного взвода Мамелюкову явиться для получения указаний, он постарался настроить себя вроде того, что: «Мы, товарищ Мамелюков, здесь ошибку совершили. Конечно, на расстоянии семисот пятидесяти метров... Ну-с... И в то же время надо сказать...» Но тут он почувствовал такое отвращение к этой системе фраз, что, когда Мамелюков явился, сказал ему просто:

— Товарищ Мамелюков, ставлю вас в известность о приказе командира дивизии. Какими средствами собираетесь осуществлять?

Иван Алексеевич встретился со спокойным взглядом Мамелюкова, который постороннему человеку мог показаться взглядом равнодушным. Но человек, давно с ним знакомый, без труда прочел в этом взгляде вопрос: «Это зачем?..»

— Приказал Бельский, — сказал Иван Алексеевич и, вздохнув, прибавил: — Начальству виднее...

Вечером к Ивану Алексеевичу в палатку пришел Жолудев. Они частенько проводили свободное время вместе. Играли в шахматы или ходили в кино. А то и просто разговаривали «за жизнь».

Жолудев был хорошим рассказчиком. Особенно занятно получалось, когда он говорил о своей семье. Каких только не было Жолудевых! Жолудев — земский врач, знаменитый «оспенник», Жолудев — путешественник, которого чуть ли не съели на островах Тихого океана, Жолудев — металлург, свирепый холостяк, проживший всю жизнь на уральском заводе.

Почему-то Ивану Алексеевичу казалось, что тяжелее всех воспримет новый приказ Бельского именно Жолудев. Он мысленно представлял себе его расстроенное лицо и нервные руки... Да, пожалуй, это был один из немногих людей, с которыми Ивану Алексеевичу хотелось поговорить.

К его удивлению, Жолудев был в этот вечер на редкость собранным. Они молча сыграли партию в шахматы, Иван Алексеевич «зевнул» коня, и Жолудев уверенно довел партию до победы. Ни тот, ни другой не начинали разговора о главном. «Почему он молчит? — думал Иван Алексеевич. — Почему? Ведь знает же, как это мне...»

— Трудно, товарищ майор? — неожиданно спросил Жолудев.

Иван Алексеевич кивнул головой:

— Трудно.

— Да, да, да... — быстро сказал Жолудев. — Это верно, это так... Разумеется, так. Но позвольте мне дать вам один совет: не прячьтесь от людей, идите к людям...

Иван Алексеевич нахмурился:

— Мне что-то непонятно. Кажется, я все от себя зависящее делал и делаю. Не так?

— Так. Но не слишком ли этого сейчас... мало? Я со многими коммунистами беседовал. Говорят — надо сейчас каждому сделать столько, сколько он может, и еще немного больше. Не хмурьтесь. Идите к людям с открытой душой. Мы же сами каждый день людей учим, чтобы всё как на войне. Учим ведь? Вот я себя спрашиваю: а как бы я себя в этом случае на войне повел, неужели бы я и на войне этакого развенчанного короля изображал?

— Товарищ капитан!

— Слушаю, товарищ майор. Я ведь об этом сам себя спрашиваю... — Иван Алексеевич невольно улыбнулся. — Нет, серьезно, — продолжал Жолудев. — Реально: немцы в трех километрах отсюда, тогда что?

— Кажется, и в самом деле я больше к войне приспособлен.

Жолудев внимательно на него взглянул:

— «Приспособлен к войне...» Прощу прощения, Иван Алексеевич, но это, по-моему, нелепица! Таких людей вообще нет.

— Человек военный, кадровый... — начал Иван Алексеевич.

Жолудев покачал головой:

— Трудно совсем не потому, что у нас какие-то особые организмы, «приспособленные к войне», трудно потому, что война кончилась, а военное наше дело должны мы любить не меньше. Время переходное: надо себя

найти. Я сейчас видел комбата-2: Лебедев бодр, ясен, тверд, весь погружен в работу. . .

— Бодр, ясен, тверд, — повторил Иван Алексеевич. — Еще бы ему не быть таким, это не удивительно! «В теорию не лезу. . . — передразнил он Лебедева. — Но ежели вы говорите, что так лучше, и я с вами. Генерал приказал делать иначе — хорошо, слушаю, будет исполнено».

— Напрасно вы так о Лебедеве, — сказал Жолудев. — Он ведь тоже по-своему переживает. Мне кажется. . .

Он не успел закончить фразу, в палатку вошел Балычев.

— Хотя бы дверь открывали, — сказал он недовольно. — Ведь надо же, как надымили. . .

Иван Алексеевич ничего не ответил и с надеждой взглянул на Балычева.

— Товарищ подполковник, вы были в политотделе?

— Я сейчас оттуда.

— И что же?

— Приказ есть приказ, — сдержанно ответил Балычев. — Разговор был, но в нашем вопросе товарищ Кирпичников помочь не может.

Ему не хотелось подробно рассказывать об этом своем походе, к которому он так тщательно готовился. За начальника политотдела Ветлугина, тяжело раненного под Берлином, работал бывший инструктор Кирпичников, которого Балычев недолюбливал. Очень уж неприятна была его чопорность, и в особенности многозначительные паузы, благодаря которым каждая последующая фраза должна считаться поистине золотой.

В тот несчастный день под Берлином одним снарядом ранило Ветлугина и убило его заместителя Василия Григорьевича Васильева. Первое время Кирпичников был, что называется, «един в трех лицах», потом его утвердили заместителем начальника. Но до сих пор был он еще и «временно исполняющим обязанности». Ветлугина ждали.

На этот раз Балычев решил высказать все свои соображения. Нравится ему Кирпичников или нет — это дело второе, а поговорить надо серьезно, по-партийному. Он до полуночи просидел над донесением, дважды сам, ни-

кому не доверяя, переписал, затем приложил схемы позиций полка на учении и объяснительную записку.

Кирпичников бегло пробежал донесение и, увидев схемы, пожал плечами:

— Вы что же, в строевые готовитесь?

— Никак нет, — ответил Балычев. — Я с начала войны на партийной работе, ни о какой другой не мечтаю.

— Ого, старичок!.. — заметил Кирпичников и сделал длительную паузу. Как ни подготавливал себя к этим паузам Балычев, но тут он почувствовал себя неловко. — Ну, вас демобилизация непременно захватит, — услышал наконец Балычев. — Столько прослужить, можно и отдохнуть... .

— Ничего, товарищ подполковник, — успокоил его Балычев, — я чувствую себя бодро.

— Да уж слишком бодро! Каких дел натворили... На всю дивизию прославились! Генерал очень недоволен, — подчеркнул он, давая понять, что хорошо осведомлен о настроении Бельского. — Вам следует приложить немало усилий, чтобы смыть с полка это пятно.

— Разрешите доложить, — сказал Балычев, стараясь держать себя как можно спокойнее. — Приказ командира дивизии выполняется, полк подготовлен к выполнению поставленной перед ним задачи, что же касается «пятна», то полк наш никаких «пятен» не имеет.

Кирпичников долго молчал.

— Это не мои слова, — сказал он наконец, как-то нарочито вяло.

— Чьи бы ни были, товарищ подполковник. Полк никаких «пятен» не имел и не имеет, — повторил Балычев.

— «Не имел» — об этом я судить не могу, — раздраженно сказал Кирпичников. — Об этом может судить полковник Ветлугин... — он сделал паузу, — в данный момент находящийся на излечении в госпитале.

После этого Кирпичников произнес похвальное слово в адрес находящегося на излечении начальника политотдела полковника Ветлугина. Но чем больше он хвалил Ветлугина, тем меньше Балычев ему верил.

— Прошу вас, товарищ подполковник, прочесть мое донесение, — сказал Балычев.



— Ну, разумеется, — буркнул Кирпичников, пряча бумаги в стол. — А это можете забрать. — Он отделил чертежи от донесения и протянул их Балычеву.

Из всего разговора Балычев рассказал Ивану Алексеичу и Жолудеву только то, что он заверил политотдел в готовности полка выполнить стоящую перед ним задачу.

— Так что не подведите... И не хмурься, Иван. И себе плохо делаешь, и людям.

— Мне уж об этом Жолудев толковал. Но откровенно скажу: невеселая у меня от этого дня памятка останется.

— А я тебе и не советую камаринскую плясать, — сказал Балычев. — Продолжай работать, доказывай свое. Это законное право офицера и коммуниста. И право и обязанность. Впереди теоретическая конференция. Подготовь выступление. Подумай как следует... И еще вот что, по-моему: не пожалей времени, возьми за перо, сделай настоящую работу — напиши о Новинске...

— Что вы, товарищ подполковник, какой из меня писатель!

— Товарищ подполковник прав, трижды прав, — горячо вмешался Жолудев. — А что, в самом деле? Не боги горшки обжигают.

— Ну что, сдаешься? — спросил Балычев.

— Сдаюсь. Не уверен, что из этого получится, но... но сдаюсь. Попробую, товарищ подполковник. Обещаю.

— Добьешься. Я в тебя верю.

На следующее утро Иван Алексеич проснулся с ощущением чего-то нового в своей жизни. Все вокруг было как всегда — яркое и пестрое сентябрьское утро, красные стволы сосен и голос старшины роты, бойкий и даже немного развязный. И Жолудев, как всегда, внимательно слушал людей, и люди работали, как всегда, много и упорно (оборудование новых позиций сильно подвинулось за эти сутки) — все было таким же, как и всегда, но все уже было другим. Он почти физически ощущал на своих плечах *дело*, которое еще недавно было только его обычной работой.

«Развенчанный король? — вспоминал Иван Алексеич. — Нет, эта роль мне не подходит. Бороться за свое дело, драться за него. А такая возможность скоро пред-

ставится, ведь после учений разбор, который, наверное, будет делать командир дивизии».

Но все произошло иначе, чем он себе рисовал. Никакого «разноса» на разборе учений не последовало. Бельский был в отличном настроении, и все повеселели. Даже Камышин, который всегда тушевался при нем, приободрился.

Бельский положительно оценил действия полка на учении. Особенно остановился он на действиях первого батальона. Иван Алексеевич слушал и ушам своим не верил. Самые щедрые эпитеты — умело, слаженно, мужественно — относились к нему.

Он вопросительно взглянул на Балычева. Тот сосредоточенно записывал речь командира дивизии, и лицо его ничего не выражало, кроме предельной сосредоточенности.

— Особенно следует отметить, что командир первого батальона, допустивший серьезный промах в выборе позиций, быстро усвоил мои указания, — сказал Бельский. — Майор Федоров сумел в кратчайший срок, учитывая опыт войны, оборудовать новые позиции, это дало ему возможность действовать во время атаки смело, находчиво, инициативно.

«Но я должен сказать... — растерянно думал Иван Алексеевич, — сказать, что я... Но что я должен сказать?!» — спрашивал он себя, слушая хвalebный перезвон.

— Вы разрешите, товарищ генерал? — спросил Балычев, оторвавшись от своих записей. — На мой взгляд, товарищ генерал, потери были значительны, между тем они могли быть меньше, если бы...

— То-то мне Кирпичников докладывал, что у тебя замполит в строевые просится, — перебил его Бельский, обращаясь к Камышину. — Успокойте ваши нервы, товарищ Балычев. Война есть война, без потерь войны не бывает. Летится кровушка, ничего не поделаешь. Что, Федоров, неправда? Тебе, кажется, это хорошо известно?

Иван Алексеевич встал и что-то пробормотал. Ему было мучительно стыдно. Бельский, который в другое время наверняка спросил бы: «Чего вы там жуετε?», не сделал Ивану Алексеевичу никакого замечания.

— Я рад, товарищи офицеры, — сказал он, — что смогу сегодня же доложить командиру корпуса о том, что ваш полк снова отличился. Спасибо, товарищ полковник, — обратился он к Камышину и крепко пожал ему руку

4

Всю эту неделю Тамара ждала Ивана Алексеевича с нарастающим беспокойством. Слух, что генерал недоволен и что этому причина — майор Федоров, быстро распространился. Известно, что худые вести приходят куда быстрее, чем хорошие. Трудно сказать, кто был виноват в длинном слухе, просто кто-то кому-то о чем-то сказал, а чья-то жена подхватила и передала своей подруге. Воображение, свойственное большинству женщин, нарисовало и то, чего совсем не было. До Тамары слух докатился уже вполне сформировавшимся по вкусу его авторов.

Гнетущее чувство беспокойства было хорошо ей знакомо. В униженной тревоге за свою жизнь прошли годы скучающей. Новинск очень скоро попал в безвыходное положение, и в первые же дни войны Тамара все потеряла — и домик с палисадником, и молодого человека, с которым она ходила в кино по субботам, и тетку Александру Глебовну, усакававшую на восток, и отца, погибшего на границе, и свою лучшую подругу Асю — продавщицу магазина «Тэжэ», которая внезапно исчезла из Новинска, а затем оказалась вблизи города в партизанском отряде. Тамара осталась одна — беспомощная, ни к чему не приспособленная.

Так случилось совсем не потому, что Тамара до войны жила в каких-то необыкновенно хороших условиях и что ее с детства изнежили. Она выросла в семье ветеринарного фельдшера; какой уж там особенный достаток!.. Она рано потеряла мать, отцу постоянно приходилось разъезжать, и вряд ли он мог баловать Тамару. Она с детства умела и обед готовить, и постирать, и, едва закончив семилетку, пошла на курсы, а потом поступила работать в новинскую контору «Сельэлектро». Заработок ее очень помогал семье...

Неприспособленность Тамары, ее беспомощность объяснялись вовсе не ее беспечностью, а недостатками общественного воспитания.

Ни в школе, ни на службе Тамара не блистала никакими талантами, но она не была и отсталой; ни о каких трудовых подвигах она не мечтала, но работала прилежно. В школьном табеле у нее встречались и пятерки, а на службе ее премировали двухнедельной путевкой в дом отдыха.

Тамара не была примером хорошего, но она не была и примером плохого. Именно на таких людей у нас порой мало обращают внимания.

Может быть, хорошеньксe личико Тамары и ее явное желание побыстрей выйти замуж отпугнули тех, кто обязан был воспитывать в ней гражданственность, то есть готовность к испытаниям?

Тревога за самое себя вынужденно стала главным и единственным чувством Тамары, надолго определившим ее жизнь. В годы оккупации она жила в такой непроницаемой душевной темноте, что даже не научилась ненавидеть врагов и только мучительно их боялась.

Чувство, которое испытывала Тамара к Ивану Алексеевичу первое время, когда еще гремела война, нельзя было назвать ни влюбленностью, ни тем более настоящей любовью, которая всегда сродни самопожертвованию. Скорее напротив, ее чувство было связано с желанием упрочить свое положение в жизни. И это не следует понимать в грубом материальном смысле.

Это было утверждением самой себя, проявлением своей личности. Первое время она совсем не разбиралась ни в званиях, ни в должностях. Другое было важно Тамаре. Еще не будучи замужем за Иваном Алексеевичем, она чувствовала его защиту. Свершилось главное: после всего пережитого она впервые была спокойна за свое будущее.

Теперь снова она почувствовала, как что-то грозное постучалось в дверь. Еще засветло она несколько раз бегала на станцию встречать поезд, хотя знала, что так рано Иван Алексеевич освободиться не может. Потом решила, что он приедет на попутной машине, и стала ждать его дома.

Было уже около десяти, когда она услышала голос Ивана Алексеевича. Она слышала, как он прощался с Лебедевым, жившим неподалеку. «Не торопится», — подумала Тамара. Но она не выглянула в окно и не позвала

мужа, а, вся как-то сжавшись, прислушивалась к его голосу. Ей показалось, что тон его не такой, как всегда — спокойный, с мягким выговором, а глухой и какой-то чужой. Она так волновалась, что забыла зажечь свет в комнате.

Наконец послышались шаги и удивленный голос Ивана Алексеевича:

— Ты спишь?

— Что ты... Нет... Я жду тебя...

Тамара бросилась к мужу и порывисто прижалась к нему. Иван Алексеевич обрадованно и немного смущенно обнял ее.

— Боже мой... Темно ведь... — вспомнила Тамара.

Она зажгла свет, потом кинулась к плитке.

— Ты же голоден! Садись, садись... Сейчас я все принесу. Минуточку!

Иван Алексеевич сел и сразу же почувствовал сильную усталость. Он был человеком выносливым, недаром же о нем говорили: «Поддубный никогда не устает». А тут такое чувство, словно он всю дорогу из лагеря тащил на себе страшную тяжесть. Вошла Тамара, накрыла на стол, поставила чайник на плитку и села рядом с Иваном Алексеевичем.

— Ты плохо выглядишь, — сказал он, посмотрев на нее. — Осунулась. Что с тобой?

— Как ты можешь спрашивать? — сказала Тамара. — Конечно, плохо, если у тебя неприятности.

Иван Алексеевич нахмурился, придвинул к себе тарелку и тут же ее отодвинул.

— «Неприятности»... Так! Откуда же ты знаешь?

— Как откуда? Все говорят: Людмила Ивановна, Зоя Лебедева, Калистратова.

— Вот как, «дамская почта»! — Иван Алексеевич покачал головой. — Еще о чем тебе доложили?

— Я знаю, что генерал тобой недоволен, говорят, что он...

— Генерал? — переспросил Иван Алексеевич. — Ошибаешься. Командир дивизии совершенно мною доволен.

Но в эту минуту у Ивана Алексеевича был такой мрачный вид, что Тамара могла понять эти слова только как напрасную ложь. Так она и поняла.

— Ты мне должен сказать всю правду!

— А я тебе правду и говорю: сегодня на разборе Бельский привел в пример меня как растущего, инициативного, волевого и всякого другого офицера...

— Но если это правда, почему ты рассказываешь об этом таким тоном?

— Вот прекрасно! Теперь тебе не нравится мой тон. Я тебе говорю, что не далее как сегодня на разборе учений... Ты ведь знаешь, что такое разбор учений?

— Знаю, конечно. Ты меня совсем за дуру считаешь.

— Тамара!

— Да, да, Тамара. Уже двадцать один год Тамара.

Она закрыла лицо руками и заплакала.

Иван Алексеевич, как и все сильные люди, при виде слез терялся. Сначала он стал утешать жену, отчего ее слезы только усилились, потом, рассердившись, сказал, что, если она может плакать, едва увидев мужа, значит, она его не любит. Так он и сказал: «Не любит». А она-то считала, что у нее сердце разрывается от любви.

Затем он взялся за самое негодное оружие — начал доказывать *логически*, что плакать бессмысленно, что слезами делу не поможешь, и этим возбудил новые подозрения.

— Ладно, — сказал Иван Алексеевич, — я расскажу тебе все, как было.

Тамара сразу же вытерла слезы и прислушалась. Лицо ее выражало живое нетерпение.

— Ну вот, послушай... — начал Иван Алексеевич и остановился.

С чего же начинать? С понедельника, когда Бельский так грубо оборвал все, что было ими сделано? Но для того, чтобы ей понять, надо было знать, каких трудов все это стоило. А ведь он ни о чем никогда Тамаре не рассказывал.

«Ну а как я мог рассказывать? — мысленно сердился Иван Алексеевич. — Эта наука не для жен, да и, наконец, существует же военная тайна». Но разве для того чтобы понять, сколько трудов потрачено там, в лагере, и сколько пережито волнений и надежд, разве для этого надо было изучать военную науку? Все эти вопросы разом стали перед Иваном Алексеевичем, и, едва начав, он сразу же замолчал.

— Понимаешь, Томочка. . .

Она сидела напротив него на маленьком диване, который был первым их хозяйственным приобретением, и сосредоточенно смотрела на мужа.

— Понимаешь, Томочка. . . Ты должна понять. . . В сущности, Томочка, ничего особенного не произошло.

И пока Иван Алексеевич тянул в этом духе, он ненавидел и себя, и свою искательную улыбку и то принимался ходить по комнате, то снова усаживался на диван. Наконец он все-таки добрался до дела, то есть до разбора учений, и повторил все то лестное для него, что сказал Бельский, и даже упомянул, что командир дивизии поблагодарил Камышина.

— Значит, все это действительно бабьи разговоры и ничего больше? — радостно воскликнула Тамара. — А я-то, дура, всему поверила. . .

— Чему ты поверила? — переспросил Иван Алексеевич.

— Да что все у тебя плохо и что генерал. . . Когда ты начал, я думала, что ты просто хочешь меня успокоить. А еще Зоя говорила: «С таким характером, как у твоего Поддубного. . .» Какая вредная! Ой, смотри, снова чайник кипит!

— Подожди, подожди, — сказал Иван Алексеевич. — Мне кажется, что ты ничего не поняла. . .

— Все поняла, все. Поняла, что ты умник и что я тебя за это поцелую в носик.

— Подожди, подожди, — снова сказал Иван Алексеевич, отстраняя от себя Тамару. — Ты, собственно, хвалишь меня за то же, за что хвалил меня Бельский.

— Я хвалю тебя за то, что ты мой умник. А вот за то, что ты меня сравниваешь. . .

Но Ивану Алексеевичу сейчас было вовсе не до шуток:

— Я тебя не сравниваю, но повторяю, что ты ничего не поняла. Все эти похвалы — все это игра, все фальшь, все для того, чтобы потом доложить Шаврову! — крикнул он, забывая, что как раз именно этого не стоило говорить жене.

— Не кричи, пожалуйста, — сказала Тамара. — Все кругом спят,

— Я не кричу. Просто я целый час толкую тебе о том, что меня мучает, а ты не можешь понять. Ведь дело-то не сделано. Меня хвалят не за то, что я сделал, а за то, что я этого не сделал...

— Совсем запутался, — сказала Тамара, — и хватит! Ешь, пожалуйста, все остыло, снова надо чай ставить.

— Не надо чая, ничего не надо, — горячился Иван Алексеевич.

— Не хочешь чая, ложись спать!

— И спать я не хочу. Какой там сон! Как ты можешь даже думать о сне!

— Ты просто неблагодарный человек, — сказала Тамара. — Ждала его целую неделю, мучилась, а он...

Это была их первая ссора. Иван Алексеевич, так и не дотронувшись до ужина, не раздеваясь, лег на диван и накрылся шинелью. Оба не спали.

Он чувствовал себя оскорбленным: не нашел поддержки дома, остался непонятым. Но разве он нуждался в поддержке Тамары? Не поддержки он искал, а утешения, а это разные вещи. Утешения он мог получить с избытком...

Сейчас он упрекал себя, что затеял весь этот разговор, стал объяснять «специальные» вопросы, самое лучшее было просто промолчать или отшутиться.

Тамара думала примерно о том же. С трудом завоеванное благополучие, мирное их существование внезапно утрачено. Хорошо было бы вернуться к той жизни, которая еще вчера текла по своему обычному, спокойному руслу. Она жалела Ивана Алексеевича за то, что ему неудобно спать, — он ворочался на своем диване, и сердилась, что повела себя глупо, наговорила мужу то, о чем просто не следовало говорить.

Под утро они помирились. У обоих не было никакого желания объясняться, и поэтому они были нежны и ласковы друг с другом больше, чем всегда. У Тамары были заранее куплены билеты в театр. Они поехали в Ленинград, смотрели «Укрощение строптивой», много смеялись, находили в героях общие с собою черты. В антракте Иван Алексеевич встретил бывшего своего сослуживца с женой, такой некрасивой и такой неповоротливой, что он окончательно развеселился и на обратном пути рассказал несколько анекдотов об этом своем сослуживце, которого в полку прозвали «дед Шукарь».



А меж тем след от ссоры остался. И именно потому остался, что взяло верх желание во что бы то ни стало быть сегодня счастливыми, счастливыми сегодня, чего бы это им ни стоило в будущем.

5

Вскоре после учений Бельский объявил о решении организовать теоретическую конференцию для офицеров дивизии со своим докладом об опыте войны.

«Прорыв долговременной, глубоко эшелонированной обороны противника под городом Новинском» — тема весьма подходящая. Такой доклад поднимал авторитет Бельского в глазах начальства и среди подчиненных.

Как всегда в таких случаях, был вызван Рясинцев, и дело закипело.

Адъютант Бельского был человеком известным в дивизии. Он не чванился своей близостью к начальству, не притворялся, что знает больше, чем ему положено, старался не сиять, а держался скромно и за власть не тянулся. Но во всей дивизии не было человека, столь умело подчиняющегося Бельскому. Это одно ставило Рясинцева в положение исключительное. И как раз этого-то Бельский не понимал.

Зато сам Рясинцев очень хорошо понимал исключительность своего положения и ничего не жалел для того, чтобы его упрочить.

Вся его жизнь была разделена незримой чертой на две части — до и после знакомства с Бельским.

Он родился в небольшом городке, знаменитом только тем, что через него проходила железнодорожная магистраль Москва — Севастополь. На этой дороге много лет служил проводником международных спальных вагонов отец Рясинцева. Семья могла бы жить безбедно, тем более что, кроме Олега, детей больше не было, но жили они очень плохо. Недовольство своим положением было постоянным. С детства Олег слышал жалобы на жизнь. От отца он знал, что настоящая жизнь не здесь, а там, в этих быстро несущихся поездах, и именно в одном только вагоне, окрашенном не в общий зеленый, а в скромный

коричневый цвет. Двухместное купе с отдельной уборной, настоящий хрусталь, дорогие закуски, которые небрежно вынимают из специальных корзиночек. В таком вагоне на чаевые не скупятся и дают их ни за что. По чаевым и различал людей Рясинцев-старший. «Тоже мне профессор кислых щей, — рассказывал он дома. — Сколько я вам обязан? Рубль тридцать копеек? Прощу...» — передразнивал он неловкого пассажира. «Вот это жизнь! — со вздохом зависти рассказывал он о каком-то беглом кассире. — Сотню выбросил, глазом не моргнул!»

Олег рос лентяем. Его, конечно, пороли за двойки и называли лентяем, лоботрясом, лодырем, однако это не мешало ему ежедневно впитывать в себя самую грубую философию лени и зависти.

Дома, например, говорили: «Вот смотри, инженер, а карман с дырой». И тут же рассказывалась история о чистильщике сапог, зарабатывающем больше председателя треста. «А что, к примеру, актриса? Бриллианты-то все равно фальшивые».

«Феньке ума не занимать, — говорилось о глупой и злой бабе, служившей в пивном ларьке, — на одной пене сколько денег делает». Двоюродную сестру Ольгу, вышедшую замуж за токаря, открыто называли дурой. «Изобретатель, — смеялись над ее мужем. — Чего он там изобретает на копейку в год!» Потом с запойным усердием рассказывались разные истории о людях, выигравших кругосветное путешествие в лотерею и обменявших дурацкую путевку на живые деньги. Леня отлично уживается с жадностью. Это разные ветви одного дерева.

И Олег вслед за отцом повторял: «Вот это жизнь!» — и вечерами бегал на станцию и вглядывался в зеркальные окна международного. Там, за этими окнами, мчалась настоящая жизнь.

Все-таки он кончил школу и поступил работать счетоводом на меланжевый комбинат и вскоре пережил свое первое увольнение. Счетоводства Рясинцев совершенно не знал, и, так же как в школе он презирал свой класс и преподавателей, и физическую карту обоих полушарий, и шведскую стенку в спортзале, и убогое пианино, вокруг которого пели «Мы, красная кавалерия», — так теперь он презирал меланжевый комбинат, старшего бухгалтера, его серые нарукавники, трескучие арифмометры, ли-

ловые строчки стенгазеты и аллею молодых кленов, которую тянули от здания заводоуправления к цехам.

Он перепробовал многое. Был заведующим клубом, комендантом общежития, сборщиком объявлений в газете, библиотекарем, администратором в Доме крестьянина, снова счетоводом. Его увольняли не за пьянство, не за воровство, не за какую-нибудь уголовщину. Просто он не хотел работать. И с каждым днем он все больше чувствовал отвращение к людям работающим, которых он считал ничтожествами и презирал. И с каждым днем он все больше чувствовал странную уверенность, что будет время, «придет день», когда ему удастся над ними восторжествовать, придет оно, это время, неизбежно придет. «Придет, придет, придет...» — повторял он, зябко дрожа под тоненьким казенным одеялом.

Во время войны он все-таки вытянул свой счастливый билет.

Как человек, имеющий среднее образование, Рясинцев был определен в школу младших лейтенантов. Вскоре фронт приблизился к их городу, и школа эвакуировалась в Казахстан.

Бельский в это время был назначен заместителем начальника школы по строевой части.

Рясинцев не только угадал Бельского с первого взгляда, но и бесповоротно ему поверил. Он искренне восторгался великой напористостью Бельского, напористостью во всем и всегда, его способностями вовремя что-то сказать, кому-то улыбнуться, на кого-то накричать, его умением привлечь к работе нужных людей и заставить их за себя работать, а потом, не моргнув глазом, выслушать благодарность начальства и сверкать, и греметь, и изумлять мир своими тридцатью двумя не тронутыми жизнью зубами.

Ему нравилась жизненная цепкость Бельского, его размах, его нестигаемая уверенность в самом себе, и даже его нравностью Рясинцев любовался. Бельский презирал свою чахлую, провонявшую бензином «эмку», и ему запрягали тройку лошадей, низкорослых, косматых и быстрых, как черти. Он не боялся ни пурги, ни глухих углов, а однажды чуть ли не целый час отстреливался от волчьей стаи. У него была своя особенная кружка из толсто-стенного фарфора, куда входило больше литра. Бельский любил козье молоко, и для него специально держали

козу. Одним приступом он опоражнивал эту кружку, и долго еще затем на его пушистых усах держалась густая белая пеночка. Он говорил: «мои люди», «мой склад», «моя кухня», «мои преподаватели», хотя все дело беззаветно тянул начальник школы, старый военный трудяга, скромный и даже застенчивый.

«Такой человек, как Бельский, — говорил себе Рясинцев, — самой природой создан для власти». И ему все время хотелось чем-то услужить Бельскому, и даже не для того, чтобы выслужиться, а совершенно бескорыстно. Просто ему хотелось слушаться. И он мечтал о будущем Бельского, об его блестящей судьбе и боялся, что тот сделает что-то не так, где-то поскользнется, на чем-то сорвется. Для того чтобы этого не случилось, нужен Рясинцев. Он, когда надо, поддержит, подскажет, шепнет...

В этом большом, розовом и громком человеке Рясинцев чувствовал частицу самого себя, причем самую беспокойную, ту, которая заставляла его дрожать под казенным одеяльцем и верить и ждать, что «придет день».

Он сам был несколько смущен своим открытием. Неужели действительно могло быть что-то общее между ними?

Вскоре выяснилось, что Бельский ищет начальника для своей канцелярии. Но во время войны найти человека для этой работы было крайне трудно: каждый стремился как можно скорей попасть на фронт.

Охотником вызвался Рясинцев. К этому времени он уже твердо решил, что порознь ни он сам, ни Бельский в жизни не преуспеют. А вместе они — сила, та самая, которая солому ломит.

Чудесный это был момент! Уже виделись Рясинцеву огни международного вагона и люди, достающие из корзинок дорогие закуски, в то время как проводники в войлочных тапках бесшумно готовят чай. Все это вспоминалось необычайно остро. Словно и не было всей его прежней жизни с «унылыми странами света» и шведской стенкой, и клубных мероприятий с танцами под баян затейника — шерочка с машерочкой, и истрепанных корешков «Виринеи» в райбиблиотеке, и шумных чаепитий в колхозной гостинице. Так, значит, он стал работать? Как бы не так!

Дел было немного. Да и главное было не в них. Лентяй лучше всех изобретает бумажные дела. Он проси-

живал в канцелярии дни и ночи. Работать Рясинцев не умел, но изобретать «дела» — на это его ленивый мозг был очень способен. И он достиг, чего добивался: он стал необходим Бельскому. Теперь надо было приступить к главному — любой ценой вырваться на оперативный простор. И Рясинцев начал писать рапорты по начальству. Он изобрел свой стиль, то есть стиль для Бельского, — отрывистый и вместе с тем витиеватый. Наконец, он сочинил биографию Бельского. Не в том смысле сочинил, что в ней были искажены факты. Просто эти факты легли так, как нужно.

Теперь все зависело от того, повезет или не повезет Бельскому. Ему повезло. Он был принят на курсы по усовершенствованию офицерского состава. Рясинцева он взял с собой не то как ординарца, не то как вестового, и тут Олегу Николаевичу пришлось очень туго: никто не хотел поставить его на довольствие, да и вообще его фигура стала привлекать внимание: человек здоровый, свежий, с образованием, и в такой странной роли... Бывали дни, когда Рясинцев маковой росинки во рту не имел и только и знал, что валяться на кровати Бельского в общежитии курсов.

Все-таки Бельский его отстоял и на фронт прибыл со своим адъютантом.

Войны Рясинцев не испугался. Он был настолько поглощен собой и своим новым превращением, когда из человека нужного он стал человеком влиятельным, что просто не замечал тягот войны. Если Бельский укрывался в семинакатном блиндаже, или щели, или случайном ровике, Рясинцев был вместе с ним; если Бельский выскакивал вперед, Рясинцев шел рядом.

Бурные были это дни и порой безрассудные. И только теперь, когда наступил мир, можно было осмотреться и подбить кое-какие итоги. Пришел ли тот день, о котором когда-то мечтал Рясинцев? На этот вопрос можно было ответить и да и нет.

Да — потому что кончились бездомье, мытарства, есть хозяин, который его не гонит. Правда, хозяин с норовом, но ведь Рясинцев сам его выбрал и сам поверил в его счастливую звезду.

Уже Рясинцев ездил с хозяином в двухместном купе с отдельной уборной, и наслаждался пуфиками и крани-

ками, и лениво брал с мельхиорового подноса бутерброды с влажной коричневой икрой, а вечером в полутемном коридоре отчаянно флиртовал с какой-нибудь волоокой брюнеткой, пока не раздавалось на весь вагон:

— Рясинцев!

Ночью, лежа на полированной под красное дерево койке и стараясь не слушать знакомый храп, Рясинцев думал о своей беспокойной жизни и о том, что лет ему уже не так мало и что подлинное счастье — в покое. Вдали от суеты, в уютном домике, и у входа две клумбы в виде сердец. Непременно два цветущих сердца: ведь этот домик должен стать приютом любви. Например, эта волоокая брюнетка, замирающая на пороге от восхищения...

— Рясинцев!

Господи, даже и во сне Бельский нуждается в нем. Как далеко еще до рая, как много предстоит хмурого, неласкового, земного.

— Рясинцев!

Ну и пусть себе кричит, не велика беда... Опасная зона для Рясинцева проходила не здесь, но очень близко отсюда. С недавних пор у него появилось такое ощущение, словно он шагает по заминированному полю. Быстро, еще быстрее, осталось перебежать только этот кусочек... Но вот уже перебежал он и этот кусочек, а впереди все те же, едва заметные, но смертельные бугорки...

Пренеприятная история получилась у него со вступлением в партию. Бельский дал ему рекомендацию, но две другие он никак не мог получить. И это было особенно поразительно потому, что рекомендацией Бельского Рясинцев открыто гордился. Каждый отговаривался по каким-то совершенно ничтожным мотивам, а в результате Рясинцев так и не перешагнул важный рубеж.

Бельский долго на эту тему возмущался: «Как-никак мой адъютант, если надо, я сам подправлю», но из этого ничего не получилось. Ветлугин наотрез отказался в какой-либо степени «повлиять» на людей.

Но не Ветлугина, а Кирпичникова опасался Рясинцев больше всех. Не то чтобы он ощущал какую-то к себе недоброжелательность (вот Ветлугин, тот действительно его не переносил!), нет, нет, совсем не то... Просто он стал замечать, что Кирпичников Бельскому угоден и что

Бельский к нему прислушивается. По-видимому, Бельскому нравились педантичность Кирпичникова и даже его чопорность, тем более что своими знаменитыми паузами Кирпичников при Бельском пользоваться не решался. И хотя Рясинцев и Кирпичников были совершенно разными людьми, Рясинцев все время подозревал в нем соперника.

Доклад Бельского на теоретической конференции Рясинцев очень тщательно готовил. Как обычно, он сам ничего не писал и только намечал для работы нужных, наиболее грамотных офицеров.

— Генерал приказал представить в письменном виде ваши соображения. . .

Так создавались эти, как их называли в дивизии, «мозаики».

Перед тем как Бельскому подписать эту «мозаику», ее просматривал Рясинцев. В суть дела он не углублялся: этого не позволяли его знания. Но к форме очень был придирчив. Стиль должен служить цементом для всех этих материалов, созданных разными людьми, и сделать из «мозаики» настоящий документ. В этом Рясинцев был непревзойден. И если ради «стиля» выкидывались в корзину многие важные замечания, так и того лучше: поменьше умствований, мы здесь не для этого. После такой обработки многие из авторов не узнавали себя.

В то утро он вошел в кабинет Бельского, как и всегда, подчеркнуто молодцевато и собранно. Все эти установленные службой фразы — «разрешите войти», «разрешите доложить» — все то, что полагалось каждому офицеру, Рясинцев очень соблюдал. И чем ответственнее было поручение, чем больше Бельский от него зависел, тем скромнее вел себя Рясинцев. Своим поведением он подчеркивал, что лишь выполняет то, что ему положено выполнять. Цена дела от этого возрастала.

— Ого! — сказал Бельский, взвешивая на ладони объемистую рукопись.

— Так точно, товарищ генерал. Немногим больше полутора часов чтения. Можно сделать небольшой перерыв на странице двадцать три, я отчеркнул карандашом это место.

— Пустяки, — отрезал Бельский. — У меня, слава богу, в горле не першит.

— Это будет еще лучше, — серьезно сказал Рясинцев. — Впечатление останется более цельным.

Бельский взглянул на него. Рясинцев стоял неподвижно, взгляд его был ясен и прост. Бельский покачал головой, открыл рукопись и стал читать.

Это было для Рясинцева самым мучительным: неподвижно стоять перед генералом. (У него опухали ноги в щиколотках.)

И что Бельский медлит? Считанные часы остаются до прихода поезда, который они должны сегодня встретить... Событие важное: после долгих лет эвакуации возвращается из Алма-Аты его жена. Что же он медлит?

Но в это время Бельский, перелистав несколько страниц, сказал:

— Нехорошо.

«Слава богу, можно переменить ногу», — подумал Рясинцев и сделал шаг вперед, словно навстречу генеральским мыслям.

— Нехорошо, — повторил Бельский.

Рясинцев подвигал пальцами в сапогах. Кажется, впервые за все эти годы Бельский так отрицательно отнесся к его работе.

«Вот тебе и встреча с Кирпичниковым... — суеверно подумал Рясинцев. — Ну да, конечно, он был тут, и наверное...» Но что мог говорить Кирпичников против него, было совершенно неизвестно.

— Товарищ генерал, — сказал Рясинцев. — Здесь собраны все ваши приказы в период Новинской операции, систематизированы даже отдельные, разновременно издававшиеся указания...

— Вот это-то как раз и плохо, — заметил Бельский. — Я, я, я... Что такое «я»? Последняя буква в алфавите.

«Черт знает что, это у него новое, — подумал Рясинцев. — Неужели действительно Кирпичников?..»

— Садись, — сказал Бельский совершенно неожиданно для Рясинцева. — Садись. Когда я говорю садись, значит, садись.

Рясинцев сел, стараясь не менять обычного почтительного выражения лица.

— Кто я? — продолжал Бельский. — Я в армии человек маленький. Ну, кое-что сделал, допустим так. Однако будет нескромно выпячивать то, что сделано мною. Да,



нескромно, а потому худо. Мой доклад не ставит такой задачи.

«А какую же тогда?» — подумал Рясинцев, но только чуть кашлянул.

— Генерал-лейтенант Шавров, — сказал Бельский так громко, что Рясинцев вздрогнул. — Генерал-лейтенант Шавров, — повторил Бельский. — Вот кто является инициатором сражения. Ему, и только ему, принадлежит честь прорыва фронта противника. Где это отражено в моем докладе?

— Товарищ генерал, позвольте мне...

— Ничего не позволю, — перебил его Бельский. — Ничего не позволю, пока не ответите мне на мой вопрос.

— Я хочу сказать, товарищ генерал, что роль командира корпуса выделена в вашем докладе на странице...

— Э-э-э! Да что вы в самом деле крохоборничаете? — с досадой сказал Бельский. — На странице, на странице... Кажется, не первый день служите, могли бы понимать. Ну что, поняли?

— Понял, товарищ генерал.

— И чтобы этого «я» больше не было. Здесь один хозяин — командир корпуса. — Он открыл рукопись и прочел: — «На рассвете двадцать восьмого февраля мой приказ был вручен командирам подразделений...» Стыдно, Рясинцев. «На рассвете двадцать восьмого я получил приказ за подписью командира корпуса». Естественное построение фразы?

— Совершенно естественное, товарищ генерал.

— Двадцать четыре часа на исполнение!

— Будет исполнено, товарищ генерал. Прошу еще сутки на перепечатку доклада, товарищ генерал.

— Подраспустились, Рясинцев!

— Никак нет, товарищ генерал.

Бельский молча пододвинул ему рукопись.

— Покажешь потом Кирпичникову. Пусть поглядит. И чтобы прения были и так далее. Ясно? Условия лагерные: полевой китель, золота поменьше!

— Ясно, товарищ генерал.

Бельский взглянул на часы.

— На какой вокзал приходит поезд? — спросил он отрывисто.

— На Московский, товарищ генерал. Разрешите до-

ложить: поезд приходит в четырнадцать двадцать пять. С полчаса назад наводил справки: опоздания не будет.

— Надо думать, — сказал Бельский, и Рясинцев чуть наклонил голову: действительно, было бы глупо думать, что опаздывает поезд, который везет в Ленинград жену генерала Бельского.

— Машину!

— Слушаюсь, товарищ генерал.

6

Жена Бельского. . . Рясинцев, конечно, знал, что у командира дивизии есть жена, знал хотя бы потому, что по давно заведенному правилу ежемесячно переводил на ее имя деньги. Мария Филипповна Бельская. Алма-Ата, улица такая-то, дом такой-то. . .

Оттуда, из Алма-Аты, на имя Бельского приходили письма. Он отвечал на них аккуратно. Рясинцев этой перепиской совершенно не интересовался с тех пор, как прочел два-три письма. Самые что ни на есть обыкновенные письма с приветами и пожеланиями. Не очень длинные, не очень короткие.

Если бы спустя много лет какой-нибудь прилежный историк, роясь в архивах, нашел бы эти письма, то только даты на почтовых штемпелях рассказали бы ему о нашем времени. В письмах Мария Филипповна часто упоминала имя Володи, племянника Бельского, который учился в Москве в университете (детей у них не было, два мальчика-близнеца умерли много лет назад). Но на Володю Бельский не откликался. Он был в давнишней ссоре с племянником. Рясинцева это уже совсем не интересовало. Племянник, который как бы и не племянник, ибо дядиных денег не получает.

В ожидании поезда Бельский и Рясинцев молча шагали по перрону. Бельский, как всегда, критически разглядывал гражданских. Интересно, какое впечатление он производит на них? Если бы он сам был в гражданском, то с завистью наблюдал бы за уверенной фигурой генерала. . .

Рясинцев был занят своими мыслями. Доклад надо переделать — это ясно, замечания Кирпичникова учесть. Он был и раздражен новыми заботами, и вместе с тем чувствовал себя увереннее, чем утром. Все-таки теперь

двое отвечали за доклад Бельского: он и Кирпичников. И черта с два, если он к этому еще кого-нибудь привлечет. В штабе дивизии народ ученый — это так, но здесь требовалась не столько ученость, сколько вдохновение. Как это сказал Бельский: «Помните, что у нас один хозяин. . .»

Радио объявило, что поезд подходит к платформе номер два, и тотчас же все увидели белое тугое облачко, которое, казалось, медленно и бесшумно приближается к перрону. У всех лица стали серьезными, все озабоченно смотрели на путь. Прошло несколько мгновений, из облачка вынырнул паровоз, и на перроне сразу же стало шумно и весело.

Только сейчас Рясинцев обратил внимание на выражение лица Бельского. Это выражение он видел впервые. Оно не было ни самоуверенным, как обычно, ни искательным, как при встречах с большим начальством. Выражение его лица было растерянное. В телеграмме было сказано ясно: вагон пятый, и Рясинцев давно уже высчитал, где примерно должен остановиться пятый вагон. Но Бельский вдруг как-то странно засуетился по платформе и, как слепой, стал тыкаться то туда, то сюда. Наверное, именно так много лет назад Бельский, с единственным кубарем в петлицах, разыскивал на каком-нибудь дальнем полустанке Марию Филипповну с близнецами и тещу, сидевших на ветхих чемоданах.

— Товарищ генерал! — почти кричал Рясинцев, ныряя вслед за Бельским в шумную толпу.

— Ну что? — спросил Бельский, запыхавшись. — Где? Здесь? Может, пропустили, не заметили?

— Товарищ генерал, пятый вагон. . .

Он не закончил, поняв, что Бельский уже увидел жену.

«Вот эта? — подумал Рясинцев. — На фотографии она выглядела иначе. . . Совсем молоденькая, веселая улыбка. . . Лицо, правда, и сейчас выглядит молодо, но какое грустное выражение. . . И седая, совсем седая. . . Сколько ей? Да, наверное, уже около пятидесяти. . . И одета, скажем прямо, не ахти. . . И сумка потрепанная. . .»

Вот Бельский нагнулся, обнял жену, поцеловал ее в щеку.

— Как доехала, Маша?

— Преприятно. Особенно благодаря соседям,

Познакомься-ка: Евгений Николаевич, Валентина Иосифовна и сынок их Андрюша. Непременно хочет стать военным.

Рясинцев с удовлетворением заметил, как лицо Бельского приняло обычное самоуверенное выражение: он не любил новых знакомств.

— Дедушка, подари мне пушку, — сказал Андрюша, потянувшись к генералу.

Все засмеялись, кроме Бельского, который в это время обернулся к Рясинцеву:

— Подгони-ка машину к выходу. . .

— У тебя машина? — спросила Мария Филипповна. — Может, подвезем вас? — обратилась она к своим соседям по вагону.

— Нет, что вы, что вы! — в один голос быстро ответили супруги. — Мы на такси, мы совсем в другую сторону. . .

— Прекрасные люди, прекрасные, — убежденно повторила Мария Филипповна, распрощавшись со своими новыми знакомыми.

— Да они все у тебя прекрасные, — не то весело, не то сердито сказал Бельский, взяв жену под руку и быстро шагая по опустевшей платформе. — Могла бы, Маша, взять мягкий вагон. Неудобно все же. . .

— Очень даже удобно. У меня, слава богу, мясо от костей не отстало.

В машине к Бельскому полностью вернулась его уверенная осанка. Сидя рядом с шофером, он, не оборачиваясь, задавал вопросы своим обычным отрывистым тоном. Он так и не познакомил жену с Рясинцевым.

Мария Филипповна опустила стекло и, почти высунув голову, с радостью и любопытством смотрела на город.

— Невский проспект, — говорила она. — Как я рада. . . Вспоминала я Ленинград, вспоминала. . . И помню и не помню. Мы где-то здесь обедали. Ужасно было дорого. Ты еще с подавальщицей поспорил. Федя, что это за здание? — спросила она, показав на Казанский собор.

— Кто его знает? — сказал Бельский, едва взглянув. — Музей какой-то.

— Может быть, вы знаете? — спросила Мария Филипповна Рясинцева.

Рясинцев отлично знал, что это знаменитый Казанский собор, но знать, когда Бельский не знает, было невозможно.

— Никак нет, не знаю, — ответил он коротко.

Мария Филипповна взглянула на Рясинцева, потом на мужа и больше всю дорогу ни о чем не спрашивала.

Машина остановилась на улице Декабристов, недалеко от Кировского театра. Бельский вылез первым, вошел в парадную. За ним, со своей провизионной сумкой, Мария Филипповна. Позади Рясинцев, и еще позади с чемоданами в руках шофер Василий, угреватый парень, умевший замечательно танцевать лезгинку и подражать голосу Бельского.

— Рясинцев!

— Слушаю, товарищ генерал. . .

Он поспешно вынул из кармана связку ключей и открыл дверь.

— Ну, вот все, — сказал Бельский и вошел в квартиру.

В квартире было две комнаты. В первой из них была устроена спальня. Здесь стоял полный гарнитур.

— Две полуторки, — показывал Бельский. — Шкаф трехстворчатый, полированный, тумбочки две, канапе одно. . .

— И туалет, товарищ генерал, — подсказал Рясинцев, которому было поручено «организовать» эту квартиру.

Во второй комнате тоже был гарнитур, только столовый, всю стену занимал низкий пузатый буфет.

— Радио и проигрыватель смонтированы, товарищ генерал, — доложил Рясинцев.

Бельский включил радио. В комнату ворвались браваурные звуки марша из «Аиды».

— Господи, что это ты так громко! — сказала Мария Филипповна.

Она сняла пальто и шляпу, причесалась и сразу стала выглядеть моложе. Волосы у нее были совсем седые, но эти белые волосы не старили, а скорее, наоборот, молодили ее. Лицо по-прежнему выглядело утомленным, но теперь можно было разглядеть, что в этом виноваты не морщины и не старость. Похоже было, что на ее лицо постоянно падает тень душевной тревоги.

— Что? Как? Нравится? Довольна? — спрашивал Бельский. — Ты думаешь, это легко сейчас — получить квартиру в Ленинграде? Попробуй-ка! Мало ли что генерал! Генералов теперь много. . .

— Ну, ты-то не получишь! — спокойно заметила Мария Филипповна и начала распаковывать чемодан.

— Постой, постой, — сказал Бельский. — Сейчас обедать будем. Рясинцев!

— Слушаюсь, товарищ генерал! — Он открыл холодильник и стал вынимать оттуда заготовленные припасы.

Увидев это, Мария Филипповна всплеснула руками:

— Да вы что, смеяться надо мной собрались? Да разве это мужское дело? Садитесь-ка и ждите, пока будет все готово.

Бельский, как всегда, ел много и озабоченно, словно вот-вот у него отнимут кусок. Он любил поговорить во время еды, но только о том, что имело непосредственное отношение к самой еде: какая говядина лучше, хорошо бы мяса черкасского, ничего не стоит еда без перца и горчицы, сделайте мне завтра белый соус.

Все-таки Марии Филипповне удалось вставить несколько фраз. Ей хотелось рассказать о себе, о своей жизни в Алма-Ате, к которой она привыкла за эти годы. Все это время она работала на пункте скорой медицинской помощи, увлеклась медициной и даже сама научилась делать противостолбнячные прививки.

— Ну ладно, дай поесть, — прервал ее Бельский недовольно.

И все же благодаря Рясинцеву разговор как-то клеился. И не потому, что сам Рясинцев мог рассказать что-нибудь интересное, а потому, что при постороннем человеке можно было говорить о пустяках, а не о главном. К тому же была иллюзия, что, едва только уйдет посторонний человек, они поговорят по-семейному.

Но когда они остались одни, то с предельной ясностью поняли, что никакого разговора не будет, что им просто не о чем говорить.

Бельский, сняв китель и сапоги, в ночных туфлях и майке прилег на диван, а Мария Филипповна занялась разборкой своих вещей. Иногда он, как сквозь сон, спрашивал жену:

— Ну как? Ну что? Нормально?

— Тоска какая! — вдруг сказала Мария Филипповна.

— А, что такое? — откликнулся Бельский. — Вот интересно, как это у вас, у дам, получается. Впятером на десяти метрах жили, вповалку спали — это не тоскливо получалось?

— Времени тосковать не было. Теперь времени слишком много. Послушай, Федя, давай поговорим откровенно: ты ведь здесь жить не собираешься?

— Все у тебя глупости на уме, — недовольно сказал Бельский. — Служба моя пока не в Ленинграде. . .

— Я так и думала, что ты здесь жить не будешь. А я тоже одна не хочу.

— Боншься? — усмехнулся Бельский.

— Да, боюсь, — серьезно сказала Мария Филипповна. — Боюсь людей насмешить. Одна в этих хоромы, с холодильником, да с этой, как ее, радиолой. . .

— А ты коечников пусти, — посоветовал Бельский.

— Ну и грубый же ты, Федор. . .

Бельский с удивительной живостью соскочил с дивана.

— Слушай, Маша-милаша, послушай ты меня хоть один раз: живи ты как человек. Живи! Поняла? Живи!

— Да не кричи ты так, — отмахнулась Мария Филипповна.

— А я тебе говорю, брось ты эти свои идеи, поживи как следует на старости лет. Возьми, что тебе положено. В кино ходи, в театры ходи, ешь, пей. . . Я тебя в деньгах не стесню.

— За этим ты меня сюда вызвал? — спросила Мария Филипповна. — За этим? — еще раз спросила она, все более и более раздраженно. — Я ведь ради тебя приехала. Зачем ты меня с насиженного места стащил?

— Нужно, Маша, — коротко сказал Бельский.

— Возьми меня тогда с собой, туда, где ты служишь. . . За город. Я хоть там на молодежь посмотрю.

Бельский покачал головой.

— Нет, Маша, нет, — он немного помолчал. — Помнишь в Казахстане, в сорок третьем? . .

Мария Филипповна ничего не ответила и только вздохнула.

Бельский снова помолчал, потом искоса взглянул на жену, словно спрашивая себя, можно ли ей доверить самое заветное.

— Так вот: положение сейчас такое же... Или пан, или пропал...

— Смотри, Федя, лоб не разбей...

— Не каркай! Слышишь, что я говорю, — не каркай. — Он схватил Марию Филипповну за руки, но сразу же отпустил. — Ладно, давай пить чай, успеем еще...

За чайным столом они сидели долго. Оба любили это занятие.

— Все, конечно, бывает, — говорил Бельский, вытирая платком влажную шею. — Врагов много, завистников... Пляшут, пляшут, пляшут вокруг Шаврова. А он, Шавров...

— Послушай, Федя, — сказала Мария Филипповна. — Разреши мне в эту квартиру взять одного человека. Ну, в общем, молодой паренек, ровесник Володе, поступает в Ленинградский университет. Я бы тебе за это отслужила.

— Нет, Маша, нет, — сказал Бельский твердо. — Об этом ты забудь. Читал я одну книжонку — называется «Цитадель». Это там один врач, ну, словом, он себе дом сделал и назвал цитаделью. Крепость. Поняла?

Мария Филипповна с минуту вглядывалась в лицо Бельского, на котором после седьмого стакана крупными каплями выступил пот.

— А что, если не пан, а пропал, а? — спросила она, торжествуя, что правильно разгадала его мысли. — Значит, я тебе в запас нужна, на всякий случай, в энээ? Для того и вызвал меня, так? За этим?

— За этим, не за этим, — ворчливо сказал Бельский. — Вызвал я тебя затем, чтобы ты была здесь.

Больше они на эту тему не разговаривали. Оба жалели о том, что в первый же день не поладили, и еще больше о том, что вчера каждый из них надеялся на какую-то другую, им самим еще неизвестную жизнь.

Глубокой ночью, задыхаясь от скуки, они сидели друг против друга и играли в «шестьдесят шесть».

7

Дивизионный клуб на время лагерей занимал большое двухэтажное здание, выстроенное еще до революции какой-то удачливой актрисой. В верхнем этаже разместили читальню, бильярдную и шахматный клуб (органи-



защиту самую тихую и самую беспокойную, вечно на что-нибудь жалующуюся — то на карамбольный треск, то на репетиции духового оркестра), в нижнем этаже находился зал с хорошо сохранившейся от старых времен рампой. В этом зале происходили конференции, совещания и лекции, здесь же два раза в неделю крутили кино.

Стояла глубокая осень, и дом был в упадке по случаю близкого перехода на зимние квартиры. Имуущество понемногу перетаскивали в Верески — вчера настольный теннис, сегодня выставку местных художников, а завтра еще что-то другое. Но тут внезапно было объявлено, что состоится теоретическая конференция с докладом командира дивизии. Начальник клуба заволновался и за два дня все привел в прежний вид. Вернулся из Вересков даже настольный теннис.

Зал не мог вместить всех желающих, втиснули новый ряд почти вплотную к рампе, а в проходы поставили стулья. Интерес к этой конференции был вполне естественным. За годы войны изголодались по теории. И вместе с тем сама война, необыкновенные, никаким уставом не предусмотренные ситуации дали людям такие знания, которых они нигде больше не могли получить.

На войне человек стремится действовать так, как его учили, но действует он и так, как его учили, и так, как его заставляют действовать обстоятельства. И только после боя он может сказать: да, вот это мне помогло, а вот это нет; эти правила хороши, а эти никуда не годятся. Именно поэтому и возникает желание узнать, что же произошло у соседа, что ему пригодилось и что ему не пригодилось, то есть сравнить свои выводы с выводами соседа.

Этим летом в клубе были и доклады, были и лекции, приезжал полковник из Москвы с разработанной темой «Битва на Волге» (начальник клуба был в восторге: «Восемьдесят четыре вопроса — небывалая активность!»), но до сих пор не было серьезного разговора о делах, совершенных дивизией.

Начальник клуба постарался и дал «полный свет». Люстры горели и в зале, и на эстраде, и даже на втором этаже в гостиных и бильярдной, где сегодня не было ни одного человека.

На эстраде стоял стол, накрытый большим красным полотнищем, позади него киноэкран, на который свиса-

ла большая карта Новинского сражения, слева и справа от стола на специальных щитах приколоты карты отдельных участков фронта.

Ровно в восемь часов из-за правой кулисы вышел веселый, улыбающийся, нарядный Бельский, за ним Кирпичников и кое-кто из штабных работников, и среди них Рясинцев, который скромно уселся позади всех.

— Черт знает что! — сказал Лебедев негромко, но так, что Ивану Алексеевичу было его слышно. — Хоть бы Камышина вместо товарища Рясинцева в президиум посадили. Все же боевой командир, а не. . .

Иван Алексеевич не расслышал конца фразы, да он и не очень прислушивался, считая, что все это пустяки. Сама конференция, будущий доклад и прения были для него делом настолько серьезным, что любые другие соображения отступали.

Сидел Иван Алексеевич довольно одиноко, вокруг были офицеры из других полков, люди новые, большей частью незнакомые. Пришел он сюда с Жолудевым и Мамелюковым, а потом как-то растерял их.

Бельский читал доклад размеренно и громко, не глядя в зал и с таким видом, словно говорил: чтение, товарищи, это работа серьезная, вот прочту, вздохну и отдохну.

Первая часть доклада была, что называется, «общей». Рясинцев набрал ее по кусочкам из разных газет и журналов.

— Таким образом, к этому времени под городом Новинском создано следующее положение, — сказал Бельский и, повернувшись спиной к залу, постучал указкой по знакомому черному кружочку — городу Новинску.

Ивана Алексеевича как в сердце кольнуло.

— Тише, пожалуйста, — попросил он сидевшего рядом с ним майора-танкиста, который что-то говорил своему товарищу. Майор поднял голову, удивленно взглянул на Ивана Алексеевича, потом на Бельского и снова зашептал.

«Нет, эти не дадут слушать, — подумал Иван Алексеевич. — Надо будет пересесть куда-нибудь. . .» Но места были все заняты, и он стал слушать еще внимательнее.

По-видимому, вступительная часть доклада еще не кончилась. Общие фразы продолжали следовать одна за другой. Бельский изложил задачу, которая была поставлена командиром корпуса, затем началось чтение приказа и штабных разработок. В зале стоял негромкий ровный гул, тот самый гул, когда невозможно установить, кто, собственно, шумит и кто с кем разговаривает.

Документы, которые читал Бельский, сами по себе, несомненно, были очень важными. Беда заключалась в том, что они были хорошо известны — известны буквально всем и каждому. Даже самый молодой офицер в полку должен был изучить их для того, чтобы рассказать солдату о боевых традициях дивизии.

Бельский перечитывал эти общеизвестные приказы с таким важным видом, словно только что открыл их после длительной работы в архивах. С той же многозначительностью и тем же важным тоном он мог бы прочесть сейчас сводку погоды за последний месяц. Он говорил уже около часу, но до самого дела — до боевой операции — еще не дошел. Теперь все чаще и чаще слышалось: «Генерал-лейтенант Шавров приказал...», «В приказе генерал-лейтенанта Шаврова было сказано, что...», «Я получил устное распоряжение от генерал-лейтенанта Шаврова...», «Генерал-лейтенант Шавров через начальника штаба корпуса передал мне приказ...»

Иван Алексеевич с тоской слушал Бельского. Он не знал, сколько времени прошло, может быть полчаса, а может быть час, но он ужасно устал от ожидания и уже потерял веру, что доклад когда-нибудь начнется.

Иван Алексеевич, впрочем как и все ветераны, уважал Шаврова. Жизнь, целиком отданная военному делу, внушала уважение. Но чем чаще Бельский упоминал имя Шаврова, чем вдохновеннее читал он рясинцевские строчки, тем более раздражающе это действовало на Ивана Алексеевича.

Рясинцев действительно создал свой «шедевр». Особенно он гордился тем местом в докладе, где рассказывалось, как ночью перед боем Шавров принимает у себя Бельского. «Будет исполнено, товарищ генерал-лейтенант!» — гремит в ответ нерушимое слово командира дивизии.

— Началась боевая операция, — сказал Бельский, и гул в зале стих мгновенно, словно где-то выключили рубильник.

Соседи Ивана Алексеевича тоже перестали шептаться. Их лица оживились. Иван Алексеевич видел их только уголком глаза, но теперь он симпатизировал им обоим и, кажется, ничего больше не хотел, лишь бы это оживленное выражение сохранилось и дальше. Кажется, никогда еще он так не желал успеха докладчику, как сейчас, всем сердцем чувствуя мощную волну интереса, пробежавшую по залу.

Но эта волна разбилась о Бельского, как об утес. Он даже не почувствовал ее живительной прохлады. Он просто перевернул двадцать третью страницу, отмеченную Рясинцевым, и перешел ко второй части.

— В условиях обледенелой почвы и мерзлого грунта, — как во сне, слышал Иван Алексеевич голос Бельского, — подходы были затруднены, и трудности со снабжением до известной степени. . .

Но вот дивизия выполняет задачу, поставленную командиром корпуса. Гремит артиллерия. К месту сосредоточения подтянулись танки. Сигнальная ракета, стремительный бросок пехоты — и мы в первой траншее противника. Мы овладели второй траншеей, третьей. . .

— Попрошу карту поближе! . .

Начальник клуба бросился выполнять приказание и, с трудом удерживая карту, кое-как пристроил ее у рамп.

«Но ведь все это было совсем не так, — думал Иван Алексеевич. — Трижды мы поднимались в атаку, и трижды немцы прижимали нас к земле. Мы запоздали. . .» — и он покосился на своих соседей, словно боялся, что они и его заподозрят в постыдном обмане.

Тем временем Бельский почти всю карту разрисовал красными, белыми, черными кружками и стрелками. Появились цифры, обозначающие номера полков и батальонов. И все это было разбросано в том небрежном беспорядке, который и создавал желаемый наукообразный вид.

Иван Алексеевич почти не слушал Бельского. Он уже знал, что после слов «в шестнадцать ноль-ноль я имел указание по полевому телефону от генерал-лейтенанта

Шаврова как можно скорее выровнять правый фланг. . .», что после этих слов правый фланг дивизии непременно выпрямится, как будто только этого нового указания не хватало.

Ровно в девять тридцать Бельский кончил. (Рясинцев рассчитал правильно: две минуты на страницу. Он навёл справки у радиодиктора, и ошибки быть не могло.)

— Будут ли вопросы к докладчику? — спросил Кирпичников.

В зале стояла мертвая тишина.

— Прошу задавать вопросы, — повторил Кирпичников громче.

Все та же тишина.

— Что, нет вопросов, товарищи?

— Все ясно, — крикнул чей-то голос, и сразу же слышались голоса:

— Ясно! . . Ясно! . .

Наступила неловкая минута, во время которой Бельский что-то негромко сказал Кирпичникову. Кирпичников обернулся и тоже что-то тихо сказал Рясинцеву.

«Неужели вопросы будет задавать Рясинцев?» — со страхом подумал Иван Алексеевич. Ему казалось, что теперь он окончательно понял настроение своих соседей. Он вздохнул свободней, когда был задан первый вопрос. Слава богу, его задал не Рясинцев, а Машков из отдела снабжения горючим.

— Правильно ли я понял, товарищ генерал, правильно ли я понял, что высота 23.3 была в наших руках к исходу первого дня, то есть к девятнадцати часам? — спросил Машков.

Вопрос был не только малозначительный, но и вообще ненужный. Высота 23.3 никакого значения во время боя не имела. Но Бельский уцепился за этот вопрос и заявил, что он очень важен и показывает, какой глубокий интерес проявляют офицеры к вопросам теории. Да, высота 23.3 была нашей к концу первого дня, и Бельский ухитрился по этому поводу сообщить одно из устных распоряжений генерал-лейтенанта Шаврова.

— Тут еще есть вопрос, — сказал Бельский, роясь в своих бумагах. — «Какие были трофеи?» Так. Могу сообщить. . . — и он прочел сообщение, которое было опубли-

ликовано во всех газетах на следующий день после успешного завершения Новинской операции.

Больше вопросов не было. Когда это выяснилось с полной определенностью, первое слово в прениях было предоставлено офицеру связи при штабе дивизии Бубнову.

— Теория и практика... творческие мысли... Трудно переоценить значение...

— Это только начало большой работы, — вставил Бельский.

— Разрешите, товарищ генерал, в плане критики: для лучшей усвояемости надо бы доклад разделить на три части, предварительно разбив операцию на...

— Кто еще желает, товарищи, выступить? — спросил Кирпичников, в то время как Бельский записывал пожелание; чтобы доклад был разделен на три части.

Стойкая тишина в ответ.

«Почему никто не берет слова? — думал Иван Алексеевич. — Ведь многие были не согласны с решением Бельского на учениях, многие сами пережили Новинск... Так почему же никто не просит слова?»

«А почему не я?» — спросил себя Иван Алексеевич.

И сразу же он нашел тысячи оправданий: «Не следует быть выскочкой...», «Я уже был на примете у генерала, могут понять так, что я просто обижен...», «Доклад надо продумать, и в следующий раз...» Ведь будет же тот самый раз, когда он скажет то, о чем сейчас думает!

Иван Алексеевич еще раз оглядел зал и вдруг увидел Балычева, сидевшего на три ряда впереди. Иван Алексеевич мог видеть только затылок Балычева, но ему казалось, что он видит его лицо и даже понимает его выражение. Сейчас Балычев подыметесь и попросит слова и скажет то, что надо сказать...

«Значит, пусть это сделает Балычев? Он человек принципиальный — это всем известно... Значит, кто-нибудь, но только не я?»

Иван Алексеевич встал, хотя достаточно было протянуть руку, чтобы его увидели, и, как показалось ему тогда, неестественно громко спросил:

— Разрешите, товарищ генерал, задать вопрос?

Бельский прищурился, увидел Ивана Алексеевича и улыбнулся:

— А я сегодня только докладчик. Председатель у нас подполковник Кирпичников. К нему, к нему обращайтесь. Но если память мне не изменяет, вопросы уже были.

Вслед за Бельским улыбнулся и Кирпичников:

— Товарищ хочет задать вопрос. Но он очень долго думал, пока мы здесь работали.

— Это неплохо — подумать, — сказал Бельский, откинувшись на спинку стула.

Многие обернулись, улыбки словно перекочевали из президиума в зал.

— Я могу без вопроса, — сказал Иван Алексеевич. — Я хочу сказать. . .

— Выступление? — спросил Кирпичников. — Сейчас запишем. . . Сейчас, сейчас. . . Как ваша фамилия, товарищ майор?

— Поддубный, — сказал Бельский, делая вид, что его раздражает смех по поводу неловкости комбата.

— Моя фамилия Федоров, — сказал Иван Алексеевич.

Он так волновался, что потом просто не мог вспомнить, как он шагал через весь зал на трибуну. Когда он вышел и глянул на людей, то почувствовал полную беспомощность. Мысли наскакивали одна на другую, создавая какую-то страшную мешанину. Надо было начинать, а он стоял и разглядывал зал. Вот свободное место. Почему оно свободное? Да ведь это же его место. . . Там он сидит. А вот его соседи танкисты — майор и капитан. Разве он не обязан рассказать им все, о чем он думал это время и что знает? Обязан. Они ждут. Им безразлично, владеет Иван Алексеевич ораторским искусством или нет. Они желают знать как можно больше о Новинской операции. И Иван Алексеевич, прямо глядя в глаза своим соседям, сказал все то, что он знал и о чем думал:

— Слева от нас действовал полк нашего же, Новинского корпуса, только другой дивизии, там они действительно доказали правильность плана. Они очень много работали по вопросам организации взаимодействия пехоты с танками и артиллерией, танков с пехотой и артиллерией и артиллерии с танками и пехотой. И это привело к тому, что атака была одновременной, артиллерийская поддержка атаки беспрерывной, а действия пехоты с танками согласованными.

— Ай да Поддубный! — заметил Бельский из президиума. — В какой академии тебя этому научили?

— Разрешите продолжать? — спросил Иван Алексеевич.

— Нет, ты нам скажи, в какой академии тебя этому научили, а дальше воля собрания.

— Разрешите доложить, товарищ генерал, я академии не заканчивал. Но это же ясно: анализ должен показать, что было правильно, а что неправильно.

— А по-твоему, что, неправильный план был?

— Взаимодействие пехоты с танками и артиллерией было организовано недостаточно четко, — сказал Иван Алексеевич, стараясь слушать только самого себя.

— Верно! — крикнул кто-то в зале. Иван Алексеевич так и не понял кто.

— Попрошу все реплики потом, — напомнил Кирпичников.

— Второе, о чем я хочу сказать, — это о людях, — продолжал Иван Алексеевич торопясь. — Простые люди проявили во время Новинской операции героизм. Были подвиги... Лично я командовал ротой...

— А я думал — дивизией, — заметил Бельский.

— Я командовал ротой...

— Вот и привык слушать ротных агитаторов, — не то засмеялся, не то рассердился Бельский.

Иван Алексеевич помолчал, как бы сомневаясь, говорить ли все, что было у него на душе.

— Хорошо бы упомянуть рядовых героев, — сказал он. — Нас учит партия, что...

В это время Кирпичников нагнулся к Бельскому и что-то ему сказал. Бельский одобритительно кивнул головой.

— Товарищ Федоров, — перебил Ивана Алексеевича Кирпичников, — идет теоретическая конференция. Понимаете, теоретическая! Просим вас придерживаться темы. Что же касается партийных установок, то командир дивизии знает их не хуже вас.

Снова Иван Алексеевич помолчал. Отвечать или не отвечать? Не отвечать было легче.

— Я только хочу сказать, что для того чтобы выполнить приказ, нужен еще подвиг, — негромко ответил он. — И у нас были такие подвиги...



— В роте? — все так же, не то шутиливо, не то сердито, спросил Бельский.

— И в роте, товарищ генерал-майор, — ответил Иван Алексеевич, сошел с трибуны и, ориентируясь на своих соседей, нашел свое место и сел.

Стало шумно. Шум поднялся и потому, что сразу несколько офицеров попросили слова, и еще потому, что в зале начался тот самый обмен мнениями, который тщетно пытался вызвать Кирпичников полчаса назад.

На трибуну вышел командир артиллерийского дивизиона Березин, который под Новинском был в группе поддержки пехоты. Он сказал, что бок о бок воевал с Федоровым и действительно подвели позиции, топтались долго на одном месте. А сколько огня извели зря! Федоров дважды подымал батальон и дважды. . .

— Друзьяки? — прервал его Бельский.

— Так точно, товарищ генерал, — ответил Березин, не заметив подвоха. — Я полностью придерживаюсь правила дружить с пехотой.

После Березина выступил Жолудев.

— Вот некоторые у нас говорят, — начал он неторопливо, — что, ежели бы под Новинском ближе к противнику стояли, большие бы потери несли от своей же артиллерии. Я, товарищи, в это время в дивизии генерала Северова служил и могу заверить: нигде дальше трехсот пятидесяти метров пехота не была, но наши артиллеристы стреляли так метко, что никто на них не жаловался. А удар, сами знаете, какой был!

Бельский нахмурился:

— Слыхали!

Третьим был сосед Ивана Алексеевича, незнакомый ему майор-танкист. Когда он вышел на трибуну, Бельский негромко спросил Кирпичникова:

— А этот откуда?

— Ваши гости, товарищ генерал, — услышав вопрос Бельского, внятно ответил майор. — Разрешите начать? Я, собственно, по одному вопросу. Наша армия имеет на вооружении множество самых могучих и разнообразных технических средств. Новинская операция, впрочем как и множество других боевых операций Отечественной войны, показала, что мы умело ими распоряжаемся.

— Вот это правильно, — заметил Бельский.

— Но именно Новинская операция показала, что не

всюду одинаково хорошо использовались приданные пехоте танковые войска.

— Тоже у Северова служили? — быстро спросил Бельский.

— Никак нет, товарищ генерал, я под Новинском не воевал.

— Вот оно как! — Бельский откинулся на спинку стула, словно для того, чтобы лучше разглядеть майора. — Под Новинском не были, а туда же?

— Дело в том, что на прошлых учениях наши танкисты поддерживали батальон майора Федорова. Грамотный офицер. Я лично с ним еще не знаком, но мои офицеры вместе с майором Федоровым изучали и сильные и слабые стороны Новинской операции. Взаимодействие — душа успешного боя.

Бельский демонстративно зевнул:

— А мы этого не знали. . .

— В этой связи я позволю себе остановиться на некоторых вопросах взаимодействия танков с пехотой. . .

Четвертым был Балычев. Его речь, как всегда, была спокойной и негромкой, но чем спокойнее был его тон и чем тише голос, тем больше чувствовался внутренний жар.

Бельский несколько раз обрывал его, но Балычев, не отвечая на реплики, сказал все, что хотел сказать.

Снова у Рясинцева появилось такое ощущение, словно он шагает по заминированному полю. К счастью, остался небольшой кусочек — отговорит Балычев, и все. Но давно уже отговорил Балычев, а минное поле все расширяется и расширяется. В поддержку Федорова выступили Герой Советского Союза Сарбян, который командовал взводом под Новинском, секретарь комсомольской организации полка Ваня Карпов, а руки все тянулись и тянулись.

Весь вечер Рясинцев делал пометки в своем блокноте — что-то вроде конспекта для заключительного слова Бельского: слева — фамилии выступающих, справа — «Надо повышать свой теоретический уровень», «Дешевая демагогия» и т. д. Теперь он вырвал этот листок, незаметно разорвал и выбросил. Что толку, если Бельский выступит с громовой речью, круша вся и все? Доклад провалился, и спасти положение надо с умом. Он тихо подошел к Бельскому:

— Весьма удачная конференция, товарищ генерал, — сказал он негромко, но многозначительно. Бельский метнул на него яростный взгляд, но Рясинцев выдержал и продолжал настойчиво: — Ваш доклад был хорошо встречен и вызвал живое обсуждение. Только два офицера — Фёдоров и Балычев — мешали серьезному делу...

Наконец Бельский понял: «Иначе никак об этой конференции наверх не доложишь» — и на трибуну вышел без всяких листочков.

Он сказал, что был рад встретить такое исключительное внимание. Это ведь первая попытка поделиться некоторыми теоретическими соображениями о Новинской операции, а он, Бельский, в некотором роде ее участник. Он считает весьма ценными те замечания, которые были высказаны на конференции. «Мы для того и собрались сюда, чтобы обменяться мнениями. Но есть мнения и мнения. Здесь с важным видом выступил командир роты, майор Федоров. Возмутительно, что офицер позволяет себе выступать в роли этакого всезнайки. Я, командир дивизии, и то не все знаю. А вот майор Федоров, тот знает все. Больше всех знает и критикует. А по какому праву? Послушаем, что он здесь наговорил. Он-де считает, что не все ладно было у нас. Просчеты, потери... Где же знаменитая Новинская операция? Почему же мы вообще новинские, товарищ Федоров? Может быть, товарищ Федоров думает, что мы проиграли Отечественную войну? Должен вам сказать во всеуслышание: мы Отечественную войну выиграли. Вот какая вышла маленькая неувязочка у товарища Федорова. Нашелся у нашего критика еще один козырь: героизм людей. А нельзя ли, товарищ комбат, поскромнее? «Я» последняя буква в алфавите. Конечно, приятно, когда твое имя золотом по мрамору. А тут беда: не упомянули мы товарища Федорова. Как же это так — о генерал-лейтенанте Шаврове сказано, а о нем нет...»

Когда Бельский кончил и Кирпичников уже встал, чтобы закрыть конференцию, из зала раздался голос Лебедева:

— Товарищ подполковник, разрешите слово для справки.

Все, кто был в зале, обернулись на его голос.

— Прошу извинить, товарищ подполковник, — сказал Лебедев. — Вероятно, вы забыли дать мне слово в

прениях. Я, конечно, учитываю, что поздно, но я желаю использовать слово для справки. Я только хочу сказать, что полностью разделяю точку зрения майора Федорова...

Даже Бельский не нашелся что сказать и только покрутил головой.

— Какое неуважение к собранию! — негромко заметил Кирпичников и объявил, что теоретическая конференция закрыта.

8

Мелкий дождик зарядил еще на прошлой неделе. Все было беспощадно пропитано сыростью, все размокло: дома, палатки, шинели, стройные стволы сосен, казалось, набухли от осенней влаги.

Иван Алексеевич пытался разглядеть Лебедева, но мешал туман, и только близ лагеря они случайно сошлись.

— Юра!.. Минуточку... Я хочу тебе сказать... Ну, в общем, я тебе очень благодарен. Ты...

Но Лебедев его перебил:

— За что меня благодарить?

— В такой обстановке выступить... Поддержать...

— В какой еще такой обстановке? — сердито переспросил Лебедев. — Еще что придумал! Пожалуй, будешь теперь себя героем считать. Ты, конечно, первый выступил. Но не ты, так другие нашлись бы...

— Юра, это верно? — Иван Алексеевич крепко обнял Лебедева за плечи. — Так? Да? Верно, так? Ведь я об этом подумал, когда решился первым взять слово...

— Ну и молодец, что решился, — сказал Лебедев серьезно. — И не сомневайся: ты бы не начал, начал бы другой, но очень хорошо, что именно ты. Я, знаешь, всей душой рад за тебя.

Иван Алексеевич взглянул на Лебедева. С минуту они стояли молча друг против друга. Было слышно, как дождь стучит по козырькам фуражек и тяжелые капли медленно падают на сапоги.

— Да, так, — задумчиво сказал Иван Алексеевич. — Ведь это и в бою сколько раз бывало: отделение вперед, вперед, ну а кто выскочит первым, шут его знает, потом и фамилию забудешь...

Лебедев засмеялся:

— Нет, потомство тебя не забудет. Давай-ка, друг Поддубный, по домам. Дождичек жуткий, и конца ему не видно.

— По домам, по домам, — повторил Иван Алексеевич, но по его тону было ясно, что ему очень не хочется уходить. — Все-таки непонятно, — сказал он, задерживая руку Лебедева в своей руке, — генерал, в боях войну прошел...

— А мы что, — неожиданно грубо спросил Лебедев, — в бою не бывали?

— Разобраться надо, а не кричать... Бельский коммунист такой же, как ты и я...

— Это ты так думаешь. А он думает, что не такой. И потому, что не такой, ему можно. Теперь понял?

— Утешил, называется...

— А тебе утешения надо? Тамара утешит...

— Юра! Я ж тебя просил...

Они простились, но Иван Алексеевич не успел дойти до дому, как Лебедев его догнал:

— Слушай, Иван. Скажу тебе два слова, а дальше делай как хочешь. Не дури ты голову Тамаре. Не разводи разговоров. Не для того нам господь бог жен послал. Понял?

Но Иван Алексеевич не послушался этого совета, потому что уже решил иначе. Трудно сказать, когда именно его мысли и соображения по этому поводу выкристаллизовались в твердое решение. Возможно, что всего только час назад, в то время как Бельский громил его, он почувствовал потребность или, что еще вернее, свой долг ясно и откровенно поговорить с женой.

Первый опыт, когда Иван Алексеевич рассказывал Тамаре об учениях, был очень неудачен. Это он хорошо запомнил. Но ведь тот разговор был совершенно не продуман, тогда он даже и не хотел ничего рассказывать, и все вышло случайно... Тамара его не поняла — это так, но не по его ли собственной вине это произошло? И боже упаси снова прибегать к каким-то специальным военным терминам или, еще того хуже, неловко их разъяснять.

На следующий день, едва Иван Алексеевич вернулся домой в Верески, Тамара по выражению его лица поняла, что он хочет поговорить. Она вся встрепенулась, словно почувствовала живой ветерок. Иван Алексеевич был

с нею, как всегда, нежен и ласков и в то же время необычайно серьезен. И вот эта необычная серьезность была Тамаре особенно приятна. И пока он ужинал, она молча сидела рядом и гладила его большую сильную руку.

Иван Алексеевич начал без всяких предисловий и старался говорить как можно проще, останавливаясь не на военной стороне дела, а на стороне, так сказать, психологической. Он действительно готовился к этому разговору, и это повлияло на его речь. Фразы были закругленными и странно не соответствовали бурным переживаниям. Иван Алексеевич заметил это и мучился, когда период получался особенно длинным. Тогда он прерывал себя, барабанил пальцами по столу и потирал подбородок.

А Тамара слушала его спокойно. Она совершенно не обращала внимания ни на нервное постукивание по столу, ни на округлость фраз. Все это ее сейчас не занимало. Ей хотелось понять мужа, и понять его правильно. И еще ей хотелось, чтобы он остался ею доволен. То есть ей хотелось, чтобы после того как он кончит и когда ей надо будет ответить, чтобы ее ответ, ее слова понравились Ивану Алексеевичу, чтобы он не только любил свою жену, но и гордился ею.

«Да, я не глупая девчонка, которая прячется за мужнину спину. Я отвечу ему разумно и рассудительно...»

Ей не один раз хотелось прервать Ивана Алексеевича, привлечь его к себе и заставить забыть все плохое, все, что он пережил, но она себя сдерживала. Ей нравилось, что он отнесся к ней как к человеку взрослому, способному понять самое трудное положение, и поэтому она слушала Ивана Алексеевича с еще большим, чем всегда, вниманием.

Когда он закончил, ей так хотелось сказать: «Ваня, милый, не горюй, все будет хорошо, ты увидишь, что все уладится». Но она считала, что это как-то будет выглядеть несолидно: опять какие-то бабьи предчувствия...

— Я думаю так, — сказала Тамара, сдвинув брови к переносице. — Я перееду к тетке, и таким образом нам не надо будет платить за эту комнату триста рублей. Это во-первых. Во-вторых, я начну работать телефонисткой, мне уже предлагали. Это пятьсот рублей верных. И потом, никакой шубы мне не надо, я прекрасно прохожу

в пальто. Кое-что можно продать. Уж как мне ни жаль этот диванчик...

Иван Алексеевич слушал и ушам своим не верил. Он был так удивлен, что даже не прерывал Тамару. Вдруг он спохватился:

— Слушай, ты что? Ты только подумай... Нет, это просто дико... Почему к тетке? Какие триста рублей в месяц? Телефонисткой? Зачем, почему? Что случилось?

— Как это «что случилось»? Ты же сам сейчас обо всем рассказал, и я очень рада, что ты рассказал откровенно. Не то что в прошлый раз. Я все время так мучилась, так мучилась. Но теперь с этим кончено. И знай, что я на все готова. Ради тебя, мой дурачок, — сказала она, поцеловав Ивана Алексеевича в нос. — Ты только не спрашивай «почему» и «зачем». Ты же умный, умнее меня во сто раз, а вопросы задаешь, как ребенок.

Иван Алексеевич схватился за голову. Значит, все, о чем он только что рассказал и к чему так тщательно готовился, все, все, решительно все Тамара поняла по-своему; муж в очень трудном положении, начальство им недовольно, и не сегодня-завтра могут быть весьма серьезные последствия.

— Послушай меня, Томка, — сказал Иван Алексеевич. — Ты, может быть, боишься, что меня снимут с должности? Так?

— Не знаю, так ли, тебе лучше знать, но, конечно, даром все это не пройдет.

— Не пройдет даром? — переспросил Иван Алексеевич. — Что не пройдет даром?

— Ну, хотя бы это твое выступление. Как ни говори, он генерал, а ты майор. И он командует дивизией, а ты батальоном.

— Но это же дискуссия... Понимаешь, теоретическая дискуссия!

— Ты мне третий раз об одном и том же говоришь!

— Так при чем тут тетка? Какая ты телефонистка? Какие, к черту, последствия? — сказал Иван Алексеевич и стукнул кулаком по столу. Рука его была тяжелая, и в шкафчике задрезбужала посуда.

Тамара с изумлением взглянула на мужа.

— Как же тебе не стыдно? — спросила она тихо. — Как же тебе не стыдно? Я к тебе с лаской, с приветом,

всей душой, а ты?.. Чертыхаешься! Хуже, чем пьяный! Хуже, хуже, хуже...

— Но, Томочка, это же к тебе не относится, — сказал Иван Алексеевич, остывая. — Просто надо оставить эти бредовые мысли. Диванчик!.. Кому это все нужно!..

— Мне нужно, — перебила его Тамара. — Я думала «нам», но теперь нужно мне. А тетка, — Тамара захлебнулась от незаслуженной обиды, — тетка правильно меня предупреждала. Демобилизуют из армии, куда пойдешь? В оправдомы и то не возьмут.

— Тетка? — угрожающе переспросил Иван Алексеевич. — В оправдомы? Меня? Кадрового офицера? Вы что же там, на Таврической, заговор затеяли?

— Кадровый офицер, — повторила за ним Тамара и насмешливо взглянула на мужа. — Кадровый офицер, а боится бабьих заговоров.

Но на это Иван Алексеевич ничего не ответил. Он быстро накинул шинель, схватил фуражку и вышел из комнаты. Он сам не знал, куда идет, и понимал только, что дальше этот разговор не может продолжаться. Он совершенно не понимал, что только любовь, что только желание сделать как можно лучше привели Тамару ко всем этим ее, как он считал, «чудовищным» предложениям. Он чувствовал злость, раздражение и все время вспоминал диванчик и тетку. А у него и раньше, когда он думал об Александре Глебовне, начинал болеть зуб под коронкой.

Сначала Иван Алексеевич шел наугад, но, перейдя железную дорогу, решил навестить Балычева и отвести душу.

За день погода переменилась. Кое-где уже запорошило. Зима была близко. Далеко в глубине темно-синий горизонт был освещен лунным светом и опоясан дымкой. А выше, над дымкой, в ожидании своего часа толпились снежные черные тучи.

Иван Алексеевич прошел окоченевший на холоде молодой соснячок и вышел на окраину, к домику лесничего, где снимал комнату замполит. Рыжая собака, не вылезая из конуры, выла на луну. Балычев стоял на пороге домишка. Увидев Ивана Алексеевича, он зябко передернул плечами.

— Ну, заходи, заходи. Ты почему так поздно? С женой не поладил?



— Угадали, Петр Федорович.

— Угадайка нетрудная.

Они вошли в дом. Ивану Алексеевичу всегда нравилась комната Балычева. Над столом висел портрет совсем молодой и очень красивой женщины. Приятно было смотреть на нее и жутко думать, что вот прошло уже много лет, как ее нет в живых.

Были здесь и другие фотографии: молодой Балычев на добром коне с кавалерийской саблей в руках, он же на балюстраде крымского дома отдыха, потом групповые портреты с надписями: «Дорогому Петру Федоровичу от второй сводной Ташкентской», «Товарищу Балычеву от противотанкового дивизиона», «На память от 274 ГАП».

Когда Иван Алексеевич вошел в комнату, он сразу понял: что-то произошло. Стены были совершенно голыми, и только над столом одиноко висел портрет молодой женщины. Казалось, она с удивлением рассматривает пустые гвоздики и раскрытый чемодан.

Иван Алексеевич шел сюда, чтобы поговорить с Балычевым, посоветоваться и даже пожаловаться на жизнь. Но теперь он только тревожно поглядывал на чужой разоренный быт и, кажется, впервые в жизни прислушивался к биению своего сердца — тяжелым, гулким ударами.

— Да, правильно, майор, — сказал Балычев с какой-то грустной решительностью. — Да, так и есть, Иван Алексеевич, дорогой ты мой Иван Поддубный. Как говорится, были сборы недолги.

— Вас... Вы... Вас демобилизовали, товарищ подполковник? — спросил Иван Алексеевич негромко.

— Да, приказ подписан. Вообще-то пора, возраст подошел... Жаль только, что все это получилось... — Он помолчал, видимо, не мог найти нужного слова. — Так это получилось неубедительно. Ну и довольно об этом. Понимаешь, Иван, довольно.

— Неужели же Камышин? — начал Иван Алексеевич. Но Балычев не дал ему закончить:

— Нет, это шло по другой линии. Конечно, нет... Нет, нет, — сказал он твердо. — Командир полка не хотел со мной расставаться.

— Но как же все-таки теперь... Куда?

— Как куда? Домой.

— Домой? — Станным показалось сейчас это слово Ивану Алексеевичу. «Где же в самом деле дом Балычева?»

— Мы казаки оренбургские... — сказал Балычев, смеясь глазами. — Слыхал о таком городе Оренбурге? Неплохой городок, можешь мне поверить. Да что это у тебя такой вид... испуганный? За меня, Иван, не беспокойся. Партия у нас одна — в армии или не в армии, но прежде всего я коммунист. И ЦК у нас один — и для военных и не для военных. На худое меня партия не пошлет. А тебя прошу: держи связь, пиши о себе, о своей работе. Как твоя статья, много ли успел?

Иван Алексеевич только рукой махнул:

— Ничего не выходит. Ночью пишу, утром все в корзину.

Балычев недовольно взглянул на Ивана Алексеевича:

— Малодушные какое!..

— Хорошо малодушные: неделю без сна...

— Пишешь?

— Да я ж вам правду говорю: все ночи напролет.

— Этак ты на сто рублей в месяц электричества сожжешь! Смотри, как бы тебе Потапыч от квартиры не отказал.

— Вот вы все шутите... — сказал Иван Алексеевич уныло. Балычев засмеялся:

— Послушай, Иван, а не рано ты взялся за перо?

— Я же говорил вам... Какой из меня писатель!..

— Да не в том дело! Непонятно мне, как ты рискуешь сесть за стол и браться за перо... Положим, тебе хорошо известно, что было на твоём участке, пусть на участке соседа, но надо же брать шире!

— Выходит, Бельский прав: ротный берется не за свое дело?

— Ничего он не прав! Для генерала ли, для ротного — это одно дело, и притом кровное. Это наше общее дело: будем мы воевать, если на нас нападут, так же, как воевали, или лучше! Я и о названии думал — пусть называется «Некоторые уроки Новинской операции». Можно в скобках поставить: «Записки командира роты». Но знать-то тебе надо больше, шире. Пойди в другие полки, пошукай по штабам, я вообще не верю, что об Отечественной войне можно написать путное «по воспомина-

ниям», без того чтобы не обратиться к документам. Подожди с месяц-другой. Побереги электричество.

— Не знаю, поддержат ли меня здесь...

— Ну, это ты брось, Иван. Смотри, как тебя на конференции поддержали!

— А заключительное слово?

— Это слово далеко еще не заключительное.

Оба долго молчали. Потом Балычев с какой-то особенной решимостью снял со стены фотографию молодой женщины и уложил в чемодан. Сверху он положил тоненькое одеяло и закрыл крышку.

---

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

**В** конце ноября Катя решила организовать субботник. Нельзя было больше жить так неустроенно. Летом и осенью она чуть ли не каждый день атаковала Буркова:

— Петр Герасимович, плохо живем: потолки черные, пол шербатый, штукатурка сыплется, обои давным-давно сгнили.

Бурков легко соглашался со всеми ее доводами, обещал, как только закончится ремонт первого печатного, заняться общежитием. Первый печатный вступил в строй только в сентябре, а недоделок и по сей час было очень много. Бурков, когда речь заходила об общежитии, только устало морщился:

— Екатерина Григорьевна, вы же взрослый человек, вы же знаете.

Ну конечно, она все знает. Знает, что не хватает рабочих рук, не хватает строительных материалов, не хватает средств, что их типография — предприятие маленькое, карликовое по сравнению с невскими гигантами. Вчера приезжал брат Буркова из Белоруссии — все города лежат в развалинах. Да и рядом с ними: Новгород, Псков...

Как-то раз Катя возвращалась домой из библиотечного коллектора и на Литейном встретила Буркова. Может быть, ей показалось... да нет же, факт: едва он ее увидел, как тотчас же скрылся из виду. Не то в под-

воротню нырнул, не то вскочил в трамвай. Ясно для чего: для того, чтобы избежать нового столкновения. Какой позор!

Она так об этом и Модестовой сказала: «Какой позор!»

Анна Николаевна засмеялась:

— Да ты, наверное, ошиблась. И почему в трамвай? Ты же знаешь, что у Петра Герасимовича машина.

— Бурков, Бурков... Своими глазами видела. Сбежал. Хорошо это?

— Да уж что хорошего, когда от тебя начинают бегать...

— Но почему вы смеетесь? Как это можно... Мы же с ребят спрашиваем. А в общежитии одна табуретка на двоих.

— Не сердись, Катерина. Положение действительно трудное.

— И вы теперь заодно с Бурковым! Подумать только: такую войну выиграли, а отремонтировать общежитие не можем! Анна Николаевна, миленькая, не смотрите вы на меня так... Я сама знаю, что глупости говорю. И каждое ваше слово в ответ знаю. И про Новгород, и про Псков, и про Смоленск — знаю. И что там люди в землянках...

Катя собрала всех «проживающих в общежитии номер один» и поставила вопрос о субботнике. Ребята ее поддержали. Но и для самого незначительного ремонта нужны были не только руки, но и материалы. По этому поводу выдвигались предложения самые фантастические. Фонарик сразу же заявил, что у него есть один товарищ, то есть не то чтобы товарищ, а он двоюродный брат покойной мамы, и он может помочь. Этот «братан» работает сторожем, ну просто сторож на заводском складе. Там есть мел. Ну, до дури мела...

Он не успел закончить фразу, как его оборвал чей-то голос из задних рядов:

— Это ведь самое настоящее воровство!

Но Фонарика не так легко было сбить:

— Почему воровство? Ничего подобного. Что мы, ночью, как бандиты, пойдем? Возьмем мешок мела заимсобразно, ну хотя бы и два мешка...

Фонарик не видел, что там, в заднем ряду, сидит Бурков, и не узнал его голоса. Директор типографии пришел

тихо, видимо хотел послушать, о чем здесь говорят, и не выдержал, «рассекретил» себя.

Катя обрадовалась:

— Слово предоставляется Петру Герасимовичу.

Ребята зааплодировали. Бурков был человек популярный. Сто раз на день можно было услышать: «Спросите Буркова», «А это уж пусть Бурков решит», «С Бурковым вы по этому поводу советовались?» Как-никак, а это благодаря Буркову и Модестовой типография работала во время блокады.

Фонарику, конечно, здорово попало. Бурков сказал о том, как надо понимать субботники и что ему самому не один раз приходилось участвовать в таких делах. Сказал Бурков и о том, какое значение придавал этому Владимир Ильич Ленин.

Был Бурков человек занятой и молчаливый, выступал он редко, а тут увлекся воспоминаниями, вспомнил юность, товарищей, фабзайчат, и так увлекся, что обещал помочь молодежному общежитию. Ребята снова зааплодировали.

— А как фамилия этого твоего двоюродного? Зовут его как?

— Петр Герасимович! — взмолился Фонарик.

— Ты мне только завод назови...

— Это не мой братан, это мамыши двоюродный, — залепетал Фонарик. — Я с ним и не дружу совсем. Он старый. Он уже тридцать лет на Машиностроительном работает.

— А, так на Машиностроительном! — сказал Бурков. — Так бы и говорил. Что ж, ведь у нас с ними дружба. Пойду к директору, может и подбросит кое-чего.

Фонарик еще больше захлопотал:

— Петр Герасимович, а мы можем узнать, где что есть... Ей-богу... Что ж тут особенного. Есть ведь такие... как собака на сене.

— Да, есть и такие, — согласился Бурков. — Ну, счастливо, ребята! Ни пуха ни пера!

Через день Бурков вызвал к себе Катю:

— Так вот, товарищ Вязникова. Мел я для вас достал, алебастр, ну и так далее. Только вот насчет транспорта... Придется самим обеспечить.

— Обеспечим, не беспокойтесь, Петр Герасимович, — весело сказала Катя. — Саночки у нас есть, адрес знаем.

— Только этого лихого мальчишечку — Петросян, кажется, — дома попридержите. Что-то мне его «братан» не понравился.

— Слушаю, Петр Герасимович. А как насчет обоев? Бурков прищурился:

— Завтра насчет клея придете?

— Приду, Петр Герасимович.

— А послезавтра насчет замазки?

— Приду.

— Давайте-ка мне сейчас этот ваш списочек.

Положив на стол бумагу, Бурков спросил:

— Вы с кладовщиком переплетного, с Николаем Леонтьевичем Люшкиным, не знакомы?

— С одноклассником? Видела несколько раз.

— В технические руководители к вам просится.

— В технические руководители?

Бурков засмеялся:

— А вы не нуждаетесь? Подумайте, Екатерина Григорьевна. Вы, может, и не знаете биографию Николая Леонтьевича, зато я знаю. Товарищ Люшкин до войны знаменитейшим маляром был. Вернее, их пара была: отец и сын Люшкины. Профессорские квартиры ремонтировали. Ну-с, потом вот война, несчастье, руки лишился. А вчера приходит ко мне с претензией: как же это так, ремонт помещения — дело серьезное, а работники кто? Мальчики да девочки? Материал испортят...

В тот же день вечером Люшкин явился в общежитие проводить инструктаж. С ним вместе пришел и сын — здоровенный детина пудов на шесть, но очень скромный и тихий. По всему было видно, что папаша распоряжается им как хочет.

Они молча прошли по всему общежитию, выстукивая каждую стенку. Люшкин-отец делал отрывистые замечания: «стена капитальная», «фанерка», «подсобное помещенье», «красочки маловато». Люшкин-сын молча со всем соглашался.

— Панель вам иметь желательно? — спросил Николай Леонтьевич у Кати. — Или колером пустим? Багетика не найдется?

Катя на все отвечала:

— Прошу вас, товарищи, делайте, как вы считаете нужным. И большое вам спасибо. Большое спасибо.

Накануне субботника всем были выданы «робы» —

самая обыкновенная мешковина с прорезями для рук и ног. И только Кате был торжественно вручен фартук.

Вечером она побежала к Анне Николаевне:

— Дела идут, идут! Ребята чувствуют себя как перед боем.

Да и у нее самой давно уже не было такого бодрого, уверенного настроения, как сегодня, в канун субботника.

Часов в десять она вернулась от Модестовой и только вошла, как сразу почувствовала что-то неладное. Старшая по общежитию девочек Галя Христофорова быстро зашептала:

— Екатерина Григорьевна, не знаю, что и делать... Я уж вас так ждала, так ждала... Беда, Екатерина Григорьевна!

Катя схватилась за косяк двери:

— Что случилось?..

— Лиза Кондратьева от субботника отказалась. Не желает, и все. Поговорите с ней, Екатерина Григорьевна! Она вас послушает...

— Ох, Галя, Галя... Как ты меня напугала... Я думала, действительно несчастье.

Она чувствовала такую острую боль в сердце, что едва сняла пальто.

— Екатерина Григорьевна, вам нехорошо, да?

— Ничего, прошло. Так ты говоришь, что Лиза...

— Отказывается. Прямо жуть. Девчонки такой шум подняли. Вы с ней одна только и можете...

— Я сейчас к вам приду. Или нет... Скажи ей, чтобы она зашла ко мне.

Но из этого разговора ничего не получилось. Лиза стояла на своем: завтра именины у какой-то там ее подруги, и нельзя туда не пойти. «Субботник — дело добровольное. И не уговаривайте, Екатерина Григорьевна, я упрямая».

— А я и не собираюсь уговаривать, — сказала Катя. — Не хочешь участвовать в нашем коллективном деле — не надо. Но только учти, хуже всего будет тебе. Никто не дотронется до твоего угла. И грязные обои останутся, и на потолке пятно. Все как было, так и останется. Осрамишься на всю типографию.

— А вот и не осрамлюсь, — сказала Лиза, передернув плечиками. — Не осрамлюсь, не осрамлюсь, не осрамлюсь...



— Ну, тогда, значит, будешь работать вместе с нами.

— Не буду, Екатерина Григорьевна, и не просите. За меня сделают.

— За тебя? Нет, за тебя никто работать не станет. До сих пор, Лиза, я тебя считала разумной девушкой.

— А вот станут, — сказала Лиза, поджав губы. — Станут, Екатерина Григорьевна. Турчанов за меня мою работу сделает, и все.

— Саша?

Катя ей не поверила. Дурит девчонка. И нехорошо дурит. Все же она решила немедленно поговорить с Сашей.

— Нет, это правда, — ответил Саша. — Я действительно обещал.

— Обещал?.. Но как же ты мог?

— Да уж так вышло. Так надо было, — поправился он.

— Я тебя не понимаю. Ленивая дерзкая девчонка отказывается выполнять свой общественный долг, отказывается, зная, что нам так трудно... В конце концов, мы ж это для себя делаем.

Саша нахмурился:

— А она не ленивая и не дерзкая.

— И ленивая, и дерзкая, — повторила Катя, чувствуя, как в ней закипает злость.

— Нет, Екатерина Григорьевна. Она... Она, ну как бы это вам сказать... несчастный человек.

— Это еще как понять?

— Ну, я, может, не так сказал. Жизнь у нее очень паршиво сложилась. Родители ее бросили. Да бросили же, Екатерина Григорьевна, зачем мне врать? Еще до войны в газете фельетон был. При живых родителях — сирота. Понимаете?

— Понимаю, Саша. Но одно с другим не вяжется. Ведь это же нелогично: ты будешь за Лизу работать, а она...

Сказала, взглянула на Сашу, встретила с его взглядом и поняла: какая уж тут логика, когда ему хочется все сделать за Лизу... И как помешать этому? Да и надо ли этому мешать?

Одно ясно: ребята знают друг о друге куда больше, чем она. А главное, знают как-то *иначе*. Все они сироты, это так. Но вот Толя Игнатьев. Его отец посмертно

награжден орденом Ленина. Мальчик хранит орден, как святыню. И вместе с орденом последнее письмо отца с фронта. Бумага почти совсем стерлась. Строчки, написанные карандашом, едва можно разобрать. Хранит. А Лиза? Перед войной был фельетон в газете. И это все? «При живых родителях — сирота», — вспомнила она Сашины слова.

Жалость грызла ее, а жалость — плохой советчик. Да и, в конце концов, во имя самой Лизы нельзя потакать такой анархии. Ну хорошо, Лиза не примет участия в субботнике. А дальше что? Товарищи этого не простят и будут правы. Глупое мимолетное торжество будет ей потом дорого стоить. И не только ей, но и Саше. . . Что ж, видно, придется снова собирать «проживающих в общезжитии номер один».

Но потом она все-таки решила этого не делать. Утром, не было еще семи, пошла в комнату девочек, присела на Галину койку и сказала, почти не повышая голоса:

— У меня тут к вам небольшой разговор. Насчет Лизы Кондратьевой. Придется нам сегодня без нее работать. Стойте, стойте, дайте досказать. Я с Лизой обо всем говорила. Причина у нее уважительная, и надо ее отпустить. Я вас, девочки, прошу, вы ее не точите. Разные бывают в жизни обстоятельства. Придется нам сегодня за нее поработать.

— Почему это «нам»? — крикнула Лиза. — Я вас об этом не просила. . .

— И это верно, — согласилась Катя. — Лиза договорилась с Сашей Турчановым, и тот обещал за нее поработать. Только тут они одного не учли. На субботнике нет и не может быть никаких норм выработки. Кто сколько сможет, тот столько и сделает. Если Саша может сделать много — хорошо, если может еще больше — отлично. Тут правило простое — один за всех и все за одного. Ясно?

Тишина стояла такая, что Катя подумала: «А может быть, они меня просто не поняли?» И в эту секунду Лиза крикнула:

— А почему вы мне вчера об этом не сказали? Вы ж мне вчера и грозились, и то и се. . .

— Вчера? — Катя внимательно взглянула на Лизу, и так ей не захотелось врать! В конце концов, бог с ним,

с этим «авторитетом». — Вчера я сама этого не сообразила, — сказала Катя. — Как-то ты меня огорошила. Думала — шутишь, потом смотрю — нет, всерьез. Было мне обидно, а за ночь я передумала.

— Передумали? — Лиза неожиданно подбежала к Кате и схватила ее за руку. — Екатерина Григорьевна, миленькая, родная, золотая, а можно так, что я тоже передумала?

— Почему же нет... Все от тебя зависит...

— Нет, теперь не от меня, теперь от всех, теперь от всех. Вчера от меня, а сегодня от всех, — говорила Лиза, крепко держа Катину руку и блестя глазами.

— Да нехай, пусть робит, — сказала Лизина подруга, Валя Косенко, маленькая, неуклюжая девочка, но самая старшая здесь — ей было уже восемнадцать. — Вечно с ней какие-нибудь концерты.

Через час началась работа. Люшкин и в самом деле оказался замечательным техноруком. Работать ему самому было трудно, но командовал он умно и расчетливо. Катя поначалу думала поделить ребят на две бригады, но запротестовал Люшкин-сын. Он наотрез отказался быть бригадиром:

— Куда мне против папаша...

— Не может против меня, — подтвердил старик. — Что верно, то верно. Привык с-под моей руки работать.

И еще Люшкину не нравилось, что вместе со всеми работает и Катя:

— Для хозяйки одно дело: за порядком смотреть.

Но она в ответ только засмеялась.

Когда Люшкин объявил перерыв, Саша подошел к Кате.

— Большое вам спасибо, Екатерина Григорьевна. Я и за себя и за Лизу благодарю...

— Благодарить меня не за что, — строго сказала Катя. — Все, что я сказала Лизе, ты бы сам мог ей сказать.

— Хотел сделать хорошо, Екатерина Григорьевна, а вышло плохо.

— Да, плохо. — Она твердо решила не щадить его.

Эти двое — Саша и Лиза — старались, кажется, больше всех и даже заслужили особую похвалу технорука. В обед пришел Бурков со своей, как он выразился, «гвар-

дией» — секретарем, машинисткой и типографским курьером. Но Люшкин категорически запротестовал:

— Ни боже мой. Рабочих рук хватает. Политико-моральное — высокое.

А после работы в общежитие потянулись рабочие из наборного, из печатного, из цинкографии — помочь.

— Мы ведь тоже люди сознательные. Давайте нам работу — поможем!

Помочь! Какое доброе слово! У этого слова старая закалка. И в темные бурлацкие времена, и в весенние Октябрьские зори, и в трудную военную ночь, и в солнечный мирный полдень звучало и звучит это слово, и радует и подымает рабочего человека, и предвещает и дарует победу. И хотя Люшкин и говорил, что ничего не надо и что «политико-моральное — высокое», но как миновать сегодня этот знакомый, насквозь простреленный домик, где кипит работа, как не засучить самому рукава, не спросить по-товарищески, по-рабочему, по-хозяйски: помочь?

Был уже поздний час, когда снизу прибежал Фонарик и доложил:

— Екатерина Григорьевна, там из райкома комсомола пришли, лично вас спрашивают.

— Из райкома? Что же они сюда не идут?

Катя посмотрела в пролет лестницы и увидела Симочку и еще какого-то худощавого молодого человека в роговых очках.

— Симочка, что же вы не подымаетесь?

— Жутко у вас! — весело крикнула Симочка в ответ. — Где бы раздеться?

— Саша, проводи товарищей ко мне в комнату, я сейчас.

Катя вымыла руки, потуже стянула косынкой волосы, сняла фартук и спустилась вниз. Только сейчас она почувствовала, как устала за нынешний день. Ужасно ныла спина, колени подгибались.

В Катиной комнате ремонта еще не начинали, но все здесь было уже разорено.

— В самый неудачный день пришли, — откровенно призналась Катя. — Ну, как-нибудь рассаживайтесь. Сами видите, ремонт у нас.

— Ничего, ничего, — сказала Симочка. — Раз пришли, отступать поздно. Да и вопрос мне поручен не такой, чтобы откладывать.

— А в чем суть? — спросила Катя.

— Суть вот в чем: как вы воспитываете у молодежи чувство прекрасного? Я с ваших слов запишу. Да у вас, наверное, и чернил сейчас не найти... Ну, ничего... — Она порылась в сумочке и нашла карандаш.

→ Чувство прекрасного? — переспросила Катя.

— Ну да. Иначе однобокое воспитание получается. Производство, производство, а Шишкина от Айвазовского отличить не могут. Ой, виновата, я вас не познакомила. Это товарищ Максимов из Эрмитажа. Культмассовый сектор организует экскурсии. Товарищ Максимов — член пленума обкома комсомола, — подчеркнула Симочка.

— А не лучше ли нам зайти в другой раз? — спросил Максимов.

— Ну что вы, — ответила Симочка. — Это очень быстро. Скажите, Катя, в каких музеях за это время бывала ваша молодежь? В Русском? В Эрмитаже? ..

— Не были ни в одном, — сказала Катя хмуро.

— Так-таки ни в одном музее?

— Ни в одном.

— Ясно. Еще один вопрос, простите, товарищ Максимов, это уже не по вашей линии: как с Филармонией? Сколько посетили симфонических концертов, камерных?

— Мы были один раз в Большом драматическом на «Так и будет». И все. Еще ходили летом в Зоологический сад.

Симочка недовольно покачала головой:

— Вы как-то, Катя, нас не понимаете или не хотите понять. Воспитание чувства прекрасного — серьезная проблема. А у вас, если говорить откровенно, очень серенько получается.

— Серенько? — переспросила Катя. — А вы подумали, что вот парень пришел с работы — ну, парень или девушка, это неважно, — надо себе что-то сготовить, а тут кухня не в порядке, плита дымит, с дровами еще не налажено. К тому же почти все ребята вечерами учатся.

— А вы подумали, что искусство помогает человеку преодолевать трудности? — спросила Симочка. — Вы-то сами, Катя, бываете где-нибудь? На выставках, в теа-

трах? Просто непонятно тогда, как же вы беретесь воспитывать нашу молодежь... не впитывая в себя лучшие образцы классического и советского искусства? — Катя хмуро молчала, и Симочка тоже нахмурилась. — Короче: договаривайтесь с товарищем Максимовым о плане экскурсий.

— Об этом надо спросить ребят, — возразила Катя.

— Безусловно, — подтвердил Максимов, который внимательно прислушивался к разговору.

— Ну так идемте все наверх! — бодро предложила Симочка.

— Вы что, сейчас хотите разговаривать с ребятами? — спросила Катя.

— Конечно. Самое удобное время. Все в сборе.

— Нет, — сказала Катя. — Сейчас этот разговор не состоится.

Симочка нахмурилась:

— То есть как это «не состоится»?

— Да так. Вы что — смеетесь: ребята весь день работали, звон в ушах стоит. Сейчас только бы до койки...

— Уж позвольте мне делать то, что я считаю нужным, — вспыхнула Симочка. — Как-никак я...

— А по-моему, товарищ Вязникова совершенно права, — вмешался Максимов. — Такими наскоками можно только подорвать идею. Нет, я не согласен.

— Однако надо помнить, что говорил Ушинский, — не сдавалась Симочка. — Товарищ Вязникова ведь когда-то тоже училась. Чувство прекрасного...

— Чувство прекрасного! — повторил Максимов. — Да что это, вроде прививки оспы? Но ведь и это требует подготовки. Давайте встретимся и обсудим, как лучше начать дело. Хотите — вы к нам, хотите — мы к вам...

В эту ночь Катя долго не могла уснуть. Не то чтобы ее тяготила ссора с Симочкой — ссориться так ссориться, что же поделаешь, — и не то чтобы она раскаивалась в своих словах — нет, она считала, что поступила правильно, — просто Симочка дотронулась до большого места. «Когда-то ведь и вы учились...» Да, когда-то...

Конечно, она не настоящий воспитатель. Недоучка. Любой будет прав, бросив ей это слово. Да, она не настоящий воспитатель. Все это ведь началось случайно, в тот день, когда она взяла ребят из детдома. Это все Модестова. Но разве Модестова была не права? Ведь

Кате действительно стало легче, что-то в ее душе потеплело, оттаяло. Это всегда так бывает, когда знаешь, что кому-то нужна. Нужна? В самом деле нужна? Она пристально смотрела на горку алебаstra, белевшего в углу, и старая тоска крутой волной поднималась к сердцу.

2

На следующий день после обеда Катю вызвали в проходную типографии к телефону. Ничего особенного в этом не было — в общежитии еще не поставили аппарат, но у Кати дрогнуло сердце, как это бывает от предчувствия плохого.

Звонил директор детского дома Капранов. И это тоже было в порядке вещей. И летом и осенью он несколько раз приезжал в общежитие. Катя к его приезду всегда старалась «навести лоск», да и ребятам хотелось как можно лучше принять своего бывшего воспитателя. Но Капранов, кажется, не замечал ни стерильной чистоты на кухне, ни шикарной «флотской» заправочки постелей в комнате мальчиков. Он рассеянно слушал железные рапорты Саши Турчанова и трескотню девочек по поводу их неслыханных производственных успехов...

В своей светелке Катя рассказывала Капранову о житье-бытье:

— Мы так решили, я думаю, правильно?

Он медленно кивал головой, слушал задумчиво, характерным движением захватив рукой бороду.

За это время Катя научилась понимать его по двум-трем, как будто случайно брошенным, фразам.

Сегодня она сразу же почувствовала, что Капранов чем-то взволнован.

— Что-нибудь случилось?

В трубке послышалось тяжелое дыхание. Впрочем, он всегда так дышал: старая астма...

— Мне надо повидать вас, Екатерина Григорьевна.

— Приезжайте в любое время... Будем очень рады.

— Нет, я думаю, лучше приезжайте вы.

— Хорошо. Сейчас...

Она повесила трубку и вдруг отчетливо поняла: Сережа! Что-то случилось с Сережей!

Она прибежала домой, накинула пальто и наспех на-

писала записку Саше (Модестова подшучивала над ним: «Опора трона»).

Сорок пять минут в трамвае были для Кати мучительными. «Может быть, корь, может быть, скарлатина в тяжелой форме? — думала она. — Но Капранов сказал бы. Впрочем, он, наверное, и не думает, волнует это меня или нет... Как он мне тогда ответил: «Право у вас, конечно, есть, вы спасли мальчика».

Но вот наконец Литейный. Катя выскочила из трамвая и помчалась на улицу Пестеля. Знакомая вывеска, знакомый звонок...

Едва только она вошла, как сразу же увидела Сережу. На большом зеленом в красную елочку ковре играли дети. Сережа, скрестив ноги по-турецки, сидел немного в стороне, рядом с какой-то седой женщиной с грустным молодежьим лицом. Они строили «вавилонскую башню» из ярких разноцветных кубиков, видимо только что купленных. Тут же валялась коробка с надписью: «Для дошкольного возраста».

Катя перевела дыхание, глубоко вздохнула и, подойдя к Сереже, порывисто обняла его. Он не обратил на нее никакого внимания. Он был полностью поглощен «вавилонской башней».

А вот седая женщина внимательно взглянула на Катю. Катя этот взгляд перехватила.

— Ну, как ты живешь, Сережа? — спросила Катя, и тон, которым был задан вопрос, показался ей самой каким-то неестественным, нарочитым.

— Хорошо живу, хорошо живу, — скороговоркой ответил Сережа.

Похоже было, что он привык и к этому вопросу и к этому ответу. А Кате было обидно: так она волновалась — и такое равнодушие. Даже не взглянул на нее...

Катя поднялась по витой деревянной лестнице, все время ощущая на себе внимательно изучающий взгляд незнакомой женщины. Сережа на Катю так и не взглянул.

Капранов встретил ее доброй улыбкой, которая удивительно ему шла.

— Екатерина Григорьевна, пришло письмо о том, что жив отец Саши Турчанова... Минуту, дайте мне, пожалуйста, досказать. Письмо это официальное. Дата отправления: 23 ноября 1945 года... «Александр Никола-



евич Турчанов, год рождения девятьсот пятый, старший сержант, командир отделения. Был взят в плен в 1944 году. Содержится в Западной Германии, в Прирейнском лагере. Извещение от 1944 года считать не действительным». Это все, Екатерина Григорьевна. — И он с несвойственной для себя живостью взял Катину руку, словно удерживая ее первые слова, которые уже готовы были вырваться, словно приказывая: «Подождите. Ну, вот так: подождите! Я же не ради себя об этом прошу...»

— Когда вы получили? — спросила Катя.

— Сегодня.

— Хорошо. Я сегодня же скажу Саше.

— Сегодня?

— Конечно!

— Но тогда бы я сам мог это сделать, — сказал Капранов мягко. — Приехать к вам... И... и я бы прочел ему то, что здесь написано. Но я решил с вами поговорить. Может быть, я поступил неправильно?

— Как-то странно... Вы считаете, что от Саши это можно скрыть? Саша, конечно, еще не взрослый человек, но он уже и не ребенок.

— И поэтому вы не хотите подумать, как об этом ему сказать?

— Он очень любит отца. Очень его любит и считает образцом... «Пал смертью храбрых». В этих словах все сказано. А теперь — плен... Вот, значит, как!..

— Узнать, что отец жив... — начал Капранов.

Катя с сомнением покачала головой:

— Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Я это помню с детства. А вы разве не помните?

— Как же, как же, помню, — поспешно откликнулся Капранов. — Но мое детство было совсем другим. Я ведь почти на сорок лет старше вас... — прибавил он грустно.

Катя взглянула на Капранова. Руки его беспокойно шарили по столу, передвигали счеты, папки, розовый стаканчик для карандашей, бювар. Ей стало жаль его:

— Я обидела вас?..

— Что вы, что вы... — сказал Капранов, но его взгляд говорил Кате другое.

— Просто я не могу понять, — продолжала Катя, — если вы это известие считаете радостным для Саши, то в чем тогда затруднение?

— Радость или горе — две краски: черная и белая, — тихо сказал Капранов. — Не маловато ли? Меня учили, что в солнечный спектр входит много разных цветов...

— Значит, мне вы не доверяете разговора с Сашей? Капранов развел руками:

— Так вопрос не стоит...

— Нет, именно так. Я только не понимаю, зачем вы меня позвали: две краски — черная и белая — это действительно маловато. Почему вы не позвали Сашу?

— Мне казалось, будет лучше, если не я и не вы...

— «Не я и не вы»? Не люблю загадок, — вырвалось у Кати.

— Видите ли, Екатерина Григорьевна, — продолжал Капранов, — мы с вами люди не подходящие для этого дела. А думаю я о майоре Федорове. Не знаю, как вы на это смотрите. И сержанта Турчанова он хорошо знал, не правда ли? Саша об этом майоре говорит с восторгом...

— Знаю. Но прошло столько времени, а он к нам и глаз не кажет. Написал письмо Саше, Саша ответил сразу же... Ну, вот и все.

— Мало ли что в жизни бывает. Человек он, по-моему, хороший. Хороший и добрый.

— По-моему, тоже. Легко с ним...

— Напишите ему, Екатерина Григорьевна.

— Да, я ему напишу.

— Вы на меня зря рассердились!

— Если бы вы знали... Мой муж... Он...

— Знаю.

— Нет, этого вы не знаете. Вы думаете, он погиб? Да, он погиб, но он не был убит, он застрелился. Понимаете, восемь патронов в нашем ТТ, ну он оставил восьмой для себя, чтобы избежать плена. А ведь у него была я. Понимаете? Они окружают нашего человека, как волки: сдавайся, у нас есть хлеб, вино, женщины, сдавайся. Восьмой патрон он себе оставил.

И снова рука Капранова легла на сухую и тонкую Катину руку:

— Я этого не знал. Вы меня простите.

— Не знали. А если бы и знали... Хорошо, я напишу майору Федорову.

Она уже встала, чтобы проститься, но в это время в дверь постучали и вошла та самая седая женщина с молочавым лицом, которая вместе с Сережей строила башню из кубиков. Капранов встал:

— Познакомьтесь, пожалуйста: Мария Филипповна Бельская — Екатерина Григорьевна Вязникова.

— Вязникова? Так это вы? Мне рассказывал о вас товарищ Капранов.

«Бельская... — думала Катя. — Почему-то мне знакома эта фамилия... Бельская... Но какое она имеет отношение к Сереже?»

— Мария Филипповна человек бездетный, — сказал Капранов. — Она пришла к нам в детский дом, чтобы...

— Столько сирот сейчас... — вставила Мария Филипповна осторожно.

— Ей понравился Сережа Вязников, — продолжал Капранов. — Все это, конечно, не решено. Они только привыкают друг к другу.

— Желаю успеха, — сказала Катя резко. — Сережа действительно славный мальчик.

— Я очень хотела повидаться с вами, — начала Мария Филипповна робко. — Мне рассказывали, что вы...

— Пустяки, — сказала Катя. — Вас смущает фамилия? Пустяки. Был Вязниковым, станет Бельским.

Она быстро попрощалась и вышла. Щеки ее еще горели, но она уже вполне владела собой. Она прошла комнату, где играли дети, и спокойно сказала:

— До свидания, ребята. До свидания, Сережа.

Мысли ее уже были далеко отсюда. Что ж, судьба этого мальчика, этой хорошенькой головки, видимо, решена. Может быть, это и к лучшему?..

Придя домой, она заперлась в своей светелке и начала письмо Ивану Алексеевичу.

«Здесь моя жизнь, — думала Катя. — Главное здесь я, здесь... здесь мое «я», — повторяла она.

Все-таки вечером она сбегала в булочную, где был автомат, и позвонила Капранову:

— Знакомая фамилия — Бельская. Кто она? Я слышала о генерале Бельском...

— Мария Филипповна — его жена.

Иван Алексеевич был озабочен: он дважды прочел Катино письмо, и, хотя оно было совсем коротким или именно поэтому, он понял, что там произошли серьезные события.

«Уважаемый Иван Алексеевич, — писала Катя, — прошу вас сообщить мне, когда вы сможете приехать в Ленинград. Я вас встречу на вокзале. Мне надо поговорить с вами. Вязникова».

И в то же время он обрадовался: он давно не был в Ленинграде и ему хотелось хоть ненадолго переменить обстановку.

Дивизия уже стояла в Вересках, офицеры почти все жили по квартирам: кто без детей — снимали комнаты у частников, а многосемейные жили в корпусе «А». Этот дом был наспех выстроен КЭЧ за лето.

Во всяком случае, лагерь был позади, и это означало жизнь куда менее хлопотливую. Для Ивана Алексеевича кончилась пора переездов, выклянчивания машин, а иногда и «голосования» на дорогах. Он был дома и мог наконец почувствовать все прелести оседлой жизни.

Но вместо этого он зажил такой трудной жизнью, какой еще никогда не жил.

Это началось сразу же после его первого разговора с Балычевым. Обещав написать статью, он весьма смутно представлял себе, как это может у него получиться. Поначалу все ладилось. Иван Алексеевич исписал страниц двадцать, писал быстро и с увлечением. Глядя на его разгоряченное лицо, Тамара даже подумала, что он пишет ей, что ему так легче объясниться.

Она долго не спала и все слушала скрип пера. Утром, перед уходом на службу, Иван Алексеевич порвал то, что написал ночью. Тамара видела, как он все бросил в корзину, и ей стало жаль мужа...

«Все равно узнаю, — думала Тамара. — Узнаю, узнаю, узнаю все его мысли».

Едва Иван Алексеевич ушел, как она стала складывать обрывки.

«Передний край противника, — читала Тамара. — Первая рота при наличии... пулеметов...»

Тамара читала и плакала. Слезы смывали количество пулеметов в роте. Это ли она ожидала прочесть?

Иван Алексеевич порвал свою работу, когда прочел ее на свежую голову. Писал он сгоряча, а рвал холодно, безжалостно, понимая только одно, что взялся не за свое дело.

Сегодня он был спокоен как никогда. Утром присутствовал на нескольких занятиях с молодыми солдатами, потом беседовал с командирами рот, потом отправился в штаб полка, где было совещание комбатов и начальников отдельных служб.

Помощник командира полка по тылу, майор Шагал, докладывал дельно, но длинно, все очень устали, Ивана Алексеевича тоже клонило ко сну. И вдруг он вспомнил о своей ночной работе, о бумажных клочьях в корзине и подумал, что нет, нет, не может быть, что все погибло, надо снова браться за перо, и на этот раз выйдет. И он с удовольствием стал слушать майора Шагала и даже посочувствовал ему — у майора был какой-то дефект речи.

Едва вернувшись домой, Иван Алексеевич начал работать. Он не замечал Тамариных взглядов, не слышал ее приглушенных вздохов. «Спокойной ночи! Спокойной ночи! А мы тут еще поработаем. . .»

Утром все полетело в корзину. И так повторялось затем каждый день, до его разговора с Балычевым.

После этого разговора для Ивана Алексеевича началась новая жизнь. Камышин дал ему и дневники боевых действий, и штабные разработки и вообще приказал «раскопать все, что только можно».

Да и в других полках к работе Ивана Алексеевича отнеслись сочувственно. Он ездил в Любозерск, но там, в штабе дивизии, на него взглянули неласково и как-то испуганно. Он впервые почувствовал себя «штрафником» — отповедь, которую ему дал сам генерал, здесь, видимо, запомнили крепко.

Любезнее всех оказался Рясинцев. Он непринужденно поболтал с командиром батальона о том о сем, порасспросил о задуманной работе, а по поводу документов, которые нужны были Ивану Алексеевичу, сказал, что да, действительно есть такая документация, но она засекречена.

Иван Алексеевич удивился:

— Какие же секреты — донесения офицеров, командиров взводов и рот? Там и мои есть. . .

Но Рясинцев только руками развел.

Тогда Иван Алексеевич решил съездить в Ивановское, где стояла дивизия Северова. Камышин и здесь пошел навстречу и выписал формальную командировку.

У Ивана Алексеевича была тайная мысль повидаться с генералом Северовым и расспросить его об операции. (Он даже составил себе вопросник.) Но это не удалось. Кажется, генерал был в этот день очень занят, а может, адъютант не разобрался и не сумел толково доложить.

Зато в штабе Ивана Алексеевича приняли отлично, особенно старый дружок Жолудева, майор Шевченко, по-прежнему работавший заместителем начальника оперативного отделения. Иван Алексеевич приехал из Ивановского такой счастливый, с таким сияющим лицом, что Тамара только взглянула на него и ни о чем не стала спрашивать.

Впрочем, Иван Алексеевич теперь часто замечал ее настороженный взгляд. Как будто она в чем-то его подозревает. В хорошем он придет настроенный — Тамара думает: «Кто это его так развеселил?» В плохом: «Что-то он теперь часто хмурится?» «Раньше» и «теперь» — эти два слова как-то особенно Тамара подчеркивала.

Но чем больше она подчеркивала эти слова, чем многозначительнее были ее взгляды, тем сильнее это раздражало Ивана Алексеевича и тем явственнее приходили на память нехитрые формулы Лебедева: «Все жены одинаковы...»

«Да нет, не может быть, чтобы моя Тамара, милая, ласковая и близкая, не может быть, чтобы она все так грубо мерила на общепринятый аршин...»

Проходила ночь, наступал день, и все начиналось сначала. Казалось, их любовь не выносит дневного света.

Перед отъездом Ивана Алексеевича в Ленинград они поссорились. Он сказал, что получил письмо от Кати, и Тамара нарочито громко зевнула:

— А, к этой учительке!..

Иван Алексеевич любил почитать в поезде и взял с собой журнал с приключенческим романом, но тут он так расстроился, что не мог одной строчки прочесть. Так и просидел всю дорогу, глядя в окно и поеживаясь, вспоминал: «учителька». И багровел от стыда.

В Ленинграде он сразу же увидел Катю, поджидавшую поезд на платформе, и одним взглядом охватил и

ее озабоченное лицо, и что одета она не по сезону: легкое пальто с шарфиком и туфли-лодочки в мелких калошах. А было уже по-зимнему холодно.

Иван Алексеевич почувствовал острую жалость к Кате, и в ту же минуту ему стало легче на душе — те заботы, которые так мучили в поезде, разом отпали.

Из поезда вышло много военных, и Иван Алексеевич видел, что Катя внимательно всматривается в их лица. «Не запомнила меня с прошлого раза», — подумал Иван Алексеевич, окликнул ее, взял под руку и быстро вытащил из толпы.

— Я только сейчас сообразила, — сказала Катя, — что вам, наверное, все это свидание на вокзале могло показаться странным, но вы сами поймете. . .

— Ну что за пустяки! — ответил Иван Алексеевич. Он и в самом деле не задумался, почему Катя встречает его на вокзале. А сейчас его только беспокоило, что она так легко одета.

На площади клубился морозный пар. Бронзовый Ленин был покрыт инеем, и эта зимняя дымка, и яблоневый цвет инея создавали впечатление необыкновенной легкости памятника.

— На трамвай или на автобус? — спросил Иван Алексеевич.

— Но мы тогда не сможем поговорить. Я ведь потому и не хотела, чтобы вы прямо приезжали в общежитие. . .

— Хорошо, хорошо. . . Но разве вам не холодно?

— Нет. Я привыкла.

Они вышли к Неве. В памяти всплыло название автобусной остановки — «Арсенальная набережная». Но из автобуса не видно, как сквозь туман неспешно пробивается ясный день. Тамара не очень любила Ленинград и, когда они возвращались в Верески, облегченно вздыхала: «Как здесь хорошо, воздух какой! Не то что в Ленинграде. . . А летом можно будет отсюда не уезжать, приедут артисты на гастроли. . .»

— Я-то готов целый день бродить по Ленинграду, — сказал Иван Алексеевич Кате. — Я мало знаю город, но очень мне здесь нравится. . .

— Это приятно слышать. Приезжие часто говорят: у вас пустынно. Мне кажется, не пустынно, а просторно. Ведь есть разница, правда? Скажите, Иван Алексеевич,

ВОТ ВЫ В ВАШИХ СОЛДАТАХ ВОСПИТЫВАЕТЕ ЧУВСТВО ПРЕКРАСНОГО?

— Что, что? Чувство прекрасного? — удивленно переспросил Иван Алексеевич. — Нет, такая задача не ставилась. Прежде всего мы солдаты. Но вообще-то культурная работа ведется. В выходной день одна рота была в Эрмитаже, другая в Русском музее... Были в Артиллерийском музее и в Морском. Не так уж мало?

— Конечно, немало... Да я не к тому... Я только к тому, что не понимаю, почему мадонну Боттичелли надо знать, а город, в котором живешь, можно не знать. После войны по-новому стала относиться ко всему этому. — Широким жестом она охватила все до горизонта. — Боттичелли все же отсиживался на Урале, а город воевал... — Катя вдруг резко оборвала себя и спросила: — Вы, может быть, думаете, что я вас вызвала, чтобы погулять с вами?

— Екатерина Григорьевна!

— Я вызвала вас потому, что пришло письмо, официальное известие, что жив Сашин отец, жив Александр Николаевич Турчанов. Я... — Катя так побледнела, что Иван Алексеевич испугался:

— Что с вами? — Он взял ее за руку, рука была вялая, неживая.

— Нет, ничего, — сказала Катя, — это бывает. Все прошло.

— Так ведь это сердце, наверное!.. Слушайте, Екатерина Григорьевна, я вас прошу, поедemте домой.

— Нет. Надо поговорить, все обдумать и решить.

— Зайдемте тогда в кафе, здесь есть недалеко, хорошее, мы были...

— Пожалуй... Я бы черного кофе с удовольствием выпила.

В этот час в кафе было пусто. Иван Алексеевич и Катя заняли столик в самой глубине зала. Выпили по чашке кофе, и Иван Алексеевич сказал:

— Турчанов! Значит, жив... Невероятно, просто чудо какое-то! Впрочем, что ж тут удивляться, и такое на войне бывало. Думаешь, что убит, а он еще дышит. Не знаю, рассказывал я вам или нет, но из всего турчановского отделения только один приполз — он и рассказал. Ну да ведь ясно, в горячке... Значит, немцы все-таки его подобрали! Как вы узнали?



— На детский дом пришло письмо. К товарищу Капранову.

— А Саша уже знает?

— Нет.

— Понимаю. Вы хотели, чтобы я...

— Да, мы так сговорились с товарищем Капрановым.

— Понимаю. Спасибо. — Он заметил ее вопросительный взгляд и повторил: — Спасибо за доверие.

Катя внимательно взглянула на Ивана Алексеевича.

— Какой вы... — Она все так же внимательно на него смотрела, не договорив фразу, нахмурилась: — Мы с товарищем Капрановым думали о том, как сказать Саше...

Иван Алексеевич покачал головой:

— Доверились мне, а потом немножко пожалели, что доверились? Да, да, так оно и есть, Екатерина Григорьевна: хотите знать заранее, какой будет разговор с Сашей. Но разве об этом можно заранее сговориться?

— Напрасно вы сердитесь, — сказала Катя. — Ведь и я теперь в ответе за Сашу. Вы сегодня уедете, а я останусь. Понимаете?

— Понимаю, конечно. — Иван Алексеевич задумался. — Нет, план мне сейчас трудно составить. Парень он взрослый, невозможно предугадать, какие будут трудности... Надо рассказать, что значит быть до сих пор там. До сих пор! И вы, конечно, решили правильно. Разве можно скрывать правду? Но надо, чтобы в парне была твердая уверенность, что не навсегда это. И вы сами этому верьте.

— В этом только часть правды, — возразила Катя. — Другая часть правды состоит в том, что сейчас он в плену. И с того момента, как это случилось, вы ничего о нем не знали. Что вы об этом скажете Саше? Ведь вы ничего не знаете об Александре Николаевиче Турчанове, то есть вы знаете только то, что он жив...

— Нет, я о нем знаю не только это, — с живостью возразил Иван Алексеевич. — Я ему верю. И всегда верил. И не только когда он у меня на глазах был. Иначе жить нельзя, да и воевать нельзя. Разве я усомнился бы послать Турчанова в тыл врага?

— А сколько у нас было разочарований!...

— Не согласен, Екатерина Григорьевна, не согла-

сен! Если я своему солдату не верю, как сделать, чтобы солдат верил мне? Приказ — это значит не только мне верят, но и я верю. Доверие закаляет организм, подозрительность его разрушает.

Оба долго молчали. Потом Катя прямо взглянула в глаза Ивану Алексеевичу:

— Мне самой, понимаете, мне самой надо знать, что Турчанов выдержал... там... в плену...

— Вам надо поверить ему, Екатерина Григорьевна.

— Может быть, может быть... А знаете, как будет доволен Капранов! — Катя вдруг светло улыбнулась, и на глаза у нее навернулись слезы.

— Капранов? Почему? — спросил Иван Алексеевич, любуясь Катиной улыбкой.

— Потому что Капранов ваших взглядов человек. Да, да, не моих, а ваших! И он боялся, что я все испорчу. Но сам-то он не решился говорить с Сашей! А вот вы этого не боитесь, мне это нравится. И я тоже хочу верить Турчанову, хочу... Идемте же скорей! — сказала она, все еще сияя улыбкой.

4

Иван Алексеевич собрался домой только к вечеру. Саша вызвался проводить его на поезд. Сколько ни уговаривал Иван Алексеевич мальчика, что он сам отлично доберется и что этот путь уже хорошо ему знаком, Саша настоял на своем.

Весь длинный путь до вокзала Саша без умолку рассказывал Ивану Алексеевичу всякую всячину о своей жизни в типографии. Тут были и дела комсомольские, и учеба, и его отношения с Петро — Фонариком (они ведь друзья на всю жизнь!). Он, видимо, не решался трогать главную связь с Иваном Алексеевичем, боясь показаться навязчивым, и ни слова не говорил об отце.

Иван Алексеевич рассеянно слушал Сашу и думал о своем. Он думал, что не только для Саши, но и для него самого сегодняшний день был очень значителен. Что-то в нем самом изменилось, и он возвращается домой с большой душевной прибылью.

«И все это потому, что сержант Турчанов не погиб, а остался жив? — спросил себя Иван Алексеевич и отве-

тил: — Да, конечно да! Ведь именно этим событием отмечен день».

И все же было сегодня что-то, что касалось только Ивана Алексеевича, что принадлежало только ему. Он сам не мог уловить и понять это «что-то». Он только знал, что эта «прибыль», этот новый материал для важной душевной работы ничего в нем не потеснил, от него только стало, как говорит Катя, просторнее.

Приехали на вокзал за полчаса до отхода поезда. Ходили взад и вперед по платформе, успевшей уже промерзнуть за несколько зимних дней.

— Иван Алексеевич, страшно там? — спросил Саша, и этот вопрос был так неожидан, что Иван Алексеевич просто не нашел что ответить. — Там, у них... в лагере... — пояснил Саша.

Иван Алексеевич развел руками:

— Не знаю, Саша...

— Но ведь вы, наверное, не один лагерь для пленных видели?

— Да, мы их освобождали...

— Так как же?

— То было во время войны, Саша.

— А сейчас там иначе, как вы думаете? Ведь это как стена. Как стена. Ничего не узнаешь, не увидишь...

— Саша, дорогой, но вот же узнали, что он жив. Значит, он смог как-то сообщить...

Снова оба молча ходили по платформе. Иван Алексеевич и ждал и боялся новых вопросов. Ему хотелось успокоить мальчика. Но чем он мог его успокоить? Конечно, война кончилась, времена мирные, но тюремщики те же, только форма другая.

— Вы знаете, — сказал Саша, — когда я вас сегодня увидел, я почему-то подумал: а что, если жив отец? Это, вы знаете, прямо как стукнуло... Мама на моих глазах умерла, я еще мальчиком тогда был, ну тринадцать лет, в шестой класс перешел. Маме было жаль меня, я видел, как она мучается, и стал говорить ей об отце. И она, знаете, как-то спокойнее стала. Я слова ее запомнил, она говорила: «Вам друг с другом будет хорошо, отец тебя очень любит, и ты его тоже люби...»

Подождал поезд, и Саша бросился занимать место для Ивана Алексеевича. Он выбрал у окна, возле столика, и стучал в окно:

— Идите, идите, все в порядке!

— Ну что ты, Саша, спасибо, не все ли равно где...

— Совсем не все равно. Садитесь, садитесь...

В вагоне стало тесно. Молочницы заставили бидонами все проходы, и Иван Алексеевич забеспокоился, как бы Саша не остался. Он вышел вместе с ним на платформу, обнял:

— Ну, будь здоров, друг. Пиши чаще.

— Завтра же напишу. Прощайте, Иван Алексеевич. — Саша прижался к шинели и тихо сказал: — Отец, он ведь сильный человек, верно?

— Ну конечно... Боже мой... Я ж тебе говорю — герой.

— Он... он молчать будет. Верно?

— Почему молчать, Саша, не понимаю?..

— Герой — значит, молчит... Что бы ни было. Это я знаю. Молчит.

Поезд тронулся. Иван Алексеевич еще долго стоял на площадке и, сняв фуражку, махал ею. Но Саши уже не было видно.

Как раз в это время на соседнюю платформу прибыл пригородный поезд. На площадке вагона стояла Симочка, покрасневшая от первого веселого мороза. Зеленый джемпер с широкой белой полосой на груди крепко охватывал всю ее ладную фигурку. Волосы игриво выбились из-под эстонского беретика, который тогда начинал входить в моду.

Она бы не обратила внимания на уходящий в Верески поезд и вряд ли бы ее внимание привлек коренастый майор, стоявший на площадке вагона и кому-то махавший фуражкой, но рядом с вагоном, упорно не желая от него отставать, бежал паренек, и лицо его показалось Симочке очень знакомым.

Пока Симочка раздумывала, поезд ее остановился, а поезд, на котором ехал майор, прибавил ходу. Паренек стал отставать, потом что-то прокричал и повернул назад. Симочка не теряла его из виду, хотя это было и нелегко: народу много, а электрические фонари слабо освещают вокзал.

Наконец она вспомнила: Турчанов, Саша Турчанов из этого «царства анархизма под руководством Е. Вязниковой», как стала она с некоторых пор называть типо-

графское общежитие. Этот долговязый паренек там коноводом...

Но что он делает здесь, на вокзале, да еще в такое позднее время? Да, вот чем приходится ей заниматься в выходной день... Впрочем, денек был дивный, кто хоть однажды ходил на лыжах, тот знает, какая это зарядка! Но, видно, выходной уже кончился.

— Саша, здравствуй! — крикнула Симочка, когда они поравнялись.

— Товарищ Милецкая, вечер добрый, — откликнулся Саша. — Давайте я ваши лыжи возьму.

— Ничего, ничего... Тяжело в учении, легко в бою. Мы что, в одном поезде ехали? Тоже, наверное, на воздух выбрался?

— Нет, товарищ Милецкая, я не был за городом. У меня... Я... Вы знаете, у меня сегодня необыкновенный день!..

— Ну, в наше время на каждом шагу происходит столько необыкновенного, — сказала Симочка, улыбаясь.

— Да, да! Вы знаете, товарищ Милецкая, сегодня я узнал, что мой отец жив. Было извещение, что он погиб, но он жив, жив, — несколько раз повторил Саша, как будто только сейчас вполне понял значение этого слова.

— Твой отец! Это действительно замечательно, — сказала Симочка. — Так вот почему приезжал этот майор!

— Вы его видели? — удивленно спросил Саша. (Если она видела Ивана Алексеевича, значит, она видела и его, Сашу, а только что она спрашивала, не приехал ли Саша в одном поезде с нею...)

— Я его, конечно, не видела, — сказала Симочка. — Мне... мне стало известно, что майор, не помню его фамилии, собирается сюда.

— Майор Федоров. Так, значит, вы все знали?

— Конечно! В общем, Саша, поздравляю тебя, желаю еще новых успехов, которыми ты порадуешь своего отца.

— Лишь бы увидеть его поскорее! — вырвалось у Саши.

— Он что, инвалид? Можно будет похлопотать, чтобы вам увидеться.

— Да нет же, нет, — чуть не закричал Саша. — Нет! Он ведь еще в плену. Ну что вы не понимаете?

— Почему не понимаю. . . Отлично все понимаю. И что же, майор Федоров привез тебе эту новость?

— Да. Но мне кажется, он сначала поговорил с Екатериной Григорьевной.

— Ну, это не суть важно, говорил ли он с Вязниковой или не говорил. — Симочка остановилась почти у самого выхода из вокзала, видимо она что-то обдумывала. — А почему ты провожал майора? — спросила она Сашу.

— Как почему? Он же товарищ моего отца. То есть не то что его товарищ, его командир, ну, офицер, командир роты, а мой отец командовал отделением.

— Так, так. Ну и что же еще сказал тебе майор Федоров? Объяснил он тебе, что значит плен?

— Да, объяснил, — сказал Саша. Он взглянул на Симочку и тут же резко отвернулся.

— Конечно, конечно, ты парень уже взрослый, комсомолец, активист. Конечно, ты должен знать. Ну, что же я могу тебе сказать на все это? — Симочка вздохнула. — Безусловно, сочувствуем тебе и понимаем, что ты не виноват.

Саша снова резко повернулся к Симочке.

— Не виноват?

— Разумеется. Но я все-таки не понимаю, почему этому майору надо было приезжать, как будто бы без него не разобрались. . .

— Я ж вам сказал, что он командир. . .

— Да знаю, знаю. . . Ясно, что и ему, как командиру, тоже неприятно. . .

— Почему же ему «неприятно», товарищ Милецкая?!

— Да, наверное, с него спросят, как это могло случиться.

— Случилось так, что отец был тяжело ранен, об этом Ивану Алексеевичу сказал солдат, который. . .

— Те-те-те-те-те! — сказала Симочка. — Все, кто попадает в плен, всегда бывают ранены, и всегда тяжело ранены. И потом. . . ведь он. . . там. . .

— Так ведь в том-то и дело!

— То есть либо американцы, либо англичане его освободили?

— Не освободили его, товарищ Милецкая! Он еще в плену, в лагере!

— Что ты мне все подсказываешь, — рассердилась Симочка. — Я понимаю, что это твой отец, но это значит, что отец нашего комсомольца — там... у них. — Она взглянула на часы и недовольно покачала головой. — Все, Саша. Желаю тебе. А вообще, чем так по вокзалам ездить, лучше бы книжку хорошую взял прочитать. — Она протянула Саше руку, но тут же отдернула ее. — Это еще что?

Саша взглянул влево, куда показывала Симочка.

— Лиза, — крикнул он. — Лиза! Как ты здесь очутилась?

Лиза бросилась к нему и, не замечая Симочку, уткнулась Саше в плечо.

— Лиза, что ты, зачем это?

— Не могла я там оставаться, — сказала Лиза. — Когда ты с майором уехал, я еще с полчаса побыла дома... Ну, не могу и не могу.

— Лиза, Лиза! — повторял Саша и взял ее руки в свои. — Без варежек, — добавил он укоризненно.

— Без варежек? — Лиза засмеялась. — Верно, без варежек. — Она стянула потуже свой тулупчик. — А ведь совсем не холодно.

Симочка наблюдала за ними: сценка достаточно яркая, характерная для нравов общежития.

— Интересно, — сказала Симочка, обращаясь к Лизе. — Ты что же, спросила разрешения у воспитательницы?

— Разрешения? Нет, не спрашивала я. Ушла, и все. Разве нельзя?

— Грубый и неумный ответ, — сказала Симочка. — Порядочные девушки так не...

Она не успела закончить, потому что Лиза крикнула:

— Так я что ж, непорядочная? Непорядочная, да? Ты порядочная, а я...

— Лиза! — Саша схватил ее и крепко держал, думая только о том, чтобы удержать, чтобы не вырвалась...

— Пусти меня! — кричала Лиза. — Я ей покажу, кто порядочная, а кто нет...

Начала собираться толпа. Какой-то прилично одетый мужчина в очках охотно объяснял события!

— Что ж тут можно поделывать, если милиция не реагирует!

В это время подошел автобус, и Саша быстро втащил в него Лизу. Симочка осталась окруженная соболезнующими.

— Попала бы на меня, я бы ей живо дорогу показала!

— Эх, девушка, девушка, разве с такими так поступают?

Симочка никому не отвечала. Она стояла молча, крепко сжимая в руках лыжи. Были вещи поважнее, чем уличный скандал. Катя, ее любимец Саша Турчанов, отец Турчанова — «перемещенный», неизвестный майор и наконец эта любовная сцена — узелок, трудный для неопытного человека. Но Симочка считала себя человеком опытным.

## 5

В начале декабря Ветлугин вернулся в дивизию. Прошло восемь месяцев с того дня, как он был ранен, — так надолго он еще никогда с армией не расставался.

Его ранило в тридцати километрах от Берлина. А ведь каждый солдат начиная с двадцать второго июня был уверен, что побывает в гитлеровской имперской канцелярии.

В мае сорок пятого Ветлугину стало совсем плохо, даже самые смелые врачи не верили в его выздоровление. Но он был человек закаленный.

Он не отличался особым здоровьем и никогда себя не выхаживал. (Он даже не всегда успевал делать утреннюю зарядку и постоянно ругал себя за то, что не занимается спортом.) Сама жизнь закалила Ветлугина, бесконечно двигая его с места на место. Ему приходилось служить и в Красноводске, и в Заполярье, и на Камчатке, и в Черновицах, его продубило солнцем, прожгло морозом, обдуло всеми ветрами — степными, горными и морскими...

Не прятал он от жизни и свою семью. Говорили, правда, что сама Софья Николаевна Ветлугина завела такой



порядок, чтобы всюду быть вместе. Очень может быть, потому что Ветлугина была женщиной весьма деятельной.

Расстались они только в войну. А до войны Софья Николаевна, как ни одна жена, умела быстро собраться в путь и, главное, умела собрать детей, договориться со школой здесь, со школой там и при этом всегда выглядеть довольной.

Когда Ветлугин был ранен, Софья Николаевна приехала с Кубани в Германию и нашла мужа где-то под Кенигсбергом. Два месяца она провела возле его койки. В палату для тяжелобольных никого из родных не пускали, но она нанялась работать санитаркой, и госпитальное начальство махнуло на это рукой: так или иначе — все равно она бы отсюда не ушла.

Спустя два месяца Софья Николаевна увезла Ветлугина на Кубань и там выхаживала его. Наконец они всей семьей двинулись в Ленинград.

Сразу же по приезде Ветлугин позвонил в штаб дивизии, но Бельского на месте не оказалось, и тогда Ветлугин попросил к телефону Кирпичникова и сказал, что приедет завтра.

Все эти полгода Ветлугин вел переписку с дивизией. Поначалу ему присылали письма-приветы, иногда просто короткие записочки с пожеланиями поскорее выздороветь. Эти письма Софья Николаевна читала мужу вслух. Особенно много людей вспомнило о Ветлугине в день взятия Берлина. Потом наступила новая эпоха. Однополчане Ветлугина начали устраиваться на мирную жизнь. Замелькали фамилии демобилизованных.

Но трудно, очень трудно узнавать жизнь по письмам. Иной вот ни разу не написал, а Ветлугин твердо знал, что их дружба от этого не порвалась. А другой... Прочтешь письмо, написанное крупным, ясным почерком, и вдруг как-то смутно становится: а о чем это письмо?

Несколько писем Ветлугин получил и от Бельского. По своей лаконичности они напоминали телеграммы: «Кроме тебя, никого не хочу начальником политотдела. Кирпичников не годится. Бельский».

Бельский не кривил душой. Он по-своему был привязан к Ветлугину, хотя друзьями они так и не стали. Про-

сто Бельский знал, что Ветлугин обладает той самой душевной стойкостью, которой ему постоянно не хватало. Бельского, например, всегда удивляло достоинство, с которым Ветлугин выслушивал замечания начальства. Случалось и Шаврову повысить голос, и тогда Бельский терялся и лепетал нечто бессвязное. Ветлугин, напротив, спокойно выслушивал все до конца и мог отделить справедливое замечание от замечания случайного, вызванного раздражением.

Успехи и награды преображали Бельского. В эти дни он мог сотворить любую глупость, как в Новинске, когда он въехал в город на коне. Такая душевная рыхлость и переменчивость характерна для людей, много бездельничавших и только рассуждавших о том, как и куда направить свою жизнь.

Ветлугину об этом не приходилось раздумывать. В отличие от Бельского, он свою жизнь прожил как рабочий человек, а это понятие и хорошее и широкое. Здесь не только токарь и кузнец, но и ученый, и писатель, и командир роты, безвестный капитан, который до того за день со своими солдатами наломается, что только зубами скрипит, а домой придет, пообедаст, полчаса вздремнет и уже человек: и с женой в кино пойдет, и дочкам на ночь косички заплетет, а когда все улягутся, сядет за конспект завтрашнего занятия: «Что такое дорога? Дорога есть полоса земли...»

К этой породе принадлежал и Ветлугин. У него был талант самый главный: талант работать. Именно поэтому он мог жить спокойно, не тревожась ежечасно о своей судьбе.

Когда Бельский писал: «Кроме тебя, никого не хочу начальником политотдела», он писал искренне, инстинктивно чувствуя необходимость в таком человеке, как Ветлугин; в человеке рабочем, имеющем свое собственное мнение, и независимом, то есть прямо это мнение высказывающем. Конечно, Рясинцев верно подметил, что Бельский очень прислушивается к Кирпичникову — это было именно так: чем дальше, тем больше Кирпичников становился угоден и даже необходим. Но от этого он не становился ровней. Кроме того, Бельский знал, что Кирпичников сохнет от постоянного желания подняться еще на одну ступеньку, и считал, что приезд Ветлугина пойдет ему на пользу: злее будет.

Тут еще примешивалось и обычное тщеславие: Ветлугина знали и ценили и в корпусе и в армии. Все эти восемь месяцев Бельский всюду подчеркивал свое отношение к Ветлугину и, кажется, уже сам начал верить, что между ними старая добрая дружба.

Ветлугин не ожидал такой торжественной встречи. Бельский приехал на станцию в сопровождении целой свиты. Он осторожно, чтобы не повредить искалеченной руки Ветлугина, обнял его, почтительно поклонился Софье Николаевне, назвал старшую дочь Ветлугина — долговязую Лену — красавицей, а Мишку и Кирилку — сорванцами. Адьютанты и ординарцы осторожно подхватили ветлугинские чемоданы, корзинки и баулы. И не хватало разве что шампанского.

— Ты меня обидел, — сказал Бельский Ветлугину, сев в машину. — Неужели не мог раньше написать? Я уж как-нибудь подготовил бы тебе хатенку...

— А что, с площадью плохо здесь? — тревожно спросила Софья Николаевна.

Машина остановилась возле кокетливой дачки, выстроенной в том псевдорусском стиле, который привился в девятисотых годах. На крыльцо выскочил пожилой солдат из хоззвода:

— Товарищ генерал!..

— Отставить! Помогите-ка вещи внести.

— Зря беспокоитесь, товарищ генерал, — сказал Ветлугин. — Мы прекрасно сами управимся, как-никак нас пятеро... А правая рука у меня теперь работает замечательно!

— А на каком этаже комната? — все еще озабоченно спросила Софья Николаевна.

— Ну что вы, Софья Николаевна, обижаете нас! — сказал Бельский и показал обиженное лицо. — Уж не такие мы нищие! А Дмитрий Константинович все же начальник политотдела, мой заместитель. Дачка эта теперь ваша. Три комнаты внизу, две наверху. Вот с мебелишкой плоховато...

— Весь дом?.. — переспросила Софья Николаевна. — Ну, это уж роскошь какая-то!..

— Для милого дружка хоть сережку из ушка... — отозвался Бельский. — А вообще ведь, Дмитрий Константинович, дорогой, война кончилась. Неужели же мы домашнего очага не заслужили? Ведь уже не юноши, а?

Дедом скоро будешь, Ветлугин! Может быть, здесь и жених подходящий найдется для твоей красавицы...

— А я замуж не собираюсь, — отрезала Лена.

— Ска-а-жите пожалуйста... — шутливо удивился Бельский. — Что молчишь, Ветлугин, а? В общем, пока поживете здесь, а потом подумаем и о ленинградской квартире. В исполкоме Бельского знают. Отдыхай, Дмитрий Константинович, устраивайся, я тебя не тороплю. Это и к вам, товарищ Кирпичников, относится, — заметил Бельский, погрозив пальцем, как будто твердо знал, что Кирпичников все это время только и видел один сон: приезд Ветлугина в дивизию.

Когда Ветлугины остались одни, Софья Николаевна развела руками:

— Что ж ты мне рассказывал, будто у вас там и нелады какие-то, и «принципы», и все прочее.

— Всякое бывало...

— Ну, как бы там ни было, а дачка замечательная, — решительно сказала Лена. — И если ты, папка, не возражаешь, то наверху будет твой кабинет и мой кабинет, а внизу столовая и мама с детьми.

— Не знаю, не знаю, Лена, я еще об этом не думал...

Лена удивленно взглянула на отца, потом на мать и, покачав головой, вышла из комнаты.

— Давай-ка, Соня, распаковываться, — сказал Ветлугин.

— С превеликим удовольствием!..

Дачка действительно оказалась очень удобной. Для каждого здесь нашелся свой собственный уголок. Но Софья Николаевна заметила, что Ветлугин как-то по-необычному задумчив. «Грустно паковать, весело распаковываться!» — часто слышала она от мужа эту доморощенную поговорку. На этот раз все было не так: уезжал с Кубани веселый, с песнями, а здесь...

И за обедом Ветлугин был молчалив и не шутил, как обычно, с малышами.

— Тебе, папка, надо отдохнуть с дороги, — сказала Лена. — Баю-бай...

— А по-моему, так нет, и даже наоборот, — возразила Софья Николаевна. — Надо выйти на свет божий и погулять.

— Ну что ж, Соня, пошли! Поразомнем косточки...

— Нет, нет, ты иди один. У меня здесь дела хватит. Ветлугин не стал спорить, оделся и вышел. С улицы он видел, как жена помахала ему рукой. Он тоже помахал ей и постоял с минутой, разглядывая затейливые коньки на крыше дачи.

На улице было тихо. Но тишина эта почему-то не радовала. Приятно, конечно, жить в таком спокойном уголке, за войну это особенно научились ценить, а вот хочется же поскорее уйти отсюда и прибиться к другому, шумному берегу.

Он прошел всю улицу и снова прислушался. Так что же ему здесь не понравилось? Встретил сам командир дивизии, заранее о нем позаботился и, можно сказать, на все сто процентов проявил чуткость. Да, это так. Но почему никто из старых друзей не пришел его встретить? Ну хорошо, день рабочий, заняты люди... А вечером почему никто не зашел?

Может быть, об его приезде не знают? Или это простое чувство такта? Но черт его подери, этот такт... Он, Ветлугин, ничего бы так не хотел, как поскорее встретиться со старыми друзьями. В конце концов, что же получается: специально из Ленинграда тащили вино, покупали по коммерческим ценам... А сейчас уже восьмой час...

«Вечер, сыро, домой пора, — мысленно повторил Ветлугин. — Однако имею еще три отгульных дня». «С выходом на службу можно не торопиться», — продолжал он раздражать себя, подбирая всякого рода ненавистные канцелярские словечки.

Домой он, конечно, не пошел. Чутье старого разведчика подсказало ему дорогу из этого дачного заповедника к центру. Кто-то показал домик политотдела. Там во всех окнах горел свет.

«Работают... — подумал Ветлугин, и у него потеплело на душе. Он смотрел на окна политотдела и мысленно повторял: — Работают...»

Он ясно представлял себе маленькие комнатки, где тесно от людей и даже душно (комнаты-то ведь маленькие, а людей много!). И чуть дымно: сегодня первый раз протопили печку.

Он решил, что войдет совсем тихо, еле слышно. Но вот кто-то первый его заметил: «Товарищи, да ведь это же Ветлугин! Он самый! Который в День победы в госпитале валялся! Привет, товарищ полковник!»

Но тут он вспомнил Кирпичникова и нахмурился: это был единственный человек в политотделе, отношения с которым сложились иначе, чем с другими. Работали они вместе недолго, но за это недолгое время Кирпичников зарекомендовал себя плохо.

Ветлугин очень считался с мнением коллектива, а общее мнение работников политотдела было такое, что Кирпичников человек неприятный, кляузник и сплетник.

Особенно любил он разные, так называемые «персональные» разбирательства, и особенно по анонимкам. Многие из этих дел могли быть решены буквально в одну минуту, но Кирпичников упоенно копался в них, по всем правилам производя «дознание», вызывая к себе десятки разных людей, отрывая от службы, и иногда от очень важной службы. Он не спеша вел «дела», «анализировал документы», «обобщал». Ох, эти обобщения! Если бы не Ветлугин, сколько бы могли причинить вреда кирпичниковские докладные, начинавшиеся словами: «Не случайно товарищ такой-то совершил то-то и то-то...»

Последний «случай» заставил Ветлугина особенно внимательно присмотреться к новому инструктору. Факты полностью опровергли анонимку, но Кирпичников все же встал на сторону анонимного автора и начал свое донесение словами: «Не случайно...» Оказывается, не случайно написана анонимка, потому что другие (другие!) факты свидетельствуют, что товарищ достоин всяческого порицания.

Однако судьба Кирпичникова была решена Ветлугиным позднее и по другому поводу. Он заметил, что этот инструктор весьма по-своему «обрабатывает» политдонесения: любимцы Бельского совершают подвиг за подвигом, а о простых, незаметных людях говорится, что называется, «в строчку». Да и сам Бельский подозрительно часто стал «выскакивать» то в одном, то в другом политдонесении.

Ветлугин знал, каким путем Кирпичников стал за это время и заместителем и врио. «Зачем нам чужие кадры? — отвечал Бельский работникам политуправления. —

У нас свои выросли. Не зря же я майору Кирпичникову подполковника присвоил».

Все это Ветлугин знал, но он твердо решил не поддаваться воспоминаниям. И анонимки, и лстивые донесения были делом прошлого, а с нынешним положением дел Ветлугину еще только предстоит познакомиться. И в конце концов прошло все-таки восемь месяцев. И эти восемь месяцев работал не он, а Кирпичников.

С этими мыслями Ветлугин вошел в политотдельский домик.

Он сразу увидел Кирпичникова, сидевшего за большим столом. Перед ним лежала серенькая папка с бумагами. Перпендикулярно к этому столу был поставлен другой стол и гнутые «венские» стулья. Вообще комната была заставлена мебелью. Стояли два огромных кожаных кресла и кожаный диван. Кожа была ядовито-зеленого цвета. И уж совершенно нелепыми показались Ветлугину два позолоченных купеческих трюмо. Обои, на которых были нарисованы желтые папоротники, усиливали впечатление уродства.

— Добрый вечер, — сказал Ветлугин.

Кирпичников поднял голову и быстро вскочил. Все заняло не больше секунды, словно кто-то отпустил пружину, на которой он сидел.

— Добрый вечер, добрый вечер!

Кирпичников захлопнул серенькую папку и небрежно отбросил в сторону. Он мгновенно оценил все неудобство от неожиданного прихода Ветлугина. Вскоре сюда должен явиться Балычев, явиться, правда, ненадолго, что называется на минутку, но и этой минутки вполне достаточно... Ведь Балычев и Ветлугин, кажется, приятели?

Кирпичников был озабочен, но он умел сдерживать себя и потому спросил улыбаясь:

— Что, товарищ полковник, не выдержали азовского сидения, нарушили приказ командира дивизии? Прощу... — и он показал на свое место за столом. Его шуточный тон вполне уравновешивался этим серьезным жестом, приглашавшим Ветлугина занять место начальника.

Но Ветлугин не сел за свой стол, а молча осматривал комнату. Он все старался примирить себя и с этим огромным столом, на котором можно на роликах кататься, и

с зеленой кожаной мебелью, и с папоротниками на стенах. Но, может быть, Бельский правильно напомнил ему сегодня утром: «Война кончилась». Не разбивать же походные палатки для политотдела дивизии только потому, что они по вкусу Ветлугину. . .

Что касается Кирпичникова, то он наконец решил, что долг его и как хозяина и как подчиненного завязать беседу — лучше всего о чем-нибудь постороннем — и до прихода Балычева попробовать установить контакт. Он рассказал, что эти места, вот эти Верески, богаты дичью, поругал постановление о сроках отстрела и поведал, что недалеко то время, когда Верески, а затем и Любозерск будут соединены с Ленинградом электричкой.

Ветлугин слушал рассеянно. Охота на зайцев была и там, на Кубани, и Ветлугин был вынужден подчиняться советам врачей, которые находили, что это лучший для него отдых. Но ему хотелось не отдыхать, а работать. И эта нерасчетливая и требовательная жажда деятельности более всего походила на огонь, гонимый ветром по сухой обнаженной земле.

Кажется, Кирпичников угадал его настроение, оставил зайцев и принялся рассказывать о том, как они организовали партийную учебу. Учебный год уже начался, разные уровни знаний, разные формы работы. Назвал имена лучших руководителей семинаров, лучших агитаторов. . .

Ветлугин оживился. Память у него была превосходная. Многих людей, которых называл Кирпичников, он знал чуть ли не с начала службы в армии. Ах, да наплевать на весь этот кабинетный хлам, который сюда наставили. . . Завтра, разумеется, не позднее чем завтра, он займется делом, пойдет в полки, в батальоны. «Не зря ли я в свое время так враждебно отнесся к этому Кирпичникову?» — подумал Ветлугин и спросил:

— Я вам, наверное, помешал, вы работали?

— Что вы, товарищ полковник! Вы же учтите мое положение. Разрешите откровенно? За хозяина можно работать ну месяц, ну два. . . Но когда это. . .

— Но когда это больше полугода, тогда либо пусть возвращается хозяин, либо уж доверьте мне, — подхватил Ветлугин. — Это правильно. Но ведь не моя вина. . .



— Ну что вы, товарищ полковник, я к тому, что просто, по-человечески очень рад. Сто пудов с плеч свалил. . . — Он незаметно взглянул на стенные часы. Было уже около девяти. Балычев вот-вот мог явиться. — Ведь сейчас самое время для обид, — сказал Кирпичников, грустно улыбаясь.

— То есть как это «самое время»? — не понял Ветлугин.

— Демобилизация, — все так же грустно пояснил Кирпичников. — Возьмите, например, такого заслуженного человека, как подполковник Балычев. Он очень мною недоволен, а между тем я. . .

— Балычев демобилизован? — переспросил Ветлугин. — А зачем это? Балычев? Неразумно! Столько людей можно было демобилизовать, не беря греха на душу, а ведь Балычев сросся с армией. Неужели нельзя было отстоять?

— Приказ есть приказ и для нашего брата.

Ветлугин взглянул на Кирпичникова. Костлявые его плечи виновато приподняты. Маленький ротик грустно улыбается. Ветлугин снова почувствовал глухое раздражение, отвернулся и сразу в двух золоченых трюмо увидел костлявые плечи и маленький ротик.

«Да что еще такое, неужели он обязан потрафлять мне своей наружностью. . .» — сердился на себя Ветлугин.

Зазвонил телефон. Кирпичников снял трубку и, закрыв рукой микрофон, обратился к Ветлугину:

— Прошу прощения, это как раз Балычев. Можно пустить, не возражаете?

Балычев вошел быстро и стремительно. В первый момент он не заметил Ветлугина.

— Подполковник Балычев. Явился по вашему приказанию. . .

Но в это время Ветлугин, как всегда в минуту волнения поддерживая здоровой рукой больную, шагнул навстречу Балычеву.

— Петр Федорович! — сказал он тихо, радостно и укоризненно.

— Дмитрий Константинович! . .

По лицу Балычева было заметно, что он тоже взволнован встречей, но сдерживает себя. Эту сдержанность Ветлугин понял и оценил. Балычев как бы говорил: «Не

для того мы столько пережили, не для того стали друзьями, чтобы обниматься на глазах...»

От Кирпичникова не ускользнула ни одна подробность их встречи. Сам еще не понимая, для чего это ему нужно, он скорей инстинктивно, чем сознательно, фиксировал каждое слово и каждый жест.

— Вы разрешите, — сказал Балычев и сел в кресло напротив Кирпичникова. — Я тороплюсь...

— Сейчас, сейчас. — Кирпичников не спеша открыл стол, хотя именно в серенькой папке лежало дело Балычева. Но сейчас он медлил нарочно и, делая вид, что ящик плохо открывается, наблюдал за Ветлугиным, лицо которого все больше и больше хмурилось.

Неужели этот откровенный характер мог так понравиться командиру дивизии? Неужели эта душевная открытость так привлекла генерала Бельского?

Меньше всего Кирпичникова устраивало то, что оба молчат. Он улыбнулся своим мыслям и сказал:

— Вот уж правду говорят: нет полного счастья на земле. Прибыл Дмитрий Константинович Ветлугин — радость. И в тот же день мы прощаемся с одним из лучших наших политработников.

Балычев молчал. «Смотри, какая выдержка, — подумал Кирпичников. — Ну, брат, ты меня подводишь, надо разговаривать».

— Поверьте, — продолжал он, — тут дело только в возрасте. Если бы не возраст...

— Ну, о моем возрасте вы вспомнили только потому, что так угодно было Бельскому... — сказал Балычев как бы нехотя.

Но Кирпичников обиделся:

— Я бы вас попросил, товарищ Балычев! Вы хоть теперь и гражданский человек, но я прошу вас более уважительно говорить о командире дивизии.

— А разве о командире дивизии было сказано неуважительно? — вмешался Ветлугин. — По-моему, нет...

— Слушаюсь, товарищ начальник, — весело ответил Кирпичников. Защита Балычева Ветлугиным ему понравилась: что ж, товарищ генерал, столько ждали и вот дождались!

Спрятав свои бумаги, Балычев встал и направился к выходу, но Ветлугин задержал его:

— Нет, нет, стоп! Тут что-то есть, я должен знать...

— Узнаёте, товарищ полковник. Да я думаю, завтра же...

— Зачем же завтра? — любезно спросил Кирпичников. — Товарищ Балычев имеет, по всей вероятности, в виду осенние учения, когда генерал остался недоволен. Но такова уж наша участь: хвалят строевых — мы ни при чем, а ругают — тогда и нас, грешных, вспоминают. Приказ генерала и для нас обязателен.

Балычев махнул рукой:

— Приказать — это не значит унижить человека, резкость и грубость — разные вещи.

— Товарищ начальник, — обратился Кирпичников к Ветлугину, пожимая плечами и этим движением как бы перекладывая ответственность на начальника политотдела.

Но Ветлугин молчал. Балычев, козырнув, взялся за ручку двери.

— Мне очень жаль, — сказал Кирпичников, — что вы от нас уходите с таким осадком. Поверьте, что в вас говорит личная обида. А это давно пора бросить. За порогом этой комнаты для вас начинается другая жизнь, пора подумать о своих делах...

Балычев резко повернулся:

— «О своих делах! О своих делах!» — повторил он с горечью.

— Подожди. Пойдем вместе. Я тебя провожу, — сказал Ветлугин.

«На «ты»? — подумал Кирпичников. — Я этого не знал. Или это... экспромтом?»

Он подошел к окну и слегка приоткрыл штору. Падал мокрый снег. На улице, слабо освещенной одним-единственным фонарем, было темно и пустынно.

«Долго спускаются, — озабоченно думал Кирпичников. — Ведь всего один лестничный марш... Очень долго...»

И как раз в эту минуту он их увидел. Перешли на другую сторону улицы, стоят, разговаривают, снег им не помеха. Сквозь мокрые стекла трудно что-нибудь разобрать. Кажется, остановились у дома Бельского. Неужели?... Нет, прошли мимо...

«Товарищ начальник, что же вы не зашли? — мысленно приглашал он Ветлугина. — Генерал вас ждет. Товарищ начальник, что же вы?»

Все эти восемь месяцев Кирпичников думал, что вот придет день, когда вернется начальник политотдела Дмитрий Константинович Ветлугин. Он с тоской думал об этом дне и с острой завистью представлял себе, как в доме, который стоит как раз напротив политотдела, Бельский беседует со своим заместителем.

Но не только одной тоскливой завистью было заполнено это время. Были и душевные взлеты, были и надежды. Болезнь Ветлугина могла бы принять, как это говорится, другой, впрочем вполне естественный оборот. Но и в случае выздоровления Ветлугин мог выйти в отставку. Или он мог, что было всего вероятнее, получить назначение в другую часть. Наконец, и Бельский мог за это время оценить по заслугам Кирпичникова и в дальнейшем ходатайствовать об утверждении его в должности начальника политотдела.

Честолюбивым мечтаниям Кирпичникова не суждено было сбыться. А ведь он был не менее честолюбив, чем Бельский. Разница между ним и Бельским заключалась в том, что командир дивизии любил внешние проявления власти, шум власти, борьбу, которую он вел со своими подлинными и воображаемыми противниками. Для Кирпичникова же вся эта звонкая мишура не имела никакого значения. Сознание подлинной власти было ему дороже всего.

«Неужели же теперь, после возвращения Ветлугина в дивизию, все кончено? — спрашивал себя Кирпичников. — Неужели же эти восемь месяцев прошли зря?»

Аккуратно задернув штору, он убрал в стол серенькую папку, выбросил в мусорную корзинку окурки из пепельницы и стал устраиваться на покой. Кирпичников частенько оставался на ночь, если этого требовали дела. Сегодня дела этого не требовали, но ему хотелось побыть одному в кабинете. Одному в своем кабинете!

Позади трюмо стояла раскладушка, он вытащил ее и устроил себе постель. Когда он потушил свет и лег, вспомнил Ветлугина и Балычева, стоящих возле дома Бельского, и улыбнулся: нет, не могли пройти зря эти восемь месяцев!

Ночью он проснулся, снова вспомнил Ветлугина и Балычева и снова улыбнулся своим мыслям.

Дверь Ветлугину открыла Лена.

— Я, папа, тебя решительно не понимаю. Ведь ты сказал, что пойдешь погулять, и ненадолго...

— Пожалуйста, не ворчи, — сказал Ветлугин, невольно улыбаясь деловому тону дочери. — И вообще это не твое дело. Выйдешь замуж, тогда ворчи на своего несчастного мужа.

— Я? Замуж? — Лена фыркнула. — Ты лучше скажи: ужинать будешь? Мама уже легла...

Ветлугин снова засмеялся:

— Завари-ка мне чаю покрепче.

До глубокой ночи он просидел над чтением балычевских донесений, рапортов и памятных записок, а утром позвонил Кирпичникову и попросил машину.

— Слушаюсь, товарищ начальник, — бодро ответил Кирпичников. — В полк к Камышину, товарищ начальник?

— Да... в полк.

«Соображает, что к чему», — подумал Ветлугин и даже подозрительно оглянулся на зеркало, словно и отсюда могли вынырнуть костлявые плечи Кирпичникова.

В полку он заночевал и только на следующий день к вечеру вернулся в Верески. Было уже около десяти, когда он остановил машину возле дома Бельского.

— Не ждите меня, — сказал Ветлугин шоферу. — Здесь близко, и я отлично сам доберусь домой. — Он быстро вошел на крыльцо и позвонил.

Густо залаяла собака, знаменитый Джек, огромный желтый беспородный пес, которому Бельский спас жизнь, вытащив из горящей овчарни. Они привязались друг к другу, и всю войну Бельский таскал Джека сначала в своей потрепанной «эмке», потом в роскошном «опель-адмирале».

Дверь открыл, держа собаку за ошейник, Василий. Увидев незнакомого человека, Джек свирепо зарычал, но вдруг, видимо, что-то вспомнил, заскулил по-щенячьи и подполз к Ветлугину на животе.

— Дома генерал?

— Дома, дома... — радостно ответил Василий, снимая шинель с Ветлугина и стараясь не задеть его боль-

ную руку. — Только ужинать сели... Пожалуйте к нам, товарищ полковник, — и он распахнул дверь в комнату.

— О-о!.. — сказал Бельский. — Давай-ка, давай-ка сюда, вот это хорошо, это мне нравится. А почему один? Где Софья Николаевна?

— Да я по делу, товарищ генерал. Был в полку у Камышина и вот решил на обратном пути...

— Василий, — сказал Бельский, не слушая Ветлугина. — Прибор полковнику!

За круглым столом кроме Бельского сидели Рясинцев, Василий и стряпуха Липа Ушакова, рыженькая девочка с влажными черными глазами, страшно раздобревшая за последние полгода.

— Джек увидел их, — сказал Василий, показывая на Ветлугина, — и лаять перестал... Какая умная собака!

— Ладно, ладно, — заворчал Бельский. — Налей-ка полковнику стопочку. На смородиновом листе, знаменитая!

— Да нет, не надо, я сыт, — сказал Ветлугин, хотя был голоден. Да и выпил бы он с удовольствием, потому что промерз в «виллисе».

Какая-то странная, еще не осознанная и вообще не свойственная ему брезгливость мешала Ветлугину есть ужинать. Он недружелюбно поглядывал и на свиное лицо Рясинцева, и на Василия, и на Липу, и даже на Джека. Сколько раз во время войны он видел Бельского в окружении все тех же «домашних» и попросту не обращал на них внимания. Нужно было переговорить с Бельским, и он подсаживался и, жуя какой-то «пыж», на скорую руку приготовленный Липой, рассказывал суть дела.

А сейчас эта мирная картина показалась ему безобразной. «Неужели же каждый вечер все с Васькой да Липой?» — подумал он недовольно.

Возможно, что Бельский понял его настроение. Он чуть махнул рукой, и Рясинцев, Василий и Липа мгновенно исчезли, словно на них дунули.

Отодвинув банку со шпротами и навалившись животом на стол, Бельский спросил:

— Как жизнь, Дмитрий Константинович? Отпуск еще не кончился, а уже разьезжать начал! Я вижу — много энергии накопил?

— Да, поднакопил, — улыбнулся Ветлугин. — Но я нигде особенно и не побывал. Только в политотдел зашел да нынешний день провел у Камышина в полку. Очень нехорошо получилось с Балычевым. Я имею в виду приказ о демобилизации подполковника Балычева. Мне это кажется...

— Балычева знаю, — перебил его Бельский. Он поковырял вилкой в шпротах, хотел подцепить рыбку, но раздумал. — Только я здесь при чем? Политотдельские кадры — это разве мое дело? Поезжай к Маричеву в корпус или поезжай в округ. Не мне тебя учить. Нужен тебе Балычев? Да будет так. Аминь.

— Приказ ведь подписан. Балычев уже не в армии, и ясно, что перерешить никто ничего не может. Нет, это дело решенное...

— Ну, так и в полк тогда скакать не стоило...

— Мне кажется, стоило. Хотя бы для того, чтобы узнать о причинах демобилизации Балычева.

— Ты же его в политотделе видел, — сказал Бельский, зевнув.

«Бесподобно налажена информация», — подумал Ветлугин и сказал:

— Да. И Балычев был в очень тяжелом настроении.

— Ска-а-а-жите пожалуйста, в тяжелом настроении...

Бельский прищурился, еще раз потрогал вилкой шпроты, вынул рыбку и положил на кусочек хлеба.

— Ничего не поделаешь: демобилизация! Такой перибд, — сказал Бельский, шутливо делая ударение на последнем слог.

— Действительно период сложный, ответственный, — серьезно ответил Ветлугин. — От него многое зависит.

— Высвобождается рабочая сила для хозяйственников, — продолжал Бельский, с аппетитом прожевывая рыбку.

— Решаются судьбы тысяч и тысяч людей, — возразил Ветлугин. — Сейчас, как никогда, надо бережно относиться к людям. У меня создалось ясное впечатление, что от Балычева хотели избавиться,

— Дурака валяет твой Балычев, — ответил Бельский сердито. — Демобилизация! Все там будем... Может быть, у него с Кирпичниковым контры?

— Кажется, это не причина, а следствие. Насколько мне известно, все началось с комбата Федорова. Балычев его поддерживал.

— Было, было и это... — спокойно подтвердил Бельский и, налив водки в рюмку из цветного стекла, взглянул на свет. — Может, все же составишь компанию?

— Давайте, выпью, — сказал Ветлугин. И, не дожидаясь Бельского, налил себе и выпил. — Вы говорите «было», товарищ генерал. Мне кажется, не только было, но и есть. Я изучал... Виделся в полку с разными людьми, беседовал и с Федоровым, и с другими офицерами. Кто решил, что лучше помалкивать, кто открыто недоволен.

— Мною? — спросил Бельский шурясь.

— Недовольны тем, как прошел разбор учений, недовольны дискуссией. Говорят, Федорова не раскритиковали, а отменили с порога.

— А ты за недовольных? — спросил Бельский. — Смотри пожалуйста, какой добренький явился. У генерала рука тяжелая, а у него легкая. Так, что ли?

— Нет, не так. Просто я думаю, что само дело серьезное: критика наших действий под Новинском. Вопросы взаимодействия с артиллерией и танками очень важны...

— Действие! Взаимодействие! Извини, Дмитрий Константинович, но в этом ты не понимаешь.

— Нет, это я понял...

— А я говорю, что ты этого не понимаешь, — повторил Бельский, чуть повышая голос. — Да и не можешь понять.

— Но позвольте, товарищ генерал, я...

— Кончен разговор, кончен! — крикнул Бельский. — Раз и навсегда: я в твои дела не лезу, ясно? Тебе Кирпичников не нравится? Гони его, гони куда хочешь и как хочешь. Мне он самому надоел, видеть не могу: постник, баптист какой-то. Сам решай, что с ним делать. Но в мои дела я тебя не пушу, это ты запомни сразу.

— Не могу с этим согласиться и не соглашусь никогда, — сказал Ветлугин. — Да я надеюсь, что и вы так не



думаете, а говорите сгоряча. Как это — «ваши дела» и «мои дела»? Вы командир дивизии, и мы все и я подчиняемся вам, и все наши политотдельские дела — ваши дела. Но скажите мне, какой же я партийный работник, если я не буду знать существа военного вопроса, если я не буду им заниматься?

Бельский не отвечал. Он сидел молча, обеими руками подперев подбородок, раздумывая. Спустя минуту он сказал как бы нехотя:

— Дела Новинска и не мои и не твои. Этого трогать нельзя.

Ветлугин встал:

— Вы разрешите, товарищ генерал, я завтра заеду к вам в штаб?

Бельский взглянул на него с сожалением:

— Уходишь? Уходи. — Он откашлялся, покрутил головой. — Не так я себе, Ветлугин, нашу встречу представлял. Понимаешь, не так. Но можно и так. Только лучше, чем со мной, тебе нигде не будет. Ты не назад смотри, а вперед. Понял или не понял? Ну а не понял, так поезжай в корпус, порасспроси там о Бельском. Заодно не забудь узнать, как здоровье генерал-лейтенанта Шаврова. . . Оять не понял?

— Нет, кажется, теперь понял. . . — ответил Ветлугин.

— Кажется? — Бельский покрутил головой. — Василий! Проводи начальника.

Вошел Василий и со своей обычной хитроватой усмешкой взял под козырек и открыл дверь.

## 7

Иван Алексеевич работал над своей статьей очень медленно. Куда только девался темп, в котором он начал дело! Все изменилось. За это время он научился сверять каждую строчку с документами и рассказами однополчан. Это всего больше походило теперь на работу следователя. Он перестал верить своим впечатлениям и принимал во внимание только факты.

В ноябре он снова побывал в дивизии Северова. В оперативном отделении майора Федорова встретили как старого знакомого, поставили отдельный столик и выдали

под расписку старые штабные карты, в которых он так нуждался. Все вместе ходили в жарко натопленную столовую, и дежурный шницель показался Ивану Алексеевичу необыкновенно вкусным.

Потом снова уселись за работу, и Шевченко подал шутиливую команду: «Тишина — залог здоровья».

Иван Алексеевич так был погружен в дело, что не расслышал рапорта дежурного по штабу и вскочил уже тогда, когда все встали: в комнату быстро вошел Северов.

— Здравствуйте, товарищи, садитесь, пожалуйста.

И сразу же уперся взглядом в Ивана Алексеевича.

— Майор Федоров, — пояснил Шевченко. — С разрешения начальника штаба дивизии. Он ищет одну работу...

— Так, так, отлично, отлично.

Иван Алексеевич за войну всего только один раз видел Северова: не то ордена вручали, не то был какой-то дивизионный праздник у соседей. Северов тогда выглядел очень свежо, как налитое яблоко, румяный, стройный.

«Здорово он сдал, — думал Иван Алексеевич. — Потучнел, а это никому не хорошо... И такие две опасные залысины. У него и так лоб большой и крутой, а теперь...»

— Отлично, отлично, — повторил Северов и вплотную подошел к Ивану Алексеевичу: — Стало быть, наука?

— Так точно, товарищ генерал.

— И что конкретно имеется в виду?

— Новинская операция, товарищ генерал.

— Тоже неплохо... — Северов засмеялся, как показалось Ивану Алексеевичу, несколько искусственно. — Имеется концепция, нужны факты?

— Так точно, товарищ генерал, — бодро ответил Иван Алексеевич, не очень задумываясь над вопросом командира дивизии.

— «Так точно», «так точно»... — повторил Северов, взял стул, сел на него верхом и внимательно взглянул на Ивана Алексеевича. — Нет, увольте, не понимаю. И никогда не пойму. Я, ей-богу, уважаю науку, преклоняюсь

перед ней, но что же это такое происходит? Где-то там в центре, я имею в виду центр научный, изобретается концепция, ну что-нибудь вроде изменения в применении, но так просто ведь никто ничему не верит, нужны факты. И вот тогда-то к нам, то есть в армию. В армии фактов всегда много. Есть факты и за вашу концепцию, есть и против — в пользу другой. Вот у вашего предшественника была разработана по всем правилам науки одна тема для защиты докторской диссертации... Шевченко, ты, наверное, помнишь название? Отставить, не в названии дело. А дело, по-моему, в том, что надо сначала в армию, потолкаться, разобраться, с фактами познакомиться, а потом уже за концепцию. И сколько же вам времени на задание отпущено?

— У меня, собственно, нет никакого задания, — начал Иван Алексеевич. — Я...

— Извините, товарищ генерал, — решительно вмешался Шевченко, чувствуя, что недоразумение затягивается. — Иван Алексеевич Федоров ветеран нашего корпуса. Он по доброй воле взялся кое-что написать, а я считал своим долгом ему помочь.

Иван Алексеевич увидел, как быстро изменилось выражение лица Северова.

— Экий я, право... — сказал он с досадой. — Вот уж, действительно, не суйся в воду, не зная броду. А брод здесь, перед самым носом. Ну, вы меня для первого знакомства извините, — и Северов протянул руку Ивану Алексеевичу.

— Да я раньше хотел сказать, товарищ генерал, — засмеялся Шевченко. — Но вы так интересно...

— Смейтесь, смейтесь, — перебил Северов, — я это заслужил... Но все же сознайтесь, пусть не по адресу, а все же прав. Не может теория рождаться умозрительно, тем более военная. Как вы думаете? — спросил он Ивана Алексеевича.

— Так точно, товарищ генерал.

— Ну, это вы оставьте, я теперь вашего «так точно» боюсь. Подвели вы меня, — прибавил он, улыбаясь. — Так, значит, Новинская операция? Это очень хорошо. Но вы мне скажите: почему я вас не помню? Вы где работаете? В штабе корпуса?

— Нет, товарищ генерал. Я командую батальоном. Сосед ваш,

— У генерала Бельского? — Едва заметная тень легла на лицо Северова, согнала улыбку. Он, кажется, хотел что-то сказать, но помолчал, раздумывая. Потом начал, как с новой строчки: — Так, пожалуйста, пожалуйста, продолжайте работать. Но... но разве еще не все победные реляции собраны воедино?

Иван Алексеевич не любил, когда над ним посмеиваются, тем более что замечание о победных реляциях было совершенно несправедливым. Шевченко и здесь хотел вмешаться, но Иван Алексеевич не дал ему это сделать.

— Товарищ генерал, для моей работы, посвященной некоторым урокам Новинской операции, вероятно, достаточно одного широко известного сообщения о разгроме немецкой группировки под Новинском.

Иван Алексеевич звонко отчеканил эту фразу, вложив в нее всю свою обиду, но Северов, видимо, не придавал никакого значения ни этой звонкости, ни строгому, исполненному достоинства тону Ивана Алексеевича.

— «Некоторые уроки», «некоторые уроки...», — повторил он, словно желая лучше понять важность и значительность в сочетании этих двух слов. — В таком названии, товарищ Федоров, я слышу не только утверждение и подтверждение известного и вам и мне факта нашей победы, но и желание обсудить сделанное.

— Да, именно так...

— И вы убедились благодаря своей работе здесь, что удалось нашей дивизии в те дни и чего ей не удалось.

— Но я больше интересуюсь делами своей дивизии, — возразил Иван Алексеевич, — и главным образом первым днем операции, то есть теми причинами, которые вызвали задержку наступления.

Северов ничего не ответил и только изучающе взглянул на Ивана Алексеевича. Потом сказал, обращаясь больше к Шевченко, чем к другим:

— Трезвый взгляд на вещи, а? Дважды я перед ним неправ. Как ваше имя-отчество, товарищ майор? Так, так, отлично, отлично... Иван Алексеевич, мое предложение: идемте ко мне обедать.

— Спасибо, товарищ генерал, я обедал.

— А если даже так? При вашей-то комплекции...

— Спасибо, мне пора домой.

Но Северов его не отпускал. И Шевченко изо всех сил подавал ему знаки: «Не отказывайся».

— Вы меня должны со своей работой познакомиться!

В дивизии хорошо знали северовские обеды: если человек чем-то отличился или понравился генералу меткостью суждения или если этот человек бывалый, особенно в той сфере, которая мало знакома Северову, — жди приглашения.

Иван Алексеевич неохотно шел к командиру дивизии. Когда же он теперь домой попадет? Снова повод к семейной ссоре... И на этот раз Тамара, пожалуй, будет права.

У Северова были гости. Ивану Алексеевичу не удивились, поставили лишний прибор — и все. За столом сидели тесно. Хозяйничала жена Северова, маленькая, тоненькая, быстрая, и две дочки лет по двенадцати, такие же тоненькие и быстрые, как мать. Напротив Ивана Алексеевича сидел директор конного завода, пожилой человек, худошавый, черный, с горящими глазами и гордым ртом, сам чем-то напоминающий необъезженного коня. Рядом — молоденькая девушка, преподавательница английского языка, Северов начал брать у нее уроки, как только кончилась война. А дальше, ближе к хозяйке, известный ленинградский художник, которого Иван Алексеевич сразу же узнал по газетным фотографиям. Художник недавно вернулся из путешествия по Востоку, полный новых впечатлений. Видно было, что ему самому его рассказы доставляют огромное удовольствие, он не нуждался ни в каких расспросах и репликах и даже сердился и махал рукой, если кто-нибудь тоже хотел вставить слово. Дочки слушали его как-то по-особенному умильно, но, когда художник сердился и махал рукой, они потихоньку смеялись.

Иван Алексеевич понял это и тоже улыбнулся. Ему вдруг стало необыкновенно легко и свободно. Нравился ему и художник, весь во власти собственных слов, и жгучий коннозаводчик, и девчонки-пересмешницы. За этим генеральским столом ему вспомнилось типографское общество. Сюда бы Сашу Турчанова, вот кто умеет слушать! Ну а раз Сашу, значит, и Лизу, и Фонарика, и милую Екатерину Григорьевну. Да, случись так, здесь бы,

наверное, никто не удивился. Только бы стало еще теснее.

А Северов почти совсем не слушал восточные этюды. Ему больше нравилось в это время наблюдать за Иваном Алексеевичем. Он заметил перелом в настроении своего гостя и порадовался за него. Заметил он и то, как Иван Алексеевич перемигнулся с дочками.

Все больше и больше нравился командиру дивизии этот человек. Как он звонко решился отчитать Северова за «победные реляции»...

«Наверное, я все же несправедлив к Бельскому. Ведь вот же вырастил такого офицера!»

— Обойдемся без компота, зайдем ко мне, — шепнул Северов Ивану Алексеевичу. И незаметно увел его в свою комнату.

Комната была небольшая или, может быть, казалась небольшой из-за книг. Три стены до самого потолка были сплошь в книжных полках.

— Вот эти семь — еще довоенные, еще я сам плотничал, — рассказывал Северов. — Жена сохранила. И что дóрого — ну, буквально ведь в трех километрах от нашего городка немцы были. Может, слышали?

Он назвал городок, но Иван Алексеевич никогда о таком не слышал.

— Жаль, городок наш отличный, хоть и за Полярным кругом. А книги начал собирать тесть мой. Он из раскольничьей семьи, сам ни в бога ни в черта, но, как все они, не пил и не курил, работал на лесопилке, копил деньги, а книжки выписывал из города Санкт-Петербурга. Ну, я до войны только чуть добавил. А теперь — да, стал жаден и набираю впрок.

Иван Алексеевич понимающе кивал головой. У него после войны не осталось ни одной книги, и сейчас пришлось начинать, что называется, с Пушкина и Толстого. У него даже была мысль купить классиков пополам с Лебедевым, а дальше каждому «действовать сообразно своим вкусам», но Тамара запротестовала: делить радость покупки — ни боже мой, ни с родным братом...

— Что ж, и Москва не сразу строилась, — сказал Северов, — будет и у вас библиотека. Нам, военным, без этого нельзя. И послушайте моего совета — покупайте книги о войне. Вы не замечали — у настоящего, у хорошего инженера всегда найдете интересную книгу по его

специальности, у архитектора — обязательно искусство Эллады, и Возрождение, и Киевская Русь, а нам, военным, неужели наше дело так надоело, что и читать о нем не хочется? Надо знать историю войн. И как дубинкой воевали, и как катапульты строили, а потом все ближе и ближе к физике. Я, когда новое вооружение получаю, хочу знать, как эта штука сделана и что тут принципиально нового.

— Я люблю путешествия, — сказал Иван Алексеевич, вдруг совершенно против своей воли покраснев до слез.

— Путешествия? — переспросил Северов. — Путешествия? Значит, вы хороший человек! Да, да! Давние мои наблюдения: кто читает и перечитывает Стэнли, и Ливингстона, и Пржевальского, и Миклухо-Маклая, тот обязательно или хороший человек, или станет им. Да, так что у вас там за работа? — спросил Северов без всякого перехода. Тон был обычный, деловой, привычно-начальственный, но улыбка еще освещала его лицо. — Вы сказали — «Некоторые уроки Новинской операции»? Что вы имеете в виду? И почему вы этим занялись? Вы уже печатались где-нибудь?

— Нигде и никогда. Да я и не собираюсь.

— Вот оно как! Категорично! Тогда, собственно...

— Товарищи мне посоветовали заняться этой... этой работой, — сказал Иван Алексеевич. Он считал бестактным и прямо невозможным рассказывать Северову, с чего все началось, — о разносе и тем более о теоретической конференции. — Так... в часы досуга...

— А! В часы досуга... Так, так, отлично, отлично... И много уже сделано?

— Только тезисы. Школьная привычка: без тезисов никуда, — сказал Иван Алексеевич, чувствуя, что снова краснеет.

— Может быть, покажете мне?

— Я был бы очень обязан... — Иван Алексеевич поспешно открыл свой планшет.

— Вот так тезисы — восемь страниц! Славно вы поработали.

— Развернутые, товарищ генерал.

— Ну, сегодня мы ничего с этим не сделаем. Приезжайте ко мне через неделю. Прочту... в часы досуга.

— Очень вам благодарен!

— «В часы досуга, в часы досуга», — повторил Северов. — А где он, этот досуг? У солдата он, точно, есть. Определен в распорядке дня. И вы сами строго следите, чтобы солдатский досуг соблюдался неукоснительно. А у наших офицеров? Ну, я сам кое-как верчусь — все-таки генерал — не успел сделать, так кому-нибудь поручу. А командир батальона, а командир роты? Я до войны командовал батальоном. Все на памяти. Чуть что — «Товарищ капитан!». Надо строгий приказ издать, чтобы запретить беспокоить офицера по пустякам. Ведь сейчас так — ежели свет в окне, так и старшина тут как тут: «Разрешите доложить!» Торопитесь, торопитесь домой, меня же и будете ругать, — говорил Северов, взяв Ивана Алексеевича за плечи и тихонько подталкивая к выходу.

На станции Иван Алексеевич взглянул на часы и ахнул: только что ушел поезд, теперь ждать около двух часов. Ему стало жаль и себя и Тамару, и он остановил грузовую машину. В кабине уже кто-то сидел, и Иван Алексеевич приехал в Верески вместе с бочками квашеной капусты.

— Молодец, что вовремя поспел, — похвалила его Тамара. — Я билеты в кино взяла. А что это от тебя рассказом пахнет? Ты где был?

— У генерала Северова, — ответил Иван Алексеевич. — Сейчас все расскажу.

— И чесноком закусывал? Что-то странно мне...

— Ладно, Томка, — отмахнулся он. — Послушай лучше о Северове. Я думаю, ему, наверное, еще сорока нет, совсем еще молодой генерал...

Северову действительно еще не было сорока. Все звания, должности и ордена, которые получил Шавров за четверть века, Северов получил за четыре года. Принято в таких случаях говорить, что человек начал «безвестным капитаном». В отношении Северова это было совсем не так. Он был у себя в части человеком известным — известным своей работоспособностью и неутомимостью. Трудно сказать, как судило начальство о его талантах, но все признавали его упорство и трудолюбие. Знали, что он после работы спал часа два-три, а потом всю ночь занимался, готовился в академию (вечером это было невозможно — в коммунальной квартире насчитывалось в общей сложности пятнадцать детей), Знали и про утренние



гантели, и что после гантелей следует ведро ледяной воды.

Этого капитана Северова — великого труженика и веселого человека — знали многие. И когда началась война, никто из бывших его товарищей не удивился, что он далеко пошел. Война любит тружеников, и только тот, кто понял, что труд военного человека — это и есть его военный талант, только тот добивается настоящих успехов.

Северов получил звание майора в Карелии, подполковника — в Воронеже, полковника — за Днепр, генерала — за Новинск. Бельский прозвал его «счастливчиком». Еще бы! В тридцать девять лет — генерал, вся грудь в орденах, вся жизнь впереди. И находилось немало людей, которые вслед за Бельским повторяли все эти пошлости: «Счастливчик, вся грудь в орденах, вся жизнь впереди». Но они, эти люди, не дрались в карельских лесах, не переправлялись через Днепр, не штурмовали Новинск.

Северов после войны остался тем же тружеником. Только прежней веселости стало поменьше: можно, конечно, не быть в близких отношениях с начальством, но в одобрении нуждается любой человек, и, быть может, в особенности человек военный.

День в день через неделю Иван Алексеевич приехал в Ивановское. Прошлый раз Северов ничего не сказал, где он его примет, и всю дорогу Ивана Алексеевича это беспокоило. Наконец он решил, что домой соваться неудобно и что это может быть неправильно истолковано. «Только в штаб, примет — хорошо, не примет — значит, до другого раза...»

— Генерал о вас уже дважды справлялся, — сказал Шевченко, едва только Иван Алексеевич показался в оперативном отделении.

— У себя он?

— Здесь, здесь. В своем кабинете.

«Ну, значит, правильно я решил», — подумал Иван Алексеевич.

Служебный кабинет Северова был во много раз больше домашнего, но чувствовалось, что и здесь и там один хозяин: много книг, на столе ровные стопки деловых бумаг и писем, никаких великолепных пепельниц в виде разорвавшегося снаряда, никаких колоссальных

чернильниц-минометов, никаких бюваров, тисненных золотом.

— Прощу садиться, — сказал Северов. — Тезисы ваши я прочел и изучил. Имею замечания.

— Слушаю, товарищ генерал.

Иван Алексеевич сразу же почувствовал, что на этот раз тон Северова куда суше, официальнее. «Что ж, и это правильно. Я бы совсем не хотел, чтобы о моей работе говорили за обедом или покуривая, этак дружески-снишодительно...»

— Имею замечания, примерьте, не пригодятся ли. И прежде всего, это о позициях наших и о позициях противника, которыми вы занялись весьма основательно. Восемьсот метров у вас было до противника, а надо бы триста — триста пятьдесят... так, кажется?

— Да. Я твердо за это. А разве вы, товарищ генерал...

— Ничуть, ничуть я не против. Под Новинском мы подбирались и ближе: двести пятьдесят — триста метров. Но это стоило нам немалых усилий. Вы думаете, немцы как на это дело смотрели? Благожелательно? Не показано в ваших тезисах активной роли нашего командования. А мы и убеждали людей, и заставляли их, много сил положили. Этого в тезисах нет: усилий наших.

— Учту, товарищ генерал.

— Не все еще. Много рассуждений и доказательств в защиту трехсот метров против восьмисот, так много, что порой самого Новинска не видать. Это не только с вами, это зачастую так бывает — начнешь свои триста пятьдесят метров защищать и обо всем другом забыл, главное — в этом, панацея от всех бед. С одной схемой воюете — это хорошо, но смотрите, чтобы не стать рабом другой. И потом, слушайте, почему такой запал, горячка такая, нельзя ли поспокойнее?

— Нельзя, товарищ генерал.

Северов покачал головой:

— Не одобряю.

— Могу объяснить. Я против такой точки зрения, что, мол, как было, пусть так и остается.

— Да что же это за «точка зрения»? Кому сейчас такое в голову придет? Ведь это... — Северов спохватился и не закончил фразу.

Иван Алексеевич тоже замолчал. Так прошло несколько минут.

— И все-таки ваша горячность вам и мешает, — сказал Северов. — Вероятно, вы сейчас думаете, что, мол, легко ему говорить, побыл бы в моей шкуре! Ну как, если честно, угадал?

— Не так, конечно, но...

— Но в этом роде?

Иван Алексеевич кивнул головой.

— Прекрасно, очень хорошо!.. А теперь послушайте, почему вы неправы. Вы писали ваши тезисы и видели перед собой одного человека, ну пусть двух, ну трех, и вы спорили и сердились на них, сердились, разумеется, справедливо, вполне справедливо... Но писать-то надо в расчете не на одного, а на многих, может быть даже на очень многих разных людей. И люди эти тоже кое-что в жизни видели, не меньше нас с вами, и тоже соображали, как сделать лучше, и старались для этого. Если вы хотите, чтобы всем им был важен и действительно пригодился ваш опыт, так расскажите, как было дело. Ведь вы ротой командовали? Расскажите не торопясь, обстоятельно, как готовились к операции, потом боевой приказ и сам бой... Ваша ведь рота на льду лежала и вы ее поднимали? Читатель будет следить за каждым вашим шагом. Он должен вместе с вами пройти эти самые метры. Вы и ваш читатель вместе должны прийти к выводу, что в тех условиях необходимо было подобраться как можно ближе к противнику. Это очень важный вывод, но это не патентованное средство. Позвольте вас спросить: вот вы в наше оперативное отделение заглядываете, а какая цель?

Иван Алексеевич нахмурился:

— Я полагал, что начальник оперативного отделения докладывал вам, товарищ генерал-майор.

Северов тоже нахмурился и недовольно покачал головой:

— «Я полагал», «начальник оперативного отделения»... Ну что вы, ей-богу, ну как не стыдно?.. Обижаетесь, как красная девица... Неужели же мне в голову придет, что вы, человек занятой, без цели к нам ездите?

— Простите меня, товарищ генерал: у меня несколько гипертрофированное самолюбие... ,

«Ничего оно у тебя не гипертрофированное, — подумал Северов, — а кто-то грубо наступил на твое человеческое достоинство, и это очень болит. И я обязан был об этом подумать, коль мне майор Федоров сам на это ни словом не намекнул...»

— Что, Шевченко ваш приятель? — мягко спросил он Ивана Алексеевича.

— Собственно, не мой. Капитан Жолудев — секретарь нашей батальонной партийной организации — с ним дружил и меня познакомил. Разговорились. Я стал сравнивать...

— Понимаю, — сказал Северов задумчиво. — И это, конечно, лестно для нас. Ну а что Шевченко, не знакомил вас с вопросами инженерного оборудования нашего переднего края во время операции? Нет? Жаль, стоило бы. Я хочу сказать, что с этим у нас дело обстояло неважно. А что, Шевченко не говорил вам, что мы задержались в первой траншее, снизили темп, добивать надо было вторыми эшелонами? И в этом наш просчет. И справедливости ради надо об этом говорить. Ведь это тоже уроки Новинска, и очень серьезные. Возьмите себе на заметку. Хотя бы бегло. Основательнее я сам об этом напишу.

— Сами? — невольно вырвалось у Ивана Алексеевича.

— Сама себя раба бьет, коль не чисто жнет... Но вернемся к вашей работе. По-моему, вы очень правильно повели разговор о взаимодействии с приданными частями. Мы ведь и победили потому, что народ дал нам богатейшую технику, которой мы сумели распорядиться.

— А тем, кто распорядился неправильно, народ не простит!

— Так-таки не простит? Ну и горячка же вы... А я так думаю, что среди нас было немало и таких, которые ошибались, у многих еще знаний не было основательных. Разве народ отмел их, перечеркнул, на свалку выбросил? Разве не помог им наш народ, партия наша стать на ноги? Переучивали людей и даже перековывали. Было это?

— Было. Но что же из этого следует? Не вспоминать об ошибках?

— Вот вы меня в чем подозреваете! — весело воскликнул Северов. — За что же так?

— Товарищ генерал, я очень вас уважаю, но я должен сказать. . . я считаю, что об ошибках наших надо говорить в полный голос.

— И я не за то, чтобы шептаться стыдливо. Но я за правду. А правда однобокой никогда не бывает. Мы выиграли эту войну, и выиграли ее не числом, а умением. И спотыкались, и ошибались, и учились, и научились. И вы, пожалуйста, скажите об этом, иначе правды не будет. Не знаю, может быть, молодежь так остро этого не чувствует. . .

Иван Алексеевич улыбнулся:

— Рано еще вам в старики записываться!

— Да я и не хочу к старикам. И в армии я всего семнадцать лет. А семнадцать лет не такой большой срок. Но семнадцать лет назад был год тысяча девятьсот двадцать восьмой. Двадцать восьмой год! Нет автоматического оружия, самолетов и танков так ничтожно мало, что лучше цифру не называть. На весь наш стрелковый полк придали нам одну батарею. Всего только семнадцать лет прошло, а мы сейчас самая сильная армия в мире. Горжусь этим. Да нет такого у нас человека, который бы этим не гордился. Неправду я говорю?

— Правду, товарищ генерал.

— Так вы не стесняйтесь и напишите об этом. Помните мое слово: не семнадцать лет пройдет, а куда меньше, и командир батальона, да что я говорю командир батальона — командир роты будет такой техникой пользоваться. . . По приказу товарища капитана такие силы небесные придут в движение! И когда вы об этом скажете, только тогда ваше возмущение нерадивостью, косностью и ленью прозвучит в полный голос. Ну а когда закончите, дадите почитать?

— Конечно, дам! У меня план такой: сначала покажу товарищам, командиру полка, боюсь, что чего-нибудь напутаю. . .

— Всех выслушаю, а сделаю по-своему?

— Нет, товарищ генерал, — сказал Иван Алексеевич просто. — Я либо совсем совета не спрашиваю, либо выбираю себе советчика по душе.

— Ну, спасибо на добром слове. . .

Когда Иван Алексеевич вышел, на улице было совсем темно. За вечер погода переменилась. Ударило холодом.

Небо открылось далеко в глубину, и звезды, мелко мерцавшие в вечернем тумане, стали крупными и яркими. Воздух звенел морозом.

«А хорошо, честное слово, хорошо», — подумал Иван Алексеевич.

Близко простучал поезд, черные тени быстро перебежали ослепительно белую улицу. «Хорошо, честное слово, хорошо!» Вкусно потянуло гарью, взвод с хрустом прошагал из бани, мелькнула в дверях чья-то отчаянная фигурка в теплом платочке и с голыми локтями..

— Хорошо, очень хорошо!.. — повторил Иван Алексеевич.

---

## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1

**В** самом начале нового, сорок шестого года Иван Алексеевич закончил свою статью. За последние две недели он здорово «набрал темпы». Внезапно к нему вернулась утраченная после первых неудачных попыток легкость.

Теперь он готов был писать, писать и писать. Писать день и ночь, не выпуская пера из рук. Никаких трудностей, никаких преград, все, что надо сказать, находится здесь, на кончике пера. И вот тут работа была закончена.

В первую минуту он даже не понял, что это все, конец, и еще с полчаса писал дальше и все пытался «закруглить», все еще искал какие-то «выводы» и «обобщения».

К счастью, он все-таки понял, что это конец, что точка поставлена полчаса назад, то есть именно в тот момент, когда материал был исчерпан.

Кажется, впервые он подумал о читателе, впервые реально представил себе человека, который читает его статью. Ивана Алексеевича даже в жар бросило. Ему ужасно захотелось, чтобы это произошло как можно скорее. Какую-то минуту он готов был разбудить Тамару. Не так давно еще он бы не стал раздумывать: конечно, надо разбудить. Ура, Томка! Наша взяла! Одолели-таки... Но теперь все это было по-другому,

«Да нет, пустяки, ну как это будить. . . — морщась, думал Иван Алексеевич. Он взглянул на часы — было уже около двух. — И потом, все это ей совершенно неинтересно. . . Ладно, Томка, спи. Если тебе неинтересно, спи».

В комнате было холодно, печка давно остыла, и Иван Алексеевич чувствовал себя неуютно и одиноко. Но он еще долго сидел и все думал о той удивительной жизни, которая начнется с завтрашнего дня, нет, теперь это уже сегодня. . .

Он уснул под утро, но спал недолго и вскочил, как по тревоге: «Что-то случилось!»

Но все было как обычно. Записка от Тамары: «Ушла за молоком, скоро вернусь», тишина, как всегда в выходной, на столе знакомая кожаная тетрадь. Но нет, не все идет как обычно. Работа закончена. Это его и разбудило. . .

И одеваясь, и завтракая, и отвечая на что-то Тамаре, и спрашивая ее о чем-то, он думал, кому же дать прочесть, кому первому доверить рукопись.

Начнем с Камышина. Но только не сегодня начнем, а завтра. В воскресенье беспокоить командира полка неудобно.

Тамара украдкой наблюдала за ним и никак не могла угадать его настроения. А ей сегодня особенно важно было это знать. Сегодня семнадцатое января, тетка именинница. Они приглашены. А с некоторых пор Иван Алексеевич наотрез отказался бывать на Таврической. Тамара ездила туда одна, и только она одна видела, как Александра Глебовна поджимает губы и дает понять, что обижена. Тамаре это было больно, и она не знала, как их примирить. В это время Иван Алексеевич сказал:

— Знаешь, Томка, я ведь большую работу закончил, — и он постучал пальцем по тетрадке.

— Да? — Тамара весело взглянула на мужа. — По тебе не видать.

— Ну что ты, ей-богу! Ведь это радость. . .

— Радость и для меня, — ответила серьезно Тамара. — Ты теперь хоть когда-нибудь будешь бывать со мной? . . . Со своей глупой-преглупой женой? . . .

— Зачем ты так говоришь?

— Нет, ты мне все-таки не ответил. . .

— Ну конечно, разумеется! . . .



Тамара вдруг быстро подбежала к нему, села на колени, прижалась и шепнула:

— Я ведь все знаю...

— Что ты знаешь? — настороженно спросил Иван Алексеевич.

— Все знаю по твоим глазам: ты меня и сегодня хочешь оставить одну. И не спорь, потому что я цыганка и умею отгадывать. Поедешь сегодня в Ленинград?

— В Ленинград?

— А ты разве еще не соскучился по своему приемышу? Смотри, я скоро начну тебя ревновать.

— Что за пустяки, — сказал Иван Алексеевич сердито. — Ревность! Я и не думал сегодня о Ленинграде...

— Мы могли бы поехать вместе, — вслух рассуждала Тамара. — Ты проводил бы меня к Глебовне, как-никак она именинница. Я уже не говорю о подарке — для нее подарок, если я приду, а еще лучше, если мы вместе. Да тебе совсем не обязательно сидеть с нами весь вечер, пообедали бы, а потом поехал бы к своему Саше...

Иван Алексеевич взглянул на Тамару и чуть было не спросил: «Это что, условие?» Но почему же условие, это скорее всего честный обмен, договоренность, или, лучше сказать, «делка».

— Без подарка? — спросил он сдержанно.

Тамара обрадовалась:

— Может быть, сюрпризную коробку купим? «Кремль» или «Красный мак»? В нашем ларьке есть... Как ты думаешь?

— Я в этом не разбираюсь.

Это была четырнадцатая по счету сюрпризная коробка, которую сегодня получила в подарок Александра Глебовна. «Кремль» и «Манон», «Москва родная», «ночная» и даже, кажется, «огневая», «Белая ночь», «Акация» и «Сирень», перевязанные разноцветными лентами, лежали здесь и там на столиках и этажерках. Иван Алексеевич сначала не заметил, а потом все же обратил внимание на то, что этажерок и столиков за эти несколько месяцев стало куда больше. На одном из них стояла заграничная радиолка. Это уж был подарок «от самой себя» — так, с присущей ей откровенностью, заявила Александра Глебовна.

Она любила свои именины, и отнюдь не из-за подарков. Просто в этот день все собирались вместе за одним

столом. И она внутренне похвалила Тамару за то, что ее «характерный майор» тоже пришел. К Ивану Алексеичу она была особенно внимательна и предупредительна.

На ее вечере был, правда, еще один «из военных», но это был всего-навсего писарь из паспортного стола, и сегодня он явился в гражданском.

Наконец возня в коридоре, звяканье посуды, стуки и перестуки кончились. Все чинно сели за большой круглый стол. Раздалось приятное бульканье, затем прогремел тост, и наступила тишина, как перед броском в атаку. Первую траншею — заливные, селедки, винегреты и грибки — взяли штурмом. Слышен был только негромкий хруст рубки.

Иван Алексеич вкусно выпил, закусил и, сказав своему соседу — паспортному писарю: «Нет, товарищ, мне не наливайте, достаточно», откинулся на спинку кресла. То ли бессонная ночь, то ли трудный режим последних месяцев, но водка его разморила.

Сквозь легкий туман рассматривал он гостей — всеми этими двоюродными и троюродными умело управляла Глебовна, то поворачивая разом все головы к бараньему боку, то к холодцу, то к каким-то лапкам.

«В конце концов, — думал Иван Алексеич, — с чего это я взял, что все они... все они... — Его усталый мозг отказывался дать верное определение. — В конце концов, люди трудовые. Дворник, разве это не труд... Конечно, труд!»

Тамара была довольна, что Иван Алексеич настроен мирно и что первое время его немного стеснялись, а теперь привыкли. Она выпила слабой настойки, сосед подлил ей водки, она снова выпила, засмеялась и сказала:

— А ведь у нас тоже повод к рюмочке...

Вокруг было шумно, Иван Алексеич не расслышал, что она говорит, и только тетка услышала и спросила:

— А что такое?

— Ваня работу кончил! — сказала Тамара.

— Что, что? — спросила Глебовна, не поняв.

Но в это время писарь из паспортного стола встал, поднял рюмку и, взмахнув вихрами, крикнул:

— Майору с супругой!

— У-о-а!... — прокатилось над Иваном Алексеичем.

Он встал, Тамара заметила его удивленный взгляд и ласково объявила:

— За твою работу, Ваня!

— Можно, — сказал Иван Алексеевич, выпил, и сон его как рукой сняло. С этого момента он стал все ясно видеть и слышать.

Вихрастый паспортист обнял его и сказал:

— А что за работа — молчок...

Иван Алексеевич отодвинулся и, недовольно покачав головой, тихо сказал Тамаре:

— Зачем об этом?..

— Ну что за секреты в обществе? — сказала одна из троюродных.

— А ну, потише! — властно постучала тетка ножом. — По-моему, так очень хорошо, когда у человека есть и время и условия. Сейчас военному человеку только и дела что писать.

— Не скажите, Александра Глебовна! — крикнул вихрастый. — Их к строевой тоже привлекают...

Он встал, хотел показать, как надо шагать в строю, но поскользнулся, чуть не упал и снова сел. Ивану Алексеевичу эта сцена показалась безобразной. Тамара заметила, как он поморщился, и, чтобы все сгладить, сказала:

— Ах, тетя, вы не знаете, а говорите. У вас неправильное представление о военном...

Но Александра Глебовна не очень любила, чтобы родные ей перечили.

— Не будь всех умнее, — сказала она. — В нашем доме один полковник живет, так вот это действительно живет человек. Голову сохранил и живет.

— Ну, может быть, полковник... — согласилась Тамара.

— Тамара! — зло крикнул Иван Алексеевич.

— Тот не солдат, кто не хочет быть генералом, — сказала Александра Глебовна. — Будут у твоего мужа и деньги, и чины.

— За полковника Федорова! — крикнул паспортист.

Он снова вскочил. Со всех сторон потянулись рюмки, стопки, бокалы, но Иван Алексеевич вдруг — он и сам не смог бы объяснить, как это у него получилось, — крепко схватил соседа за плечи и посадил на место.

В первый момент стало так тихо, что Иван Алексеевич услышал, как тикают его часы, А тикали они на его руке,

все еще крепко державшей плечо соседа. Тишина эта продолжалась недолго. Первым завизжал паспортист. Бледная Тамара бросилась к мужу. Но Глебовна быстро навела порядок:

— Тихо! Я говорю, чтоб было тихо!

Иван Алексеевич оглядел стол, встал и вышел из комнаты. Тамара бросилась за ним:

— Ваня! Ваня!

— Не могу здесь, — сказал Иван Алексеевич сквозь зубы.

— Ваня! Ваня! — повторяла Тамара, пытаясь поймать его руку.

— Не могу. Пусти. . .

Было слышно, как Александра Глебовна держала речь перед гостями:

— Ничего особенного. В семье по-разному бывает. Это ведь не ать-два-заправься, а жена — понимать надо. . .

Иван Алексеевич скрипнул зубами, но сдержался и сказал:

— Поеду туда. . . В общежитие. А за тобой заеду, когда кончится. . . это, и поедем домой.

— Но я обещала тетке остаться у нее ночевать. Я думала, ты вернешься оттуда, мы отдохнем, а утречком поедем. Ведь нехорошо, когда пьяные.

— Нет, я не пьяный, — сказал Иван Алексеевич. — И я в Верески вернусь сегодня, а ты как хочешь.

Иван Алексеевич пешком прошел через весь Литейный и Невский.

Шел, не глядя по сторонам, четким строевым шагом. За час сделал семь километров и ничуть не устал. Иван Алексеевич нуждался в свежем воздухе. Нравился морозный, обжигающий ветер с залива. Это соответствовало настроению.

Он был очень недоволен собой. Не надо было ехать на эти именины. Ведь чувствовал, знал, что ничего хорошего из этого не получится. В такой день, в такой день!

Иван Алексеевич все время пытался представить комнату в Вересках, свой стол и кожаную тетрадь, особенно последнюю страницу, на которой его рука прошлой ночью аккуратно вывела: «Конец». Но вместо этого он видел широкое скуластое лицо Александры Глебовны и ее насмешливый взгляд, а слева от себя покорный вихор паспортиста.

Ему хотелось отдохнуть, и он мечтал о близкой теперь минуте: вот он входит в типографский домик, слышит голоса... Ребята снимают с него шинель, ведут к себе. По радио передают что-то веселое. Потанцуем, ребята, повеселимся и забудем на этот вечер все печали.

Иван Алексеевич взглянул на часы, покачал головой и взял такси.

Едва только шофер остановил машину возле типографии, как Иван Алексеевич понял, что все дома: из общежития на улицу доносился патефон, слышались оживленные голоса. Иван Алексеевич, щедро наградив шофера, открыл калитку.

Из садика дом выглядел еще веселее. Окна были ярко освещены. Там, внутри, кружились пары. И только одно окно было темным.

«Это, кажется, окно Екатерины Григорьевны, ее светелка, — подумал Иван Алексеевич. — Она, конечно, наверху, с ребятами...»

Но тут он заметил темную штору и узкую полоску света. «Значит, она дома?» — Иван Алексеевич подошел еще ближе, полоска стала шире и светлее. Катя сидела у самого окна за маленьким столом и читала. Иван Алексеевич видел только срез стола, уголок книги и тонкую кисть руки. Спустя мгновение она подняла голову, словно к чему-то прислушиваясь, и он увидел ее лицо.

Иван Алексеевич, больше не раздумывая, вошел в дом и постучал к Кате:

— Добрый вечер, Екатерина Григорьевна!

— Добрый вечер, добрый вечер! Подумайте, какое чутье у меня: сижу, читаю и чувствую, кто-то чужой в саду...

— Да какой же я чужой? — шутливо сказал Иван Алексеевич. — Я свой...

— Ну а свой, тогда чего же вы на пороге стоите? Заходите! Снимайте шинель!

— Сейчас, сейчас. — Он снял шинель и спросил: — А вы почему не наверху? Идемте, покружимся. Приглашаю вас на вальс.

— Нет, — сказала Катя резко, но тут же спохватилась. — Что-то не хочется, — прибавила она мягче. — Вы, пожалуйста, идите, не обращайтесь на меня внимания. Только мне показалось... Показалось, что у вас сегодня настроение невеселое.

— Вот это действительно чутье!

— Что-нибудь случилось? Вид у вас усталый...

Иван Алексеевич услышал тревогу в ее голосе.

— Собственно говоря... Да нет, ничего. А усталый вид потому, наверное, что я сейчас километров десять отмахал. Только у Лавры такси взял...

Катя улыбнулась:

— Это вы-то жалуетесь на десять километров?

«Просто невозможно ей соврать, — подумал Иван Алексеевич. — А, да не в этом дело. Дело все в том, что ей можно сказать правду».

— Я вчера ночью закончил большую работу, — сказал он таким мрачным тоном, что Катя невольно засмеялась. Он озадаченно на нее взглянул, понял и тоже засмеялся. — Прошу прощения, я — ура, ура! — закончил вчера ночью большую работу.

Катя внимательно на него взглянула:

— Вы очень изменились с тех пор, как мы с вами познакомились... Это было, кажется, в июне?

— Да, в июне. Чуть больше полугода. Тяжеленько мне это время далось.

— Да, наверное, нелегко, — сказала Катя. — А вы знаете, я ведь вам тогда поверила. Да, вот поверила: «Четыре года всего лишены были. Хочется пожить, как все люди...» Ваши ведь слова?

— Злопамятны, Екатерина Григорьевна!

— Да нет, почему же... Просто и мне на одну минутку заманчиво показалось: выиграли войну — и сразу в рай.

Иван Алексеевич задумался. Наверху кончили и с полькой-бабочкой, и с полькой-кокеткой, там, видимо, собрались в кружок, два голоса — мужской и женский — негромко пели под гитару.

— И в самом деле, что это значит: «как все люди»? — шуточно спросил Иван Алексеевич.

— Да ведь это вас надо спрашивать. Вероятно, так: мы, мол, одни с заботами, а все люди без забот. Прислушайтесь-ка, хорошо ведь поют? Это Лиза с Сашей. Знаете, как мне с этой гитарой тяжело было, я уж хотела ее у Лизы отнять. «Вернись, я все прощу!..» — ну прямо возненавидела. А как-то раз они вдвоем пели, и так это хорошо получилось. И песни у них хорошие...

— Да, очень хорошие, — сказал Иван Алексеевич. —

Я вообще доволен, что пришел к вам. И спасибо, что про тот наш разговор с вами напомнили. Я, это правда, думал: раз война кончилась — всем ухабам конец.

— Ну уж теперь я вам так легко не поверю, — сказала Катя.

Иван Алексеевич взглянул на нее, увидел, как она стиснула зубы, и упрекнул себя, что пришел сюда «выговориться». «По какому праву? — спрашивал себя Иван Алексеевич. — Да разве я имею право навязывать ей свои сомнения? Ведь она сама, больше всех она сама нуждается в помощи. Почему же она должна помогать мне... и всем нам? Надо самому быть сильным. Как это говорится — надо себя закалить».

— Екатерина Григорьевна, — сказал он, — ведь это я так, к слову. . .

— Ну конечно, к слову. . . Я вам говорила, не обращайтесь на меня внимания. Вы слушайте, слушайте, как поют. «Ноченька». . . Очень я это люблю. Пошли наверх! . . . Только тихонько, тихонько. . . Они вас стесняются.

— А меня не надо стесняться, — сказал Иван Алексеевич. — Я свой.

2

Камышин приехал домой позднее обычного, очень усталый. День был переполнен делами. Сегодня всем от него что-нибудь было нужно. Трижды звонил Бельский и требовал выявить и прислать в дивизию столяров-умельцев, у командира роты связи умирала мать, и надо было срочно дать ему отпуск, и весь день рапорты сыпались на него, словно комбаты сговорились, и, наконец, Федоров с торжественно-счастливой улыбкой вручил ему свою статью «Некоторые уроки Новинской операции (Из записок командира роты)».

Выгрузив из портфеля эти «Новинские уроки», Камышин покосился на свою кровать, покрытую белым, крепко накрахмаленным покрывалом: в самый раз отдохнуть.

Полковник Камышин жил в семи километрах от Любозерска. В домике, принадлежавшем какому-то заслуженному артисту, он снимал «низ»: две комнаты — большую, где стояли тахта, буфет, обеденный стол, и совсем крохотную — его рабочий кабинет с письменным столом и железной кроватью.

Заслуженный приезжал на дачу редко, и в домике, стоявшем на отшибе, было всегда тихо. Жена Камышина, Мария Артуровна, и до войны старалась выбирать такие места, где бы пореже встречаться с сослуживцами мужа. Между ними уже давно было условлено: все, что связано с его профессией, остается у порога и в дом не вносится.

У самой же Марии Артуровны когда-то в молодости были разные таланты: она училась пению и, говорят, пела недурно, занималась немецким языком и даже переводила стихи. Из этого ничего не получилось, и все ее неистраченные душевные силы ушли на воспитание единственного сына, ставшего ее кумиром. В отношении мужа Мария Артуровна никогда не была честолюбивой. Что же касается сына — мечты о его будущем поглощали ее целиком.

Игорь учился на втором курсе филологического факультета, далеко от здешних мест, но Мария Артуровна сумела побороть родительскую тоску и решила пока что не срывать его с места: он шел хорошо. Однако дальнейшие ее планы были бурными. Прежде всего отставка Камышина, отставка с пенсией, и конец кочевой жизни. Первое время можно пожить здесь, а потом Бельский обещал помочь устроиться в Ленинграде. Это была давнишняя, еще довоенная мечта. Ленинград будет способствовать общему развитию сына, да и наука ждет его там.

Для этой вот жизни, которая начнется с отставки Камышина, и жила Мария Артуровна. По ночам она мечтала, как обставит кабинет молодого ученого. Стеллажи, фанерованные под орех, чернильный прибор, купленный не в Ювелирторге, а в комиссионном, — там встречаются очень интересные. . .

От отца Игорь унаследовал ровный характер и усидчивость. Именно эти черты раздражали Марию Артуровну в Камышине. «Упряма», — коротко говорила она о муже. И именно эти черты в сыне покоряли ее. «Воля к успеху», — говорила она о сыне, как-то особенно прозвучав это слово — «успех». . .

— Женя, обедать! — услышал Камышин голос Марии Артуровны. — Я жду тебя больше часа.

Но до обеда было еще далеко. Сегодня пришло письмо от сына, и Мария Артуровна была крайне возбуждена:



ессия заканчивалась, в матрикуле стояли отличные баллы.

Она села в кресло у окна и начала читать. Читала она необыкновенно медленно, а Камышин стоял рядом, боясь пошевелиться. Ему было бы неприятно, если бы жена обнаружила, что он устал и что больше всего ему сейчас хочется отдохнуть и поспать. А тут еще эта федоровская статья, которую надо читать. «Надо читать, надо читать», — эта мысль была нестывной.

«А почему, собственно, надо читать?» Он великолепно понимает, о чем там написано. Настоячивый человек комбат-1, но за эту настойчивость Камышину уже дважды приходилось выслушивать рацеи Бельского. Первый раз на осенних учениях и второй — после неудачной теоретической дискуссии. И вот теперь Федоров снова требует, чтобы... да нет, в сущности он ничего не требует, а просто просит прочесть, оценить...

Письмо от Игоря было длинное. Он подробно описывал каждый экзамен и чуть ли не стенографически воспроизводил беседы с преподавателями, доцентами, профессорами.

«Надо было сразу отказаться, нет времени, и все такое, — думал Камышин о федоровской статье и в то же время внимательно слушал Марию Артуровну. — Действительно не хватает времени. Много текучки, а ведь надо и самому заниматься. Да, надо было так и сказать и не брать домой новую работу. В конце концов, если в статье и есть ошибки, так в редакции разберутся, там уж знают».

Мария Артуровна все еще продолжала читать. Она смаковала каждую фразу этого странно спокойного для такого молодого человека послания и в то же время негодовала на «апатичность», с какой Камышин воспринял письмо сына.

В конце Игорь писал, что скоро приедет на каникулы, и это вызвало новый взрыв материнской нежности.

— Каждый день будем ездить в Ленинград... Игорек так тонко понимает театр. Ах, если бы ты уже был в отставке! Как все было бы просто... — И она перешла на любимую тему.

К концу обеда Камышин решил статью не читать. Конечно, неудобно перед Федоровым, проще было сразу отказаться, но, раз так уж получилось, все же лучше не

читать. Надо отдать обратно: «Ей-богу, как хотите, но времени нет, я вас только задержу с этим делом».

В десятом часу вечера он попрощался с женой и ушел к себе. Надо было еще поработать, но глаза слипались, и под ложечкой ныло, должно быть печень. Он полистал бумаги и, увидев «Некоторые уроки», покачал головой. «Уроки», — сказал он вслух и усмехнулся, вспомнив торжественно-счастливое лицо Федорова.

— Женья! — тихонько крикнула Мария Артуровна и постучала в дверь. — Ты спишь?

— Нет еще... Что случилось?

— Ничего не случилось. — Мария Артуровна вошла в комнату. — Но надо же нам когда-нибудь посоветоваться. Все-таки приезжает твой сын, а вопрос о том, где он будет жить, так и не решен.

— Я думаю... я не понимаю... Мне кажется, он будет жить с нами.

— Разумеется, не в гостинице. Но где? Ведь он, наверное, захочет и почитать, и подумать или просто остаться наедине со своими мыслями. У меня же вечно хозяйство: кастрюльки, сковородки... Не лучше ли к тебе на время?

— Сюда? — спросил Камышин и кашлянул. «Пропали самые лучшие часы», — подумал он. Лучшими часами он давно уже считал одиночество. — Впрочем, пожалуй-ста... Если ты считаешь...

— Дело не в том, что я считаю... Игорь такой же твой сын, как и мой.

— Ну конечно, конечно... Я же не против.

Он поцеловал Марию Артуровну в щеку, быстро разделся, лег и потушил свет. Но не спалось. Лежал с закрытыми глазами, о чем-то думал, а о чем — и сам не знал. Он как будто долго-долго стоял на берегу и смотрел на море. Самая могучая волна — дальняя, но как раз ее-то и не различишь: она далеко от берега, а ближе волны становятся все мельче и мельче. И вот плещется у ног слабая мутная пена.

«О чем же он там пишет? — лениво думал Камышин. — Но ведь совершенно ясно, о чем он там пишет... Совершенно ясно...»

Он еще полежал с полчаса, потом, убедившись, что не может заснуть, открыл стол и взял федоровскую рукопись, предварительно решив: «Все равно скажу, что не

читал. А уж читал я или не читал, это никого не касается». Такое решение освобождало его от самого неприятного — от объяснения с Федоровым, который, наверное (впрочем, как и каждый человек, сделавший работу), ждет оценки.

«Новинская операция, — читал Камышин, — принадлежит к одной из замечательных боевых операций времен Великой Отечественной войны». Он перелистал несколько страниц, где автор весьма горячо излагал свою точку зрения на то, почему он считает Новинскую операцию одной из наиболее замечательных. Это была победа, ярко доказавшая торжество советской военной науки.

«Ну это уж и не так интересно, — подумал Камышин успокоительно, как будто только того и боялся, что статья будет интересной. — Ничего особенного, и слог тяжелый. . .»

Никаких особых откровений не было и дальше, да и слог не становился живее. Но чем дальше читал Камышин, тем больше он втягивался в чтение.

Он заново слышал тишину, по-особому глубокую перед боем, когда все и каждый сосредоточены на деле, им предстоящем.

«Перенос огня», «сближение с противником». . . — Иван Алексеевич не искал новых слов, да, может быть, и не нашел бы лучше, чем эти.

Как бы ни была велика и разнообразна военная техника, какие бы новые изменения и усовершенствования в ней ни произошли, навсегда останется решающей именно та минута, когда солдат идет навстречу врагу. Этой минуты ждет и рядовой, и Верховный главнокомандующий.

Сейчас Камышину казалось, что он заново все переживает: смотрит на секундомер, бросок вперед, теперь вперед, только вперед! И это славное движение уже совершено по всему фронту. . .

Уже близко немецкая траншея, осталось двести метров. . . двести метров. . . всего только двести метров.

«Полк был в двухстах метрах от первой траншеи, когда противник открыл губительный огонь из всех огневых средств», — писал Иван Алексеевич, а Камышин ясно слышал, как пискнула телефонная трубка и чей-то чужой далекий голос сказал:

— Товарищ двадцать семь, лежим, головы не под-  
нять.

Полк залег в двухстах метрах от немцев. Камышин был там и пробовал поднять людей. Рота Федорова прошла еще пятьдесят метров и снова залегла.

Память дана каждому человеку, но у того, кто привык лгать, память обросла тяжелым жиром. Не очень-то она ему и нужна, если из прошлого надо вытащить только то, что сегодня в цене. Правдивый же человек бережет свою память, как оружие, которое не продается и не покупается.

Камышину казалось, что Иван Алексеевич пишет не о том, что он пережил в то страшное утро, а о том, что пережил тогда сам Камышин. Ведь он же не раз думал: «Далеко от противника оборудовали исходные позиции, надо было ближе. Танки опоздали не по своей вине. Не было достаточно хорошо налажено взаимодействие с артиллерией. А у Северова это было. Потому и удар его оказался сокрушительным». Это были его собственные, камышинские мысли, которые только излагал Иван Алексеевич. . . Но Камышин уже понимал, что это были не только его собственные мысли, — об этом думали все те, кто больше суток пролежал на зимнем новинском болоте.

Камышин быстро, словно обжигаясь, листал статью Ивана Алексеевича. Светало, когда он ее закончил. Он вспомнил о том, что не хотел читать, а потом, когда решился, то хотел это скрыть, и ему стало стыдно. И чтобы не мучить свою совесть, он начал думать, как утром, едва придя в штаб, вызовет Федорова и скажет ему спасибо. Обнимет его и скажет спасибо.

Но если говорить начистоту — а как же еще говорить наедине с самим собой, — то статью следовало бы написать не майору Федорову, а полковнику Камышину. Почему же написал не он, а Иван Алексеевич? Ведь у Камышина и опыт больше, и пишет он лучше, и умеет избегать военно-канцелярской терминологии. А написал не он. . .

«Федоров моложе меня, ему, как говорится, и карты в руки. . .» Но другой голос, голос его совести, не дал Камышину закончить мысль. «Разве правда умирает вместе с молодостью? Разве смелость зависит от возраста? Статью надо было написать мне. . .»

Как же случилось, что он, Камышин, стал осторожни-  
ать? Когда это он стал побаваться за свое положение,

держаться за место? Когда, с какого времени это началось?..

Было уже утро. В комнату доносился запах кофе, который он любил пить по утрам. Мария Артуровна слегка поджаривала зерна на сковородке. Камышин приоткрыл дверь, увидел Марию Артуровну в очках и в переднике, озабоченно накрывающую на стол. «Как она постарела...» — подумал Камышин.

Молча пили кофе. И снова Камышин думал о том, когда же произошел этот несчастный перелом в его жизни и как ужасно, что перелом произошел незаметно, словно кто-то подошел сзади и дунул и загасил ярко горевшую свечу. А ведь эту легкую, отливающую янтарным блеском свечу держал в руках не кто иной, как он сам, Камышин. Неужели это случилось во время войны? Но он воевал смело, не щадил себя и самолюбиво дорожил репутацией человека, которому чужды мелочные расчеты и у которого есть свое мнение и своя гордость. Об этом знал не только Шавров, умевший ценить людей, это знал и Бельский, не решавшийся в отношениях с Камышиным «братъ крутенько». Да и жена, с которой он не виделся всю войну, кажется, впервые смирилась. И в самом деле, как-то неловко было в те дни мечтать об отставке мужа. Так, значит, все это случилось с ним после войны? Значит, это после войны он стал чувствовать свою зависимость от Бельского? (А Камышин отлично знал, что нельзя путать беспрекословное подчинение приказу с постоянным чувством зависимости от начальства.) И Бельский понял это и стал нажимать на Камышина, который уступил не авторитету начальника и боевого командира, а просто грубому человеку. Если бы Мария Артуровна была способна проследить весь этот сложный процесс, она, может быть, и порадовалась бы: в самом деле, то, чего она не могла добиться за много лет, удалось Бельскому за несколько месяцев. «Поздно или не поздно заново переделать и передумать свою жизнь? — спрашивал себя Камышин. — Поздно или не поздно?..»

— Ты почему так плохо выглядишь? — спросила Мария Артуровна. — Желтый, жеваный, что с тобой?

— Маша! — дрогнувшим голосом начал Камышин и отодвинул чашку. — Маша...

Но в это время послышался гудок полкового «взгляди са». Мария Артуровна подошла к окну:

— Тебе пора...

Камышин встал, хотел что-то сказать, но не сказал, надел шинель и тихо, чуть слышно ступая, вышел из дому.

В штабе полка он сразу же приказал вызвать к себе Федорова, затем вынул из портфеля бумаги, аккуратно разложил на столе и сел работать. Давно уже штабные заботы не доставляли ему такого удовольствия, как сегодня. Самая незначительная, будничная бумажка приобретала в это утро особый смысл. Ощущение нравственной чистоты не покидало Камышина. За полчаса такой работы возбуждение его совсем улеглось, и он только поглядывал в окно, не идет ли Федоров.

В это время он увидел «опель» Бельского. Машина остановилась у штаба. Камышин быстро встал, по старой привычке рукой пригладил волосы и, на ходу застегивая воротничок, вышел навстречу командиру дивизии.

Если и существовал человек, которого меньше всего хотел видеть в это утро Камышин, так это был именно Бельский. В присутствии командира дивизии Камышин всегда чувствовал себя связанным, сегодня же это было особенно неприятно. Он так быстро вскочил, как будто его застали за каким-то недозволенным занятием.

Между тем Бельский приехал в самом лучшем настроении. Он хорошо выспался, вкусно позавтракал, и сейчас ему больше всего хотелось размяться. Он так и решил: оставить здесь «опель» и вместе с Камышиным пройти по веселым морозным тропкам, потом вдоль реки, через лесок и побывать, как он говорил, «среди людей».

Он любил эти неожиданные свои появления, запыхавшихся дежурных — кто заметил папаху, кто генеральские лампасы, и вот уже вьются в морозном воздухе белые облачка рапортов. А рядом с Бельским Камышин, который в случае чего и сам обратит внимание на беспорядок.

— Канцелярские крысы, вот кем мы теперь стали, — сказал Бельский, сочувственно глядя на камышинские бумаги. — Давай-ка свертывай все это, одевайся, и пошли к хозяйству. Ведь они-то рады, что мы все читаем. Они о пишут, а мы-то читаем, — смеясь, говорил он, пока Камышин одевался. — А это еще что у тебя? Что за «Уроки»?

Он взял в руки статью, быстро перевернул титульный лист и нахмурился,

— Федоров? Снова этот друг? Чего он там намаракал? Так, так... Надо почитать, надо почитать, — сказал он, свернул рукопись и сунул ее в полевую сумку. — Раньше надо было мне об этом доложить, — упрекнул он Камышина.

— Товарищ генерал, эта рукопись принадлежит майору Федорову... Черновой вариант...

— Да я завтра же тебе верну. Интересно все-таки, как растут офицеры.

— Товарищ генерал, майор Федоров просил никому не давать.

Бельский неодобрительно покачал головой:

— Даже мне?

— Право автора, товарищ генерал.

— Это как же понимать? Командиру полка дает читать, а командиру дивизии не дает?

— Товарищ генерал, мне кажется, здесь нет неуважения к старшему по званию и по должности. Статья является, так сказать, личной собственностью автора.

— А я, значит, вор?

Бельский рванул из сумки рукопись и выбросил на стол. Наспех сшитые листы разлетелись по всей комнате.

— Я спрашиваю: я вор?

Лицо его стало багровым, левый глаз задергался, на веке выступила густая синяя сетка сосудов.

— Товарищ генерал!..

— Стоп. Отвечай: статью Федорова читал?

— Товарищ генерал, я...

Бельский вдруг с удивительной легкостью подбежал к нему и, приподнявшись на носках, положил Камышину руки на плечи:

— Тебе скажу, почему кричу, тебе только: мне за тебя, Камышин, обидно. Кажется, не мальчик. Неужели же вместе с этим горлопаном?.. Послушай, ведь он против кого идет? Против Шаврова! Подумай — против Шаврова! И неужели же мне докладывать об этом командиру корпуса? Я говорю сейчас не как начальник, а как боевой товарищ... За несколько дней, да, да, я так считал, когда писал характеристику на тебя, за несколько дней до отставки забраться в такую трясиину... Я и при Марии Артуровне так скажу, и при сыне твоём. Студент, комсомолец, о нем подумай...

— Товарищ генерал! — в третий раз начал Камышин, но что-то перехватило ему горло.

— Читал или не читал? — медленно спросил Бельский.

Камышин покачал головой.

— Не понимаю, — сказал Бельский. — Читал или не читал?

Камышин сел за стол, опустил голову. Сказать, что он читал, но Бельский потребует тогда, чтобы он высказался. Он презирал себя, но все еще мысленно повторял: «Не поздно, не поздно, не поздно... Бельский еще здесь, значит, не поздно, нужно набраться мужества и ответить: «Да, читал».

В это время он услышал спокойный голос Бельского:

— Если не читал, очень тебя прошу, прочти. Ну а мнение о ней ты мне потом скажешь. Спросишь у Федорова разрешения, он в этом не откажет. Если вещь стоящая — поможем.

Камышин опустил свою седую голову. Он понял, что он в ловушке, которая захлопнулась только потому, что он не смог признаться в том, что работа Ивана Алексеевича ему понравилась. И если он сейчас не смог найти в себе мужества, то он не найдет его и через день.

— Нет, товарищ генерал, я читать не буду, — сказал Камышин едва слышно. «Поздно», — подумал он. Сегодня он отрекся не только от Федорова, он отрекся от самого себя.

— Вот как! — с видимым удовольствием заметил Бельский. — Но я думаю, что комбат все-таки нуждается в квалифицированном отзыве. Конечно, если бы ты взялся, но теперь...

— Возьмите, товарищ генерал, — сказал Камышин.

Бельский аккуратно собрал листы, разгладил их и снова положил рукопись в полевую сумку.

— Стареем, стареем, — сказал он весело. — Ничего не поделаешь, стареем. — Но, взглянув на Камышина, переменял тон: — Я бы тебе посоветовал отдохнуть сегодня от дел. — Он взял телефонную трубку. — Квартиру полковника Камышина! Мария Артуровна? Бельский докладывает. Что-то неважно сегодня ваш супруг чувствует себя. Заметили? Ночь не спал? Ах, вот оно что, по ночам читает,.. Так у вас теперь, значит, двое студентов? .. Ну,



я ему сейчас отдыхать приказал, а вас попрошу проследить за этим и вечером мне позвонить. — И, не прощаясь, вышел из комнаты. Было слышно, как в коридоре он крикнул: «Василий, заводи мотор!»

3

Рясинцев работал двое суток и был доволен собой. После первого чтения рукописи ему показалось, что решительно ничего не выйдет. Статья Федорова была убедительной. Никаких претензий на то, чтобы дать всю картину операции, но совершенно ясно, что автор знал больше, чем видел своими глазами во время боя. И то, что Иван Алексеевич старался понять всю картину в целом, очень ему помогло.

Рясинцев не привык отчаиваться, но тут и он приуныл. Как он ни прикидывал, все равно логика событий приводила его точно к таким же выводам, которые были сделаны Иваном Алексеевичем.

Одно дело писать размашистые докладные Бельского об операции, тем более что Новинская операция была исключительно удачной, и совершенно другое дело опровергать Федорова, то есть опровергать и штабные сводки, и журналы боевых действий.

Но что прикажете делать? Явиться к Бельскому и доложить: «Прочел, очень интересно, видно, что человек постарался, и следовало бы поощрить такую инициативу!»

Гнева Бельского он давно перестал бояться. Ну, покричит-покричит и отойдет. У каждого свой характер. Гораздо хуже, что, появившись такая штука в печати, на многое могут взглянуть по-иному. Конечно, Рясинцев человек маленький, но ведь известно, что большое тело увлекает за собой... Это ясно.

Наконец он решился и сделал то, в чем отказал Ивану Алексеевичу три месяца назад: сам заглянул в штабные архивы дивизии. Сделал он это скорее от полного отчаяния и от вынужденного безделья, чем в силу какой-то определенной идеи... Нельзя же по нескольку часов кряду сидеть за столом и читать одно и то же.

Но едва он прикоснулся к прошлому, как сразу же обнаружил ошибку у Ивана Алексеевича. Ошибка эта была не то чтобы большая, а, как пишут в газетах, «до-

садная»: высота 48.4, которую занимал противник, находилась не справа от его танковой бригады, а слева.

— Любопытно, — вслух сказал Рясинцев и сделал пометку в своей записной книжке. Не прошло и двух часов, как в ней появились новые записи:

«Сосед слева — полк, которым командовал Чупряев».

«Связь с командованием была прервана в 12.00».

«Самолеты стали обрабатывать передний край противника в 6.00».

За двое суток работы Рясинцев почти не спал и очень мало ел. Приляжет на свою походную койку, закроет глаза и чуть только задремлет — снова за дело, забежит в столовую, схватит какой-нибудь салатик — и обратно. И прежде чем явиться с докладом к командиру дивизии, Рясинцев забежал в парикмахерскую и привел себя в порядок. Взбодриться ему нужно было всего на какой-нибудь час, ну а потом — заслуженный отдых.

Бельский был не один. Сбоку за столом сидел Кирпичников. Лицо его было угрюмым, поза напряженной, руки сжаты ладонь в ладонь, длинные свои ноги он убрал под стул и тоже их там как-то вместе сцепил. У Рясинцева, как всегда при виде Кирпичникова, засосало под ложечкой.

— Докладывай, — сказал Бельский неторопливо и обратился к Кирпичникову: — Я поручил ему разобрать статью Федорова.

Рясинцева смущало присутствие постороннего человека. Он, конечно, знал, что командир дивизии за эти восемь месяцев сблизился с Кирпичниковым, но он не знал, насколько глубоко это сближение, и вопросительно взглянул на Бельского. Ему показалось, что Бельский чуть кивнул головой: «Не робей».

«Очевидно, Бельский дал прочесть федоровскую рукопись и Кирпичникову, — подумал Рясинцев. — Ну да, наверное... Потому-то он такой мрачный: прочел и не знает, что сказать. Кирпичников испытывает то самое ощущение беспомощности, которое я уже испытал, но которое с честью преодолел». Рясинцеву стало весело. Он мог блеснуть: в конце концов он никакой не штабник, а адъютант, да к тому же беспартийный. И эта независимость от Кирпичникова радовала его.

— Работа майора Федорова, — спокойно начал Рясинцев, — предназначенная, как мне известно, для печат-

ти, содержит целый ряд интересных наблюдений. Однако главный ее недостаток состоит в том, что она написана без знания дела. Например, высота 48.4, о которой Федоров написал, что она находилась справа от танковой группы противника, на самом деле была слева от нее. Грубая ошибка, свидетельствующая о полном неумении автора пользоваться материалом. Далее: полк под командованием Чупряева никогда не был соседом Камышина. Соседом Камышина был разведбатальон. Далее: Камышин потерял связь со штабом дивизии не в двенадцать ноль-ноль, а в одиннадцать тридцать, что отмечено в оперативном донесении и в журнале боевых действий. Далее: Федоров просто придумал, что самолеты начали вторично обрабатывать передний край противника в шесть ноль-ноль. На самом деле вторичная обработка противника с воздуха началась в пять ноль-ноль. . .

По мере того как Рясинцев читал, голос его становился бодрее. Он был доволен собой, своими знаниями, своей службой. И каждый раз, когда он брал новый пример из записной книжки, он мысленно говорил: «На, получай!» И это относилось не только к Федорову, но и к Кирпичникову.

Примеров набралось больше десятка, и Рясинцев закончил свой доклад скромно, без всякой аффектации:

— Таким образом, после разбора видно, что для печати эта работа совершенно не годится.

Он заметил, что Бельский доволен. Солидность, отсутствие дешевых эффектов и даже сама несколько монотонная интонация понравились Бельскому: «Вот так обрабатывается мое задание».

— А вы уже передали ваши замечания майору Федорову? — вяло спросил Кирпичников Рясинцева.

— Майору Федорову? Я?

— А когда собираетесь передать?

Рясинцев взглянул на Бельского, словно умоляя защитить его от несправедливых подозрений.

— Рясинцев докладывает мне, товарищ Кирпичников, а уж решаю я сам.

— Понимаю, товарищ генерал, но вы разрешите, я хотел бы по существу вопроса. В работе Федорова товарищ Рясинцев нашел ошибки и неточности. Товарищ Рясинцев поработал, все уточнил, и теперь только остается помочь Федорову внести эти исправления. Ну а затем можно бу-

дет и рекомендовать для печати. Так я вас понял, товарищ Рясинцев?

У Рясинцева обвисли щеки: куда он гнет, этот Кирпичников? Для того чтобы ответить на его вопрос, надо понять, куда он гнет! Но Рясинцев решительно ничего не понимал. . .

— Товарищ Рясинцев молчит, — продолжал Кирпичников. — Вероятно, он согласен с тем, что надо помочь товарищу Федорову довести работу до конца, то есть до опубликования.

— Что вы, товарищ начальник!

— Не что я, а что вы! Нашли ошибки, доложили о них, а от майора Федорова скрываете? Беретесь вы ему помочь?!

— В том только случае, если генерал мне прикажет, — покорно сказал Рясинцев. — И если. . .

Бельский остро взглянул на Кирпичникова, потом на Рясинцева, но ничего не сказал и молча продолжал слушать их разговор.

— Вы делаете успехи, товарищ Рясинцев, — заметил Кирпичников. — Будем следовать за вами. Итак, вы вручаете автору свои замечания, которые он примет с благодарностью. Теперь Федоров вправе вас спросить: «Помимо мелких неточностей, смею думать, там еще что-то есть? Как, например, относитесь к одному из главных положений, выдвинутых мною (это вас все тот же Федоров спрашивает), как относитесь к тому, что полк не смог в назначенное время преодолеть расстояние до первой линии траншей противника, залег и чуть ли не сутки пролежал на льду?» Нуте-с. . .

— Виноват, товарищ начальник, — сказал Рясинцев и кулаками протер глаза, видимо от волнения забыв, что находится в кабинете Бельского. — Виноват, но задержка перед первой траншеей противника есть факт. . .

— Отлично, отлично! Просто очень хорошо! Однако мне всегда казалось, что каждый факт может быть объяснен. Надеюсь, что вам это известно? Может быть, вы нам объясните, почему такой факт, как задержка перед первой траншеей противника, произошел? Федоров нам это объяснил. Виноват, товарищ генерал, еще минутку. Вы согласны, — спросил Кирпичников, — что это произошло по вине командира дивизии?

— Не согласен. . . — пролепетал Рясинцев,

— Тогда попрошу объяснить, по чьей вине дивизия не смогла овладеть вовремя первой траншеей противника, по чьей вине была нарушена связь, по чьей вине были лишние жертвы? Вы все это тоже не можете объяснить? Не можете. . . или не хотите?

Бельский сердито кашлянул:

— Товарищ Кирпичников!

— Знаю, товарищ генерал, знаю, — подхватил Кирпичников. — Знаю, что товарищ Рясинцев не виноват. Но, к сожалению, я должен отметить, что товарищ Рясинцев попался на удочку клеветника, попался и сам того не понял. Я, товарищ генерал, ознакомился с работой Федорова, если это все можно назвать работой. Не прошло и года со Дня Победы, а уже находятся люди, которым ничего не стоит оболгать прошлое. Всем известно, сколь велик был наступательный порыв в эти славные дни. И фигура человека, бросающего ком грязи в наших воинов, кажется нам и жалкой и смешной. Товарищ Рясинцев не виноват, — справедливо, товарищ генерал. И все же я обвиняю его в том, что он не разглядел грязного поклепа и попался на живца, который называется «факт». Факт, что мы победили, да, это факт. Но находятся люди, которые трудов своих не жалеют, чтобы выискать «обрыв связи», «потери». . . Это ведь тоже, так сказать, «факты». А не пора ли пересмотреть эти «потери», пока ими не занялись всякого рода товарищи, вроде товарища Федорова? Говорят, что генерал Северов хорошо, успешно наступал. И об этом Федоров нам поведал. . . Еще одну минутку, товарищ генерал. Но ведь именно для того-то и надо было нашей дивизии залечь перед первой траншеей противника! Да, мыхватили ледку, но еще вопрос, кто действовал успешнее? Не ясно ли, что все поправочки и дополненьца товарища Рясинцева только играют на руку ложной концепции, извращающей истинную картину? Задача же состоит в том, чтобы нарисовать истинную картину. И эта задача будет выполнена тем успешнее, чем меньше мы потратим усилий на спасение федоровской мази.

Кирпичников кончил. Наступило долгое молчание. Рясинцев не смел и головы поднять. Несмотря на то что Кирпичников обвинял и его, несмотря на свою постоянную антипатию и ревность, он был восхищен: «Ну разде-

лал, вот это разделал! — думал он. — Снял штанишки, разложил и выпорол. Сила-то, сила какая!»

Но в это время он услышал голос Бельского и приподнял голову.

— А ты, брат, не слишком этого... того? — спросил Бельский Кирпичникова. — Командир батальона он боевой, Берлин брал. Ну, связался с писаниной... и тэпэ...

— Товарищ генерал, личные качества товарища Федорова мне известны. Мои симпатии к нему не требуют доказательств. Но необходима принципиальная оценка, иначе неразбериха, рясинцевщина. Решайте, товарищ генерал, кто из нас...

— Да что ты, что ты, — перебил его генерал. — У меня сомнений нет. Я согласен.

— Здесь все изложено, товарищ генерал, — сказал Кирпичников. — Мелкие же исправления, над которыми потрудился товарищ Рясинцев, будут вставлены сегодня же. — И, вынув из сумки два листа бумаги, сколотых булавкой, передал их командиру дивизии.

— А почему без подписи? — спросил Бельский.

— Я, товарищ генерал, человек не честолюбивый. Я думаю — «группа офицеров». Так будет достаточно солидно.

4

Ветлугин приехал в политотдел корпуса к вечеру. Маричева не было, но Ветлугин решил во что бы то ни стало его дожидаться. В политотделе корпуса работало много старых товарищей, и они сразу же заметили, что начподив в плохом настроении: он не отвечал на их шутки и вообще не заводил никаких разговоров, все больше молчал да покуривал свою короткую моряцкую трубочку. Наконец Маричев откуда-то позвонил, и ему доложили, что его ожидает Ветлугин.

— Еду, — ответил Маричев. — Дело получаса...

Маричеву хотелось повидать Ветлугина, который, как он понимал, не зря его дожидается. Вероятно, назрела необходимость поговорить по душам. И этому Маричев очень обрадовался. Он ведь почти не знал Ветлугина. Назначение его было подписано как раз в то время, когда раненого Ветлугина увезли в тыл.

До этого всю войну Маричев прослужил на Урале. Служба его была очень ответственной. Эта ответственная служба была для Маричева одновременно и источником радости и источником горя. Это он, Маричев, формировал воинские части, знаменитые Уральские дивизии. Это он снабжал фронт всем тем, что нужно в бою, — начиная от подверток и кончая артиллерийскими самоходками. Хозяйство было большое, даже огромное, и, может быть, именно там, на Урале, был яснее всего виден размах крыльев будущей нашей победы. Все это наполняло его сердце радостью. А вот то, что он, человек военный, не воевал, — это было его горем. О кипучей деятельности Маричева знали не только на Урале, но и на фронте, и в Ставке. Однако целая тысяча благодарностей не могла погасить его желания воевать. Говорят, как-то раз кто-то из больших начальников пожалел Маричева, будто бы и резолюция соответствующая была, но в тот момент должной замены не нашлось.

И хоть бы он родился каким-нибудь хромым, рахитичным, тщедушным или хоть бы чем-нибудь когда-нибудь болел. Как нарочно, природа наделила его саженым ростом, широченными плечами, легкими, похожими на добрые мехи, поистине стальным сердцем. Этот голубоглазый гигант примчался в Берлин, когда все уже было кончено. На Александрплац догорала война.

Маричев оказался среди людей, имена которых, овеянные пороховым дымом, он хорошо знал и которые часто встречались в московских приказах. На каждого такого человека Маричев смотрел с восторженной нежностью. Фронтовик... И хотя его шинель выглядела куда более затрепанной, чем у здешних, и хотя ординарец уже несколько раз латал его гимнастерку, Маричев сам себе казался каким-то чересчур «чистеньким и гладеньким».

Кое-кто решил поэксплуатировать его сердобольность к людям воевавшим. Однажды он простил очень некрасивую пьянку, хотя пьянство ненавидел и презирал. Во второй раз это могло дорого стоить самому Маричеву, но спас тот самый большой начальник, который когда-то, как говорили, наложил резолюцию на его рапорте: «Удовлетворить. Фронт».

И все же Маричев сохранил особое чувство к людям воевавшим и долго еще измерял заслуги одной и не всегда годной меркой: «Смерть видел, смерти не испугался».

Конечно, угар этот прошел, но кое-что от него осталось. И это иногда помогало в работе, а иногда мешало.

О Ветлугине Маричев слышал за эти полгода очень много, но представлял его себе несколько иначе. Комиссар легендарной морской пехоты, чудом уцелевший осенью сорок первого года, герой Новинска и Берлина — и вдруг такая скромная внешность: небольшое, сухое, курносенькое лицо в морщинах, без бороды и усов, жидкие волосы зачесаны на пробор. С Ветлугиным он познакомился в первый же день, когда тот приехал «доложиться», а потом видел его на совещаниях. Выступал он дельно, но ничего не было такого, что говорило бы о его героическом прошлом. Маричеву понравилось, что Ветлугин защищал Балычева. Но, к сожалению, дело тогда было уже сделано.

И все же до сих пор они не говорили по душам. Тут у Маричева были свои принципы. Он не любил вызывать человека на откровенность. Уж тут, как ни крути, считал Маричев, все равно разговор «подготовлен», даже если подготовлен он незаметно, исподволь.

Через полчаса Маричев приехал. Ветлугин из окна видел, как он, наполовину согнувшись, вылез из машины, что-то сказал шоферу, а потом глубоко вдохнул крепкий морозный воздух.

«Наверное, ему не хватает воздуха, — подумал Ветлугин, с сожалением глядя на Маричева. — Такой огромный человечище, а у нас здесь все совещания да заседания, все дым, да машины, да снова дым...»

Они быстро поздоровались, и Маричев сразу же потащил Ветлугина в свой кабинет. «Кирпичников подражает Бельскому, а Маричев Шаврову», — подумал Ветлугин.

И правда, если Кирпичников все завалил тяжелой купеческой мебелью и уже заказал электротехнику сделать бра, то в кабинете Маричева стояли только самые необходимые вещи: простой крашенный стол, такие же стулья, несколько полок с книгами и тут же походная койка, застланная сереньким в полоску одеялом.

Маричев был человеком очень опытным, он по первому взгляду понял, что Ветлугин приехал, чтобы поговорить откровенно. Именно этого Маричев и ждал.

— Еще несколько минут, Дмитрий Константинович, Сейчас закончу канцелярию и тогда полностью ваш,



Этим он не столько хотел уменьшить значение текущих своих дел, сколько подчеркнуть значение их встречи.

Вскоре они остались вдвоем на старой даче. Маричев с юношеской застенчивостью старался создать уют: потушил верхнюю лампу, зажег мягкий настольный свет, сел не за свой стол, а рядом с Ветлугиным и начал расспрашивать про домашние дела. Он однажды заезжал к Ветлугину, и ему там понравилось.

— Славно, славно вы живете, — сказал Маричев, вспоминая домик с заснеженными верандами. — Все условия. . .

— Да мы там не живем больше, — ответил Ветлугин резко.

Маричев удивился:

— Это почему?

— Все равно что брать чужое. Раньше в этом доме жили четыре офицерских семьи, а перед моим приходом — бац, выселили.

— Как это так?

— Да очень просто. Пришел начальник КЭЧ, и все. Ну не на улицу, разумеется, а в корпус «А». . . Знаете, наверное, домину выстроили напротив казарм. В общем, коммунальные квартиры. Я этого нашего КЭЧ спрашиваю, а он смеется: «Генерал приказал. . . Ты, говорит, понимаешь, что мой заместитель по политической части приезжает? Это же второй человек в дивизии!» Пришлось съехать. . .

— И что же генерал?

— А это уж, кажется, мое право, захотел — обменялся.

— Ваше-то оно, конечно. . . Но вы подумали, какие могут пойти толки? Наверное, уже есть разговоры, что не поладили с генералом. . .

— Конечно, есть. А вы подумали, товарищ начальник, какие были разговоры, когда четырех офицеров вон, а начальника политотдела на их место. Жена говорит: «За всю жизнь такого сраму не было». Не лажу я с Бельским, — сказал Ветлугин. — Ну, нет контакта и нет. Двух слов с ним не могу спокойно сказать, все внутри клокочет. . .

Этого Маричев не ожидал. Он надеялся, что откровенный разговор, первый между ними, сегодня состоится, но

он не думал, что это произойдет так быстро, не думал, что Ветлугин начнет разговор с такой прямоотой.

— Это беда большая, — сказал Маричев. — Что же может быть хуже для нас, для политработников, если нет контакта со своим командиром! Но не слишком ли вы поторопились с выводом?

Ветлугин задумался.

— Да, это, пожалуй, верно: действительно, я тороплюсь. Мне совесть моя торопиться приказывает. Она, товарищ Маричев, далеко уже вперед событий забежала и спрашивает: «Ну а как с оргвыводами, товарищ Ветлугин? Надо бы оформить свое отношение к некоторым фактам». К примеру, интересуется эта особа — совесть то есть, — что происходит с одним из наших комбатов, я говорю о майоре Федорове. Осенью, во время учений, он предложил приблизить исходную позицию к противнику, учитывая положительные результаты у Северова в первый день. Бельский обругал майора Федорова. Он было попробовал с этим на теоретической конференции выступить. Бельский его на смех поднял. Ну, Федоров — мужик крепкий, изложил то, что думал, и решил куда-нибудь послать для печати. Читал я: дельная статья. Есть там, конечно, и неточности, но дельная статья. Не знаю, как она попала к Бельскому, но говорят, есть уже какой-то отзыв на эту статью, а в этом отзыве — и клевета, и что хотите. Вот вы говорите о торопливости с выводами. Нет, я тоже в святцы заглянул, прежде чем в колокол бухать. Я, прежде чем к вам ехать, не раз и не два с командиром дивизии разговаривал. Совесть моя уже давно мне говорила: «Торопись, Ветлугин, неужели не ясно, что пора в корпус ехать?..» Но я, товарищ Маричев, с этим вопросом снова и снова к Бельскому ходил. Пробовал с ним и по-милому и по-немилому. Куда там! Балычева за что уволили? «Старость» — это только обложка дела, а внутри — «заговоры...», «горой за Федорова стоял...». Вот, товарищ Маричев, статья, прошу вас ознакомиться. И еще прошу вас — поторопитесь, потому что, ежели это все к командиру корпуса пойдет...

— Конечно, я прочту... — сказал Маричев. — Сегодня же прочту. Но я понимаю вас так, что не только майор Федоров — причина конфликта?

— Нет, не только, — быстро ответил Ветлугин. — Конечно, нет. Причина всему характер Бельского. Эгоизм...

нет, как-то это иначе называется, не эгоизм... ну, в двух словах: «Я пуп вселенной, вокруг меня вертятся звезды и планеты, в том числе и брненное тело земли. Кажется, на ней людишки народились?..»

Ветлугин сердито встал, прошелся по комнате и снова сел на свое место напротив Маричева.

— Это очень серьезно, то, что вы говорите, Дмитрий Константинович, — сказал Маричев. — Тем более что вы не первый день работаете с генералом Бельским. Насколько мне известно, ваши взаимоотношения складывались нормально.

— Да, да, — сказал Ветлугин. — Да, да, да. Я, товарищ начальник, ваш вопрос понимаю, и я, конечно, обо всем этом много думал. Постараюсь вам на это ответить. Вы сказали, что около года мы вместе служили. Это, конечно, так. Но только разрешите заметить, не то время было, что сейчас. Вы видите: я не говорю — Бельский был не тот, я не могу так сказать, — а время не то было. То есть в военное время это просто невозможно заявить, что звезды и планеты вокруг меня вертятся. Ну, раз сдуришь, два сдуришь, а на третий ведь не пройдет, потому что противник рядом, враг — немцы, фашисты. Поневоле приходилось советоваться, поневоле приходилось с людьми считаться. Напрасно думают, что легче было в военное время самодурничать. Не легче! Хочешь не хочешь, а ты командира полка выслушай: хозяйство-то главное у него. У тебя власть, а у него люди. И еще одно: в конечном итоге ты за каждого человека отвечаешь. Ну, пришел ты к комбату, ну, обругал его за дело, без дела — всякое бывало. Ты его обругал, но ты его мнение выслушай, эй, хозяин, выслушай, а то без батальона останешься. Самодурство на войне не уважают. Но одно дело, что не уважают, а другое то, что чаще всего самодурство рождается именно на войне: власть-то огромная. И уж, говоря прямо, есть отчего голове закружиться. Ведь одного твоего слова довольно, чтобы... да что говорить, вы сами знаете, права были даны большие. А главное, война сама дает тебе право. Да ведь вот... дает.

Ну-с, теперь о Бельском. Был ли он такой, как сейчас, во время войны или был другой? Я думаю, он другим не был, но он очень... очень он, — Ветлугину, видимо, трудно было подобрать нужное слово, — очень он остерегался. Ведь вот на третий день он в Новинск на коне въехал...

Ну а в первый-то день, когда дивизия на льду лежала? Ведь он тогда не кричал. Ни-ни-ни... Какой там крик, слезы были, а крику не было. Очень Шаврова боялся. Какое там самолюбие! Перед командиром полка, перед Камышиным, заплакал: одна, мол, надежда на тебя... Это он, впрочем, правильно сказал: одна надежда на этот полк и была.

Со мной он поначалу пококетничал: я, мол, не политик, а солдат. Но и тут поостерегся все это развивать. «За нашу социалистическую Родину!» Это — политика или нет? В этом что, одни мы, политработники, заинтересованы? Поостерегся, на мою точку зрения встал. Ну, а в остальном моя вина, — неожиданно сказал Ветлугин. — Моя вина, сейчас я это так понимаю: мало думал о том, как после войны этот характер повернется. Ведь как рассуждали? Груб — ну, таков человек, общей культуры маловато — так ведь из бедноты вышел, не успел в жизни, стряпуху за собой таскает — кто без слабостей, считаться надо, все-таки человек воюет. Маловато знаний, нахрапом берет — после войны займется, обломаем. К власти тянется... Неужели же на каждом шагу перечить? Где же твой такт политработника? Э-эх, так!.. А я обязан был думать не только о том, чтобы согласно с Бельским работать, чтобы ему от имени партии помогать. Я обязан был подумать, во что этот характер развернется. Ведь тут страсть сильная: «мне, мое, я...». И страх большой: «Как бы мне с этого престола не скovyрнуться». Когда Федоров на учении приблизил исходные позиции своего батальона к «противнику», он не только не думал генерала Бельского чем-то обидеть, он вообще о большом начальстве не думал. А Бельский закричал: «Караул, грабят!» Как же, на его славу покусились! И он второй раз закричал «караул», когда на теоретической конференции Федоров с возражением выступил. Ну а уж на третий раз он решил «вора» во что бы то ни стало изловить. И вот теперь стоит комбат Федоров, а Бельский перед ним себя показывает. И гоголем пройдет, и хвост распушит, и в гневе еще губку свою подергает — потому что ведь государственные заботы, а тут комбат со своими доморощенными предложениями.

Слушаете вы меня и думаете: ведь вот, мол, на что Ветлугин замахнулся — на власть. Да что же это за армия, где командир, где генерал власти не имеет? Да что

же это за генерал? До того Ветлугин по госпиталям да по санаториям належался, до того кубанских галушек наглотался, что начальство перестал уважать. Нет, товарищ Маричев, я был человеком военным и им остался. И приказать сумею, и на приказ один ответ: «Слушаюсь, будет выполнено». Но вот что я вам скажу: власти у Бельского предостаточно, но задуматься пора, для чего она ему, эта власть, дана. Для того, чтобы самого себя потешить, чтобы все можно было? Меня Бельский спрашивает: «Ты что же, единоначалие ущемляешь? Комиссарить хочешь?» Я ему отвечаю: «Ежели вы, товарищ генерал, думаете, что единоначалие — это значит «мне все можно», то в самый раз защемить, да так, чтобы другому nepовадно было. И ежели вы и в самом деле думаете, что «теперь все можно», то я буду обращаться к первому нашему комиссару — в Центральный Комитет партии». Вот примерно как наши отношения складываются. . .

Зазвонил телефон. Маричев взял трубку:

— Слушаюсь, товарищ генерал. Будет выполнено.

Он повесил трубку и, не отнимая руки, сказал:

— Звонил генерал. Только что от него ушел Бельский. Командир корпуса приказал мне ознакомиться со статьей майора Федорова. . .

Когда Ветлугин вышел на улицу, была уже ночь. Зимнее небо было темным и почти пустым. Далекий, очень тонкий месяц казался вырезанным на черно-синих глыбах льда. Огни в поселке тоже были повсюду погашены, и только в каменном доме штаба корпуса светилось окно. «Наверное, Шавров», — подумал Ветлугин.

— Товарищ начальник, — окликнул его шофер. — Машину я отогрел, можно ехать.

— Да, да, едем, едем, — торопливо ответил Ветлугин.

Когда они поворачивали на шоссе, он снова взглянул на штабной дом. Окно еще светилось.

5

Шавров был привязан к Бельскому. Человек очень сдержанный, он внешне относился к Бельскому так же, как и ко всем другим подчиненным, но еще на войне было заметно, что командир корпуса в трудную минуту скорее поможет Бельскому, чем Северову, и так уж повелось, что

более трудный участок доставался Северову, а наиболее легкий — Бельскому.

После войны близость Бельского к Шаврову еще больше упрочилась. Бельский для этого не только делал все, что было в его силах, но он еще, как своеобразный мегафон, усиливал звук. Он говорил: «Мы с генерал-лейтенантом Шавровым уже думали об этом», или: «Мы с генерал-лейтенантом Шавровым пришли к выводу, что...», или: «Когда я в последний раз заезжал вечером к генерал-лейтенанту Шаврову...» Это наконец стало системой.

Авторитет Шаврова был очень большим, и находились люди даже в штабе округа, которые все это принимали за правду и складывали свое мнение о Бельском по его же словам: позиция, удобная для того, кто не любит сам думать.

Шавров и Бельский были знакомы и давно и недавно. В двадцатом году они служили в одной кавалерийской части, прославившейся в дни штурма Перекопа. Шавров командовал эскадронам, а в бою заменил командира полка. Ему уже было под тридцать, и он, что называется, хватил жизни. В империалистическую был ранен в голову и в грудь, а в феврале, перед революцией, осколок, как косой, отрезал ему три пальца на правой руке. Весь семнадцатый и восемнадцатый годы он мрачно крестьянствовал где-то на Тамбовщине, а в девятнадцатом не выдержал, ушел в Красную Армию и чуть ли не через месяц заслужил «Красное Знамя».

Бельский был много моложе Шаврова, его только в двадцатом году мобилизовали. Парень он был веселый, кудрявый и на все руки — в походе с таким не соскучишься, — но очень неотесанный. Прозвище ему дали подходящее — Дубравушка. Перед самым боем Дубравушка заболел тифом, и брат Перекоп ему не пришлось. Лежал он в каком-то походном госпитале, на какой-то южной станции, а когда поправился, стал ее комендантом.

На этой станции через десять лет они и встретились. Бельский сразу же узнал бывшего своего командира эскадрона с заманчивыми шпалами в петлицах. Шавров ехал на курорт. Изнывая от жары, он стоял у окна вагона ипил нарзан. Бельский вошел в купе с громовым рапортом и ослепительной улыбкой. Шавров сказал: «Садитесь, пожалуйста». Он, конечно, не помнил Бельского, да и не мог его помнить, но Бельский с фамильярной поч-

лительностью сказал, что счастлив видеть своего героического командира. (Бельский и сам себе не мог объяснить, зачем это он вызвался, — скорей всего от одуряющей станционной скуки.)

Суровое лицо Шаврова посветлело:

— Так вы с тех пор и служите здесь?

— С тех пор...

Глубокой ночью поезд шел по Чонгарскому перешейку. Было тихо. Налево и направо чернели старые холодные степи. Сиваш был закрыт глухим туманом, и это усиливало впечатление всеобщей тишины.

И только колеса отбивали в такт мыслям Шаврова: с тех пор, с тех пор, с тех пор...

Но он думал не о Бельском, а о себе. Встреча с бывшим своим однополчанином («Однополчанин!» К сожалению, даже наша память не свободна от ярлычков!) заставила его еще раз взглянуть на себя со стороны.

Прошло десять лет. Шавров работает в штабе округа. Всем известно, что ему можно поручить любую работу — старый вояка, и к тому же академия за плечами. Да, ему поручат — он сделает. А ведь многие его товарищи с тех пор далеко шагнули вперед...

Но не чинов он ждал, а успеха. Это разные вещи. Чины приходят со временем, для успеха нужен случай, нужно проявить свою личность. А разве он хоть однажды по-настоящему проявил себя?

Шавров считал, что его обошли. Может быть, действительно было так, но причиной этому не был чей-то злой умысел: просто Шаврову не давали самостоятельного дела. Но только на самостоятельном деле, как это стало ясно потом, он и мог проявить свой талант. А годы шли...

Судьба Бельского тронула Шаврова, потому что он нашел ее близкой своей судьбе. Но Шавров ошибся. Ничего, кроме этой своей станции, Бельский и не заслуживал. И было бы куда лучше, если бы он там и остался. Но с характеристикой ветерана гражданской войны, подписанной Шавровым, Бельского охотно перевели в окружной центр. Правда, на небольшую должность, но все же это была не какая-то там безвестная станция. Он отлично понимал, кому обязан переменной жизни, и стал эксплуатировать эту жилу, то есть то случайное ощущение

близости, которое возникло у Шаврова в день встречи с «однополчанином».

Вскоре Бельскому пришлось покинуть окружной центр. Начальство было им недовольно. Дубравушка решительно не поддавался никакому воспитанию. Однако это справедливое изгнание Бельский представил на квартире Шаврова как «козни и интриги», а к этим словам Шавров очень был чувствителен. . .

И снова, уже во время Отечественной войны, свел их случай. Бельский, в должности заместителя командира полка по строевой, оказался в корпусе, которым командовал Шавров. Война заставила сделать то, что надо было сделать раньше, то есть дать возможность Шаврову самостоятельно решать боевые вопросы. Кажется, сам командующий фронтом не ожидал таких блестящих результатов.

Бельский не пошел на прием к командиру корпуса на правах старого однополчанина. Он сообразил, что будет лучше, если Шавров сам его обнаружит. И не ошибся. Подписывая бумаги, Шавров заметил фамилию Бельского и сказал то, что давно запечатлелось у него в памяти: «А, старый однополчанин!»

Он не думал, что этого замечания будет достаточно для утверждения Бельского командиром полка. Но этого уже было достаточно. Дела в корпусе благодаря Шаврову шли отлично. Частица этого успеха упала и на Бельского.

Прошло полгода. Перед самым началом Новинской операции подорвался на mine Петр Ильич Карасев, командир дивизии, один из самых близких товарищей Шаврова. Это был серьезный удар. Решение надо было принимать срочное.

Шавров остановился на Бельском. Он хлопотал и ездил с ним в штабарм, представлял Бельского. Наверху утвердили, хотя и не очень охотно: «Все-таки мелковат, мало знаний и опыта. . .» Некоторые говорили почти с открытой неприязнью: «Эх, не видать бы ему при других обстоятельствах не только что дивизии, но и полка». Другие, а их было большинство, справедливо замечали, что война научила судить человека не только по анкете; иной и в самом деле академии не кончал, а какие чудеса творит в трудной боевой обстановке. Может быть, и впрямь этот Бельский еще покажет себя. . .



Шавров тогда готовил Новинск. Впервые за долгую свою жизнь ему представилась возможность проявить себя. И он назначил Бельского не потому, что ни с кем не желал разделить будущий успех, и не потому, что боялся, как бы кто-нибудь из его помощников не сделал лучше, чем он сам, — это грязное дно честолюбия не было ему известно. Нет, он боялся, что его план, план действительно отличный, может сорваться, если его помощники самостоятельно поработают хотя бы над его деталями. Вот на какие горные вершины было поднято его честолюбие в ту минуту, когда он совершил ошибку, утвердив Бельского командиром дивизии.

Он очень скоро понял, что это ошибка. И во время Новинской операции не раз упрекал себя. Он упрекал себя и в тот день, когда полк Камышина не мог подняться, чтобы атаковать передний край противника, и потом, на второй и третий день операции, когда ему пришлось помогать Бельскому резервами.

Был момент, когда Шавров едва не снял Бельского с должности командира дивизии. И он непременно снял бы его, если бы в ходе операции не обозначился перелом. Немцы не выдержали удара Северова с левого фланга и побежали по всему фронту. Бельский получил наиболее легкое задание — освобождение самого города.

Через несколько часов Шавров сам прибыл в Новинск. Он видел знакомые картины. На окраине города красноармейцы тушили пожар, и черные фигуры то возникали в пламени, то исчезали в нем. Связисты тянули провод к сараю, где разместился штаб какой-то части. Вокруг здания театра саперы ставили небольшие щиты: «Осторожно, мины!» На главной улице возле здания банка стоял маленький мальчик, держа на руках собаку, истекавшую кровью. Древняя старуха плакала над убитым бойцом.

Он остановил машину, вышел, прислушался — шум войны уходил все дальше на запад, а здесь было тихо, и каждый звук воспринимался особенно остро. Шавров подошел к старухе и прямо взглянул в лицо убитого.

В эту минуту он услышал радостные, возбужденные голоса и возгласы привета. Навстречу ему шла большая оживленная толпа освобожденных жителей Новинска, а в центре ее на коне ехал Бельский. Рядом с ним, тоже на коне, гарцевал его адъютант. Заметив машину Шав-

рова, Бельский спешил и, выйдя из толпы, громко доложил:

— Товарищ генерал-лейтенант, ваш приказ выполнен. Новинск взят. Поздравляю вас с победой, товарищ генерал-лейтенант!

Потом, через час, в Новинск пришла шифровка с благодарностью командарма, а вечером в Москве гремел салют в честь освобождения Новинска.

Трудно было придумать более неподходящий момент для снятия Бельского. Снять Бельского, считал он, значит бросить какую-то странную тень на все дело.

Да и так ли виноват был Бельский? Ведь никто сверху даже вопроса об этом не ставил. Этот вопрос задавал себе только сам Шавров. Вскоре он уже отвечал себе, что операция была очень тяжелая, воевать приходилось в условиях зимы и сильного обледенения грунта. Да и всем известно, что в одном и том же деле одному везет больше, а другому меньше. Он-то, Шавров, во всяком случае знал это. И чем ярче сверкала новинская звезда, тем равномернее распределялись свет и тени.

Кончилась война. Новинск по праву занял свое место в одном ряду с замечательными победоносными операциями. Но теперь вместе с гордостью у Шаврова появилось новое требовательное чувство — ревность. И Бельский нащупал и начал развивать это новое чувство, стремясь превратить ревность в подлинную страсть. Сначала осторожно, а потом все смелее и смелее он доставлял пищу для этого темного огня.

Бельский, с лицом серьезным и даже почтительным, вышучивал многие, весьма ценные описания боевых операций: «Написано-то это хорошо, слова красивые, но сама операция... да разве можно сравнить с Новинском!» Или, получив номер газеты с двумя подвалами, посвященными Шаврову, критиковал буквально каждую строчку: «Верных слов не нашли. Конечно, немало еще есть завистников...» Или заводил разговор о том, что кто-то пытается «умалить роль командира корпуса», или прямо говорил, что ему стыдно за людей, которые стараются присвоить себе заслуги Шаврова...

Для этой цели и была затеяна теоретическая конференция. Все то, с чем Шавров никогда бы не примирился раньше, все то, что претило здравому смыслу и вкусу, теперь стало возможным. Сам себе в том не признавался,

Шавров ждал этих разговоров и этих намеков и полунамеков, и если Бельский молчал, Шавров сердито кашлял и раздражался, и на следующий день снова возникала необходимость в их личном свидании.

Бельский был человеком расчетливым, а в таких делах расчет вполне заменяет ум: расположение Шаврова подымало Бельского в глазах подчиненных и должно было оказывать влияние на округ.

И все же главный расчет Бельского был в другом. Сосредоточенность Шаврова на одной, пусть замечательной, и в самом деле замечательной, боевой операции лишала его широкого видения, а следовательно, мешала обогащать свой опыт и развиваться. Бельскому эти добровольные шоры были дороже всего. Впервые в жизни его праздность, его неспособность к науке, его отвращение к движению мысли были странным образом регламентированы и поощрены. Впервые никто не смел смеяться над его ограниченностью и нерадивостью и жаловаться на его невежество и грубость. Он потому и не придал большого значения осенним осложнениям с Иваном Алексеевичем, что считал возможным все уладить начальственным окриком. Он потому и испугался так статьи Федорова, что гласность и грубый окрик несовместимы. И для того чтобы покончить со всем этим раз и навсегда, Бельский привез федоровскую рукопись к командиру корпуса. Ему не столько хотелось похвалиться своим усердием, сколько нужно было получить решительное слово Шаврова. Это слово, как щит, должно было прикрыть отзыв Рясинцева — Кирпичникова, отзыв, которому пора было дать ход.

Бельский поначалу ни слова не сказал об этом отзыве. Он знал, что Шавров не любит дешевой демагогии и можно легко испортить все дело. Он доложил о статье Ивана Алексеевича без ужимок и вообще без всяких восклицаний. Интонация его была скорее грустная, чем возмущенная. Конечно, Бельскому трудно даже поверить, что такая статья родилась в его дивизии, но он, Бельский, знает, как внимателен командир корпуса к теоретической учебе и росту офицеров, и возможно, что сам он захочет помочь комбату Федорову. Что же касается выпячивания роли генерала Северова в федоровской статье, то тут Бельский молчит... не мне же, мол, судить, кто Северов, а кто Шавров.

Прощаясь, он сказал, что просит разрешения оставить отзыв о статье, который написан группой офицеров дивизии, глубоко возмущенных. . .

Едва Бельский уехал, как Шавров взял статью Ивана Алексеевича и прочел ее, что называется, залпом. Дважды ординарец напоминал генерал-лейтенанту, что ужин ждет его, но Шавров ничего не слышал. И только поздно ночью он попросил подать ему в кабинет горячего чая, лимон и рюмку коньяку. Шавров, с тех пор как был ранен, страдал тяжелой сердечной болезнью, и врачи посоветовали маленькие дозы коньяку: расширяет сосуды.

Но сейчас Шавров предпочел бы стакан спирта. Впечатление от статьи Ивана Алексеевича было оглушающим. Первое, о чем он подумал, что Бельский оказался прав. Хотя отношения их за последнее время были весьма доверительными, Шаврову постоянно казалось, что Бельский в чем-то пересаливает, пережужимает, чересчур акцентирует, что предположения Бельского, которые тормозили большую ревность Шаврова, все-таки не всегда справедливы. Но, оказывается, Бельский прав. Перед Шавровым лежал документ, направленный прямо против него.

«Некоторые уроки»... Название настораживающее. Уроки? Да, уроки. . . И как раз эти некоторые уроки заключаются в том, что он, Шавров, поступал неверно. Можно, конечно, возразить, что неверно поступал командир дивизии Бельский, но Шавров не из тех, кто способен свалить вину на подчиненных. План операции был его, Шаврова. Это его операция, он за нее в ответе. Как будто военный читатель, прочитав «Уроки», назовет Бельского виновником задержки перед первой траншеей противника! Конечно же, он назовет Шаврова. Шавров и Новинск — это нераздельно, это навсегда. Да, так, навсегда. Слово, которое в молодости так пугало его — «навсегда», — это слово теперь, когда он стал стар, казалось ему прекрасным. Навсегда, на веки вечные, то есть и тогда, когда меня не будет. Это слово, это понятие — единственное оправдание жизни и единственное объяснение ее конца. Для того и дается жизнь человеку, чтобы у него был свой Новинск. Нет, он не может позволить, чтобы все рухнуло и чтобы о нем, о Шаврове, вспоминали толь-

ко в связи с «Уроками». Какие это уроки? Так, ясно, садитесь. . . А кто в это время командовал корпусом? Генерал-лейтенант Шавров. Так, ясно, садитесь. . .

Шавров резко отодвинул статью и встал. С этим кончено. Надо только подписать отзыв, или, как они там его называют, рецензию, и кончено. Впрочем, ведь Бельский сказал, что можно не подписывать, достаточно его согласия. . . Но это безразлично: согласие и подпись — это одно и то же. Он согласен, и кончено. «Кончено, кончено, кончено», — повторял он, шагая по своему темному кабинету.

Но ничего не было кончено. Шавров это понял через час, когда прочел отзыв «группы офицеров». Сначала он пробежал глазами этот отзыв (достаточно, чтобы ознакомиться!), потом прочел внимательно, прочел еще и еще раз, медленно вчитываясь и вдумываясь в каждое слово, а иные слова произносятся вслух.

Рукопись Ивана Алексеевича он так внимательно не читал. Едва начав ее, Шавров уже понял ход мысли, ее направленность; система слов была ему безразлична. Когда началась операция и определился неуспех Бельского и когда Шавров знал, что полк лежит на льду и не может подняться, он находил слова куда более гневные, чем те, которые нашел Иван Алексеевич через два года. . .

Но этот отзыв на двух листках, скрепленных булавоочкой, этот отзыв, напечатанный на машинке и никем не подписанный, Шавров вынужден был читать несколько раз подряд. Так, вот, значит, какая цена у бессмертия!

«Находятся люди, которые бросают ком грязи в героев», — читал Шавров, с трудом вспоминая командира роты, Федорова Ивана Алексеевича. Кажется, там, на льду, он был ранен, но поднял своих людей, а теперь, полюбуйтесь, бросает в них ком грязи. . .

«Клеветнические утверждения товарища Федорова о том, что дивизия не могла овладеть первой траншеей. . .» — читал Шавров. О да, конечно, мы могли овладеть первой траншеей, просто это не входило в наши планы. Наши планы — разрешите доложить — были такими, чтобы одна дивизия успешно штурмовала немцев, а другая лежала на льду под огнем. Не правда ли?

Прошел еще час. Шаврову все было ясно в этом отзыве, который ему предстояло скрепить своим согласием. Ясно было все, кроме, пожалуй, одной фразы. В отзыве говорилось о наших потерях и о неправильном подходе к этому делу со стороны товарища Федорова. Делались намеки на то, что существует какой-то новый подход к делу. . .

Но что же тут не понять? Смелей, смелей! Мысль ясная: «Потери были такими, какими они должны были быть». Но разве известно, какие должны быть потери и сколько человек должно погибнуть? Значит, нельзя сделать так, чтобы людей гибло меньше? Все просто и ясно: «Потери были такими, какими они должны были быть». И то, что Шавров остановил машину там, в Новинске, услышав рыдания старой женщины, и вместе с ней склонился над телом солдата, это все, значит, зря, это только минутная слабость, тема для писателя? Но он-то, Шавров, знает, о чем он думал тогда. Он-то помнит, что думал тогда о наших потерях, которые могли быть меньше. Так разорвать, сжечь эти подлые листки, этот отзыв, или, как там они его называют, рецензию. . .

А статья Федорова? На эту статью он сам ответит, он найдет другие слова и другой путь. Слова — может быть. . . Но другой путь? Шаврову уже было ясно, что третьего пути нет и что ему надо решать: либо — за, либо — против.

6

Утром, не было еще восьми, Маричев заехал за Шавровым. Он знал, что командир корпуса встает рано, к тому же начались учения в дивизии, которой командовал Северов, а Шавров не любил приезжать, как он говорил, к шапочному разбору, то есть к последнему этапу учения — к бою.

Прошлой ночью дивизия вышла в исходный район, и Маричев собрался ехать туда вместе с командиром корпуса. Он очень рассчитывал во время этой поездки откровенно поговорить с Шавровым о всех делах.

Едва он вошел в дом, как сразу почувствовал неладное. Адьютант Шаврова, с темным, заспанным и усталым лицом и с какими-то разбитыми движениями, откровенно признался Маричеву:

— Генерал совсем не спал. Два часа ночи — ходит, три — ходит, потом, слышу, — тихо, думал, что заснул, а он опять ходит и ходит. . . И меня к себе не пускал. . .

В это время вышел Шавров, уже в шинели и высокой мерлушковой шапке. Маричев взглянул на него и понял, что за сегодняшнюю ночь многое произошло. Как мы ни пытаемся скрыть следы душевной работы, они все равно выдают нас. Старое лицо Шаврова, все в каких-то сухих закаленных складках, изменилось за ночь: обвисшие щеки, потухший взгляд. . .

Никакого разговора между ними не получилось. Маричев считал, что после такой бессонной ночи надо дать Шаврову отдохнуть. В машине оба напряженно молчали. А как было все прекрасно вокруг них! По правой стороне шоссе стоял белый лес. После трехдневной метели маленькие придорожные елки стояли по макушки в снегу и были похожи на медвежат, забравшихся в сугробы. Слева от шоссе начиналось море. Пепельно-зеленоватый лед необозримо тянулся на запад и, казалось, прорубал линию горизонта. Где-то вдали дымили трубы, дым струился над фортами.

Маричев, едва увидев Шаврова, понял, что сегодня не стоит начинать разговор на трудную тему. Конечно, разговор этот неизбежен, но потребует от обоих много сил. При всем своем большом уважении к Шаврову, при том, что он безусловно доверял военному авторитету командира корпуса, при том, что долгое время Маричев считал себя не вправе вмешиваться в те вопросы, которые условно обозначил для себя понятием «фронтowego братства», при всем этом он решил как можно скорее высказать правду Шаврову, то есть все, что он думает о Бельском. Приход Ветлугина убыстрял события. Маричев понимал, что с каждым днем Бельский становился все более опасным тормозом: в скором времени может произойти так, что менее знаменитые в прошлом соседи обгонят корпус.

У Шаврова после бессонной ночи болели глаза, и он задернул шторку в машине. Хотелось переключить свои мысли на новый путь, на дела Северова, на предстоящее учение.

Это учение Шавров задумал еще осенью: прорыв сильно укрепленной полосы противника в условиях зимы,

сильного мороза и обледенелого грунта. В конечном итоге это означало второй Новинск. Мысль эту подал Бельский, вернее сказать, те осенние учения, которые провел Бельский у себя.

Повторение боевой операции было идеей заманчивой еще и потому, что офицерская молодежь пороку не нюхала, и воспитывать ее надо было на боевых традициях.

Но больше этого, то есть больше того, чего требовала действительность, было желание Шаврова заново все пережить. Если бы на то его воля, он бы сам командовал, но положено было командовать Северову, а Шаврову проводить учения.

Шавров с нетерпением ждал этого дня. Когда недавно, чуть ли не в самом разгаре зимы, растеплило, он сердился на погоду и радовался, когда все снова замерзло, земля стала гладкой, как каток, а потом начались снегопады, а потом снова мороз подбил шинели.

Не будь прошлой ночи, он бы и сейчас любовался сиянием крещенских морозов, когда все трепещет от холода и все уже создано для весны. Но теперь он задернул шторку и закрыл глаза. После ночи, которую он пережил, он никак не мог найти в своих мыслях хоть какое-нибудь живое место, хоть какую-нибудь жилку, в которой бы с прежней энергией билась идея повторить Новинск.

Он понимал, что в таком состоянии ему трудно будет руководить учением, и старался отогнать от себя ночные тревоги, но все его душевные силы были сосредоточены на решении одного мучившего его вопроса.

Может быть, сослаться на больное сердце? И без него проведут учение. . . Но станет ли от этого лучше? Станет ли лучше оттого, что он будет у себя дома, в Любозерске, а не в деревне Большие Павлики, где должен находиться штаб Северова?

Так, молча, они въехали в эту деревню. Здесь было очень оживленно. Много машин, груженных снарядами, машин с продовольствием, машин с кухнями на прицепах, автобусов медсанбата. Но Северова и его штаба они здесь не нашли. Большой двухэтажный каменный дом охранялся молодым солдатом в белом новеньком полушубке. На вопрос шофера он только усмехнулся:



— Генерала давно здесь нет. Смотрели связь и — вперед!

— Куда это вперед?

— Много будешь знать, скоро состаришься. КП командира дивизии — это военная тайна, как ты думаешь?

— Вот дурной, — сказал шофер, выходя из машины. — Я ж командира корпуса везу, не видишь?

— Сам ты дурной, — рассердился солдат. — А ну, давай поворачивай отсюда! — добавил он, с любопытством вглядываясь в фигуру Шаврова.

— Миша, оставьте его! — крикнул Маричев шоферу. — Он же не знает, найдем сами.

Шофер был очень недоволен. Уже сев за баранку, он крикнул солдату:

— Шубейку бы подтянул!

Северов, получив приказ командира корпуса, еще вчера решил подаваться вперед вместе с войсками. Палатки для штаба он ставить запретил, а приказал отрывать землянки. К тому времени, когда Шавров приехал в исходный район, почти вся дивизия была укрыта.

Северову показалось, что Шавров даже не заметил той огромной работы, какая была сделана за одну только прошлую ночь. Это странное поведение командира корпуса было и обидным и непонятным. Но Северов ошибался. Шавров, конечно, оценил быстроту, с которой дивизия укрылась от «противника». В другое время он бы обязательно сказал несколько слов, чтобы ободрить людей, но сейчас ему мешала все та же душевная скованность, которая заставляла его молчать всю дорогу.

Понравилось Шаврову, что Северов принимал отнюдь не все доклады подряд от начальников служб и командиров полка, а только те, которые он считал бесспорно важными. Понравилось Шаврову и то, что Северов перебил дивизионного инженера и потребовал короткого доклада: какими средствами дивизионный инженер обеспечит прокладку колонных путей для выдвижения артиллерии и танков после прорыва? И все же Шавров молчал.

Северову обижаться было некогда. Да и вообще все переживания становились недолгими, потому что надо было работать. Прошло не более часа, и даже присут-

ствии Шаврова перестало его стеснять так, как это было попервоначалу.

Северов работал хорошо — Шавров это видел. Видел он, что Северову нравится работа, что он увлечен ею. Шавров даже не думал, что Северов будет способен так увлечься операцией, воскресавшей Новинск. Конечно, Северов воевал тогда отлично и не сделал даже десятой доли ошибок Бельского, но Шавров считал, что для судьбы Северова Новинск был значительно меньшей вехой, чем для самого Шаврова или для Бельского. Этого «молодого человека», как всегда называл Бельский Северова, все равно не обошли бы. Такая уж «планида» у этого «молодого человека» — он всегда «в деле».

Днем Шавров поехал на передний край. И тут в поте лица своего трудились люди. Траншеи, наспех вырытые прошлой ночью, углублялись, строились подбрустверные блиндажи, вырубались ступеньки.

Шавров вылез из машины и пошел по брустверу траншеи. Отсюда до «противника», то есть до полка Камышина, было не более трехсот пятидесяти метров. Триста пятьдесят, триста метров по всей линии фронта. Северов остался верен себе. И что мог возразить командир корпуса?

«Триста пятьдесят, триста метров, — с раздражением вспомнил Шавров статью Ивана Алексеевича. — Триста пятьдесят, триста метров. . .»

Чем дальше шел он по брустверу траншеи, тем более в нем накаливалось раздражение. Как будто Северов нарочно подстроил так, чтобы прав оказался тот самый майор. . .

— Перекур, ребята, — услышал Шавров чей-то усталый голос снизу, из окопа. И сразу же несколько голосов весело подхватили:

— Перекур, перекур!

Шавров остановился. Дальше траншея делала петлю, и на самом изгибе строился блиндаж. Голоса, которые он слышал, были голосами солдат. Внизу закурили. Показались сизые дымки. Запахло казенной махоркой.

— Что, замучился? — спросил густой прокуренный голос.

— Да не я замучился, — ответил ему голос высокий и молодой. — Не я замучился, а ступеньки меня замучили. А ведь лед, братцы, ведь лед же, не сахар.

Ничего, казалось бы, не было примечательного во всем этом: самый обычный перекур. Ничего удивительного не было и в шутовой жалобе молодого солдата: не ко всякому труду сразу привыкаешь. Вырубить же ступеньки во льду не легко, совсем не легко. И все-таки Шавров остановился и стал слушать. Он слушал и прислушивался с каким-то особенным чувством, как будто это был разговор чрезвычайной важности.

Наверное, он не стал бы так внимательно прислушиваться, если бы не эти ступеньки. Он давно уже заметил, что ими здесь очень интересуются. При нем Северов спросил подполковника Седлецкого, делаются ли они, и хорошо ли делаются, и тут же прибавил: «Смотрите, сам приеду и взгляну». И вот тут снова эти ступеньки.

Шавров отлично понимал, какое значение для инженерного оборудования исходной позиции имеют ступеньки во льду. Зима. Свисток взводного, ракета или любой другой сигнал, указывающий минуту, когда ты должен выбросить себя из траншеи, но стенки ее обледенели, ноги скользят... Сколько лишних секунд потерял ты? Или, может быть, всего только одну секунду?.. Но ведь и этой секунды достаточно, чтобы опоздать. И ничего замечательного в том, что старый солдат объясняет это молодому. Но Шавров все стоял и слушал в какой-то странной, еще не совсем определившейся, но уже властной надежде услышать еще что-то, что имело для него большое и, может быть, даже главное значение. Он был внутренне совершенно подготовлен к тому, о чем пошла речь в следующую минуту.

— Повоевал бы с наше, так шуточки бы не шутил, — сказал тот, которого Шавров мысленно обозначил старым солдатом. — Наверное, девкам письма пишешь: мы новинские, мы краснознаменные, гвардейские. Пишешь?

— Пишу... — сказал молодой голос уже не так твердо.

— Ну, пиши, пиши... Только чего не знаешь, того не пиши.

— Я еще молодой, просился на войну — не брали. А историю нашей дивизии мы проходили, историю с нас тоже спрашивают... .

— Что было, то проходили, а вот что могло быть, того ни в какой истории нет, — отрубил старый солдат. — Первый день снегопад, второй день стоим — оттепель. А потом как ударит мороз! Двадцать градусов. Гололедица, ясно? А ведь сколько об этом броске мечтали: как перенос огня, так вперед и вперед, а тут. . . — Он остановился и сделал паузу, видимо для того, чтобы создать большее впечатление.

— Это я читал, — сказал молодой. — Это написано. Такой бросок был, что ни один фашист удержаться не мог.

— Еще бы! — самодовольно сказал старый солдат. — Но того в истории нет, что заминка была, что в кровь себя расцарапали, когда по гололедице на бруствер вылезали. Одна-единственная секундочка, а чуть было все дело не напортила. А еще бы одна такая секундочка — и все, стоп машина. Очнулся бы немец и по нам бы лупить стал. Урок, понял?

— Потому наш взводный так и старается, — сказал молодой.

— Взводный! . . . Это, знаешь, не в одном нашем взводе было.

Шавров круто повернулся и по тому же брустверу пошел назад к машине. Но он не прошел и сотни метров, как встретился с начальником инженерной службы дивизии, с тем самым Седлецким, который утром докладывал Северову. Седлецкий весь сиял. Он был, видимо, очень доволен, что командир корпуса расхаживает по его владениям, и попросил у Шаврова разрешения сопроводить его. Шавров разрешил, но объяснений старательного инженера слушать не стал. Он шел и думал, что зря повернул обратно, что надо было спуститься в блиндаж, где разговаривали эти два солдата. . . Да, надо было спуститься в окоп и поговорить втроем: «Подождите, ребята, успеете перекурить, дело серьезное».

Но тут же он возразил себе, что это выглядело бы фальшиво. Да ведь он и так слышал весь разговор, и что сказано, то сказано. Больше здесь нечего было делать.

Единственное, что он мог еще сделать, — это спуститься в окоп и накричать на старого солдата, который получал молодого. Вполне можно было накричать, что все

его поучения — это «клеветнический вздор». Конечно! Тем более что ни в истории части, ни в каких-либо других документах не значится, что пережили люди в первые мгновения боя. Не было этого, и все! Было только то, что дивизия успешно атаковала передний край противника и заняла первую траншею. И нечего здесь разводить «уроки», да еще мутить головы молодым солдатам. Это он, конечно, мог сказать, а затем, поднявшись на бруствер, услышал бы негромкое: «Быть-то оно было, конечно...» Обратного в окоп прыгать незачем, вполне можно сделать вид, что не расслышал.

Шавров сел в машину и, не закрывая дверцу кабины, протянул руку дивизионному инженеру:

— Спасибо, товарищ Седлецкий.

Седлецкий еще больше вытянулся:

— Будьте благонадежны, товарищ генерал-лейтенант. Уроки Новинска мы хорошо помним, подобных ошибок не повторим.

— Как, как вы сказали? — переспросил Шавров.

— Я говорю, хорошо помним, товарищ генерал-лейтенант... .

Шавров все еще держал дверцу машины открытой. Похоже было, что он очень заинтересовался словами Седлецкого, в особенности последней его фразой.

— Какие же тогда были ошибки? — спросил Шавров. — Я вас попрошу доложить мне, как вы это дело понимаете... .

Седлецкий был не из тех людей, которые задумываются над тем, почему и отчего приказывает начальство. Требуется — значит, надо. К тому же внимание, с которым Шавров его слушал, было ему очень лестно.

— Основной ошибкой в подготовке операции является недостаточное инженерное оборудование исходных позиций, — начал он, явно щеголяя своим докторальным тоном. — Никакие ссылки на время, то есть на отсутствие такового, не могут нас извинить... .

— Ступенечки? — спросил Шавров.

Седлецкий отлично его понял.

— Так точно, и ступенечки, мы их под Новинском не сделали, а тут оттепель, а потом снова мороз... .

Совпадение с тем, о чем говорили солдаты, было полное. Но сейчас для Шаврова главное было в том, что такое совпадение не является случайностью. Любителей

послушать простой, но умный солдатский разговор у нас хоть отбавляй, иной даже прихвастнет перед начальством: вот, дескать, какова она, народная мудрость! Но мало кто умеет превратить меткое солдатское наблюдение в приказ. То, о чем толковал старый солдат с молодым, здесь, в дивизии Северова, по-видимому, уже стало приказом.

Седлецкий перечислил все то, чего не хватало в инженерном оборудовании во время войны, и сказал:

— К сожалению, товарищ генерал-лейтенант, эта траншея тоже не дает полного представления, так как еще не закончена. Но можно проехать в полк к Семенихину, и если генерал-лейтенант...

— Да сейчас же туда и поедem, — сказал Шавров. — Садитесь в машину, товарищ Седлецкий.

Шавров не собирался в полк Семенихина, во всяком случае сегодня не собирался. Но планы его переменились. Еще не так давно, еще только сегодня утром он по обязанности наблюдал за работой Северова и по обязанности ездил по дивизии, не в силах преодолеть странное свое равнодушие к боевому учению, им самим задуманному. Сейчас словно свежий ветерок подул. Он и сам не мог определить направление ветерка, откуда эта свежесть. Просто ему стали интересны соображения Седleckого и интересно было ехать к Семенихину, интересно было узнать, что делается в этом полку, который больше всех отличился под Новинском и был назначен теперь для первого броска.

Семенихина они не нашли ни на переднем крае, ни на командном пункте полка.

Дежурный по штабу офицер доложил, что все на учении в первом батальоне.

— В первом батальоне мы уже были, — сказал Седлецкий, с особым значением выговаривая «мы», объединявшее его с командиром корпуса.

— Никак нет, товарищ инженер-подполковник, — ответил дежурный офицер. — Мы отсюда вашу машину наблюдали. Вы впереди были, а они позади. Разрешите доложить, — продолжал он, не зная, к кому обращаться — к Шаврову или к дивизионному инженеру. — Полковник Семенихин в тылу, на Куракином поле, на учении. В по-

рядке подготовки к выполнению задачи, — пояснил он, словно оправдываясь.

Шавров приказал немедленно ехать на Куракино поле. Седлецкий был этим недоволен. Там по его части не было ничего такого, чем он мог бы блеснуть. Там, в поле, были вырыты три глубокие траншеи, условно обозначавшие передний край «противника». Рытье таких траншей — труд очень тяжелый и не любимый солдатами. Одно дело, когда ты роешь блиндаж для себя и оборудуешь свой окоп укрытием и ступеньками, — это ведь для того, чтобы тебе было удобнее; другое дело, когда ты в зимнюю стужу роешь «могилу фашистов», так называют в этих случаях солдаты «передний край противника». Такую «могилу», как нарочно, всего быстрее заносит снегом и забивает землей, и вот изволь снова браться за лопату.

Шавров всю эту науку хорошо знал и понимал, что, если Северов, несмотря ни на что, приказал таким манером отрабатывать атаку, значит, на то имелись серьезные причины.

«Какие же это были причины?» — спрашивал себя Шавров. В полку Семенихина большая часть людей были участниками войны и из отличившихся самые отличники. На этих людей можно было вполне рассчитывать, и Северов поступил правильно, назначив полк в первую линию. Когда дежурный офицер доложил, что командир полка отрабатывает атаку, у Шаврова мелькнуло одно предположение, но он его не развивал, а наоборот, мысленно тушил. Очень уж ему хотелось, чтобы было именно так, как он о том подумал.

Наблюдательный пункт Семенихина находился на опушке леса, а дальше начинались просторы Куракина поля. Когда Шавров вошел в холодную, наскоро поставленную палатку Семенихина, тот изо всех сил растирал снегом отмороженную щеку. Щеку он отморозил еще во время войны, а сегодня с утра он был в поле и сгоряча не заметил, что мороз сильный. Теперь все, кто был в палатке — и штабные офицеры, и писаря, — давали ему самые различные советы.

Увидев Шаврова, Семенихин тотчас же бросил рукавицу, приободрился и доложил.

— Крепко вы подморозились, — заметил Шавров. — А я как раз хотел предложить вам погулять.

— Что вы, товарищ генерал... Я с превеликим удовольствием...

— Да нет, совершенно незачем. Дайте кого-нибудь из ваших офицеров. Пусть сопровождает меня, и все. Хочу на ваше учение своими глазами взглянуть.

— Э-эх, досада, — сказал Семенихин, снова схватившись за больную щеку. — Только что людей отпустил. Быстро узнать, не ушел ли батальон, — приказал он. — Отставить. Слышно: поют — уходят. Но можно вернуть, товарищ генерал. Только я полагаю... с утра ведь люди...

— Не надо, — ответил Шавров, — вы лучше расскажите, какую задачу вам поставил командир дивизии и как вы ее поняли. Вы садитесь, товарищ Семенихин, я от вас полного доклада не требую. Что называется, «своими словами» и коротенько.

— Ясно, товарищ генерал. Отрабатываем атаку на сильно укрепленную полосу «противника». Примерно та же задача, какая под Новинском была, только уж известно, что «противник» посильнее. Так сказать, ученый «противник», товарищ генерал. Отрабатываем атаку, и до сего часа я как командир полка, если своими словами сказать, недоволен. Недоволен. Повторяем ошибки, товарищ генерал-лейтенант. Однако надеюсь...

— Ошибки? — перебил Шавров. — Вы говорите, ошибки?

— Имею в виду задачи, решаемые эшелонами. Мы под Новинском отдельные очаги сопротивления уничтожали первыми эшелонами и из-за этого снизили темп наступления. Нам бы вперед да вперед, а очаги сопротивления оставить для вторых эшелонов... Здесь, конечно, ошибочка вышла. Разрешите доложить, товарищ генерал-лейтенант, мы сейчас иначе делаем...

Семенихину, видно, трудно давался «вольный тон», и он решительно перескочил на доклад. Докладывал он с удовольствием и, казалось, перемалывал своими яркими белыми зубами самые трудные формулировки и самые длинные периоды.

Шавров больше его не перебивал. Внешне он слушал очень внимательно, но на самом деле был сосредоточен не на этих знакомых формулировках, а на том единственном выводе, ради которого (теперь он в этом себе сознался) и приехал сюда, Семенихин считает, что



там под Новинском, им, его полком, была допущена ошибка.

Ошибка? Шавров вспомнил, как тогда ему передал по радиации Северов: «Семенихин занял первую траншею. Перехожу на прием». Шавров только сказал: «Передай благодарность. Если можешь, прямо туда, вперед, людям» — и вышел из землянки на воздух. Ему незачем было выходить на воздух, да и немцы в это время нащупывали КП корпуса, где-то рядом ложились снаряды. Но ему не хватало воздуха, ему нужен был воздух, много воздуха. Он был счастлив: первая траншея. . . Семенихин. . . Он всем своим существом чувствовал победу. Это была одна из лучших минут его жизни. В ста метрах от него разорвался снаряд, и Шавров подумал: «Нет, не мой, да и нельзя меня сейчас». Ординарец втащил его в землянку. А что чувствовал тогда Семенихин? То же, что и он, конечно! После трех лет немцы побежали. Немцы побежали, первая траншея наша. . .

И вот теперь Семенихин докладывает ему об ошибках, об уроках, а он, Шавров, слушает и вспоминает тот веселый морозный воздух, воздух победы, пахнувший весной, щекочущий горло, наполненный каким-то теплым звоном — малиновым, серебряным, золотым. . .

Начинало смеркаться, когда они вышли из палатки. Вокруг них стояли полковые вездеходы, заиндедевские и похожие на какие-то сказочные колесницы. В глубине, на горизонте, еще горело солнце, а здесь, прямо над головой, начинала входить в силу большая спокойная луна. В сумеречной тишине попрощались, и Шавров приказал ехать на свой командный пункт.

7

Вечером Шавров пригласил в свой штабной автобус Северова. Вместе с ним пришел и Маричев (они весь день провели вместе).

Ужин был готов. Шавров радушно пригласил всех к столу. Он держался весело, и Маричев про себя заметил, что от утренней скованности и следа не осталось. Хотя и предупреждал Шавров, что не по делу вызывает Северова, а почаевничать, но ясно было, что от делового раз-

говора сегодня никуда не денешься. Однако всем было приятно, что Шавров в хорошем настроении: смеется, шутит и сам налил каждому по рюмке своего драгоценного «медицинского» коньяку.

— Мне у вас понравилось, Николай Степанович, — сказал Шавров Северову, и все сразу притихли. Такое прямое поощрение от командира корпуса не часто доводилось слышать, а в отношении Северова Шавров всегда был сдержан. — Мне понравилось, как вышли в район учений, понравилось, что сразу начали подготовку, а главное, дух людей, их желание сделать хорошо, лучше, чем раньше. — Последнюю фразу он подчеркнул, быстро и прямо взглянув на Северова.

Северов внимательно и с уважением слушал Шаврова. Он, конечно, заметил, что тот подчеркнул последнюю фразу, но только Маричев, зная о статье Ивана Алексеевича, понимал, почему Шавров так многозначителен.

— Да, надо сделать лучше, — ответил Северов.

Шавров помолчал с минуту, потом перевел разговор на другую тему. Он восхищался Ленинградом, в котором не был со времен кронштадтского мятежа. Рассказчик он был интересный, и слушали его с удовольствием, но в этой его живости нет-нет да и проскальзывала озабоченность. Маричев уже спрашивал себя, не нарочно ли отвлекается командир корпуса от того главного, ради чего он пригласил их к себе. Внезапно Шавров оборвал себя и, снова быстро и прямо взглянув на Северова, сказал:

— Вот вы говорите: «сделать лучше, чем было раньше», ваши подчиненные говорят более откровенно: «не допускать ошибок». Ошибки вашей дивизии — мало обращали внимания на инженерное оборудование переднего края, задержались в первой траншее, снизили темп, добывать надо было вторыми эшелонами, а у вас в дивизии этим занялись первые. . . Так?

— Да, так, справедливо, товарищ генерал-лейтенант.

— Справедливо? Прекрасно! Писателя у вас нет в дивизии? — спросил Шавров.

Северов удивился:

— Писателя? Кажется, нет, товарищ генерал-лейтенант. Редакция у нас неплохая, люди подобрались грамотные, но не писатели. Нет, не писатели. . .

— Жаль, — сказал Шавров, — было бы это неплохо. А что, в самом деле, Николай Степанович, вы бы раз утром проснулись, а вам к завтраку статью... ну, какое-нибудь название, вроде «Некоторые уроки»?.. Интересно, как бы вы к автору такой статьи отнеслись?

— Да я, кажется, неплохо к нему отнесся, — ответил Северов, спокойно встретив испытующий взгляд Шаврова. — Вы, товарищ генерал, майора Федорова имеете в виду?

— Допустим.

— Если Федорова, так я считаю, что он дельный человек и работа его интересная...

— Так, значит, правда, что это... с вашей... помощью?

— Помогал сколько мог и не жалею. За это время столько нам ладана кадили, что свечей не видать. Что ж кадить-то беспрерывно? Мы сами знаем, что воевали хорошо и победили. Пора бы и о некоторых наших ошибках поговорить, чтобы не повторять.

— А знаете вы, товарищ генерал, — спросил Шавров, — что за все ошибки не вы, и не ваш Седлецкий, и не Семенихин в ответе. В ответе я.

— Не больше, чем в успехах нашего корпуса, — сказал Северов, тоже прямо ответив на взгляд Шаврова. — И успехи были наши общие, общие и ошибки.

— Вы... так думаете? — спросил Шавров.

Лицо его выражало не только глубокую заинтересованность, но и старую боль. Эта боль не утихла и после того, как он остался один, и тогда, когда отослал ординарца и лег на свою походную койку...

Весь следующий день Шавров провел в дивизии Северова, а вечером приказал шоферу ехать к Камышину. Командира корпуса здесь не ожидали, тем более в такой поздний час. Считали, что он вообще не придет, потому что операция наступательная, а камышинский полк «сидит» сегодня в обороне и никакого интереса не представляет.

Шавров видел, что Камышин взволнован и суетится по поводу ужина, но у него была своя цель приезда, и он сказал, что будет ужинать только после того, как осмотрит линию обороны. Камышин поспешно разложил на столе карту: батальон Федорова, батальон Лебедева, батальон...

— Пойдемте к Федорову, — сказал Шавров.

— Слушаюсь, товарищ генерал-лейтенант. Может быть, возьмете полушубок? К вечеру мороз стал сильнее.

— Нет, я привык. Это тот самый Федоров, который под Новинском был ранен, ротой командовал?

— Так точно, товарищ генерал-лейтенант, командовал и был ранен. Отличный, знающий офицер, учится, растет, постоянно работает над собой.

— Посмотрим, посмотрим, — сказал Шавров. — Сейчас посмотрим. . .

За эти двое суток Шавров столько раз мысленно повторял фамилию Ивана Алексеевича, что ему не терпелось его увидеть. Но едва он пришел в батальон и увидел Ивана Алексеевича, как почувствовал разочарование.

«Такой. . . обыкновенный. . .» — чуть ли не с обидой подумал Шавров. Однако не рассчитывал же он увидеть какого-то феномена с горящими фосфорическими глазами? Конечно, нет. Но уж очень часто Шавров видел таких людей. И это круглое лицо, и эти серые живые глаза, и русый клочок, выбившийся из-под шапки. . .

Шавров довольно вяло поинтересовался строительством оборонительного рубежа и ничего не ответил на замечание Ивана Алексеевича, что линия обороны будет крепче немецкой. Бывший тут же посредник, военрук из гражданского вуза, подтвердил, что «да, верно, оборона у них не подкачает. Пока я их отсюда сам не снимаю, они ни под каким видом не уйдут».

Шавров молчал, молчали вокруг него, и это ему было неприятно. Как будто бы Шаврову и делать здесь, в обороне, нечего, а вот же забрался сюда на всю ночь. Как будто все уже решили, что он приехал сюда только для того, чтобы взглянуть на комбата Федорова, бывшего командира роты под Новинском.

— Товарищ Федоров, — обратился Шавров к Ивану Алексеевичу, и все насторожились, видимо ожидая новых распоряжений. — Товарищ Федоров, попрошу вас после окончания учений, то есть послезавтра в десять утра, быть у меня.

— Слушаюсь, товарищ генерал-лейтенант, — сказал Иван Алексеевич. В ночной тишине его голос прозвучал очень громко,

На ночь Шаврову отвели пустовавший во время учений домик лесничего. Печку топили весь вечер, она раскалилась и пылала. Воздух нагрелся, но из окон и с пола так дуло, что даже в генеральские бурки забирался холод. Притащили письменный столик, покрытый чистым листом бумаги, поставили полевой телефон, установили рацию. Шавров связался со своим штабом, передал приказания и распорядился, чтобы все новое сообщали ему сюда. Теперь пора было и отдохнуть. У него все тело болело от езды на «виллисе». Но едва он стал устраиваться, как в дверь домика постучали, ординарец побежал открывать, и Шавров услышал негромкий голос Камышина:

— Что, уже отдыхает генерал?

— Только что лег. . .

Шавров прислушался.

— Войдите, товарищ Камышин! — крикнул он. — Что там случилось?

— Прошу меня извинить, товарищ генерал. По личному вопросу. Разрешите обратиться?

Шавров очень удивился. Час назад Камышин проводил его сюда и все хлопотал о ночевке, о бумаге, чернилах и рации и лично проверил связь. Они вместе поужинали, и Камышин, кажется, не чувствовал никакой необходимости в разговоре по личному вопросу.

Шавров взглянул на командира полка. Тот был очень бледен. Какой-то мрачно-решительный взгляд. Как будто бы человек перед тем, как прийти, долго мучился.

— Я виноват, товарищ генерал, что так поздно, но. . .

— Снимайте шинель и садитесь, — коротко сказал Шавров и отослал ординарца.

Он несколько раз прошелся по комнате, искоса поглядывая на командира полка, который никак не мог растегнуть шинель. Шавров давно знал Камышина, еще по довоенным временам, и симпатизировал ему. Он был знаком с женой Камышина, знал и о сыне-студенте, который подавал такие большие надежды. Командир полка был известен как человек положительный, спокойный, и его бледное лицо и сверкающие глаза удивили Шаврова. Он усадил Камышина и спросил участливо:

— Что-нибудь дома случилось? Кто вас может заменить на учениях?

— Нет, дома у меня все благополучно... Совершенно благополучно, — ответил Камышин, как показалось Шаврову, несколько поспешно. — Я не за этим... Я... У меня... у меня на душе тяжесть, большая тяжесть.

— Вы не торопитесь, пожалуйста, соберитесь спокойно с мыслями.

— Нет, я... прямо. Вы разрешите — я лучше прямо. Несколько дней назад один мой подчиненный, он... В общем, один офицер в моем полку написал статью. Так... некоторые вопросы. Он дал мне прочесть и просил совета, так сказать консультации, просил, чтобы пока что ознакомился только я. И вот эту его статью командир дивизии, командир нашей дивизии... Словом, эта статья находится теперь у генерал-майора Бельского.

У Шаврова весь сон пропал. Он еще ничего не знал, он только предполагал, что есть что-то, чего он не знает, что есть какая-то правда, которую ему необходимо добыть, и был очень заинтересован.

— Вы что же, передали командиру дивизии для прочтения? — спросил Шавров.

— Не совсем так, товарищ генерал. Командир дивизии увидел рукопись у меня, заинтересовался и взял...

— То есть генерал Бельский попросил дать ему почитать статью и вы ему отдали. Так?

— Да, в общем, так... Мое положение в таком случае...

— Ну, вы очень щепетильны, Камышин, — весело сказал Шавров. — Ничего особенного не произошло. Командир дивизии прочтет и вернет вам рукопись и свои замечания. Что же касается вашего офицера, так ведь для него даже лучше: две консультации. Не правда ли? Нет, вы тут ни в чем не виноваты, — с веселым оживлением продолжал Шавров. — Вызовите этого офицера, объясните все как было, и он вам только спасибо скажет.

— Нет, — ответил Камышин, — за это он мне спасибо не скажет.

— Вот как! Но почему? Я вас не понимаю...

— Статья эта затрагивает вопросы, которые генерал Бельский не считает нужным поднимать или

дискутировать, тем более в печати. Поэтому... — он замялся.

— Ну-с? — спросил Шавров.

— Что, товарищ генерал-лейтенант?

— Я жду. Какие же это вопросы, давно решенные и совсем не дискуссионные?

Камышин помолчал с минуту. Потом, не глядя на Шаврова, тихо сказал:

— Новинская операция, товарищ генерал-лейтенант.

— Новинская? — переспросил Шавров. — Что же доказывает ваш подчиненный, что такой операции вообще не было?

— Что вы, товарищ генерал-лейтенант. Просто в этой статье он делает разбор некоторых недостатков. Его точка зрения такая, что некоторая задержка, возможно, зависела...

— «Некоторая задержка», «возможно»... — негромко повторил Шавров. — Так это и есть точка зрения вашего офицера?

— Да, да, — подтвердил Камышин, не замечая иронии. — Комбат Федоров однажды уже... словом, осенью, на учениях, генерал Бельский был им очень недоволен...

— Я об этом слышу впервые, — сухо заметил Шавров.

— И другой раз, на теоретической конференции, командир дивизии снова был очень недоволен этим офицером...

«Как же могло случиться, что вот именно этого-то я и не знаю?» — с горечью подумал Шавров и спросил:

— В чем же была вина Федорова на этой конференции?

— Тут, собственно, не о виновности речь, товарищ генерал-лейтенант. Майор Федоров взял вопросы взаимодействия пехоты с танками и артиллерией и показал... Это вызвало недовольство генерал-майора Бельского и суровый ответ...

— На этом бы и конец, а он взял да и статью написал, так?

— Так, товарищ генерал-лейтенант. И меня угнетает, что статья эта, помимо воли автора, через меня и, следовательно, по моей вине, попала к командиру дивизии, который, как я это понимаю, настроен против.

Шавров внимательно взглянул на Камышина. Для него было несомненно, что тот глубоко страдает. Но странное, противоречивое чувство владело Шавровым. Он, конечно, догадывался, что Бельский был груб и оскорбил командира полка, и в то же время Шавров как-то не доверял переживаниям Камышина. Он вдруг вспомнил, как когда-то, кажется в самом начале двадцатых годов, группа делегатов окружной конференции была приглашена на место Курской аномалии. Шавров испытывал тогда чувство, подобное нынешнему, увидев, что стрелка компаса, которой он верил безусловно, на его глазах прodelьвает черт знает какие кульбиты.

— Чего же вы сейчас хотите? — спросил Шавров, внимательно разглядывая бледное лицо и плотно сжатые губы Камышина.

— Чего я хочу? — переспросил Камышин. — Могу сказать. Хочу, чтобы вы, товарищ генерал-лейтенант, сами ознакомились с этой статьей.

— Это ваше желание уже исполнилось, — сказал Шавров. — Статью майора Федорова я читал.

— Вы, товарищ генерал-лейтенант?

— Да. Прешлой ночью. Прочел, и даже дважды. И очень интересуюсь вашим мнением.

— Моим?

— Конечно. Вы разве не читали статью?

— Читал... то есть нет... Я...

— Не пойму я вас, товарищ Камышин, — сказал Шавров. Но он все лучше и лучше понимал, что происходит с Камышиным, словно бы чей-то голос подсказывал ему причину этой душевной аномалии. — А генерал Бельский разве не спрашивал вашего мнения о статье?

— Генерал-майор Бельский? Спрашивал. Но я... Дело в том, что я читал мельком, больше просматривал, чем читал...

— И сказали командиру дивизии, что статью не прочли?

— Да... — чуть слышно ответил Камышин.

— И то же самое вам, вероятно, пришлось ответить майору Федорову, не так ли?

— Да...

— А что скажете вы мне, товарищ Камышин? — спросил Шавров. Он долго ждал ответа, не дождавшись, покачал головой, — Все-таки поразительно, ведь вы пришли



для того, чтобы душевно поговорить со мной, поговорить потому, что ведь сами понимаете, как нехорошо получилось... Наверное, мучились эти дни: отдали чужую статью, которую вы, в сущности говоря, и отдавать не имели права. А главное, отдали заведомо на провал. А теперь что? Повиниться решили? Что ж, это вы правильно придумали. Но ведь вы не только повиниться пришли, но еще и помочь Федорову, просить меня прочесть и защитить интересную, важную статью. Почему же вы свое мнение прячете? Только потому, что я уже прочитал и свое мнение имею? А вдруг разойдемся? Значит, «кажинный раз на этом самом месте»? В противоречие с моим мнением боитесь стать? Ну а если у меня нет еще своего мнения, тогда что? Прочел я статью, а мнения своего не составил. Ошеломительно — не спорю. А мнения еще нет. Помогите мне, Камышин, а? Ведь вы, поди, не раз думали над этим вопросом. Еще осенью на учениях думали, а потом на конференции. Почему же я за вас должен решать? — Снова он подождал ответа Камышина и снова, не дождавшись, прошелся по комнате. — Генерал Бельский был у меня вчера. Оказывается, клевету и напраслину этот ваш плечистый майор написал. Что это вы вздрагиваете? Ежели у вас своего мнения нет, так нечего от чужого вздрагивать. Конечно, мнение это будет стоить майору Федорову не дешево. Но вы-то встанете на его защиту? Наверяд ли... А должны бы. Вспомните, Камышин, как приятно было на льду лежать! Я ведь вашу земляночку помню, бывал, и вас помню. Выражение ваших глаз помню. Вы человек храбрый. А сегодня? Исповедь — ведь это сладко, ох как сладко, а драться за свое мнение ох несладко, ох как несладко!..

— Товарищ генерал-лейтенант, — сказал Камышин. — Как бы я ни был неправ перед вами, перед самим собой, как бы я ни малодушничал, но все же вы мне скажите: вы майора Федорова под свою защиту возьмете? Могу я на это надеяться, скажите мне, могу?

Шавров взглянул на его лицо, все в мелких каплях пота, и отвернулся:

— Ничего не скажу вам, товарищ Камышин, ничего. Разговор этот закончен. Идите!

— Товарищ генерал-лейтенант... .

Но Шавров уже не слушал его. Он даже не заметил, как Камышин ушел из домика лесничего. Вот, значит,

как обернулась рукопись майора Федорова, вот где та правда о Бельском, которая была от него скрыта и которую он обязан был знать. Он обязан был знать, на что Бельский способен!

Так, значит, эта история тянется с осени? Так, значит, это мнение Бельского закреплено на тех двух листках, напечатанных на машинке? Не для славы Новинска, а для себя старался Бельский. Какое страшное растление души! Но разве в этом виноват только Бельский? «А я? — спросил себя Шавров. — Если бы Камышин был совершенно уверен во мне, разве уступил бы он Бельскому?»

Этот домик лесничего казался Шаврову необычайно тесным и душным. Жар от раскаленной печки сдавливал голову. Хотелось чистого снега, движения, свободы. Еще часа два он ходил назад и вперед по комнате и наконец разбудил ординарца:

— Светает, едем. . .

Была ночь, и только вдалеке, на самом краю неба, виднелась узкая серая полоса рассвета. На ней низко, почти касаясь земли, горела красная звезда. Еще по всей земле лежали крепкие январские снега и по-зимнему звонко звенела дорога, а воздух уже был сырой, мартовский, и в нем густо бродили весенние запахи.

И под Новинском тоже начинали в это время, и тоже был сильный мороз, и так же, как сегодня, горько и сладко пахло весной, и это создавало особое, значительное и даже торжественное настроение. Но чем больше все вокруг напоминало Шаврову о прошлом, тем с большей решительностью он заставлял себя сосредоточиться на предстоящем деле.

Машина сделала глубокий объезд и, миновав передний край «противника», выехала в перелесок. Отсюда до КП Северова было прямо и недалеко. Но Шавров приказал остановить машину и вышел. Где-то здесь он был третьего дня. Шел по брустверу и слушал разговор двух солдат, а потом встретил дивизионного инженера. Да, где-то здесь. . .

Шавров взглянул на часы. Времени до артиллерийской подготовки оставалось немного. Серая полоса рассвета уже заняла половину неба. Он задумался. Все больше и больше Шаврова притягивала эта траншея, откуда, как он считал, «все началось».

Глаз у него был опытный и улавливал самые незначительные приметы. Очень скоро Шавров нашел то самое место, где траншея делает петлю. Только теперь он шел не по брустверу, а по дну траншеи. Пока он шел, его никто не узнавал: на теплую венгерку с генеральскими погонами была накинута камуфляжная плащ-палатка. Но едва он остановился, как его сразу же узнали.

Командир взвода — лейтенант, почти мальчик, легкий, как воробышек, — подбежал и доложил, что взвод готов к выполнению боевого задания. Шавров выслушал командира взвода и задал ему несколько вопросов. В то же время он пристально разглядывал солдат, стоявших в положении «смирно». Вокруг него была такая молодежь, что, наверное, никто из них больше полугода в армии не служил. Кто же из них третьего дня вырубал ступеньки во льду? Чей разговор он тогда подслушал?

— Вольно! — приказал Шавров. И стал расспрашивать солдат, знают ли они боевой приказ.

Молодой лейтенант стоял неподалеку, и каждый раз, когда солдат отвечал, он весь нахохливался от внутреннего напряжения, а когда Шавров получал правильный ответ, то энергично поджимал губы. И это еще больше делало его похожим на воробышка.

Оказалось, что не только во всем взводе никто не воевал под Новинском, но и во всей роте нашлось лишь трое участников: командир роты, старшина и один помощник командира взвода.

«По всей вероятности, я спутал, это другая траншея, — подумал Шавров, — а может быть, это старшина поучал тогда молодых солдат... Да и вообще — не все ли равно...»

Шавров даже был рад, что попал в такой молодой взвод и в такую роту, где только трое знали, что такое война. Настроение его стало вполне деловым, и он тщательно записывал свои наблюдения, особенно во время артподготовки.

Оставались считанные минуты до броска, до атаки, нервное напряжение в эти минуты охватило каждого человека, который теперь должен был показать, на что он способен. Минуты эти потому и называются считанными, что остается еще немного сосчитать — и все. И эти счи-

таннные минуты для всех одинаковы — и для командира корпуса, и для рядового.

Молодой лейтенант совершенно перестал интересоваться Шавровым, он что-то говорил солдатам, переходя от одного к другому, а потом словно замкнулся в себе и только слушал время.

Шавров вместе со всеми выскочил из траншеи. Но он не мог пробежать вместе со всеми триста метров, отделявшие дивизию от «противника», — мешало больное сердце. Он медленно шел вперед, а за ним шла его машина с белым флажком.

Шаврову очень не хотелось терять из виду взвод, в котором он только что провел больше часа. Сначала он видел тоненькую фигуру «воробышка», потом заметил автоматчиков, потом еще что-то мелькнуло знакомое и скрылось.

«Они уже там, к «противнику» ворвались. . .» — сообщал Шавров, махая платком машине, чтобы шла за ним.

Все новые бойцы бежали вслед за первыми, которые уже дрались в «неприятельской» траншее, и, когда Шавров дошел до переднего края «противника», он не нашел здесь ни «воробышка», ни знакомых солдат, а орудовали солдаты незнакомые.

«Посредник, наверное, вывел их из строя, — подумал Шавров. — Уж это обязательно так», — думал он, почему-то сердясь на посредника. И как раз в это время увидел впереди себя «воробышка», живого и невредимого и что-то азартно кричащего.

«Собирает взвод. . . Рассыпает людей. . . За танками держится. На вторую траншею метит», — думал Шавров. Он сел в машину и по шаткому мостику, уже кем-то переброшенному через траншею, махнул вперед. Здесь было очень много снега, и машина почти сразу завязла. Шавров снова выскочил и, борясь со снегом, стал пробираться вперед, ко второй траншее, снова потерял из виду знакомый взвод, но не успел огорчиться, как увидел «воробышка», уже по другую сторону второй траншеи.

Шавров остановился. У него бешено колотилось сердце. Папаха взмокла от пота. Он снял ее и рукавом вытер лоб. Подошел посредник, тот самый, с которым он вчера разговаривал, военрук из гражданского вуза.

— Сила, а, товарищ генерал-лейтенант? — сказал он, тоже любуясь атакой.

— Что же вы, — спросил Шавров, тяжело дыша и слушая свое сердце. — Ведь вчера хвалились обороной?

— Ничего не попишешь, — с достоинством ответил посредник. — Победа заслуженная. Смотрите, товарищ генерал-лейтенант, они уже КП батальона сюда перетаскивают.

Больше Шавров не следил за знакомым взводом. В узком «чужом» окопчике нашел КП батальона. Совершенно седой майор сидел на корточках перед рацией и, по-видимому, слушал приказ. Он не заметил, как командир корпуса спустился в окопчик и взял вторую трубку.

Шавров сразу же услышал голос Семенихина, очень характерный, протяжный и немного окающий.

— Командир первого батальона, командир первого батальона, — гремел в трубку Семенихин. — Рано закрепляйтесь, рано закрепляйтесь. Ваша цель — третья траншея, ваша цель — третья траншея. Действуйте смело, не задерживайтесь, уничтожайте «противника», смелее продвигайтесь в глубину.

Седой майор бросил наушники и, видимо, хотел выскочить из окопчика, но тут увидел Шаврова:

— Товарищ генерал-лейтенант. . .

Шавров нетерпеливо перебил его:

— Вы слышали, что приказал командир полка?

— Так точно, товарищ генерал-лейтенант.

— Повторите!

— Действовать смело, уничтожить «противника», продвинуться в глубину и овладеть третьей траншеей.

— Идите, выполняйте, — сказал Шавров. — Стойте. — Он шагнул к майору, притянул его к себе и крепко пожал ему руку.

И все учение, и потом, на разборе, и позже, когда вместе с Маричевым возвращался домой, он все время вспоминал эти слова. То первое умиление, которое Шавров почувствовал в тесном окопчике, где с трудом помещались трое — он, седой майор и радист, это первое умиление давно прошло, и теперь он испытывал чувство куда более сложное.

Домой, в штаб корпуса, Шавров и Маричев вернулись поздно ночью. Маричев выглядел очень усталым. Глаза совсем западали, и он время от времени проводил рукой по отяжелевшим векам. Шавров, напротив, держался бодро, и никак нельзя было сказать, что он почти три ночи не спал.

Шавров медлил прощаться, и Маричев чувствовал, что ему хочется говорить.

— Вы ведь еще, кажется, живете по-холостяцки, может быть, зайдем ко мне, вместе поужинаем?

— Я с удовольствием.

«Да он в самом деле двуличный, — думал Маричев, подымаясь по лестнице за Шавровым. — Однако моментом этим стоит воспользоваться, рассказать о разговоре с Ветлугиным. После всего, что он видел у Северова, душа у него раскрыта. Не зря же он так хвалил Северова и благодарил. Нет, не зря...»

Но Маричеву не пришлось самому начинать этот разговор. Едва они вошли в кабинет, как Шавров сел за письменный стол и, видимо забыв о своем обещании накормить Маричева, спросил:

— Ваше мнение о работе майора Федорова? Успели прочесть?

— Успел, товарищ генерал. Мнение мое самое положительное. И я считаю по меньшей мере неправильным сковывать полезную инициативу офицера. Застыть на месте сейчас, когда все движется и растет, когда не сегодня-завтра мы получим новое, еще более совершенное оружие... это ли не преступление!

— Я тоже так думаю. Вот послушайте, несколько строчек в редакцию: «Посылаю вам статью майора Федорова. Она далеко еще не совершенна. В ней есть и кое-какие конкретные неточности. Но в целом она правильно критикует операцию по прорыву немецкой оборонительной линии, в которой участвовал наш корпус. Это, конечно, менее приятно читать, чем похвалы, но зато более полезно».

— Совершенно согласен с вами, товарищ генерал-лейтенант, — сказал Маричев. — Под этими вашими словами подпишется любой человек, которому дорога наша армия!

— Что же касается Бельского, — продолжал Шавров. — Что же касается Бельского... — продолжал он,

как-то странно выговаривая фамилию. — Что касается Бель...

Маричев успел подбежать к нему, но было поздно. Шавров разом рухнул, стол задержал его, а то бы он упал на пол. Вдруг хлынула кровь и полилась по столу. Маричев схватил Шаврова за плечи. Кровь с новой силой хлынула у него из ушей. Маричев что-то крикнул, прибежал дежурный адъютант. Шаврова усадили в кресло, кто-то побежал за врачом. Но это было уже ни к чему. Шавров был мертв.

8

Иван Алексеевич вернулся с учения во втором часу ночи, а в семь утра снова был на ногах. Но и эти несколько часов он спал тревожно, боясь опоздать к Шаврову.

Тамара тоже почти не спала, все к чему-то прислушивалась, все чего-то ждала. Она привыкла за последнее время к тому, что Иван Алексеевич с ней не откровенен, и с каждым днем все больше и больше убеждалась, что у него как бы две жизни — одна здесь, дома, другая — там, на службе. И та, другая, ее не касается, или, вернее, не должна касаться.

Но как бы там ни было, а Иван Алексеевич спал обычно очень крепко и во сне улыбался, независимо ни от каких дневных переживаний. В эту же ночь он так маялся, что Тамара утром спросила, не болен ли он.

— Нет, все в порядке, — сказал Иван Алексеевич. — Спи, пожалуйста.

Но Тамара не могла заснуть и молча смотрела, как Иван Алексеевич возится с завтраком.

— Меня вызвал командир корпуса, — объяснил он жене.

— Шавров?

— Да.

— А зачем он тебя вызвал?

— Не знаю, Томочка.

— Правда, не знаешь?

— Ну конечно, правда... Наверно, по поводу моей статьи.

Она соскочила с кровати, накинула халатик и села рядом:

— Командир корпуса!

— Да, Томочка...

От нее пахло домашним теплом, здоровым телом, согревшимся от сна. Иван Алексеевич обнял ее.

— Не надо, не надо, — сказала Тамара.

— Почему не надо? — спросил он обиженно.

Она ничего не ответила, запахнула халатик, открыла шторы. Начинался рассвет.

Едва Иван Алексеевич затворил за собой дверь, как Тамара бросилась к окну. «Обернется или не обернется... обернется или не обернется?..»

Ивану Алексеевичу некогда было оборачиваться. «Все будет хорошо», — сказал он жене, но он был в этом далеко не уверен. В самых трудных положениях Иван Алексеевич всегда надеялся на лучшее — так было осенью сорок первого, когда он скитался по болотам в поисках своей дивизии, так было и в госпитале, когда врачи, считая, что он без сознания, при нем говорили, что он не выживет, а он все слышал и думал: «Выживу, обязательно выживу».

В споре с Бельским он тоже был уверен, что в результате Бельский признает его правоту. Ведь нельзя же оспаривать, что днем светло, а ночью темно.

Его уверенность не была поколеблена на осенних учениях, и хотя он был оскорблен Бельским на теоретической конференции, он и после нее не утратил этого драгоценного чувства. Да и каждый, кто читал рукопись Ивана Алексеевича, понимал, что писал ее человек твердый, и эта, несколько даже наивная уверенность придавала особую прелесть всей статье.

Но когда Иван Алексеевич узнал, что Камышин отдал рукопись Бельскому не читая, его уверенность поколебалась.

Иван Алексеевич мысленно не раз обвинял Бельского в произволе, и новое проявление этого произвола не смогло бы его сбить с точки. Но тут он столкнулся с фактом удивительным: Камышин, отказавшись от чтения или, скорее всего, прочтя, но сказав, что не читал, сам отдал рукопись на произвол Бельского. Именно отношение Камышина поколебало уверенность Ивана Алексеевича в благополучном исходе дела.



Да оно так всегда и бывает, всегда, без всяких исключений: падение одного человека, одной, так сказать, души сдвигает с точки другого близко стоящего человека или многих людей. Это — цепная реакция, и очень длинная. Для того чтобы ее остановить, надо потратить куда больше усилий, чем на то, чтобы укрепить первого падающего. Чувство неуверенности, с которым шел сейчас Иван Алексеевич к командиру корпуса, было прямым следствием душевной неустойчивости Камышина. Раньше, то есть до того, как Иван Алексеевич узнал, что Камышин отдал его рукопись Бельскому, он был уверен, что сможет доказать правильность своих мыслей. Теперь же он сомневался, как поступит с его работой Шавров даже в том случае, если внутренне с ней согласится.

Был еще путь, о котором не раз думал Иван Алексеевич: Северов взялся бы ему помочь и, вероятно, помог бы. Но что-то мешало Ивану Алексеевичу снова обращаться к Северову. «Зачем впутывать еще человека, который так хорошо ко мне отнесся? — думал он самолюбиво. — Северов легко может подумать обо мне как о безвольном, хлипком человеке, которому во всем нужна поддержка».

Ровно в десять Иван Алексеевич вошел в дом командира корпуса. Если бы он был менее сосредоточен на своих мыслях, он бы сразу заметил, что здесь что-то произошло. Двери были открыты настежь, и внутри было холодно. В сенях молча стояли два полковника из штаба корпуса. Они не обратили внимания на Ивана Алексеевича и поспешно вышли на улицу. Где-то наверху хлопнула дверь, потом стало совсем тихо. Никто не спросил Ивана Алексеевича, куда и зачем он идет, да и некому было спрашивать.

Иван Алексеевич поднялся по лестнице — он знал, что командир корпуса живет на втором этаже. Тут тоже было тихо, и тоже все двери были настежь. Он прошел одну комнату — прихожую, потом другую, где стояла кровать ординарца, аккуратно застланная, но без подушки: подушка валялась посреди комнаты. . .

Иван Алексеевич вдруг стал все замечать. Комната, где жил адъютант, была прибрана, видимо, недавно и на скорую руку. Шкаф был закрыт, но туда забыли поставить какую-то бутылочку с капельницей, и она стояла на

столе, сор смели в угол, но какие-то бечевки остались на полу.

Отсюда дверь вела прямо в кабинет Шаврова. И эта дверь была полуоткрыта. В другое время Иван Алексеевич, наверное, постучал бы, но тут почему-то не решился и стал ждать адъютанта.

Он заметил, что в комнате открыто окно. «Проветривает, а сам ушел к командиру корпуса», — подумал Иван Алексеевич об адъютанте. Но рядом было тихо, голосов никаких не было слышно. Иван Алексеевич подождал минуту-другую, затем шагнул к полураскрытой двери, открыл ее и замер на пороге. В кабинете Шаврова, за его столом, сидел Бельский.

Если бы Бельский в эту минуту что-нибудь делал — читал, или писал, или говорил по телефону, или, наконец, просто ходил бы по комнате, — вероятно, Иван Алексеевич так бы не удивился. Мало ли почему и в силу каких обстоятельств командир дивизии мог оказаться у Шаврова. Но Ивана Алексеевича поразило то, что Бельский решительно ничем не был занят. Он сидел за столом Шаврова, в его кресле, и не просто сидел, а сидел развалиясь. И вот это-то страшно поразило Ивана Алексеевича. Он понимал, что должен скрипнуть половицей, или кашлянуть, или постучать в дверь, в общем, как-то обратить на себя внимание, но он стоял совершенно неподвижно и все смотрел на развалившегося Бельского. Он видел, как Бельский вынул пачку «Казбека», закурил, бросил спички на стол и стал пускать крупные, четкие кольца дыма. Затем снова откинулся в кресле и в эту минуту заметил Ивана Алексеевича. С необычайной для такого грузного тела легкостью Бельский вскочил и подбежал к нему:

— Что? Зачем? Что надо? По какому вопросу?

— Майор Федоров по приказанию командира корпуса. . .

— По какому такому приказанию? — переспросил Бельский подозрительно, вплотную подойдя к Ивану Алексеевичу.

— Разрешите доложить, товарищ генерал: командир корпуса генерал-лейтенант Шавров позавчера на учении приказал мне прибыть сегодня утром в десять ноль-ноль, — продолжал Иван Алексеевич.

— Войдите, — сказал Бельский живо. — Вы разве ничего не знаете? Генерал-лейтенант Шавров сегодня ночью скончался.

Иван Алексеевич как стоял, так и сел на какой-то стул. Известие потрясло его и перемешало все чувства. Ему было и жаль Шаврова, и обидно, что они не повидались, и страшно, что в этом кабинете распоряжается Бельский.

Бельский узнал о смерти Шаврова в пятом часу утра. Ему сообщили уже после того, как все было кончено, тогда, когда из дома командира корпуса ушел последний врач. В первую минуту, когда Бельского разбудили, он испытал ужасный страх. Ему еще не успели сказать, что Шавров умер, только разбудили, а он от страха боялся открыть глаза. Это был страх безотчетный, а потому самый ужасный.

О том, что Шавров может внезапно умереть, и о последствиях этой смерти Бельский думал не раз. Но хотя он и знал, что командир корпуса тяжело болен и что с таким сердцем долго жить нельзя, еще многого можно было достигнуть при жизни Шаврова. И обязательно надо было еще многого достигнуть! А тут все сдвинулось и необычайно убыстрилось. . .

Когда Бельский приехал в Любозерск, дом Шаврова был ярко освещен и возле него стояло десятка полтора машин. Люди входили и выходили, хлопая дверьми, внизу три врача сидели за круглым столиком и, сняв скатерть и разложив бумаги, писали заключение; приехал представитель из округа и тоже что-то писал.

Бельскому почтительно уступили дорогу, и он поднялся на второй этаж. Тут он испытал второй приступ страха. Правда, приступ был не такой ужасный, как первый, но очень неприятный. Бельский испугался, что не сумеет прилично вести себя, что растеряется перед гробом, хотя никакого гроба еще не было, да и не могло быть, — тело сразу же увезли. Он вошел, как будто его втолкнули в кабинет Шаврова. Но здесь, как и внизу, сидели люди — штабные, Северов, Маричев — и тихо переговаривались. Было холодно от сквозняков, и все, кроме Маричева, сидели в шинелях.

На Бельского никто не обратил внимания, и, хотя он понимал, что ввиду смерти полагается некоторая ровность в отношениях, сглаженность и простота, внутренне

он очень рассердился: ведь понимают же все эти люди, что пришел он, Бельский.

Так, внутренне сердясь, он подсел к Маричеву и Северову, которые по должности были ему ровня, и стал расспрашивать, как произошло несчастье. Ни до, ни после он никогда не испытывал такой ненависти к этим двум. Он слушал Маричева, и, чем внимательнее слушал, тем больше наливался злобой и тупел от этой своей злобы. И только одна навязчивая мысль преследовала его, одно желание: сесть за стол Шаврова. «Встать!» — все встают. . . «Вольно!» — все снова садятся. «Товарищи офицеры! . . .» Он даже приблизительно не понимал, что он мог бы сказать в эту минуту, и все-таки мечтал об этой речи. И он все ниже и ниже наклонял голову, чтобы только не смотреть на стол и на пустое кресло.

Близилось утро, все постепенно разошлись. Командиры частей должны были возвращаться в полки, врачи уже давно подписали все документы, представитель округа торопился в Ленинград. Дом опустел.

Бельский тоже вышел из дома Шаврова и уже почти сел в машину, но только занес ногу, как желание вернуться повело его назад. Не помня себя, он снова поднялся по лестнице, вошел в пустой кабинет и сел за стол Шаврова. Почти в эту же минуту вошел Иван Алексеевич.

Увидев побледневшее лицо Ивана Алексеевича, Бельский в третий раз испугался: неясно, для чего Шавров вызвал к себе майора Федорова. И почему он вызвал его, не переговорив предварительно с Бельским? Очень подозрительно. . .

Он задал несколько наводящих вопросов Ивану Алексеевичу, пытаясь узнать, какое же решение по поводу статьи принял Шавров, но Иван Алексеевич ничего не знал.

«Но, может, Федоров что-то знает и скрывает? — думал Бельский. — Вообще-то на все это теперь наплевать. По сравнению с тем, что случилось, по сравнению с таким событием, как смерть Шаврова, что значит эта статья батальонного недоросля? Но, несомненно, в бумагах Шаврова находится рукопись Федорова и отзыв «группы офицеров».

— Идите, майор, — сказал Бельский. — К сожалению, мы не можем услышать мнение генерал-лейтенанта Шав-

рова о вашей работе. Я потом вызову вас к себе по этому вопросу. Идите.

Иван Алексеевич, стараясь не стучать каблуками, тихо, оставив дверь полуоткрытой, вышел из кабинета Шаврова. Но он не сделал и десяти шагов, как увидел Маричева, поднимающегося по витой лестнице. Маричев тоже увидел Ивана Алексеевича, но, кажется, в первый момент не узнал.

— Майор Федоров, — негромко доложил Иван Алексеевич.

Маричев оживился, протянул ему руку.

— О вас говорил мне генерал-лейтенант перед самой смертью. Он написал письмо в редакцию и просил напечатать вашу статью.

Бельский, стоя за полузакрытой дверью, почти не дышал, стараясь уловить интонацию, понять больше, чем сказано, хотя и сказанного было достаточно.

9

Приказ из округа был получен только в восьмом часу вечера, и весь день тянулся для Бельского мучительно долго. Еще не зная, как повернется его судьба, он не понимал, как ему себя вести. От ожидания он даже внешне полинял, потух, что ли.

В этом новом виде он стал до приторности ласков с подчиненными. И всякий раз, когда его щекотала слеза, он сводил разговор на Шаврова, потому что по этой причине удобно было лить слезы.

Только одному человеку попало, что называется, по первое число. Этим человеком был Рясинцев. На нем Бельский сорвал свое настроение и, надо сказать, превзошел самого себя. Рясинцев оказался главным виновником «дурацкой истории с Федоровым» — так Бельский назвал все то, что было связано со статьей Ивана Алексеевича. Он кричал теперь, что замечания — курам на смех и что такие статьи должны появляться гораздо чаще, и даже потребовал их от Рясинцева «пачками».

Рясинцев пробовал ответить, что его отзыв не был уничтожающим и даже товарищ Кирпичников сказал, что его отзыв помогает майору Федорову, но Бельский

за эту идею не ухватился и перед самым носом Рясинцева порвал копию отзыва на мелкие кусочки. Конечно, он понимал, что это только жест и что в бумагах Шаврова есть точно такой же. И вообще, кто знает, о чем говорил Шавров Маричеву или, вернее сказать, что Маричев наговаривал Шаврову в последнюю ночь?

Он был уверен, что это Маричев научил командира корпуса «проделать фокус». Однако Маричев пока что был за пределами гнева Бельского, и весь он достался Рясинцеву.

Как раз в ту минуту, когда Бельский самозабвенно бушевал, в кабинет вошел Кирпичников. Рясинцев обрадовался: «клевета» и все, что с этим связано, было делом не его вдохновения, и потому он был уверен, что гнев Бельского перекинется на Кирпичникова. Однако тот занял такую твердую позицию, что даже сам Бельский смутился.

Кирпичников заявил, что ему не от чего отказываться, что он не штабник и в военной теории не собирается делать открытий, но что, по его мнению, покойный командир корпуса попался на удочку этой самой штабной казуистики. Он же, Кирпичников, как стоял на своем мнении, так и стоит. У Бельского во рту стало сухо:

— Вы... да что же это в самом деле?! Командир корпуса... Господи!.. Да что же он, меньше вашего поинмал?

— Этого я не сказал, — ответил Кирпичников. — Но полагаю, что в клеветнике я правильно разобрался.

— Не то, не то! — закричал Бельский. — Раз есть признание, что под Новинском промахнулись, так какая же теперь клевета?

— Еще раз докладываю, товарищ генерал-майор, — сказал Кирпичников. — Под Новинском я не был, но клеветника за версту чувствую. Да и человеку ли с такой репутацией, как у майора Федорова, писать статейки по журналам? А уж печатать их просто вредно...

— Какая репутация? О чем это он? А? Рясинцев!..

— Слушаюсь, товарищ генерал, — сказал Рясинцев и подошел ближе, словно и в самом деле собирался перевести слова Кирпичникова на язык, понятный Бельскому.

У Рясинцева был вид холодного исполнителя. Но на душе у него, как и в прошлый раз, когда Кирпичников сочинял свой проект отзыва, все горело: «Ведь вот же человек! Вот кремьень! Ведь он Бельскому, самому Бельскому, то есть, по сути дела, может быть, уже командиру корпуса, как отвечает, — не отвечает, а просто намекает, и даже не намекает, а дает понять, что снова сам берется за Федорова. «Репутация...» Неужели же с какой-то другой стороны Федоров уязвим?..»

Рясинцеву вдруг безумно захотелось покороче сойтись с Кирпичниковым. Правда, при его чопорности это трудно... Ну тогда услужить ему чем-нибудь, помочь! Да, именно Кирпичникову, а не Бельскому!

Вот до какой степени было все сбито в этот день. После обеда Бельский лег отдохнуть, но вставал поминутно и все подходил к телефону, который молчал, словно его заколдовали.

И только в восьмом часу вечера раздался тот самый телефонный звонок, которого ждал Бельский, и одновременно пришла шифровка. Приказом от такого-то числа командиром Новинского Краснознаменного корпуса назначался генерал-майор Северов.

— Северов? — переспросил Бельский. — Генерал-майор Северов?

Сколько раз затем он вспоминал в подробностях эту минуту и каждый раз, вспоминая, испытывал чувство отращения к самому себе только потому, что тогда, в последнюю минуту, не удержался и переспросил. Ему казалось, что на весь округ было слышно, как он переспросил: «Генерал-майор Северов?»

И почти сразу же он помчался в Ленинград. Перед этим Бельский только успел отдать кое-какие распоряжения и сказать Ветлугину, что ночевать в Вересках не будет. Это он решил мгновенно вслед за телефонным разговором и шифровкой. Как будто на мгновение вспыхнул магний, и в его ослепительно белом свете Бельский увидел только одного человека, которому он может сейчас довериться и который все поймет. Этим человеком была Мария Филипповна.

Всю дорогу он был молчалив и внутренне спокоен в ожидании встречи. Он даже не думал о том, что скажет жене. Она ведь поймет все без слов, с первого взгляда.

Василий, шофер, жал на «всю катушку», надеясь вкусно закусить и хорошо выпить. Два-три раза он уже ездил сюда с Бельским, и каждый раз так бывало. Но сейчас командир дивизии не позвал его с собой, а приказал утром подать машину. Василий мрачно выслушал и только недовольно поежился.

Бельский легко поднялся на третий этаж и позвонил. Дверь открыла Мария Филипповна. Выражение ее лица было ласковым и приветливым. Увидев мужа, она улыбнулась.

Бельский сразу же нахмурился. Он нахмурился не потому, что улыбнулась Мария Филипповна, — он любил ее ласковость и приветливость, а потому, что Мария Филипповна не поняла его, как он этого ожидал, с первого взгляда и без слов.

Он свирепо сбросил шинель и двинулся в комнату, но Мария Филипповна вдруг встала в дверях, раскрыла руки и, все так же ласково улыбаясь, спросила:

— А кто у нас в гостях, угадай?

— В гостях? — раздраженно переспросил Бельский.

Но Мария Филипповна и тут ничего не поняла. Она оглянулась, что-то тихонько прошептала, и в ту же минуту у нее под рукой оказался мальчик лет шести.

— Сережа, — сказала Мария Филипповна, — поздоровайся с дядей Федей, дай дяде Феде ручку.

— Что? Кто? Кто такой? — вырвалось у Бельского, но мальчик уже стремительно бросился к нему. Маленький беленький мальчик. Ничего особенного, вероятно сын соседки или дворничихи, ну да, в конце концов, не все ли равно чей. . . Но как не вовремя, как не вовремя!

Стиснув зубы, он потрепал мальчика по кудряшкам, и тот доверчиво прильнул к его руке.

— Ну как, Федя, нравится? — спросила Мария Филипповна с каким-то непонятным Бельскому торжеством.

— Нравится, нравится. . .

— Сереженька у нас золотой мальчик, — сказала Мария Филипповна, привлекая его к себе. — Он у нас мальчик послушный. . .

Сережа тарачил глаза на незнакомого дядю, а у Бельского голова кружилась от нетерпения. Он измотал-



ся за этот несчастный день, и снова ему приходилось ждать. «Ничего, — думал он, — сейчас придет соседка и заберет свое сокровище. . .» Но время шло, никто не приходил. У Бельского от злости болело сердце.

Пробило девять, Мария Филипповна заявила, что Сереже давно пора спать.

— Попрощайся-ка с дядей Федей!

Мальчик чинно подал руку и ушел за Марией Филипповной, но вдруг прибежал обратно и снова кинулся к Бельскому:

— Спокойной ночи!

Бельский махнул рукой, даже не поинтересовавшись, почему мальчика укладывают здесь спать. «Что, у него дома нет?» — устало подумал он.

Наконец Мария Филипповна, уложив мальчика спать, вернулась к мужу. Лицо у нее было виноватое, и она в самом деле хоть и считала себя правой, все же чувствовала за собой вину. Правда, взяла она Сережу только на три дня (так Капранов посоветовал — пусть привыкнет), и все это еще предстояло узаконить, и немало было формальностей впереди, но главное было сделано — Мария Филипповна твердо решила усыновить Сережу. Она была беззаветно в него влюблена и теперь старалась, чтобы мальчик привык к ней и чтобы он ее полюбил. И они, кажется, в самом деле уже поладили. Только Сережа звал Марию Филипповну не мамой, а бабушкой, но это ничего не могло испортить. Главное было в том, что он к ней постепенно привязывался, а она хотела жить для него.

— Тебе в самом деле понравился мальчик? — спросила Мария Филипповна негромко.

— Э, чушь, блажь, бабьи дела. . . — проворчал Бельский.

— Какая же блажь, Федя? Ты ведь знаешь, я люблю детей, но таких я просто не видела. Он привязался ко мне, и я на этот раз твердо решила. . .

— Вздор! Вздор! — крикнул Бельский. — Я приехал к тебе по важному делу, а ты. . .

— Тише, тише, ты разбудишь его, тише же.

— Тише? . . . — переспросил Бельский. На какое-то мгновение он почувствовал, как вся кровь бросилась ему в голову. Испытать то, что он испытал за сегодняшний

день, и получить дома то, что он получил сейчас! — Чтобы завтра же этого мальчишки здесь не было, дура ты деревенская! — крикнул он, не зная, как обиднее оскорбить жену. Вся ненависть, так мучившая его сердце, сгустилась в один тяжелый комок.

Но Мария Филипповна была не из тех женщин, которых легко запугать. Она, конечно, боялась Бельского, или, вернее, не столько его, сколько его грубости, но она прекрасно чувствовала свое превосходство над ним. Она даже знала, что умнее его, а главное, что видение жизни у нее шире, что она не связана по рукам и ногам эгоизмом и подозрительностью. Она часто уступала мужу, но только потому, что не знала, для чего ей надо себя отстаивать. Разговор о том, что она хочет взять ребенка и усыновить, возникал у них не раз, и каждый раз Бельский говорил, что теперь не старые времена, что у нас в стране есть детские дома и что в этой системе детей воспитывают как надо. Но теперь, когда мальчик был с ней, когда она слышала его дыхание и боялась за его сон, теперь она чувствовала себя вдвое сильнее. Так же, как она не поддавалась панике в войну, так же, как тогда, в эвакуации, она не поддавалась тоске, так же стойко Мария Филипповна удержалась и сейчас. Отвернувшись от мужа и ушла в свою комнату. Бельский услышал, как щелкнул замок. Это еще больше взвинтило его нервы.

— Вздор, вздор!.. — крикнул он еще раз и со всей силой дернул за ручку двери. Он бы еще и еще раз закричал, может быть, ему удалось бы и дверь открыть, но мальчик заплакал, и Бельский испугался, что в доме могут услышать. Только этого еще не хватало!..

Он отступил. Прошло полчаса. Там, за дверью, было тихо. Да и повсюду была тишина, только из соседней квартиры доносились обрывки музыки: там крутили радио. Бельский наконец не выдержал.

— Маша!.. — тихо позвал он.

Никто не отзывался. Он стал просить:

— Выйди же на минутку. Только на одну минуту, — повторял он жалобно. Он почувствовал, что Мария Филипповна подошла к двери, и зашептал: — Я что-то скажу тебе. — Замок щелкнул, дверь отворилась. — Умер Шавров. Тише, тише, — шепотом закричал он, заметив выражение ужаса на ее лице. Мария Филипповна, обеими ру-

ками закрыв рот, стояла на пороге. — Я ведь для того и приехал, — сказал Бельский. — Поговорить. . .

Мария Филипповна быстро подошла к мужу:

— Федя, я же не знала. . . Такое несчастье. . . Федя, я всей душой. . . — Она взяла его руку и ласково ее погладила. — Когда же это случилось?

— Ночью. Кажется, в третьем часу. Он и Маричев, они были вдвоем. Мне позвонили, когда он уже скончался. Почему я знаю, в этот час или раньше? . . . Меня не было, меня не было, говорю я тебе, они были вдвоем. Почему я знаю, что там было, о чем они разговаривали, что он говорил перед смертью. Или что Маричев скажет о том, что он ему говорил. . . а? — Он вопросительно взглянул на жену.

— Федя, о чем ты сейчас думаешь! — укоризненно сказала Мария Филипповна. — Федя, опомнись, зачем ты так, ведь это твои товарищи!

— Товарищи! Ждать, пока они меня сожрут?!

— Зачем, кто? — она не могла найти подходящие слова и все спрашивала: — Зачем, кто?

— Зачем? Потому что они ненавидят меня. Кто? Все — Маричев, Ветлугин, Северов. Ведь у Шаврова с Маричевым речь-то шла обо мне, понимаешь? Все они сговорились. . .

— Замолчи, Федя, как ты можешь. . .

— Нет, Маша, поздно молчать, поздно. Я хотел сказать тебе, что командиром корпуса назначен. . . Что с тобой? — спросил он резко.

Мария Филипповна испуганно взглянула на мужа:

— Ты?

Бельский засмеялся:

— Эх, Маша-милаша! Командиром корпуса назначен Северов. Ясно тебе?

— Ясно, — сказала Мария Филипповна. Испуг ее прошел, и она даже попробовала улыбнуться.

— Нравится это тебе? — спросил Бельский. — Нравится? Нет, ты подумай, что это означает, подумай, Маша. Прошу тебя, умоляю, ведь для этого я к тебе приехал. . . Ты подумай, только подумай, ну как просить тебя, ну хочешь, на коленки встану. . .

— Неужели же тебе твоего мало? — спросила Мария Филипповна. — Ты подумай, сколько для тебя Шавров сделал! Если бы не Шавров. . .

— Шавров! Шавров! Шавров! Ведь жить-то мне, мне! Помнишь, когда ты приехала. . .

— Значит, ты и тогда о смерти Шаврова думал? . . . Думал? . . . — еще раз спросила Мария Филипповна. — Не отвечай, не смей мне на это отвечать, — перебила она мужа. — А если ты об этом все время думал, так ведь это ж. . . Нет, Федя, не надо, не отвечай! И неужели же ты сегодня ко мне приехал, чтобы у меня совета просить? Шаврова еще и похоронить не успели, а ты его уже в интригах обвиняешь. . . Федя, молчи, подойди ко мне, сюда, только тихо, ребенка разбудишь. Ну, что же ты? Идем. . .

— Куда? — спросил Бельский. — Зачем?

— Я хочу показать тебе, как он спит, маленький. . . Федя, я как взгляну, так другим человеком делаюсь. . . Я это время о тебе думала, маялась и сказать тебе многое хотела. Очень уж я многое о нас с тобой поняла. Решила — уйду, не могу с тобой больше, а увидела этого мальчика — и злоба к тебе прошла. Понял? Понял или не понял? Вот я сейчас и хочу тебе его показать. Посмотри, Федя, как он спит, — сказала она, открыв дверь в спальню.

— А ты часом с ума не сошла? — холодно спросил Бельский, отстраняя жену.

— Обижает? Зря, Федя, зря. И вот тебе мое последнее слово: не будет больше здесь твоей власти. Не будет. Я всю жизнь и во всем была тебе послушна. Ничем твоим не брезговала. А ведь могла бы. . . Но не брезговала, сам знаешь. Думала, успокоюсь. Ведь годы, годы, молодость-то ушла! Но ты и сейчас что-то новое затеял. . . Уйди! — крикнула она громко.

И Бельский вторично остался один. Так он целую ночь и провел, не рискуя больше поднимать жену. Всю жизнь он был уверен, что Мария Филипповна слепо ему предана. И как раз в ту минуту, когда ему понадобилась ее поддержка, оказалось, что и она против него!

Надо было уходить отсюда, и он бы ушел, взял бы такси и уехал, но это казалось ему неудобным. Командир дивизии, генерал, и вдруг ночью, на такси. И он продремал до утра. Разбудил Василий.

В машине ему стало сразу же легче, и даже голова перестала болеть. Где-то далеко-далеко остывал вчерашний день. Среди дыма, пепла и пыли запомнились ему,

как обрывки неомраченного горизонта, ясные глаза Кирпичникова. Мысли стали оживать, и он подумал, что из всего того, что было за вчерашний день, вернее, за вчерашние сутки, самым основательным и сулящим важные последствия был его разговор с Кирпичниковым. Этот Кирпичников умный. И наверное, он прав, что история с Федоровым отнюдь не закончена. Всем им — и Северову, и Маричеву, и Ветлугину — очень понравился майор Федоров и его статья. Но ведь все это еще может обернуться против них. Кирпичников — умный. (Ряси́нцев дурак и шляпа.) Эта история с Федоровым еще не закончена, нет, не закончена. . .

---

## ЧАСТЬ ПЯТАЯ

1

**Н**а первую неделю марта Северов назначил учение дивизии, которой командовал Бельский. Все сейчас только этим и занимались. Настроение Ивана Алексеевича было особенно приподнятым. Редакция «Вестника» прислала ему письмо: «Уроки» печатаются, поправки незначительные. Иван Алексеевич отлично понимал, что теперь больше, чем когда-либо, он обязан успешно решать боевые задачи.

Учение было назначено на понедельник, а на субботу Иван Алексеевич получил приглашение от Кати приехать в типографию на празднование Дня Советской Армии.

Иван Алексеевич читал письмо, чувствуя на себе пристальный взгляд Тамары. Катя писала, что ребята давно уже готовятся к этому дню, кое-кого из военных уже пригласили, и все просят, чтобы приехал «Сашин майор». Будем очень рады, Иван Алексеевич, приезжайте вместе с женой.

— Почитай-ка, — сказал Иван Алексеевич Тамаре, бросив письмо на стол, — зовут нас в субботу на праздник.

— Зовут? Нас? Куда?

— Я думал, что ты догадалась. Письмо от Екатерины Григорьевны. Пора бы и тебе с Сашей познакомиться. А то я все рассказываю, а ты...

— Можешь мне вообще ни о чем не рассказывать, — перебила его Тамара.

— Почему ты так груба со мной?

— Как умею. Я грубая. Ты не знал?

— Ты раздражена, а почему, не понимаю, — сказал Иван Алексеевич. — Ты же прекрасно знаешь, что это сироты, отцы погибли на войне, это же их праздник.

— Вот ты и поезжай, — снова перебила его Тамара.

— Нет, так нельзя, — горячился Иван Алексеевич, — нас обоих приглашают. Ведь ты даже не заглянула в письмо. . .

— Вот когда будешь генералом, тогда заведешь себе секретаршу, она тебе будет вслух письма читать.

— Тамара!

Она накинула платок, рванула с вешалки пальто и выбежала вон.

«Может быть, и мне не ехать, — подумал Иван Алексеевич. — Да нет, нельзя так, конечно, я должен быть там».

И он все время мысленно повторял «должен» вместо «хочу». Должен. Это слово как бы снимало с него часть вины перед Тамарой.

«Вины? — мысленно спрашивал себя Иван Алексеевич. — Но в чем же я виноват перед ней, разве я мало ее люблю?»

И чем больше он чувствовал себя правым перед ней, тем выше ставил свою любовь и преданность. А это как раз такие чувства, которые чем больше восхваляешь, тем они скорее гаснут.

Все же на следующий день он еще раз напомнил Тамаре о Ленинграде.

— Нет, Ваня, не поеду, — спокойно сказала Тамара. — Не поеду. А ты поезжай, обязательно поезжай, — добавила она чуть ли не испуганно.

В пути к Ивану Алексеевичу подсел Рясинцев. Начался нехитрый вагонный разговор. Рясинцев ехал в Ленинград без всякого дела. Да и какое могло быть дело в субботний вечер. . . Никаких определенных планов. Хотелось, что называется, «потолкаться», посидеть где-нибудь в хорошем кафе, послушать музыку, выпить рюмку вина.

Рясинцев устал от последних событий. Смерть Шаврова, назначение Северова, или, вернее, неназначение Бельского. . . Казалось бы, если самое трудное позади — война, смертельная опасность, постоянная зависимость

от случая, — значит, можно теперь пожить. Ради чего терпел он казахстанскую канцелярию и горький адъютантский хлеб, как не ради будущего Великого Безделья? Первое мирное полугодие совершенно не оправдало его надежд. Приходилось вечно быть в «мысле», и все-таки им вечно оставались недовольны. Рясинцев отлично знал, что большинство офицеров дивизии терпеть его не могут, но никогда на это не сетовал: Бельский перевешивал. Но теперь и его собственное положение при Бельском пошатнулось. Рясинцев давно и правильно разгадал Бельского, но одного, может быть, он не понял в его натуре — это его переменчивости. Теперь наиболее угоден был Кирпичников, и, следовательно, Кирпичников находился в том исключительном положении «при Бельском», которое раньше занимал Рясинцев. Это с Кирпичниковым теперь советовался Бельский, это к мнению Кирпичникова он прислушивался, а Рясинцев был «дурак и шляпа».

Рясинцев, конечно, знал, что «федоровская история» отнюдь не закончена. Он понимал, что в беспокойной голове Бельского теперь все смешалось. И высокая оценка учений Северова, которую дал Шавров буквально за несколько часов до своей смерти, и его письмо в редакцию, и встреча с Маричевым, что называется, у гроба... И во всем этом виноват был теперь Федоров. Это «он подставил ножку», это «от него все пошло», это «его писанина довела Шаврова до могилы». В редкие же минуты хорошего настроения Бельский говорил своему адъютанту, что «еще не вечер», и как-то загадочно подмигивал. Рясинцев был обижен: в план действий его не посвящали. По смутным же намекам он догадывался, что дело пущено по «бабьей линии».

Теперь, когда Рясинцев увидел, что Иван Алексеевич едет в Ленинград один, у него засосало под ложечкой. Может быть, это и есть тот самый лотерейный билетик, по которому можно сто тысяч выиграть?..

Ведь он хотел забыть о делах в этот вечер. Одиночество, разрядка, огни большого города. И вдруг увидел в вагоне поезда Федорова... Вот и не будь после этого суеверным. Прямо как в романах: «указующий перст» или что-то вроде этого.

Рясинцев считал, что самое лучшее — действовать без нажима. Ему хотелось узнать, зачем едет Федоров в Ле-



нинград в субботний вечер, оставив молодую жену в Вересках. Но именно поэтому он старательно уводил разговор на другие темы. И разговорчив был в меру. В меру внимателен. Человек должен быть спокоен, его не должен мучить навязчивый сосед. Тогда после двухчасового совместного путешествия человек искренне ответит на вопросы, куда, зачем, для чего он едет. . .

Не прошло и двух часов, как Иван Алексеевич рассказал Рясинцеву о Саше Турчанове, сыне сержанта Турчанова. . . Детский дом, рабочее общежитие, вот как раз по приглашению ребят он и едет на вечер, посвященный Дню Советской Армии.

Собственно говоря, ничего интересного майор Федоров не поведал. Довольно обычная история и хорошо рисует моральный облик офицера: вернулся с войны, вспомнил о сыне своего сержанта. Но тон, тон! Не слова, а тон, которым обо всем этом было поведано, запоминал Рясинцев, слушал, прикидывал в уме, что к чему, и уже совершенно забыл о своей мечте провести вечер бездумно за чашкой чая или за рюмкой вина. Куда-то далеко-далеко отодвинулись огни большого города, и все ярче разгоралась маленькая лампочка над входом в рабочее общежитие.

«Своих детей у них нет — вот и привязался к чужим, — спорил сам с собой Рясинцев, — привязался, несомненно привязался». Очень все же хотелось спросить: «А почему в одиночестве едете, на кого Тамару Борисовну оставили, распрекрасную нашу цыганочку?» Но не спросил, удержался. Заинтересовался самим этим молодежным общежитием, организацией дела. Хорошо, мол, что растут квалифицированные кадры. . . А потом, когда уже совсем подъезжали, сказал попросту:

— Возьмите меня с собой, майор. Честное слово, некуда деться. Огни, огни, огней много, да все чужие. Уж лучше я возле вас да возле хороших людей посижу. Может, еще шефство возьмем, а?

Иван Алексеевич замялся: вот уж не снилось ему, что он проведет этот вечер с Рясинцевым. Ну а как откажешь?

— Что ж, поедем, — сказал Иван Алексеевич. — А что до шефства, то у них шефы есть. . . Что есть — то есть. . .

Трамвай плелся необыкновенно долго. Рясинцев скукал и под конец стал жалеть, что связался со всем этим

делом. «В конце концов, Федоров не совершеннейший же идиот, и если он согласился, чтобы я ехал с ним, так там ничего такого и быть не может. . .»

Потом он стал мысленно ругать Бельского. Ведь это из-за него он портит себе вечер. А что в благодарность? Пинки. . . Эхма!

— Что с вами? — спросил Иван Алексеевич.

Рясинцев поспешил улыбнуться:

— Нет, нет, ничего.

Еще прошло полчаса, и наконец Иван Алексеевич сказал:

— Приехали.

— Фу, черт, ветрище какой! — вырвалось у Рясинцева. — Поземка какая злая! Темнота. . . Да где мы в самом деле: в Ленинграде или не в Ленинграде? . .

— В Ленинграде, в Ленинграде, в самом настоящем Питере, — успокоил его Иван Алексеевич.

В это время из темноты вынырнули несколько фигур и весело бросились навстречу Ивану Алексеевичу.

— Сашка! . .

— Я самый. Решили вас встретить. Это Петро — Фонарик, вы же знакомы! А это Гришка Ибрагимов, а это Вася Решкин, наш новенький. Хотели на вокзал, но времени не хватило.

— Я, ребята, сегодня не один, со мной товарищ Рясинцев. Познакомьтесь. Отставить: рукавицы не снимать. Холодно.

«Зря я сюда приплелся», — подумал Рясинцев, снимая шинель. По всему чувствовалось, что здесь самый обычный вечер, да еще и не из богатых. Своего клуба типография не имела. Зал, в котором происходили собрания производственные и праздничные, находился на третьем этаже главного корпуса, и гул печатных машин мешал оркестру.

Рясинцев прочел программу, красиво набранную разными шрифтами: «Доклад. Выступление самодеятельности. Танцы». Он пожал плечами и стал разглядывать зал. Народ преимущественно пожилой, степенный. И молодежь вроде тех, которые встречали Ивана Алексеевича у трамвая. Не удивительно, что наша цыганочка отказалась от такой поездки! В это время кто-то рядом сказал:

— Иван Алексеевич! Очень рада, что вы приехали. . .

— Екатерина Григорьевна! . .

Рясинцев поднял голову, увидел Катю, и в какую-то долю секунды его мысли резко изменили направление.

В рядах было очень тесно. Иван Алексеевич вскочил; — Познакомьтесь, пожалуйста. Это тоже наш офицер, товарищ Рясинцев. Присоединился ко мне в поезде.

— И отнюдь не жалею, — подхватил Рясинцев. — Что ни говорите, а приятно чувствовать себя дважды именинником: вчера — у нас праздновали, а сегодня — у вас.

Катя улыбнулась:

— Завтра еще у наших соседей будут отмечать День Советской Армии!.. А пока что наберитесь терпения и ждите, когда начнем. Саша, развлекай гостей!

Рясинцев даже не взглянул ей вслед, искоса следил он за взглядом Ивана Алексеевича. Первая его мысль была: «Ай да Кирпичников, ай да молодец!» Он не себя хвалил — ну что там, право, — случай, просто случай, ничего больше, надо же быть справедливым в оценке. Вот у товарища Кирпичникова действительно научный прогноз! Неладно с товарищем Федоровым, и все. Статьйки он, конечно, пописывал, а сам в это время... Да ну что там, все ясно даже пионеру. А вообще-то она дурнушка, рассуждал Рясинцев, который считал себя знатоком женской красоты. И променять цыганочку на такую... словом, кожа да кости. Но хватит, пора атаковать.

— Хорошенькая девчонка, — сказал Рясинцев громко. — Тихо, черт, руку ломаешь! — крикнул он, тряся рукой, которую изо всех сил сжал Иван Алексеевич. — Да что я тебе сделал? Что я плохого сказал?

— Тише, тише, — говорил Иван Алексеевич в ярости. — Ведь рядом сидят ее воспитанники.

— Да я разве против? А что она хорошень... Молчу, молчу.

Он замолчал, сделав вид, что обижен.

«Вот это да, — думал он, тряся рукой. — Вот это действительно «страсти мордасти»».

— Удивляюсь вам, — тихо, но очень твердо сказал Иван Алексеевич. — Вы не мальчик, кажется, и могли бы сами понять, а если не можете понять или не хотите, так знайте, что эта, как вы сказали, девчонка — вдова, муж ее погиб на фронте, ребенок погиб здесь в блокаду. Понимаете? Надо же уважать все-таки.

— Да разве я не понимаю, разве не сочувствую, —

паясничал Рясинцев. — А сказал я потому, что... ну потому, что, ей же боже, никак за вдову принять невозможно.

Но Иван Алексеевич больше не слушал его. Он был занят своими мыслями и своими наблюдениями. С удивлением заметил, что Катя не совсем такая, как всегда. Какие-то скованные движения, непросто держится. Заученная улыбка гостеприимной хозяйки, а похоже, что на душе невесело. «Почему? — спрашивал себя Иван Алексеевич и отвечал себе: — Потому что в такой день, как сегодня, в праздник, да еще в такой праздник, ей особенно тяжело и одиноко. И чувствует она себя бездомной...»

Иван Алексеевич не ошибся. Но он не знал действительной причины, которая вызвала Катину сегодняшнее, далеко не праздничное настроение.

Утром ей позвонила Симочка и попросила приехать в райком комсомола. Может быть, в другой день? Нет, именно сегодня. Но именно сегодня дел было особенно много. К тому же, как нарочно, заболела гриппом Анна Николаевна, а без нее все вдвойне труднее. На этот раз Бурков выручил: подвез в райком на машине.

— Милецкая сейчас придет, подождите немного, она у Локотника, — сказали Кате в комнате инструкторов. У Симочки был здесь «свой собственный столик», который она без труда получила: никто кроме нее из привлеченного актива не претендовал на постоянную «жилплощадь».

Это была самая оживленная комната в райкоме, и Катя любила здесь бывать. Здесь всегда было много разных людей, знакомились быстро и так же быстро возникали споры. Катя была знакома почти со всеми инструкторами. Юрка Гловацкий когда-то учился вместе с Аркадием. К Кате он относился с особой нежностью. С Женей Богдановой она встретилась в самое тяжелое время: обе хоронили своих близких.

— Товарищ Вязникова, привет! — услышала Катя, обернувшись и увидев Максима, того самого работника Эрмитажа, знакомство с которым началось так неудачно. Ей потом рассказывали, что этот Максимов оказался прямым и принципиальным человеком: на бюро райкома очень резко выступил против Симочки, она чуть было выговор не заработала «за демагогию». — Ну, как жизнь? — спросил он Катю. — Отремонтировались?

Катя засмеялась:

— Да, осенью еще закончили. Собираемся к вам. Девять человек уже записалось.

— Вот и хорошо! — обрадовался Максимов. — Я, знаете ли, у вас в районе большие дела проворачиваю. Очень хорошо отнеслись...

В это время вошла Симочка и, увидев Катю и Максимова, не то улыбнулась, не то нахмурилась:

— А, старые знакомые!

Максимов сразу же отошел от них. Вообще Кате показалось, что с приходом Симочки в комнате стало как-то менее шумно. Но и Симочка сразу же понизила голос настолько, что даже Юрка Гловацкий, которому очень хотелось услышать их разговор, так ничего и не услышал.

Симочка объяснила Кате, что вызвала ее сюда по случаю Дня Советской Армии. Что намечено? Какие практические мероприятия?

— Вечер сегодня. Придут и взрослые рабочие, и молодежь. Доклад, а потом выступление самодеятельности...

— Вы, кажется, хотите отразить на вечере специфику вашей молодежи? — спросила Симочка.

— То есть как это понять? — удивилась Катя.

— Так, как я говорю. Вы что, решили сами выступить?

— Да. После доклада, я думаю, сразу же... Видите ли, в общежитии — все дети погибших на войне... Вы это и называете спецификой? Да, думаю выступить после доклада и рассказать об их погибших отцах.

— Располагаете материалами? — поинтересовалась Симочка.

— Материалами? Да как вам сказать... Конечно, я старалась как можно больше узнать о погибших. О том, где и при каких обстоятельствах погиб отец, сын должен знать. Не правда ли?

— В основном да. Только вот что: мы тут посоветовались и решили, что после доклада лучше будет выступить мне.

— Да, хорошо, — ответила Катя рассеянно. — То есть я не понимаю: вместо меня?

— А вы не обижайтесь, — сказала Симочка. — Такое

выступление должно идти от нас. Материал, который подобрали, вы мне передадите.

Вернулась Катя домой в очень смутном настроении. Дело, конечно, не только в том, что готовилась к выступлению она, а теперь ее длительным трудом воспользуется другой человек, — это не суть важно, к тому же Катя не очень-то красноречива, а Симочка хороший оратор... Куда обиднее это почти ничем не прикрытое недоверие...

Катя быстро привела в порядок свой архив, которым так гордилась, — письма отцов с фронта, рассказы их однополчан, выписки из приказов о награждении...

Симочка обещала прийти не позднее пяти, но и в семь ее еще не было. В половине восьмого Катя уже решила позвонить в райком, не случилось ли что-нибудь неожиданное, но как раз в это время Симочка появилась.

— Насилу вырвалась, — объяснила она. У нее и в самом деле вид был усталый. — Ну, давайте материалы, я их еще успею полистать.

— Я все же не понимаю, — сказала Катя. — Как бы там ни было, но за четверть часа это просто невозможно.

Симочка устало улыбнулась:

— А вы за меня не волнуйтесь. Надо учиться работать.

Катя пожала плечами, но больше не возражала. Во время доклада они обе сидели в президиуме, и Катя видела, как Симочка быстро исписывает один листок за другим — готовится к выступлению.

«Как это она может, — думала Катя. — И доклад слушать, и писать конспект своего выступления. Да нет, она просто не слушает докладчика, она, как это говорится, выключилась. Но ведь это тоже как-то странно. Докладчик — человек серьезный, старый военный, его все слушают внимательно: и Бурков, и Иван Алексеевич, и Саша...» Она каждого обвела взглядом — все слушали внимательно, и только одна Симочка своим видом ясно говорила: «Это для вас доклад, а не для меня. Вы здесь для того, чтобы слушать, а я для того, чтобы выступать. Вы отдыхаете, а я работаю». Да и выражение ее лица означало только то, что Симочкино дело куда важнее, чем доклад этого старого военного.

Симочка закончила свои записи как раз в тот момент, когда Бурков предоставил ей слово. Еще раз Катя убеди-

лась, что Симочка действительно умеет выступать. Держалась она уверенно и убедительно и очень свободно распоряжалась материалами.

Главная мысль была та же, что и у Кати, — отцы и дети. Пришло новое поколение, которое продолжает славное дело своих отцов. Но Симочке, конечно, трудно было говорить о каждом в отдельности: она ведь совсем не знала ребят. И все-таки она сумела взять главное из Катиних записей. «А память, память какая! — восхищалась Катя. — И как хорошо она держится на трибуне, как выразительно читает письма фронтовиков об их трудной боевой жизни». Отец Глеба Васильева совершил подвиг: в орудийном расчете он был наводчиком, и, когда в бою все погибли, отец Глеба работал и за заряжающего и за замкового. Пушка с открытых позиций была по врагу, и смерть застигла храброго солдата на боевом посту. Отец Маши Лебедевой погиб на границе, отстреливаясь до последнего патрона. Мать Гриши Самойлова была отважной партизанкой и погибла под Киевом... Отец Кости Игнатова летчик, штурмовал Берлин...

Симочка не спеша перечисляла имена героев, она знала, она чувствовала, что ее слушают затаив дыхание. Она покраснелась, голос ее звенел, речь звучала все более и более темпераментно. Было уже ясно, что выступление идет к концу, когда Катя вдруг поняла, что только одного имени Симочка не назвала. Катя не могла ошибиться — одно имя не было произнесено, как будто этот человек и не существовал вообще. Ни слова не было сказано о Турчанове.

«Может быть, я ошиблась?» — думала Катя и наконец не выдержала, спросила Буркова. Но тот подтвердил: о Турчанове в Симочкином выступлении нет ни слова.

Катя испугалась, отыскала глазами Сашу, встретила с его глазами и еще больше испугалась. Она быстро написала записку и положила ее перед Симочкой: «Почему ни слова о Турчанове? Обязательно скажите».

Еще несколько фраз, которые Катя уже слушала, как в тумане. Еще несколько ярких примеров. Ни слова о Турчанове. Аплодисменты...

«Только бы сейчас не встретиться взглядом с Сашей...» — думала Катя. Она уткнулась в стол, в знакомое красное полотнище, забрызганное мелкими чернильными пятнами, которое всякий раз вытаскивали к празд-

нику. Самые противоречивые чувства бурлили в ней. Хотелось встать, выйти из президиума... прямо через зал и... больше никогда сюда не возвращаться. Уйти и не возвращаться: нельзя ей теперь встречаться с Сашей и чувствовать на себе его тревожный взгляд. Да разве только Сашин взгляд? А Лиза? А Фонарик? А Глеб? Она с тоской перебирала всех ребят...

Но, может быть, надо поднять руку, остановить аплодисменты и прямо высказать здесь все, что она думает?

Надо решать. Надо решать сейчас же, потому что еще несколько минут — и Бурков скажет: «Торжественная часть закончена, через десять минут — концерт».

Но едва стихли аплодисменты, как в зале послышался негромкий голос Ивана Алексеевича:

— Товарищ председатель, разрешите мне сказать несколько слов?

— Пожалуйста... — неуверенно сказал Бурков. — Прошу извинить, как ваша фамилия?

— Моя фамилия Федоров...

— Пожалуйста, товарищ Федоров.

Когда Иван Алексеевич с места попросил слова, Рясинцев этому не удивился: в такой день военному человеку следует выступить... Да это, наверное, у них и согласовано.

Выступление Ивана Алексеевича Рясинцеву не понравилось: не было обычного приветствия, которое так хорошо принимается всеми присутствующими, когда на трибуну выходит военный человек. Не было даже никакого самого нормального «зачина»: «Сегодня мы отмечаем...», или: «В этот день, дорогие товарищи...», или хотя бы чего-нибудь в этом роде.

Иван Алексеевич сказал, что в типографии работает учеником, в первом печатном, Саша Турчанов. Он сын сержанта Турчанова — бывшего подчиненного майора Федорова.

«Ну, это уже бодяга...» — думал Рясинцев, все еще удивляясь, как это Иван Алексеевич не сумел использовать момент для короткого энергичного слова.

Действительно, Иван Алексеевич не сумел быть кратким. Он волновался и потому излишне подробно рассказал, как вернулся после победы и познакомился с Сашей Турчановым.



— Сержанта Турчанова тоже звали Александром, Александром Николаевичем, — сказал Иван Алексеевич. — Вообще это был человек замечательный...

«Да, не горазд наш Поддубный выступать, — думал Рясинцев, вспоминая выступление Ивана Алексеевича осенью, на теоретической конференции. — Только одна «она» и слушает. Но зато как слушает! Уставилась и глаз отвести не может».

Иван Алексеевич, сказав, что сержант Турчанов был замечательным человеком, привел несколько примеров: он тащил на себе раненого командира взвода, он был автоматчиком в танковом десанте, а туда только охотники шли, он на Днестре отличился.

— Это же факт, первый человек у нас, который на правый берег вышел...

Рясинцев стал подавать знаки Ивану Алексеевичу: «Довольно, кончай!..» В конце концов надо же было чем-то помочь человеку. Но Иван Алексеевич этих знаков не видел, а если бы и видел, то не обратил бы на них внимания. Он был занят делом, а о деле он умел рассказывать только по порядку. И он рассказал, как он, и Саша, и все другие были уверены, что сержант Турчанов погиб, а он, оказывается, жив, он попал в плен и год назад был освобожден, но не нами, а союзниками. Об этом есть теперь официальное извещение.

«Ай да Поддубный, какую штуку выкопал!» — подумал Рясинцев.

— Вот я об этом и хочу сказать, — продолжал Иван Алексеевич. — Сержант Турчанов, отец Саши Турчанова, жив. И в самый раз вспомнить о нем сегодня, в День Советской Армии, о человеке, который спустя год после войны томится в лагере. У них там это называется «перемещенные лица». Но какое бы название ни было и как бы веревочка ни вилась, а конец быть должен. В самый раз сегодня сказать тем, кто держит Турчанова: «Верните Турчанова на его родину, верните Саше его отца».

«Смотри, пожалуйста, как разошелся, — думал Рясинцев. — Кто бы мог подумать!.. Всех поднял. А этот парнишка, этот Саша, который сидит рядом, ведь это какой же для него подарок!»

— Пусть знает Турчанов, что он не одинок, что за его жизнь, за его освобождение борются советские люди! — закончил Иван Алексеевич.

И едва он кончил, как молодежь хлынула к Саше. Ему пожимали руки, хлопали по плечу: «Держись, Сашка!» Да и не только молодежь, а и взрослые рабочие подходили к Саше. И даже сам Арсений Николаевич, старший линотипист, которого боялись за его резкий характер, сказал растроганно:

— Подожди, парнишка, будет и на твоей улице праздник!

Рясинцев, после того как Бурков закрыл торжественное заседание, минут пять подождал Ивана Алексеевича, но тот все не появлялся. Куда же он мог деться? В президиуме его нет, в зале тоже. . .

Рясинцев дважды прошелся по коридору. Увидел низкую узенькую дверь с надписью «На сцену» и — была не была — толкнул ее.

Довольно большая, битком набитая комната. Длинные столы с зеркалами. Несколько человек в старинных, шитых золотом боярских костюмах, двое матросов-братишек с пулеметными лентами крест-накрест через плечо, грациозная Одетта в окружении целой стайки лебедей и мельник с всклокоченной бородой. Крепко пахло жженой пробкой и рисовой пудрой.

Рясинцев осмотрелся и почти сразу увидел Ивана Алексеевича. Он стоял в глубине комнаты, у окна, спиной к Рясинцеву, а рядом с ним стояла «она» и хорошенькая девушка в пестром платье, представительница райкома комсомола.

Похоже было, что представительница чем-то недовольна. Но чем? Рясинцев улавливал только отдельные фразы: «Мы не позволим», «Это групповщина», «Поиски легкой славы», «Наше мнение. . .»

Так ничего и не поняв, но чувствуя, что атмосфера накаляется, Рясинцев тоже подошел к окну, и как раз в эту минуту Иван Алексеевич резко повернулся.

— А почему вы думаете, что это мнение райкома? — спросил он пестренькую представительницу. — Пока что это только ваше мнение, а это не одно и то же.

— Постараюсь доказать вам, что это одно и то же, — сказала Симочка, впопыхах запихивая бумаги в свой портфель. Не прощаясь, она вышла из комнаты и хлопнула дверью.

— Одна? Ночью? В такую темноту? — покачал головой Рясинцев. Одно он только и сообразил: эта предста-

вительница не жалуется ни Ивана Алексеевича, ни «ее». Но для начала и это было недурно. И решение он принял боевое: — Знаешь, майор, ты как хочешь, а я девушку провожу. — И он бросился вслед за Симочкой.

Догнал он ее только на трамвайной остановке. Метель разыгралась. Снег вихрился из стороны в сторону, рассеивая электрический свет. Это чередование света и тени создавало впечатление игры двух огромных клубков — черного и белого.

Рясинцев не успел представиться, как подошел трамвай, залепленный снежными хлопьями. Симочка вскочила на подножку, но поскользнулась, и Рясинцев помог ей войти. Кондукторша укоризненно покачала головой:

— Платите деньги за проезд, молодые люди!

— Наконец-то и меня назвали молодым, — засмеялся Рясинцев.

Впервые за сегодняшний вечер ему было по-настоящему весело. И чем больше он всматривался в Симочку, тем веселее ему становилось.

— Спасибо за помощь, — угрюмо проронила Симочка. — Но я бы и одна справилась отлично.

— Очень вероятно, — ответил Рясинцев любезно. — Но зато я бы себе не простил, если бы не помог вам.

— Ну, любезности вы все-таки оставьте при себе, на меня это не действует. Я ведь не Катенька.

— В таком случае докладываю, — сказал Рясинцев, шутливо козыряя. — Я не майор Федоров.

Но Симочка совершенно не была расположена продолжать разговор в шутливом тоне. Рясинцев это понял, вздохнул и сказал серьезно:

— Бросьте, девушка, хмуриться. Не знаю, чем вас майор Федоров разгневал, я ведь человек случайный, и «тайны мадридского двора» мне неизвестны.

— Тайн у меня вообще никаких быть не может, — снова отрезала Симочка. — Не хватает еще, чтобы меня подозревали в каких-то тайнах.

— Но ведь вы понимаете... — начал Рясинцев. (Он решил легонько намекнуть.) — Вы понимаете, я совсем не хочу вмешиваться в их отношения... — он подчеркнул слово «их».

— И опять неверно, — заявила Симочка, стряхивая снег с шубки. — Это политика постороннего наблюдателя. Ваш товарищ совершает ошибку, пусть под чужим влия-

нием, но все-таки совершает ошибку, а вы умываете руки... Да что в самом деле, вы же слышали его выступление?

— Слышал. Но мне казалось... — Рясинцев вдруг догадался: — А оно что, не было согласовано?

— Вам и это нравится?

— Да нет, что вы, совсем не нравится, — поспешил заверить Рясинцев. — Да не смотрите вы на меня так грозно, мы с майором Федоровым не товарищи, просто офицеры из одной части. Я только знал, что майор Федоров, как бы это выразиться, свой человек здесь.

— О, вполне свой, — заверила Симочка. — Я потому и берусь утверждать, что сегодняшнее выступление было специально подготовлено, чтобы подорвать авторитет райкома.

— Что вы говорите? — воскликнул Рясинцев. (Это было уже куда больше, чем то, на что он рассчитывал.)

— Ни словом больше, ни словом меньше. Раз я в своем выступлении не назвала такую-то фамилию, значит, ее и не надо было называть.

— А, так вот оно что! — Рясинцев очень обрадовался, что понял наконец, какой тут узелок завязался. — Так вы эту фамилию, а он... Понимаю, понимаю!

— Не сразу же до вас доходит!

— Не сразу, — признался Рясинцев.

«Действительно, кажется, я и постарел и поглупел, — подумал Рясинцев. — Кирпичникова бы сюда, вот бы у него арифмометр вовремя сработал. Но нет, шалишь! Это дело я беру на себя. Без всякого Кирпичникова обойдемся. Обойдемся, обойдемся!»

— Сработал наконец арифмометр, — сказал он Симочке, улыбаясь.

— Не знаю, о каком вы там арифмометре говорите, — раздраженно сказала Симочка. — Знаю, что вред от всех этих дел большой. У меня же материалы на руках. В плену Турчанов был — раз, освобожден союзниками — два. Как это повлияет на окружающую молодежь, в особенности на внесоюзную, вот о чем надо думать!

— Да, занятная картинка получается. Такой факт, я думаю, отразить надо?

— Смеею вас заверить, мимо этого не пройдем, — многозначительно заметила Симочка.

«Какая она...» — думал Рясинцев и никак не мог найти верного для нее определения. В глубине души он испытывал к Симочке то же чувство, которое все последнее время испытывал к Кирпичникову. Он им обоим завидовал: они были более «передовыми», чем он.

На углу Садовой и Невского Рясинцев расстался с Симочкой. Здесь метель была уже не такая, как там, на краю города, и мела милостивее, по-домашнему, да и сугробы были поаккуратнее, а черные проталины вели прямо к уютным подъездам ресторанов. Было уже часов десять...

Как раз в это время в типографском клубе кончился концерт. Ребята пошли провожать Ивана Алексеевича. — И я тоже... с вами, — сказала Катя.

Иван Алексеевич взял ее под руку. Гурьбой они вышли на улицу.

Метель крутила еще круче. Что-то огромное обрушивалось на них сверху, и в двух шагах ничего нельзя было разглядеть.

— Смотрите, трамвай застрял! — крикнул Саша, показывая на какой-то черно-белый сундук, стоявший на пути и освещенный изнутри бессильным желтым светом. — Как же вы теперь добираться будете?

Все вокруг засуетились, Иван Алексеевич сказал озабоченно:

— Буду голосовать.

И только одна Катя молчала и чувствовала себя странно спокойной и уверенной, чувствовала какую-то давно забытую легкость, какую-то еще не испробованную свободу. Это новое чувство росло и выпрямлялось, как растение, прибитое морозом и все же сохранившее жизнь под теплым сугробом.

«Почему это? Зачем? Не надо...» — уговаривала себя Катя, но, сколько она ни старалась, ей не удавалось перебороть эту свою новую, удивительную и, как ей казалось, постыдную независимость от привычной боли.

Прошли несколько грузовиков, но не остановились. Иван Алексеевич, подняв правую руку, левой крепко держал Катю.

«Какие сильные руки... — подумала Катя. — Действительно... Поддубный...»

Вдруг близко застонала машина, шофер открыл дымящуюся снегом дверцу и крикнул в темноту:

— Полезай в кузов!

Иван Алексеевич поставил ногу на колесо и уже почти весь перекинулся, как вдруг соскочил и подбежал к Кате:

— Не переживайте вы так, все устроится! Ребята, до скорого свидания!

Шофер снова открыл дверцу и что-то крикнул. Иван Алексеевич так быстро исчез, словно его подхватил снежный вихрь.

2

С первого класса школы Симочка была признана образцовым ребенком. Семи лет она выступила на Октябрьском вечере и прочла стихотворение Веры Инбер «Сороконожка». Она так забавно произносила непонятные ей фразы и так прелестно выглядела в своем коротеньком платьице, что завоевала бурные аплодисменты. С тех пор она выступала на каждом празднике.

Чуть позднее, надев пионерский галстук, Симочка стала выступать с приветствиями по самым разным поводам, сначала в школе, а потом и вне ее. На собрании профсоюзных работников, на конференции геологов, на слете клубных деятелей слышался ее милый голосок. Барабан выбивает знакомую дробь, на трибуну, впереди небольшого отряда, подымается Симочка и заверяет, что смена не подведет, призывает крепить профсоюзную работу, перевыполнять план геологоразведки и усиливать клубную деятельность.

Она так привыкла к представительству, что за час выучивала наизусть любое обязательство, любой призыв и скучала, когда подолгу не было ни слетов, ни конференций. Самым большим огорчением ее юных лет был какой-то районный вечер, на котором выступила девочка из другой школы. Впрочем, еще больше Симочки переживал сам директор ее школы и, кажется, даже ходил жаловаться по этому поводу.

Училась Симочка хорошо, не выказывая, правда, никакого пристрастия к той или другой науке. Только в сочинениях на вольную тему Симочка не вытягивала, но литературу преподавала заведующая учебной частью, а ей-то уж никак не пристало снижать оценки образцовой ученице.

По мере того как Симочка из ребенка становилась взрослой девушкой, росло и ее общественное положение. Она уже заседала вместе с педагогами, обсуждала проступки малышей, а потом и своих сверстников, а в десятом классе многие молодые учительницы с ней советовались или во всяком случае старались не давать повода для ссоры. Если бы она не была так очаровательна внешне, нашлись бы, наверное, злые языки, которые приписали бы Симочке излишнюю внимательность к делам своих подруг или начетничество, а то, может быть, и раннюю черствость. Но трудно предположить такие качества в семнадцатилетней девушке, которая всем своим видом напоминает летний плакат: «Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья».

За год до начала войны Симочка кончила школу и поступила в институт. Но ничего не изменилось в ее жизни. По-прежнему она считалась самой умелой «представительницей», больше стали только масштабы.

Может быть, еще и потому ее так охотно всюду выдвигали, что многие студенты были заняты устройством своего быта, общежитием, стипендией, у одного маленький брат в Череповце, которого надо «тянуть», у другого больная мать, третий... ну, да у каждого свои заботы, а Симочка ничего этого не знала. У нее была прочная семья и обжитая квартира, в которую едва только войдешь, как сразу становится ясно, что есть мир на земле.

Наивысшего расцвета Симочкина деятельность достигла в дни войны, когда большинство студентов ушло на фронт, а институт был эвакуирован за Волгу. Там, в небольшом девичьем мирке, Симочка была главная сила. Даже в Москву по институтским делам ездил не директор, уже глубокий старик, а Симочка. К тому же она сохранила свою матерьяльную крепость: мать поехала вслед за ней, отец посылал почти весь аттестат, оставляя себе буквально гроши.

Но вскоре начались трудные времена. Вернулась Симочка в Ленинград в начале сорок пятого года с институтским дипломом и полная радужных надежд. Трудно сказать точно, на что именно она рассчитывала, но только ничего из этих расчетов не вышло. Подумать только, оказалось достаточно одной войны, чтобы забыть, как Симочка читала «Сороконожку», как она под барабанную дробь призывала клубных деятелей к различного

рода мероприятиям и как она в институте распределяла путевки и койки в общежитии и вручала хрустальный кубок баскетбольной команде.

Все было забыто, и все предлагали ей одно и то же: учить русской литературе школьников шестого класса, за что и получать соответствующую зарплату и рабочую карточку. Кажется, Симочку особенно взорвало то обстоятельство, что ее пригласили преподавателем в ту самую школу, где она в свое время так отличалась.

Даже мать, женщина, бывшая всю жизнь в полном плену у Симочки, и та недоумевала: «Почему же не преподавать литературу в шестом классе? Ты же для этого училась!»

«Преподавать литературу? — переспросила Симочка. — А дальше что?»

У нее были другие планы. Дело в том, что после приезда из эвакуации ее взяли на учет в комсомольскую организацию при райкоме комсомола. Очень скоро Симочка пришла к выводу, что «все эти Гловацкие и Богдановы» на голову ниже ее и что для начала должность инструктора весьма бы ей подошла. Работы у штатных инструкторов было очень много, и ей охотно доверяли отдельные поручения. И только мать беспокоилась: «Где ты пропадаешь целыми днями?» Но Симочка твердо заявила, что нашла свою жизненную дорогу, что, разумеется, есть и некоторые препятствия, но и они будут преодолены. «Актив», «внештатный инструктор» — это только этапы.

Симочка действительно была способным человеком. У нее было бойкое перо, но просто удивительно, как это перо умело обходить все то, что видели ее глаза. При этом нельзя было сказать, что она не замечает людей. В докладах всегда было отражено, правильно ли «внизу» поняли ее или неправильно, а если неправильно, то для такого печального случая выделялся специальный раздел. В нем Симочка записывала свою борьбу против местных критиканов. Как раз в этот раздел и попала Катя Вязникова.

Но тут необходимо маленькое отступление. Едва поступив в институт, Симочка услышала, что есть такая Катя Вязникова со второго курса, выдающаяся по своим способностям студентка, деятельная общественница и при всем этом красавица.



Долгое время и во всем чувствовала Симочка превосходство Кати. И даже то, что Катя осталась в героическом Ленинграде, а Симочка спокойно эвакуировалась, причиняло ей боль и было как бы одним из проявлений этого превосходства. И даже страшное горе, которое обрушилось на Катю, заставило Симочку страдать, страдать не за Катю, конечно, а за себя, то есть за свою биографию, то есть за полное отсутствие таковой.

Встреча с Катей в мае прошлого года все это сняла. Симочке просто-напросто стало жаль Катю. Она никогда не думала, что можно так измениться. И эта солдатская шапка...

Симочка почувствовала наконец свое превосходство, хотя бы потому, что могла помочь Кате. Катин отказ ее удивил, Катина независимость разбудила старое раздражение, стычка в общежитии уже нашла свое место в разделе «Нездоровые настроения». После Дня Советской Армии надо было действовать решительно.

Свою атаку Симочка повела осмотрительно. Для начала была создана комиссия по обследованию общежития. Этот способ казался ей наиболее эффективным. Благогоразумно поступила Симочка и составляя эту комиссию. Она могла бы предложить себя в качестве председателя, но не сделала этого, а предложила одного из работников района — Тимофея Петровича Голуа, человека пожилого, интеллигентного и беспартийного.

Голуа был известен в районе какследователь. Внешне он был весьма благообразен, носил старомодное пенсне и бородку клинышком, то есть выглядел именно так, как, по его мнению, и должен выглядеть старый беспартийный интеллигент.

Сам Тимофей Петрович равно ценил и свою интеллигентность, и свою беспартийность. До революции он преподавал чистописание в Луге, и его знаменитое объявление: «Голуа. Исправление почерка за сходную цену» — еженедельно появлялось в «Биржевке». После Февральской революции нашлось так много желающих исправить свой почерк, что гражданин Голуа смог приобрести доходный дом. Но именно это обстоятельство больше всего помешало гражданину Голуа после Октября. Пришлось все бросить, переселиться в Питер (все состояние — бородка и пенсне) и устроиться в отдел народного образо-

вания, в какой-то методсектор. Вскоре он осел, женился и стал тем, кем он стал.

К чести руководителей районного отдела народного образования надо сказать, что все эти двадцать пять лет Голуа занимал должности совершенно незначительные. Каждый новый заведующий районо в первом приступе служебной энергии решал бесповоротно уволить Голуа. Но каждый раз находились защитники, которые вспоминали его выдающуюся общественную деятельность, и приступ нового заведующего кончался тем, что он говорил, выразительно махнув рукой: «Есть дела и поважнее». И действительно, важных дел было сколько угодно.

Третьим членом этой комиссии была Елена Корнеевна Якимова, старая текстильщица, мать десятерых детей, мать-героиня, женщина трогательная и душевная. Всю жизнь она была занята семьей, которая теперь благодаря внукам необычайно разрослась.

Когда Елене Корнеевне поручали какое-нибудь общественное дело, она постоянно тревожилась о доме, и ее щадили и старались оградить от всякой бумажной волокиты и заседаний. Симочке хотелось, чтобы в ее комиссии участвовала такая заслуженная труженица, и она пообещала Елене Корнеевне, что ее туда и обратно свезут на машине и все дело займет какой-нибудь часик.

Для Кати начались черные дни. Обследовательская комиссия нагрянула внезапно, и сразу же произошла неприятность: Фонарик, бывший в этот вечер дежурным, потребовал пропуск.

— Какой пропуск? Что за чушь? — возмутился Голуа.

Но Фонарик твердо стоял на своем. Пришла Катя, и только с ее разрешения Фонарик пропустил гостей.

— Безобразная история, — продолжал возмущаться Голуа. — Прочитать надо за это.

— За что? За то, что он поддерживает установленный порядок?

— Установленный кем?

— Общим собранием.

Голуа иронически прищурился:

— Верховная власть?

— Во всяком случае я заинтересована, чтобы постановления общих собраний уважались.

— Отгораживаетесь от жизни?

— Нет, от хулиганов и всякой уличной дряни. А то, что к нам придет следственная комиссия, никто не знал. Вы же нас не предупредили.

— Залог успеха любой комиссии — внезапность, — сказал Голуа. — Иначе будешь обследовать «потемкинскую деревню».

— Вы, может быть, галоши снимете? — спросила Катя.

Гражданин Голуа нахмурился, но галоши снял. В таком раздраженном состоянии Тимофей Петрович давно уже не был. Он любил, чтобы ему оказывали уважение. («Не мне лично, конечно, а мне как председателю комиссии»). На лице администратора должен быть не испуг, но приличная робость. Вот прошлым летом обследовал детский садик Машиностроительного завода. Начали с завтрака. Тимофей Петрович не был голоден, но с аппетитом ел манную кашу со сгущенным молоком и ласково расспрашивал повара:

— Нас-то вкусно кормите, комиссия как-никак, а деткам, наверное, на воде варите?

В этом же общезнании царствовал какой-то порочный стиль, какая-то чувствовалась жестокость. А тут еще совсем дико повела себя Елена Корнеевна. Никогда она ни во что не вмешивалась, а в этом общезнании все рассмотрела и стала восторгаться в самом что ни на есть бабьем, плаксивом и восторженном тоне: ремонт сделали, а это ведь не шутки шутить, чистота, культурно живете... Ведь сироты — это понимать надо, без отца и матери росли, да в какое время!..

Симочка подозвала к себе Елену Корнеевну и намекнула, что обследование, вероятно, здорово затянется. Она увидела испуг на ее лице, улыбнулась и милостиво шепнула:

— Отправляйтесь-ка вы, Елена Корнеевна, к своему домашнему очагу, а мы уж тут как-нибудь сами справимся.

В первый вечер Голуа решил ограничить всю деятельность беседой с Катей. Основную проблему он очень хорошо понял после первого же свидания с Симочкой. Теперь он эту проблему раскатывал, как тесто под скалкой. Екатерина Григорьевна Вязникова училась в педвузе и готовилась стать преподавателем ботаники? Отлично! Ну-с, институт, стало быть, не закончила и не захотела

продолжать учебу, несмотря на то что имела право снова поступить на тот же курс, и к тому же без экзаменов. Почему же вдруг такое решение: воспитательницей в общежитие? Государство все-таки потратилось на учение, Вязникова Екатерина Григорьевна регулярно получала стипендию, пользовалась всеми благами. Наша комиссия должна составить мнение по всему комплексу вопросов.

— Я считаю, что государство не в убытке, — сказала Катя.

— Но ведь это ваше мнение, а не мнение государства.

— Да, мое. А ваше — государственное?

— Если позволите, напомню, что наша комиссия создана не кустарным способом и задача ее — защита интересов государства.

Тимофей Петрович в таких случаях становился изысканно вежливым; да и надо ли проявлять нетерпение в тех случаях, когда обследуемый сам себя губит?

На следующий день Катя сообщила Буркову о комиссии и о своих сомнениях: надо ли тревожить Анну Николаевну? Бурков был категорически против: прежде всего надо дать человеку отболеть, а то ведь по любому поводу беспокоят.

— Да у вас, кажется, в общежитии все в порядке?

— Ну, беспорядков хватает, но, по-моему, больше всего моей персоной интересуются.

— Это Голуа-то? — спросил Бурков смеясь. — Так ведь он всегда персонально кем-нибудь интересуется. Отбивайтесь, Екатерина Григорьевна, отбивайтесь!

Голуа зачастил в общежитие. Он присутствовал на всех собраниях, на собеседованиях, которые проводила Катя, и даже на репетиции самодеятельности и на спектакх, а однажды не поленился прийти чуть свет и присутствовать на утренней физзарядке.

При всем этом Тимофей Петрович никогда не расставался со своей записной книжкой. Это была скромная книжечка, без всякого тиснения и только помеченная номером семнадцать. Семнадцать — порядковый номер, ничего другого, просто семнадцатая книжечка, исписанная таким тончайшим почерком, каким владели теперь, быть может, два-три человека во всей стране.

Книжечка эта и по содержанию тоже была редкостной. В ней для каждого человека была своя страница. Может быть, отдельные разрозненные замечания для не-

посвященного человека и выглядели диковато, но ведь и лаборатория поэта тоже не сразу бывает признана современниками. И не для того ли в записной книжке поэта беспорядочно разбросаны рифмы, чтобы затем в стройном сочетании порадовать читателя глубоким и ярким стихом?

Вот, например, первые наброски, сделанные Тимофеем Петровичем о Саше Турчанове, частично во время беседы, частично в то время, когда Саша даже и не подозревал, что служит натурой для аналитического ума Тимофея Петровича: «Угрюм, красив, любит коньки и лыжи, на вопрос: «Помнит ли своего отца?» — отвечал с вызовом: «Помню, конечно...» Не отрицает, что вел разговоры и с воспитательницей и с военнослужащим, который является другом воспитательницы, посвященные своему отцу. На мое замечание, что вряд ли этот военнослужащий может являться и его другом, сверкнул глазами и едва не...» (Слово было зачеркнуто густо и мелко.)

Товарищ Голуа никогда не видел Ивана Алексеевича, но в скромной книжечке за номером семнадцать появилась страница, посвященные и ему. И отдельная страничка для отца Саши Турчанова, о котором, впрочем, записано было весьма туманно: «Подозревается, что жив».

Катя стойко терпела комиссию и, весьма возможно, дотерпела бы до конца, то есть до той последней фразы, которую так вкусно умел произносить Тимофей Петрович: «С выводами мы вас в ближайшее время ознакомим, а сейчас я буду настаивать, чтобы собрался полный кворум нашей комиссии для их утверждения». Но фразу эту ему так и не удалось произнести.

Товарищ Голуа сидел в красном уголке, просматривая старые подшивки журнала «Потребкооперация», который Союзпечать все-таки сумела всучить типографии. Катя была у себя в комнате. Ребята недавно ушли в кино. В общежитии было тихо.

В это время Катя услышала громкий голос Лизы, внизу что-то зазвенело, и этот звук, как впоследствии рассказывал Голуа, он принял за пистолетный выстрел. Может быть, именно поэтому он не вышел из красного уголка и при закрытых дверях остался изучать новости областной потребительской кооперации.

Катя бросилась вниз. В коридоре было темно. Под ногами хрустело стекло — была разбита лампочка.

— Лиза, это ты?.. — испуганно крикнула Катя, заметив возле раздевалки знакомую фигуру.

— Здесь я, ну здесь... Ну что? Комиссия, выходи! — вдруг громко крикнула Лиза.

Катя схватила ее и вытащила на свет.

— Что с тобой? Да ты что? Ты... пьяная?

— Екатерина Григорьевна, милушка, голубушка... Да разве я... да я самую малость... для храбрости...

— Для храбрости? — переспросила Катя. Она едва сдерживала себя. — Ты понимаешь... ты понимаешь, что ты сделала?

Сверху не торопясь спускался товарищ Голуа. Вид у него был совсем не грозный, а скорее добродушный. Он подошел к Кате и спросил тихо и ласково:

— Ваша воспитанница, кажется, выпила и закусила?

Больше он ничего не сказал. По-прежнему улыбаясь, он снял с вешалки свое пальто с воротником из крупного серого каракуля, не спеша надел шапку-пирожок и натянул боты.

— А ведь я ожидал сегодня разговора с Елизаветой Станиславовной. (Катя с трудом поняла, что речь идет о Лизе.) Бюджет времени у меня, как известно, напряженный. Ну что ж, придется отложить, пока ваша подопечная протрезвится.

— А вот тогда ничего и не дождешься! — крикнула Лиза и, вырвавшись от Кати, устремилась к Тимофею Петровичу. Катя догнала ее и снова крепко схватила. Лиза вдруг вся как-то сжалась и жалобно заплакала.

Тимофей Петрович, чтобы не терять зря времени, записывал в книжечку: «Вязникова характеризовала: нервная, впрочем, как большинство ребят, у которых детство было очень тяжелое. Но девица, оказывается, выпивает. Зачем было скрывать? Есть специальные колонии, где достигнуты прекрасные результаты по борьбе с алкоголизмом...»

А Лиза плакала так горько, что Катя, уже забыв о своем гневе, повторяла одну только фразу:

— Да успокойся же, успокойся, слышишь, что я тебе говорю, успокойся...

— Екатерина Григорьевна, миленькая, ну выгоните меня из общежития, я уйду, без меня вам здесь спокойнее будет, — сказала Лиза плача. — Выгоните, и все... А с комиссией этой не могу больше. Он меня все спрашивает,

почему я в детдом при живых родителях попала, да где они сейчас. Екатерина Григорьевна, разве я знаю?

Кате с трудом удалось уложить ее в постель. Теперь только одно — чтобы к возвращению ребят из кино все было тихо. Они ничего не заметят, кроме злополучной лампочки. Ну, это Катя возьмет на себя. «А Голуа этого я на порог больше не пушу», — решила Катя.

Наконец Лиза уснула. Катя, осторожно ступая на носки, вышла из комнаты. И едва только вышла, как внизу громко хлопнула дверь.

«Господи боже мой, неужели же это Голуа вернулся? — подумала Катя. — Нет, это невозможно...»

По лестнице поднималась незнакомая ей молодая женщина в черном пальто и в черной шапочке, украшенной небольшой пряжкой.

— Екатерина Григорьевна?

— Это я...

— Моя фамилия Федорова. Тамара Борисовна Федорова. Я жена майора Федорова.

3

— Жена Ивана Алексеевича? — беспокойно переспросила Катя. — С ним что-нибудь случилось?

Тамара пожала плечами:

— Почему «случилось»? Жив, здоров... Чему вы удивляетесь — что не он, а я?.. Вот приехала... познакомиться!

«Странный тон для начала, — подумала Катя, — что-то, конечно, между ними произошло...» — и как можно спокойнее сказала:

— Садитесь пожалуйста. Снимите пальто, у нас тепло.

— Я ненадолго.

— Так натопили ребята! Форточки открытой не боитесь?

— Не боюсь.

Катя старалась быть как можно любезнее, но Тамара это вынужденное гостеприимство раздражало. Она так и не сняла пальто, а только расстегнула воротник и резко его откинула.

«Милая и хорошенькая, — подумала Катя. — Разница

в годах у нас небольшая, но она совсем, совсем еще молодая. . .»

— Вы, наверно, хотите повидаться с Сашей Турчановым? Он скоро придет. . . — начала Катя.

Тамара ее перебила:

— Я приехала к вам. . . Может быть, не нравится? Вы скажите. Я человек прямой и люблю, чтобы со мной тоже прямо. Вот только еще немножко погляжу, полюбуюсь — и айда назад!

«Это ревность, — думала Катя. — Ревность и ничего больше. Но это ужасно. . . Что он ей сказал? Но что он мог сказать? . . .»

— Вы уж, пожалуйста, меня не гоните, — продолжала Тамара все в том же залихватском тоне. — Я сама. — И снова откинула воротник. — Подумайте, за сто верст приехала, чтобы только на вас взглянуть! . .

— Стой, — сказала Катя. — Вам нравится так со мной разговаривать? Мне — нет. Я действительно знакома с Иваном Алексеевичем, и вы знаете, что нас связывает. Но вас это, по всей вероятности, не интересует. Вам обязательно хочется со мной поссориться. Мне — нет. Если у вас есть что-нибудь серьезное — говорите, если же нет. . .

— Тогда — убирайтесь, да? — подхватила Тамара, словно чему-то обрадовавшись. — Что ж, я не против: убираться так убираться! «Чего-нибудь серьезного» у меня нет! Я ведь в университетах не училась, я в то время на немцев белье стирала да гуляш им в столовой подавала.

На большее у Кати выдержки не хватило. Она открыла дверь и выразительно встала на пороге.

— Мне ясно, — сказала Тамара и вышла из комнаты, хлопнув дверью.

«Ужас, просто ужас! — подумала Катя. Она села за свой столик, сжала обеими руками голову, словно запрещающая себе думать об этой безобразной сцене. — Но как он, как Иван Алексеевич мог все это допустить? — спрашивала себя Катя. — Нет, он, конечно, не знал. Но он обязан был знать. И что теперь будет? Ведь я ее выгнала. . . Выгнала жену Ивана Алексеевича! . . Но как можно было иначе поступить? Неужели же терпеть все эти незаслуженные оскорбления? В конце концов, пусть дома бьет тарелки. . .»

Но чем больше Катя возмущалась и чем больше она повторяла, что поступила правильно, совершенно пра-



вильно, чем больше восстанавливала себя против Тамары, тем более жалкой казалась ей она, жалкой, требующей помощи, участия. Да она и накричать как следует не умеет!.. «Я человек прямой», — вспомнила Катя с острым чувством жалости.

Она вскочила, накинула платок и выбежала из комнаты. «Может быть, еще не поздно. Догоню и верну с дороги».

— Тамара! — негромко крикнула она в пролет лестницы. — Тамара!..

Никто не откликнулся. Катя побежала вниз и чуть было не упала: там было темно. Она уже открыла дверь на улицу, но в это время услышала, как что-то хрустнуло. «Это стекло от разбитой лампочки. Тамара где-то здесь...» На ощупь нашла раздевалку. В темноте, уткнувшись в решетку, тихо плакала Тамара.

— Идите отсюда, — сказала Катя. — Слышите, что я говорю, идите ко мне, наверх.

— Зачем? Не надо. Все ясно...

— Ничего не ясно. Надо поговорить. Ведь для того вы и приехали, чтобы поговорить.

Она втащила Тамару в свою комнату, усадила в кресло, сняла с нее пальто и напоила валерьяновыми каплями.

— Ну как, легче стало?

— Я когда ехала к вам, — сказала Тамара, — совсем не думала заводить скандал, думала — взгляну и уеду, а сердце не выдержало. Очень уж все наболело. Тяжело вы мне дались, Екатерина Григорьевна, — сказала она, стараясь улыбнуться. — Но я другой, совсем другой вас представляла!

— Лучше или хуже? — тоже пытаюсь улыбнуться, спросила Катя.

— И хуже и лучше, — очень серьезно ответила Тамара. — Я думала, вы какая-то необыкновенная красавица... Да нет, не перебивайте меня, именно так я думала. Думала — увижу вас и все пойму. А когда увидела, так только на то и озлилась, что ничего, решительно ничего в вас не поняла. Совсем вы никакая не красавица, но лучше, лучше всякой раскрасавицы... Дайте же мне договорить, — сказала она, взяв Катю за руку и заглядывая ей в лицо. Но сама же и не выдержала, отвернулась. — Напрасно вы меня назад позвали, все равно ничего не изме-

нишь, а мне хуже, хуже, потому что понимаю теперь все, понимаю теперь, почему он вас любит.

— Это он вам сказал? — спросила Катя. — Он? Он вам сказал, что... любит?

Тамара грустно покачала головой:

— Ничего он мне не сказал. У нас давно разлад.

— Так я и думала, — вырвалось у Кати. — Когда вы только пришли, я так и подумала, что между вами разлад и что объясниться вы друг с другом не можете. И это чем дальше, тем хуже. То есть я, может быть, не именно так подумала, а только взглянула на вас и... позвольте откровенностью за откровенность: я ведь вас тоже совсем другой представляла.

— В чернобурке? — грустно улыбнулась Тамара.

— Тут не только в чернобурке беда! Чернобурка — штука хорошая... Беда, что торопятся, жадничают, а это ведь и мешает разобраться в жизни. А вы совсем другая. Попробуйте сами разобраться. Вот вы сказали, что Иван Алексеевич будто бы любит меня. А я вам говорю — вы ошибаетесь. Послушайте, ведь мы сами хорошо знаем, когда нас любят, чувствуем без всяких признаний. А Иван Алексеевич... Иван Алексеевич, он... он сблизился со мной душевно. И вот эту близость вы и приняли за любовь...

— Сблизился душевно? — переспросила Тамара. — А это разве не любовь? Подкосили вы меня, Екатерина Григорьевна, последнюю надежду отняли. Вы с ним на одном языке, а я на другом. Вы его поняли, а я нет. Умная вы женщина, Екатерина Григорьевна, а главного не поняли... Ну вот и все. Прощайте. И не поминайте лихом.

— Подождите, — сказала Катя твердо. — Подождите еще минуту, подождите, не уходите. Я хочу вас спросить: вы... вы любите Ивана Алексеевича? Не пылите, не сверкайте, скажите мне об этом негромко: вы любите Ивана Алексеевича?

Наступило долгое, трудное молчание. Тамара мысленно уже много раз ответила: «Да. Да, да, да!» Но что-то мешало ей высказать это «да!», какая-то незнакомая ей робость.

— Когда мы поженились, — сказала Тамара, словно сама с собой разговаривая, — я так счастлива была, так было много хорошего на душе, что, казалось, этого на всю жизнь хватит. А вот и на один год не хватило. («За-

чем я об этом говорю? — думала Тамара. — Рассказываю о нас... ей... Зачем это?»)

Она думала о том, что нелепо рассказывать Кате о себе и об Иване Алексеевиче, но какая-то странная сила заставляла ее продолжать. Никогда она не думала, что кому-нибудь может доверить самое свое сокровенное. То, в чем самой себе еще не признавалась.

Она рассказала Кате и о первой летней ссоре, когда они с Иваном Алексеевичем не поняли друг друга, и о том, какой дорогой ценой досталось им примирение. И все равно они не могут понять друг друга.

— Не поняли друг друга? — переспросила Катя. — Достаточно ли вы оба старались?.. По-моему, надо, обязательно надо понять... если любишь. Ведь у любви, у настоящей любви, много сил и много терпения. Да, да, стараться понять друг друга, — повторила Катя с воодушевлением. — Любовь требует постоянной душевной работы, не всегда быстрой и даже, наоборот, чаще медленной, во всяком случае терпеливой. Если это вам кажется скучным, то нельзя и рассчитывать, что вы поймете друг друга.

— А я никогда не умела рассчитывать, — сказала Тамара, — да и не хочу.

— А вы попробуйте меня правильно понять: я ведь не за то, чтобы прикидывать чувства на весах, а за то, чтобы бороться за свою любовь. Что же это за любовь, которую так быстро уступают? Да какого еще человека уступают!

— Иван Алексеевич человек, как все люди, — сказала Тамара, стиснув зубы и ревниво глядя на Катю.

Но Катя была слишком занята своим.

— Человек, как все люди? Что это значит? Не гений? А это что значит? Не великий полководец, не великий ученый, не великий артист? Добрый, смелый, справедливый человек! Бывают времена, Тамара, когда такой человек стоит больше, чем гений!

«Она его любит!» — подумала Тамара. «Она его любит...» — мысленно повторяла Тамара, сама удивляясь, что эта мысль не приносит ей боли. «Она его любит» — это означало для Тамары: «Он ее не любит».

— Я пойду, пора мне, — тихо сказала Тамара и вдруг подошла к Кате и порывисто ее обняла: — Катя!

— Не надо, Тамара. Ничего не надо. Идемте, я вас провожу.

Уйти от Ивана Алексеевича. . . Об этом Тамара думала не один раз. Но на главный вопрос, что же произошло в их жизни, она ни разу не смогла себе ответить, и это ее особенно пугало.

И каждый раз, когда Тамара об этом думала, она вспоминала, как они поженились и как были счастливы. Иван Алексеевич тогда говорил: «Ты подумай, ведь это только начало, а впереди целая жизнь! . . .»

Недели две назад Тамара встретилась с теткой и попыталась, что называется, раскрыть душу.

Но из этого ничего не вышло. Александра Глебовна задала ей те же вопросы, которые Тамара сама себе постоянно задавала.

— Что случилось? — спросила Александра Глебовна. И тут же решительно ответила на этот вопрос: — Ничего не случилось. Да ты, мать, с жиру бесишься. Жена майора! Ты вспомни, кем ты была!

— Ну кем я была, кем? — пробовала возразить Тамара.

— Сопливая девчонка, судомойка, довольно тебе? — отрезала Александра Глебовна. — Снова того же хочешь?

— Что же я, разве ради денег замуж выходила?

— А я этого не сказала, — примирительно заметила тетка.

— Я на телефонистку выучилась, — вздохнула Тамара. — Один экзамен остался.

— Давай уж тогда лучше официанткой. Все-таки при кухне.

Потом тетка сжалилась и стала говорить с Тамарой ласково, выпрашивая об Иване Алексеевиче и жалея ее, и это было самое неприятное.

— Может быть, он на стороне колобродит? — расспрашивала Александра Глебовна. — Помнишь, я тебе рассказывала, как он с этой длинноногой гулял, как я их на набережной встретила? А как он тогда с моих именин удрал?

— Ах, оставьте, пожалуйста. Это Катя. . . Катя, воспитательница в общежитии, где тот мальчик — Саша Турчанов. Про Сашу Турчанова я же вам говорила. . .

— Такая дура, как ты, всему поверит. Я бы на твоём месте давным-давно к его начальству смоталась. Раз ты

партийный, так ты соблюдай себя. Нынче это не поощряется...

— Не в том дело, тетя, не в том дело... — твердила Тамара, хотя напоминание о Кате больно ее тронуло.

Расстались они на том, что тетка категорически запретила Тамаре даже думать о каких-то решительных столкновениях с мужем и в то же время взяла с нее слово «не давать спуску» Ивану Алексеевичу.

Все-таки Тамара ей что-то на это возразила, и Александра Глебовна всерьез рассердилась:

— Зачем было приезжать и просить помощи, если тут же защищаешь своего ангела?..

Тамара подсознательно рассчитывала на другой разговор. Ей хотелось, чтобы ее утешили, ей хотелось услышать, что Иван Алексеевич любит ее без ума, что он всей душой с ней, а просто мужчины сами не свои, когда у них неприятности на службе. Но вместо всего этого ей посоветовали не доверять мужу. Не терять его, но постоянно за ним следить, следить и следить. А это трудное дело, когда любишь человека. Любовь предполагает доверие.

Разговор с теткой оставил противный след, который мог бы при других обстоятельствах и зарости, но который с каждым днем все больше и больше углублялся. Внимание Тамары было сосредоточено теперь на «разлучнице» — на Кате. Это усиленное внимание заметил и Иван Алексеевич. Он потому так и покраснел, получив приглашение на вечер в общежитие. Да и все время он чувствовал на себе пристальный взгляд Тамары. Недоверие больше, чем какое-нибудь другое чувство, вызывает встречный поток.

Но теткина наука не пошла Тамаре впрок. По теткиным неписаным правилам следить за Иваном Алексеевичем надо было умело, то есть тайно. Тамара же все довела до крайности и грубо поссорилась с мужем.

В тот вечер, когда Иван Алексеевич уехал в Ленинград, Тамара места себе не находила. Но похоже было на то, что Иван Алексеевич притерпелся к ссорам. Из Ленинграда он вернулся поздно, наскоро поужинал (Тамара видела, что он очень голоден), ни о чем не стал разговаривать и лег спать.

Тамара не спала всю ночь и, слушая сильное, ровное дыхание Ивана Алексеевича, думала: «Мы как чужие... Мы как чужие, а он этого не замечает!..»

Больше всего ее мучила мысль о том, что ведь придется же когда-нибудь объясниться с Иваном Алексеевичем. Но не его признаний в «неверности» боялась Тамара. Всего больше ее угнетала мысль, что Иван Алексеевич снова пожмет плечами, как он это часто теперь делал, а может быть, и рассердится: он так сейчас много работает, а она пристаёт к нему со всякими глупостями.

Вскоре начались учения, те самые первые учения при новом командире корпуса, которых все давно ждали.

— Будь здорова, Томка, не скучай, — сказал Иван Алексеевич и крепко обнял жену.

«Чужие, совсем чужие!» — подумала Тамара. Ей до головокружения захотелось прижаться к его гимнастерке, обнять его. «Не мой!» — подумала она, едва сдерживая слезы.

И в тот же день Тамара уехала в Ленинград к Александре Глебовне, а от нее поехала в общежитие и встретилась с Катей. В Верески она вернулась с последним поездом.

Вечер был теплый и влажный. Март начался с оттепели. Негромко капало с крыш и деревьев. По сырой платформе ковылял галчонок, подбитый мальчишками. Пахло мятой и сыростью.

Тамара прислушалась к тишине, выбрала на скамейке местечко посуше, села. Галчонок подошел к ней, кося большим синим глазом. Тамара хотела его погладить, но он сердито клюнул ее и отошел. Вдалеке надрывно закричал паровоз, потом снова все стихло.

«Как нелепо, как ужасно сложилась моя жизнь! Как мне не повезло!..» — думала Тамара, но обычной жалости к себе она не чувствовала. Что-то совсем другое, какое-то совсем другое чувство появилось у нее после разговора с Катей. И сколько Тамара ни думала о своей судьбе, это еще не названное чувство росло, а жалость к себе и ревность отступали.

Впервые в жизни ей предстояло самой решить свою судьбу. Правильно или неправильно будет выбрано решение, но оно будет выбрано ею самой. А это всегда закаляет душу, не дает распускаться, выносит на подветренную сторону, туда, где только и можно стать настоящим человеком. Советы Александры Глебовны она не могла принять, потому что они были унижительны для ее любви. Катины слова об Иване Алексеевиче, напротив, возвы-

шали ее любовь, но путь туда, к этим высотам, был ей неизвестен. Значит, уйти, расстаться, теперь уже без оскорблений, без мелочей, но расстаться?

Галчонок, закончив свою вечернюю прогулку, снова подошел к Тамаре. Он помахал здоровым крылом, видимо пытаясь взлететь к ней на колени. Тамара подняла его, погладила...

Хорошо еще, что Иван Алексеевич на учениях. Ей предстоит длинная неделя, и за это время она должна подготовить себя к встрече с мужем. Воображение уже подсказывало Тамаре, как Иван Алексеевич провожает ее до станции. Все ее пожитки — небольшой чемодан... А еще лучше оставить ему письмо и написать все, что она за это время передумала. Он придет с учений, а она уже будет далеко отсюда.

Тамара вздохнула, осторожно поставила галчонок на платформу и пошла домой.

Не спеша она поднялась по темной лестнице. (Хозяин опять экономил электричество.) На площадке второго этажа, у самой двери, ее кто-то окликнул. Тамара так испугалась, что уронила сумочку.

— Кто, кто? — спросила она шепотом.

— Ну и пугливая же вы, Тамара Борисовна... — весело сказал незнакомый голос, и в ту же минуту зажуужал ручной фонарик.

— Господи боже мой, товарищ Кирпичников!

— Нервочки, нервочки, Тамара Борисовна!.. — Он поднял сумочку и протянул ее Тамаре.

— Что, разве учение отменили?

— Нервочки, нервочки, — повторил Кирпичников. — Как это «отменили учение»?

— Но ведь Иван Алексеевич там!

— Да он-то там, да я-то не к нему. Я, Тамара Борисовна, целый вечер вас поджидал.

— Меня?..

— Так точно. Зашел в восемь — никого. Зашел в девять — опять никого. Я уж и беспокоиться стал. Сейчас время, конечно, позднее, но я думаю — это ничего. А впрочем, все это больше ради вас самой.

Тамара открыла дверь.

— Пожалуйста, товарищ Кирпичников, заходите. Вот сюда можно шинель повесить. Все никак не соберемся вешалку купить. Вот на гвоздичек вешайте.

— Ничего, ничего. У меня для таких случаев самообслуживание. — Он вынул из внутреннего кармана шинели складную распялку. — В Пассаже купил, рекомендую. Тамара тоже сняла пальто.

— Садитесь, пожалуйста. . .

— С удовольствием, — непринужденно ответил Кирпичников. — Чуть ли не весь вечер на ногах, с удовольствием. . .

Он сел, бросил на стол папиросы и спички и жестом пригласил Тамару сесть.

Тамара села на стул, или, вернее сказать, на краешек стула.

— Плохо выглядите, Тамара Борисовна, — сказал Кирпичников, постучав папиросой о коробку и закуривая. — В Ленинграде были?

— Да. . . в Ленинграде.

— Ясно, намучились. Движение большое: вторая столица; сильно развитая промышленность, ну и культурные учреждения, конечно. . . У тетушки были?

— У тетушки? — удивленно переспросила Тамара. — Вы почему знаете?

— Чего бы мы, политработники, стоили, если бы ничего не знали, — сказал Кирпичников, улыбнувшись. — Не только знаю, но и знаком.

— Вы? . .

— Я, Тамара Борисовна. Не очень знаком, но знаком. Так сказать, познакомились. Вот я и пришел к вам как старший товарищ к младшему. Пришел оказать помощь.

— Я вас не понимаю, товарищ Кирпичников. . .

В голове у нее была такая сумятица, что ей и в самом деле никак не удавалось понять, чего же он от нее хочет. Но Кирпичников был терпелив.

— Хорошо, я поясню вам, — сказал он. — Вовремя вмешаться — значит помочь. Дело в том, что в политотдел нашего подразделения поступило заявление гражданки Назаровой Александры Глебовны о недостойном поведении коммуниста Федорова в отношении своей жены.

— Но я ей ничего не говорила. . . — пролепетала Тамара.

— То есть как это не говорили? — кажется, даже обиделся Кирпичников. — Внесем ясность. Я к вашей тетушке не ходил. Она сама ко мне пришла. Да что вы так



волнуетесь, просто непонятно... Мы можем вам помочь, и мы вам действительно поможем...

— Ничего я такого не говорила, ничего... — повторяла Тамара.

Ей было ужасно стыдно, что этот посторонний человек разговаривает с ней об Иване Алексеевиче и об их отношениях, да еще, видимо, осуждает. «Ох, боже мой, эта дура тетка. И зачем только я с ней откровенничала!..»

— Все это неправда, — добавила она торопливо.

Кирпичников внимательно на нее посмотрел.

— Вы со мной неоткровенны, Тамара Борисовна, — сказал он, прикуривая новую папиросу от старой. — А следует, я бы даже сказал, рекомендуется быть откровенной. Что ж, я могу немного подождать, пока вы соберетесь с мыслями.

Они встретились взглядами. «Да, от такого пощады не жди», — подумала она. Но страх за Ивана Алексеевича, страх за все то, что ему придется пережить благодаря ее глупости (она сейчас ругала только себя), — этот страх был сильнее всего. Не раз в своей жизни Тамара встречалась с жестокостью и почти всегда отступала. Но сейчас она вся внутренне подобралась, готовая к схватке.

— Тут и ждать нечего, товарищ Кирпичников, — сказала она. — Ничего не было. Живем мы с Иваном Алексеевичем хорошо. Лучше и не надо, — сказала она, подумав.

— Так, так. Значит, помирились? — спросил Кирпичников, по-видимому не замечая этой готовности Тамары самой все перетерпеть и перестрадать. — Очень хорошо, понимаю — помирились, но вот мы с этим делом помириться не можем. С высказываниями рядовых людей надо считаться. Вы согласитесь, что тетушка ваша производит вполне положительное впечатление, труженица, работник коммунального хозяйства. Мы бы вполне могли принять меры и по устному ее заявлению. Просто хотелось установить вместе с вами некоторую последовательность, уточнить факты...

— Какие факты? Зачем врать? — не выдержав, крикнула Тамара. — Как раз фактов-то никаких и нет!

Кирпичников еще раз внимательно взглянул на нее:

— Факты? Ну, факты мы вам дадим. — Шурясь, он смотрел на нее, словно раздумывая, время или не время братья за самое острое оружие. — Скажите, Тамара Бо-

рисовна, известно вам такое имя, — он вынул блокнот и быстро перелистал, — Вязникова Екатерина Григорьевна?

Он сразу же уловил выражение Тамариного лица и сейчас был похож на удачливого фотографа.

«Что ему ответить? — думала в эту минуту Тамара. — Знаю или не знаю? Знаю или не знаю? ..»

— Да, конечно, я знакома с Екатериной Григорьевной, — сказала Тамара, слыша свой голос откуда-то издалека.

— И что же? — спросил Кирпичников. — Тоже... помирились?

— Но я с ней тоже не ссорилась, — ответила Тамара. — Мы, то есть я и мой муж, на днях получили приглашение на вечер в общежитие, где работает Катя... то есть Вязникова Екатерина Григорьевна, я ее запросто Катей называю. Я в тот день плохо себя чувствовала, ну а Иван Алексеевич поехал.

— И... и что же? — несколько растерянно спросил Кирпичников.

— Да ничего, товарищ Кирпичников, — совсем спокойно сказала Тамара, чувствуя, что она вышла победительницей. — Вечер прошел хорошо.

Кирпичников встал, подошел к вешалке, снял шинель, оделся.

— Значит, вы не хотите нам помочь, Тамара Борисовна? Немного же у вас нашлось мужества, скажем прямо, немного. Впрочем, это меня не удивляет: если взять вашу жизнь в целом... — он не закончил фразу, аккуратно сложил свою знаменитую распялку и сунул в карман.

— Мою жизнь? — встрепелась Тамара. — А что такое?

— Ничего особенного. Имеется в виду ваше пребывание на территории, оккупированной немцами, — любезно пояснил Кирпичников. Он уже вполне оправился от своего смущения.

Тамара была способна сейчас на самый резкий ответ, но тот же страх за Ивана Алексеевича, страх, который заставил ее быть смелой с Кирпичниковым, заставил ее сейчас быть осторожной и сдержанной.

— Мое пребывание!.. — только повторила Тамара. — Мое пребывание...

— Вы хорошо меня поняли, — сказал Кирпичников, закуривая новую папиросу. — Но не хотите, как хотите. Моя обязанность была предупредить вас. Должен заметить, что по этому вопросу есть люди более волевые, чем вы. Вероятно, ваш супруг забыл вам сказать, что на этом вечере был еще один наш офицер. Вот видите, как нехорошо получается. Ведь по-вашему выходит, что и товарищ Рясинцев лжет. Вот в какое вы некрасивое положение наших людей поставить хотите. Не выйдет, Тамара Борисовна, не выйдет!

Он ушел, а Тамара, сильно прижав руки к груди, словно хотела успокоить сердце, стояла и слушала, как он спускается с лестницы. Стихли шаги, потом послышался скрип калитки и снова мерный стук, смягченный оттепелью. Когда все стихло, Тамара отняла руки от груди. Только сейчас она почувствовала, как душно и дымно в комнате.

«Ужасные папиросы, вонючие, крепкие», — думала она, открывая форточку. Воздух был ночной, холодный, но не морозный, а какой-то застойный и прелый.

Она накинула платок и села на диванчик. Как быть? Она прекрасно понимала, что Ивану Алексеевичу угрожает опасность. И это для нее было самое главное. Надо как можно скорее найти выход, обязательно надо...

А товарищ Кирпичников немного погулял перед сном. Он был совершенно спокоен. Он твердо знал правило, которое помогало ему в самые критические минуты. Правило в общем и целом было довольно простое: нет такого человека, чья жизнь не дала бы в результате тщательного осмотра некоторого осадка. Надо, как говорится, хорошенько взболтнуть и потом посмотреть на свет. Исключений из этого правила не могло быть: оно кормило Кирпичникова.

5

Иван Алексеевич заметил, конечно, что Тамара простилась с ним не по-обычному, но до его сердца ничего не дошло. Он был полностью поглощен предстоящим делом.

Утро выдалось легкое и какое-то праздничное. Недавно рассвело, а уже все сверкало, и в небе была такая синь, словно там только что отгрелел ледоход.

Весь батальон был на машинах, и до самого района учений шли без привалов. Спешились в небольшом лесочке, поставили палатки, и только затем Иван Алексеевич дал команду «на отдых».

Под хмельной запах сосен он быстро уснул, но его почти сразу же разбудили: пакет из штаба. Иван Алексеевич быстро вскрыл конверт, вынул лист глянцевиной бумаги и, кажется, даже не пробежал глазами, а только взглянул на знакомый шрифт штабной машинки с полуманной буквой «к» и сразу все понял.

В это время в палатку вошел Жолудев.

— Что с вами, товарищ майор? Неприятное известие?

— Да, не очень приятное, — признался Иван Алексеевич. — Давайте-ка выйдем, пока не стемнело.

Они вышли из палатки, и Жолудев сказал:

— Вы так побледнели, что я за вас испугался.

— Просто со сна... И потом это освещение, не люблю я карбидных фонарей.

Они вышли из лесочка, и Иван Алексеевич объяснил:

— Я получил приказ. Батальону указан исходный район.

— Нетрудно угадать... Вероятно, за высотой 39.0...

— Это было бы еще не так плохо. Но мы левее!

— Но там же совершенно открытая местность! — возмутился Жолудев. — Да что же это в самом деле... Вы разрешите мне сопровождать вас?

Иван Алексеевич кивнул головой. Молча они дошли до большого поля, покрытого несвежим снегом. С песчаных дюн, за которыми укрепился «противник», поле отлично просматривалось: трудно было найти место более неудобное для атаки. Правда, в восьмистах метрах начинался лесок, на его опушке легко можно было замаскировать исходную позицию. Но то было в восьмистах метрах!

— Бельский же прекрасно понимает, что означают для меня эти метры!

Жолудев поморщился: очень уж его неприятно резанули эти два слова — «для меня».

— Тут дело простое, — продолжал Иван Алексеевич. — Не удалось помешать постановке вопроса в печати, пожалуйста, выделим такой участок фронта, чтобы теория и практика разошлись. Вы разве считаете, что это не так?

— Может быть, и так, но, по-моему, в бою не место для дискуссий. Конечно, можно вполне научно объяснить наше бессилие, но лучше нам искать и найти выход из положения.

Иван Алексеевич задумался.

— Да, это, пожалуй, так, — сказал он, немного поостыв. — И кажется, я вас понял, понял, что вас покорило: «я», «мне», «мое», «я доказал», «мне ставят палки в колеса...»

Жолудев улыбнулся:

— Не смею спорить, товарищ майор.

Они дошли до стыка с соседним батальоном и повернули в сторону «противника». Солнце почти совсем скрылось и только подсвечивало снизу, редкие сосны резко выделялись на блеклом небе и были похожи на корабельные мачты. Фиолетовые тени от дюн спокойно ложились на снег. И хотя рядом в лесу расположился большой лагерь, было совсем тихо.

— Ну, хорошо, — сказал Иван Алексеевич. — Давайте рассуждать. Для меня ясно, что оборудовать исходные, прикрываясь лесом, очень нетрудно. Но что будет во время атаки? Преодолеть восемьсот метров по совершенно открытому полю нелегко. Или вы думаете, что дело упирается в какое-то мое вздорное самолюбие?

— Нет, товарищ майор, я этого не думаю. Думаю, что подбираться надо к «противнику» как можно ближе и до начала наступления.

— Я тоже так думаю.

Если бы кто-нибудь сейчас сказал им, что «противника» еще нет, а потому батальон может спокойно заниматься всеми необходимыми работами и строить ходы сообщения и отрывать траншеи, наверное, оба только бы плечами пожали: война — это война, если есть одна сторона, значит, есть и другая — «противник», иначе какая же это война!

На обратном пути шли лесом. Иван Алексеевич был рад, что он снова среди людей и что вокруг сосны — живая зелень, а не холодные дюны. Все здесь было как-то меньше, домашней, и даже огромный купол мартовской ночи казался не таким величественным. И темнело здесь куда быстрее, повсюду блестели уютные огоньки; приехали кухни, и горьковатый запах гречи смешался с густым запахом хвои.

Во второй роте повар предложил попробовать обед. — Да я, пожалуй, не откажусь... — ответил Иван Алексеевич.

Он отлично знал, что солдат любит поговорить с начальством, что называется, за чаем, «запросто». Кое-кто из офицеров избегает этого — как бы, мол, здесь не вышло панибратства: «Дескать, сегодня чай распиваем, завтра по плечу похлопываем». Но такому пугливому офицеру трудно служить в армии. О чем же это он сегодня с солдатом разговаривал, если тот его завтра может по плечу похлопать?

Но обо всем этом Иван Алексеевич сейчас не думал. Ему хотелось есть, пахло вкусно, а народ вокруг был знакомый. Когда-то Иван Алексеевич командовал этой самой второй ротой, и его многие знали. И конечно, многие заметили, что командир батальона сильно озабочен.

Напускная веселость в таких случаях только вредит. Иван Алексеевич не стал скрывать причину своей озабоченности.

Настоящие задачи науки, впрочем, так же, как и настоящие задачи искусства, как бы они ни были сложны, замечательны еще и тем, что о них можно рассказывать просто и ясно. Тем более это относится к военному делу.

Общее мнение было здесь единодушное: поближе к «противнику» — это правильно. У всех здесь, так же как и у Ивана Алексеевича, не было сомнений, что там, в дюнах, окопался «противник», и если мы наши работы будем вести на открытом месте, то «он» обязательно станет за нами наблюдать.

— Да, такой маскировочной сетки для нас еще не связали, чтобы весь батальон разом прикрыть, — грустно заметил ефрейтор Сиделкин, известный всей роте шутник и балагур.

Иван Алексеевич отставил котелок.

— Как вы сказали, товарищ ефрейтор? Не связали для нас такой сетки? ..

Сиделкин встал: видимо, не вовремя прозвучала его невеселая шутка.

— Виноват, товарищ майор... — начал он.

Иван Алексеевич не дал ему договорить:

— Как это нет такой сетки? Есть! Очень даже есть, и вязать ее незачем! Вот смотрите, товарищи, она уже связана для нас! Что, ефрейтор? — сказал он. — Все шут-

ки шутишь, а я всерьез. Будем, товарищи, ночью работать. Вот вам и «сеть»! И начнем мы с хода сообщения от опушки леса к исходному рубежу. А затем будем отрывать исходную траншею, и не дальше, чем в трехстах пятидесяти метрах от «противника». Товарищ капитан! — обратился он к Жолудеву. — Передайте мое приказание начальнику штаба батальона: собрать офицеров в двадцать один ноль-ноль. И непременно офицеров приданных подразделений: танкистов и артиллеристов.

— Слушаюсь, товарищ майор, — весело ответил Жолудев.

Совсем стемнело в лесу. Иван Алексеевич чуть было не заблудился, разыскивая свою палатку. Он был озабочен. Принятое им решение потребует большого напряжения, а люди не должны быть переутомлены. Надо, чтобы они нормально отдыхали, а это тоже зависит от него.

«Слава богу, что еще луны нет...» — подумал Иван Алексеевич и открыл полог палатки. Но он так и не вошел, а остановился на пороге: за его столом сидел полковник Камышин.

— Товарищ полковник!.. — начал рапорт Иван Алексеевич.

Камышин остановил его.

— Не надо рапорта, — сказал он, как показалось Ивану Алексеевичу, печально. — Садитесь.

Иван Алексеевич сел. Большая синяя тень от карбидного фонаря падала на лицо Камышина и делала его старше. «Он изменился за это время, — подумал Иван Алексеевич. — Постарел очень. И в самом деле ему пора на покой...»

После смерти Шаврова Камышин часто болел. Полком командовал его заместитель по строевой. Офицеры высчитали, что к первому мая Камышин окончательно уйдет в отставку, и шутили между собой, что начался «переходный период». Шутили, что его «околдовала» Мария Артуровна. Но всем было обидно, что такой волевой человек, каким Камышина знали в бою, так слаб духом, когда решаются вопросы его личной жизни.

Иван Алексеевич не видел командира полка с тех памятных учений, когда к ним приезжал Шавров. Он не раз думал о том, что Камышину, вероятно, очень трудно встретиться с ним. И это было понятно. Ивану Алексеевичу было бы гораздо больнее, если бы Камышин сделал

вид, что ничего не случилось. Именно такой вид бывал всегда у Бельского, когда он приезжал в полк: «Стоит ли портить себе кровь? Комбатов много, а я один...»

Все это время, думая о Камышине, Иван Алексеевич испытывал двойное чувство. Забыть то, что было между ними, он не мог, но при этом ему было жаль командира полка...

Увидев Камышина у себя в палатке, Иван Алексеевич сразу же подумал, что между ними произойдет разговор и что иначе и быть не может: ведь остаются считанные дни до ухода Камышина из армии. Невозможно уйти и не проститься...

Камышин начал первый:

— Мне хотелось поговорить с вами. И вот я... пришел.

Он, как всегда, говорил негромко, а сейчас казалось, что говорить ему очень трудно.

— У вас, вероятно, создалось впечатление, что я больше не вернусь в полк? — спросил Камышин прямо.

— Да, так, товарищ полковник, — тоже прямо ответил Иван Алексеевич.

— Это вполне понятно. Так было решено. Я хочу вам сказать, что никто не ставил передо мной вопрос об отставке. Это было мое желание. Говорят, что этому во многом способствовала моя жена. Но и это только отчасти верно. Главное же было совсем в другом: я устал. Я всегда любил свою работу, да что говорить, я не представлял себе другой жизни, кроме жизни военного, а с некоторой пор я просто стал служить. И знаете, физическую усталость куда легче побороть, чем усталость душевную. Осенью я отдыхал в Крыму. Море, пляж, кипарисы, прогулки. Цветы там очень остро пахнут, особенно ночью... Нет, ничего у меня не получилось. Вернулся, как чиновник, в свой кабинет. Чиновник в армии! Что может быть хуже? Так же, как не сочетаются два слова — революция и бюрократ, так же несовместимы два понятия — бюрократизм и Советская Армия. Ведь наша армия рождена революцией! Для службиста важно не только прилично служить, но и прилично уйти со службы. А ведь я к этому стремился. И как раз этого-то у меня не получилось. Для всего этого надо было... — Камышин не закончил фразу, вынул папиросу, закурил и, помолчав немного, продолжал: — В общем, все нача-



лось с вашей статьи, то есть с того, что статья мне понравилась, а защищать я ее не посмел. Можно сказать, что я не поверил в свои силы, но, по-настоящему говоря, я струсил. Ну а вы человек военный, вы знаете, когда солдат побежал, подставил спину, тут ему и крышка. Фактически я побежал, когда заявил, что не читал вашей статьи. Шавров, когда приезжал к нам на учение, спрашивал меня: «Вы же знали, чем это грозит майору Федорову?»

— Он говорил с вами обо мне? — взволнованно спросил Иван Алексеевич.

— Нет. Он говорил обо мне. Он увидел человека, прячущего свое мнение, то есть труса. И это было ему не легко. Он ведь знал меня много лет... А для меня этот разговор был просто катастрофой. Я очень уважал Шаврова. Уходить из армии, оставив о себе такую память... После тех учений я и заболел. Черт его знает, что на меня навалилось: и сердце, и рана на груди открылась, и чуть ли не... — И снова Камышин не закончил фразу и сделал несколько торопливых затыжек. — После болезни я уже мог чистенько уйти из армии. О моем разговоре с Шавровым знали только он и я. Шаврова уже не было в живых. Но я-то ведь был жив, и я знал, что ухожу, как дезертир! Лучше уж в самом деле было умереть! Но и умирать пришлось бы дезертиром! Вот я и решил во что бы то ни стало остаться в армии... да, в армии, и, если надо, на любой должности. Подожду, когда мне скажут: «Камышин, ты хорошо послужил, отдыхай...» Обо всем этом я доложил командиру корпуса, и он понял меня. Я за это ему благодарен. — Камышин встал, прошелся по палатке. Видно было, что ему трудно. — Иван Алексеевич, нам служить вместе, а я виноват перед вами! Никто в этом не может разобраться, кроме нас с вами. Простите меня.

— Товарищ полковник! — сказал Иван Алексеевич. — Товарищ полковник!

Он ясно чувствовал, что эта неожиданная исповедь крепко связала их, и он гордился своим старым командиром и его трудным решением.

— Товарищ полковник! — повторил Иван Алексеевич, в отчаянии оттого, что у него нет слов.

Камышин пристально взглянул на Ивана Алексеевича и улыбнулся, видимо поняв его состояние.

— Докладывайте обстановку, товарищ майор. Я отсюда наблюдал, как вы по дюнам расхаживали. Не повезло с исходными? Очень не повезло. Докладывайте, товарищ майор.

— Слушаю, товарищ полковник. Я полагаю так: две роты в первом эшелоне, одна во втором, — четко отрапортовал он. — Каждая рота первого эшелона роет ход сообщения перпендикулярно линии фронта и с подходом на расстояние триста — триста пятьдесят метров начинает отрывать исходную траншею.

— Триста метров! Я так и думал, что вы будете на этом настаивать...

— Товарищ полковник, я ведь не потому, что «честь мундира», — горячо сказал Иван Алексеевич. — Нельзя иначе. Людей много потеряем.

— Это верно, — ответил Камышин. — Но вы учтите, что нам никто готовить, как положено, исходный район не будет. Мы ведь сменяем условные войска.

— Попробуем, товарищ полковник, работать ночью...

— Ночью? — переспросил Камышин. — Что ж, это, по-видимому, единственно правильное решение. Еще учтите, что я не смогу вам помочь ни людскими резервами, ни техникой.

— Не надо, товарищ полковник. В помощь первому эшелону я возьму роту из второго эшелона и пулеметчиков. Разрешите доложить: на двадцать один ноль-ноль я назначил совещание офицеров батальона. Буду ставить задачу.

— Хорошо. Помните, что для выполнения задачи надо мобилизовать усилия всего личного состава батальона.

«Мобилизовать усилия личного состава батальона...» — казалось бы, сухие, казенные слова. Но нет для офицера дела более желанного, горячего и радостного. После совещания, на котором были поставлены задачи, Иван Алексеевич пошел в роты и взводы. Соединить с приказом силу убеждения — значит удвоить его силу. А если еще и пример коммунистов, то и утроить.

Надо было все подчинить предстоящему делу. Решение работать ночью изменило распорядок дня. И этот сложный, ни в каких уставах не указанный быт должен был помочь людям добыть победу.

Теперь уже не только каждый день, но и каждая ночь приносила новые хлопоты, требовала от Ивана Алексеевича новых усилий.

Но при всем этом вид у него был довольный и даже счастливый, и бойцы говорили о нем, что он «сияет, будто кто тряпочкой протер».

Иван Алексеевич и сам чувствовал необыкновенную душевную легкость. Он готов был работать еще больше, еще напряженнее. У него теперь был свой талисман: в трудную минуту он вспоминал разговор с Камышиным и чувствовал на себе его взгляд — прямой, требовательный и участливый.

6

Было легкое звонкое утро, когда Модестова впервые после болезни пришла в типографию. Бурков заехал за ней на своей машине, но она решила идти пешком: после болезни ей особенно остро хотелось подышать свежим воздухом.

Бурков медленно вел ее под руку и каждые пять минут спрашивал:

— Вы не устали? Может быть, все-таки лучше на машине?

Но она только смеялась в ответ. Давно она не чувствовала себя такой молодой.

Бурков рассказывал ей о типографских делах. За эти две недели многое произошло: новый линотип установили — отечественное производство, сила; квартальный план выполнили с превышением, в министерстве обещали премию. . .

Бурков был очень серьезен. Просто удивительно, как можно быть серьезным в такое утро, когда снова пришла весна. Да вот, пришла, как это говорится, «несмотря ни на какие трудности». После болезни жизнь воспринимается как чудо. Это — вполне здоровое восприятие жизни. Между прочим Бурков сообщил Анне Николаевне, что в молодежном общежитии работает какая-то комиссия. Он этого, конечно, не касается, но факт, что комиссия работает.

— А почему ты этого не касаешься? — спросила Анна Николаевна.

— Да там у нас все в полном порядке,

— Зачем же тогда комиссия?

Бурков пожал плечами:

— Ну что ты беспокоишься? Вязникова молодец, просто у нас любят обследовать.

Но едва только Анна Николаевна встретила Катю, как сразу же поняла, что не так-то все просто.

— Что же ты молчала столько времени? Черт знает что делается, а ты молчишь...

— Но ведь вы все это время были больны, — оправдывалась Катя.

— Не я, так кто-нибудь другой помог бы. Вполне могла вместе с Валей Мошковой съездить в райком. Все ж таки она секретарь нашей комсомольской организации...

— Откровенно сказать... Вы знаете, Анна Николаевна, как-то мне неудобно: ведь вся эта комиссия, все это из-за меня лично. Я ж прекрасно понимаю...

— Плохо понимаешь, — резко сказала Анна Николаевна. — Такая «тонкая психология» только мешает делу...

Сказала и тут же пожалела о своей резкости. Очень уж много пришлось Кате пережить без нее. «Во всяком случае, надо весь этот узелок распутать — и немедленно. А если надо, так и разрубить», — думала Анна Николаевна.

Она решила начать с комсомола. Секретаря райкома Андрея Локотника Анна Николаевна хорошо помнила по довоенным временам. Тогда он был секретарем комсомольской организации соседнего Машиностроительного завода. «Хороший паренек, — вспоминала Анна Николаевна. — Тихий, скромный... А комсомол там боевой был!»

Вспомнила Анна Николаевна и тот вечер, когда она по приглашению заводских комсомольцев выступила у них как участница первой русской революции. И снова мелькнул перед ней белобрысый паренек, молчаливый и тихий. После вечера комсомольцы провожали Анну Николаевну до самого дома. Среди них был и Локотник...

Все эти воспоминания находились в странном противоречии с тем делом, по которому она пришла сейчас в райком комсомола.

В коридоре Анну Николаевну окликнули. Какой-то плотный мужчина в свитере, расшитом белыми оленями, и в роговых очках бросился к ней:

— Товарищ Модестова! Анна Николаевна! Как же я рад вас видеть! Не узнаете? Локотник моя фамилия...

— Локотник? — Анна Николаевна смутилась. — Действительно, я вас не узнала... А ведь я к вам пришла...

— «Вас! Вам!» — укоризненно покачал головой Локотник. — Прошу вас, Анна Николаевна, прошу, — сказал он, открывая перед ней дверь.

В кабинете Анна Николаевна внимательно оглядела Локотника. Да, никак не узнать в нем белобрысого тихого паренька, который в тот вечер провожал ее. Но что же тут удивительного? Ведь прошло... Ну да, прошло десять лет.

— Вы... — начала Анна Николаевна. — Ну ладно, ладно... Хочу спросить: женат? Есть дети?

— Старший в школу пошел. Сейчас я вам все «святое семейство» продемонстрирую. — Он вынул из бумажника любительскую фотографию. — Младшенькая — моя любимица, ну а сын — тот мамкин сын.

— Да он, пожалуй, сам скоро будет в комсомоле, — сказала Анна Николаевна.

— Не говорите, — ответил Локотник, поняв, о чем она подумала. — Прямо ерунда получается. Ну какой я комсомолец? Последний раз на выборной должности был в начале тридцать шестого. Ну а потом — исключительно производство. Да разве вы не помните: бригада Локотника?.. Гремели ведь!

— Помню, конечно, но я думала — однофамилец.

— Нет, это я. Потом меня инструктором по производственному обучению сделали, по всем заводам нашего треста ездил. В войну новую технику фронту давали. Орден получил — «Знак Почета». В газетах писали. Не читали? Дело большое, только я, знаете, своими руками предпочитаю. — Локотник немного помолчал, словно набирая силы для рассказа о своей жизни. — После войны выдвинули в трест начальником отдела. Но не прижился я там. Я вам, как родной, говорю: мое дело — производство. Да и материально мне в тресте никак. Ведь семья, Анна Николаевна... А на производстве я свое всегда заработаю. Наконец, есть приказ: на завод! Такая радость была, что всех собрал и спрыснули. Однако всего одну неделю на заводе прожил. Освоиться не успел, снова вызывают... Что такое? Будешь работать секретарем комсомола. Комсомола? А ты думал! На комсо-

мольской работе был? Был, но ведь с тех пор сколько лет прошло, имею специальность, да и годы мои уже не те. Говорят: ничего, ничего, человек нужен солидный, положительный. Вот ведь как загорелось! Я говорю: уж лучше бы мне тогда, десять лет назад, комсомолом заняться, у меня к этому вкус был... Вы меня извините, Анна Николаевна, вы, наверное, по делу пришли, а я к вам с исповедями...

— Да нет, почему же? Мне интересно. Я люблю, когда вот так, откровенно... А пришла я действительно по делу. На мой взгляд, совершена большая несправедливость, и, можно сказать, по вашей линии, по комсомольской.

— А что такое? — забеспокоился Локотник.

— Интересно, на какой предмет вы надумали в наше типографское общежитие посылать следственную комиссию?

— Следственную комиссию? — удивился Локотник.

Анна Николаевна пристально на него взглянула:

— Ты что, в самом деле ничего не знаешь?

— Верьте слову... Да вы не волнуйтесь, сейчас мы все это выясним и уладим. Меня и в райкоме партии предупреждали: поменьше комиссий, не дергать людей. Тем более люди-то хорошие. Вязниковой все довольны.

— А если Вязниковой все довольны, зачем же Милецкая эту комиссию затеяла?

— Опять Милецкая! Что мне с ней делать!..

— Зови ее сюда, и выясним, в чем дело!

Локотник вызвал секретаршу:

— Если Милецкая здесь, попросите ее прийти... Такая зануда, да еще с высшим образованием...

Симочка вошла, как всегда, быстро и с той очаровательной непринужденностью, в которой чувствуется и почтительность, и понимание своего места под солнцем.

— Товарищ Милецкая, помогите нам, — сказал Локотник. — В чем тут дело? Пришла Анна Николаевна Модестова, якобы там наша комиссия — в типографском общежитии?

Симочка чуть-чуть приподняла тоненькую бровь:

— От нас? Здесь какое-то недоразумение.

— Все-таки я не понимаю... — начала Анна Николаевна.

Симочка снисходительно улыбнулась:

— Комиссия смешанная, Анна Николаевна. Районо, потом от рабочего класса Елена Корнеевна, ну и от нас...

— Ясно, ясно, — сказала Анна Николаевна. — Значит, инициатива рабочего класса! Но вы мне скажите по самой сути: почему комиссия, в чем провинилось общежитие? Катя Вязникова в чем провинилась?

Симочка снова улыбнулась:

— Обычная картина, товарищи с мест волнуются. Но мне кажется, что демократичнее всего дожидаться окончания работы комиссии, а затем подытожить. Я вам не нужна больше, Андрей Петрович?

— Вы нужны мне, — сказала Анна Николаевна. — Вы мне скажите, почему, на каком основании вы отстранили от доклада в День Советской Армии Вязникову? Почему вы решили ей не доверять?

— Ну, вопрос о доверии — слишком общий, — заметила Симочка. — Андрей Петрович, мы там частный вопрос решали: доклад ко Дню Советской Армии. При таком пестром контингенте, как у них в общежитии, — это дело серьезное, не правда ли? Катя Вязникова человек очень неискушенный, неопытный...

— А себя, Милецкая, вы считаете человеком опытным? — спросила Анна Николаевна.

— Мне о себе говорить трудно. Но, Андрей Петрович, вы-то знали, что я там буду делать доклад?

— Это я, конечно, знал... Но мне в голову не могло прийти, что доклад должна была делать Вязникова, а вы ее отстранили. Да и какое право вы имели сделать это?

— Хорошо, что отстранила! И так накладок было достаточно. Я считаю политически бестактным в День Советской Армии говорить о человеке, находящемся в плену.

— А по-моему, — сказала Анна Николаевна, — самая большая политическая бестактность — это и есть так называемая «формула умолчания». В моей жизни был один случай, который я навсегда запомнила. В мае семнадцатого года на судостроительном заводе работал один наш пропагандист от ПК большевиков. И так сложилось, что пришлось нам этого товарища отозвать. Не годился он. Назначили туда меня. Сами понимаете — честь большая. Ну, я провела там одно занятие, а на следующий день меня зовут в ПК: тобой очень недоволен Владимир

Ильич. Я прямо чуть не заплакала: так старалась, ночь не спала — готовилась. Спрашиваю: в чем моя ошибка? Ответ был такой: ты обязана была сказать, почему мы отозвали товарища, вышло так, что мы от рабочих что-то скрываем, и вот этим Владимир Ильич и недоволен.

— Очень, очень любопытно, — сказала Симочка. — И что, цитата сверена?

— Как вы сказали? — не поняла Анна Николаевна.

— Фраза, взятая в кавычки. . . — начала Симочка.

— Да никакие не кавычки! Это пересказ слов Владимира Ильича. С чем их сверять?

— С полным собранием сочинений, разумеется. . .

— Господи боже мой, так вы думаете, прежде чем сказать слово, Владимир Ильич в свои сочинения заглядывал? Или вы думаете, что каждое его слово записывалось? Да он бы никогда такое не позволил. Я вам рассказала действительный случай. И вы, если хотите, тоже можете об этом рассказать. Это не секрет!

— Без проверки-то? — Симочка засмеялась. — Да ведь любая отсебятина может быть. . .

— Вы что же, и мне не доверяете?

— Так вопрос не стоит. Мое личное доверие — это одно, а общество в таком деле не может верить на честное слово. Есть соответствующие организации. . .

— Нет, для нас такая политика не подходит, — решительно сказала Анна Николаевна. — Учитесь доверять людям. Смотрите сами: ведь вас не убедит моя справка, даже с приложенной печатью, что Вязникова Екатерина вполне может сделать доклад в День Советской Армии и что доверять Вязниковой Екатерине можно? Вы потребуете справку о том, что я сама тоже заслуживаю доверия. Ну а потом надо будет брать справку, что тот человек, который за меня ручается, тоже заслуживает доверия. А дальше что? Новые и новые справки? Нет, так вы ничего не добьетесь.

— Почему же? — спросила Симочка. — Если бы это было необходимо, я бы добилась своего.

— Неужели же все-таки хоть одному человеку поверили бы?

— Да, так, — сказала Симочка, холодно взглянув на Анну Николаевну и отчеканивая каждое слово. — Именно так. А вы? . . . Словом, я считаю, что все, что произошло в общежитии, пахнет политически дурно. И странным



образом во все это замешан товарищ из армии. Насколько мне известно, в воинской части уже занимаются этим, и я считаю, что не в нашей власти распускать комиссию...

Она не успела закончить фразу, в кабинет вошла секретарша и доложила:

— Прошу извинить, Андрей Петрович, там давно уже товарища Милецкую ожидают. Товарищ Голуа и товарищ...

— Сейчас иду, — откликнулась Симочка.

Но Анна Николаевна уже подошла к двери и широко ее распахнула:

— Товарищ Голуа, заходите! Елена Корнеевна! Вот хорошо, что пришли! Мы как раз о вашей комиссии толкуем...

— Анна Николаевна, голубушка, — сказала Елена Корнеевна. — Это вот он вытащил меня. У меня ж дома такой кавардак! Ксения с мальчишкой из Москвы приехала...

— И тем не менее, товарищ Якимова, это не дает вам права манкировать своим общественным долгом, — заметил Голуа. — Вас берегли, зря не трогали, а вы отказываетесь от выводов.

— Отказывается от выводов? — переспросила Анна Николаевна.

— Ни от чего я не отказываюсь, только напраслину нечего на людей возводить, — сказала Елена Корнеевна. — Понравилась мне эта девушка, Катя-воспитательница. Прямо говорю — понравилась!

— Товарищ Якимова, — сказала Симочка. — Я думаю, мы втроем, члены комиссии, в этом разберемся. Пойдемте ко мне...

— Никуда я, голубушка, больше не пойду. Хватит с меня. Я и ему говорила, — показала Елена Корнеевна на Голуа: — Зря меня с собой тащишь. У тебя выводы одни, а у меня другие. Тебе не нравится — так и напиши. А я скажу: ребятки там хорошие, живется им хорошо...

— Ну, Елена Корнеевна, это вы зря, — перебила ее Симочка, — ну что это вы подчеркиваете — «хорошо»? Почему бы им при Советской власти плохо жилось?

— А зачем тогда обследование? Если все хорошо, так и обследовать незачем...

— Не понимает задачи, — вздохнул Голуа.

— Может, и не понимаю, но подписывать не буду. Зря тащил меня, — ответила Елена Корнеевна. — Анна Николаевна, голубушка, я бы со всем удовольствием с тобой побыла, да ведь Ксения, сама знаешь, какая, разве на нее можно ребенка оставить? Пошла я, извините...

— Не понимает задачи, — повторил Голуа, когда Елена Корнеевна ушла.

— Вот вы нам, как председатель комиссии, эти задачи и разъясните, — попросила Анна Николаевна.

Голуа почувствовал приятное щекотание в груди, желание не ударить лицом в грязь и показать себя. В особенности перед этой неизвестной ему седой женщиной.

Он принял вид озабоченный и несколько таинственный. Пусть знают ему цену. Есть ведь и трудности. Как бы там ни было, а прошлое Вязниковой безупречно. Тут и фронт, и так далее. Товарищ Милецкая, правда, подсказывала относительно того, что вуз все-таки не был закончен, а за воспитание молодого поколения берется однако...

— Это не имеет отношения к делу! — крикнула Симочка.

— Нет, это имеет прямое отношение к делу, — спокойно сказала Анна Николаевна. — Продолжайте, продолжайте, товарищ Голуа, очень-очень интересно!..

— Продолжаю, — сказал Голуа, несколько польщенный. — Итак, я говорю о трудностях. Конечно, товарищ Милецкая много сделала, она, например, подсказала мне относительно взаимоотношений этого офицера и Вязниковой. Как вам сказать: можно, конечно, и такой вариант принять. Но все-таки слабо, слабо и шатко. Не доказано! Мы с товарищем Милецкой работали не раз вместе, и я позволю себе такое замечание только, так сказать, в порядке самокритики.

— Продолжайте, продолжайте, товарищ Голуа, — повторяла Анна Николаевна.

— Я полагал бы, — сказал Голуа, сняв пенсне и протирая стекла, — я полагал бы, что в этом случае такой вариант не годится. Единственно сильный вариант — это пережитки капитализма в сознании. Здесь успех! Конечно, рабочее происхождение, закалка, фронт... Все это так. Но пережитки капитализма в сознании, в глубинах

сознания, в самих, так сказать, извивах серого вещества! Товарищ Милецкая права: связь с этим офицером Федоровым безусловно есть. Но суть этой связи в чем? Я решительно против примитива! Мой вариант: общность мыслей, суть в самом движении мыслей!

— Но я этого вам никогда не говорила! — снова не выдержала Симочка.

— Справедливо. Без скромности скажу — вариант мой. Признаю, конечно, что толчок был дан товарищем Милецкой, признаю! Но я перевел дело из плоскости материальной в плоскость идейную. Все уже закруглялось, и я забежал к Якимовой только, чтобы взять подпись. И вот, пожалуйста, — бунт, мятеж... — засмеялся Тимофей Петрович, довольный своей остротой.

Анна Николаевна подошла к Локотнику, который, сильно ссутулившись, сидел за столом.

— Хорош? — спросила она, показав на Голуа. — Хороши? — снова спросила Анна Николаевна, захватывая жестом и Симочку.

— Анна Николаевна, верьте честному слову, — метнулась Симочка.

Она вдруг как-то странно подурнела. Движения стали какие-то неуклюжие, и вся она словно постарела.

— Анна Николаевна, я здесь ни при чем. Катя моя подруга. При чем тут я? Я ведь и в райкоме штатно не работаю... Это вот он! — сказала она, показав на Голуа и захлебываясь от усердия. — И я этим интриганом займусь сегодня же.

Для Голуа такой ход был настолько неожиданным, что он просто замер от изумления.

— Интриган? — наконец переспросил он шепотом. — Это вы про меня? Да как вы смеете! Я... Да знаете ли вы, в каких я обследованиях бывал? Да знаете ли вы, что я вашей комиссии честь оказываю! Товарищ, — обратился он к Анне Николаевне, — не знаю вашего имени-отчества...

— Моя фамилия Модестова, — сказала Анна Николаевна.

— Модестова? — Голуа совершенно растерялся. — Это... это из той типографии? Позвольте, а кто вам решил допрашивать меня здесь...

— Вон! — неожиданно крикнул Локотник. — Вон! Вон! Вон! Мерзкие, нечистые люди! Вон! — крикнул он

еще раз. — Нет, оставьте меня, Анна Николаевна. Я сам с ними разделаюсь. Я...

— Стойте, — спокойно сказала Анна Николаевна. — Не торопитесь. В двенадцать часов нас ждут в райкоме партии. А сейчас как раз ровно двенадцать...

7

Ветлугин весь день пробыл в поле на учении, приехал поздно ночью, а в семь утра был уже на ногах. Как ни старалась Софья Николаевна не шуметь и как можно тише собрать в школу Мишку и Кирилку, Ветлугин все слышал. Да и не такое было нынче время, чтобы отдыхать.

Он наскоро выпил крепкого чаю, поцеловал малышей и уже прикидывал в уме, в какой полк ему лучше всего отправиться, но в это время вошла Лена и сказала:

— Папка, к тебе пришли!

— Кто? Рассыльный? Пусть войдет!..

— Ох, папка, папка... Совсем не рассыльный, а девушка, — и таинственным шепотом, расширив глаза, словно от ужаса: — Девушка, и притом хорошенькая...

— Ну ладно, не дури голову, — сердито сказала Софья Николаевна.

Лена пожала плечами:

— Прикажете не пускать?

Ветлугин встал, шагнул в коридор и сразу же увидел Тамару.

— Вы... ко мне? — спросил он неуверенно.

— Да, да, к вам... К вам, товарищ Ветлугин. Извините, что домой и так рано...

Ветлугин услышал в ее голосе тревогу и недовольно подумал о Лене: «Всегда шутит там, где не надо...»

— Заходите, пожалуйста!

— Я, товарищ Ветлугин, не хотела в политотдел... Я вам сейчас все расскажу...

Перемучившись ночь, Тамара к утру решила, что обязательно надо повидать Ветлугина и переговорить с ним. Плохо только то, что они почти не знакомы. Во время войны Тамара видела Ветлугина всего два раза. Первый раз, вскоре после Новинска, он приехал в медсанбат,

и девочки сказали Тамаре: «Смотри, начальник политотдела... Верно, симпатичный?» Второй раз — в Германии, когда его, раненого, увозили в госпиталь. Впрочем, видела она только бурый моток марли величиной с футбольный мяч да блестящие, ярко начищенные пуговицы на шинели, которой он был накрыт.

Ветлугин, напротив, хорошо запомнил Тамару и обрадовался, когда, вернувшись в дивизию, узнал, что она вышла замуж за Ивана Алексеевича. «Это пара! Это хорошая пара!..» — повторил он с удовольствием. Но тут Кирпичников заметил, что: «Пара, да не совсем...» — «А что такое?» — спросил Ветлугин. В ответ Кирпичников только многозначительно улыбнулся, и Ветлугин сердито подумал: «Всегда плохое собирает».

Софья Николаевна тотчас же усадила Тамару за стол и стала угощать. Раннее утро, на улице еще темно, в доме горит электричество, заспанные малыши пьют молоко с хрустящей булкой, Лена слушает по радио новости спорта, Ветлугин собирается уезжать (шофер уже сигналит). И среди всего этого Тамара со своим, видимо, неотложным делом...

Но Софья Николаевна быстро все уладила: Лене поручила отвести детей в школу, а сама отправилась «по магазинам» — так она называла поход в военторговый ларек.

Ветлугин занимал две крохотные комнатки. В одной из них была сделана перегородка и за ней закуток, в котором он, как говорила Лена, «вкушал прелести одиночества». Но Тамара ничего не замечала. Ветлугин, поглядывая на нее, думал: «Похоже, что личная драма... Неужели Кирпичников все-таки был прав...»

— Товарищ Ветлугин, я пришла к вам по поводу моего мужа, — начала Тамара, и Ветлугин с досадой подумал: «Так и есть...» — Тут говорят, что мы живем плохо, что Иван Алексеевич... — Ветлугин хотел ее перебить, но она быстро продолжала: — Что майор Федоров ведет себя не так, как надо, то есть недостойно... в отношении меня, товарищ Ветлугин. Но это неправда! Слышите, я вам заявляю официально, что это неправда! Вы запишите, что это не так... А если надо, я могу подать письменное заявление, — прибавила она запальчиво, но уже чуть не плача, потому что запал был коротким.

Этого Ветлугин не ожидал. С таким делом к нему еще никто не приходил. «Неужели здесь какая-то неправда...» Мысль об этом была Ветлугину неприятна.

— Я так мало знаю о вашей личной жизни... — осторожно начал он.

— Нет, вы мне прямо скажите, товарищ Ветлугин: вы мне на слово верите или лучше заявление подать?..

— Нет, я вам верю, — сказал Ветлугин. — Я только вот чего не понимаю: почему в таком случае майор Федоров, с которым мы столько лет знакомы, не пришел ко мне...

— А пришла его жена, которую вы в глаза никогда не видели, — подхватила Тамара. — Товарищ Ветлугин, да ведь Иван Алексеевич ни о чем не знает. Если бы он знал! С его-то характером! Да он бы... Товарищ Ветлугин, ведь это же напраслину на него возводят!..

«Нет, дальше так не пойдет, — думал Ветлугин. — Это уж просто бред, ахинея какая-то». Но что-то подсказывало ему, что весь этот «бред», всю эту «ахинею» надо терпеливо выслушать до конца, что именно в этом суть дела.

— Ну и кто же, по-вашему, возводит напраслину на товарища Федорова? — спросил Ветлугин.

— Я вас, товарищ Ветлугин, не обвиняю, — горячо продолжала Тамара. — Я понимаю, что больше всего виновата моя тетушка... Хотя я думаю, когда она к вам в политотдел пришла, она мне зла не хотела... А может быть... может быть, и хотела... Мне сейчас многое не так, как раньше, кажется. Но только Иван Алексеевич не виноват. Не виноват он, это я твердо знаю. Просто он... Ну, послушайте меня: ведь могли бы и вы тоже сдружиться с кем-то, душевно сблизиться. — У Тамары горло на этих словах перехватило, но она все-таки еще раз выговорила: «Душевно сблизиться...» — Ведь могли бы! Ну что ж, что молоденькая, — все равно это совсем не значит изменить. Не верно я говорю?

— Да, пожалуй, что так, — сказал Ветлугин. Ему начинала нравиться эта маленькая женщина, такая ладная, несмотря на свою раннюю полноту, нравилась ее порывистая речь, эти быстрые подъемы и спады. В самом этом нестройном движении чувствовалась правда. — И вообще мне кажется, что это все дело сугубо личное, — добавил Ветлугин. — Как тут стричь под одну гребенку?

— И я так думаю! Знаете, я еще вчера не верила Ивану Алексеевичу, а потом, в Ленинграде, встретила с Екатериной Григорьевной. Вы о ней ничего не знаете? Она воспитательницей работает в общежитии, где сын Турчанова, который у Вани служил... Екатерина Григорьевна, это верно, и молодая и красивая, но я к ней вот ни столечко не ревную. Ни столечко! Я ей *поверила*, — сказала Тамара медленно, словно вдумываясь в каждое слово. — И напрасно товарищ Кирпичников плохо говорит о Екатерине Григорьевне. Напрасно!

Услышав о Кирпичникове, Ветлугин насторожился, посуровел и стал расспрашивать Тамару. Она почти дословно пересказала вчерашний разговор.

— Вы вовремя пришли ко мне, — сказал Ветлугин. — Очень вовремя...

Тамара взглянула на него и поняла, что этим все сказано. «Надо идти... Пора... — думала Тамара. — Дело сделано, и надо домой. Собраться, пока Иван Алексеевич еще на учении. Дело сделано. Так она ему и скажет, когда он вернется: «Тебе теперь ничто не угрожает. Желаю счастья!»

Она встала и тут только почувствовала, как ужасно устала. «И он тоже... устал... — подумала она о Ветлугине, с участием глядя на его узкое лицо в глубоких морщинках. — Тяжело и ему достается...»

— Как вы считаете, товарищ Ветлугин, правильно я поступила, что пришла к вам? — спросила Тамара.

Ветлугин взглянул на нее и понял, как остро нуждается Тамара в ясном одобрении. «Чуть старше Лены... — подумал он. — Чуть старше...» Суровость его дрогнула, он ласково протянул обе руки Тамаре:

— Правильно! Ну конечно, правильно...

Когда она ушла, Ветлугин приказал шоферу:

— Съездите за подполковником Кирпичниковым. Я буду его ждать в политотделе.

Ветлугин не спеша шел по опустевшим Верескам. День был солнечный, повсюду слышались весенние шумы, то тут, то там что-то звенело, из-под огромных пористых сугробов бурливо бежали первые ручейки, и сверху, кажется с самого неба, срывались льдинки, открывая нежную мартовскую синь.

Политотдельский домик выглядел покинутым. В кабинете Ветлугина было холодно и темно. Он поднял шторы, растопил печку и сел рядом, грея руки.

Кирпичников не заставил себя долго ждать. Едва увидев знакомого шофера, он быстро оделся и через пять минут уже был в машине. Он понимал, что Ветлугин не зря его вызывает, но никак не связывал этот вызов со вчерашним разговором с Тамарой. Как многие дурные люди, Кирпичников считал себя тонким психологом и уж во всяком случае знатоком женской души. У него и в мыслях не было, что Тамара Федорова могла кому-нибудь поведать их разговор. Опыт «психолога» говорил ему, что либо ревность свалит Тамару, либо страх. И не таких валило! А Тамара натура слабенькая — это заметно и невооруженным глазом.

Кирпичников даже и тогда не подумал о Тамаре, когда его прямо спросил Ветлугин:

— Кто вам дал право порочить майора Федорова? Почему вы это сделали?

Мысленно Кирпичников обругал одного только Рясинцева: «Где-то проврался, расхвастался своими «успехами». А может быть, это тетка-дворничиха так шумно выметает сор из избы?»

Он решил, что лучше всего дать Ветлугину выговориться: понятнее станет вся картина в целом.

Но Ветлугин потребовал прямого ответа на вопрос:

— Зачем порочите Федорова? Что у вас за цель?

«Ка-а-кой сердитый! — думал Кирпичников, чуть нагнув голову и глядя на Ветлугина снизу вверх. — Ты сердитый, а я умный...»

— Дмитрий Константинович, — сказал он с чуть заметным укором, — я как раз готовил вам материал по этому вопросу.

— «Этим вопросом» политотдел заниматься не будет, — сказал Ветлугин и, разворошив кочергой пламя, кинул несколько поленьев в печку.

— Слушаюсь, товарищ начальник. Разрешите доложить: я считал полезным обобщить материалы...

— Грязные слухи подбираете!..

— Сведения мне казались точными, товарищ начальник, а я не склонен к излишней доверчивости. Подтверждает не только Рясинцев, но и кое-кто из райкома



комсомола, — и он все с тем же, едва заметным укором взглянул на Ветлугина снизу вверх. («Ты сердитый, а я...») — Следует считать установленным факт, что майор Федоров вел себя политически бестактно: с рвением, достойным лучшего применения, он публично рассказывал о подвигах какого-то сержанта, какого-то бывшего своего однополчанина, взятого в плен и поныне находящегося на территории иностранного государства. («А я умный...» — мысленно закончил Кирпичников.) Между прочим, в райкоме комсомола были особенно возмущены тем, что все это происходило в молодежной аудитории. Лично я согласен с таким выводом, товарищ начальник, — сказал Кирпичников и еще ниже наклонил голову, словно говоря: «А теперь дело хозяйское, если начальство полагает, что все это не является материалом...»

Ветлугин молчал. Он не считал себя особым психологом, просто опыт подсказывал ему, что на майора Федорова накинута крепкая петля.

— Докладывайте, — приказал Ветлугин.

— Слушаюсь, товарищ начальник, — оживленно откликнулся Кирпичников.

Но ему так и не пришлось сделать свой умный доклад. Позвонил телефон, Ветлугин взял трубку и услышал голос дежурного:

— Товарищ полковник, к вам здесь одна гражданка. Разрешите пропустить?

Ветлугин нахмурился: «Неужели снова Тамара Федорова?»

— Фамилия? — резко спросил он.

— Гражданка Модестова Анна Николаевна, — отчетливая каждое слово, доложил дежурный.

— Да. Пропустите, — сказал Ветлугин.

Фамилия эта показалась ему знакомой. Но только увидев Анну Николаевну, он все вспомнил: год назад фотография этой старой женщины была в «Огоньке» — рядом с портретами других участников революции 1905 года.

— Ведь верно, так? — спросил Ветлугин, гордясь своей неизменной памятью.

Анна Николаевна кивнула головой:

— Да, так...

— Садитесь, пожалуйста... Вот сюда, к печке, здесь потеплей...

— Вы, вероятно, хотите организовать вечер трех поколений? — спросил Кирпичников.

— Вечер? — переспросила Анна Николаевна. — Нет, я не для этого к вам приехала. Районный комитет партии поручил мне разобраться в одном деле. Вы, товарищ полковник, вероятно, начальник политотдела?

— Так точно. Простите — забыл представиться: Ветлугин. Это мой заместитель — подполковник Кирпичников.

— А, так вы и есть подполковник Кирпичников? — спросила Анна Николаевна, грея руки у огня.

Ветлугин удивился:

— Вы знакомы?

— По-моему, нет... — ответил Кирпичников, улыбаясь.

— По-моему, да, — сухо сказала Анна Николаевна. — Так вот, товарищи, дело, по которому я здесь, связано с вашей воинской частью, вернее, с одним вашим офицером. Вы, вероятно, знаете Ивана Алексеевича Федорова, майора Федорова?

— Снова майор Федоров! — невольно вырвалось у Ветлугина. — А что такое?

— Это, вероятно, по запросу Заневской типографии, — спокойно объяснил Кирпичников.

— «Запроса» никакого не было, — резко сказала Анна Николаевна.

— Ну как же, позвольте, был такой запрос за подписью... я запомнил фамилию — Милецкая. Милецкая... — настаивал Кирпичников. — Но что ж тут мы можем ответить... К сожалению, Анна Николаевна, и среди офицеров еще можно встретить людей, которые обходят законы советской морали. Я как раз перед вашим приходом докладывал начальнику политотдела дивизии... — Кирпичников очень себя сдерживал, и тем не менее в голосе его звучала победа.

— Да, можно встретить и в армии, — задумчиво повторила Анна Николаевна. — Знаете, мне это все очень тяжело. Я с Иваном Алексеевичем познакомилась год назад, и за это время мне приходилось с ним встречаться не скажу часто, но все же... Он бывал в нашем общении. Впечатление было очень хорошее. И каждый раз

после его приезда у ребят только о нем и разговоров было. И вдруг: аморальное поведение и все прочее. Да ведь характеристика вашего политотдела просто убийственная...

— Характеристика политотдела? Нашего политотдела? — спросил Ветлугин, ему тоже нелегко было сдерживать себя.

— Да. Есть и гриф «совершенно секретно».

— Разрешите, товарищ начальник, — начал Кирпичников. — Товарищ Милецкая сообщила мне такие факты...

Анна Николаевна одним взглядом перебила его:

— О Милецкой разговора больше нет. Ей и в комсомоле-то не место. Очернила бывшую свою подругу, никакими средствами не побрезговала, мелкие свои, ничтожные интересы поставила выше всего... В этом мы разобрались.

Ветлугин взглянул на Кирпичникова и по выражению его лица понял, что это серьезный для него удар. Но Кирпичников быстро овладел собой.

— Я с Милецкой почти не знаком, — сказал он коротко. — И ответственности за нее нести не могу.

— Но ведь характеристика не ею подписана! — настаивала Анна Николаевна. — Значит, есть еще факты...

— Анна Николаевна! Я очень уважаю вас, ваш возраст, ваш партийный стаж, но согласитесь, здесь не партком Заневской типографии, а политотдел воинской части. Есть вещи...

— Да нет таких вещей, которых один коммунист не мог бы знать о другом! — горячо сказала Анна Николаевна. — Я была хорошего мнения об Иване Алексеевиче, и это очень серьезно. У меня нет привычки так, запросто, менять свои взгляды.

— Хорошо. Я вас понял, — сказал Кирпичников. — Вы разрешите, товарищ начальник, ответить прямо и просто, по-настоящему, по-армейски?

— Попробуйте... — ответил Ветлугин.

— Я располагаю достаточной информацией, — продолжал Кирпичников. — Имеется заявление близкой родственницы Тамары Борисовны, в котором ясно сказано о беспечном поведении майора Федорова... Да наконец, если бы вы видели жену Федорова! Это — красноречивей всех слов.

— Я видел ее сегодня, — сказал Ветлугин.

— Товарищ начальник!

— Да, видел. Почему это вас удивляет? Вы ведь нашли возможным прийти к Тамаре Борисовне Федоровой и требовать от нее унижительного признания и даже угрожать ей...

Прошла минута, которая всем троим показалась очень долгой.

— Товарищи, вы ко мне несправедливы, — сказал наконец Кирпичников. — Если я что-нибудь и сделал неловко, так ведь только ради выяснения истины. Сигналы были очень тревожные. В конце концов, не Милецкая и не я выступали на праздновании Дня Советской Армии в типографии, а именно Федоров. Вы там не были, товарищ Модестова. Я понимаю, вы не можете нести ответственность за этот вечер. Но мы, мы несем ответственность за вопиющую беспечность, которую проявил Федоров на праздничной трибуне. Кто такой сержант Турчанов? Вы его знаете, товарищ Модестова? Нет, Вы, товарищ начальник, знаете его? Нет. Так кто же дал право Федорову восхвалять этого человека?

Ветлугин его перебил:

— Это не только его право, это его обязанность сказать о своем солдате то, чего он действительно заслуживает. Он с ним вместе воевал бок о бок... под огнем. Вместе мерзли под Новинском, последней пайкой хлеба делились, последней горсткой махорки, вместе отступали до Воронежа и вместе били фашистов... И после этого забыть о человеке, едва тот попал в плен! Да разве наши люди с поднятыми руками шли в плен? Спросите немцев — было это или не было.

Кирпичников встал. Тяжелый, давящий его взгляд остановился сначала на Ветлугине, потом на Анне Николаевне.

— Скоро год, как Турчанов находится в Прирейском лагере. Как известно, люди меняются под воздействием среды. И кто знает, как повел себя Турчанов за это время?

— Позвольте мне доложить здесь то, о чем стало известно районному комитету партии, — сказала Анна Николаевна. — Товарищ Турчанов все это время был одним из боевых руководителей наших военнопленных, то-

мящихся в Западной Германии, он вел борьбу за освобождение, за возвращение на Родину. Он не находится сейчас в Прирейнском лагере, как думает товарищ Кирпичников, а содержится в каторжной тюрьме.

— Случай, — вырвалось у Кирпичникова.

— Случай? — переспросила Анна Николаевна. — Значит, если человек остался верен народу, это случай? Разные у нас с вами точки зрения, товарищ Кирпичников.

— Я, товарищ Модестова, солдат, а не философ, — сказал Кирпичников. — Вы мне разрешите идти, товарищ начальник? .. Нездоровится...

— Да, можете идти...

После его ухода Ветлугин подошел к Анне Николаевне и сказал просто:

— Спасибо!

## 8

Северов с трудом привыкал к новой должности. Так случилось, что вся его жизнь в армии была связана только с одной дивизией, именно с той, которой он командовал до смерти Шаврова. Конечно, это была совсем не та дивизия, где он начал службу семнадцать лет назад. Осенью сорок первого бои были такими изнурительными и кровопролитными, что от дивизии, как говорили, «остался один номер». Но пришло новое пополнение и новая техника, и дивизия воскресла. Номер дивизии был другой, но все равно все знали, что именно эта дивизия была в гражданскую колчаковцев и освобождала Пермь и что именно в эту дивизию не раз приезжал Фрунзе и дважды Свердлов. От тех времен никого здесь не осталось, но ветераны по-прежнему писали письма сюда, и самый молодой солдат знал, что и он в какой-то мере связан и с победами над колчаковскими бандами, и с разгромом немцев на Севере, а потом на Волге, под Воронежем и под Новинском.

Долго еще после нового назначения Северов мысленно продолжал называть дивизию «своей». Между тем он считал чрезвычайно важным и просто обязательным, переломить это в себе, то есть не оговорки, конечно, а самый ход мыслей. Теперь он командир корпуса, и обе

дивизии в одинаковой степени «его». Он обязан непредубежденно и справедливо разобраться в делах Бельского, исключив всякую возможность оценить работу «по-соседски».

Эта сторона дела его очень заботила. Был ли всегда справедлив Шавров? Такой вопрос Северов не задавал себе. Он отнюдь не стремился, став командиром корпуса, стать Шавровым. И это совсем не означало, что Северов не был честолюбив. Это означало только, что, помимо всего прочего, у него была трезвая голова.

«Пока я не разберусь детально во всех вопросах, пока я не вникну в самую суть дела, все должны остаться на своих местах». Это решение было твердым. Он знал, что всегда находятся люди, которым выгодна суматоха и которые ждут всяческих перемещений, того самого ветра, который подымает только пыль. Он даже немного оттянул свое первое посещение Бельского, чтобы подготовить себя и не горячиться.

Северов считал, что недостаточно знает Бельского. Они часто встречались в штабе корпуса, но почти всегда при Шаврове. Шавров предлагал к исполнению свои планы, чаще всего разработанные во всех деталях, Бельский много молчал, но отдельные его реплики были весьма выразительны: «Блестяще задумано!», «Умно и тонко!», «Необычайно глубокое оперативное мышление!»

Северов внутренне на все это сердился и даже негодовал. И может быть, поэтому его вопросы были похожи на замечания, а замечания носили характер спора.

Но обо всем этом Северову хотелось забыть. В конце концов, эти знаменитые реплики сердили его не по существу, а по той форме, в которой проявлялся энтузиазм Бельского. «Если Бельский командует дивизией в корпусе, которым командует Шавров, значит, у него есть какие-то заслуги, которые мне неизвестны» — так рассуждал Северов. И он добросовестно отправился на поиски этих заслуг.

Дело сразу же осложнилось тем, что во всех полках Северов нашел образцовый порядок, а следовательно, действовала спасительная для Бельского формула: «Благодаря стараниям командира дивизии...» Не в один день

понял Северов, что эту формулу следовало бы заменить другой: «Несмотря на то что командир дивизии не соответствует занимаемой им должности. . .»

Для того чтобы это понять, Северову пришлось поближе познакомиться не только с Бельским, но и со многими офицерами дивизии.

Он придавал большое значение этим личным встречам. В блокноте Северова появлялись все новые и новые записи: «Съездить к комбату-3», «Пригласить в штаб корпуса командира арtpолка», «Командир роты Аргамков способный, инициативный человек, с образованием, мечтает об академии, надо помочь», «Мокин, командир тяжелой батареи, интересные мысли о новой технике».

Чем шире становился круг новых знакомств, чем больше было личных контактов между Северовым и офицерами незнакомой ему дивизии, тем лучше становилось его настроение, тем больше крепла уверенность, что с такими людьми он сможет решать самые сложные задачи на предстоящих мартовских учениях.

Эти учения были главной осью всех разговоров Северова. Само собой разумеется, что основным помощником на будущих учениях должен был быть Бельский. И вот именно с этим человеком Северов испытал самые большие затруднения.

Что было нужно Северову, чего он искал, чего он так и не нашел? Движения. Движения вперед или хотя бы желания сделать один шаг вперед. Если метр принято считать мерой длины, а грамм и тонну — мерами веса, то мерой любви к своему делу может являться желание сделать шаг вперед по сравнению с тем, что сделано было вчера.

«Да любит ли он вообще то дело, которым занимается?» — уже не раз спрашивал себя Северов. Особенно удивляло упорное желание Бельского избегать всяких профессиональных тем, если это не вызывалось прямой служебной необходимостью. Когда два человека, любящих свою профессию, сходятся, у них непременно, часом раньше или часом позднее, должен произойти обмен мыслями. И такой живой обмен совершенно необходим: он способен прорвать самую крутую плотину, сложенную из предубежденности, недоверия и упрямства.

«О чем он думает? Что его интересует? Какие книги он читает? Какие книги он любит?» Ни на один из этих

вопросов Северов не мог себе ответить. Стоило ему самому начать разговор об их общей работе, как на лице Бельского появлялось выражение сосредоточенной почтительности, которое Северов называл «служебной оценелостью».

Любое приказание Северова выполнялось всегда точно, но с каждым днем Северов убеждался, что роль Бельского в этом деле, то есть в том, чтобы эти указания были выполнены, совершенно ничтожна. Если исключить чисто внешнюю манеру исполнения, то Бельский выполнял роль передатчика — от Северова в штаб дивизии или командирам полков.

«Может быть, у него есть какие-нибудь тайные привязанности? К рыбной ловле, например, или к коллекционированию марок?» — спрашивал себя Северов.

Северов умел и любил слушать людей. Не так давно он до поздней ночи слушал командира автобата, который во время войны работал на Дороге жизни — ледовой трассе, проложенной через Ладогу на помощь Ленинграду, и отпустил только после того, как убедился, что «вырвал» из рассказчика все, что мог. Преподавательница английского языка, у которой учился Северов, вышла замуж за молодого, очень известного астронома. Северов в первое же знакомство взял своего нового гостя «под обстрел».

Но, слушая Бельского, Северов всегда внутренне раздражался. Бельский отнюдь не был молчаливником. Он рассказывал умело и даже остроумно, и даже иногда представлял в лицах. И у него хватало материала не на пять минут и не на час, а если надо, на сколько угодно времени — и по пути в поле, и обратно, по пути в дивизию, и в машине, и за столом... Но странное дело!казалось, что материал для рассказов заранее им подобран, что все байки выдуманы с определенным расчетом или позабавить начальство, или направить его мысли на какой-то, угодный Бельскому, путь.

Что бы Бельский ни живописал — потешную ли народную сценку или строгую повесть о своих каких-то высочайших покровителях, — Северова не покидало ощущение недостоверности материала. Но для того чтобы он мог до конца понять расчет Бельского, нужно было и время и терпение.



Прошло уже два месяца со смерти Шаврова, а Бельский еще не мог забыть тот ужасный день и до сих пор не мог полностью избавиться от страха, который он тогда испытал.

Непосредственной для себя угрозы Бельский не чувствовал, но не было и покоя. В тесном кругу он не раз говорил, что «новая метла чисто метет» и что Северов все здесь «переделает и переломает по-своему». Вероятнее всего, что именно так поступил бы сам Бельский.

Убедившись, что Северов не сделал ни одного перемещения, Бельский, все в том же тесном кругу, стал говорить: «Новому надо господу бога благодарить: получил корпус без единой пылинки».

Он с трудом сдерживал неприязнь к Северову. Одну сторону этой неприязни он сам ощущал отчетливо: должность командира корпуса по праву его, Бельского, кто бы ни был на этой должности, тот захватчик. Другая сторона неприязни была куда менее ясно выражена. Просто в присутствии Северова Бельский чувствовал себя как-то стесненно и неуверенно. В таком вот состоянии стесненности и неуверенности Бельский два месяца тому назад подымался в дом Шаврова. Возможно, что все это осталось от того дня.

Трудно было привыкать к новому начальству. Тем и удобен был Шавров, что Бельский знал, когда следует вспомнить о Новинске, а когда следует промолчать, когда следует разразиться филиппикой по поводу статьи в газете, а когда следует весело рассказать о каком-то младшем сержанте, который из отпуска прислал письмо, что жить не может без корпуса: орел парень, орел!

Но самое главное, в чем твердо был уверен Бельский, — какую бы оплошность он ни совершил, в интересах Шаврова было эту оплошность самому загладить. Бывали весьма острые столкновения с инспекторами округа, когда репутация Бельского висела на волоске, и всегда в таких случаях Шавров его выручал. Шавров, конечно, потом крепко брал Бельского в оборот, но делал это Шавров, и только он, и Бельский научился переключать гнев командира корпуса на неучтивых гостей: ведь это же все-таки хозяйство Шаврова, нельзя ли поосторожнее? И жалобы на обидчиков Бельского, скреплен-

ные подписью Шаврова, летали очень высоко. А как будет теперь?

И все же Бельский не унывал. Теперь, спустя два месяца, он пришел к выводу, что Северов «тонкая штучка», — об этом говорит как раз то, что не сразу показал себя «метлой». И все же известно, что «на всякого мудреца довольно простоты». Простота эта заключается в непреложной истине: наследник должен чувствовать антипатию к старому хозяину. Тем более что Северов никогда не был такой заметной фигурой в армии, как Шавров, его имя не упоминалось так часто в газетах, биография его была ровнее шавровской и не знала столь бурных взлетов... Неужели же он не захочет сравняться? Вероятно, такую непримиримую зависть к покойному командиру корпуса испытывал бы сам Бельский, став его преемником.

Бельский считал, что в интересах Северова будет в той или иной степени ослабить в памяти людей роль Шаврова, найти его уязвимую сторону. Ясно, что роль любимца Шаврова, которая была необходима Бельскому раньше, теперь только мешала делу.

Бельскому удалось уже не раз на разборах и совещаниях бросить то там, то тут словечко о «шавровских временах», которые, как следовало понимать, «ушли безвозвратно» и на смену которым пришли «времена северовские». Этим можно было, как он полагал, разбить самую глубокую душевную отчужденность.

Несколько рекомендательных слов о статье Ивана Алексеевича, которые, как стало известно, послал Шавров в редакцию, давали теперь Бельскому возможность по-новому разделяться с прошлым: теперь, мол, всем ясно, что истинное отношение Шаврова к Бельскому было отнюдь не таким хорошим. Покойник, оказывается, был к тому же и лицемер.

Судьба федоровской статьи поворачивалась теперь весьма занятно. О каких ошибках говорит Федоров? Не об ошибках Шаврова, стратегию которого он ставит очень высоко. А чьи же это ошибки? Ну, о себе я не говорю — что было, то было... Но Северов! Это уже большая ложь.

Аморальное поведение комбата Федорова плюс весьма сомнительные, политически дурно пахнущие речи, которые он где-то там в Ленинграде произносил, ставили

под сомнение всю эту дутую фигуру, вызванную к жизни утомленным мозгом бывшего командира корпуса. Именно этот сюрприз должен был быть в ближайшее время обнародован. Правда, сюрприз пойдет по политлинии, с тем чтобы Бельский не имел прямого к этому касательства, но реакция должна быть — или партийное взыскание, или... ну, там видно будет, там подумаем. Если же не это, то имеется еще вариант. Впрочем, о нем Бельский никому не говорил. Все вместе должно сблизить его с командиром корпуса: удар по Федорову — это рикошетом и по Шаврову.

Сближение с новым начальством на таком, казалось бы, прочном фундаменте составляло главную заботу и главную надежду Бельского. Смерть Шаврова казалась ему теперь не столько крушением всех планов, сколько грозным напоминанием, что жизнь — борьба и что место под солнцем требует постоянной о нем заботы.

Новые надежды даже внешне омолодили Бельского. Он и держаться стал прямее, и двигаться, как в лучшие времена, быстро, по-молодому. Он теперь не только не избегал разговоров о прошлом, но и любил подчеркивать, что под Новинском его дивизия опоздала с ударом. И с каким-то даже душевным восторгом поведал Северову о том, как люди лежали на льду и не могли подняться. Он не жалел красок, чтобы воссоздать картины одну страшнее другой. Да, много лишней кровушки пролилось...

— Вы раньше, кажется, защищали несколько иную точку зрения? — холодно спросил Северов.

— Так точно, товарищ генерал. Мы люди военные, а указаний Шаврова я не мог слушаться.

— А были указания?

— Так точно, товарищ генерал, — по-старшински внятно отчеканил Бельский. Глаза его смеялись. В его уверенном взгляде без труда можно было угадать: «Вы можете на меня положиться». Всем своим видом Бельский говорил: «Будьте благонадежны, я вас понимаю, поперек горла вам эта шавровская слава».

Но вышло не так, как рассудил Бельский. И вскоре Северов раскусил его до конца.

Северову было приказано разобрать различные бумаги Шаврова. Он привлек Маричева, и два вечера в неделю были отданы этому.

Долгое время Северов не мог привыкнуть к своему служебному кабинету — большой и холодной комнате, где все стояло, как при Шаврове. Стол, за которым он работал. Узкая кровать за черной камышовой ширмой. Два больших шкафа, в которых командир корпуса хранил свой архив.

С возрастом документ приобретает особую силу и привлекательность. Приказ по бригаде, наспех продиктованный писарю, на каком-то случайном привале, читается, как легенда: он подписан 12 июля 1919 года.

Особый возраст у военного документа. Он принадлежит истории, едва лишь прогремел последний выстрел войны. Меньше года прошло с девятого мая, а Северов с трепетом читал берлинские донесения. И он и Маричев всегда уходили отсюда взволнованными. Крепче стоишь на ногах, когда знаешь, кем и как был сложен фундамент.

В один из таких вечеров Маричев обнаружил среди других бумаг два листка, скототых булавкой, еще не успевшей заржаветь. Он прочел эти два листка и передал командиру корпуса. Северову же бросилось в глаза: «Находятся люди, которые бросают ком грязи в героев Новинска», «Клеветнические утверждения, что дивизия не могла овладеть первой траншеей», «Неправильный подход к вопросу о потерях»...

Он вопросительно взглянул на Маричева:

— «Группа офицеров»?

— Я думаю, это — Бельский.

— Почему вы так думаете? Вы это можете доказать?

— Во всяком случае, попробую. И я полагаю, именно для этого Бельский и приезжал тогда к командиру корпуса: чтобы покончить с Федоровым.

Северов еще раз перечел листки. Он читал и вспоминал сегодняшний разговор с Бельским и его лукавый и мрачный рассказ о том, как дивизия лежала на льду.

— Мерзкая штука! «Группа офицеров»... Если это действительно Бельский...

Северов говорил короткими, отрывистыми фразами, и было видно, что ему трудно. Так на сильном ветру вырываются искры из паровозной топки. А ведь внутри все клокочет!

— Это убило Шаврова, — сказал Маричев.

Северов ничего не ответил. Еще раз он перечел отзыв Кирпичникова — Рясинцева. Теперь он ясно видел перед собой фигуру старого Шаврова, склонившегося над этими двумя листками и в последний раз ведущего бой за свою честь.

9

За несколько часов до начала рекогносцировки Бельский прочел рапорт Ветлугина, которым он сообщал командиру дивизии — копия начпокуру — о неблагоприятных поступках заместителя начальника политотдела дивизии Кирпичникова. Рясинцев был потрясен спокойствием, с которым Бельский принял неожиданное известие.

— Плоховато еще у нас с кадрами, — сказал он с таким выражением, словно речь шла о том, чтобы сменить кладовщика. Он принял от Рясинцева почту и штабные бумаги и сердито взглянул на его усталое лицо с синими припухшими комками у глаз. — Работнички, одно слово! А ведь кому неприятно? Командиру дивизии... Кумушек-то у нас хоть отбавляй. Сейчас начнут лясы точить, дескать, опять Федоров, снова Федоров... Что, Рясинцев, не так?

— Точно, товарищ генерал.

— Точно! Надо было себя вести поскромнее. Зачем соглядатаем за Федоровым ездил? Кто просил в личную жизнь вмешиваться?

— Товарищ генерал, я же докладывал вам, и вы...

— Я? — грозно переспросил Бельский. — И что же? Послушаем...

— Виноват, товарищ генерал, но вы приказали обратиться к товарищу Кирпичникову.

— Не к товарищу Кирпичникову, а в политотдел. И чтобы я этого имени больше не слышал. Есть политотдел, есть начальник политотдела полковник Ветлугин — мой заместитель, ясно?

— Совершенно ясно, товарищ генерал.

— И учтите, Рясинцев, мне не такой адъютант нужен. — Он еще раз критически оглядел Рясинцева и покрутил головой. — Орел! Иди спать, Рясинцев, эту яму товарищ Ветлугин мне копает. Иди, иди, не пугайся.

Как-нибудь Бельский есть еще Бельский. Пока вы тут за чужими женами охотитесь, у меня за всех вас голова болит.

— Товарищ генерал... — начал Рясинцев, но, взглянув на своего начальника, ничего не сказал. Бельский охорашивался перед зеркалом. Лицо его блестело от сильного массажа, которым так славился штабной парикмахер. Большую красную шею бережно подхватывал воротник. Сияли ярко начищенные пуговицы... Какое бы значение имели сейчас рясинцевские слова? Да и стоит ли каркать на дорогу? «Бельский и в самом деле еще Бельский», — мысленно повторил Рясинцев.

Палатка постепенно наполнялась офицерами, запахло снегом, потом и одеколоном. Все были возбуждены. Машины стояли наготове. Из штаба корпуса дали знать: сам едет на точку номер один.

— По коням! — весело скомандовал Бельский.

На опушке леса («точка номер один!») все спешили — и вовремя: через минуту показалась машина командира корпуса.

Северов выслушал громовой рапорт Бельского, поздоровался с офицерами и сказал:

— Начинаем работать, товарищи.

Эти обыкновенные, будничные слова прозвучали здесь как-то по-особенному значительно, может быть потому, что были сказаны негромко. Да и вообще манера Северова держаться просто, без рисовки, резко контрастировала с ослепительным, гремящим Бельским.

Северов этими словами не хотел сказать ничего больше того, что сказал, а между тем именно они создали перелом в общем настроении. У Бельского вдруг пропало всякое желание трогать штабные бумаги. Конечно, эти дельные бумаги не раз его выручали, но даже и они были мелочью в сравнении с той помощью, которую упрямо оказывал Бельскому Шавров.

Северов не требовал школярских докладов ни на «точке номер один», ни на «точке номер два». Он требовал, чтобы Бельский, именно Бельский, а не начальник штаба и никто другой из офицеров, раскрыл самую суть задачи. Но теперь, когда никто не стоял за Бельским, выяснилось, что он давно отвык от работы, а может быть, и вовсе не был к ней приучен.

«Бездарность, — со злостью думал Северов. — Бездарность, в наиболее опасном сплаве с самоуверенностью. И эта самоуверенность не столько является свойством характера, сколько результатом своеобразного расчета. Он считает, что если начальство — будь то Шавров, или я, или любой другой — не захочет с ним работать, то, как ни старайся, все равно ничего хорошего не выйдет. Но если начальство в нем нуждается, то, несмотря ни на какие упущения, Бельский останется на своем месте. Я бы, наверное, давно уже приуныл, получив столько замечаний от командира корпуса...»

Они находились на командном пункте Камышина, небольшом блиндажике, крепко врезанном в траншею. Северов хмуро и без всякого интереса слушал, как Бельский распекает Камышина. Он так устал от Бельского, от его чугунного усердия, нарочитой начальственности и баса, что даже пропустил начало разговора. Между тем Бельский рассчитывал именно на то, чтобы Северов не только слушал этот разговор, но и понял самую суть его и оценил по достоинству важность давно разработанной темы.

Северов ошибался — это не был очередной разнос, и в голосе Бельского не было слышно баса. Просто он сожалел, что в полку, которым командует такой опытный офицер, как Камышин, не усвоены уроки недавних боев. Возьмем для примера батальон, которым командует Федоров. (Отсюда Северов стал слушать внимательно.) В пятистах метрах от противника проходит наша линия фронта, а ведь боевой приказ может быть получен с минуты на минуту. Обидно становится, когда происходит такое. Тем более что именно Федоров в свое время ратовал за триста пятьдесят метров. Теория одна, а практика другая! Разрыв!

— Разрешите, товарищ генерал, — сказал Камышин. — Я должен заметить, что разрыва никакого нет. В тех условиях, в которых находится Федоров, это максимум возможного приближения.

— Максимум? А на что же тогда командир батальона? Надо было навязать противнику свою волю!

— Делаем, товарищ генерал. В этом батальоне ночами работали, чтобы сделать все, что возможно.

— А я говорю, что сделано мало! Вы были на инструкторном совещании? Федоров был?

— Да, были. Разрешите, товарищ генерал: на том участке фронта, который указан штабом дивизии...

Бельский не дал ему закончить.

— И это вы говорите в присутствии командира корпуса? — спросил он с едкой горечью. — Того самого человека, благодаря которому...

— Товарищ Бельский! — прервал его Северов.

— Простите, товарищ генерал, но всем известно, как принижена была ваша роль в дни Новинска. Один только и был человек, что Шавров! Шавров! В нем ли дело? — Голос его задрожал на самых высоких нотах. — Не слишком ли раздута эта фигура?.. Не пора ли..

— Замолчите! — не в силах больше сдержатъ себя, крикнул Северов. — Я вам приказываю замолчать. Как вам не стыдно так говорить о нашем Шаврове? Как это «не в нем дело»? Новинск — детище Шаврова. Операция была разработана по его плану, в каждой детали можно различить его работу, его ум, его талант. Действительно пора... — Но тут он вспомнил о Камышине. В его присутствии ему не хотелось договаривать все до конца. Камышин это понял.

Но едва только они остались вдвоем, Бельский сказал:

— Я прям, товарищ генерал, что думаю, то и рублю сплеча. За столько лет службы — привык.

— Так ли это, товарищ Бельский? — спросил Северов. — К этому ли вы привыкли? Только что вы рубили сплеча по теории и практике товарища Федорова. Вы читали его статью?

— Товарищ генерал, эта статья родилась в моей дивизии!

— Родилась-то она родилась. Но вот у меня в руках отзыв на черновой еще вариант статьи товарища Федорова. Чего тут только нет, даже клевета на армию. И подпись: «Группа офицеров». Странная подпись, не правда ли? Ведь это же статья, а не некролог! «Группа офицеров», а?

Бельский недолго изучал знакомые листки, уже успевшие пожелтеть за эти два месяца. Значит, Северов сумел-таки в этом деле разобраться!..

— Да, обезличено, нехорошо... — сказал он, повертев в руках отзыв.



— Взгляните как следует: «группа офицеров» из вашей дивизии!

Еще раз Бельский повертел бумагу.

— Похоже, что точки зрения разные! Но в конечном-то итоге наука от этого выигрывает, так, товарищ генерал?

— Наука? — переспросил Северов. — Что ж, мы тоже за науку. И мы за разные точки зрения. Но мы против шельмования заслуженных фронтовиков, против анонимок, какими бы громкими фразами они ни прикрывались. Не задерживаю вас больше, товарищ Бельский.

Бельский по привычке уже поднес руку к фуражке. Откозырять и прочь отсюда, прийти в себя, отдохнуть, выпить стопку водки, поразмыслить, как теперь быть...

Но тут он подумал, что у него нет больше времени ни на отдых, ни на размышления, что время измеряется минутами, а может быть, и минут уже не осталось. Шагнет Бельский прочь из камышинского блиндажа и не вернется больше. Один только шаг, одно только мгновение...

— Товарищ генерал, — сказал Бельский, все еще держа руку на уровне фуражки. — Товарищ генерал, я должен признаться... — Он видел, что это слово произвело впечатление. — Я должен признаться, я знаю, кто автор, кто скрывается под этой «группой». Мне тяжело, но я должен назвать исполнявшего обязанности начальника политотдела дивизии Кирпичникова. Не Федоров, а он — настоящий, подлинный, стопроцентный клеветник.

— И вы молчали, зная, что это... что эта мерзкая штука путешествует по корпусу... Вы сами привезли ее к Шаврову...

— Товарищ генерал, надо войти в мое положение. Кирпичников работал в то время за товарища Ветлугина. Я не мог не считаться с партийным мнением. Положа руку на сердце, мы, строевые офицеры, немало на своем веку хлебнули от них.

— От них? Да кто же это «они»? Политические работники, армейские коммунисты? Как вы смеете трогать людей, которые сердце свое навсегда отдали народу, смешивать их с кирпичниковыми, пачкать и порочить? Еще никому и никогда не удавалось и не удастся

оторвать армию от партии. Запомните это раз и навсегда.

— Тогда что ж, товарищ генерал, — спросил Бельский просто, — надо будет, видимо, мне подать рапорт... по болезни?

— Нет, товарищ Бельский, — сказал Северов. — Этого делать не следует. Ваш вопрос будут решать не медики.

Так началось падение Бельского. Конечно, впоследствии он говорил, что вопрос о его снятии был заранее «спланирован». Он осуждал не только Северова, но и всех своих помощников, и Камышина, который был «в стачке с Федоровым», и жаловался на Ветлугина, который «выкопал-таки ему яму»...

Но все это было потом, а в ту минуту каждое лишнее слово могло ему только напортить. Еще через минуту сиреневый «опель» уже исчез из виду. Васька понимал службу и знал, когда надо переводить машину на третью скорость.

Северов не спешил вернуться домой. Ему хотелось своими глазами увидеть участок фронта, который пришелся на долю первого батальона. И еще, и, может быть, больше всего, ему хотелось побыть сейчас одному. Вездеход, по грудь заваливаясь в рыхлые весенние сугробы, вывез командира корпуса к дюнам.

Отсюда и до опушки леса, где блестели огни федоровского батальона, тянулось унылое поле, покрытое несвежим снегом и черными пятнами. Было пасмурно. С моря дул влажный, очень теплый ветер, шуршали снега.

Не в яркий солнечный день, не под голубым небом всего быстрее работает весна, а в эти вот пасмурные вечера, в эти темные голые ночи. Стоя по колени в грязи, холодными, синими руками она выбрасывает вон то не убранный с осени остов «студебеккера», то штабель дров, то ржавые мотки проволоки.

Завтра свершится чудо. Пористые сугробы зазвенят ручьями, черные, прелые пятна покроются травой, и торжественно зацветут жесткие сырые сучья. Но для того чтобы чудо свершилось, надо работать.

Северов прыгнул в траншею и не спеша пошел ходом сообщения в сторону огоньков. Он ясно представлял себе, какое сейчас должно быть настроение у Федорова,

и мысленно хвалил его за верное решение. Да, плохую шутку мог сегодня сыграть Бельский на этих местах... А завтра? Завтра Бельский стал бы еще во сто крат опаснее, говорил себе Северов. Завтра перед военными людьми будут поставлены новые задачи, которые потребуют новых знаний и еще большей коммунистической сознательности.

Теперь с Бельским кончено. Все это позади, и оглядываться нет никакого смысла. Но теперь Северов чувствовал внутреннюю свободу, которая позволяла ему судить не только Бельского, но и Шаврова. Верно, что Шавров был талантлив, а Бельский бездарность, верно, что Шавров был смел, а Бельский ненадежен, верно, что Шавров был человеком, а Бельский ничтожеством, но ведь именно при Шаврове мог существовать Бельский.

«Может быть, подняв когда-то Бельского, Шавров не знал, что получится? — спрашивал себя Северов. — Может быть. Но вина эта была все-таки его». Скрытая ревность Шаврова к своим действительно талантливым помощникам, боязнь людей, равных ему, вот что привело его к Бельскому. Верно, что Бельский втайне презирал Шаврова, его талант, честность и ум. Но и это не могло изменить главного: кем бы ни был Бельский, он существовал благодаря Шаврову. И в том, что теперь Бельский охотно рычал на своего мертвого хозяина, тоже был виноват Шавров. От слуги нельзя требовать того, что требуешь от родного брата.

10

Не прошло и часа, как закончились учения, и уже повсюду распространился слух, что корпус покидает Ленинград и уходит в Новинск. Уже не здесь, а там будут строить лагерь, а новые зимние квартиры находятся в двадцати километрах от города, как раз на месте бывшего переднего края.

Солдатская почта самая быстрая, очень скоро она принесла Ивану Алексеевичу это известие. Он не поверил и рассердился: такими вещами не шутят. Не прошло и минуты, как к нему подлетел Лебедев:

— Ты слышал?

— Что?

— Да вот, поговаривают...

— Это насчет Новинска?

— Ну да, конечно!..

Такие разговоры шли решительно повсюду. Иван Алексеевич спросил Камышина, но тот только руками развел. Наконец, уже после разбора учения, слово для сообщения снова взял Северов. Едва только командир корпуса встал, едва только произнес первые два слова: «Товарищи офицеры!», как Иван Алексеевич всем сердцем понял: «Новинск!»

В первую минуту, услышав приказ, он обрадовался, но потом крепко задумался.

Иван Алексеевич любил передвижения. Война и поход — понятия неразделимые. Снова увидеть Новинск? Но ведь это совершенно естественно, что человека тянет повидать те места, на которых он воевал. И как передать то удивительное ощущение, когда садишься в автобус и едешь туда, где был КП полка, и тайком куришь в окно, чтобы не обругала кондукторша? Как передать злую горечь, которая охватывает тебя при виде холодных развалин? Среди каменной пустыни то тут, то там торчат ржавые трубы, и одинокие дымки указывают приезжему на человеческое жильё.

Летом какой-то старшина из соседнего полка ездил в Новинск, так ему потом проходу не давали: «Что в Новинске? Как там?» Во всей дивизии не было популярнее газеты, чем та, которая посвятила полосу восстановлению города Новинска. К Новому году стало известно, что там пошел первый трамвай.

Но в тот момент, когда Иван Алексеевич услышал — «Новинск», он ни о чем этом не думал. Он лишь понял, что вскоре увидит места, где он так много пережил и которые стали для него второй родиной.

Именно там, в Новинске, Иван Алексеевич впервые испытал радость освободителя. В госпиталь приходили жители города, они не могли принести бойцам ни дорогих подарков, ни даже скромных цветов. Но человеческая ласка всего дороже солдату.

Там Иван Алексеевич познакомился с Тамарой. На мгновение он ясно увидел ее белую вязаную кофточку и услышал, как шуршит короткая юбка.

Когда его увозили в тыл, она махала рукой и говорила ему все то же, что говорила каждому раненому: «Кон-

чится война, приезжайте к нам, в Новинск!» Но Ивану Алексеевичу казалось, что она приглашает только его.

А когда после выздоровления Иван Алексеевич вернулся в дивизию и встретил Тамару, она его не узнала.

— Новинск... помните?

— Помню ли я? — улыбнулась Тамара, и лицо ее вдруг стало каким-то виноватым. — А что же еще я помню? Я ведь больше нигде и не бывала...

Иван Алексеевич тряхнул головой и, немного рисуясь, сказал:

— Так поехали в Новинск после войны?

— Поехали, поехали, — ответила Тамара грустно и все с той же виноватой улыбкой.

Все это мелькнуло перед Иваном Алексеевичем, и он задумался. Ведь еще неизвестно, как Тамара взглянет теперь на переезд. Он вспомнил, как говорила Тамарина тетка: «Лучше здесь спать вповалку, чем там каждому по восемь соток», а Тамара при этом кивала головой. Иван Алексеевич раздраженно спросил: «А что вы здесь видели? Ни разу даже в театре не были...» — «А мы сюда не в театр приехали», — ответила тетка, и все вокруг засмеялись.

— Ты чего это загрустил? — спросил Лебедев. (На обратном пути они ехали в одной машине.)

— А ты чего радуешься?

— Да уж пора накрепко устраиваться, — сказал Лебедев.

Иван Алексеевич с удивлением на него взглянул. Лебедев не был склонен к сентенциям.

— Что ж, по-твоему, здесь, в Ленинграде, это было не крепко?

— Да вроде...

— Уж тебе ли это говорить? Такое хозяйство развел...

— Ну и что ж хозяйство? Хозяйство ликвидируем, новое заведем. Я так считаю — раз мы новинские, так в Новинске нам и быть...

— Ну, это положим, — сказал Иван Алексеевич раздраженно. — Как будто в Московском округе не может стоять Брестская дивизия!

— Да может, может, — снова засмеялся Лебедев. — Ведь это я так, к слову. Петух ты, ей-богу.

— А что, товарищ майор, — заметил водитель, — вообще было бы неплохо Новинск повидать. Я читал, что там трамвай уже ходит.

— Опять трамвай! — сказал Иван Алексеевич. — Как будто вся цивилизация в этом трамвае!..

— Трамвай, конечно, товарищ майор... Зря печатать не будут, — добавил водитель немного обиженно.

Новинск! Новинск! Новинск! Это слово бежало быстрее машин. Об этом узнали в Любозерске и в Вересках раньше, чем корпус вернулся с учений. Одни не отходили от окон, ждали, когда покажется первая машина. Другие не выдерживали, выбегали на шоссе... Встречать у нас любят. Да и полагается встретить человека, когда он крепко поработал, когда у него на новенькой, недавно выданной гимнастерке проступают светлые, словно выжженные солнцем, пятна.

— Едут, едут! — кричит маленькая дочурка Лебедева. — Вездеход!..

Действительно показывается машина, действительно вездеход, но только он не армейский, а колхозный... .

Кажется, одна только Тамара не принимала участия во всем этом. Новости до нее не дошли. Она была слишком занята своими делами, своими мыслями, да и на улице почти не выходила. Пришла от Ветлугина и сразу стала собираться. Она решила все сделать до приезда Ивана Алексеевича. Впереди целые сутки, успею... конечно, успею... .

— Успею, успею, успею... — тихонько напевала она, выдвигая ящики, снимая с вешалок платья.

Комната сразу стала какой-то неуютной, пыльной, запахло кожей и нафталином. Вот этот красивый чемодан с разноцветными наклейками они покупали вместе еще в Германии. Это было, кажется, в первый день открытия универсального магазина. А вот этот деревянный баульчик — еще девичий, новинский, но при умении туда можно много чего запихнуть. Самые трудные и неотвязные мысли отступают, когда надо решать, брать ли с собой прошлогодние босоножки или выбросить их.

Но вот наконец и баульчик и чемодан запакованы, щелкнули замки. Что же дальше? Теперь надо ждать Ивана Алексеевича. Дождаться и сказать ему о сво-

ем решении. Проститься с ним и пожелать ему счастья...

Проститься и пожелать счастья... Легко сказать! Столько было пережито за одну неделю: тетка, Катя, Кирпичников, Ветлугин — все это потребовало много сил и энергии, и вот сейчас, после того как щелкнули замки, она почувствовала необычайную слабость.

Скорее бы пришел Иван Алексеевич! Да, но ведь тогда-то и начнутся самые мучительные минуты. Он, конечно, назовет все это «блажью», «бабскими нервами» и, наверное, здорово рассердится, когда узнает, что она была у Кати.

Может быть, в самом деле уйти и оставить записку? В какой-то кинокартине именно так и поступает жена. Уходит, а муж приходит и читает записку. Но там, в этой кинокартине, не было сказано, куда она ушла. А Тамаре именно об этом пора подумать.

К тетке? Нет, ни за что. Еще неделю назад это могло быть возможным, но теперь она со страхом вспоминала квартиру на Таврической.

Домой в Новинск? Боже мой, какой же это дом? Да там, наверное, никого из прежних не осталось. А если и остались, то какое это будет жалкое возвращение!

Тамара мысленно перебрала ленинградских знакомых. Но все они, конечно, будут добиваться, чтобы она вернулась к Ивану Алексеевичу...

Не проще ли распаковать вещи и спокойно дожидаться прихода мужа? Спокойно дождаться, и пусть идет жизнь, как идет...

Но возвращаться к старому было уже для нее невозможно. Разумеется, вспоминая старое, она находила бесконечно много хорошего и милого, ведь они и в самом деле славно здесь жили, вот в этой самой комнатке они были так счастливы... Но едва она начинала думать о будущем, как сразу же попадала в полосу отчуждения, которая легла между ними. Как будто ею самой был установлен какой-то барьер, через который она не могла перетащить все то светлое, что было раньше в их любви.

Нет, она правильно решила: им надо расстаться. Что будет дальше? Будет так, как должно быть. Она ведь не раз видела объявления: «Требуются... общежитием обеспечиваются...» Напрасно тетка пугала ее. Та-

мара меньше боялась такого своего будущего, чем разговора с Иваном Алексеевичем.

Наступил горький час ожидания, когда каждая новая минута мучительнее предыдущей. Она попробовала читать, взяла какую-то книгу, прочла: «Он жаждал убедиться, что граф не замышляет похищения, которые были в большой моде в то время и почти всегда проходили безнаказанно...» — и ничего, решительно ничего не поняла. Кто, что, зачем похищать, для чего это нужно? Да и нужно ли что-нибудь еще, кроме того, чтобы поскорее пришел Иван Алексеевич?

Она еще раз прочла и, кажется, раз двадцать перечла один и тот же абзац и наконец захлопнула книгу. Ожидание становилось нестерпимым. Она уже перестала смотреть на часы. Ясно было, Иван Алексеевич опаздывает...

Иван Алексеевич опаздывал потому, что колонна, в которой не спеша шла его машина, была очень длинной, а асфальтированное шоссе в то время было единственным. Он извелся от такой езды и выскочил, чтобы узнать, чьи машины впереди. В это время его окликнул Ветлугин:

— Пойдите, майор, я думаю, здесь без нас разберутся, а мне с вами надо поговорить.

Ветлугин сразу же после встречи с Модестовой решил поговорить с Иваном Алексеевичем. Но во время учений это было невозможно, а после разбора Ветлугин потерял из виду комбата-1.

— Без нас сделают, — повторил Ветлугин и, взяв Ивана Алексеевича под руку, повернул его к своему громадному «ЗИЛу». — Забирайтесь-ка сюда. В этой машине можно даже совещания устраивать. Садитесь, садитесь, майор. Не бойтесь — совещание вам не угрожает. Просто хотелось поговорить с вами, хотелось похвалить вас, ну и поругать заодно. Хвалю вас за то, что вы хорошо воспитываете своих людей. Иван Алексеевич, я говорю о сержанте Турчанове. О нем есть сведения. Настоящим человеком показал себя, настоящим солдатом!

Иван Алексеевич просветлел:

— Сыну его надо сообщить!..

— Да, конечно. Но мне кажется, он уже знает... Ведь тут и радость и горе. Радостно, что такой оказался



железный человек, и очень горько, что этот человек там... у них... в тюрьме. Слушайте, Иван Алексеевич, напомните мне этого Турчанова. Какой он из себя? Ведь память у меня хорошая.

— Да он такой, знаете, блондинчик, невысокого роста, нос немножечко «каши просит»... курносенький. Вспоминаете?

Ветлугин засмеялся:

— Вспоминаю ли я? «Курносенький да блондинчик...» Боже ж мой, сколько мы с вами таких видели!

— Да он ни на кого другого не похож, — всерьез продолжал Иван Алексеевич убеждать Ветлугина. — Товарищ полковник, могу вам напомнить, он ведь первый на правый берег Днепра вышел.

— Нет, первым вышел Андреев Степан Степанович, — серьезно ответил Ветлугин. — Может, на участке вашего батальона...

— Может быть, не стану спорить. Я очень рад, товарищ полковник, что не ошибся в нем. Это большое дело! Турчанов... Мне кажется, он из тюрьмы выберется. Вот так!.. А за что же ругаете меня, товарищ полковник, разрешите узнать?

— За то, что только сейчас мы с вами об этом разговариваем. Почему ни слова мне об этом раньше?

— Да с тех пор столько воды утекло. Я когда узнал, что Турчанов жив... ну, словом, вас в то время и в дивизии еще не было, а товарищ Кирпичников...

— Ну и что же товарищ Кирпичников?

Иван Алексеевич замялся:

— Да нет, так, ничего...

— Неправильно, майор, — сказал Ветлугин. — Ваша жена прямее вас. Она сама пришла ко мне и сама рассказала обо всем. И о Кирпичникове я тоже узнал только от вашей жены, а не от вас...

— Тамара? — переспросил Иван Алексеевич. — О товарище Кирпичникове?

Ветлугин внимательно взглянул на него.

— Ваша жена — хороший, преданный вам друг. А как это много! Чуть свет прибежала! Очень мне было приятно, что она так верит вам, так отстаивает, и я скажу — принципиально отстаивает!

— Тамара? — еще раз переспросил Иван Алексее-

вич. — Тамара была у вас? Принципиально отстаивает? Да это прямо сон какой-то.

— Почему же сон? Послушайте меня, Иван Алексеевич... Иван Поддубный, кажется, так вас называют... Мне думается, вы просто ни о чем еще не знаете. Я расскажу вам...

Когда Иван Алексеевич вернулся в свою машину, Лебедев спросил:

— Что Ветлугин? Зачем он тебя вызывал?

— Потом, потом... — сказал Иван Алексеевич, не глядя на товарища.

— Я тебя, Иван, перестал понимать. Ладно, не хочешь говорить, не надо.

— Потом, потом... — повторил Иван Алексеевич.

Только теперь, после разговора с Ветлугиным, он понял, какая опасность ему угрожала. Но сейчас он не думал ни о Кирпичникове, ни о Рясинцеве, ни о Симочке.

Чувство, которое он сейчас испытывал, было сложным. Он гордился Тамарой: она поступила правильно и смело. Она не побоялась встретиться с Катей. Она не испугалась Кирпичникова. Она вступилась за него. Она защитила его честь. И в то же время он обвинял себя: Тамаре пришлось много пережить из-за него. И он ничем не помог ей. Ей одной пришлось выдержать нелегкую борьбу.

Мысленно он повторял одну и ту же ветлугинскую фразу: «Прибежала чуть свет... Чуть свет... Чуть свет...» Как будто именно в этой фразе был ключ ко всему, чего он не понял в Тамаре. Ветлугин хвалил Тамару, он говорил о ее преданности, о том, как хорошо, когда такая дружба между мужем и женой, но Ивану Алексеевичу запомнилась только эта фраза.

«Чуть свет прибежала», — думал Иван Алексеевич, жалея Тамару. Ведь она ради него пришла к Ветлугину в темноте («чуть свет» — это еще совсем темно), продрогшая (он ясно представил себе нетопленную печь, ледяные узоры на окнах, а теплую шаль они так и не собрались купить). И это «чуть свет» означало, что Тамара сделала то, что должен был сделать он сам.

Если бы неделю назад Ивану Алексеевичу сказали, что Тамара поступит так, как она поступила, он бы это-

му не поверил. Он бы, наверное, сказал: «Нет, это не она. Тамара на борьбу не способна». Значит, он просто ее не понял?

«Я не понял ее любви, — думал он. — Я был слишком занят собой. Легко найти оправдание: ведь я был занят делом, которое потребовало всего меня. И все же этому нет оправдания. Надо было доверять жене. Кате я больше доверял. Да нет, это что ж такое выходит?..»

Он отогнал эту мысль, но она снова и снова к нему возвращалась.

«Но в чем я доверял Кате больше?» — спрашивал себя Иван Алексеевич.

И отвечал себе, что Кате он почти ничего о своей жизни не рассказывал, а разговоры всегда шли о Саше или совсем о посторонних вещах. И даже в тот день, когда он сбежал с теткиных именин и спешил к Кате, чтобы рассказать ей именно о своей работе, даже в тот день он ничего ей особенно доверительного не сказал. Ничего не сказал, кроме того, что вот, Екатерина Григорьевна, закончил работу. Но Иван Алексеевич знал, что его тянуло туда, к Кате, именно потому, что там его могли понять, а здесь нет и что там для этого не надо было никаких усилий, а здесь потребовалось бы их много.

Но вот и Верески. Иван Алексеевич вышел из машины и медленно, в раздумье направился к своему дому. Тамара увидела его из окна. Он как-то необычайно сутулился, казалось, что его широкие плечи стали уже.

«Усталый...» — мелькнуло у нее, и в это время Иван Алексеевич вошел в дом.

Обычно он одним махом бурно одолевал лестницу. Сейчас она слышала каждый его тяжелый шаг.

«Усталый...» — снова подумала она. Ей захотелось поскорее побежать на кухню, разогреть обед, все разговоры потом, смотрите, ведь он же устал! Но она, стиснув зубы и сказав себе голосом Ивана Алексеевича: «Бабья слабость, бабья слабость, ничего больше», стала отсчитывать его шаги.

Иван Алексеевич открыл дверь и остановился на пороге. Тамара стояла посреди комнаты, все еще отсчитывая: пять, шесть, семь, восемь...

И вдруг какая-то неизвестная им обоим сила бросила их друг к другу. Они обнялись молча, ошеломленные,

еще не веря, что они встретились, еще не зная, что им предстоит, и только чувствуя, что сейчас, сию минуту, что в это мгновение они вместе...

Глубокой ночью, когда Тамара уже спала, Иван Алексеевич вышел на балкон. Весенний морозец охватил его с головы до ног. Он поежился, подвигал плечами и вдруг, словно что-то заметив, перегнулся. Поселок спал. Было совершенно тихо, и только под этим старым дачным балкончиком крутилась Земля со всеми ее материками и морями.

Иван Алексеевич усмехнулся, покачал головой и пошел обратно в комнату.

**В** мае сорок седьмого Балычев приехал в Ленинград. Едва устроившись в гостинице, он узнал телефон Заневской типографии и позвонил Кате. Он просил встретиться с ним по делу важному и неотложному, и они сговорились на вечер. Балычев впервые был в этом районе города, но шел уверенно: очень уж врезались в память рассказы Ивана Алексеевича. Но чем ближе он подходил к цели, тем медленнее становились его шаги.

Одно дело, когда сговариваешься по телефону, и совсем другое, когда стоишь напротив вот этого двухэтажного домика, вокруг которого так пышно разрослась черемуха. Конечно, он мог бы и не приходить сюда — это была его добрая воля, все можно было сделать официально и избежать этого тяжелого свидания...

«Поздно трусить!» — сказал себе Балычев, перешел улицу и открыл калитку. В садике он сразу же увидел Катю. Она сидела на скамейке рядом с пожилой женщиной и о чем-то оживленно с ней говорила.

— Екатерина Григорьевна... — начал Балычев и представился.

Она удивленно на него взглянула:

— Как это вы меня узнали?

— У нас с вами есть общий друг — Иван Алексеевич Федоров. Я с его слов понял... Он так подробно рассказывал о вас...

— Да, да... — сказала Катя быстро. — Ну как же, как же... разумеется... Вы не знакомы? Товарищ Балычев, Мария Филипповна...

Балычев фамилии не расслышал и снова козырнул. У него было такое чувство, как будто он сделал неловкость, упомянув об Иване Алексеевиче.

— Как его здоровье? — спросила Катя.

— Здоровье? — переспросил Балычев. — На сей счет наш Поддубный, кажется, никогда не жаловался.

— Не скажите... Он писал, что перенес плеврит. Там климат очень сырой...

— Ну так вы о нем знаете больше, чем я... Я демобилизовался осенью. Первое время мы часто писали друг другу, ну а потом, когда их перевели...

— Простите, вы демобилизовались осенью сорок пятого? — спросила Катя.

— Да. А Иван Алексеевич уехал в марте сорок шестого в Новинск.

— Я знаю, — сказала Катя.

Пожилая женщина встала и попрощалась.

— Так завтра не забудь, — просила она о чем-то Катю.

— Да, хорошо, не забуду, — отвечала Катя рассеянно. — Мне казалось, вы знакомы с Марией Филипповной, — сказала она, проводив взглядом пожилую женщину. — Мария Филипповна Бельская.

— Ах, вот что! Но ведь она... ведь они, кажется...

— Они давно разошлись. Мария Филипповна со своим воспитанником устроилась в моей комнате... Немного высоко, но вид чудесный: Нева...

— Так, так... Ну а как теперь живет... товарищ Бельский?

— Не знаю, право. Кажется, все на что-то надеется... все еще надеется. Зря, конечно. О Кирпичникове, говорят, специальный приказ был... Пойдемте ко мне, — предложила она Балычеву. — Здесь нам помешают. Хлопочу я, чтобы нам дали другой участок для сада. Хорошо здесь после работы на воздухе, но теснота ужасная: тут и городки, тут и уроки зубрят — через месяц сессия заочников. Вы нам по этой линии не помощник? В исполкоме надо, как это теперь говорят, «толкнуть»...

— Да нет, я не по этой части... — сказал Балычев, но, взглянув на Катю, откашлялся и добавил: — Вообще-

то попробовать можно. Может быть, мне что-нибудь и удастся...

— Ну вот и спасибо.

Они вошли в дом, тоже знакомый Балычеву по рассказам Ивана Алексеевича, и Катя сказала:

— Садитесь, пожалуйста. Рассказывайте, что вас сюда привело.

Балычев ответил не сразу. Катя сидела за столом. Он сбоку, в кресле. Он молча смотрел на ее совсем юное лицо — линии рта были необыкновенно нежными, почти детскими — и боялся начать, испытывая тот же страх, который уже испытал на улице, когда стоял напротив типографского домика. Но тогда он еще не видел Катю. А теперь он ее увидел. И, глядя на нее, он вспомнил Ивана Алексеевича и почему-то сердился на него. Ему казалось, что он уловил что-то очень важное в Кате, чего не мог уловить Иван Алексеевич, да и, наверное, никто другой не мог уловить.

— Я только вчера вечером вернулся из Германии, — решительно начал Балычев, — и сразу же позвонил вам...

Теперь молчала Катя, напряженно вслушиваясь в слова Балычева и, кажется, стараясь понять не только их смысл, но и все то, что было за ними.

— Екатерина Григорьевна, я работаю сейчас по репатриации, я был на Западе, там, где лагеря для наших бывших военнопленных. Там я узнал о судьбе Александра Николаевича Турчанова.

Катя не дала ему закончить.

— Стойте, подождите! Стойте... — повторила она тихо. — Он убит?

— Да.

— Я об этом думала. Да, да, я об этом думала... Я... Бедный Александр Николаевич... Бедный Саша... Расскажите мне все, что вы знаете, — попросила она.

— К сожалению, очень немного. В Берлине я узнал, что Турчанов в тюрьме и что положение его тяжелое, что он очень болен. Сначала западные власти все отрицали, потом признались, что он в тюрьме, но якобы за какое-то уголовное преступление. Об этом деле уже стали писать даже в их газетах. Шведская миссия Красного Креста сообщила мне, что Турчанов действительно болен. К этому времени я наконец получил визу и допуск в лагерь...

— Говорите все, говорите все, не бойтесь, прошу вас, — сказала Катя. Она крепко стиснула зубы, и от этого линии рта, которые вначале поразили Балычева своей нежностью, почти детскостью, стали суровыми и жесткими.

— Что говорить, Екатерина Григорьевна! Это тысячи людей без крова, многие тяжело больны. Нужда во всем. Голод. Те же лагеря, в которых содержались наши люди во время войны. И проволока, и овчарки, и можно стрелять по беззащитным людям. Только сторож в другой форме, а наши люди называются не военнопленными, а «перемещенными». То, что я видел своими глазами, — ужасно, но то, чего я не видел, во много раз ужаснее. Мне говорили: «Сюда нельзя», «Специальное ограждение», «Запрещено», а в тех случаях, когда я мог разговаривать с нашими советскими людьми, между нами были те же тюремщики, только почему-то они называются толмачами. Как будто можно переводить с русского на русский! Там, в лагере, я услышал о Турчанове, вернее, о его гибели: убит при попытке к бегству. Этому трудно поверить. Больной, измученный, а главное, ведь это было накануне свидания с нами. . .

— Может быть, он не знал, что ему предстояло это свидание? — спросила Катя.

— Может быть. . .

— Ужасно жаль Сашу, — сказала Катя. — Он очень надеялся, что отец вернется. А знаете, какой хороший парень стал? — сказала она с воодушевлением. — Настоящий человек, товарищ, на все отзывчивый, ясная голова, руки золотые. Ужасно жаль. . . Вы приходите завтра, я хочу, чтобы вы познакомились. Придете?

— Конечно. Мне же надо рассказать ему об Александре Николаевиче.

— Не надо. Я сама, — сказала Катя.

— Екатерина Григорьевна!

— Нет, я знаю: так лучше будет. Вы не обижайтесь, но так будет лучше. . .

Балычев молча кивнул головой. Долгое время оба молчали.

— Они что, снова хотят войны? Снова хотят войны? — повторила Катя. — Вы мне скажите, вы ведь там были. . .



— Как мне вам ответить, не знаю, — сказал Балычев. — Ненависть, злоба, страшная жажда власти и преступлений — это сильные дрожжи. Человек дышит этим кислым воздухом. Он проникает в легкие, заражает.

— Слава богу, у нас воздух чистый, — сказала Катя, — и легкие покрепче. И не только легкие, — добавила она и улыбнулась. Улыбка смягчила жесткие линии рта, и светлые теплые лучики побежали снизу вверх к тоненьким морщинкам возле глаз.

Только сейчас Балычев заметил, что вокруг стемнело. Правда, то была не ночь, а только сумрак — до ночи в это время года еще далеко, но контраст света и тени был поразительный.

— Мне, пожалуй, пора... — сказал Балычев.

Катя его не удерживала и только напомнила, чтобы он пришел завтра.

— Часов в пять-шесть лучше всего. А то ведь Саша вечерами уходит учиться. Что-то мастерит, кажется планер. В летчики готовится, — и снова улыбка осветила ее лицо.

Балычев вышел в садик. Густо пахло черемухой и еще чем-то необыкновенно домашним. Это на Неве мальчишки разожгли костер. Ночь была сухой, холодной, и горькие струйки дыма быстро добрались сюда.

Балычев постоял немного, вздохнул и быстро зашагал домой.

2

Новинск — городок небольшой, но очень деловой и бойкий. Издревле проходил здесь большой торговый путь. На знаменитых Новинских торжищах можно было встретить и венецианцев, и далматинцев, и персов... А еще раньше через Новинск волокни волоком свои ладьи новгородцы, пробивая путь в незнакомые края.

Главную достопримечательность Новинска — крепость с башней — тщательно охраняли до войны. Отступая, немцы взорвали старые стены, но сама башня каким-то чудом уцелела.

Первым из окна вагона увидел эту башню Саша Турчанов. Еще только начинало светать. На сереньком горизонте подымался красный кружок солнца. Его силы

хватало сейчас только на то, чтобы осветить маленький кусочек старинной славы.

Саша растолкал своего нового приятеля, с которым в дороге познакомился, Павла Лучкова:

— Павел, быстро, подъем!

Павел вскочил:

— Что, тревога?

— Тише, тише, людей разбудишь... — зашикал на него Саша. С момента отъезда из Ленинграда они всю дорогу щеголяли новой терминологией: заправочка, подъем, тревога... — как-никак это уже были солдаты, еще только-только начинающие свою службу, еще даже не по форме одетые, но уже солдаты.

Саша впервые в своей жизни оторвался от Ленинграда. До войны он каждое лето уезжал в пионерлагерь (Александр Николаевич старался заполучить две путевки — на июль и август), но то были совсем близкие места — Токсово, Юкки, Всеволожская...

Первый день пути Саша был полностью под впечатлением прощания. Почти вся типография пришла на вокзал: Саша Турчанов был первым после войны призванным. Жаль было расставаться с товарищами, с Екатериной Григорьевной, с Модестовой, но самой острой болью была Лиза. Уже поезд далеко отошел от Ленинграда, миновал Лугу, а он все вспоминал заплаканное лицо Лизы и то, как она крепилась и обещала не «распускать нюни» и все-таки не выдержала. От этих воспоминаний у него самого начинало пощипывать глаза.

Но уже на второй день стало легче. Начиналась новая жизнь с ее каждодневными заботами. Он понимал, что домой, в Ленинград, должен вернуться мужчиной. А это превращение молодого парня в мужчину происходит не вдруг, не в тот момент, когда он после службы возвращается домой, не на вокзале, когда он вновь может обнять свою невесту, а постепенно, день за днем, в течение всего срока службы.

Саша и Павел долго стояли у окна. Солнце вставало, широко распрямляя застывшие за ночь плечи, и крепкие утренние лучи уже горячо били в голову поезда.

А через несколько минут старшина всех разбудил: последняя остановка перед Новинском, надо привести себя в порядок.

Поезд остановился в нескольких метрах от крепости. Старинная башня была покрыта строительными лесами. Девушки-практикантки из художественного училища, в клеенчатых фартуках, в косынках, туго стягивающих волосы, восстанавливали лепной орнамент.

— Смотри, как дятлы на дереве! — крикнул Павел, первым выскакивая из вагона. Все было интересно, все новое, все весело, все ярко и празднично, как и бывает на заре.

В Новинске тем временем готовились к торжественной встрече. На площади перед вокзалом выстроили трибуну, убрали ее кумачом, флагами, транспарантами со словами приветия. Два духовых оркестра — военный и молодежный из клуба «Смена» — грянули марш, едва только показался поезд.

Все военное начальство во главе с Северовым прибыло на встречу. Летнее утро блестело на мундирах, погонах и орденах.

Иван Алексеевич тоже был в это утро на площади. Прошло три месяца, как Саша обратился в военкомат с просьбой зачислить его в часть, где служил отец. И в тот же день Иван Алексеевич подал рапорт, в котором повторил Сашину просьбу.

Когда молодые солдаты, стараясь держать строй, вышли на площадь, Саша почти в первую же минуту увидел Ивана Алексеевича. А Иван Алексеевич тщетно старался узнать Сашу: мелькали фуражки, шляпы, кепки, сундучки... — ничего нельзя было разобрать.

Северов произнес жаркую речь, которая даже близко знавших его удивила: в обычное время командир корпуса был куда суше. Снова загредел оркестр. Потом говорил председатель Новинского городского Совета. Потом снова играла музыка. А Иван Алексеевич все всматривался в молодые лица.

Когда он вернулся, Тамара сразу же увидела, что он не в настроении.

— Да куда твой Сашко не делся, — весело успокаивала она мужа. — А самое лучшее — через штаб вызови его к себе домой. Мы бы так славно посидели...

— Да что ты, ей-богу, — возмутился Иван Алексеевич. — Как это «вызвать домой»? Молодого солдата!.. У них сейчас первым делом баня, потом обмундироваться, ознакомиться с распорядком дня...

— Ну хорошо, хорошо, — перебила его Тамара. — Я тебе от души сказала, а ты... Лучше всего мне тебе ничего не советовать. Обедать будешь?

Иван Алексеевич подошел к Тамаре, ласково взял ее за руки:

— Признаю себя неправым и в наказание согласен обедать. Как Лешка? Он что-то голоса не подает. Спит?

— Спит... А ты хитрый, Иван: чуть что — к Лешке сворачиваешь...

— Ну как ты можешь так думать! Сын он мне или не сын?

Тамара улыбнулась:

— Сын, сын... Не стучи только сапогами.

Иван Алексеевич занимал маленькую квартирку в служебном здании недалеко от казармы. Лебедевы уговорили его «напополам» выстроить домик, хотела этого и Тамара, но Иван Алексеевич не соглашался: «Лет через пятьдесят, не раньше...» И после рождения сына тоже не поддался ни на какие уговоры.

— Через пятьдесят лет?.. — спросила Тамара, наклоняясь над коляской и показывая Ивану Алексеевичу сына.

Леша спал крепко, не улыбаясь, на его крутом лобике выступил пот. Тамара осторожно вытерла испарину.

Иван Алексеевич понял Тамарин вопрос: перед этой колыбелькой, которой всего было три месяца, странно было думать о быстро летящих годах. Да мыслимо ли, чтобы этот крутолобый комочек стал пятидесятилетним мужчиной, отцом, а может быть, и дедом?

Вечером Иван Алексеевич пошел в казарму, где разместили молодых солдат. Двухэтажное здание было заново выкрашено. Внутри все сияло, повсюду стоял крепкий запах отжавеля. Новые гимнастические снаряды ждали своего первого рабочего часа.

Перед казармой в небольшом палисадничке сидел на скамейке майор Кожич и курил длинную папиросу своей собственной набивки. Высоко над ним, боясь дыма, кружилось облачко мошкары. Иван Алексеевич коротко знал майора, с мнением которого, как говорили, считался сам командир корпуса. Он здесь был главным начальником, и к нему обратился Иван Алексеевич.

— Ну, это дело самое простое, — сказал Кожич и устало крикнул старшину. — Проведите майора в ком-

нату политпросветработы. Вызовите солдата... как фамилия?

— Турчанов Александр, — сказал Иван Алексеевич. — Большое вам спасибо...

— Да что там... Самое обыкновенное дело. Родственник? Ну, ну, ну... Тамаре Борисовне мой привет! Наследника я еще не видел! — крикнул он вслед Ивану Алексеевичу, пустив против мошкеры громадный клуб дыма.

Через несколько минут Иван Алексеевич и Саша сидели друг против друга за маленьким столом с нарисованной шахматной доской.

— Я сегодня утром тебя не узнал, — сказал Иван Алексеевич, — а вот сейчас узнаю...

— Вы же меня раньше таким почти и видели, — ответил Саша. — Я в гимнастерке ходил и в папиных сапогах. Я помню, как вы первый раз к нам пришли, это было сразу после войны...

— Да, да... и я помню, все помню, — вздохнув, сказал Иван Алексеевич. — Ну, расскажи мне, как там у вас? Как Екатерина Григорьевна?

— Все хорошо. Екатерина Григорьевна просила вам передать привет. Все вас помнят: Лиза, Фонарик, Анна Николаевна, товарищ Бурков, Петр Федорович.

— Кто, кто?

— Товарищ Балычев...

— Да, да, конечно, конечно... Он что-то мне давно не пишет.

— Товарищ Балычев часто у нас бывает, почти каждый день.

— У него, кажется, отпуск?

— Отпуск, да. И вообще он решил в Ленинграде поселиться.

— Ах, вот что... Так, так...

Ивану Алексеевичу казалось, что когда он увидит Сашу, то они прежде всего поговорят о главном — о гибели Александра Николаевича. Но и он и Саша молчали об этом, а разговор шел как-то краем. Саша рассказывал о том, как они ехали сюда, и о том, какое впечатление произвела на молодежь первая встреча. А Иван Алексеевич слушал и вспоминал себя, училище, свои мечты о будущем, о славе и без боли думал о том, что все в жизни получилось иначе. Думал он и о том, какая жизнь бу-

дет у Саши Турчанова, какие испытания ожидают это поколение и что ожидает поколение самое младшее, которое сейчас беззаботно спит в своих колыбельках. И еще он подумал, что много может сделать для того, чтобы этим новым поколениям жилось спокойно.

Прозвучал сигнал отбоя. Иван Алексеевич простился с Сашей и пошел домой. А через полчаса в казарме потушили свет.

— Саша, это был он, да, Поддубный? — шепотом спросил Павел. Их койки стояли рядом. Саша хорошо слышал товарища, но не спешил с ответом.

— Спи. Завтра поговорим.

— Старшина сказал — это он. Майор Федоров. Герой!

— Да, так. Спи, пожалуйста.

Ненадолго они замолкли, потом Павел снова спросил:

— А почему он тебя знает?

— Он знал моего отца. Мой отец служил в его роте.

— Здесь?

— Да. Его убили. Фашисты убили.

— Саша!..

Саша помолчал, потом вдруг быстро приподнялся на кровати:

— Павел, слышишь, если они... если они еще когда-нибудь...

— Турчанов! Лучков! Делаю вам первое замечание... — сказал старшина, услышав их шепот.

Саша и Павел притихли, но оба еще долго не могли уснуть.

---

## СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕНИЯ СТОРОН . . . . .	5
ВРЕМЕНА И ЛЮДИ . . . . .	247

Александр Германович Розен  
ПРЕНИЯ СТОРОН · ВРЕМЕНА И ЛЮДИ

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1979, 592 стр. План выпуска 1979 г. № 106. Редактор Ф. Г. Кацас. Художник М. Е. Новиков. Худож. редактор А. Ф. Третьякова. Техн. редактор С. Л. Шереметьева. Корректор Е. А. Омеляненко. ИБ № 1697

Сдано в набор 21.09.78. Подписано к печати 30.01.79. Бумага тип. № 1. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Литературная гарнитура. Высская печать. Усл. печ. л. 31,08. Уч.-изд. л. 31,49. Тираж 150 000 экз. Заказ № 825. Цена 2 р 30 к. Издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение. 191186. Ленинград, Невский пр., 28. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, Центр, Красная ул., 1/3.